

В.А. Гиляровский



Всё
о Москве
Сборник

Владимир Гиляровский. Все о Москве (сборник) // АСТ, Астрель, Москва, 2010
ISBN: 978-5-17-070114-8, 978-5-271-30933-5
FB2: Denis, 25 February 2013, version 1.01
UUID: 60791f46-7f32-11e2-9b62-002590591ed2
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Владимир Алексеевич Гиляровский

Все о Москве (сборник)

Каким увидят наш город лет через 100 наши потомки? Кинофильмы, репортажи, картины... Что выберут они за основу для его изучения?

Нам несказанно повезло... Мы можем посмотреть на него глазами талантливого журналиста Владимира Гиляровского. Наверное, на современном сленге его можно было бы назвать папарацци, так как совал он свой любопытный нос не только в элитные кварталы, но и в ночлежки, трущобы, рынки... Жизнью своей рисковал ради достоверного, стоящего репортажа. Читателям более известно его произведение «Москва и москвичи», а теперь мы предлагаем сборник «Все о Москве».

Увлекательные, интересные, скандальные репортажи и рассказы помогут вам по-другому взглянуть на историю нашего города.

По достоинству оцените каждый дом, каждую улицу, как историческое наследие, как подарок от наших предков!

Содержание

Москва газетная	0007
Редакторы	0007
«Русские ведомости»	0017
«Русская газета»	0113
«Современные известия»	0123
«Московский телеграф»	0128
«Русский курьер»	0131
«Новости дня»	0138
«Московский листок»	0151
Казенные газеты	0254
Цензура и цензоры	0262
«Зритель»	0280
«Будильник»	0287
«Развлечение»	0299
«Русский листок»	0312
«Курьер»	0324
«Детское чтение»	0340
«Русская мысль»	0343
«Русское слово»	0364
Атаман Буря и пиковая дама	0381
«Нижегородское обалдение»	0406
«Россия»	0429
Нечто о старом	0440
Вместо эпилога	0482
Московские газеты в 80-х годах	0484

Москва и москвичи	0515
От автора	0515
В Москве	0518
Из Лефортова в Хамовники	0521
Театральная площадь	0529
Хитровка	0534
Штурман дальнего плавания	0581
Сухаревка	0592
Под Китайской стеной	0633
Тайны Неглинки	0654
Ночь на Цветном бульваре	0664
Кружка с орлом	0676
Драматурги из «Собачьего зала»	0689
Купцы	0704
Ляпинцы	0734
«Среды» художников	0746
Начинающие художники	0757
На трубе	0771
Чрево Москвы	0801
Лубянка	0824
Под каланчой	0848
Булочники и парикмахеры	0882
Два кружка	0918
Охотничий клуб	0939
Львы на воротах	0954
Студенты	0989
Нарышкинский сквер	1005
История двух домов	1016

Бани	1045
Трактиры	1112
«Яма»	1175
«Олсуфьевская крепость»	1181
Вдоль по Питерской	1196
На моих глазах	1208
Из цикла «Трущобные люди»	1225
Человек и собака	1225
Спирька	1235
В глухую	1243
«Каторга»	1257
В царстве гномов (Из записок репортера)	1268
Репортажи. Рассказы	1284
Подземные работы в Москве	1284
Ловля собак в Москве	1291
Катастрофа на Ходынском поле	1299
Пора бы...	1306
Ураган в Москве	1309
Ураган (Впечатления)	1312
Праздник рабочих	1320
Час «На дне»	1329
Тайна одного привидения	1343
Двадцатипятилетие столичных частных театров	1346
Из репортерства	1353
Подземная Москва	1365
Сухаревка	1368

Владимир Гиляровский Все о Москве (сборник)

Москва газетная

Редакторы

В начале моей литературной работы в Москве прочных старых газет было только две. Это «Московские ведомости» – казенный правительственный орган, и либеральные «Русские ведомости». Это были два полюса.

Таковы же были и два московских толстых журнала – «Русский вестник», издававшийся редактором «Московских ведомостей» М. Н. Катковым, и «Русская мысль» В. М. Лаврова, близкая к «Русским ведомостям». А потом ряд второстепенных изданий.

Оглядываясь на свое прошлое теперь, через много лет, я ищу: какая самая яркая бытовая, чисто московская фигура среди московских редакторов газет конца прошлого века? Редактор «Московских ведомостей» М. Н. Катков? – Вечная тема для либеральных остряков, убежденный слуга правительства. Сменивший его С. А. Петровский? – О нем только говорили, как о счастливом игроке на бирже.

И. С. Аксаков – редактор «Руси». Не популярен со своим славянофильским журналом.

В. М. Соболевский – «Русские ведомости» – был популярен только между читателями этой газеты – профессорами, земцами, молодыми судейскими и либеральными думцами. Но вся Москва его не знала.

Н. П. Гиляров-Платонов – ученый, был неведом для публики, ибо он никогда не выходил из своего кабинета, а некрупная популярность его «Современных известий» была создана только обличителем-фельетонистом.

П. Н. Ланин – прекрасный заводчик шипучих искусственных минеральных вод и ничемный редактор либерально-шипучего «Русского курьера», совсем не принятого Москвой.

Об остальных изданиях и говорить не приходится: уж очень незаметны они были.

Среди этого вырисовывается благодаря своей бытовой яркости и неповторимости только одна фигура создателя «Московского листка» Н. И. Пастухова, который говорил о себе:

– Я сам себе предок!

Только единственная яркая бытовая фигу-

ра: безграмотный редактор на фоне такой же безграмотной Москвы, понявшей и полюбившей человека, умевшего говорить на ее языке.

Безграмотный редактор приучил читать свою безграмотную газету, приохотил к чтению охотнорядца, извозчика. Он – единственная бытовая фигура в газетном мире, выходец из народа, на котором теперь, издали, невольно останавливается глаз на фоне газет того времени.

Издали виднее: через три года по выходе «Московского листка» Н. И. Пастухов печатал сорок тысяч экземпляров газеты.

У полутора столетних «Московских ведомостей», у газеты политической, к которой прислушивалась Европа, в это время выходило четыре тысячи номеров, из которых больше половины обязательных подписчиков. «Русских ведомостей» в этот же год печаталось меньше десяти тысяч, а издавались они в Москве уже двадцать лет.

«Московские ведомости» были правительственной газетой, обеспеченной обязательными казенными объявлениями, которые да-

вали огромный доход арендатору их, но расходились они около трех-четырёх тысяч, и это было выгодно издателю, потому что каждый лишний подписчик является убытком: печать и бумага дороже стоили.

Газету выписывали только учреждения и некоторые отставные сановники, а частных подписчиков у нее никогда почти не было, да и было тогда не модно, даже неприлично, читать «Московские ведомости». На редактора газеты М. Н. Каткова либеральные газеты и петербургские юмористические журналы, где цензура была насчет его слабее, положительно «вешали собак» за его ретроградство.

Так, Д. Д. Минаев напечатал в сборнике своих стихов следующее:

*С толпой журнальных кунаков
Своим изданьем, без сомненья,
В России заменил Катков
С успехом третье отделение.
В доносах грязных изловчась,
Он, если очень злобой дышит,
Свою статью прочтет подчас
И на себя донос напишет.*

Из московских изданий позволяли себе по-

лемизировать с М. Н. Катковым только «Русские ведомости» да иногда «Русский курьер» в первые три года издания, пока его редактировал В. А. Гольцев.

В московских юмористических журналах: «Будильнике», «Развлечении», а особенно в «Зрителе» – цензура вычеркивала всякое упоминание о М. Н. Каткове.

Помню, в 1882 году я дал четверостишие для «Будильника» по поводу памятника Пушкину: на Тверском бульваре, по одну сторону памятника жил обер-полицмейстер генерал Козлов, а по другую, тоже почти рядом, помещались «Московские ведомости» и квартира М. Н. Каткова:

*...Как? Пушкин умер? Это вздор.
Он жив! Он только снова
Отдан под надзор
Каткова и Козлова.*

Редакция «Будильника» четверостишие даже и в набор не сдала. М. Н. Катков был священной особой для московского цензурного комитета, потому что все цензоры были воспитанниками Каткова и сотрудничали в «Московских ведомостях», чем были сильны

и неприкосновенны. Их, как древних жрецов, писатели и журналисты редко лицезрели.

Первая встреча с сотрудником «Московских ведомостей» и одновременно цензором останется для меня навсегда незабвенной. На какой-то большой пирушке у Н. И. Пастухова, после обеда, за кофе с ликерами, я сидел рядом с сумским гусаром Н. П. Пашенным, совсем юношей, лихим наездником и лихим спортсменом, впоследствии знаменитым драматическим актером Роциным-Инсаровым.

Подле него, красавца в полном смысле слова, поместился низенького роста неуклюжий рыжебородый человек в черном мешковатом сюртуке и, тыкая пальцем веснушчатой, покрытой рыжими волосами руки в грудь Н. П. Пашенного, ему что-то проповедовал.

Это был цензор Сергей Иванович Соколов, бывший семинарист, личный секретарь М. Н. Каткова.

– Вот эта рука десять лет работает под руководством самого Михаила Никифоровича Каткова.

Н. П. Пашенный, продолжая сидеть, ловким взмахом вольтижера положил свою ногу,

в малиновых рейтузах и сапогах со шпорами, сверх руки С. И. Соколова, прижавши ее к столу, и, хлопая по колену, сказал:

– А эта нога три года работает под руководством полковника Клюге фон Клюгенау – первого наездника русской армии.

Горько заплакал личный секретарь М. Н. Каткова, цензор и постоянный сотрудник «Московских ведомостей». Потом дело кончилось миром.

Кроме своей газеты и «Московского листка», благодаря старому знакомству с Н. И. Пастуховым, цензор С. И. Соколов все остальные газеты считал вредными, а сотрудников их – врагами отечества.

Эта сцена мне памятна потому, что в тот вечер я воочию увидел первого сотрудника «Московских ведомостей» и первого живого цензора. Да и негде было видеть сотрудников «Московских ведомостей» – они как-то жили своей жизнью, не знались с сотрудниками других газет, и только один из них, театральный рецензент С. В. Флеров (Васильев), изящный и скромный, являлся на всех премьерах театров, но он ни по наружности, ни по взгля-

дам, ни по статьям не был похож на своих соратников по изданию, «птенцов гнезда Каткова» со Страстного бульвара. Самого же М. Н. Каткова я так ни разу в жизни не видал. Он умер в 1887 году. После него стал редактором Петровский, очень друживший с супругами Витте и, кажется, больше интересовавшийся биржей, падением и повышением бумаг, чем газетой и политикой.

Газета помещалась на углу Большой Дмитровки и Страстного бульвара и печаталась в огромной университетской типографии, в которой дела шли блестяще, была даже школа наборщиков.

Первый «студенческий бунт» был вызван «Московскими ведомостями». До того времени Москва этого слова не знала и не слыхала. Если и бывали студенческие беспорядки, всегда академического характера, то они происходили только в стенах университета. Первые беспорядки, прогремевшие в Москве, были вызваны новым уставом, уничтожившим профессорскую автономию и удвоившим плату за слушание лекций, что оттесняло бедноту от слушания лекций, а тут, вслед за уста-

вом, грянул циркуляр о введении обязательной для каждого студента новой формы: мундиры со шпагой, сюртуки, тужурки и пальто со светлыми гербовыми пуговицами и синими выпушками – бедноте не по карману!

Осенью 1884 года запылали студенческие беспорядки, подогретеные еще рядом статей в защиту правительства и обычными доносами «Московских ведомостей».

Под влиянием всего этого студенческие беспорядки в первый раз вырвались на улицу.

На сходке студенты постановили устроить демонстрацию газете. К семи часам вечера студенты кучками неожиданно с разных сторон пришли на Страстной бульвар и устроили грандиозный кошачий концерт перед окнами квартиры редактора М. Н. Каткова с разбитием в них стекол. Явилась полиция и конный жандармский дивизион. Это был в Москве первый случай такого выступления конных жандармов. Жандармы с нагайками носились по бульвару и обоим проездам, разгоняя демонстрацию. Попадало всякому – и студенту и нестуденту. Били кого попало и

как попало. На мостовой валялись избитые в кровь. Жандармов сбивали с лошадей, и лошади носились без всадников.

Как сейчас помню высокого студента-кавказца, когда он вырвал жандарма из седла, вмиг очутился верхом и ускакал. На помощь жандармам примчалась сотня 1-го Донского казачьего полка, выстроилась поперек проездов и бульвара и, не шелохнувшись, стояла, а жандармы успели окружить толпу человек в двести, которую казаки и конвоировали до Бутырской тюрьмы.

В газетах на другой день появились казенные заметки, что студенты пошумели на Страстном бульваре и полтора из них было забрано и отведено в Бутырки.

Позднее во время всяких студенческих беспорядков обязательно хоть пару стекол разбивали в «Московских ведомостях», а в Татьянин день повторялись перед редакцией кошачьи концерты мирного характера.

«Русские ведомости»

«Русские ведомости»!
– Наша профессорская газета, – называла ее либеральная интеллигенция.

– Крамольники! – шипели черносотенцы.

– Орган революционеров, – определил департамент полиции.

Газета имела своего определенного читателя. Коренная Москва, любившая легкое чтение и уголовную хронику, не читала ее.

Первый номер этой газеты вышел 3 сентября 1863 года. Подписка 3 рубля в год, три номера в неделю.

Основал ее писатель Н. Ф. Павлов и начал печатать в своей типографии в доме Клеветаль, против Мясницкой части. Секретарем редакции был Н. С. Скворцов, к которому, после смерти Павлова, в 1864 году перешла газета, – и сразу стала в оппозицию «Московским ведомостям» М. Н. Каткова и П. М. Леонтьева.

В газете появились: Н. Щепкин, Н. Киселев, П. Самарин, А. Кошелев, Д. Шумахер, Н. Кетчер, М. Демидов, В. Кашкадамов и С. Гончаров, брат жены Пушкина. Это были либераль-

ные гласные Городской думы, давшие своим появлением тон газете навсегда. Полемика с Катковым и Леонтьевым закончилась дуэлью между С. Н. Гончаровым и П. М. Леонтьевым в Петровском парке, причем оба вышли из-под выстрелов невредимыми, и в передовой статье «Русских ведомостей» было об этом случае напечатано:

«Судьбе было угодно, чтобы первое боевое крещение молодой газеты было вызвано горячей защитой новых учреждений общественного самоуправления и сопровождалось формулировкой с ее стороны высоких требований самой печати: свобода слова, сила знания, возвышенная идея и либеральная чистота. Вот путь, которым должна идти газета».

Н. С. Скворцов сумел привлечь лучшие литературные силы. Вошли в число постоянных сотрудников А. И. Урусов, впоследствии знаменитый адвокат, А. И. Чупров, В. М. Соболевский, А. С. Постников, А. П. Лукин, М. А. Саблин, В. С. Пагануцци, И. И. Янжул, Б. Н. Чичерин, И. К. Бабст, М. А. Воронов, А. И. Левитов, Г. И. Успенский.

Газета держала тот тон, который дала

небольшая группа, спаянная общностью политических убеждений и научно-социальных взглядов, группа сотрудников газеты, бывших в 1873 году на Гейдельбергском съезде.

Разные люди перебивали за полувековую жизнь газеты, но газета осталась в руках той группы молодых ученых, которые случайно одновременно были за границей, в 1873 году, и собрались на съезд в Гейдельберг для обсуждения вопроса – что нужно делать?

И постановлено было на съезде добиваться конституции, как пути для демократического и социального обновления страны. В числе участников этого съезда были А. И. Чупров, А. С. Постников и В. М. Соболевский, молодые приват-доценты, с студенчества своего сотрудники «Русских ведомостей», которые, вернувшись из Гейдельберга, выработали программу газеты по решениям съезда. Она была отпечатана на правах рукописи, роздана сотрудникам и неукоснительно применялась. В конце 70-х годов примкнули к газете П. Д. Боборыкин, С. Н. Южаков, С. А. Муромцев, М. М. Ковалевский, В. А. Гольцев и писатели-народники Н. Н. Златовратский и Ф. Д.

Нефедов, а затем Д. Н. Анучин, П. И. Бларамберг, Г. А. Джаншиев, С. Ф. Фортунатов.

С 1868 года газета стала ежедневной без предварительной цензуры, а с 1871 года увеличилась в размере и подписка была 7 рублей в год.

Редакция и типография помещались тогда в доме Делонэ в Никольском переулке на Арбате.

Если я позволил себе привести это прошлое газеты, то только для того, чтобы показать, что «Русские ведомости» с самого рождения своего были идейной газетой, а не случайным коммерческим или рекламным предприятием. Они являлись противовесом казенным правительственным «Московским ведомостям».

* * *

После смерти редактора Н. С. Скворцова, талантливого и идейного журналиста, материальное состояние газеты было затруднительным. В. М. Соболевский, ставший фактическим владельцем газеты, предложил всем своим ближайшим сотрудникам образовать товарищество для продолжения издания. Его

предложение приняли десять человек, которые и явились учредителями издательского паевого товарищества «Русских ведомостей».

В состав учредителей вошли вместе с В. М. Соболевским его товарищи по выработке основной программы газеты – А. С. Постников и А. И. Чупров, затем три ближайшие помощника его по ведению дела в конце 70-х и начале 80-х годов – Д. Н. Анучин, П. И. Бларамберг и В. Ю. Скалон и еще пять постоянных сотрудников – М. Е. Богданов, Г. А. Джаншиев, А. П. Лукин, В. С. Пагануцци и М. А. Саблин.

Составилась работоспособная редакция, а средств для издания было мало. Откликнулся на поддержку идейной газеты крупный железнодорожник В. К. фон Мекк и дал необходимую крупную сумму. Успех издания рос. Начали приглашаться лучшие силы русской литературы, и 80-е годы можно считать самым блестящим временем газеты, с каждым днем все больше и больше завоевывавшей успех. Действительно, газета составлялась великолепно и оживилась свежестью информации, на что прежде мало обращалось внимания.

Я был приглашен для оживления московского отдела газеты. Сразу мне предложили настолько хорошие условия, что я, будучи обеспечен, мог все силы отдать излюбленному мной живому репортерскому делу.

Редакция тогда помещалась в доме Мецгера, в Юшковом переулке на Мясницкой, – как раз в том доме, на котором переламывается этот искривленный переулок. В фасадном корпусе в бельэтаже – редакция, а в надворном, фабричного вида, – типография со штатом прекрасных наборщиков под руководством уважаемых и любимых всеми метранпажей А. О. Кононова и И. П. Яковлева.

Вход в редакцию через подъезд со двора, по шикарной лестнице, в первый раз на меня, не издавшего редакций, кроме ютившихся по переулкам, каковы были в других московских изданиях, произвел приятное впечатление сразу, а самая редакция – еще больше. Это была большая, светлая, с высокими окнами комната, с рядом столов, покрытых зеленым сукном, с книжными шкафами, с уложенными в порядке на столах газетами. Тишина полная. Разговор тихий.

Первый, кого я увидел, был А. Е. Крепов, переводчик с иностранного, старичок в очках, наклонившийся над какой-то французской газетой, в которой делал отметки карандашом. Когда-то простой наборщик, он самообразовался, изучил языки и сделался сотрудником. За другим столом театральный критик, с шикарной бородой, в золотых очках, профессорского вида, Н. М. Городецкий писал рецензию о вчерашнем спектакле, а за средним столом кроил газеты полный и розовый А. П. Лукин, фельетонист и заведующий московским отделом, в помощники к которому я предназначался и от которого получил приглашение.

Рядом с А. П. Лукиным писал судебный отчет Н. В. Юнгфер, с которым я не раз уже встречался в зале суда на крупных процессах. Около него писал хроникер, дававший важнейшие известия по Москве и место которого занял я: редакция никак не могла ему простить, что он доставил подробное описание освящения храма Спасителя ровно за год раньше его освящения, которое было напечатано и возбудило насмешки над газетой. Пря-

мо против двери на темном фоне дорогих гладких обоев висел единственный большой портрет Н. С. Скворцова.

А. П. Лукин встретил меня, и мы прошли в кабинет к фактическому владельцу газеты В. М. Соболевскому, сидевшему за огромным письменным столом с массой газет и рукописей. Перед столом – такой же портрет Н. С. Скворцова. Кожаная дорогая мебель, тяжелые шторы, на столе подсвечник с шестью свечами под зеленым абажуром. В. М. Соболевский любил работать при свечах. В других комнатах стояли керосиновые лампы с зелеными абажурами.

И тишина, тишина...

По другую сторону стола сидел В. С. Пагануцци, необыкновенно толстый, добродушно-го вида, и читал рукопись. Переговорили об условиях с Соболевским, и потом, когда Лукин ушел, Пагануцци взглянул на часы и сказал, подавая рукопись:

– Можно сдавать в набор!

В. М. Соболевский позвонил и передал ее вошедшему мальчику:

– В набор!

В. С. Пагануцци еще раз вынул часы и показал!

– Уже час!

– Да, пожалуй, пора! – И Соболевский обратился ко мне:

– Владимир Алексеевич, не откажитесь с нами позавтракать. Каждое хорошее дело надо начинать с хлеба-соли.

Мы вышли через другую дверь, миновав редакцию, и В. М. Соболевский сказал швейцару:

– Я вернусь к трем часам.

Мы поехали в ресторан Тестова, или, как говорилось в Москве, «к Тестову», – я вдвоем с Соболевским, а Пагануцци полностью занял у извозчика убогую пролетку, у которой даже рессоры погнулись и колесо визжало о железное крыло.

От Тестова мы вышли полными друзьями, и я с той минуты всего себя отдал «Русским ведомостям».

* * *

Вскоре товарищество приобрело в Чернышевском переулке свой дом – бывшего городского головы князя В. А. Черкасского, который

был ему поднесен в дар москвичами. Дом этот находился против теперь еще существующего дома Станкевича. Пришлось сделать большие перестройки, возвести новые корпуса. В 1886 году редакция перешла в это новое, специально приспособленное помещение. От старого, кроме корпуса, выходящего на улицу, был оставлен крошечный флигелек, уступленный М. А. Саблину, куда он и перевел статистическое отделение при канцелярии генерал-губернатора, заведующим которого он состоял.

С новой типографией увеличился формат газеты, номера стали выпускаться в 6 и 8 страниц.

Ни одна газета не вынесла столько кар и преследований со стороны цензуры, сколько вынесли «Русские ведомости». Они начались с 1870 года воспрещением розничной продажи, что повторилось в 1871 и 1873 годах, за что – указаний не было: просто взяли и закрыли розничную продажу.

В 1873 году 4 декабря предостережение «Русские ведомости» получили за то, что они «заключают в себе крайне, в циничной форме, враждебное сопоставление различных

классов населения и, в частности, оскорбительное отношение к дворянскому сословию». И ежегодно шли кары, иногда по несколько раз в год.

Это продолжалось до конца прошлого столетия. 1901 год открылся приостановкой газеты за нарушение циркуляра, запрещавшего печатать отчеты о процессах против чинов полиции, а «Русские ведомости» напечатали отчет о случившемся в судебной палате в Тамбове деле о полицейском приставе, обвинявшемся в насильственном освидетельствовании сельской учительницы.

В 1905 году было приостановлено издание с 22 декабря по 1 января 1906 года за то, что «редакция газеты «Русские ведомости» во время мятежного движения, еще не кончившегося в Москве и в других городах, явно поддерживала его, собирала открыто значительные пожертвования в пользу разных забастовочных комитетов, политических ссыльных, борцов за свободу и пр.». Дальше шли конфискации номеров, штрафы по несколько раз в год по разным поводам; штрафы сменялись конфискациями и привлечением к суду. Тако-

вых наказаний в один только 1912 год редакцию постигло двенадцать раз, а за 1912–1913 годы наказаний было тридцать. Придирались и правящие круги и мелкота. Во время «княжения» в Москве «хозяина столицы» В. А. Долгорукова у него был чиновник, начальник секретного отделения, П. М. Хотинский. Он, чтобы выслужиться перед начальством, поставил себе в обязанность прославлять Долгорукова, для чего просто податливым газетам он приказывал писать, что ему надо было, а в «Русских ведомостях» состоял даже корреспондентом, стараясь заслужить милость этого единственного непокорного издания.

«Русские ведомости» раз жестоко его подкузьмили «по ошибке корректора». Когда В. А. Долгоруков ездил по ближайшим городам, то Хотинский из каждого города телеграфировал во все газеты о торжественных встречах, устраиваемых «хозяину столицы». Насколько эти встречи были торжественны, я лично не видал, но в газетах описания были удивительные. Однажды во всех московских газетах появляется большая телеграмма из Тулы о торжественной встрече. Тут и «ура», и народ

«шпалерами», и «шапки вверх». Во всех газетах совершенно одинаково, а в «Русских ведомостях» оказалась напечатанной лишняя строка: «о чем, по приказанию его сиятельства, честь имею вам сообщить. Хотинский».

В телеграммах в другие газеты эта строка была предусмотрительно вычеркнута. «Русские ведомости» и секретное отделение с Хотинским во главе сделались врагами. Хотинский более уже не сотрудничал в газете.

* * *

Редакция в Чернышевском переулке помещалась в бельэтаже дома В. А. Черкасского, вход с улицы, общий с конторой. Шикарно, но не было той интимности особняка, что была в Юшковом переулке. Здесь было несомненно удобнее, но официально как-то, холодком веяло. В Юшковом переулке было уютно, проще и симпатичнее. Здесь по каждому отделу свой особый кабинет по обе стороны коридора, затем большой кабинет редактора и огромная редакционная приемная, где перед громадными, во все стены, библиотечными шкафами стоял двухсаженный зеленый стол, на одном конце которого заседал уже начавший ста-

ряться фельетонист А. П. Лукин, у окна – неизменный А. Е. Крепов, а у другого секретарь редакции, молодой брюнет в очках, В. А. Розенберг принимал посетителей. Он только что поступил в редакцию. Для вящей торжественности А. П. Лукин над книжным шкафом, как раз против себя, водрузил большой гипсовый бюст Зевса, найденный при перестройке на чердаке дома...

А. П. Лукин, кроме своих, имевших иногда успех, фельетонов в «Русских ведомостях», под псевдонимом «Скромный наблюдатель», был еще московским фельетонистом петербургских «Новостей» Нотовича и подписывался римской цифрой XII.

Псевдоним очень остроумный и правдивый, так как в фельетонах участвовало несколько человек, а Лукин собирал весь этот материал в фельетон, который выходил в Петербурге по субботам. Не знаю, как платил Нотович, но я от Лукина получал 5 копеек за строчку и много зарабатывал, так как чуть не ежедневно давал заметки, которые нельзя было печатать в Москве, а в «Новостях» они проходили.

Репортером по заседаниям Городской думы и земства был Ф. Н. Митропольский. Немало университетской молодежи обслуживало ученые общества, давало отчеты по ученым собраниям, а я вел происшествия и командировки.

В типографии нас звали: Митропольского – «недвижимое имущество «Русских ведомостей», а меня – «летучий репортер». Оба эти прозвания были придуманы наборщиками, нашими друзьями, так как, приходя поздно ночью, с экстренными новостями, мы писали их не в редакции, а в типографии или корректорской, отрывая каждые десять строк, чтобы не задержать набор.

Действительно, приходилось быть летучим, конкурируя с оставленным мною «Московским листком», где было все основано на репортаже.

Приходилось носиться по Москве. Телефонов тогда не было, резиновых шин тоже, извозчики – на клячах, а конка и того хуже.

Я мог бегать неутомимо, а быстро ездил только на пожарном обозе, что было мне разрешено брандмайором, полковником С. А. По-

техиным, карточку которого с надписью берегу до сего времени: «Корреспонденту В. А. Гиллярскому разрешаю ездить на пожарном обозе». Кроме меня, этим же правом в Москве пользовался еще один человек – это корреспондент «Московского листка», поступивший после меня, А. А. Брайковский, специальность которого была только отчеты о пожарах.

А. А. Брайковский поселился рядом с пожарным депо на Пречистенке и провел к себе в квартиру, через форточку, звонок прямо с каланчи, звонивший одновременно с пожарным звонком, который давал команде часовой при каждом, даже маленьком пожаре.

«Русские ведомости» помещали только сведения о больших пожарах, о которых, по приказанию того же брандмайора, мне приносили повестку из Тверской пожарной команды. Нередко мне приходилось, на ходу встречая мчавшийся обоз, вскакивать на что попало и с грохотом мчаться на пожары. В сыскной полиции у меня был сторож Захар, а в канцелярии обер-полицмейстера был помощник, который сообщал все происшествия

из протоколов. На вокзалах имелись служащие и сторожа, которые сообщали о крушениях и о всех происшествиях на железной дороге.

«Русские ведомости», приглашая меня, имели в виду оживить московский отдел, что мне удалось сделать, и я успешно конкурировал с «Московским листком», не пропуская крупных событий. В трущобах, вроде Хитрова рынка, Грачевки и Аржановки, у меня были свои агенты из самых отчаянных бродяг, которые и сообщали свои сенсации. Иногда удавалось доставать такие сведения уголовного характера, которые и полиция не знала, — а это в те времена ценилось и читалось публикой даже в такой сухой газете, как «Русские ведомости». Не раз полиция и администрация меня тянули, но я всегда счастливо отделывался, потому что мои хитрованцы никогда не лгали мне.

Первое время они только пугали мою молодую жену: стучит в двери этакий саженный оборванный дядя, от которого на версту несет водкой и ночлежкой, и спрашивает меня. С непривычки, конечно, ее сперва жуть

брала, а потом привыкла, и никогда ни один из этих корреспондентов меня не подвел. Бывали такие эффектнейшие сведения, которые производили переполох среди властей. Любезность ко мне обитателей притонов даже раз выразилась так: осенью был пожар на Грачевке, на котором я присутствовал. Когда я стал в редакции писать заметку, то хватился часов и цепочки с именованным брелоком: в давке и суматохе их стащили у меня. Часы – подарок отца... Ну – украли, так украли.

Каково же было удивление, когда на другой день утром жена, вынимая газеты из ящика у двери, нашла в нем часы с цепочкой, завернутые в бумагу! При часах грамотно написанная записка: «Стырено по ошибке, не знали, что ваши, получите с извинением». А сверху написано: «В. А. Гиляровскому». Тем и кончилось. Может быть, я и встречался где-нибудь с автором этого дела и письма, но никто не намекнул о происшедшем.

Эти молчаливые люди, никогда не говорившие своего имени, нередко, по непонятным для непосвященного причинам, и доставляли мне уголовные сведения.

Помню такой случай: из конторы богатой фирмы Бордевиль украли двадцатипудовый несгораемый шкаф с большими деньгами. Кража, выходящая из ряда обыкновенных: взломали двери и увезли шкаф из Столешникова переулка – самого людного места – в августе месяце среди белого дня. Полицию поставили на ноги, сыскнушка разослала агентов повсюду, дело вел знаменитый в то время следователь по особо важным делам Кейзер, который впоследствии вел расследование событий Ходынки, где нам пришлось опять с ним встретиться.

И никаких результатов!

Прошло три недели – дело замолкло. Выхожу я как-то вечером из дома – я жил в доме Вельтищева, на Б. Никитской, против консерватории, – а у ворот встречает меня известный громила Болдоха, не раз бегавший из Сибири:

– Я к вам, пропишите их, подлецов, в газетах!

И рассказал он мне в подробностях до мелочей всю кражу у Бордевиля: как при его главном участии увезли шкаф, отправили по

Рязанской дороге в Егорьевск, оттуда на лошади в Ильинский погост, в Гуслицы, за двенадцать верст от станции по дороге в Запонорье, где еще у разбойника Васьки Чуркина был притон. В кустах взломали шкаф и сбросили его в речку Гуслицу, у моста, в глубокое место под ветлами. Денег там нашлось около пятнадцати тысяч рублей, поделили и поехали обратно, а потом дорогой Болдоху опоили «малинкой», обобрали и сбросили с поезда, думая, что он «готов». Когда же Болдоху, очухавшись, вернулся на Хитров к съемщику ночлежки – капиталисту и организатору крупных разбоев «Золотому», – тот сказал, что ничего знать не знает, что все в поезде были пьяны и не видали, как и куда Болдоху скрылся. Свалился, должно, пьяный с поезда, – а мы знать не знаем!

На следующий день в «Русских ведомостях» я написал подробнейший рассказ Болдохн, с указанием места, где лежит в речке шкаф.

Через день особой повесткой меня вызывают в сыскную полицию. В кабинете сидят помощник начальника капитан Николас и Кей-

зер. Набросились на меня, пугают судом, арестом, высылкой, допытываются, – а я смеюсь:

– Мои агенты лучше ваших! Кейзер из себя выходит:

– Если это неправда, мы вас привлечем по статьям!

– Пошлите вы прежде ваших агентов в Гуслицы за шкафом.

– А если его там нет, то вы будете под судом!

Я ушел домой, а через два дня мне сообщили, что сыщик Федот Рудников, ездивший в Гуслицы, привез шкаф, и последний находится взломанный в сыскном отделении.

Кейзер приехал в редакцию, но меня не нашел. Уже зимой Болдоха, арестованный на месте другого преступления, указал всех участников. Дело «Золотого» разбиралось в окружном суде и кончилось каторгой.

А Болдоха успел бежать.

* * *

Счастливейшее время моей работы было тогда в «Русских ведомостях», которое я вспоминаю с удовольствием. Я был молод, силен, гордился своим положением, дружеским от-

ношением с людьми, имена которых незабвенны. Особенно дороги мне 80-е годы (середина), когда я весь отдавался «Русским ведомостям». Какие встречи! Кто-кто не работал в газете! Писали те, о которых даже не догадывались читатели, не воображала цензура. Только мы, очень немногие, далеко даже не все постоянные сотрудники, знали, что работали в газете и П. Л. Лавров, и Н. Г. Чернышевский, поместивший в 1885 году свой первый фельетон за подписью «Андреев», и другие революционные демократы.

– Кто это Андреев? – спросили М. А. Саблина в цензуре.

– Кто Андреев? Да актер Андреев-Бурлак! Тем и успокоилось начальство.

Петр Лаврович Лавров подписывал статью одной буквой или совсем не подписывался под некоторыми статьями или «письмами из Лондона».

Так никогда и не узнала об этом сотрудничестве цензура. А узнай она – за одно участие их газета была бы закрыта, да и редакторы угодили бы в ссылку.

Был такой случай: министр Д. А. Толстой

потребовал сообщить имя автора какой-то статьи. Ему отвечали отказом, и министр потребовал от московского генерал-губернатора высылки из Москвы редактора В. М. Соболевского; но самолюбивый «хозяин столицы» В. А. Долгоруков, не любивший, чтобы в его дела вмешивался Петербург, заступился за В. М. Соболевского и спас его. А высылка была равносильна закрытию газеты, так как утвержденным редактором тогда был один В. М. Соболевский. Писали в это время также под псевдонимами И. И. Добровольский, Н. В. Чайковский и К. В. Аркакский (Добренович).

Восьмидесятые годы были расцветом «Русских ведомостей». Тогда в них сотрудничали: М. Е. Салтыков-Щедрин, Глеб Успенский, Н. Н. Златовратский, А. П. Чехов, Д. Н. Мамин-Сибиряк, К. М. Станюкович, А. Н. Плещеев, Н. Е. Каронин, Г. А. Мачтет, Н. К. Михайловский, А. С. Пругавин, Н. М. Астырев, Л. Н. Толстой, статьи по театру писал В. И. Немирович-Данченко.

Какое счастье было для молодого журналиста, кроме ежедневных заметок без подписи, видеть свою подпись, иногда полной фамилией, иногда «В. Г-ский», под фельетонами поло-

сы на две, на три, рядом с корифеями! И какая радость была, что эти корифеи обращали внимание на мои напечатанные в газете фельетоны и хорошо отзывались о них, как, например, М. Е. Салтыков-Щедрин о моем первом рассказе «Человек и собака».

А разве не радость это: в 1886 году я напечатал большой фельетон «Обреченные» (очерк из жизни рабочих на белильных заводах), где в 1873 году я прожил зиму простым рабочим-кубовщиком. В нем я дал полное впечатление каторжной работы на тех заводах, с которых люди не возвращались в жизнь, а погибали от болезней. Это был первый такой очерк из рабочей жизни в русской печати. Никогда не забыть мне беседы в редакции «Русских ведомостей», в кабинете В. М. Соболевского, за чаем, где Н. К. Михайловский и А. И. Чупров говорили, что в России еще не родился пролетариат, а в ответ на это Успенский привел в пример моих только что напечатанных «Обреченных», попросил принести номер газеты и заставил меня прочитать вслух. А потом меня долго спрашивали о подробностях, и Глеб Иванович остал-

ся победителем.

С этого дня мы подружились вплотную с Глебом Ивановичем, и он стал бывать у меня.

Такие же отношения установились с А. П. Чеховым, Д. Н. Маминым-Сибиряком, В. А. Гольцевым – дружеское «ты» и полная открытость.

Работая в «Русских ведомостях», мне приходилось встречаться с иностранцами, посещавшими редакцию. Так, после возвращения из Сибири Джорджа Кеннана, автора знаменитой книги «Сибирь и каторга», в которой он познакомил весь мир с ужасами политической ссылки, редакция поручила мне показать ему московские трущобы.

Пришлось мне встретить и возвращавшихся из Сибири американских корреспондентов Гарбера и Шютце, привезших из тундры прах полярного исследователя де Лонга.

В 1879 году редактор «Нью-Йорк Геральда» Бернет снарядил экспедицию к Северному полюсу под начальством капитана де Лонга на паровой яхте «Жаннета». К северу от Берингова пролива яхта была раздавлена льдами.

Узнав о гибели «Жаннеты», американское

правительство послало пароход «Роджерс» для отыскания экипажа «Жаннетты», но «Роджерс» в ноябре 1881 года сторел в Ледовитом океане.

Вскоре после пожара «Роджерса» была послана Бернетом новая экспедиция, которую возглавляли лейтенанты Гарбер и Шютце. Они должны были отыскать следы лейтенанта Чиппа с его экипажем.

– Завтра утром надеюсь вас видеть на Рязанском вокзале! – этими словами остановил меня на Мясницкой американский консул Джон Смит, прирожденный москвич.

Гляжу на него во все глаза и ничего не понимаю. Он вынул из кармана телеграмму. Читаю: «Завтра скорым, Гарбер, Шютце».

– Завтра все узнаете. Со скорым прибывает прах де Лонга и матросов, погибших на «Жаннете».

На другой день Джон Смит по выходе из вагона представил меня прибывшим, и через час мы завтракали в «Славянском базаре».

Огромное впечатление произвел на меня рассказ о гибели экипажа «Жаннетты» среди льдов и вод, над которыми через пятьдесят

лет мчали по воздуху советские героини-летчицы челюскинцев и спасли сто одного человека с корабля, раздавленного льдами.

Гарбер и Шютце подробно рассказали о своем путешествии за поисками трупов товарищей и показали карты, рисунки и фотографии тех мест Севера, где они побывали.

Оба лейтенанта были еще молодые люди. Гарбер среднего роста, а Шютце выше среднего, плотного телосложения, показывающего чрезвычайно большую физическую силу. Лица у обоих были свежими, энергичными. Во время своего двухлетнего путешествия они чувствовали себя совершенно здоровыми, и только Шютце жаловался на легкий ревматизм, полученный в Якутске.

– В двадцати верстах от берега Ледовитого моря, – рассказывали Гарбер и Шютце, – при впадении западного рукава Лены, была метеорологическая русская станция Сагастир, где по временам жили доктор Бунге и астроном Вагнер, с двумя казаками и тремя солдатами, для метеорологических наблюдений. Кроме этого, по восточному и западному рукавам были разбросаны на громадных рассто-

ниях между собой несколько тунгусских зимовок, из которых главнейшей считалась находящаяся на самой Лене, до разделения ее на рукава, тунгусская деревня Булом, отстоящая на расстоянии 1400 верст от Якутска.

От Булома и до самого Ледовитого океана тянется страшная тундра. Зимой эта тундра представляет собой гладкую снеговую поверхность, а летом – необозримое болото, кое-где покрытое мелким березовым кустарником.

Когда пароход «Жаннета», затертый льдом, утонул в Ледовитом океане, за сто верст выше устья Лены, де Лонг с экипажем отправился южнее по льду и верстах в тридцати от берега пересел на три лодки, из которых одной командовал сам, другой инженер Мельвиль, а третьей лейтенант Чипп. Вследствие бури лодки были разделены друг от друга, расстались; Мельвиль попал в восточный рукав и благополучно достиг Якутска, Чипп с экипажем пропал без вести, а де Лонг, имевший карту устьев Лены с обозначением только трех рукавов, которыми она впадает в океан, ошибочно попал в одну из глухих речек, которая шла параллельно северному рукаву Лены

и терялась в тундре.

Если бы де Лонг проплыл на лодке несколько верст западнее и попал в северный рукав, он был бы спасен, так как, поднимаясь вверх, достиг бы тунгусских деревень.

Поднявшись по глухой речке, де Лонг добрался до верховья ее, где нашел брошенную тунгусскую землянку, и, обессиленный, остался отдыхать с экипажем, а двоих матросов, Норосса и Ниндермана, отрядил на поиски жилых тунгусских стоянок, так как, найдя забытую землянку, предположил, что есть близко и селение.

Долго шли смельчаки Норосс и Ниндерман по снеговой тундре, без всякой надежды встретить кого-нибудь, и уже обрекли себя на гибель. Однако близ восточного рукава Лены встретили ехавшего на оленях тунгуса, направлявшегося к югу, который взял их с собой и привез в Северный Булом.

Это спасло смельчаков, хотя встреча была случайной. На такой дикий север тунгусы никогда не заходили зимой, а на этот раз встретившийся матросам и спасший их тунгус был послан старостой селения Булом к устью во-

сточного рукава Лены, где летом забыли пещи, употребляемые для прокола льда во время ловли рыбы.

В Буломе матросам встретился ссыльный Кузьма Ермилов – человек довольно образованный, объяснившийся с матросами по-немецки, и передал им, что месяц назад здесь прошел Мельвиль с экипажем и отправился в Якутск.

Кузьма Ермилов съездил в Якутск и привез Мельвиля, который вместе с матросами отправился разыскивать де Лонга, но безуспешно.

В тундре были страшные бураны. Только на следующее лето Мельвиль, перезимовавший в Якутске, отправился с Ниндерманом и Нороссом на поиски и нашел тела товарищей близ той самой землянки, откуда матросы ушли на разведку. Тела были собраны Мельвилем и похоронены на каменном кургане, единственном возвышении в тундре. На кургане был воздвигнут большой деревянный крест с именами погибших.

Я видел рисунок этой могилы, сделанный г. Шютце: посреди голой тундры стоит высо-

кий курган из дикого камня, на нем возвышается огромный крест, обложенный снизу почти на сажень от земли несколькими сотнями крупного булыжника.

Гарбер и Шютце на маленькой шхуне в сопровождении шести русских матросов, переводчика, сибирского казака Петра Калининна и офицера Ганта, спасшегося со сторевавшего парохода «Роджерс» и добравшегося до Якутска, отправились на поиски Чипша.

На десятый день они добрались до Булома, где к ним присоединился Кузьма Ермилов, и отправились дальше.

В продолжение всего лета, захватив часть осени, пешком и на шхуне путешественники обошли, не забыв ни одного протока, ни одного самого глухого местечка, всю дельту Лены и весь берег океана.

В ноябре они, измученные, усталые, отдыхали десять дней на метеорологической станции Сагастир, потом прожили несколько дней в пустой забытой зимовке тунгусов «Китах», затем, еще раз побывав на занесенной снегом могиле товарищей, погребенных Мельвилем, отправились в Якутск и сообще-

ли о неудачных поисках экипажа лейтенанта Чиппа.

Из Нью-Йорка было получено приказание привезти тела де Лонга и его товарищей в Америку, что и было сделано лейтенантами Гарбером и Шютце. Ими же был привезен и дневник де Лонга, который вел он до самой своей смерти в пустынной тундре.

Последние строки этого дневника такие: «Наш завтрак состоял из пол-ложки глицерина и куска сапога. Один бог знает, что будет с нами дальше...», и еще: «...съеден последний кусок сапога...» Жизнь автора кончилась с этими строками.

Оба лейтенанта были приняты и чувствуемы редакцией «Русских ведомостей». Я показал им Москву, проводил их на вокзал и по их просьбе некоторое время посылал через них корреспонденции в «Нью-Йорк Геральд», которые там и печатались.

* * *

В 1892 году мне пришлось невольно сделаться безвестным корреспондентом английской газеты. Я был командирован редакцией на холеру в Донскую область, где болезнь сви-

репствовала с ужасающей силой. Холера была мне не в новинку. Еще в 1871 году, когда я шел в бурлацкой лямке, немало мы схоронили в прибрежных песках Волги умерших рядом с нами товарищей, бурлаков, а придя в Рыбинск и работая конец лета на пристани, в артели крючников, которые умирали тут же, среди нас, на берегу десятками и трупы которых по ночам отвозили в переполненных лодках хоронить на песчаный остров, — я немало повидал холерных ужасов. Вот почему я и принял эту командировку не задумываясь. Мне уже пришлось до поездки в Донскую область этим летом видеть холеру в Нижнем, во время ярмарки, и очень оригинальную с ней борьбу. Губернатором был тогда старый моряк генерал Н. М. Баранов, мужчина серьезный и уж очень энергичный. Когда разыгралась во время ярмарки холера всюю, он самолично метался всюду и распоряжался. Купцам он прямо приказывал за свой счет оборудовать лазареты и, кроме того, на огромной барже на их счет создал прекрасно поставленный плавучий госпиталь, куда свозил больных. Сам Баранов являлся внезапно в

какую-нибудь мастерскую или на завод, где много рабочих, производил осмотр и, конечно, всегда находил грязь и беспорядки. Нечистые спальни, грязные столовые, плохая пища, отсутствие кипяченой воды были всюду, как и до холеры. Найдя беспорядки и указав их, Н. М. Баранов приглашал хозяина сесть с ним в его пролетку, вез на набережную и лично отвозил на лодке прямо к плавучему госпиталю, где сдавал коменданту:

«Вот, получите нового служителя, пусть моет полы и ведра таскает», – и уезжал.

Когда человек пять таких тузов отправил он в госпиталь, все начали чистить, мыть, перестраивать и кормить рабочих и служащих свежей пищей в чистых столовых. В две недели Нижнего стало не узнать: чистота на улицах и на дворах.

Кроме купцов, отправленных в служители в холерный госпиталь, Баранов стал забирать шулеров, которые съехались, по обычаю, на ярмарку. Их он держал по ночам под арестом, а днем посылал на грязные работы по уборке выгребных и помойных ям, а особенно франтоватых с девяти часов утра до обеда застав-

лял мести площади и мостовые у всех на виду.

В толпе шулеров, очищающих Нижний от грязи во время холеры, старался с метлой в руках бритый, как актер, пожилой франт в котелке и модном пальто. Это было на площади против ярмарочного театра. Проезжал мимо Баранов и остановился. К нему подошел пристав:

– Ваше превосходительство! Как бы неловкости не вышло...

– Что такое?

– А вот извольте видеть этого бритого...

– Где взят?

– В игорном доме. Он сказал, что он уфимский городской голова. Как бы неловко...

– Да! – задумался Баранов и смотрит, как все метут-стараются.

– Что же прикажете, ваше превосходительство?

– Ну, если... городской голова... Так отправить его мести мостовую наверх, в город, перед Думой! – и поехал. Потом, обернувшись, крикнул:

– Пусть метет три дня перед Думой!

Много тогда поработал по холере доктор и писатель С. Я. Елпатьевский, который своей неутомимостью, знанием местных условий и народа спас тысячи людей.

С. Я. Елпатьевский работал в самых опасных местах – в притонах Канавина, на пристанях, главным образом на Песках, до отказа заселенных рабочим народом.

* * *

В июле я выехал на Дон. За Воронежем уже стала чувствоваться холера. Наш почти пустой скорый поезд встречал по пути и перегонял на станциях санитарные поезда с окрашенными в белую краску вагонами, которые своим видом наводили панику. Здесь на них не обращали внимания, но на глухих станциях мне не раз приходилось слышать:

– В белых вагонах – это холеру везде развозят, чтобы народ морить... Кому надо народ морить? Как холеру развозят? Зачем и кто? – так рассуждали и говорили.

Ехать в поезде было невесело. Жара страшная. Станции пусты и провоняли донельзя карболкой.

Я решил начать поездку с Ростова, а потом

пробратся или в верховья Дона, или на Волгу, через станцию Калач.

Первая встреча с холерой была у меня при выходе из вагона в Ростове. Подхожу к двери в зал первого класса – и передо мной грохается огромный, толстый швейцар, которого я увидел еще издали, сходя с площадки вагона. Оказалось – случай молниеносной холеры. Во время моей поездки я видел еще два таких случая, а слышал о них часто.

Неделю я провел верхом вдвоем с калмыком, взятым по рекомендации моего старого знакомого казака, который дал мне свою строевую лошадь и калмыка провожатым. В неблагополучных станицах мы не ночевали, а варили кашу и спали в степи. Все время жара была страшная. В редких хуторах и станицах не было разговора о холере, но в некоторых косило десятками, и во многих даже дезинфекция не употреблялась: халатность полная, мер никаких.

В одной из станиц в почтовой конторе во время приема писем упал и умер старший почтовый чиновник, и все разбежались. Пришлось чужому, проезжему человеку потребо-

вать станичное начальство, заставить вынести из конторы тело, а контору запереть, чтобы не разграбили.

Это был второй случай молниеносной холеры. Третий я видел в глухой степи, среди артели косцов, возвращавшихся с полевых работ на родину. Мы ехали по жаре шагом. Впереди шли семеро косцов. Вдруг один из них упал, и все бросились вперед по дороге бежать. Остался только один, который наклонился над упавшим, что-то делал около него, потом бросился догонять своих. Мы поскакали наперерез бежавшим и поймали последнего.

– Что случилось? Что ты взял у него?

– Паспорт и деньги, братеник это мой, чума заела...

Двое вернулись, смело подошли к нам и объяснили, что они воронежские, были на сенокосе, отработали и шли домой. Их было одиннадцать человек, но дорогой четверо умерли.

– От этой самой чумы. Четверо на земле умерли, а этот прямо... шел-шел – хлоп, и готов! Во, его братеник он!

Бледные, дрожат.

Почему они холеру звали чумой – так я и не спросил. Да вообще разговаривать было некогда, да и не к чему – помочь нельзя, ближайший хутор верстах в десяти, как сказал калмык.

Немало таких брошенных трупов валялось по степи. Их присутствие было видно издали по стаям коршунов и воронья...

Я привожу здесь маленький кусочек из этой поездки, но самое описание холерных ужасов интересно было в то время для газетной статьи, а теперь интереснее припомнить кое-что из подробностей тех дней, припомнить то, что уж более никогда не повторится, – и людей таких нет, и быт совсем другой стал.

Как и всегда во всех моих репортерских изысканиях, да вообще во всех жизненных приключениях, и на этот раз мне, как говорится, повезло.

Когда упавшего швейцара унесли, я сел за столик в буфете и заказал яиц всмятку.

Едва я доел последнее яйцо, вырабатывая в голове, с чего и как начать мои исследования,

как ко мне подошел сотник первого казачьего полка, спортсмен, мой старый знакомый и сотрудник «Журнала спорта».

– Владимир Алексеевич, где путь держите?

Истый казак, несмотря на столичную культуру, сказался в нем. Ведь ни один казак никогда не спросит, куда едете или идете, – это считается неприличным, допросом каким-то, – а так, как-нибудь стороной, подойдет к этому. Слово же «куда» прямо считается оскорблением.

«Куда идешь?» – спросит кто-нибудь, не знающий обычаев, у казака.

И в ответ получит ругань, а в лучшем случае скажут:

«Закудыкал, на свою бы тебе голову!..»

Если же встречаются друзья, которым друг от друга скрывать нечего, то разрешается любопытствовать:

«Где идете (или едете)?»

В ответ на его вопрос я рассказываю ему цель своей поездки: осмотреть холеру в степи, по станицам и хуторам, а потом заехать в Новочеркасск и взять официальные данные о ходе эпидемии.

– И надумал я нанять пару лошадей, доехать до одной станицы, конечно, составив предварительно маршрут, в станице снова нанять лошадей до следующей, и так далее, и закончить Новочеркасском.

– Так. Только едва ли закончите Новочеркасском, как бы в степи не побывшиться... Ведь в тех же телегах, на которых вы будете ездить, и холерных возят... Долго ли до греха...

– Что же делать?

– Что делать? А вот сперва выпить хорошего вина, а потом оно и покажет, что делать... А дело-то простое. Сейчас едем ко мне на хутор: там у меня такой третьегодний самодав – пальчики оближешь! Да и старые вина есть первосортные, – отец сам давит... Вот уж выморозки так выморозки – ум проглотить! Ни у Соколова, ни у Меркуловского ничего подобного!

– Это очень завлекательно, но ведь у меня дело важное. Сейчас я наметил первым делом в город – купить бурку, чайник медный и кое-что из съестного...

– Так. И чайник, и бурку, и казанок с трено-

гой, и суму переметную пойдем купим. До поезда еще часа два. А потом в вагон и ко мне на хутор, а маршрут мы вам с отцом составим, он все знает.

Пошли за покупками.

– А ведь вам везет! – сказал он дорогой.

– В чем?

– Да вот хоть в этом! Я уж все обдумал, и выйдет по-хорошему. На ваше счастье мы встретились: я и в город-то случайно, по делу, приезжал – безвыходно живу на хуторе и хозяйствую. Я уж год как на льготе. Пару кровных кобыл купил... свой табунок, виноградничек... Пухляковский виноград у меня очень удался ныне. Да вот увидите. Вы помните моего старого Тебенька, на котором я в позапрошлом году офицерскую скачку взял? Вы его хотели еще в своем журнале напечатать...

– Хорошо помню – караковый полукровок, от Дирбоя.

– Три четверти кровный! Вот на нем-то вы и поедете по степям. Плохому ездоку не дал бы, а вам с радостью! Из всякой беды вынесет.

– Ну, а как же... – заикнулся я, но он меня перебил:

– Да вот так же, вам всегда везет, и сейчас тоже! Вчера приехал ко мне мой бывший денщик, калмык, только что из полка отпущенный на льготу! Прямо с поезда, проездом в свой улус, прежде ко мне повидаться, к своему командиру... Я еду на поезд – а он навстречу на своем коне... Триста монет ему давали в Москве – не отдал! Ну, я велел ему дожидаться, – а вышло кстати... Вот он вас проводит, а потом и мою лошадь приведет... Ну, как, довольны? – и хлопнул меня по плечу.

– Счастлив! Александр... Александр...

– Ну, уж вы меня попросту, как отец зовет, Санькой! Ты, мол, Санька!

– Ну ладно, спасибо тебе, Саня!

* * *

На полустанке нас ждала пара прекрасных золотистых полукровок в тачанке, и на козлах, рядом с мальчуганом-кучером, в полной казачьей форме калмык. Он спрыгнул и вытянулся.

– Здравствуй, Ваня! Хорошо, что дождался, а я хочу тебе на неделю службу дать.

– Рад стараться, ваше благородие.

Дорогой мы все переговорили. Я спросил у

калмыка его имя.

– Иван, – так меня, когда я в денщики к их благородию поступил, они меня назвали, и весь полк так звал! – очень чисто, почти без акцента ответил мне калмык.

Двое суток я прожил у милых казаков. Старик, участник турецкой кампании на Балканах, после серьезной раны безвыходно поселился на хуторе и хозяйствовал. Его дом был полная чаша, а жена, красавица с седыми кудрями, положительно закармила меня. Такого каймака я никогда и нигде не ел! Отец угощал удивительными десятилетними наливками и старыми винами, от которых голова свежая, сиди за столом и пей, только встать не пробуй – ноги не слушаются! Сначала отец как-то поморщился, узнав, что сын дает мне своего Тебенька, но когда на другой день мы устроили кавалькаду и я взял на нем два раза ограду, – он успокоился, и мы окончательно подружились. Я фотографировал группы семьи – вся семья только трое: отец, мать и холостой Саня, – потом снял калмыка, а потом... Вот я о чем жалел, когда выехал на холеру, – забыл у них свой кодак, засунув его

в книги, и получил его почтой в Москву вместе с чудным окороком и гусиными копчеными полотками. (В кодаке было снято пять пластинок – в том числе был и калмык.)

«А вина и наливки пришлю после, с какой-нибудь оказией, а то эти подлецы на почте не приняли, и пришлось Саньше посылку перекупоривать», – было в письме от старика.

И действительно, зимой прислал!

А как хлопотала сама хозяйка, набив сумку съестным, – а главное, что больше всего пригодилось, – походными казачьими колобками, внутри которых находилось цельное круто испеченное яйцо! Была ветчина малосолевая, пшено, рис, чудное сало, запас луку и чесноку. А каким великолепным поваром оказался мой калмык, питавший меня ежедневно в обед и в ужин кулешом, в который валил массу луку и чесноку – по рекомендации моих хозяев, против холеры лучшее средство. О напитках тоже позаботились. И, напутствуя меня, когда я уже был готов к отъезду, старый казак надел мне на шею большой медный крест на шелковом гайтане.

– Против холеры первое средство – медь на

голом теле... Старинное средство, испытанное![1]

Вспомнил я, что и старые бурлаки во время холеры в Рыбинске носили на шее и в лаптях, под онучами, медные старинные пятаки.

Приняв от него это благословение, я распрощался с милыми людьми, – и мы с Иваном очутились в выгоревшей, пыльной степи... Дальнейшие подробности со всеми ужасами опускаю, – да мне они уж и не казались особенными ужасами после моей командировки несколько лет тому назад за Волгу, в Астраханские степи, на чуму, где в киргизских кибитках валялись разложившиеся трупы, а рядом шевелились черные, догнивающие люди, И никакой помощи ниоткуда я там не видел!

Насмотрелся я картин холеры, исписал три записные книжки.

* * *

Мы стали приближаться к Новочеркасску. Последнюю остановку я решил сделать в Старочеркасске, – где, как были слухи, много заболело народу, особенно среди богомольцев, – но не вышло. Накануне, несмотря на прекрасное питание, ночлеги в степи и осто-

рожность, я почувствовал недомогание, и какое-то особо скверное: тошнит, голова кружится и, должно быть, жар.

Я ничего не сказал калмыку, а только заявил, что завтра поедем прямо в Новочеркасск, а в Старочеркасск заезжать не будем, хотя там висят на паперти собора цепи Стеньки Разина, которые я давно мечтал посмотреть. А слышал я о них еще во времена моей бродяжной жизни, в бессонные ночи, на белильном заводе, от великого мастера сказки рассказывать, бродяги Суслика, который сам их видал и в бывальщине о Степане Тимофеиче рассказывал, как атамана забрали, заковали, а потом снова перековали и в новых цепях в Москву повезли, а старые в соборе повесили для устрашения...

Если я не поехал посмотреть эти цепи, так значит, уж мне плохо пришлось! Я даже отказался, к великому горю Ивана, ужинать и, по обыкновению завернувшись в бурку, седло под голову, лег спать, предварительно из фляги потянув полыновки и еще какой-то добавленной в нее стариком спиртуозной, очень вкусной смеси.

Ночь была теплая, и я проснулся утром, когда солнце взошло. Голова кружилась, тошнило. Наконец я сказал Ивану, который уже вскипятил чай:

– Уж не холера ли со мной? Ведь со вчерашнего дня!

– Никак нет, ваше благородие, а впрочем, все может быть! Только это ничего – пропотеть, и все пройдет! Напьемся чайку.

Он и о себе и обо мне одинаково говорил «мы» – чисто денщицкая привычка.

«Что нового?» – спросили денщика одного полкового адъютанта.

«Есть новость! Так что мы с барином женимся, его благородие полковнику дочку за сватали»...

– Напьемся чайку напополам с вином (которого он и в рот не брал), а потом наденем на себя бурку да наметом, наметом, пока сквозь не промокнем, – и всякая боль пройдет! К Черкасску здоровы будем!

А меня дрожь пробирает и тошнит.

Поседлал Иван, туго затянул подпруги – и ахнули мы с ним вместе широким наметом – только ветер свистит кругом да голову отво-

рачиваешь! Давно я так не скакал, а без тренировки задыхаешься. Да еще слабость...

Иногда, когда Иван отставал, я сдерживал моего Тебенька, – но сын славного Дир-боя, отмахав верст двадцать, был свеж, только фырчит, ноздри раздувает, а повода не спускает, все попрашивает. И у калмыка хорош конь – тоже свеж.

– Он от Подкопаевского Тумана... Лошади цены нет, – хвалился Иван.

Я был мокрый насквозь, но чувствовал себя бодро.

– Ваня, а ведь я здоров!

– Пропотел – и здоров. Это «она» была с вами! Ляг только – застынешь и умрешь!.. Может, кашу сварить?

– Нет уж, не стоит...

– Так винца выпейте!

Через час мы были в Новочеркасске, у подъезда «Европейской гостиницы», где я приказал приготовить номер, а сам прямо с коня отправился в ближайший магазин, купил пиджачную пару, морскую накидку, фуражку и белье. Калмык с лошадьми ждал меня на улице и на все вопросы любопытных не

отвечал ни слова, притворяясь, что не понимает. Вымуштрованный денщик был – и с понятием!

* * *

До сего времени не знаю, был ли это со мной приступ холеры (заразиться можно было сто раз) или что другое, но этим дело не кончилось, а вышло нечто смешное и громкое, что заставило упомянуть мою фамилию во многих концах мира, по крайней мере в тех, где получалась английская газета, выходящая в миллионах экземпляров.

Отпустив калмыка, я напился чаю и первым делом пошел в редакцию газеты «Донская речь», собрать кое-какие данные о холере. Газета подцензурная, и никаких сведений о холере, кроме кратких, казенных, в ней не было. Чтобы получить подробные официальные сведения о ходе холеры во всей области, мне посоветовали обратиться в канцелярию наказного атамана. Между прочим, шутя я рассказал в редакции о том, как меня калмык от холеры вылечил.

Я отправился в канцелярию, и только вышел, встречаю знакомого генерала А. Д. Мар-

тынова, начальника штаба, в те дни замещавшего наказного атамана, бывшего в отпуску. Я ему сказал, что иду в канцелярию за справками.

– Не беспокойтесь, все у меня в руках, все будет сделано, а теперь ко мне завтракать; мне карачаевских барашков привезли да икры ачуевской!

– С удовольствием!

– Вы из Москвы? Ну, как там?

Не успел я ответить, как из-за угла выскочили два бешено мчавшихся всадника – офицер и казак.

– Стой! – крикнул казаку офицер, на всем скаку посадил на задние ноги коня, казак на лету подхватил брошенные поводья, а офицер, вытянувшись в струнку, отрапортовал генералу:

– Сейчас я остановил поезд-шахтерку на посту. Обошел все вагоны, нашел троих холерных, высадил их и отправил в холерный барак.

– Подальше, подальше, Василий Иванович, а то еще холеру принесете. Поезжайте переденьтесь!

А сам назад пятится.

– Слушаю, ваше превосходительство! – откозырял офицер, прямо с земли, без стремени прыгнул в седло и умчался с казаком.

– Это Власов! Наш полицмейстер, отчаянная голова... Да! Да! Вы из Москвы сейчас?

– Нет, из степи! – И я рассказал ему сделанный мной маршрут, украсив его виденными картинами.

Изменился еще больше, чем от рапорта Власова, генерал:

– Так это вы из самого очага холеры?! Посмотрел на часы.

– Знаете? Ведь мы опоздали! Уж второй час, а я думал – двенадцать! Пойдемте завтракать в «Ротонду», у меня дома, я думаю, позавтракали.

А сам все жметя от меня. Пришли в городской сад, в «Ротонду», где я за завтраком рассказал, какие мне надо получить сведения.

– Канцелярия не даст! И я ничего не могу сделать – о шествии холеры мы даже в Петербург сообщаем в пакетах с подписью «совершенно секретно»... Циркуляр строжайший, а главное, чтобы в печать не попало!

Из ресторана я пришел в номер, купив по пути пачку бумаги. Я решил прожить два дня здесь, на свободе привести в порядок мои три сплошь исписанные записные книжки, чтобы привезти в Москву готовые статьи, и засел за работу.

После обеда, на другой день, я опять был в «Донской речи», и редактор мне подал гранку «Калмыцкое средство от холеры», перекрещенную красными чернилами.

В двадцати строках рассказано происшествие с корреспондентом «Русских ведомостей», – далее полностью мои инициалы и фамилия. Точь-в-точь как было!

Гранку эту отдали мне, и по приезде в Москву я показал ее – и все много смеялись.

В числе видевших гранку был репортер «Петербургского листка» И. М. Герсон.

Дня через три вдруг я вижу в этой газете заметку «Средство от холеры» – по цензурным условиям ни о Донской области, ни о корреспонденте «Русских ведомостей» не упоминалось, а было напечатано, что «редактор журнала «Спорт» В. А. Гиляровский заболел холерой и вылечился калмыцким средством: на

лошади сделал десять верст галопа по скаковому кругу – и болезнь как рукой сняло».

Прошло недели две. В редакции «Русских ведомостей» заведующий иностранными газетами А. Е. Крепов преподнес мне экземпляр газеты, в которой была перепечатана эта заметка из «Петербургского листка».

Еще в некоторых иностранных газетах появился перевод заметки из «Петербургского листка» – так тогда заграница интересовалась холерой!

Это курьез из моей репортерской поездки, но она дала мне и нечто более серьезное.

* * *

За полгода до моей поездки на холеру, в Москве, на одной из студенческих тайных вечеринок в пользу Донского землячества, я прочел мою поэму «Стенька Разин».

Поэма эта как запрещенная всегда имела у молодежи успех, а у донцов особенный. Во время обычных танцев после программы на эстраде я отдыхал в буфете. Ко мне подошел знакомый композитор и музыкальный хроникер Грабовский и попросил разрешения представить мне свою жену, донскую казач-

ку, которая очень заинтересовалась поэмой. Познакомились. Она рассказала, что ее отец известный на Дону педагог, теперь уже живущий на пенсии, еще будучи студентом и учителем в станице, много работал по собиранию материала о Стеньке Разине, и если я позволю ей переписать это стихотворение для ее отца, то доставлю ему нескончаемое удовольствие.

– Мне думается, что если бы вы с ним повидались, то от него получили бы, наверное, много неизвестных данных. Так, например, я помню, отец всегда говорил, что казнь Разина была не на Красной площади, как пишут историки, а на Болоте.

Я удивился – в первый раз слышу!

– Он очень счастлив будет получить поэму о его любимом герое. А если будете на Дону – повидайте его обязательно!

Я записал адрес и обещал прислать стихи, но как-то, за суетой, так и не послал.

* * *

Сидя третий день в номере «Европейской гостиницы», я уже кончал описание поездки, но вспомнил о цепях Стеньки Разина, и тут

же пришло на память, что где-то в станице под Новочеркасском живет известный педагог, знающий много о Разине, что зовут его Иван Иванович, а фамилию его и название станицы забыл.

Я отправился на счастье в «Донскую речь», – может быть, там знают известного педагога Ивана Ивановича и помнят его фамилию. В кабинете редактора были еще два сотрудника.

– Какой у вас на Дону есть известный педагог Иван Иванович? Я его фамилию забыл!

– Иван Иванович? – в один голос сказали все трое. – Да мы все трое ученики его... Он воспитал три поколения донцов. Кто не знает нашего любимого учителя!.. Инспектор реального училища! Теперь на пенсии!

И с какой любовью они рассказывали об этом старике!

Иван Иванович из простых казаков. Кончил гимназию, кончил математический факультет Харьковского университета, и, как лучшему выпускнику, ему предложено было остаться при университете, но он отказался:

«У нас на Дону ученые нужнее!»

Вернулся на Дон и поступил на службу народным учителем в станице. И долго он был народным учителем, а потом наконец перешел учителем в гимназию в Новочеркасск, а затем, много-много лет прослужив учителем математики, получил место инспектора реального училища, продолжая в нем и преподавание. Он пользовался общей любовью всего Дона, ученики чуть не молились на него, начальство уважало его за знания и за исключительную честность, но невзлюбил его наказной атаман Святополк-Мирский, присланный на эту должность из Петербурга.

«Святополк-Окаянный», – звали его все донцы, ненавидя за всевозможные пакости.

На несчастье Ивана Ивановича, в реальном училище учились два племянника Святополка, франтики и лентяи. Иван Иванович два года подряд оставлял их в одном и том же классе, несмотря на то, что директор, по поручению Святополка, просил Ивана Ивановича поставить им на выпускном экзамене удовлетворительный балл:

«Родственники атамана! Надо сделать!»

«Для меня все ученики равны, а до того,

что им атаман – родственник, мне нет дела!»

И вкатил им по двойке. Пришлось им выйти из училища, но пришлось выйти из училища и Ивану Ивановичу...

Как уж там атаман устроил – любимца-педагога уволили с крохотной пенсией.

Все возмутились, но сделать ничего нельзя было. Отозвались тем, что начали ему наперебой давать частные уроки, – и этим он существовал, пока силы были. Но пришла старость, метаться по урокам сил нет, семьяща – все мал мала меньше... В нужде живет старик в своем домишке в станице Персияновка.

– Спросите там Ивана Ивановича – всякий укажет!

Тут я и станицу вспомнил, записанную в потерянном мной адресе: Персияновка!

Через час извозчик привез меня в станицу верстах в десяти от города.

Я застал старика с большой седой бородой, в одной рубахе и туфлях, с садовым ножом в руках за обрезкой фруктовых деревьев в прекрасном садике. Я передал ему поклон от дочери и рассказал о цели моего приезда.

– Рад, очень рад! А вот первым делом пой-

дем обедать, слышите – зовут, а после обеда и поговорим.

Старик представил меня жене, пожилой, но еще красивой южной, донской красотой. Она очень обрадовалась поклону от дочери. За столом сидели четыре дочки лет от четырнадцати и ниже. Сыновей не было – старший был на службе, а младший, реалист, – в гостях. Выпили водочки – старик любил выпить, а после борща, «красненьких» и «синеньких», как хозяйка нежно называла подонскому помидоры, фаршированные рисом, и баклажаны с мясом, появилась на столе и бутылочка цимлянского.

Когда дети ушли, начался наш разговор.

Я прочел отрывки из моей поэмы, причем старушка не раз прослезилась, а Иван Иванович тоже расчувствовался и сказал:

– Превосходно! Это, пожалуй, лучшее из всего, что я читал о Разине. Только позвольте мне указать на некоторые детали. Повторите мне первые строки казни.

Читаю:

*...Утро ясно встает над Москвою,
Солнце ярко кресты золотит,*

*И народ еще с ночи толпою
К Красной площади, к казни спе-
шит...*

– Вот тут историческая неверность, впро-
чем, – сказал он, – утвержденная нашими уче-
ными историками; на самом деле Разин каз-
нен не на Красной площади, а на Болоте. Я
могу утверждать это. Со студенческой скамьи
и в первые годы учительства, холостым еще,
я страстно увлекся двумя нашими героями –
Разиным и Булавиным, а потом и потерпел за
это увлечение – был под надзором, и все рабо-
ты мои пропали. Вот она знает кое-что... На
мою карьеру повлияло: сколько лет в городе
места не давали. Разин-то еще не так, а вот
особенно за Булавина досталось. Больше Ра-
зина его боялись! Да и о Стеньке песни толь-
ко в степях певали, а в училищах строго за-
прещалось! Вот тогда еще узнал я о казни на
Болоте – рылся у нас в архивах, хотел в Моск-
ву ехать, куда донские дела того времени бы-
ли от нас отосланы, а как случилась беда – все
бросил! Вот сейчас с вами в первый раз разго-
вариваю о нем.

И много мне Иван Иванович рассказал из

преданий, сохранившихся в семьях потомков разинцев, хранивших эти предания от своих дедов, прадедов, участников разинского бунта, присутствовавших при казни, видевших, как на Болоте четвертовали их атамана и как голову его на высокий шест, рядом с помостом, поставили на берегу Москвы-реки.

– Тогда, перед казнью, много наших донцов похватали! Приехали они в Москву атамана спасать. Похватали и сослали кого в Соловки, кого куда. Уж через пять лет, когда воцарился Федор, вернули, и многие из них шли через Москву и еще видели на шесте, против Кремля, на Болоте, голову своего атамана.

Назвал он мне несколько фамилий, где еще живы предания меж стариков.

– Только вряд ли старики говорить будут. Опасаются чужих людей. Есть и прямые потомки Разина.

Пришли дети к чаю и перебили как раз на этих словах наш разговор. При детях старик об этом не говорил.

* * *

Потом, на закате, на скамейке в саду он жалел, что пропали все песни и сказы о Рази-

не, которые он собрал.

– Особенно жаль одну былину, в Пятиизбянской станице я ее записал: о голове Стеньки, которая в полночь с Москвой-рекой разговаривает о том, что опять Разин явится на земле и опять поведет народ.

Я хотел уехать с почтовым поездом, – станция была рядом, – но он оставил меня ночевать и много-много рассказывал из донской старины. По его просьбе я раза три прочел ему поэму и обещал ее прислать.

Прощаясь, он сделал еще замечание:

– Да вот еще Фролка. У вас его казнили вместе с атаманом. Это неправда. Его отвели в тюрьму и несколько лет пытали и допрашивали, где Степан клады зарыл. Возили его сыщики и по Волге, и к нам на Дон привозили. Старики в Кагальнике мне даже места указывали, где Фролка указывал. Места эти разрывали, но нашли ли что, никто не знает, тайно все делалось. Старики это слыхали от своих дедов очевидцев.

У казаков, с издревле и до последнего времени, говорится не Степан Разин, а Стенька. Это имя среди казаков почетнее.

«Стенька, Фролка – это пережиток старого, это позорящие имена. Надо говорить Степан, Фрол», – нередко приходится слышать такие замечания.

Это неверно. По-староказацки Стенька, Фролка – почетно. Такое прозвище заслужить надо.

Старинная песня пела про атамана, что «на том струге атаман сидит, что по имени Степан Тимофеевич, по прозванию Стенька Разин сын».

Это же было и с его предшественником, другим Тимофеевичем, Ермаком. Ермак – прозвание, его имя было Ермил. «Атаманом быть Ермилу Тимофеевичу», – поют в одной песне. В другой Ермак о себе: «Я шатался, мотался, Ермил, разбивал я, Ермил, бусы-корабли». Это было в донской его период, а потом, когда он на Волге и в Сибири прославился, – из Ермила стал Ермаком. На Дону и на низовьях Волги это было особенно в моде.

У Л. Н. Толстого в «Казаках» есть Ерошка. На самом деле это был удалец, герой, старый казак Епифан Сехин, но его из почтения звали дядя Епишка.

Когда его племянник, сын его брата Михаила, Димитрий Сехин, войсковой старшина, был в гостях в Ясной Поляне и назвал Льва Николаевича графом, – тот обиделся. Тогда Сехин стал его звать «Лев Николаевич».

«Нет, вы меня попроще, по-гребенскому. Как бы меня, старика, там вы звали?»

«Как самого почтенного человека – дядя Левка».

«Ну вот и хорошо, дядя Левка и зовите».

Многие незнающие редакторы исправляют Стеньку на Степана. Это большая и обидная ошибка: Стенька Разин – это почетно. Стенька Разин был один, а Степанов много...

– Поройтесь в московских архивах и летописях того времени! – посоветовал мне на прощанье Иван Иванович.

* * *

Я записал рассказы старика и со скорым поездом выехал в Москву, нагруженный материалами, первое значение, конечно, придавая сведениям о Стеньке Разине, которых никогда бы не получил, и если бы не был репортером, легенда о Красной площади жила бы нерушимо и по сие время.

Вернувшись, я первым делом поблагодарил дочь Ивана Ивановича за знакомство с отцом, передал ей привет из дома и мою тетрадь со стихами, где был написан и «Стенька Разин». Стихи она впоследствии переписала для печати. В конце 1894 года я выпустил первую книгу моих стихов «Забытая тетрадь».

Но, издавая книгу, я, не имея документальных данных, напечатал о казни Стеньки Разина на Красной площади и вскоре, проездом на Дон, лично вручил мою книгу Ивану Ивановичу.

– Все-таки на Красной площади? – улыбнулся он.

– Да, не хотел пока идти против всех. Ведь и в песнях о Разине везде поют, что

*В Москве на Красной площади
Отрубили ему буйну голову!*

– Ну, конечно, так красивее! А все-таки!..

Он так много рассказал мне, что во втором издании «Забытой тетради», в 1896 году, я сделал ряд изменений в поэме и написал:

*...А народ еще с ночи толпою
К месту казни шумливо спешит.*

– Вот насчет Фролки... Ну это так, для стиха хорошо:

*Изрубили за ним есаула,
На кол головы их отнесли... —*

читает он по книжке. – О, все-таки поройтесь в архивах!

– Да я уж пробовал, Иван Иванович! Обратился к самому главному начальнику с просьбой поискать материалов по бунту Разина для литературной работы, но его превосходительство так меня пугнуло, что я отложил всякие попытки.

«Прославлять вора, разбойника, которого по церквам проклинаяют!»

Горячилось его превосходительство, двигая вставными челюстями, и грозило принять какие-то меры против меня лично, если я осмелюсь искать материалы.

«Пока я жив, и вообще пока существует цензура, – этого не будет. Пока...»

Я не дал ему договорить, повернулся и, уходя, сказал: «Подождем, ваше превосходительство!»

Расхохотался Иван Иванович, хлопнул ме-

ня по плечу и ласково сказал:

– Дождешься, еще молод... Дождешься!

* * *

Я вернулся в Москву из поездки по холерным местам и сдал в «Русские ведомости» «Письмо с Дона», фельетона на три, которое произвело впечатление на В. М. Соболевского и М. А. Саблина, прочитавших его при мне. Но еще более сильное впечатление произвели на меня после прочтения моего описания слова Василия Михайловича:

– Удивительно интересно написано, но нельзя печатать!

И он показал циркуляр, запрещающий писать о холере.

* * *

Я не любил работать в редакции – уж очень чинно и холодно среди застегнутых черных сюртуков, всех этих прекрасных людей, больших людей, но скучных. То ли дело в типографии! Наборщики – это моя любовь. Влетаешь с известием, и сразу все смотрят: что-нибудь новое привез! Первым делом открываю табакерку. Рады оторваться от скучной ловли букашек. Два-три любителя – по-

том я их развел много – подойдут, понюхают табаку и чихают. Смех, веселье! И метранпаж рад – после минутного веселого отдыха лучше работают.

– Что нового принесли? – любопытствует метранпаж И. П. Яковлев.

– Да вот, буду сдавать, Иван Пафнутьич.

И бегу в корректорскую. Пишу на узких полосках, отрываю и по десяти строчек отсылаю в набор, если срочное и интересное известие, а время позднее. Когда очень эффектное – наборщики волнуются, шепчутся, читают кусочками раньше набора. И понятно: ведь одереveneешь стоять за пахучими кассами и ловить, не глядя, освинцованными пальцами яти и еры, бабашки и лапочки или выскребать неуловимые шпации...

Тогда еще о наборных машинах не думали, электричества не было, а стояли на реалах жестяные керосиновые лампы, иногда плохо заправленные, отчего у наборщиков к утру под носом было черно... Пахнет копотью, керосином, свинцовой пылью от никогда не мытого шрифта.

Как же не обрадовать эту молчаливую

рать тружеников! И бросишь иногда шутку или экспромт, который тут же наберут потихоньку, и заходит он по рукам. Рады каждой шутке. Прямо, как войдешь, так и видишь, что набирают что-нибудь нудное: или передовую, или отчет земского заседания, или статистику. А то нервничают с набором неразборчивой рукописи какого-нибудь корифея. Особенно ругались, набирая мелкие и неясные рукописи В. И Немировича-Данченко. Специально для него имелись два наборщика, которые только и привыкли разбирать его руку. Много таких «слепых» авторов было, и бегают наборщики друг к другу:

– Чего это накарябано – не разберу?

Жаль смотреть в такие вечера на наборщиков, и рады они каждому слову.

– Что новенького, Владимир Алексеевич? – И смотрят в глаза.

Делаешь серьезную физиономию, показываешь бумажку:

– Генерал-губернатор князь Долгоруков сегодня... оценился!

И еще серьезнее делаешь лицо. Все оторопели на миг... кое-кто переглядывается в

недоумении.

– То есть как это? – кто-то робко спрашивает.

– Да вот так, взял да и оценился! Вот, глядите, – показываю готовую заметку.

– Да что он, сука, что ли? – спрашивает какой-нибудь скептик.

– На четырех лапках, хвостик закорючкой! – острит кто-то под общий хохот.

– Четыре беленьких, один рыжий с подпалинкой!

– Еще слепые, поди! – И общий хохот.

А я поднимаю руку и начинаю читать заметку. По мере чтения лица делаются серьезными, а потом и злыми. Читаю:

«Московский генерал-губернатор ввиду приближения 19 февраля строжайше воспрещает не только писать сочувственные статьи, но даже упоминать об акте освобождения крестьян».

Так боялась тогда администрация всякого напоминания о всякой свободе!

Слово «оценился» вошло в обиход, и, получая статьи нелюбимых авторов, наборщики говорили:

– Этот еще чем оценился?

Спустя долгое время я принес известие об отлучении Л. Н. Толстого от церкви и объявил в наборной:

– Победоносцев оценился!

– Ну, уж в это не поверим! – слышалось из угла.

– Ну, опоросился! – крикнули из другого.

– Вот это вернее! – И опять общий хохот.

Любили стихи наборщики. В свободные минуты просили меня прочесть им что-нибудь, и особенно «Стеньку Разина». Когда же справляли 25-летний юбилей метранпажа А. О. Кононова, то ко мне явилась депутация от наборной с просьбой написать ему на юбилей стихи, которые они отпечатали на плотной бумаге с украшением и поднесли юбиляру.

Я написал:

*В жизни строгой и суровой,
Труд поставив за кумир,
Был ты в армии свинцовой
Четверть века командир.
Некрасивы, молчаливы
Эти полчища солдат.
Четверть века ты на диво*

Выставлял их в стройный ряд.
Чуть лишь полчище готово,
Вмиг солдаты оживут, —
Воплощал в живое слово
У станка безмолвный труд...
Тяжким воздухом свинцовым
Четверть века ты дышал,
Был всегда к труду готовым,
День работал, ночь не спал.
Велика твоя заслуга:
Средь рабочей суеты
Для чужого и для друга
Был всегда отзывчив ты.
С честью званье человека
Носишь в жизни ты своей...
Счастлив будь! Чрез четверть ве-
ка
Справим новый юбилей!

Стихотворную мою шутку на пьесу Л. Н. Толстого «Власть тьмы» в день ее первой постановки на сцене разнесли по Москве вмиг. На другой вечер всюду слышалось:

*В России две напасти:
— Внизу — власть тьмы,
А наверху — тьма власти...*

* * *

Весело было в наборной и корректорской! К двенадцати часам ночи, если не было в Москве какого-нибудь особо важного случая, я всегда в корректорской. Здесь в это время я писал срочные заметки для набора и принимал моих помощников с материалом. Я приспособил сотрудничать небольшого чиновника из канцелярии обер-полицмейстера, через руки которого проходили к начальству все экстренные телеграммы и доклады приставов о происшествиях. Чиновник брал из них самый свежий материал и ночью приносил мне его в корректорскую. Благодаря ему мы не пропускали ни одного интересного события и обгоняли другие газеты, кроме «Московского листка», где Н. И. Пастухов имел другого такого чиновника, выше рангом, к которому попадали все рапорты раньше и уже из его рук к младшему, моему помощнику. У меня был еще сотрудник, Н. П. Чугунов, который мнил себя писателем и был о себе очень высокого мнения, напечатав где-то в провинции несколько сценок. У меня же он ограничивался ежедневным доставлением из типографии «Полицейских ведомостей», в которых сооб-

щалось о приехавших и выехавших особах не ниже четвертого класса. Безобидный, мирный, громадный человечина был Н. П. Чугунов, но я раз шуткой его обидел.

В свободное между заметками время, за чаем, в присутствии корректоров, метранпажа и сотрудников я сказал, что приготовил для издания книгу своих рассказов и завтра несую ее в набор.

– Я тоже готовлю том своих сочинений! – важно заявил Н. П. Чугунов.

– Почему же не два, Николай Петрович, у тебя и на два наберется! Первый том – приехавшие, а второй – выехавшие!

Через год Н. П. Чугунов отомстил мне. Когда моя книга «Трущобные люди» была сожжена, он мне в той же корректорской при всех сказал:

– По нынешним временам выгоднее приехавших и выехавших писать – они мне триста рублей в год дают!

– Правда, Коля! А я вот триста рублей задолжал.

* * *

Товарищество «Русских ведомостей» состо-

яло из двенадцати пайщиков, почему Н. И. Пастухов в своем «Листке» и называл «Русские ведомости» газетой двенадцати братчиков.

– Поди-ка, пойми, – говаривал он, – где у них начинаются либералы и где кончаются обиралы.

По уставу Товарищества полагалось процентное вознаграждение из дивиденда каждому из всех служащих в редакции по расчету получаемого жалованья, так сказать, «участие в прибылях».

С покупкой дома и уплатой старых долгов дивиденда первое время не было, и только на 1890 год он появился в изрядной сумме, и было объявлено, что служащие получают свою долю. И действительно, все получили, но очень мало.

Славные люди были в конторе, служившие еще в старом доме. Ф. В. Головин, главный бухгалтер, тогда еще совсем молодой человек, очень воспитанный, сама доброта и отзывчивость, С. Р. Скородумов, принимавший объявления, Митрофан Гаврилов, строгого солдатского вида, из бывших кантонистов, любимец

газетчиков и наборщиков, две славные, молчаливые барышни, что-то писавшие, – и глава над всем, леденившая своим появлением всю контору, Ю. Е. Богданова, сестра одного из пайщиков, писавшего статьи о банках.

Силу она забрала после смерти общего любимца В. С. Пагануцци, заведовавшего конторой и хозяйством. При нем все было просто, никакой казенщины и канцелярщины.

После В. С. Пагануцци конторой и хозяйством заведовали А. П. Лукин и М. А. Саблин, но я их никогда не видел в конторе. Главенствовала Ю. Е. Богданова. Она имела при конторе маленькую комнатку, поминутно шмыгала из нее в контору: остановится в дверях и смотрит сквозь очки, стриженная, в короткой юбке и черной кофте. Ее появление нервировало служащих. Ф. В. Головин устроился за своей конторкой спиной к ее двери, так же повернул свой стул и невозмутимый М. Г. Гаврилов, а С. Р. Скородумов загородился от ее взоров кучей книг на конторке.

– Чтобы не видеть! От ее глаз руки отваливаются! – говорил он.

Дошло ли это до Юлии Егоровны или уж

просто она чувствовала ненависть старика, но его уволили.

На место его взяли славного юношу, сына Гаврилова, Колю, который служил долго.

Уже после я узнал, как все служащие, получавшие прежде праздничные подарки, ругались за грошовый дивиденд. Больше всех ругались швейцар и кухарка.

– На Рождество трешную допрежь того давали, на Пасху трешную, а теперь, гляди, дивиденд, проваленные, придумали, да вместо шести рублей семьдесят восемь копеек отвалили! Да пропадите вы пропадом! – и ушла с места, не попрощавшись.

А швейцар Леонтий, бывший солдат, читавший ежедневно газету с передовой до объявлений, так в наборной ругался, что теперь я повторить не могу, кроме только одной памятной фразы:

– Пишут одно, а делают другое, ихняя экономическая политика нам в карман лезет!

* * *

Я время от времени заходил в редакцию. Отговорился от заведования отделом и работал эпизодически: печатал рассказы и корре-

спонденции, а по московской хронике ничего не давал.

Иногда заходил в типографию «табаку понюхать», попить чайку в корректорской и поболтать с друзьями-наборщиками. Сама же верхняя редакция мне опротивела чопорностью и холодностью.

Как-то Антон Чехов сказал о «Русской мысли»: «Там сидят копченые сиги!»

Когда я вернулся из весенней зелени степей, зашел в редакцию – будто в погреб попал, и все эти чопорные, застегнутые на все пуговицы члены профессорской газеты показались мне морожеными судаками. Все, чем я так недавно восторгался, особенно в той, первой, редакции, в Юшковом переулке, и здесь, в первые годы, теперь подверглось моему критическому разбору. Все, кроме В. М. Соболевского и Н. И. Бларамберга, да еще А. И. Чупрова, изредка бывавшего в редакции, стали какими-то высокопарными, уселись по отдельным кабинетам. И важны же были эти «мороженые судаки»!

Я стал работать в других газетах, а главным образом весь отдался спорту и конноза-

водству, редактируя, как знаток конского дела, спортивный журнал.

В «Русских ведомостях» изредка появлялись мои рассказы. Между прочим, «Номер седьмой», рассказ об узнике в крепости на острове среди озер. Под заглавием я написал: «Посвящаю Г. А. Лопатину», что, конечно, прочли в редакции, но вычеркнули. Я посвятил его в память наших юных встреч Герману Лопатину, который тогда сидел в Шлиссельбурге, и даже моего узника звали в рассказе Германом. Там была напечатана даже песня «Слушай, Герман, друг прекрасный...».

Об этом знали и говорили только друзья в редакции. Цензуре, конечно, и на ум не пришло.

В 1896 году, перед коронационными торжествами, ко мне приехал М. А. Саблин и от имени редакции просил меня давать для газеты описания событий, связанных с торжествами.

Около двухсот русских и иностранных корреспондентов прибыло к этим дням в Москву, но я был единственный из всех проведенный всю ночь в самом пекле катастрофы, среди

многотысячной толпы, задышавшейся и умиравшей на Ходынском поле.

Накануне народного праздника вечером, усталый от дневной корреспондентской работы, я прямо из редакции «Русских ведомостей» решил поехать в скаковой павильон на Ходынку и осмотреть оттуда картину поля, куда с полудня шел уже народ.

Днем я осматривал Ходынку, где готовился народный праздник. Поле застроено. Всюду эстрады для песенников и оркестров, столбы с развешанными призами, начиная от пары сапог и кончая самоваром, ряд барачков с бочками для пива и меда для дарового угощения, карусели, наскоро выстроенный огромный дощатый театр под управлением знаменитого М. В. Лентовского и актера Форкатия и, наконец, главный соблазн – сотни свеженьких деревянных будочек, разбросанных линиями и углами, откуда предполагалась раздача узелков с колбасой, пряниками, орехами, пирогов с мясом и дичью и коронационных кружек.

Хорошенькие эмалевые белые с золотом и гербом, разноцветно разрисованные кружки

были выставлены во многих магазинах напоказ. И каждый шел на Ходынку не столько на праздник, сколько за тем, чтобы добыть такую кружку. Каменный царский павильон, единственное уцелевшее от бывшей на этом месте промышленной выставки здание, расцвеченное материями и флагами, господствовало над местностью. Рядом с ним уже совсем не праздничным желтым пятном зиял глубокий ров – место прежних выставок. Ров шириной сажень в тридцать, с обрывистыми берегами, отвесной стеной, где глиняной, где песчаной, с изрытым неровным дном, откуда долгое время брали песок и глину для нужд столицы. В длину этот ров по направлению к Ваганьковскому кладбищу тянулся сажень на сто. Ямы, ямы и ямы, кое-где поросшие травой, кое-где с уцелевшими голыми буграми. А справа к лагерю, над обрывистым берегом рва, почти рядом с краем ее, сверкали заманчиво на солнце ряды будочек с подарками.

* * *

Когда я вышел из Чернышевского переул-ка на Тверскую, она кишела гуляющими москвичами, а вереницы рабочего народа с

окраин стремились по направлению к Тверской заставе. Извозчиков по Тверской не пускали. Я взял у Страстного лихача, надел ему на шляпу красный кучерский билет, выданный корреспондентам для проезда всюду, и через несколько минут, лавируя среди стремительных толп, был на скачках и сидел на балконе членского павильона, любуясь полем, шоссе и бульваром: все кишело народом. Гомон и дым стояли над полем.

Во рву горели костры, окруженные праздничным народом.

– До утра посидим, а там прямо к будкам, вот они, рядом!

Оставив павильон, я пошел на Ходынку мимо бегов, со стороны Ваганькова, думая сделать круг по всему полю и закончить его у шоссе. Поле было все полно народом, гулявшим, сидевшим на траве семейными группами, закусывая и выпивая. Ходили мороженщицики, разносчицики со сладостями, с квасом, с лимонной водой в кувшинах. Ближе к кладбищу стояли телеги с поднятыми оглоблями и кормящейся лошадей – это подгородные гости. Шум, говор, песни. Веселье вовсю. Подби-

раясь к толпе, я взял от театра направо к шоссе и пошел по заброшенному полотну железной дороги, оставшейся от выставки: с нее было видно поле на далеком расстоянии. Оно тоже было полно народом. Потом полотно сразу оборвалось, и я сполз по песку насыпи в ров и как раз наткнулся на костер, за которым сидела компания и в том числе мой знакомый извозчик Тихон от «Славянского базара», с которым я часто ездил.

– Пожалуйста рюмочку с нами, Владимир Алексеевич! – пригласил он меня, а другой его сосед уж и стаканчик подает. Выпили. Разговариваем. Я полез в карман за табакеркой. В другой, в третий... нет табакерки! И вспомнилось мне, что я забыл ее на столе в скаковом павильоне. И сразу все праздничное настроение рухнуло: ведь я с ней никогда не расстаюсь.

– Тихон, я ухожу, я табакерку забыл!

И, несмотря на уговоры, встал и повернул к скачкам.

Поле гудело на разные голоса. Белеет небо. Стало светать. Прямо к скачкам пройти было невозможно, все было забито, кругом море

народа. Я двигался посредине рва, с трудом лавируя между сидящими и прибывающими новыми толпами со стороны скачек. Душно было и жарко. Иногда дым от костра прямо окутывал всего. Все, утомленные ожиданием, усталые, как-то стихли. Слышалась кое-где ругань и злобные окрики: «Куда лезешь! Чего толкаешься!» Я повернул направо по дну рва навстречу наплывавшему люду: все стремление у меня было – на скачки за табакеркой! Над нами встал туман.

Вдруг загудело. Сначала вдали, потом кругом меня. Сразу как-то... Визг, вопли, стоны. И все, кто мирно лежал и сидел на земле, испуганно вскочили на ноги и рванулись к противоположному краю рва, где над обрывом белели будки, крыши которых я только и видел за мельтешащимися головами. Я не бросился за народом, упирался и шел прочь от будок, к стороне скачек, навстречу безумной толпе, хлынувшей за сорвавшимися с мест в стремлении за кружками. Толкотня, давка, вой. Почти невозможно было держаться против толпы. А там впереди, около будок, по ту сторону рва, вой ужаса: к глиняной вертикальной сте-

не обрыва, выше роста человека, прижали тех, кто первый устремился к будкам. Прижали, а толпа сзади все плотнее и плотнее набивала ров, который образовал сплошную, спрессованную массу воющих людей. Кое-где выталкивали наверх детей, и они ползли по головам и плечам народа на простор. Остальные были неподвижны: колыхались все вместе, отдельных движений нет. Иного вдруг поднимет толпой, плечи видно, значит, ноги его на весу, не чувт земли... Вот она, смерть неминучая! И какая!

* * *

Ни ветерка. Над нами стоял полог зловонных испарений. Дышать нечем. Открываешь рот, пересохшие губы и язык ищут воздуха и влаги. Около нас мертво-тихо. Все молчат, только или стонут, или что-то шепчут. Может быть, молитву, может быть, проклятие, а сзади, откуда я пришел, непрерывный шум, вопли, ругань. Там, какая ни на есть, – все-таки жизнь. Может быть, предсмертная борьба, а здесь – тихая, скверная смерть в беспомощности. Я старался повернуть назад, туда, где шум, но не мог, скованный толпой. Наконец,

повернулся. За мной возвышалось плотно той же самой дороги, и на нем кипела жизнь: снизу лезли на насыпь, стаскивали стоящих на ней, те падали на головы спяющих ниже, кусались, грызлись. Сверху снова падали, снова лезли, чтобы упасть; третий, четвертый слой на голову стоящих. Это было именно то самое место, где я сидел с извозчиком Тихоном и откуда ушел только потому, что вспомнил табакерку.

* * *

Рассвело. Синие, потные лица, глаза умирающие, открытые рты ловят воздух, вдали гул, а около нас ни звука. Стоящий возле меня, через одного, высокий благообразный старик уже давно не дышал: он задохся молча, умер без звука, и похолодевший труп его колыхался с нами. Рядом со мной кого-то рвало. Он не мог даже опустить головы.

Впереди что-то страшно загомонило, что-то затрещало. Я увидел только крыши будок, и вдруг одна куда-то исчезла, с другой запрыгали белые доски навеса. Страшный рев вдали: «Дают!.. давай!.. дают!..» – и опять повторяется: «Ой, убили, ой, смерть пришла!..»

И ругань, неистовая ругань. Где-то почти рядом со мной глухо чмокнул револьверный выстрел, сейчас же другой, и ни звука, а нас все давили. Я окончательно терял сознание и изнемогал от жажды.

Вдруг ветерок, слабый утренний ветерок смахнул туман и открыл синее небо. Я сразу ожил, почувствовал свою силу, но что я мог сделать, впаянный в толпу мертвых и полуживых? Сзади себя я слышал ржание лошадей, ругань. Толпа двигалась и сжимала еще больше. А сзади чувствовалась жизнь, по крайней мере ругань и крики. Я напрягал силы, пробирался назад, толпа редела, меня ругали, толкали.

Оказалось, что десяток конных казаков разгонял налезавших сзади, прекращая доступ новым, прибывавшим с этой стороны. Казаки за шиворот растаскивали толпу и, так сказать, разбирали снаружи эту народную стену. Это понял народ и двинулся назад, спасая свою жизнь. Я бросился среди убежавших, которым было уже не до кружки и не до подарка, и, вырвавшись, упал около забора беговой аллеи. Я рвал траву и ел, это утоляло

жажду, и я забылся. Сколько времени это продолжалось – не знаю. Когда пришел в себя, почувствовал, что лежу на камне. Полез в задний карман и нашел там табакерку... Я лежал на ней и думал – камень!

– К черту смерть! К черту Ходынка! Вот она где!

Я воскрес, смотрю на сверкающее солнце и сам не верю. Открываю, нюхаю. И всю усталость, весь ужас пережитого как рукой сняло. Я никогда и ничему так не радовался, как этой табакерке. Это был подарок моего отца.

«Береги на счастье», – сказал он мне, даря ее еще в 1878 году, когда я приехал к нему, вернувшись с турецкой войны. И это счастье я чувствовал.

В этот миг я думал только об одном – поспать домой, взять ванну и успокоить своих. Я забыл и газеты и корреспондентскую работу, мне противно было идти на Ходынку. Я бросился по аллее к шоссе мимо стремящихся туда и оттуда толп, галдевших, торопившихся. На мое счастье, из скаковой аллеи выезжал извозчик. Я вскочил на пролетку, и мы поехали по шоссе, кипящему народом. Извоз-

чик мне что-то говорил, но я не понимал, с восторгом нюхал табак, а у Тверской заставы, увидав разносчика с апельсинами, остановил лошадь, схватил три апельсина, взяв деньги из промокшей насквозь от пота пачки новеньких кредиток. Съел сразу два апельсина, а третьим, разорвав пополам, вытер себе пылавшее лицо.

Навстречу громыхали пожарные фуры, шли наряды полиции.

В Столешниковом переулке, расплатившись с извозчиком, я тихо своим ключом отпер дверь квартиры, где все еще спали, и прямо – в ванную; напустил полную холодной воды, мылся, купался.

Несмотря на душистое мыло, все же чувствовалось зловоние. Мое разорванное, провонявшее пальто я спрятал в дрова, прошел в кабинет и через минуту уснул.

В девять часов утра я пил в семье чай и слушал рассказы об ужасах на Ходынке:

– Говорят, человек двести народу передавили! Я молчал.

Свежий и выспавшийся, я надел фрак со всеми регалиями, как надо было по обязанно-

стям официального корреспондента, и в 10 часов утра пошел в редакцию. Подхожу к Тверской части и вижу брандмейстера, отдающего приказание пожарным, выехавшим на площадь на трех фурах, запряженных парами прекрасных желтопегих лошадей. Брандмейстер обращается ко мне:

– Поглядите, Владимир Алексеевич, последние пары посылаю!

И объяснил, что с Ходынки трупы возят.

Я вскочил на фуру без пальто, во фраке, в цилиндре, и помчался. Фуры громыхали по каменной мостовой. Народу полна Тверская.

Против фабрики Сиу, за заставой, повстречались две пожарные фуры, полные покойников. Из-под брезентов торчат руки, ноги и болтается ужасная голова.

Никогда не забыть это покрытое розовой пеной лицо с высунутым языком! Навстречу ехали такие же фуры.

По направлению к Москве плетется публика с узелками и кружками в руках: подарки получили!

У бегущих туда на лицах любопытство и тревога, у ползущих оттуда – ужас или безраз-

личие.

* * *

Я соскочил с фуры: не пускают. Всемогущий корреспондентский билет дает право прохода. Я иду первым делом к наружной линии будок, которые на берегу рва, я их видел издали утром из-под насыпи. Две снесены, у одной сорвана крыша. А кругом – трупы... трупы...

Описывать выражение лиц, описывать подробности не буду. Трупов сотни. Лежат рядами, их берут пожарные и сваливают в фуры.

Ров, этот ужасный ров, эти страшные волчьих ямы полны трупами. Здесь главное место гибели. Многие из людей задохлись, еще стоя в толпе, и упали уже мертвыми под ноги бежавших сзади, другие погибли еще с признаками жизни под ногами сотен людей, погибли раздавленными; были такие, которых душили в драке, около будочек, из-за узелков и кружек. Лежали передо мной женщины с вырванными косами, со скальпированной головой.

Многие сотни! А сколько еще было таких, кто не в силах был идти и умер по пути до-

мой. Ведь после трупы находили на полях, в лесах, около дорог, за двадцать пять верст от Москвы, а сколько умерло в больницах и дома! Погиб и мой извозчик Тихон, как я узнал уже после.

* * *

Я сполз вниз по песчаному обрыву и пошел между трупами. В овраге они еще лежали, пока убирали только с краев. Народ в овраг не пускали. Около того места, где я стоял ночью, была толпа казаков, полиции и народа. Я подошел. Оказывается, здесь находился довольно глубокий колодец со времен выставки, забитый досками и засыпанный землей. Ночью от тяжести народа доски провалились, колодец набился доверху рухнувшими туда людьми из сплошной толпы, и когда наполнился телами, на нем уже стояли люди. Стояли и умирали. Всего было вынуто из колодца двадцать семь трупов. Между ними оказался один живой, которого только что перед моим приходом увели в балаган, где уже гремела музыка.

Праздник над трупами начался! В дальних будках еще раздавались подарки. Программа

выполнялась: на эстраде пели хоры песенников и гремели оркестры.

У колодца я услышал неудержимый смех. Вынутые трупы лежали передо мной, два в извозничьих халатах, и одна хорошо одетая женщина с изуродованным лицом была на самом верху – лицо ногами измято. Сначала из колодца достали четверых мертвых, пятый был худощавый человек; оказался портной с Грачевки.

– Живой этот! – кричит казак, бережно поднимая его кверху из колодца. Поднятый шевелил руками и ногами, глубоко вздохнул несколько раз, открыл глаза и прохрипел:

– Мне бы пивца, смерть пить хотца! И все расхохотались.

Когда мне это рассказывали, тоже хохотали.

Нашли офицера с простреленной головой. Тут же валялся револьвер казенного образца. Медицинский персонал ходил по полю и подавал помощь тем, у кого были признаки жизни. Их развозили по больницам, а трупы на Ваганьково и на другие кладбища.

* * *

В два часа я уже был в редакции, пришел в корректорскую и сел писать, затворив дверь. Мне никто не мешал. Закончив, сдал метранпажу на набор. Меня окружили наборщики с вопросами и заставили прочитать. Ужас был на всех лицах. У многих слезы. Они уже знали кое-что из слухов, но все было туманно. Пошли разговоры.

– На беду это! Не будет проку в этом царствовании! – самое яркое, что я слышал от старика наборщика. Никто не ответил на его слова, все испуганно замолчали... и перешли на другой разговор.

Метранпаж сказал:

– Надо подождать редактора!

– Наберем! Давай набирать! – закричали наборщики.

– В гранках редактор прочтет! – И десятки рук потянулись к метранпажу.

– Наберем! – И, разделив на куски, стали набирать.

Я вернулся домой пешком – извозчиков не было – и, не рассказывая подробностей пережитого, лег спать. Проснулся на другое утро в 8 часов и стал готовиться к работе. Подали

«Московские ведомости», «Московский листок». О катастрофе ничего не нашел. Значит, запретили! Собрался перед работой забежать в «Русские ведомости», взять на память грядущим поколениям гранки статьи, если успели набрать. Принесли наконец «Русские ведомости». Глазам не верю: ХОДЫНСКАЯ КАТАСТРОФА – крупное заглавие, – план катастрофы и подпись «В. Гиляровский». Домашние в ужасе смотрят на меня. Замерли и смотрят. А я, свежий, прекрасно выспавшийся, чувствую себя вполне нормально. Рассказываю о своем путешествии, прежде взяв слово, чтобы меня не ругали, так как – победителей не судят! А я чувствовал себя победителем!

Входят двое: русский, Редер, корреспондент австрийской газеты, а с ним японец, корреспондент токийской газеты. Меня интервьюируют. Японец с удивлением смотрит на меня, поражается, а Редер сообщает, что «Русские ведомости» арестованы и в редакции у газетчиков отбирают номера газеты.

Они уходят, я надеваю фрак и хочу идти. Звонок. Входят еще трое: мой знакомый, старый москвич Шютц, корреспондент какой-то

венской газеты, другой, тоже знакомый, москвич, американец Смит, который мне представляет типичнейшего американского корреспондента газеты. Корреспондент ни слова по-русски, ему переводит Смит. Целый допрос. Каждое слово американец записывает.

На другой день Смит сказал, что американец послал телеграмму в 2 тысячи слов – всю мою статью, все, рассказанное мной.

Я бросился первым делом в редакцию. Там В. М. Соболевский и М. А. Саблин. Радостно меня встречают. Благодарят. На дворе шумят газетчики – получают газету для розницы, мне устраивают овацию.

– Действительно, – говорит В. М. Соболевский, – газету, как только ее роздали для разности подписчикам, явившаяся полиция хотела арестовать, но М. А. Саблин поехал к генерал-губернатору и узнал, что газету уже разрешили по приказанию свыше. Целый день допечатывали газету. Она была единственная с подробностями катастрофы.

В корреспондентском бюро меня тоже встретили овацией русские и иностранные корреспонденты. Интервьюировали, распра-

шивали, осматривали, фотографировали. Художник Рубо зарисовал меня. Американцы и англичане ощупывали мои бицепсы и только тогда поверили, что все написанное – правда, что я мог вынести эту давку.

«Русская газета»

«Русская газета» – было весьма убогое, провинциального вида издание, почти не имевшее подписки, не имевшее розницы и выплакивавшее у фирм через своих голодных агентов объявления, номинальная цена которых была гривенник за строку, а фирмы получали до 70 процентов скидки.

Издавалась «Русская газета» несколько лет. Основал ее какой-то Александровский, которого я в глаза не видал, некоторое время был ее соиздателем Н. И. Пастухов, но вскоре опять ушел в репортерскую работу в «Современные известия», потратив последние гроши на соиздательство.

В 1880 году издавал газету И. И. Смирнов, владелец типографии и арендатор всех театральных афиш, зарабатывавший хорошие деньги, но всегда бывший без гроша и в дол-

гу, так как был азартный игрок и все ночи просиживал за картами в Немецком клубе. В редких случаях выигрыша он иногда появлялся в редакции и даже платил сотрудникам. Хозяйственной частью ведал соиздатель И. М. Желтов, одновременно и книжник и трактирщик, от которого зависело все дело, а он считал совершенно лишним платить сотрудникам деньги.

– За что? У тебя фирма есть – тебя печатаем, чего же тебе еще? Ну и кормись сам.

Многие и кормились, помещая рекламные заметки или собирая объявления за счет гонорара. Ухитрялась получать от И. И. Смирнова деньги заведовавшая редакцией «Соколик» Александра Ивановна Соколова, которой было «все все равно» и которая даже не обиделась, когда во время ее отпуска фельетонист Добронравов в романе «Важная барыня» вывел ее в неказистом виде. Добронравов в романе вставлял рекламы фирм и получал с них за это взятки.

Кормились объявлениями два мелких репортерчика Козин и Ломоносов. Оба были уже весьма пожилые. Козин служил писцом

когда-то в участке и благодаря знакомству с полицией добывал сведения для газеты. Это был маленький, чистенький старичок, живой и быстрый, и всегда с ним неразлучно ходила всюду серенькая собачка-крысоловка, обученная им разным премудростям. И ее и Козина любили все. Придет в редакцию – и всем весело. Сядет. Молчит. Собачка сидит, свернувшись клубочком, у его ноги. Кто-нибудь подходит.

– Мосявка, дай лапку!

Ощетинится собака, сидит недвижимо и жестоко начинает лаять.

– Дай лапку!

Еще больше лает и злится. Все присутствующие смотрят, знают, что дальше будет, и ждут. Подходит кто-нибудь другой.

– Мосява Мосявовна, соблаговолите ножку дать, – и наклоняется к ней.

Мосявка важно встает, поворачивается к говорящему задом и протягивает левую заднюю ногу.

И это повторяется несколько раз – даже сам сумрачный И. М. Желтов улыбается. Лет десять я помнил Козина с Мосявкой.

Ломоносов был не Ломоносов, а Свистунов, бывший конторщик, горький пьяница. Что он Свистунов, почти никто не знал: Ломоносов да Ломоносов. А это прозвище он получил за то, что у него в драке когда-то был переломлен нос и торчал кончик его как-то вправо. Он давал торговые сведения и, как говорили, собирал милостыню по церквам на паперти.

В этом мне пришлось убедиться года через три после наших встреч в редакции «Русской газеты».

* * *

В темном, душном подвале анатомического театра лежало десять трупов. Исхудалые, истощенные, изломанные. Между ними лежал труп девушки лет шестнадцати.

Это все жертвы катастрофы, случившейся накануне, и катастрофы странной, небывалой.

В погоне за десятикопеечной подачкой десятитысячная толпа задавила десять человек. За два дня перед этим умер московский миллионер, чайный торговец А. С. Губкин.

В день смерти вечером проходившим ми-

мо громадного, мрачного с виду дома Губкина несколькими нищим подали по серебряной монете с просьбой помянуть усопшего. С быстротой телефона по ночлежным приютам распространился между нищими слух, что на поминовение Губкина раздают деньги пригоршнями.

Тревожно провели нищие эту ночь в ожидании подаяния, в ожидании горсти серебра на каждого. Еще затемно толпы их хлынули на Рождественский бульвар, но решетчатые железные ворота были заперты. Стучались, просили, дрожали на морозе, стоя полубосыми ногами на льду тротуара и на снегу мостовой. А народ с каждой минутой прибывал.

Сотни нищих бежали со всех улиц и переулков, и скоро десятитысячная толпа заняла проезд Рождественского бульвара от Сретенских ворот до Трубной площади. Ни прохода, ни проезда. Толпа была словно спаянная: яблоку упасть было некуда.

Набег нищих настолько был стремителен, что полиция не успела принять никаких мер... Катастрофу не предупредили, она должна была случиться и случилась. Ворота все

еще не отпирались, сунутые несколько двугривенных только зажгли толпу, каждый стремился пролезть вперед, толпа хлынула и прижала несчастных, добившихся своей цели: встать первыми у железных ворот.

В то время тротуар у этого дома был очень высок, чуть не на аршин выше мостовой. Стоявшие на мостовой равнялись головами с поясом стоявших на тротуаре. Всем хотелось быть ближе к воротам, ближе к цели. С мостовой влезали, хватаясь за платье стоявших выше, и падали вместе с ними. Кто-то вдруг из передних крикнул:

– Подавать на-чали!..

Как один человек, вся толпа подвинулась на шаг вперед. Кого-то стащили с тротуара, наступили на него, раздался страшный крик:

– Задавили!..

Толпа ломилась еще больше. Сзади давили на ворота, ближайšie от ворот, задыхаясь в давке, стремились назад, падали с высокого тротуара на мостовую, на них лезли задние, не видя, что творится впереди. Гул толпы прерывался криками о помощи и предсмертными стонами. Когда уже все свершилось, яви-

лась полиция и казаки. Дворники били нищих палками, городовые – ножнами, казаки – плетьюми. Эти поминки надолго у многих не изгладились из памяти, хотя рубцы уже давно зажили. Опорков и рваных шапок увезли с места давки два воза.

Это было 28 ноября 1883 года. Вскоре после этого я встретил Козина с его Мосявкой, и он сказал мне, что в числе задавленных на Рождественском бульваре был и сотрудник «Русской газеты» Свистунов-Ломоносов.

* * *

Газета давно уже прекратилась, ее в первый же год забил «Московский листок», а все-таки мне вспоминается один факт, связанный со временем моего в ней кратковременного сотрудничества.

Десятки лет в Московском зоологическом саду жил до самой своей смерти Мамлик, величайший слон в Европе, привезенный из Индии. Равного ему не было даже в берлинском зоологическом саду.

Это было огромное существо добрейшего нрава, любимец москвичей, а особенно детей, которых водили смотреть слона даже из дале-

ких в то время мест Рогожской и Таганки.

У его логовища стоял сторож – его друг, который торговал булками, и публика их покупала и собственноручно совала в хобот. Помню курьез. В числе публики, кормившей булками Мамлика, был мальчик лет восьми, который, сняв свою соломенную шляпенку, начал совать ее слону в хобот. Мамлик взял шляпу, и она в один миг исчезла у него во рту. Публика захохотала, мальчик в слезы.

– Зачем шляпу под хвост сунул! Дяденька, отдай, мама ругаться будет, – рыдая, обращался он к слону.

Милый был слон! Но бывали весенние дни, когда он бунтовал, и его заранее, видя признаки наступающей поры любви, очень крепко приковывали на специальные цепи.

В эти дни он был особенно буен и стремился все разрушать. Но раз, совсем неожиданно, такой период пришел осенью. Мамлик сорвался с цепей и вышел в задние ворота зоологического сада.

Это было после обеда. Слон зашагал по Большой Пресне, к великому ужасу обывателей и шумной радости мальчишек и бежав-

шей за ним толпы. Случилось это совершенно неожиданно и в отсутствие его друга сторожа. Другие сторожа и охочие люди из толпы старались, забегая вперед, вернуть его обратно, но слон, не обращая внимания ни на что, мирно шагал, иногда на минуту останавливаясь, поднимал хобот и трубил, пугая старух, смотревших в окна.

Начальство сада перепугалось и послало по трактирам отыскивать сторожа. Мирно подошел слон к заставе, остановился около полицейской будки, откуда выскочил городской и, обнажив ржавую «селедку», бросился к великану, «делающему непорядок».

Ударил ли он шашкой слона или только замахнулся, но Мамлик остервенел и бросился за городovým, исчезнувшим в двери будки. Подняв хобот, слон первым делом сорвал навес крыльца, сломал столбы и принялся за крышу, по временам поднимая хобот и трубя. Городовой пытался спастись в заднее окно, но не мог вылезть: его толстая фигура застряла, и он отчаянно вопил о помощи.

Нашлись смельчаки, протащившие его сквозь маленькое окно не без порчи костюма.

А слон разносил будку и ревел. Ревела и восторженная толпа, в радости, что разносит слон будку, а полиция ничего сделать не может. По Москве понеслись ужасные слухи. Я в эти часы мирно сидел и писал какие-то заметки в редакции «Русской газеты». Вдруг вбегает издатель-книжник И. М. Желтов и с ужасом на лице заявляет:

– Сейчас народ бежит с Пресни, там бунт. Рабочие взбунтовались, зверей из зоологического сада выпустили. Тигров! Львов!.. Ужас! Узнай, пожалуйста, – обратился он ко мне.

Я побежал – трамваев тогда не было, а извозчики не по карману – и у зоологического сада увидел толпы народа. В саду я узнал подробности. Озаглавил заметку «Взбунтовавшийся слон на Пресне».

Заметка эта не пошла, так как цензура послала распоряжение – никаких подробностей происшествия не сообщать. Зато слухи в городе и по губерниям разошлись самые невероятные. Многие возвратились с дач, боясь за своих родных в Москве и за свое имущество.

Первая публикация появилась в Петербурге, куда я послал сообщение А. А. Соколову

для «Петербургского листка», а потом его перепечатала провинция, а в Москве появились только краткие известия без упоминания о городском и разнесенной будке.

Это был в Москве первый «бунт» против полицейской власти и первый случай разгрома казенного здания – более сорока лет тому назад. И это случилось на Пресне.

«Современные известия»

«Современные известия» около двадцати лет издавал известный публицист Н. П. Гиляров-Платонов, бакалавр Духовной академии, славянофил и сотрудник И. С. Аксакова.

Было время, когда «Современные известия» были самой распространенной газетой в Москве и весьма своеобразной: с одной стороны, в них печатались политические статьи, а с другой – они с таким же жаром врывались в общественную городскую жизнь и в обывательщину. То громили «Коварный Альбион», то с не меньшим жаром обрушивались на бочки «отходников», беспокоивших по ночам Никиту Петровича Гилярова-Платонова, жившего на углу Знаменки и Антипьевского пе-

реулка, в нижнем этаже, окнами на улицу.

Н. П. Гиляров-Платонов был человеком именно не от мира сего. Он спал днем, работал ночью, редко кого принимал у себя, кроме ближайших сотрудников, да и с теми мало разговаривал.

Я только один раз был у него летом, кажется, в мае месяце. Он, по обыкновению, лежал на диване; окна были открыты, была теплая ночь, а он в меховой шапке читал гранки. Руки никогда не подавал и, кто бы ни пришел, не вставал с дивана.

Тогда газета шла хорошо, денег в кассе бывало много, но Никита Петрович мало обращал на них внимания. Номера выпускал частью сам (типография помещалась близко, в Ваганьковском переулке), частью – второй редактор, племянник его Ф. А. Гиляров, известный педагог-филолог и публицист. Тоже не от мира сего, тоже не считавший денег.

Его перу принадлежал в «Современных известиях» ряд фельетонов о наших революционерах в Швейцарии – тема, по тому времени совершенно запрещенная.

Статьи эти случайно проскочили в «Совре-

менных известиях» благодаря почтению к имени Н. П. Гилярова-Платонова, но когда Ф. А. Гиляров собрал их в отдельную книгу, то пропущены они не были.

Кроме того, Федор Александрович писал недурные театральные рецензии, а затем сам издавал какой-то театральный листок, на котором прогорел вдребезги.

Самыми хлесткими сотрудниками, делавшими успех газеты в розницу, были фельетонисты П. А. Збруев, чиновник особых поручений при секретном отделении обер-полицмейстера, благодаря своей службе знавший все тайны Москвы, и Н. И. Пастухов.

Первый писал воскресные фельетоны под псевдонимом «Берендей», а второй – московские заметки, которые подписывал «Старый знакомый».

Среди недели они также помещали мелкие наброски, в которых тот и другой «прохватывали» и «протаскивали» богачей купцов и обывателей, не щадя интимных сторон жизни, и имели огромный успех.

Москва читала врасос эти фельетоны, дававшие огромный материал для излюблен-

ных тогда сплетен.

Надо еще заметить, что, «Современные известия» были единственной газетой, не стеснявшейся пробирать всю духовенство и даже полицию.

Большим успехом пользовались в газете обличительного характера заметки Н. Седелникова, автора нескольких романов. Его фельетон в стихах, подражание «Кому на Руси жить хорошо» Н. А. Некрасова, наделал много шума.

Здесь досталось буквально всем москвичам, от самых высших до самых низших, и все себя узнавали, но так было ловко написано, что придраться было нельзя. Особенно досталось крупным московским капиталистам, которых он смешал с грязью.

Если им до его фельетона жилось спокойно, то после него они стали притчей во языцех, и оказалось, что никому в Москве хорошо не жилось, кроме ростовщиков: им было все равно – пиши не пиши!

И шло бы все по-хорошему с газетой. Но вдруг поступила в контору редакции, на 18 рублей жалованья, некая барынька Мария Ва-

силъевна, и случилось как-то, что фактическое распоряжение кассой оказалось у нее в руках.

Надо сказать, что здесь и намека на какой-нибудь роман не было, а просто Никита Петрович Гиляров-Платонов доверял ей вполне и во всем. Когда же касса опустела, Марья Васильевна исчезла так же неожиданно, как и появилась.

Ее место заступил новый управляющий, неизвестно кем рекомендованный, на которого друзья и сотрудники жаловались Никите Петровичу и советовали его учитывать, но Н. П. Гиляров-Платонов отвечал всем одно и то же:

– А, оставьте эти деньги, так это все противно!

Наконец в 1887 году «Современные известия», окончательно забитые конкуренцией «Московского листка», закрылись. Вскоре умер Никита Петрович Гиляров-Платонов.

«Московский телеграф»

«Московский телеграф». Первого января 1881 года в Москве вышла самая большая по размеру и, безусловно, самая интересная по статьям и информации газета «Московский телеграф».

Редактор-издатель ее был Игнатий Игнатьевич Родзевич.

Интересные сведения и даже целые статьи, появившиеся накануне в петербургских газетах, на другой день перепечатывались в Москве на сутки раньше других московских газет, так как «Московский телеграф» имел свой собственный телеграфный провод в Петербург, в одной из комнат редакции, помещавшейся на Петровке в доме Московского кредитного общества.

В газете приняли участие лучшие литературные силы. Особенно читались фельетоны Д. Д. Минаева, пересыпавшего прозу стихами самого нецензурного по тому времени содержания.

Преобразование полиции, совершившееся тогда, Д. Д. Минаев отметил так:

*Мы все надеждой занеслись —
Вот-вот пойдут у нас реформы.
И что же? Только дождались —
Городовые новой формы!*

В письмах о Москве он писал:

*Москва славна Тверскою,
Фискалом М. Н. К.[2]
И нижнею губою
Актера Бурлака.*

О Петербурге:

*Великий Петр уже давно
В Европу прорубил окно,
Чтоб Русь вперед стремилась ход-
ко.
Но затрудненье есть одно —
В окне железная решетка.*

В этом же духе были статьи, фельетоны и корреспонденции, не щадившие никого.

Цензура ошалела и руками разводила, потому что, к великому ее удивлению, нагоняев пока из Петербурга не было, а ответа на цензорские донесения о прегрешениях газеты Московским цензурным комитетом, во главе которого стоял драматург В. И. Родиславский,

не получалось.

Говорили, что за И. И. Родзевичем стояло в Петербурге какое-то очень крупное лицо. Пошла газета в розницу, пошла подписка.

Особенно резки были статьи Виктора Александровича Гольцева, сделавшие с первых номеров газету популярной в университете: студенты зачитывались произведениями своего любимого профессора и обсуждали в своих кружках затронутые им вопросы.

«Московские ведомости» то и дело писали доносы на радикальную газету, им вторило «Новое время» в Петербурге, и, наконец, уже после 1 марта 1881 года посыпались кары: то запретят розницу, то объявят предупреждение, а в следующем, 1882 году газету закрыли административной властью на шесть месяцев – с апреля до ноября. Но И. И. Родзевич был неисправим: с ноября газета стала выходить такой же, как и была, публика отозвалась, и подписка на 1883 год явилась блестящей.

Правительство наказало подписчиков: в марте месяце газету закрыли навсегда «за суждения, клонящиеся к восстановлению об-

щественного мнения против основных начал нашего государственного строя и неверном освещении фактов о быте крестьян».

Незадолго перед этим цензура закрыла по тем же самым мотивам журнал «Земство», выходивший с 1880 года под редакцией В. Ю. Скалона, постоянного сотрудника «Русских ведомостей». Полоса реакции после 1 марта разыгралась вовсю!

«Русский курьер»

«Русский курьер» основан был В. Н. Селезневым в 1879 году, но шел в убыток. Пришлось искать денег. Отозвался московский купец Н. П. Ланин, владелец известного завода шипучих вод и увековечивший свое имя производством искусственного «ланинского» шампанского, которое подавалось подвыпившим гостям в ресторанах за настоящее и было в моде на всех свадьбах, именинах и пирушках средней руки.

*От ланинского редерера
Трещит и пухнет голова!*

На его красивом, с колоннами доме у Моск-

ворецкого моста, рядом с огромной вывеской, украшенной гербом и десятком медалей с разных выставок, появилась другая вывеска: «Русский курьер» – ежедневная газета».

Под газетой стояла подпись: «Издатель – Н. П. Ланин, редактор – В. Н. Селезнев». Вид газета имела самый провинциальный. Полстраницы последней полосы занимало чуть ли не единственное объявление с гербами и медалями о шипучих водах и «ланинском» шампанском.

Н. П. Ланину, обладавшему огромным капиталом и состоявшему гласным Городской думы, спалось и виделось быть редактором.

Откупившись от В. Н. Селезнева, он с рекомендациями «хозяина столицы» князя В. А. Долгорукова и со свидетельством благонадежности от обер-полицмейстера поехал в Петербург в Главное управление по делам печати просить о назначении его редактором.

Ценз у Н. П. Ланина для редактора был весьма желательный для правительства: московский купец первой гильдии, фабрикант поддельного русского шампанского да еще рекомендованный генерал-губернатором как

благонадежный обыватель.

Утвердили Н.П.Ланина редактором-издателем: пусть рекламирует шипучие воды и русское шампанское. Но и с новым редактором газета не шла.

На счастье Н. П. Ланина, в это время молодой приват-доцент по полицейскому праву, уже сверкавший на кафедре Московского университета, В. А. Гольцев «за неблагонадежность и внедрение вредных идей молодежи» был лишен кафедры.

Молодому ученому, подававшему большие надежды, пришлось искать заработка, и он перешел в журналистику, сделавшись постоянным сотрудником «Московского телеграфа». Н. П. Ланин предложил ему организовать редакцию и быть фактическим редактором «Русского курьера», газеты без предварительной цензуры.

Принял В. А. Гольцев предложение, но только с одним условием, чтобы Н. П. Ланин совершенно не вмешивался в редакционные дела.

Н. П. Ланин согласился на все условия, и В. А. Гольцевым была составлена молодая ре-

дакция, в которую вошли и народники: Ф. Д. Нефедов, С. А. Приклонский, только что вернувшийся из ссылки, Н. М. Астырев, П. И. Кичеев, сибиряк М. И. Мишла-Орфанов, В. И. Немирович-Данченко и многие другие передовые люди того времени.

Сразу газета расцвела и засверкала к ужасу цензоров и администрации. Подписки было еще мало, но газета блестяще шла в розницу.

Н. П. Ланин ликовал, «ланинское» шампанское, усиленно рекламированное, шло великолепно и покрывало расходы по газете. Газета, как обухом по лбу,хватила и цензуру и разрешившую Н. П. Ланину газету администрацию своим неслыханным дотоле ярким либерализмом.

Подписка на 1881 год шла великолепно, особенно по провинции, жадной до всякого либерального слова.

В Москве шла только розница. Москвичам были интереснее фельетоны Збруева в «Современных известиях» и «Московский листок» Н. И. Пастухова. Эти два издания начали глумиться над «Русским курьером», называя его не иначе, как «кислощейной газетой»,

а самого Н. П. Ланина – липовым редактором.

Обидно это было «кандидату в городские головы». Иронизировали над ним и юмористические журналы. Особенно же его прямо-таки убила карикатура, пущенная Н. И. Пастуховым в своем юмористическом журнале «Колокольчик».

Приемная комната. У затворенной двери с надписью «Редакция» стоит, нагнувшись, как живой, Н. П. Ланин и, приложив ухо к замочной скважине, сосредоточенно слушает. А внизу подпись: «Хоть отсюда послушать, о чем толкуют мои молодцы!»

Ни в городе, ни даже в Думе ему после этого проходу не было – смеялись:

– О чем там толкуют твои молодцы?!

Эта насмешка окончательно обозлила Н. П. Ланина, и он решил неукоснительно избавиться от В. А. Гольцева, уже редактировавшего около двух лет газету, что было известно всей Москве, и самому стать фактическим редактором.

Н. П. Ланину и тут помогло счастье. Газета действительно сверкала яркостью, и, наконец, ей дали уже второе предостережение и

лишили розницы «за вредное направление, выражающееся в суждениях о существующем государственном строе и в подборе и неверном освещении фактов, чтобы возбудить смуту в умах».

Этим удобным случаем и воспользовался Н. П. Ланин, чтобы отказать В. А. Гольцеву и самому сесть в редакторское кресло, с которого, как ему казалось, удобно перебраться и в кресло городского головы.

Ушел В. А. Гольцев, ушли с ним его друзья, главные сотрудники, но либеральный дух, поддерживаемый Н. П. Ланиным, как ходовой товар, остался, только яркость и серьезность пропали, и газета стала по отношению к прежней, «гольцевской», как «ланинское» шампанское к настоящему редереру.

Провинция этого не раскусила сначала и продолжала подписываться, а Н. П. Ланин уже видел себя московским городским головой.

Сидела как-то в ресторане «Петергоф» тесная компания сотрудников одной газеты и решила вышутить Н. П. Ланина.

Один из поэтов, кажется, Петр Иванович

Кичеев, на поданном ресторанным счете написал звучное стихотворение в десять строк, подходящее к моменту, весьма либеральное и вполне цензурное. Прочел его сидящим. Все были в восторге, но когда поэт показал маленький секрет написанного, все разразились неудержимым хохотом.

Потребовали конверт, почтовой бумаги, марки и при серьезном письме «уважаемому господину редактору» послали Н. П. Ланину это произведение.

На другой день стихотворение появилось в «Русском курьере» на почетном месте и – о ужас! – оказалось акростихом: «Ланин – дурак».

Пропала кандидатура в городские головы, а потом закрылся и «Русский курьер»!

«Новости дня»

«Новости дня» вышли 1 июня 1883 года, издатель их Абрам Яковлевич Липскеров в это время был стенографом у М. Н. Каткова в «Московских ведомостях».

Он числился по паспорту подмастерьем пестрядинного цеха, так как, будучи евреем, не имел права жительства в Москве. М. Н. Катков уже позднее выхлопотал ему почетное гражданство и газету.

Газета вначале была малозаметной. Редакцию трудно было отыскать – часто переезжала она с места на место, и типографии менялись то и дело: задолжали – и в другую!

Газета в первые годы шла слабо, печаталось две тысячи экземпляров, объявлений платных почти не было, кредита никакого, бумагу покупали иногда на один номер, а на завтра опять выворачивайся, опять занимай деньги на бумагу.

Сотрудникам платили по грошам и то редко наличными, но никто не уходил, – голодали, да работали. Сам Абрам Яковлевич был очень мил и симпатичен, его бедность была

налицо, и всякий старался помочь ему, а он надеялся на успех и сыпал обещаниями:

– Вот пойдет газета – тогда другое дело! Всех сотрудников обеспечу, ничего не пожалею. Разве я не отдаю теперь последнее?

Действительно, он делился с сотрудниками последним.

В «Новостях дня» я за все время их существования постоянно почти не работал, но первые годы по усиленной просьбе А. Я. Липскерова помочь ему давал иногда интересный материал, и он действительно платил, как умел.

Мне как-то причиталось получить сорок рублей с редакции.

– Нет ни копейки! Повесь меня вот на ламповый крюк и бей палкой, может быть, червонцы из меня посыплются! – заявил мне А. Я. Липскеров.

– Абрам Яковлевич, да мне надо штаны и пальто купить!

– Ну вот, давно бы так и говорил! На, покупай! – и написал мне письмо в магазин готового платья «Аронтрихера» на Петровке, чтобы за счет редакции отпустили товару на со-

рок рублей.

С магазином А. Я. Липскеров расплачивался объявлениями, а магазин отпускал сотрудникам готовое платье из скверного, гнилого, линючего лодзинского материала.

Иногда приходилось нам получать и наличными, но всегда одним и тем же способом, памятуя одиннадцатую заповедь: не зевай! По крайней мере, так было, когда крохотная редакция и такая же контора помещались при квартире А. Я. Липскерова, на углу Тверской и Газетного переулка, в старинном доме Шаблыкина, в нижнем этаже, имея общий вход с улицы рядом с каким-то портным, изобразившим вместо вывески огромные железные ножницы.

Тогда то и дело повторялись стереотипные сценки: приходит сотрудник или заведующий конторой к милейшей барышне:

– Елена Евсеевна, дайте в счет пять рублей.

Она открывает кассу и показывает мелочь:

– Около рубля наберется. Погодите, может быть, что-нибудь с объявлений наберит, только не прозевайте, а то Абрам Яковлевич все бегаёт, справляется.

И в этот момент отворяется дверь, появляется в клетчатом старом халате А. Я. Липскеров:

– Как дела, Елена Евсеевна?

– Ничего нет.

– За деньгами? – обращается он к сотруднику.

– Надо бы!

– Ну вот полакомься! – И сует в руку конфету в бумажке.

– Спасибо!

– Пойдем ко мне! – И ведет в квартиру. А там стол накрыт, сидит молодая красивая его жена, кругом толпа детишек и кое-кто из сотрудников. На столе самовар, огурцы и огромное блюдо картофельного салата. Сидят, закусывают, чай пьют, иногда водочки поставят.

А. Я. Липскеров то и дело исчезает в контору, возвращается и пьет чай или жует колбасу. Через полчаса срочно нуждавшийся в деньгах сотрудник прощается и идет в кассу.

– Елена Евсеевна!

– Ну и прозевали. Абрам Яковлевич два раза все обобрал. Я говорила, не зевайте, вот и позавтракали! У нас знают, когда угостить!

Была ли Елена Евсеевна в заговоре с хозяином – вопрос оставался открытым.

Занятый постоянной работой в «Русских ведомостях», я перестал бывать у А. Я. Липскерова. Знаю, что он переживал трудные дни, а потом, уже когда на него надели судебные пристава, к нему, на его счастье, подвернулся немец типографщик, дал займы на расплату семь тысяч рублей, а потом у него у самого типографию описали кредиторы...

Но эти семь тысяч спасли А. Я. Липскерова. Вообще ему везло. Затевая издание газеты, он не задавался никакими высокими идеями, а смотрел на газету как на коммерческое дело с конечной целью разбогатеть по примеру Н. И. Пастухова, а что писалось в газете, его занимало мало. Его интересовали только доходы.

В первое время редактором была А. И. Соколова, из закрывшейся «Русской газеты», а секретарем – провинциальный журналист Е. А. Балле де Барр. Сам А. Я. Липскеров был малограмотен. Он писал «одна ножница», «пара годов» и т. п.

Редакция состояла из фактического редактора А. И. Соколовой, секретаря Балле де Бар-

ра и нескольких мелких сотрудников.

А. И. Соколова – образованная вполне, литературная дама, в прошлом воспитанница Смольного института, много лет работала в разных изданиях, была в редакции все.

Она была родная мать В. М. Дорошевича, но не признавала его за своего сына, а он ее за свою мать, хотя в «Новостях дня» некоторое время он служил корректором и давал кое-какие репортерские заметки.

Никто не знал об их родстве. В. М. Дорошевич одним из первых своих псевдонимов взял себе «Сын своей матери».

У А. И. Соколовой, или как ее звали, у «Соколихи», были сын Трифон, поразительно похожий на В. М. Дорошевича, только весь в миниатюре, и дочь Марья Сергеевна, очень красивая барышня, которую мать не отпускала от себя ни на шаг. Трифон Сергеевич, младший, и Марья Сергеевна были Соколовы, а старший – Влас Михайлович – Дорошевич.

Эту тайну никто не знал, и только много лет спустя Влас Михайлович сказал как-то мне, что его в детстве еще усыновил московский пристав Дорошевич.

Это было уже тогда, когда мать была в Петербурге и работала в «Петербургском листке» и в «Историческом вестнике».

Трифон окончательно спился, обитал в плохой квартирке на Сретенке в Стрелецком переулке, куда я не раз носил ему деньги для уплаты за квартиру по просьбе Александры Ивановны, писавшей мне об этом из Петербурга.

Кроме того, деньги впоследствии Трифону посылал и Влас Михайлович.

Трифон вскоре умер, а затем умерла и Александра Ивановна.

Она долго работала после «Новостей дня» в «Московском листке», писала маленькие фельетончики и романы под псевдонимом «Синее домино».

Псевдоним этот – отзвук какого-то ее личного романа дней юности в Петербурге, в котором было замешано одно очень крупное лицо.

Она мне что-то рассказывала об этом. Помню, что она происходила из какой-то известной дворянской фамилии и уже в Москве вышла замуж за Соколова, повенчавшись после

рождения В. М. Дорошевича.

Соколов тоже принадлежал отчасти к журнальному миру и был живой портрет Дорошевича, один из представителей того мирка, которому впоследствии присвоили наименование «богема».

Самым ярким сотрудником первых лет издания «Новостей дня» был Гурлянд, сперва студент, а потом приват-доцент, а вскоре и профессор административного права Демидовского лицея в Ярославле.

Гурлянд писал под псевдонимом «Арсений Гуров» хлесткие злободневные фельетоны, либеральные, насколько было возможно либеральничать газете, выходявшей под жестокой цензурой, а также писал большие повести два раза в неделю.

А. Я. Липскеров очень дорожил талантливym сотрудником, хотя цензура считала его ультракрасным.

И кто бы мог подумать, что из ультракрасного молодого писателя вырастет «известный Гурлянд» – сотрудник официозных изданий. В Ярославле в это время был губернатором, впоследствии глава царского правительства,

Штюрмер, напыщенный вельможа.

Франтоватый, красивый, молодой приват-доцент сделался завсегдатаем губернаторского дома, и повторилась библейская история на новый лад: старый Пентефрий остался Пентефрием, жена его, полная жизни, красивая женщина, тоже не изменилась, но потомок Иосифа Прекрасного не пошел в своего библейского предка...

Перевели Пантефрия к фараонову двору и самую что ни на есть высшую должность дали ему: после фараона он самым что ни есть первым человеком в стране стал, а Иосиф Прекрасный сделался его первым помощником в делах управления страной. Штюрмер стал председателем совета министров, а Гурлянд его вторым «я». Арсений же Гуров, конечно, растаял и исчез со страниц «Новостей дня».

Писал в этой газете в начале литературной юности А. П. Чехов, писал А. В. Амфитеатров и, кажется, даже Вас. Ив. Немирович-Данченко. Детей А. Я. Липскерова репетировал бывавший часто у Чехова студент Н. Е. Эфрос, он и уговорил Чехова дать в газету повесть, кото-

рая и была напечатана в нескольких номерах «Новостей дня».

Вскоре Соколова и Балле де Барр перешли в «Московский листок», и редактировать газету стал А. П. Лансберг, редактор закрывшегося вскоре после его ухода «Голоса Москвы».

Талантливый беллетрист и фельетонист, он сумел привлечь сотрудников, и газета двинулась. После А. П. Лансберга редактором стал Н. Е. Эфрос, а затем А. С. Эрманс, при котором многие из сотрудников покинули газету.

Позднее А. С. Эрманс редактировал крупную и бойко шедшую газету в Одессе, но и здесь его постигла неудача.

В конце девяностых годов «Новости дня» имели огромный успех и свою публику. Их читала интеллигенция, «цивилизованное» купечество, театральная и бульварная публика.

В газете появился В. М. Дорошевич со своими короткими строчками, начавший здесь свой путь к славе «короля фельетонистов». Здесь он был не долго. Вскоре его пригласил Н. И. Пастухов в «Московский листок», а потом В. М. Дорошевич уехал в Одессу и в свое

путешествие на Сахалин.

На счастье А. Я. Липскерова приехал из Одессы маленький репортерик, одетый более чем скромно: Семен Лазаревич Кегулихес, впоследствии взявший фамилию Кегульский, – и начал ставить в «Новостях дня» хроннику.

С год проработал он, быстрый и неутомимый, пригляделся, перезнакомился с кем надо и придумал новость, неслыханную в Москве, которая ему дала деньги и А. Я. Липскерова выручила. С. Л. Кегульский первый ввел практикуемые давно уже на Западе «публиците», то есть рекламы в тексте за большую плату.

Дело пошло. Деньги потекли в кассу, хотя «Новости дня» имели подписчиков меньше всех газет и шли только в розницу, но вместе с «публиците» появились объявления, и расцвел А. Я. Липскеров. Купил себе роскошный особняк у Красных ворот. Зеркальные стекла во все окно, сад при доме, дорогие запряжки, роскошные обеды и завтраки, – все время пьют и едят. Ложа в театре, ложа на скачках, ложа на бегах.

Всегда узнавалась издали ложа А, Я. Липскерова по куче богато одетых его детей. Но этого было ему мало. Завел свою скаковую конюшню.

Как-то Н. И. Пастухов, за обедом у Тестова просматривая «Новости дня», указал на объявление портновской фирмы Мандля в полстраницы и сказал:

– Штанами плотють!

В довершение всего А. Я. Липскеров стал спортсменом. Он держал около тридцати скаковых лошадей, которые классные призы выигрывали редко.

Его гораздо больше привлекала слава знаться с высшим обществом, и он любил заседать в членской беседке павильона наряду с графами и князьями.

Огромная конюшня, обнесенная забором, была в виду у всех на Ходынке, рядом со скаковым кругом. Расход был огромный, лошади, конечно, себя не оправдывали, и на содержание их не хватало доходов от газеты. Пошли векселя.

Как-то А. Я. Липскеров пригласил осмотреть конюшни и сделал мне выводку лоша-

дей.

Когда я пересмотрел лошадей, он гордо сказал:

– Ну, как? Только правду говори!

– Вот что я тебе, Абрам, скажу по-дружески: послушайся меня и, если исполнишь мой совет, то будешь ты опять богат. Вот у тебя хлыст в руках, прикажи сейчас же отпереть все конюшни и всех до одной лошадей выгони в поле, ворота запри, а сам на поезд на два месяца в Крым. Иди и не оглядывайся!

Ошалел А. Я. Липскеров и даже обиделся. Прошло года три. «Новости дня» опять в долгу, лошадей кредиторы с аукциона продали. Встречаю его, он как-то весь полинял.

– Следовало бы тебя послушать, богат был бы, – сказал он, хлопнув меня по плечу и улыбаясь.

«МОСКОВСКИЙ ЛИСТОК»

«Московский листок». Немного сейчас – в двадцатые годы XX века – людей, которые знают, что это за газета. А в восьмидесятые годы прошлого столетия «Московский листок» и в особенности его создатель – Николай Иванович Пастухов были известны не только грамотным москвичам, но даже многим и неграмотным; одни с любопытством, другие со страхом спрашивали:

– А что в «Листке» пропечатано?

Популярность «Московского листка» среди москвичей объяснялась не только характером и направленностью издания, но и личностью издателя, крепко державшего в руках всю газету.

Он и мне запомнился очень характерными для него как человека особенностями, которые делали его фигуру необычайно колоритной для газетной Москвы того времени.

* * *

«Московский листок» – создание Н. И. Пастухова, который говорил о себе:

– Я сам себе предок!

Это – яркая, можно сказать, во многом неповторимая фигура своего времени: безграмотный редактор на фоне безграмотных читателей, понявших и полюбивших этого человека, умевшего говорить на их языке.

Безграмотный редактор приучил читать безграмотную свою газету охотнорядца, лавочника, извозчика, трактирного завсегдадая и обывателя, мужика из глухих деревень.

Мало того, что Н. И. Пастухов приучал читать газету, – он и бумагу для «Листка» специальную заказывал, чтобы она годилась на курицево.

Из-за одного этого он конкурировал с газетами, печатавшимися, может быть, на лучшей, но негодной для курицево бумаге, даже это было учтено им!

Интересовался Н. И. Пастухов для своего «Листка» главным образом Москвой и Московской губернией.

– С меня Москвы хватит, – говорил он. Интересовался также городами, граничащими с ней, особенно фабричными районами. Когда он ездил на любимую им рыбную ловлю, то в деревнях и селах дружил с жителями, ка-

ким-то чутьем угадывая способных, и делал их своими корреспондентами.

– Да я малограмотный!

– На что мне твоя грамотность. У меня на то корректора есть. Ольга Михайловна все поправит! Ты только пиши правду, совершь – беда будет!

И давал в кратких словах наставление, что и как писать.

– Вот ежели убийство или что другое такое крупное, сам в Москву приезжай, разузнавши все обстоятельно, что говорят и что как, а на дорогу и за хлопоты я тебе заплачу!

И получались от новых корреспондентов очень интересные вещи, и почти ни один никогда не соврал.

Н. И. Пастухов действительно не жалел денег на такие сообщения и получал сведения вне конкуренции.

Для распространения подписки в ближайших городах он посылал своих корреспондентов.

– Разнюхай там, о чем молчат!

* * *

Мое знакомство с Н. И. Пастуховым про-

изошло в первых числах августа 1881 года в саду при театре А. А. Бренко в Петровском парке, где я служил актером. В этот вечер я играл в «Царе Борисе» Хлопко и после спектакля с Н. П. Кичеевым, редактором «Будильника», вдвоем ужинали в саду.

– Здравствуйте, Николай Петрович!

И, поздоровавшись с Н. П. Кичеевым, подошедший человек, очень похожий на писателя Писемского, сел за стол и протянул мне руку:

– Здравствуй!

Н. П. Кичеев нас познакомил:

– Пастухов Николай Иванович, редактор «Московского листка», и актер Гиляровский.

– Чего играешь? – спросил меня Николай Иванович.

– А вот сейчас атамана играл, – пояснил Н. П. Кичеев.

– Хорошо! Здорово ты их за шиворот тряханул! Потом, закуривая, сказал:

– Ты бы что-нибудь написал в «Листок».

– Не знаю, что написать! Н. П. Кичеев заметил:

– Стихи пишет. Хорошие стихи, я в «Будильник» взял.

– Ну, вот стихи давай, а то театральные анекдоты.

– Это могу! Я их много знаю.

– Ну и пиши...

Николай Иванович оглядел меня.

– Чего это ты в высоких сапогах?

– Да так, по привычке!

На другой день я послал несколько анекдотов, которые и были напечатаны в ближайшем номере под рубрикой «Записки театральной крысы».

Уже в первый год издания «Московский листок» заинтересовал Москву обилием и подробным описанием множества городских происшествий, как бы чудом на другой день попадавших на страницы газеты.

В газете наряду со сценами из народного быта печатались исторические и бытовые романы, лирические и юмористические стихи, но главное внимание в ней уделялось фактам и событиям повседневной московской жизни, что на газетном языке называлось репортажем.

Н. И. Пастухов, узнав от Кичеева и Андреева-Бурлака кое-что из моего прошлого, а

главное, его подкупила георгиевская ленточка, со свойственным ему газетным чутьем заметил, видимо, во мне, как он впоследствии назвал, – тягу к репортажу.

Вскоре после знакомства Н. И. Пастухов усадил меня на извозчика и начал возить по разным местам Москвы и знакомить с людьми, которые были интересны для газеты.

Я видел, как он добывал сведения, как ловко задавал умелые вопросы, рассказывал мне о каждом уголке, где мы бывали, рассказывал о встреченных людях, двумя словами, иногда неопровержимо точно определяя человека.

В саду «Эрмитаж» как-то к нам подошел щеголевато одетый пожилой, худенький брюнет с бриллиантовым перстнем и протянул с любезными словами Н. И. Пастухову руку. Тот молча подал ему два пальца и, отвернувшись, продолжал разговаривать со мной. Брюнет постоял и немного конфузливо отошел от стола.

– Николай Иванович, кто это?

– Просто сволочь!.. И ни слова больше.

Позднее я узнал, что это один из ростовщиков популярного антрепренера М. В. Лентов-

ского. Он держал для видимости довольно приличный винный погребок и гастрономический магазин, а на самом деле был шулер и ростовщик. От одного из таких же типов, тоже шулера, я узнал, что брюнет до этого, имея кличку Пашки-Шалуна, был карманником у Рязанского вокзала, а позднее работал по этим же делам в поездах. Я об этом рассказал Н. И. Пастухову.

– Знаю, было! – ответил он.

* * *

Николай Иванович Пастухов, как я уже сказал, был одним из ярких, чисто московских типов за последние полстолетия. Только своеобразная, своебытная торговая Москва могла создать такое явление, каким был этот издатель.

Тридцать лет я был близко знаком с Н. И. Пастуховым и благодаря ему самому и близким к нему людям достаточно хорошо знал его прошлое.

За тридцать лет он не переменился сам в себе до мелочей, даже и в то время, когда стал из голодного репортера благодаря своей газете миллионером.

– В жилу попал, – говорило купечество, видя, как Николаю Ивановичу газета дает ежегодно сотни тысяч барыша.

Действительно, Н. И. Пастухов знал всю подноготную, особенно торговой Москвы и московской администрации. Знал, кто что думает и кто чего хочет. Людей малограмотных, никогда не державших в руках книгу и газету, он приучил читать свой «Листок».

В 1881 году ему было разрешено издание газеты, а первого августа этого года вышел первый номер «Московского листка».

В «Будильнике» предварительно появилась следующая карикатура: по Тверской едет на рысаке господин в богатой шубе, с портфелем под мышкой – портрет Н. И. Пастухова, а на спинке саней надпись: «Московский листок». Под карикатурой подписано: «На своей собственной...»

С гордостью Н. И. Пастухов показывал этот номер своим знакомым:

– На своей собственной!

Человек, выбившийся из ничего, загнанный, вечно нуждающийся в копейке, и вдруг...

– На своей собственной! Редактор своей газеты!..

– Вот я им покажу, чего я стою, – говорил Н. И. Пастухов по адресу людей, издевавшихся над его нуждой.

И показал!

Человек огромной силы воли, за год перед этим никем не признаваемый, при полном отсутствии воспитания и образования, совершил почти невозможное.

Трудно было думать, что через несколько лет после издания своей газеты этот человек будет гостем на балу у президента Французской республики господина Карно, во время франко-русских торжеств в Париже!

Мещанин города Гжатска Смоленской губернии, служивший во время крепостного права подвальным и поверенным при винных откупах, он уже искал света, читал, что попадало под руку, и писал стихи.

Я бережно храню библиографическую редкость – книжку в 48 страниц: «Стихотворения из питейного быта и комедия «Питейная контора», сочинение Николая Пастухова. Москва, 1862 год».

Комедия жестоко обличительная. В ней только и есть грабители – купцы, сплошь взяточники, крупные власти и горькие пьяницы-чиновники.

Только в 1862 году, в первый год после уничтожения крепостного права, и могла проскочить такая книжка.

Даря мне книжку, Н. И. Пастухов сказал: – Во как мы писали! Поди-ка пошли ее теперь в цензуру – в Сибирь сошлют!

Всю свою душу, все свои беды и невзгоды вылил автор-самоучка в немудрых стихах, давая картинки своей трудной жизни:

*С квартиры выгнали, в другую не пускают:
Все говорят, что малый я пустой,
Срок паспорта прошел, в полицию таскают.
Отсрочки не дают без денег никакой...
Теперь сижу один я на бульваре
И думаю, где мне ночлег сыскать.
Одной копейки нет в моем кармане,
Пришлось последнее продать...*

Но энергичная натура не поддавалась нуж-

де, и он верил в свое счастье:

*Я думаю, когда-нибудь
Должна же радость проглянуть!..*

Но эта радость долго не приходила. В стихах этой же книжечки говорит Н. И. Пастухов об единственной утехе, которая скрашивала его тяжелые дни:

*Люблю я летом с удочкой
Над речкою сидеть...*

Рыбная ловля была единственным бесменным удовольствием Н. И. Пастухова с детства до его смерти. Не самая ловля, не добыча рыбы, а часы в природе были ему дороги.

По нескольку суток, днем и ночью, он ездил в лодке по реке, тут же спал на берегу около костра, несмотря ни на какую погоду. Даже по зимам уезжал ловить и в двадцатиградусные морозы просиживал часами у проруби на речке.

Много рассказов написал он во время своих поездок по рекам и озерам. Первое стихотворение в его книжке – о рыбной ловле. Книжка и есть начало его будущего благосо-

стояния, начало и «Московского листка».

Н. И. Пастухов открыл в Москве около Арбата небольшое «питейное заведение», и с этого момента начинается его перерождение.

Широкий по натуре, добрый и хлебосольный, Н. И. Пастухов помогал студенческой молодежи, которая кормилась, дневала и ночевала у него.

В числе их были, между прочим, студент Ф. Н. Плевако, потом знаменитый адвокат, А. М. Дмитриев – участник студенческих беспорядков в Петербурге в 1862 году и изгнанный за это из университета (впоследствии писатель «Барон Галкин», автор популярной в то время «Падшей») и учитель Жеребцов.

Большую часть своего времени вместо торговли Н. И. Пастухов проводил с ними, слушая, что они читают, читал сам.

И, конечно, проторговался, но никогда не падал духом. В его банкротстве было его будущее счастье. Жеребцов и Дмитриев работали тогда в только что начавших издаваться Н. С. Скворцовым «Русских ведомостях».

Н. И. Пастухов благодаря своим широким знакомствам добывал репортерские сведения

и, написав, как умел на клочке бумаги, передавал их для газеты. Сведения эти переделывались и печатались.

При упорном труде Н. И. Пастухов выучился сам в конце концов писать заметки о происшествиях, добывая их у полиции и у трущобников, и вскоре сделался первым и единственным московским репортером, которому можно было верить безусловно.

Он бросил свою торговлю и весь отдался газетному делу. Ради какого-нибудь удавившегося портного в Рогожской или пожара в Марьиной роще Н. И. Пастухов бегал десятки верст пешком и доставлял сведения, живые и точные.

Потом в газете «Современные известия» он стал писать заметки и фельетоны. Одновременно с этим А. А. Соколов, редактор «Петербургского листка», пригласил Н. И. Пастухова сотрудничать в своей газете, где он и писал «Письма из Москвы», имевшие большой успех.

«Современные известия» стали командировать его на Нижегородскую ярмарку, откуда он доставлял обстоятельные торговые све-

дения и разные статьи. Статьи, обличавшие ярмарочные безобразия, читались нарасхват и обратили на автора внимание нижегородских губернаторов, в том числе и градоначальника Н. П. Игнатьева.

Когда последний в мае 1881 года был назначен министром внутренних дел, Н. И. Пастухов, учтя впечатление, которое он произвел на Н. П. Игнатьева, обратился к нему с ходатайством о разрешении издавать в Москве ежедневную газету.

Ходатайство было удовлетворено, разрешение получено, и Н. И. Пастухов с помощью богатого купца-писчебумажника, давшего денег «на первое обзаведение», начал издание «Московского листка».

* * *

Н. И. Пастухов к газетной работе относился строго и жестоко разносил репортеров, которые делали ошибки или недомолвки в сообщениях.

– Какое же это самоубийство, когда он жив остался?! Врешь все! – напустился раз Н. И. Пастухов на репортера С. А. Епифанова, который сообщил о самоубийстве студента, а на

другой день выяснилось, что это было только покушение на самоубийство.

– Жив, а ты самоубийство!

– Да как же, Николай Иванович, его за-
мертво в больницу увезли, только к утру он
стал подавать признаки жизни!

– А ты пойди и пощупай. Если остыл, тогда
и пиши самоубийство! В гроб положат – не
верь. Вон червонные валеты Брюхатова в
гроб положили, а как понесли покойника, с
духовенством, на Ваганьково мимо «Яра», он
выскочил из гроба да к буфету! Мало ли что
бывает!

Репортеров он ценил больше всех других
сотрудников и не жалел им на расходы, при-
чем всегда давал деньги сам лично, не прово-
дя их через контору, и каждый раз, давая, го-
ворил:

– Это на расходы! Никому только не гово-
ри!

По душе это был добрейший человек, хотя
нередко весьма грубый. Но после грубо бро-
шенного отказа сотруднику в авансе призы-
вал к себе и давал просимое.

– Николай Иванович, у меня вчера сын ро-

дился, – докладывает сотрудник А. М. Пазухин, собиравшийся просить аванс.

– Я здесь ни при чем!

– Авансом бы мне пятьдесят рублей. Ведь расходы, новорожденный!

– Сами виноваты! Мне какое дело? Ничего не дам! – И начинает ходить по кабинету быстро-быстро.

Потом остановится: – Ступайте в контору и скажите, что я велел дать 25 рублей.

– Пятьдесят бы!

В конце концов Н. И. Пастухов смягчался, начинал говорить уже не вы, а ты и давал пятьдесят рублей. Но крупных гонораров платить не любил и признавал пятак за прозу и гривенник за стихи. Тогда в Москве жизнь дешевая была. Как-то во время его обычного обеда в трактире Тестова, где за его столом всегда собирались сотрудники, ему показали сидевшего за другим столом поэта Бальмонта.

– Пишет стихи? – спросил он.

– Да, Николай Иванович, прекрасные стихи пишет.

– Федя, – обратился он к своему редактору Ф.К.Иванову, – чего же он у нас не пишет! По-

зови его! Пусть пишет!

– Да он дорог.

– Все равно. Пускай пишет. Уж ежели я сказал, чтоб писал, так, стало быть, денег не жалею!

– Ведь он за стихи по рублю за строку берет, – сказал кто-то из собеседников.

– По рублю? За строку?

– Да! Ну вот, видите, и не годится!

Но Николай Иванович не смутился и обратился к Ф. К. Иванову:

– Федя, скажи ему... пусть напишет... так строчки три. Мы заплатим по рублю.

Бывали случаи, что Н. И. Пастухов действительно платил своим сотрудникам, и очень крупно.

Когда он издавал свой журнал «Гусляр», то А. П. Полонскому и А. Н. Майкову он платил по 100 рублей за стихотворение, крупно также платил известному тогда поэту Л. Н. Граве, переводчику Леопарди.

Как-то сидела в редакции «Гусляра» компания, в которой был и Л. Н. Граве. Говорили о стихах Леопарди. Входит Н. И. Пастухов и садится. Л. Н. Граве обращается к нему, как бы

продолжая наш разговор:

– Николай Иванович, а вы что скажете о Леопарди?

– Чего?

– Что вы скажете о Леопарди?

– Что сказать? Зверь как зверь!

Н. И. Пастухов был иногда очень откровенен и никогда не любил рисоваться. Раз как-то «хозяин столицы» князь В. А. Долгоруков спросил его:

– Как идет ваша газета?

– Слава богу, ваше сиятельство, кормимся!

Тогда на Н. И. Пастухова набросились за эти слова сотрудники либеральной печати, говоря, что подобный ответ унижает достоинство журналиста.

– Ну что ж! И кормимся! А вы-то что ж, даром в своей газете работаете? Тоже кормитесь, да не одним гонораром, а еще за проведение идей с банков берете. Чья бы корова мычала, а уж ваша-то бы молчала!

Ставши миллионером, он не менял своих привычек, так же репортерствовал сам, как и прежде, и добывал такие сведения, которых добыть никто не мог.

Во время коронации 1896 года он поручил своим сотрудникам во что бы то ни стало добыть заранее манифест, чтобы первому его опубликовать в своей газете.

Ни репортеры, ни чиновники не могли этого сделать, даже никто не мог узнать, где он печатается, так как это все велось в строжайшей тайне.

Н. И. Пастухов, рыскавший целый день, дознался, что манифест печатается в Синодальной типографии, на Никольской. Он познакомился с курьерами и околачивался все время в швейцарской и ждал, когда повезут отпечатанный манифест во дворец.

Наконец, начали выносить крепко завязанные пачки, чтоб грузить в присланную за манифестом коляску с придворным лакеем на козлах.

– Достань-ка, братец, из пачки парочку манифестиков, на память хочется в семье иметь. – И сунул в руку двадцатипятирублевку.

Через минуту два экземпляра манифеста были в кармане Николая Ивановича, а через час газетчики и мальчишки носились с осо-

бым приложением к «Московскому листку» и продавали манифест на улицах за сутки до обнародования в других газетах.

Н. И. Пастухов ликовал: не столько наживе радовался, сколько ловкости репортерской и редакторской.

– Мы первые!

А на другой день струсил: его вызвали к министру.

– Я у вас не буду спрашивать подробностей, каким путем вы ухитрились добыть манифест, ответьте только на один вопрос: легальным путем или нет вы добыли манифест?

– Легальным, ваше высокопревосходительство, двадцать пять рублей на чай дал!

* * *

«Московский листок» сразу приобрел себе такую репутацию, что именитое и образованное купечество стыдилось брать в руки эту газету, никогда на нее не подписывалось, но через черный ход прислуга рано утром бегала к газетчику и потихоньку приносила «самому» номер, который он с опаской развертывал и смотрел главным образом рубрику «Советы и

ответы».

– Уж не прохватил ли меня этот!

Радовался, если уцелел, а прохватили кого-нибудь из знакомых.

Каждый номер газеты являлся предметом для разговоров.

– И откуда эта ищейка все разнюхает, всю подноготную вывернет? – удивлялись они.

– Посмотрим, кажется, говорят, опять сегодня Гаврила Гаврилыча разделал.

– Это вчера было и всего две строчки, написал без имени и фамилии, а как влил, наизусть помню:

*Пред совестью хозяина Пассажа
Пас сажа.*

Половой приносил сидящим в трактире именитым посетителям «Листок», и начиналось вслух чтение «Раешника».

«Извольте видеть, ходит мимо красавец почтенный, мужчина степенный, усы завиты, бачки подбриты, глядит молодцом, барином, не купцом. Ходит по Кузнецкому мосту, ищет денег приросту, с первого числа, грит, удружу, на всех по полтыщи наложу, мы им наживать

даем, значит, повысим за наем.

Ходит посвистывает, книжечку перелистывает, адреса ищет, барыни, красавицы, сударыни, денег, грит, пообещаю, любовью настрашаю, что, мол, погубите, коли не любите, а там насчет денег яман, держи шире карман, надуем первый сорт».

Хохочут именитые при чтении таких строчек.

– Дальше не стоит! Эй, унеси газету, давай-ка закусить!

Половой уносит, улыбаясь, газету и смеется со своими товарищами на кухне.

– Про Солодовникова процыганили! А как дошло дело до них, до самих фабрикантов, и газету велели унести! Небось, дома уж каждый прочитал, каждому подходит.

А в газете писалось:

«Пожалте сюда, поглядите-ка, хитра купецкая политика. Не хлыщ, не франт, а миллионный фабрикант попить, погулять охочий на труд на рабочий. Видом сам авантажный, вывел корпус пятиэтажный, ткут, снуют да мотают, все на него работают. А народ-то фабричный, ко всему привычный, кости да кожа,

да испитая рожа. Плохая кормежка, да гнилая одежка, подводит живот да бока у фабричного паренька.

А директора беспечные по фабрике гуляют, на стороне не позволяют покупать продукты, примерно хочешь лук ты – посылай сынишку забирать на книжку в заводские лавки, там, мол, без надбавки. Дешево и гнило!

А ежели нутро заговорило, не его, вишь, вина, требует вина, тоже дело табак, беги в фабричный кабак. В другом будешь скупей, а тут на книжку пей, штука не мудра, дадут и полведра.

А в городе хозяин ходит, как граф, пользу да штраф, да прибыль, провизия, значит, не в ремизе я, а там на товар процент дает хороший дивиденд, а уж при подряде своего тоже не упустим, такого Петра Кириллова запустим, что на поди! Значит, пей да гуляй, да певиц бриллиантами наделяй, а ежели учи-нишь дебош, адвокат у нас хорош, это нам не в убытки, потому прибыли прятки».

И так ежедневно, в каждом номере «Листка» обязательно пробирали и купечество именитое, и мелких хозяйчиков, и думу, и зем-

СТВО.

«Листок», конечно, не любили, считали его шантажным. Н. И. Пастухова называли шантажистом.

Но нередко те из газетных работников, кто называл так его, приходили к Н. И. Пастухову за авансом, и он «нанимал их в сотрудники», разве только скажет цитату из его же фельетона и закончит:

– Отутюжь-ка мне двенадцать братчиков, у них что-то от вчерашней статьи насчет Земельного банка жареным запахло!

– Мне неудобно, Николай Иванович, в «Русских ведомостях» у меня есть знакомые!

– Ну, как хочешь, сам отчихвощу! Да ты что, в доле с ними? Лапку сосешь? Уж не ты ли объявления в банке для них получаешь? Принеси и нам.

– Я бы принес, Николай Иванович, да ведь вы подведете, как тогда с Гужоном было, он сдал вам объявление, а вы в том же номере и написали, что завод Гужона всю Москву-реку заразил из потайных труб нечистотами.

– Что же, меня купили объявлениями? Все равно выругаю их, кто заслуживает. Кто рыбу

морит в реке, народ отравляет, я о них за объявления молчать буду?

– Ресторан «Эрмитаж» опять обижается, опять выругали, что у них в кухне грязно, а сколько он вам объявлений сдает?

– Пусть не сдает, не надо, а завтра опять его дербану!

И на другой день появляется в «Советах и ответах» следующее: «Повару Оливье на Трубу. Рябчики-то ваши куда как плохи, нельзя ли подавать посвежей. Узнает о том санитарная комиссия – протокол составит».

Эти «Советы и ответы» придумал Н. И. Пастухов, и в первый год издания они сразу двинули розницу газеты.

Каждый из торгового мира москвич покупал газету и развешивал с трепетом: «Не попался ли я?»

Все обиженные стали возмущаться, равно как и те, которые чувствовали за собой какую-нибудь вину. Многие газеты, конечно, набросились на «Листок», выражали презрение к нему, и сотрудничество в нем стало считаться зазорным.

– У них газета нейдет, они и завидуют, – го-

ворил Н. И. Пастухов.

Н. П. Кичеев, редактировавший «Листок» с первых номеров, как только появились «Советы и ответы», под влиянием этих разговоров отказался от редактирования и лишился большого заработка.

Многие ругали «Листок», и все его читали. Внешне чуждались Н. И. Пастухова, а к нему шли. А он вел свою линию, не обращал на такие разговоры никакого внимания, со всеми был одинаков, с утра до поздней ночи носился по трактирам, не стеснялся пить чай в простонародных притонах и там-то главным образом вербовал своих корреспондентов и слушал разные разговоры мелкого люда, которые и печатал, чутьем угадывая, где правда и где ложь.

Бывали случаи, что старались поймать Н. И. Пастухова, сообщали ложные сведения, чтоб подвести газету, много посылали анонимных писем, но его провести было трудно. Он чувствовал, где ложь и где правда.

Некоторые же, достойные внимания известия, всегда посылал проверить самых опытных репортеров.

– Гляди, чтоб комар носа не подточил, тихомолом разнюхай!

Репортерам приходилось иногда идти пешком – тогда еще и конок не было – в Хамовники, или в Сокольники, или в Даниловку разнюхивать на фабрике, чем кормят рабочих, как они живут и берут ли с них штрафы.

Разузнает все репортер, принесет подробное сообщение, а Н. И. Пастухов лично переделает три-четыре строки и хватит в «Советах и ответах» провинившегося фабриканта, назвав его по приметам или по прозвищу так, что все узнают; и к суду привлечь никак нельзя.

В результате таких «Советов и ответов» часто незаконные штрафы прекращались, пицца и жилище улучшались, а репортер прямо из рук Н. И. Пастухова получал за эти три-четыре строки пять, а то и десять рублей гонорара.

Кто сообщил, кто написал, – никому не известно, а главное, к суду привлечь нельзя.

Многим помогали эти «Советы и ответы», и многим попадало в них ежедневно, а больше всего тем, кто притеснял рабочих, служащих, обиженных.

«Мебельщику С-ому. На Большую Дмитровку.

Вы жалуетесь, что Вам снятся сны неспокойные, погодите – не такие еще будут сняться, если Вы только не перестанете обижать и обсчитывать своих рабочих».

«Околоточному Рабиновичу, Серпуховский участок.

Кажется, прошло то время, когда ваша братия ходила славить, блуждая по лавкам, а вы все еще это занятие не оставляете, смотрите, как бы вас за это начальство не припугнуло», – и полиция по Москве начинает остерегаться брать взятки.

«Фабриканту Емельянычу в Бронницкий уезд. Пожалуйста, не выворачивайте кармана, раненько задумали, как бы вам в капкан не попасть!»

«В Охотный ряд Илюше Пузатому. Кормите приказчиков побольше, а работать заставляйте поменьше, сам пузо нажрал, небось!»

Смотришь, фабрикант Емельяныч не устраивает дутого банкротства, и не один Пузатый, а и другие хозяева Охотного ряда начинают больше заботиться о приказчиках.

Газеты читали и читали, с каждым днем рос тираж, корреспонденции шли со всех углов, из самых глухих деревень, потому что Н. И. Пастухов умел уговаривать писать всякого, писать ему всякую новость. Учил, что и как писать.

Много и безграмотной ерунды, конечно, присылали, но Н. И. Пастухов умел извлекать интересное, и не было во всей Московской губернии ни одного трактира, где не получался бы «Листок».

«Кабацкий листок» – звали его либеральные газеты.

* * *

Одним из главных магнитов, привлекавших простодушного читателя «Листка», были ежедневно печатавшиеся в газете романы-фельетоны.

Романы шли шесть раз в неделю, а по воскресеньям шел фельетон И. И. Мясницкого, его сценки из народного или купеческого быта. И. И. Мясницкого читала праздничная публика, а романы, можно сказать, читались более широко. Каждый романист имел свои два дня в неделю. Понедельник и среда – ис-

торический роман Опочинина, вторник и пятница – роман из высшего круга с уголовщиной «Синее домино» (псевдоним А. И. Соколовой), а среда и суббота – А. М. Пазухин, особый любимец публики, дававший постоянных подписчиков.

В контору газеты, помню, при мне пришли две старушки и заявили принимающей подписку:

– На Пазухина на полгода подпишите нас.

Многие читали только А. М. Пазухина, его незатейливые романы из мещанской и купеческой жизни, всегда кончавшиеся общим благополучием.

А. М. Пазухин писал непрерывно, круглый год, два фельетона-романа в неделю, а в тексте еще сценки.

Другие романисты менялись, появлялись романы Рудниковского (М, Н. Былов), П. М. Старицкого, украинского актера, из запорожской жизни, А. А. Соколова и другие, но А. М. Пазухин был несменяем.

Наконец, сам Н. И. Пастухов «загремел» своим романом «Разбойник Чуркин» – тоже два раза в неделю. «Листок» так пошел в роз-

ницу, что даже А. М. Пазухина забил. Роман подписывался псевдонимом «Старый знакомый», но вся Москва знала, что это псевдоним Н. И. Пастухова.

Еще до «Листка» псевдоним «Старый знакомый» много лет появлялся в «Современных известиях» и в «Русской газете» под жестокими, обличительными фельетонами.

Этот псевдоним имел свою историю. Н. И. Пастухов с семьей, задолго до выхода своей газеты, жил на даче в селе Волынском за Дорогомиловской заставой. После газетной работы по ночам, за неимением денег на извозчика, часто ходил из Москвы пешком по Можайке, где грабежи были не редкость, особенно на Поклонной горе. Уж очень для грабителей место было удобное – издали все кругом видно.

Придорожные грабители Н. И. Пастухова никогда не трогали потому, что и по костюму видно, что денег у такого прохожего не предвидится, да, кроме того, он их то папироской угостит, то, захватив с собой бутылку водки на дачу, разопьет с ними где-нибудь в канаве.

Знали они, что он писал в газетах и подпи-

сывался – еще в «Русской газете» – «Праздношатающийся», и говорили ему шутя:

– Мотри, малай, нас не пропиши!

– Я знакомых не трогаю!

Как-то в августовскую ночь Н. И. Пастухов, закупив провизии, поехал на дачу на извозчике. На Поклонной горе ватага остановила извозчика и бросилась к пролетке, а Н. И. Пастухов сидит и курит.

– Не узнали, что ли, своего, ребята!

– А! Да это старый знакомый! Ну, поезжай... Через день он подписал свой фельетон: «Старый знакомый», и этот псевдоним он сохранил до конца жизни.

* * *

Кроме «Старого знакомого», Н. И. Пастухов подписывал иногда свои статьи «Дедушка с Арбата» – в память, видимо, того времени, когда он, приехав в Москву, жил по разным квартирам в арбатских переулках.

Мелкообличительные статейки, состоящие из диалогов с каким-то «корнетом» и «Его благородием», он подписывал «Праздношатающийся», а заметки, за которые могла последовать, как он выражался, «волосотреп-

ка от начальства», шли под «Не я».

– Чтобы без греха отделаться!

– Это вы писали? – спросит иногда начальство. Или купец прохваченный привяжется:

– Это ты меня, Николай, отчихвостил? Я отвечаю с чистой совестью:

– Неграмотный ты, что ли? Видишь, напечатано? «Не я»!

– Стало быть, не ты! Врешь! А ну-ка, побожись! И божишься – не я писал!

* * *

Репортаж Н. И. Пастухов ценил выше всего, потому что весь интерес газеты строил на быстроте сообщений, верности факта, образности и яркости изложения.

Экстренные поручения давались им на ходу: в редакции, на улице, где придется. Редакция помещалась тогда на Софийской набережной в маленьких комнатушках нижнего этажа при типографии Д. М. Погодина, сына известного историка.

Когда редактор Балле де Барр ушел из «Листка» и уехал в Самару, где очень долго работал в газетах, его место занял Федор Константинович Иванов, который стал фактиче-

ским редактором и был им до конца своей жизни.

За ним Н. И. Пастухову можно было спокойно спать, ловить рыбу и уезжать на лето в Нижний и издавать там свою ярмарочную газету «Нижегородская почта».

Ф. К. Иванов был все. Он любил кутнуть, и даже нередко, но пока матрица не отлита, пока он не просмотрит оттиска, – из редакции не выходил. Но когда газету спускали в машину, Федор Константинович мчался на лихаче к «Яру» или в «Золотой якорь», где его уже ждала компания во главе с номинальным редактором Виктором Николаевичем Пастуховым, сыном редактора.

Раз такой пир в «Стрельне» кончился неблагополучно. В рождественскую вьюжную ночь, когда метель была такая, что ямщику лошадей не видно, компания возвращалась на тройках и на парных извозчиках-«голубчиках». Дорогой где-то в парке потеряли В. М. Дорошевича, который ни с того ни с сего выскочил из саней и исчез в метели. Как это случилось – никто не заметил. Ночь была морозная. Около застав и по улицам горели костры,

и к такому костру у Пресненской заставы подошел человек без шапки, весь обмороженный. Это был В. М. Дорошевич. Его отправили в приемный покой Пресненской части. Как он ухитрился пройти мимо бегов, мимо скачек, вьюжным Ходынским полем от Тверской заставы к Пресненской, он не помнил. Всю жизнь после этого В. М. Дорошевич страдал ревматизмом.

Редакционная компания «Листка» гуливала часто. Как-то летом, до солнышка, вышла она из загородного ресторана и увидела, что едет огромная фура для перевозки мебели, запряженная парой огромных битюгов, в ней была навалена солома для упаковки.

– Стой! Что возьмешь сейчас нас отвезти на дачу в Царицыно? – предложил Ф. К. Иванов.

– Двадцать пять рублей!

– Ладно, поехали!

Все с восторгом приняли предложение, быстро расположились в фуре и с места уснули на мягкой соломе, проспав до самого Царицына, где всех разбудили в полдень.

Федор Константинович умел гулять, но

умел и работать. Любимец типографии и сотрудников, но строгий и требовательный, он последнюю полосу прочитывал сам и как редактор и как корректор, чтобы в запятой ошибки не было.

Корректуре он доверял только в те дни, когда дежурила Ольга Михайловна Турчанинова, служившая корректоршей с самого первого номера газеты. У ней ошибок не бывало.

Как-то, в четвертом часу утра, заезжаю в редакцию, вхожу в кабинет к Ф. К. Иванову и вижу, он сидит один в кабинете и хохочет, как сумасшедший.

Перед ним первый оттиск газеты из машины. Он хохочет и, ничего не говоря, тычет пальцем в напечатанную на первом месте крупным шрифтом телеграмму в две строки:

«Петербург. Высочайший вор выехал в Гатчину».

– Видел! Не дождался бы я номера из машины – и газету бы закрыли, и меня бы с Н. И. Пастуховым в Сибирь послали! В корректуре «Двор», в полосе «Двор», а в матрице буква за- пала!

Н. И. Пастухов ценил его и при всех затруд-

нительных случаях обязательно обращался к нему.

У Н. И. Пастухова осталась еще с молодых лет боязнь всякого начальства, и каждому власть имущему он старался угодить всеми возможными способами, давая всякому, кому только можно, взятки: кому денег даст взаимы без отдачи, у кого ненужную лошадь купит. И у главного московского цензора Назаревского купил две дачи в Пушкине за несуразно дорогую цену.

– Да на что вам дачи в Пушкине? – спросил кто-то из своих.

– Мало ли что! И он, и дачи пригодятся со временем!

– А сколько тысяч вы лишков переплатили?

– Ничего, оцелятся!

Впоследствии оказалось, что Н. И. Пастухов был прав.

Каждый год первого августа – день основания газеты – Н. И. Пастухов праздновал в Пушкине, где у него присутствовали и крупные власти и где, не берущим взятки, он проигрывал крупно в карты.

– Что же, тем кормятся! На казенное жалование не проживешь! – оправдывал он взяточников, не стесняясь с ними в обращении.

Зато неберущих боялся и разговаривать с ними не решался, посылая за себя Ф. К. Иванова.

– Федя, милый, съезди к его сиятельству! Выручи, ты уж знаешь, что сказать!

Ф. К. Иванов ехал к генерал-губернатору и выручал газету. Великим дипломатом был Федор Константинович, но раз попался.

Поздним вечером в редакции было получено от какого-то случайного очевидца известие, что между Воробьевыми горами и Крымским мостом опрокинулась лодка и утонуло шесть человек. Пользуясь знакомством с Н. И. Огаревым, бывшим в это время за обер-полицмейстера, Ф. К. Иванов, несмотря на поздний час, отправился к нему и застал полковника дома в его знаменитой приемной.

Вся стена приемной была украшена карикатурами на полицию, начиная с древнейших времен. Здесь были и лубки, и вырезки из сатирических журналов, и оригиналы разных художников.

– Дорогая коллекция. Много лет ее собираю и не жалею денег! – говорил Н. И. Огарев. Здесь он и встретил Ф. К. Иванова.

– Что скажете?

– Да я к вам проверить сведение. Прислали заметку о шести утонувших, правда ли это?

– Правда, утонули сегодня днем. А ну-ка, покажите заметку!

Н. И. Огарев прочел заметку и сказал:

– Все верно. Только здесь вот вставьте: «Лодка плыла от Воробьевых гор к Москве». А у вас не видно, откуда она плыла. А это важно! Понимаете? Оттуда, не отсюда!

Ф. К. Иванов сделал требуемую вставку, и заметка была на другой день напечатана.

Часа в четыре дня в редакцию «Московского листка» влетел правитель канцелярии московского губернатора, гроза всей губернии Карпенко.

– Федор Константинович, я к вам по важному делу. Губернатор Василий Степанович (Перфильев) сердится очень на газету. Что у вас за репортеры!

– В чем дело?

– У вас сегодня напечатано... Ну, на

Москве-реке вчера шестеро утонувших...

– Да, напечатано.

– Напрасно: у вас написано, что оттуда, а надо отсюда. Василий Степанович сердится!

– Ничего не понимаю! Что оттуда, что отсюда?

– Да лодка плыла туда, а не сюда. То есть не в Москву она плыла, а из Москвы. Понимаете, если она из Москвы плыла, отвечать будет московская полиция, а ежели с Воробьевых гор, так уездная полиция.

– Да ведь она плыла на самом деле оттуда, так и написано.

– А на самом деле она плыла отсюда, а написано оттуда! Теперь князь Владимир Андреевич нас тянет.

– Да мне вчера лично Н. И. Огарев сказал, что именно лодка плыла оттуда сюда, а не отсюда туда! Да еще подтвердил, что очень важно написать, что она оттуда.

– По-ни-маю! Так и доложу его превосходительству... Значит, лично полковник Н. И. Огарев! Это его штуки! Только уж вы, Федор Константинович, если еще утонут, так нас спрашивайте, а не Н. И. Огарева. Подвел он

нас!

* * *

– Репортер, как вор на ярмарке: все видь, ничего не пропускай, – сказал мне Н. И. Пастухов в первые дни работы в «Листке».

С момента приглашения меня, писавшего тогда в «Русской газете» и еженедельных журналах, назначенным фактическим редактором газеты Н. П. Кичеевым, я работал в репортаже.

– Репортер должен знать все, что случилось в городе. Не прозевать ни одного сенсационного убийства, ни одного большого пожара или крушения поезда, – настойчиво поучал меня Н. И. Пастухов, целыми часами посвящая в тайны репортерства и рассказывая интимную жизнь города, которую знал в подробностях, вызывавших искреннее удивление.

Что случалось за городом, Н. И. Пастухов имел сведения от исправника и канцелярии губернатора, а меня посылал по провинции, когда там случались события, казавшиеся ему нужными для освещения в газете.

Одной из таких поездок была в Орехово-Зу-

ево на расследование пожара на фабрике Морозова, случившегося 28 мая 1882 года.

По приезде в Орехово я узнал, что в грудях обломков и пепла на месте пожарища на фабрике найдено было одиннадцать трупов. Детей клали в один гроб по нескольку. Похороны представляли печальную картину: в телегах везли на Мызинское кладбище.

Кладбищ в Орехово-Зуеве было два: одно – Ореховское, почетное, а другое – Мызинское, для остальных. Оно находилось в полуверсте от церкви в небольшом сосновом лесочке, на песчаном кургане; там при мне похоронили семнадцать умерших в больнице и одиннадцать найденных на пожарище.

Рабочие были в панике. Накануне моего приезда 31 мая в казарме № 5 кто-то крикнул: «Пожар!», и произошел переполох.

Уже после моего приезда замазанные в казармах окна порасковыряли сами рабочие и приготовили веревки для спасения.

Когда привозили на кладбище гробы из больницы, строжайше было запрещено говорить, что это жертвы пожара. Происшедшую катастрофу покрывали непроницаемой заве-

сой.

Перед отъездом в Москву, когда я разузнал все и даже добыл список пострадавших и погибших, я попробовал повидать официальных лиц. Обратился к больничному врачу, но и он оказался хранителем тайны и отказался отвечать на вопросы.

– Скажите, по крайней мере, доктор, сколько у вас в больнице обгорелых, – спрашивал я, хотя список их у меня был в кармане.

– Ничего-с, ничего не могу вам сказать, обратитесь в контору или к полицейскому надзирателю.

– Их двадцать девять, я знаю, но как их здоровье?

– Ничего-с, ничего не могу вам сказать, обратитесь в контору.

– Но скажите хоть, сколько умерло, ведь это же не секрет.

– Ничего-с, ничего... – и, не кончив говорить, быстро ретировался.

Решил рискнуть и пошел разыскивать самого квартального. Довольно быстро я узнал, что он на вокзале, пошел туда и встретил по дороге упитанного полицейского типа.

– Скажите, какая, по-вашему, причина пожара?

– Поджог, – ответил он как-то сразу, а потом, посмотрев на мой костюм, добавил строго: – А ты кто такой за человек есть?

– Человек, брат, я московский, а ежели спрашиваешь, так могу тебе и карточку с удостоверением показать.

– А, здравствуйте! Значит, оттуда? – И подмигнул.

– Значит, оттуда! Вторые сутки здесь катажусь... Все узнал. Так поджог?

– Поджог, лестницы керосином были облиты. – А кто видел?

– Там уж есть такие, найдутся, а то расходы-то какие будут фабрике, ежели не докажут поджога! Ну, а как ваш полковник поживает?

– Какой?

– Как какой, известно, ваш начальник, полковник Муравьев! Ведь вы из сыскного?

– Вроде того, еще пострашнее, вот глядите! Захотев поозорничать, я вынул из кармана книжку с моей карточкой и печатным бланком корреспондента «Московского листка» и показал ему. В лице изменился и затарато-

рил!

– Вот оно что, ну, ловко вы меня поддели! Нет, что уж... только меня, пожалуйста, не пропишите, будто мы с вами не видались, сделайте милость, – сами понимаете, дело подначальное, а у меня семья, дети...

– Даю вам слово, что я о вас не упомяну, только ответьте на мои некоторые вопросы.

Мы побеседовали, и я от него узнал всю подноготную жизни фабрики. И далеко не в пользу хозяев говорил он.

* * *

В Москву я вернулся ночью, написал корреспонденцию, подписал ее псевдонимом «Проезжий корнет» и привез рано утром Н. И. Пастухову.

Н. И. Пастухов увел меня в кабинет, прослушал корреспонденцию, сказал: «Ладно», потом засмеялся.

– Корнет? Так корнету и поверят! Зачеркнул и подписал: «Свой человек».

– Пусть у себя поищут, а то эти подлецы купцы узнают и пакостить будут. Посмотрим, как они завтра завертятся, как караси на сковородке, пузатые! Вот рабочие, наверное, об-

радуются, читать газету взакос будут, а там и сами нас завалят корреспонденциями про свои беспорядки.

Через два дня прихожу утром к Н. И. Пастухову, а тот в волнении.

– Сегодня к двенадцати генерал-губернатор, князь В. А. Долгоруков, вызывает, купцы пожаловались, беда будет, а ты приходи в четыре часа в тестовский трактир, я от князя прямо туда. Ехать боюсь!

Сотрудник «Московского листка» Герзон и я к трем часам дня сидели за трактирным столом.

Входит Н. И. Пастухов сияющий и начинает рассказывать:

– Прихожу я к подъезду, к дежурному, – князь завтракает. Я скорей на задний двор, вхожу к начальнику секретного отделения П. М. Хотинскому, – человек, конечно, он свой, приятель, наш сотрудник. Спрашиваю его:

«Павел Михайлович, зачем меня его сиятельство требует? Очень сердит?»

«Вчера Морозовы ореховские приезжали оба, и Викула и Тимофей, говорят, ваша газета бунт на фабрике сделала, обе фабрики шумят.

Ваш «Листок» читают, по трактирам собираюсь толпами, на кладбище тоже все читают. Князь рассердился: корреспондента, говорит, арестовать и выслать».

Ну, я ему: «Что же делать, Павел Михайлович, в долгу не останусь, научите!»

«А вот что: князь будет кричать и топать, а вы ему только одно: виноват, ваше сиятельство. А потом спросит, кто такой корреспондент. А теперь я уже спрашиваю: кто вам писал?» А я ему говорю: «Хороший сотрудник, за правду ручаюсь». – «Ну вот, говорит, это и скверно, что все правда. Неправда, так ничего бы и не было. Написал опровержение – и шабаш. Ну, да все равно, корреспондента-то мы пожалеем! Когда князь спросит, кто писал, скажите, что вы сами слышали на бирже разговоры о пожаре, о том, что люди сгорели, а тут в редакцию двое молодых людей пришли с фабрики, вы им поверили и напечатали. Он ведь этих фабрикантов сам не любит. Ну, идите».

Иду. Зовет к себе в кабинет. Вхожу. Владимир Андреевич встает с кресла в шелковом халате, идет ко мне и сердито показывает от-

меченную красным карандашом корреспонденцию.

«Как вы смеете? Ваша газета рабочих взбунтовала!»

«Виноват, ваше сиятельство, – кланяюсь ему, – виноват, виноват!»

«Что мне в вашей вине, я верю, что вас тоже подвели. Кто писал? Нигилист какой-нибудь?»

Я рассказал ему, как меня научил П. М. Хотинский. Князь улыбнулся:

«Написано все верно, прощаю вас на этот раз, только если такие корреспонденции будут поступать, так вы посылайте их на просмотр к Хотинскому... Я еще не знаю, чем дело на фабрике кончится, может быть, беспорядками. Главное, насчет штрафов огорчило купцов. Ступайте!»

Я от него опять к Павлу Михайловичу, а тот говорит:

«Ну, заварили вы кашу! Сейчас один из моих агентов вернулся. Рабочие никак не успокоятся, а фабрикантам в копеечку влетит. Приехал сам прокурор судебной палаты на место. Лично ведет строжайшее следствие. За

укрывательство кое-кто из властей арестован; потребовал перестройки казарм и улучшения быта рабочих, сам говорил с рабочими, это только и успокоило их. Дело будет разбираться во Владимирском суде».

Ну, заварил ты кашу, Гиляй, сидеть бы тебе в пересыльной, если бы не Павел Михайлович! – закончил Н. И. Пастухов.

* * *

«Московский листок» сразу увеличил розницу и подписку. Все фабриканты подписались, а Н. И. Пастухов оригинал взял из типографии, уничтожил его, а в книгу сотрудников гонорар не записали – поди узнай, кто писал.

Года через три, в 1885 году, во время первого большого бунта у Морозовых, – я в это время работал в «Русских ведомостях», – в редакцию прислали описание бунта, в котором не раз упоминалось о сгоревших рабочих и прямо цитировались слова из моей корреспонденции, но ни строчки не напечатали «Русские ведомости» – было запрещено.

Как-то Н. И. Пастухов позвал меня к себе в кабинет:

– Гляди!

На столе лежала толстенная кипа бумаги в казенного типа синей обложке с надписью: «Дело о разбойнике Чуркине».

– Вчера мне исправник Афанасьев дал. Был я у него в уездном полицейском управлении, а он мне его по секрету и дал. Тут за несколько лет собраны протоколы и вся переписка о разбойнике Чуркине. Я буду о нем роман писать. Тут все его похождения, а ты съезди в Гуслицы и сделай описание местностей, где он орудовал. Разузнай, где он бывал, трактеры опиши, дороги, притоны... В Законорье у него домишко был, подробнее собери сведения. Я тебе к становому карточку от исправника дам, к нему и поедешь.

– Карточку, пожалуй, я исправничью на всякий случай возьму, а к становому не поеду, у меня приятель в Ильинском погосте есть, трактирщик, на охоту ездил с ним.

– Ну, это лучше, больше узнаешь!

На другой день я был в селе Ильинский погост у Давыда Богданова, старого трактирщика. За чаем я ему откровенно рассказал, что приехал собрать материал об атамане Чурки-

не. Давыд Богданов сразу меня осадил:

– Ваську-то описывать? Какой он атаман, просто рвань, бывший фабричный от Балашова, спившийся с круга! Действительно, была у него шайчонка, грабил по дорогам, купоны фальшивые от серий печатал, – да кто у нас их не печатает, – а главное, ходил по фабрикам. Придут втроем, вчетвером; вызовет Васька хозяина: «Давай, говорит, четвертную, а то спалю». Ну, и давали, чтобы отвязаться. В поездах под Канабеевым из вагонов товар сбрасывали. Вот и все. А то – «атаман!». Просто сволочь. У меня в трактире они бывали. Только не баловал их – деньги вперед, а то и вина не дам...

Приехав в Гуслицы, я побывал в Законорье у кривого трактирщика Семена Иванова, приятеля Чуркина, побывал в доме самого Чуркина, недалеко от этого трактира, познакомился с его женой Ариной Ефимовной и дочкой.

Пошли мои странствования по Гуслицам. Гуслицы – название неофициальное. Они были расположены в смежных углах трех губерний: Московской, Владимирской и Рязанской. Здесь всегда было удобно скрываться беглым

и разбойникам, шайки которых, если ловят в одной губернии, – перекочевывали рядом, в соседнюю, где полиция другой губернии не имела права ловить. Перешагнул в другую – недосягаем! Гуслики ездили еще по городам собирать на погорелое с фальшивыми свидетельствами. Этот промысел много давал.

Глухое место были Гуслицы: леса, болота, а по деревням хмелевища. Тогда богородские гуслики ткали на ручных станках нанку и канаус и разводили лучший «богемский» хмель. Кроме того, славились печатанием фальшивых денег, которые стали даже нарицательными: «гуслицкими» назывались в Москве все фальшивки. Оттуда вышло много гравиров. Печатали у себя серии и много лет печатали купоны от серий в 2 руб. 16 коп., которыми в 80-х годах наводнили Москву. «Дай-ка купонной машинки, попечатать надо, на базар еду», – обращались соседи друг к другу.

Н. И. Пастухов знал, куда меня посылал, и посоветовал взять револьвер:

– Всяко может быть! Меня, брат, бивали, когда пронюхивали, что я репортер. Гляди в оба!

Я бродил по деревням, знакомился, выспрашивал, а для видимости с ружьем караулил хорьков, которые водились в хмелевищах. Курьёзов со мной было немало.

Пью чай в Ильинском погосте у трактирщика Богданова. Подсел к нам местный крестьянин, про которого все знали, что он имеет дома машинку и печатает купоны от серий. Дотошный мужик, рожа лукавая.

– Где же при тебе, охотничек, собачка? – вдруг спросил он у меня, и озадачил, да выручил Богданов:

– На что ему собака? Он самопугом – идет лесом, а дичина вылетает, заяц выбегает – они и хорп! А на хмелевищах хорька бить – собака одна помеха.

И с тех пор, когда меня спрашивали о собаке, я отвечал, что охочусь «самопугом», что вполне удовлетворяло любопытных.

* * *

Исходил я все деревни, описал местность, стройку, трактиры, где бывал когда-то Чуркин, перезнакомился с разбойниками, его бывшими товарищами, узнал, что он два раза был сослан на жительство в Сибирь, два раза

прибегал обратно, был сослан в третий раз и умер в Сибири – кто говорит, что пристрелили, кто говорит, что в пьяной драке убили. Его жена Арина Ефимовна законно считалась три года вдовой.

Гусяки меня хорошо принимали благодаря Богданову. Около Законорья был Спасо-Гуслицкий монастырь, фабрика купца Балашова, называвшаяся, кажется, по селу Куровскому.

Я познакомился с монастырским казначеем, отцом Памво, монахом пудов на девять веса, который мог пить сколько угодно и когда угодно.

Как-то в ярмарочный день Памво с компанией гулял в лесу, где был ведерный бочонок водки, всякая закуска, на полянке.

Я шел с сыном Богданова, Василием, который служил писарем в Москве при окружном штабе. Это был развитой малый, мой приятель, иногда мы с ним охотились. Мы наткнулись на эту компанию и удостоились приглашения отца Памво. У Василия Богданова были все приятели: представил он и меня им как своего друга.

Не успели выпить, как подошли еще трое с

гармонией.

– Костя! Иди к нам! – закричал им Памво. Подошли, одеты в поддевки, довольно чисто, но у всех трех были уж очень физиономии разбойничьи, а Костя положительно был страшен: почти саженого роста, широкий, губы как-то выдались вперед, так что усы торчали прямо, а из-под козырька надвинутой на узкий лоб шапки дико глядели на нас, особенно на меня – чужого, злые, внимательные глаза.

Сели, на гармонии заиграли. Потом еще подошли мужики, поодаль сели.

Затеялась борьба. Костя швырял противников, как я заметил, одним и тем же приемом, пользуясь своим большим ростом. Отец Памво особенно восторгался, а я не удержался и отозвался на вызов Кости.

– Ну, выходи, дьяволы! С кем на ведро схватимся? Особенного риску не было. Я вышел. Все заорали, смеются, а Василий Богданов уговаривает меня не бороться и все шепчет: «Знаешь, кто это, знаешь?..»

Я встал – схватились, и я, не дав ему укрепиться, сразу бросил его на спину и прижал.

Под радостное и удивленное оранье бросился на меня Костя:

– Врешь, я оскользнулся, давай еще, по-другому!

– Давай!

Тут я воспользовался другим, моим любимым приемом и легко положил его в полминуты. Он встал при восторгах и криках, подошел ко мне, снял шапку, поклонился и протянул мне огромную лапищу.

Пирушка кончилась благополучно. Я с Васей Богдановым заночевал в келье у Памво, где явились и балык, и икра, и мадера. Были еще два монаха пожилых и старый служащий с фабрики Балашова. Пировали до полуночи, и тут-то я узнал, и с кем я боролся, и всю характеристику Чуркина от лиц, много лет и очень близко знавших его.

Все говорили в один голос и все одно и то же, и, что рассказали они, повторили мне впоследствии и остальные гусяки.

Все сводилось к тому, что Васька Чуркин, бывший фабричный, пьяница, со своей шайкой грабил по дорогам и чужих и своих, обворовывал клетки да ходил по хозяевам-фабри-

кантам по нескольку раз в год.

– К нам, бывало, – рассказывал служащий Балашова, – придет с Костей и еще с кем-нибудь – всегда на эти дела втроем ходили – и требует у хозяина 25 рублей или 50, грозя спалить фабрику. Только нахальством брал, и хозяин, чтобы покойнее было, откупался. В крупных грабежах все делал Костя, но молчал, отчего Чуркин и считался атаманом. Уж и били его, бывало, когда без Кости попадетсЯ! Наконец в Сибири его доби́ли. Избавились Гуслицы... Только теперь этот Костя посмирнее без Чуркина стал, а все-таки сразу в трех губерниях живет, везде у него притон, полиция поймать не может!

Я был в этот вечер героем дня, но меня предупредили, что если Костя в лесу встретится, прямо стрелять в него, а то убьет, не простит позора.

На другой день мы были в Законорье, у вдовы Чуркина Арины Ефимовны, которая жила с дочкой-подростком в своем доме близ трактира. В трактире уже все знали о том, что Костя осрамился, и все радовались. Вскоре его убили крестьяне в Болоте, близ деревни Бели-

вы. Уж очень он грабил своих, главным образом сборщиков на погорелое, когда они возвращаются из поездок с узлами и деньгами.

Много сборщики набирали. Мне показывали дома с заколоченными окнами и дверями – это поехали с «викторками» и «малашками» за подаванием. «Викторками» и «малашками» называли издавна фальшивые документы: паспорта фальшивые делал когда-то какой-то Викторка, и свидетельства о сторевших домах мастерил с печатями Малашкин, волостной писарь. Платили ему за вид на жительство три рубля, а за «малашку» – рубль.

Когда я, уже собрав достаточно сведений о Чуркине, явился к Н. И. Пастухову, он вынул из шкафа «Дело Чуркина», положил его на стол, а я выложил начерченную мною карту с названиями сел, деревень, дорог, районов, где «работал» Чуркин, отметив все разбойничьи притоны.

Очень остался доволен Н. И. Пастухов, задавал вопросы, касающиеся описания местностей, но когда я ему рассказал все отзывы, услышанные мною о Чуркине, и много еще других подробностей, характеризующих его

как шпану и воришку, Н. И. Пастухов, уже ранее нарисовавший в своем воображении будущего героя по Ринальди Ринальдино, изменился в лице, его длинные брови и волосы, каемкой окружавшие лысину, встали – признак, что он злится.

– Все они, подлецы, врут на него! И ты тоже врешь! Исправник-то меньше вас знает? Гляди, дело-то какое, с полпуда!

– А вы его прочли?

– Ничего я не читал! Буду писать – буду и читать. По порядку писать буду. А ты все врешь. Еще разок-другой съезди, – смягчился он. – Молчок, где был, куда ездил – никому! О Чуркине ни гу-гу, и слово это забудь!

Потом я подал ему интереснейшую корреспонденцию об ужаснейшем положении рабочих, гибнущих на кустарных фабричках серных и фосфорных спичек в Егорьевском уезде. Он даже и читать не стал:

– Да что ты! О Гуслицах давай, а об этом ни слова, пока я Чуркина не напишу...

– Николай Иванович! Да ведь там народ сотнями гибнет. От фосфору целые деревни вымирают: зубы вываливаются, кости гниют,

лицо – язва сплошная, пальцы отгнивают! В помещения войдешь – дурно делается, а рабочие больше полусуток в них работают.

– Спрячь, говорю! Вот когда Чуркина писать буду – тогда! Спрячь и молчи. Не нашего это ума дело! И о Чуркине молчи, был – не был!

Только года через два, объехав еще не раз ужасный спичечный район, я начал свою кампанию против ужасного производства в «Русских ведомостях» и в петербургских газетах.

Это вызвало и передовые статьи и отклики ученых о вреде серно-фосфорного спичечного производства, которое лет через пять было законом воспрещено.

* * *

Н. И. Пастухов начал печатать своего «Разбойника Чуркина» по порядку протоколов, сшитых в деле, украшая каждый грабеж или кражу сценами из старых разбойничьих романов, которые приобрел у букинистов, а Ваську Чуркина преобразил чуть ли не в народного героя и портрет его напечатал.

Для портрета он снял во весь рост извест-

ного тогда певца Павла Богатырева, высокого и стройного богатыря, в пиджаке, с казацким поясом.

– Николай Иванович! Ведь гусяки над вашим Чуркиным смеются, – сказал я как-то ему.

– Зато подписываются на «Листок»! А розница-то какая!

Действительно, газета в первые месяцы удвоилась, а потом все росла, росла. Московские газеты стали намекать, что описание походов Чуркина развращает читателей, учит, как воровать и грабить.

Н. И. Пастухов печатал в это время уже четвертую книгу о разбойнике Чуркине и объявил о выходе пятой.

Слухи и жалобы заставили наконец всемогущего «хозяина столицы» генерал-губернатора князя В. А. Долгорукова вызвать к себе Н. И. Пастухова:

– Вы что там у меня воров и разбойников разводите своим Чуркиным? Прекратить его немедленно, а то газету закрою!

Струсил Н. И. Пастухов. Начал что-то бормотать в защиту, что неудобно сразу, надо к

концу подвести.

– Разрешаю завтра последний фельетон!

– Да как же! Ведь Чуркин!

– Удави Чуркина или утопи его! – рассердился князь и повернулся спиной к ошалевшему Н. И. Пастухову.

– Ваше сиятельство... Ваше сиятельство...

В. А. Долгоруков вопросительно обернулся.

– Завтра кончу-с! То есть, так его расказню, что останетесь довольны!

И расказнил! На другой день появился последний фельетон: конец Чуркина, в котором свои же разбойники в лесу наклонили вершины двух берез, привязали к ним Чуркина и разорвали его пополам.

* * *

Прошло несколько лет. Как-то, вернувшись в Москву из поездки на юг, я нашел у себя на квартире забитый большой ящик, адресованный на мое имя, со штемпелем «Дулево, фабрика М. С. Кузнецова».

В ящике записка на мое имя: «От благодарных гусяков» и прекрасный фарфоровый чайный сервиз, где, кроме обычной дюжины чашек, две большие с великолепным рисун-

ком и надписью золотом: «В. А. Гиляровскому от Гуслиц». Другая такая же на имя жены. Одна именная чашка сохранилась до сих пор.

Кто заказал сервиз – так и не удалось мне узнать ни в конторе М. С. Кузнецова, ни на Дулевской его фабрике в Гуслицах.

* * *

Компанией мы 28 июня собрались у М. В. Лентовского в его большом садовом кабинете.

На турецком диване спал трагик Анатолий Любский, напившийся с горя. Он должен был уехать в Курск с почтовым поездом на гастроли, взял билет, но засиделся в буфете, и поезд ушел без него. Прямо с вокзала он приехал к М. В. Лентовскому и с огорчения уснул на диване.

На рассвете сели ужинать, все свои – близкие; из чужих был только приятель М. В. Лентовского, управляющий Московско-Курской железной дорогой Константин Иванович Шестаков.

Ели почти молча, только изредка перебрасываясь словами. Солнце золотило верхушки деревьев и освежал нас приятный холодок, когда вдруг вбежал официант – и прямо к К.

И. Шестакову:

– Вас курьер с вокзала спрашивает, Константин Иванович, – несчастье на дороге!

– Что такое? Зови сюда! Нет, лучше я сам выйду. Через минуту он вернулся.

– Извините, ухожу! Схватил шапку, весь бледный.

– Что такое, Костя? – спросил его М. В. Лен-товский.

– Несчастье, под Орлом страшное крушение, московский почтовый поезд провалился под землю. Прощайте!

Пока он жал всем руки, я сорвал с вешалки шапку и пальто и незамеченный исчез.

У подъезда на Божедомке в числе извозчиков увидел лихача-мальчугана Птичку, дремавшего на козлах.

– Птичка, на Курский вокзал, вали!

– Три рубля, – ответил он спросонья.

– Вали!

Минут через двадцать я отпустил Птичку, не доезжая до вокзала, где на подъезде увидел толпу разного начальства, и задними воротами пробежал к платформе со стороны рельсов.

У платформы стоял готовый поезд с двумя вагонами третьего класса впереди и тремя зеркальными, министерскими, сзади.

Я залез под вагон соседнего пустого состава и наблюдал за платформой, по которой металось разное начальство, а начальник станции Игнатов говорил двум инженерам:

– Константин Иванович сейчас приедет. Около Мценска, говорят, весь поезд погиб и все... телеграмма ужасная... – слышались отрывистые фразы Игнатова.

– Идет, идет, прошу садиться!

«Ну, – решил я, – просят садиться, будем садиться!» Я вскочил прямо с полотна на подножку второго министерского вагона, где, на счастье, была не заперта дверь, и нырнул прямо в уборную. Едва я успел захлопнуть дверь, как послышались голоса входящих в вагон.

Через минуту – свисток паровоза, поезд двинулся и помчался, гроыхая на стрелках. Мы уж за городом... Поезд мчится с безумной скоростью, меня бросает на лакированной крышке. Я снял с себя неразлучный пояс из сыромятного калмыцкого ремня и так привернул ручку двери, что никаким ключом не

отопрешь.

Остановились в Серпухове, набрали наскоро воды, полетели опять. Кто-то подошел к двери, рванул ручку, и, успокоившись – «занято», – ушел. Потом еще остановка, опять воду берут, опять на следующем перегоне проба отворить дверь. А вот и Тула, набрали воды, мчимся. Кто-то снова пробует вертеть ручку и, ругаясь, уходит. Через минуту слышу голоса:

– Посмотри, не испортился ли запор.

Слышу металлический звук кондукторского ключа и издаю громкое недовольное рычание и начальственным тоном спрашиваю:

– Кто там?

– Виноват, ваше превосходительство, – и потом тот же голос отвечает: – Нет, занято, – и меня уж больше никто не беспокоил.

Я ехал, ничего не видя сквозь запертое матовое стекло, а опустить его не решался.

Вот наконец Скуратово, берут воду. У самого окна слышу разговор:

– За Чернью, около Бастыева. У нас всю ночь был такой ливень! Вырвало всю насыпь и поезд рухнул, – а потом голоса слились и за-

МОЛКЛИ.

После бешеной езды поезд останавливается. Слышу шаги выходящих и разговоры:

– Сейчас тут рядом, ваше превосходительство, извольте видеть, где народ.

Я развязал ремень и, когда голоса стихли, вышел на площадку и соскользнул на полотно через левую дверь.

* * *

Суток через двое из Москвы и Петербурга на место катастрофы приехали Львов-Кочетов из «Московских ведомостей», А. Д. Курепин из «Нового времени», Н. П. Кичеев из «Новостей» Нотовича и много разных корреспондентов разных газет и публики из ближайших городов и имений.

Ширь, даль, зелень. По обе стороны этого многолюдного экстренного лагеря кипела жизнь, вагоны всех классов, от товарных до министерских населенные, начиная от прокурора палаты и разных инженер-генералов до рабочих депо и землекопов. Город на колесах.

Вокруг кольцо войск охраны и толпы гуляющих зевак, съехавшихся сюда, как на зрелище.

Это была двести девяносто шестая верста от Москвы. В первой телеграмме, посланной мной в газету в день прибытия, я задумался над названием местности и спросил, как называется ближайшая деревня.

– Кукуевка, – ответили мне, и я телеграфировал о катастрофе под деревней Кукуевкой. Отсюда и пошло: «Кукуевская катастрофа», «Кукуевский овраг» и «Кукуевцы» – последнее об инженерах.

– Кукушка, прокукуй мне про Кукуй, – сострил кто-то в «Будильнике».

Отчетливо сохранился в памяти момент приезда на место крушения: впереди шел управляющий дорогой, за ним инженеры, служащие и рабочие.

Огромный глубокий овраг пересекала узкая, сажен до двадцати вышины, насыпь полотна дороги, прорванная на большом пространстве, заваленная обломками вагонов.

На том и другом краю образовавшейся пропасти полувисят, готовые рухнуть, разбитые вагоны. На дне насыпи была узкая, аршина в полтора диаметром, чугунная труба – причина катастрофы.

Страшный ночной ливень 29 июня 1882 года, давший море воды, вырвал эту трубу и образовал огромную подземную пещеру в насыпи, в глубину которой и рухнул шедший из Москвы поезд. Два колена трубы, пудов по двести каждый, виднелись на дне долины в полуверсте от насыпи – такова была сила потока...

Оторвался паровоз и первый вагон, оторвались три вагона в хвосте, а вся середина поезда разлетелась вдребезги, так как машинист, растерявшись во время крушения, дал контрпар, разбивший вагоны, рухнувшие вместе с людьми на дно пещеры, где их и залило наплывшей жидкой глиной и засыпало землей, перемешанной тоже с обломками вагонов и погибавшими людьми.

«Не опоздай на поезд Любский – быть бы ему здесь!» – первое, что мне пришло на ум.

Четырнадцать дней я посылал с нарочным и по телеграфу сведения о каждом шаге работы, и все это печаталось, и «Московский листок», который первый поместил мою большую телеграмму о катастрофе, стал в это время раскупаться нарасхват.

Все другие газеты опоздали. На третий день ко мне приехал с деньгами от Н. И. Пастухова сотрудник А. М. Дмитриев, известный беллетрист. Его знаменитая в свое время повесть «Падшая» была переведена на иностранные языки. «Русский Золя» – называли его, но, к сожалению, в некрологах. При жизни он весьма нуждался.

«Телеграфируй о каждой мелочи, деньгами не стесняйся», – писал мне Н. И. Пастухов, и я честно исполнил его требование.

С момента начала раскопок от рассвета до полуночи я не отходил от производящих раскопки рабочих. Четырнадцать дней, с 8 июля, когда московский оптик Пристлей поставил электрическое освещение, я присутствовал на работах, ночью, дремал, сидя на обломках, и меня будили при каждом показавшемся из земли трупе.

Я пропах весь трупным запахом и более полугода страдал галлюцинацией обоняния и не мог есть мясо.

Первый раз это явление почувствовалось так: уже в конце раскопок я как-то поднялся наверх и встретил среди публики моего зна-

когого педагога – писателя Е. М. Гаршина, брата Всеволода Гаршина. Он увидел меня и ужаснулся. Действительно, обросший волосами, не чесаный и не мытый больше недели, с облупившимся от жары, загоревшим дочерна лицом, я был страшен.

– Ты ужасен! Поедем к нам, это рядом, поедем, вот мои лошади. Вымоемся, передохнем! – стал он меня уговаривать.

В этот день экстренного ожидать было нечего. На девятой сажени сверху на всем пространстве раскапывания пещеры был толстый слой глины, который тщетно снимали и даже думали, что ниже уже ничего нет, но в дальнейшем выяснилось, что под этим слоем оказалось целое кладбище.

Я провел Е. М. Гаршина по работам, показал ему внизу, далеко под откосом, морг, вырытый в земле, куда складывали трупы. Здесь их раздевали, обмывали, признавали, а потом хоронили.

Запах был невыносимый. В то время, когда мы вошли, там находился бывавший здесь ежедневно прокурор Московской судебной палаты С. С. Гончаров, высокий, стройный, эн-

глизированный с бритым породистым лицом фронт, красиво бросавший в глаз монокль, нагибаясь над трупом. Он энергично вел следствие и работал день и ночь.

Это был тот самый С. С. Гончаров, который безбоязненно открыл хищение в Скопинском банке, несмотря на чинимые Петербургом препятствия, потому что пайщиками банка были и министры и великие князья.

Про него тогда на суде песенку сложили:

*Много в Скопине воров,
Погубил их Гончаров!*

Е. М. Гаршин не выдержал ароматов морга, и мы быстро покинули ужасное место.

Я захватил с собой новую розовую ситцевую рубаху и нанковые штаны, которые «купил» мне накануне в Мценске мой стременной Вася, малый из деревни Кукуевки, отвозивший на телеграф мои телеграммы и честно состоявший при мне все время для особых поручений.

На мой вопрос, к кому мы едем, Е. М. Гаршин ответил, что гостит у знакомых и что мы поедем к нему, в садовую беседку, выкупаем-

ся в пруду, и никто нас беспокоить не будет.

Проехали верст пять полями. Я надышаться не мог после запахов морга и подземного пребывания в раскопках, поливаемых карболкой.

Мы подъехали к огромному парку, обнесенному не то рвом, не то изгородью. Остановились, отпустили лошадей и очутились в роскошном вековом парке у огромного пруда. Тишина и безлюдье.

– Ну-с, теперь купаться!

Душистое мыло и одеколон, присланные мне из Москвы, пошли в дело.

Через полчаса я стоял перед Е. М. Гаршиным в розовой мужицкой рубахе, подпоясанный калмыцким ремнем с серебряными бляшками, в новых, лилового цвета – вкус моего Васьки – нанковых штанах и чисто вымытых сапогах с лакированными голенищами, от которых я так страдал в жару на Кукуевке при непрерывном солнцепеке.

Старое белье я засунул в дупло дерева.

– Ну, теперь пойдём, – позвал меня Е. М. Гаршин. Прошли десятка два шагов. На полянке, с которой был виден другой конец пруда,

да, стоял мольберт, а за ним сидел в белом пиджаке высокий, стройный, величественный старик с седой бородой и писал картину. Я видел только часть его профиля.

– Яков Петрович!

– А, Евгений Михайлович! Я слышал, кто-то купается, а это вы, – не отрываясь от работы, говорил старик.

– Я, да и не один. Вот мой старый друг, поэт Гиляровский.

Старец обернулся и ласково-ласково улыбнулся.

– Очень, очень рад. Где-то я на днях видел вашу фамилию, ну вот недавно, недавно...

– А корреспонденции из Кукуевки, – вмешался Е. М. Гаршин, – как раз вчера мы с вами читали... я его оттуда и привез.

– Так это вы? Мы все зачитываемся вашими корреспонденциями. Какой ужас! В других газетах ничего нет. Нам ежедневно привозят «Листок» из Мценска. Очень, очень рад... Ну, идите к Жозефине Антоновне, и я сейчас приду к обеду, очень рад, очень...

Мы быстро пошли.

– Кто этот славный старик? Уж очень зна-

комое лицо, – спрашиваю я.

– Да Яков Петрович Полонский, поэт Полонский, я гощу у него лето. Иван Сергеевич не приехал, хотя собирался... А вот Яков Петрович и его семья здесь.

– Какой Иван Сергеевич? – спрашиваю я.

– Да Тургенев, ведь это его имение, Спасское-Лутовиново.

Я окончательно ошалел, да так ошалел, что, ничего не видя, ничего не понимая, просидел за обедом, за чаем, в тургеневских покоях; ошалелым гулял по парку с детьми Полонского, гулял по селу, ничего не соображая, что видел, и теперь ничего не помню.

Помню только, что не мог есть мяса в первый раз в жизни, и помню, что после ужина меня уложили в кабинете Ивана Сергеевича на его знаменитом диване «самосоне». Такой широкий, хоть поперек ложись. В четыре часа утра, простившись накануне, я уехал на Кукуевку.

Впоследствии я побывал на «пятницах» Я. П. Полонского, и года через два-три, когда я уже был женат и жил на Мясницкой в гостинице «Рояль», возвращаясь домой с женой к

обеду, я получил от швейцара карточку: «Яков Петрович Полонский».

Швейцар сказал, что приходил старик на костылях и очень жалел, что не застал меня.

Спустя несколько лет я хоронил Я. П. Полонского, командированный «Русскими ведомостями» в Рязань.

* * *

В те времена, когда М. В. Лентовский блистал своим «Эрмитажем» на Самотеке, в Каретном ряду, где теперь сад и театр «Эрмитаж», существовала, как значилось в «Полицейских ведомостях», «свалка чистого снега на пустопорожней земле Мошнина».

Зимой здесь сваливали с соседних дворов и улиц «чистый», цвета халвы, снег, после которого все это изрытое ямами и оврагами пустопорожнее место покрывалось мусором, среди которого густо росли бурьяны, чертополох и лопухи и паслись козы.

Публика узнала о существовании этого места из афиш в сентябре 1882 года, объявлявших, что «воздухоплаватель Берг сегодня, 3 сентября, в 7 часов вечера совершит полет на воздушном шаре с пустопорожнего места

Мошнина в Каретном ряду. За вход 30 копеек, сидячее место – 1 рубль».

Разгородили в двух местах забор, поставили в проходе билетные кассы и контроль; полезла публика и сплошь забила пустырь, разгороженный канатами, и «сидячие рублевые места», над которыми колыхался небольшой серый шар, наполненный гретым воздухом. Я был командирован редакцией описать полет. Был серый ветреный день.

– Пузырь полетит! – волновались собравшиеся, глядя на аэростат из серой материи, покачивавшийся на ветру.

Я пробился к самому шару. Вдали играл оркестр. Десяток пожарных и рабочих удерживали шар, который жестоко трепало ветром. Волновался владелец шара, старичок немец Берг: исчез его помощник Степанов, с которым он должен был лететь. Его ужас был неописуем, когда прибежавший посланный из номеров сказал, что Степанов вдребезги пьян и велел передать, что ему своя голова дорога и что на такой тряпке он не полетит.

– Кто кочит летает, иди! – закричал в отчаянии Берг.

– Я, – шепнул я на ухо старику среди общего молчания и шагнул в корзину. Берг просился, ухватился за меня обеими руками, может быть, боялся, что я уйду, и сам стал рядом со мной.

Публика загудела. Это была не корзина, а низенькая, круглая аршина полтора в диаметре и аршин вверх, плетушка из досок, от бочки и веревок. Сесть было не на что. Берг дал знак, крикнул: «Пускай!», и не успел я опомниться, как шар рванулся сначала в сторону, потом вверх, потом вбок, брошенный ветром, причем низом корзины чуть-чуть не ударился в трубу дома, – и... Москва провалилась подо мной.

Мы попали в куски низко висевшей тучи. Сыро, гадко, ничего не видно. Пропали из глаз и строения, и гудевшая толпа. Наши разговоры, малопонятные, велись на черт знает каком языке: и не по-русски и не по-немецки.

Кругом висел серый туман непроглядной тучи. Наконец внизу замелькали огоньки, Воробьевы горы и поля, прорезанные Москвой-рекой. Тишина была полнейшая. Мы опять попали в тучу. Берг, увидев у меня таба-

керку, очень обрадовался и вынюхал чуть не половину. Опять прорвалась туча, открылось небо, горизонт, а под нами бежали поля, перелески, деревни... Москва не была видна, она была с той стороны, где были тучи. Вот фонари и огоньки железнодорожной станции и полотно Рязанской дороги. Я узнал Люберцы. Шар стал опускаться и сел на картофельное поле, где еще был народ.

Мы благополучно сели, крестьяне помогли удержать шар, народ сбегался все больше и больше и с радостью помогал свертывать шар. Опоздав ко всем поездам, вернулся на другой день и был зверски встречен Н. И. Пастуховым: оказалось, что известия о полете в «Листке» не было.

За всю мою репортерскую деятельность это был единственный, запомнившийся мне, случай такого упущения.

* * *

У Н. И. Пастухова было большое количество друзей и не меньшее число ожесточенных врагов.

В нем было столько же оригинального и своеобразно хорошего, сколько и непереноси-

мо дурного, и все это скрывалось под грубой оболочкой не строго культурного человека.

К каждому из своих сотрудников он относился, как к близкому и родному ему человеку, но и церемоний он никаких ни с кем не соблюдал, всем говорил «ты» и, разбушевавшись, поднимал порою такой крик, который не все соглашались покорно переносить.

Зато и в горе и в нужду сотрудников он входил с отзывчивостью, в прессе его времени почти небывалой.

Я знаю случай, когда, с укором встретив старого газетного товарища, пришедшего к нему искать работы, он разом превратил его, как бы мановением волшебного жезла, из бедного и полураздетого человека в человека относительно обеспеченного.

Это моментальное превращение помнят все, кто знал обоих героев этой житейской волшебной сказки: щедрого «хозяина» Пастухова и вконец пропившегося «работника» И. А. Вашкова.

Дело было глухой осенью, месяца через два после начала «Московского листка».

На дворе стоял почти зимний холод. Ули-

цы покрыты были какой-то гололедицей, чем-то средним между замерзшим дождем и растаявшим снегом, когда в скромную в то время квартиру нового редактора-издателя вошел Иван Андреевич Вашков, довольно хороший и известный в Москве литератор, но вечно бедствовавший, частью благодаря своему многочисленному семейству, состоявшему из семи или восьми душ, а частью (и даже большей) благодаря своей губительной и неудержимой страсти к вину.

Пришел И. А. Вашков в самом жалком виде, без калош, в плохих сапогах и в одном холодном пальто, под которым даже сюртука, кажется, не было.

Он не взглянул ни на кого из нас, хорошо ему знакомых по прессе, и прямо подошел к Н. И. Пастухову, который с обычной своею оригинальностью, смерив его с головы до ног пристальным взглядом, с укоризной промолвил:

– Хорош!

– Работы дайте! – резко ответил ему И. А. Вашков. – А уж хорошо или нет, об этом потом рассудите!

– Да ведь ты работать не станешь, Иван Андреевич.

– Коли пришел «наниматься», так, значит, буду. Нельзя не работать. С голоду все умрем. Есть надо!

– А пить не следует... – серьезно покачал Н. И. Пастухов своей седой головой. – Ты где живешь-то?

– Да покуда... то есть сегодня, в мебелированных комнатах, а завтра уж не знаю, где буду жить, потому – хозяйка выселяет.

– Много должен?

– Пятьдесят рублей!

– А амуниция только та, что на тебе?

– Только, – низко опустив голову, ответил И. А. Вашков.

– И что за жизнь такая в мебелирушках! – продолжал Н. И. Пастухов свои назидания. – Ведь у тебя, слышно, детей орава. Ты бы квартиру взял лучше!

– А мебель где взять?

– Она! Редкость какую нашел... мебель... мало мебели в Москве?

– Да такому, как я, и квартиры не сдадут. Контракт подписывать надо...

– Важное кушанье контракт... подпишем!

Н. И. Пастухов, видимо, начинал уже окончательно входить в роль доброго гения.

Прошла минута тяжелого молчания. И. А. Вашков стоял, понутив голову.

– Нечего нос на квинту сажать, – весело и бодро заговорил старик. – Поедем твои грехи замаливать... Да обожди! Мою шубу надень! Пальто мое на тебя не влезет. Ишь ты дылда какая, прости господи!

– Зачем? Не надо! – стесняясь, пробормотал И. А. Вашков.

– Чего там не надо... Замерзнешь, возись тогда с тобой!

Закутав И. А. Вашкова в свою шубу и посадив его с собой в экипаж, Н. И. Пастухов объехал с ним и мебельный, и посудный магазины, закупив там полное хозяйство. Затем провез его к портному, платья ему купил полный комплект, нанял ему квартиру через два дома от редакции, подписал обязательство платить за его помещение и, вернувшись с ним к себе домой, выдал ему две книжки для забора товара в мясной и в колониальных лавках, условившись с ним таким образом, что поло-

вина заработанных им денег будет идти в погашение этого забора, а остальная половина будет выдаваться ему на руки.

Придя к Н. И. Пастухову голодным и холодным, без работы и без возможности прокормить семью хотя бы в течение одного дня, И. А. Вашков ушел от него сравнительно обеспеченным человеком, с приличным, совершенно новым гардеробом, с оплаченной и оборудованной квартирой, с перспективой вполне безбедного существования и с возможностью приодеть всю свою многочисленную семью.

Когда И. А. Вашков умер, то, помимо устроенных похорон, всецело оплаченных Н. И. Пастуховым, жене его были куплены меблированные комнаты.

Такая же помощь была оказана Н. И. Пастуховым семье умершего журналиста Ракшанина; такая же сумма выдана была семье умершего газетного работника Йогансона.

Всем сотрудникам, ни разу не оставлявшим его редакцию за все время ее существования, выдано было за несколько лет до его кончины по пяти тысяч рублей, а после его смерти все лица, близко стоявшие к его газе-

те, остались если не богатыми, то вполне обеспеченными людьми.

Добряк в жизни, Н. И. Пастухов как редактор имел много таких черточек, которые иногда ставили сотрудников или людей, сталкивавшихся с ним по работе, в затруднительное положение.

Одна из таких сцен, имевшая место в первый год издания газеты, живо врезалась у меня в память.

Съехались мы, сотрудники, как-то утром в Денежный переулок к Н. И. Пастухову, очень любившему, чтобы у него собирались вокруг стола во время утреннего и вечернего чаепития.

Он в это утро был не в духе и, насупившись, ушел в кабинет рядом с залой, так что все, что там делалось и говорилось, было всем слышно.

Н. И. Пастухов сидит в кабинете перед письменным столом и чертит что-то на бумаге, делая вид, что углублен в серьезное, безотлагательное занятие.

В это время явился Михаил Александрович Гиляров со статьей в руках и с твердым наме-

рением получить хороший аванс.

Последнее было у Н. И. Пастухова сделать не всегда легко, и хотя дело кончалось обыкновенно полным удовлетворением всякой просьбы, но покричать при этом он считал своей священной обязанностью, и кричал иногда довольно внушительно.

Гиляров прошел в кабинет и, сразу сообразив, что «сам не в духах», заискивающим тоном начал:

– Я тут политическую передовицу написал, Николай Иванович.

– Ну что ж! Это твое дело! На то ты и нанят...

– Я хотел вам прочесть, посоветоваться. Как вам покажется.

– Ну, что ж! Валяй! – умилоствивляясь и напуская на себя важный тон, разрешил Н. И. Пастухов.

Гиляров начал читать отчетливо и внушительно, а Н. И. Пастухов глубокомысленно вставлял ни к селу ни к городу коротенькие замечания, вроде:

– Ты тут того – сгладь немного, как бы, знаешь, там не рассердились.

Где было это таинственное «там» и кто за что мог рассердиться при чтении вконец безобидной статьи, конечно, и сам редактор этого не знал, но нужно было «выдерживать факсон», и Н. И. Пастухов его выдерживал.

Мы в зале притихли и слушали внимательно, зная, что без какого-нибудь казуса дело не обойдется.

Наше предположение сбылось. Читая свою «передовицу», Гиляров дошел до слов: «вот именно чего добивались мадьяры».

В ответ на эти совершенно безвинные слова Н. И. Пастухов громко и порывисто крикнул:

– Что-о-о тако-о-ое?

Гиляров остановился охваченный глубоким удивлением.

– Что-о-о?! – по-прежнему, как труба иерихонская, гремел Н. И. Пастухов. – Какие там мадьяры? Откуда ты мадьяр еще выискал!

Растерявшийся М. А. Гиляров постарался, по возможности понятно, объяснить ему значение слова «мадьяры», но «сам» уже закусил удила, и вразумить его не было никакой возможности.

– Так ты так и говори! – гремел он. – Так напрямик и объясняй: австрияк так австрияк, пруссак так пруссак, а мадьяр мне не сочинишь, редактора зря не подводи. Вот что! Нешто с вас спросится? Вы намадьярите, а редактору по шапке наладут!.. – И, видя «глубокое» впечатление, произведенное его словами и его строгим окриком, он уже смирившимся и умилованным тоном прибавил, укоризненно качая головой:

– А еще профессор!

Мы в зале не могли удержаться от заразительного смеха, а Н. И. Пастухов, увидав в зеркале отражение наших смеющихся лиц, почтил нас окриком:

– Вы там чему рады! Вы нешто начальство пожалеете!

А между тем мы именно в эту минуту от души жалели наше оригинальное «начальство» и благоговели перед дальновидностью нашей правительственной администрации, возложившей тяжелую шапку редактора и публициста на голову этого старого ребенка.

С годами Н. И. Пастухов стал и не так доступен, и с виду как будто не так отзывчив, но

в душе он оставался тем же, и кажущаяся перемена в нем была вызвана слишком большими уступками и лестью близко к нему стоявших и беспощадно эксплуатировавших его лиц.

* * *

О первой поездке его за границу в литературном мире ходила масса забавных анекдотов, из которых один пользовался самым широким успехом во всем московском обществе.

Относится этот анекдот ко времени тулонских торжеств во Франции, куда Н. И. Пастухов пригласил ему сопутствовать Н. С. Иогансона, очень милого, симпатичного человека, которого считал замечательным лингвистом и который не оспаривал этого мнения.

В сущности, Н. С. Иогансон только «понимал» по-французски, но и то далеко не все, и мы, провожая во Францию наших путешественников на дебаркадер железной дороги, недоумевали, что станут говорить и делать в поездке наши вояжеры.

Они оба не унывали, и Н. И. Пастухов, прощаясь с нами, говорил, на лету подхватывая наши слегка насмешливые улыбки:

– Ладно! Смейтесь тут! А мы станем там Францию удивлять.

Первое «удивление» было вызвано тем широким барским масштабом, в какой Н. И. Пастухов поставил свой ежедневный обиход.

Номера он и в Париже и в Лионе занимал самые дорогие и самые лучшие, на «водку» прислуге раздавал деньги щедрой рукой, обязательно сопровождая каждое приношение приветом:

– Вуаля! Алле!

Экипажи он заказывал себе самые дорогие и, легко и приветливо знакомясь со всеми, угощал при этом всех такими лукулловскими обедами, что среди всей прислуги ресторанов и отелей известен был под лестным именем «боярина».

Наступил день банкета, который город пожелал дать прессе, и представителям седьмой державы разосланы были почетные приглашительные билеты.

Получили такие билеты и Н. И. Пастухов и Н. С. Иогансон, которым было отведено видное место.

Во всех концах стола шла оживленная бе-

седа, только «бояре» ели молча, потому что никакого разговора поддержать не могли.

Когда предложены были тосты за всех почетных посетителей, один из представителей муниципалитета попросил слова, поднял бокал за присутствовавшего на банкете представителя широко распространенной газеты, издающейся в Москве, этой исторической колыбели России, близкой, понятной и дорогой всему просвещенному миру.

Поднимая бокал, он обратился к Н. И. Пастухову и низко, почтительно поклонился ему.

Оба «боярина» наши сконфузились и растерялись.

– Николай Степанович, чего они? – конфузливо проговорил Н. И. Пастухов, обращаясь к Н. С. Иогансону.

– Ваше здоровье пьют, Николай Иванович, речь вам сказали. Ответить надо, – шепнул в ответ Н. С. Иогансон.

– Ну, вот еще выдумал! Нешто я могу... Ты за меня скажи.

– Да я тоже не могу, Николай Иванович... – сознался шепотом «лингвист».

Со стороны моряков, которых по целым

дням неутомимо угощал «боярин», тоже последовала приветственная речь по его адресу.

– Надо сказать что-нибудь, Николай Иванович! Непременно надо! – убедительно прошептал Н. С. Иогансон.

Пастухов и сам, вероятно, понял необходимость ответить на адресованные к нему приветствия, и, поднявшись с места, он низко раскланялся на все стороны и коротко и прочувственно сказал:

– Спасибо, голубчики...

– Что он сказал? – раздалось со всех сторон, когда сдержанный оратор опустил на свое место.

Французы, присутствовавшие на банкете, по-русски не понимали, и все обратились за разъяснением и переводом к сидевшему в центре стола секретарю нашего посольства в Париже Нелидову.

Тот к числу друзей Н. И. Пастухова не принадлежал, находил, что он «компрометирует русское общество», но, вынужденный настоятельностью обращенных к нему вопросов, пресерьезно ответил, подстрочно переводя коротенький привет Н. И. Пастухова: «Спаси-

бо, голуби!»

Характерный эпизод этого оригинального привета и его не менее оригинального перевода быстро облетел весь стол и в тот же день сделался достоянием всего съехавшегося общества.

В последние годы своей жизни Н. И. Пастухов уже не писал почти ничего, но всегда посещал общественные места и особенно любил гулять в манеже. В одно из таких гуляний ему сопутствовал Н. Н. Соедов, тогда редактор «Развлечения», большой шутник. Н. Н. Соедов пришел раньше Н. И. Пастухова и выиграл в лотерею дюжину мельхиоровых ложек. Потом они встретились, пили чай в буфете, а после чая пошли смотреть гулянье. Желая подшутить над стариком, Н. Н. Соедов положил ему в карман пальто одну из выигранных ложек. Николай Иванович, идя по манежу, сунул руку в карман и, вынимая ложку, сказал:

– Коля, а ведь я ложку украл! Снеси-ка ее в буфет. Н. Н. Соедов взял ложку и в это время сунул Николаю Ивановичу другую и пошел в буфет.

– Снес?

– Снес, Николай Иванович.

– А вот у меня другая ложка... Стало быть, я две стащил... Снеси-ка.

Н. Н. Соедов опять взял одной рукой ложку, а другой другую ложку опять сунул в карман. Зашел в буфет, сделал вид, что снес ложку, и опять идет. Видит: Николай Иванович стоит удивленный и смотрит на ложку, которую держит в руках:

– Откуда же она? Ведь это третья... Ничего не понимаю... Возьми, отнеси. Впрочем, пойдем, я сам отдам.

Подойдя к буфету, Николай Иванович позвал лакея, отдал ему ложку и пошел гулять по манежу. В это время Н. Н. Соедов опять сунул ложку ему в карман.

Николай Иванович остановился перед куплетистом, слушал и вдруг изменился в лице.

– Коля, ущипни меня за ухо...

– Что-с, Николай Иванович?

– Ну, за руку... Возьми... ущипни... Жив я или нет? Н. Н. Соедов ущипнул его за левую, протянутую ему руку, а правая рука Николая Ивановича была в кармане.

– Жив... Только ничего не понимаю... Ты

знаешь, что у меня в руке? Боюсь посмотреть, а чувствую... Опять она...

– Кто-с?

– Ложка... вот она, гляди.

И Николай Иванович вынул из кармана четвертую ложку. Побледнел, дрожит... Н. Н. Соедов сам испугался за старика и кое-как развлек его, но никогда не объяснил ему своей проделки, а сам Николай Иванович, когда рассказывал кому-нибудь из своих приближенных об этом непонятном случае как о чуде, все-таки прибавлял:

– Верил бы и в чудо, ежели бы только сомной Соедов не был... Он все может...

* * *

Лет за десять до кончины с Н. И. Пастуховым произошел случай, имевший для него тяжелые последствия. Н. И. Пастухов, как я уже говорил, был отчаянным рыболовом. Ничто в мире не могло так занять и увлечь его, как рыбная ловля.

Однажды Н. И. Пастухов, приехавший, по своему обыкновению, на Нижегородскую ярмарку, выбрал и облюбовал себе место в нескольких верстах от города, в небольшой

деревеньке, расположенной у самого берега Волги, и, наняв там у одного из крестьян лодку, расположился со своими удочками, приготовившись к обильному улову.

Вообще рыбная ловля на удочку требует ненарушимой тишины, а Н. И. Пастухов, для которого ужение было чуть ли не священнодействием, был необыкновенно капризен и требователен в этом отношении.

Нельзя было нанести ему большего оскорбления, как явиться к нему на берег и шумом и разговором спугнуть рыбу, которая клюет только при полной тишине и немедленно уходит, раз эта полная тишина нарушена.

Все знавшие Н. И. Пастухова считались с этим, и легко можно себе представить, как он рассердился, закинув удочку и внезапно услышав за собой на берегу смех и говор нескольких детских голосов.

– Кши! – сердито закричал он на них, обернувшись в их сторону и прогоняя их, как гоняют надоедливых птиц.

Детишки не унимались, и, только видя, что «старый барин» зашевелился в лодке, и боясь, что он причалит к берегу и поймает их,

они бросились бежать с громким криком и озираясь на сердитого «дедушку», который был не на шутку взбешен.

Рыба, испуганная шумом, ушла и он хорошо знал, что в этот вечер она не клюнет.

Н. И. Пастухов поднялся в лодке и издали увидал, как двое из убежавших мальчиков остановились на дороге, с любопытством глядя в его сторону и словно поддразнивая его.

Окончательно возмущенный такой смелостью и желая хорошенько пугнуть дерзкую детвору, Н. И. Пастухов схватил в руки лежавший подле него в лодке револьвер и направил его на мальчиков. Те, увидев, что он поднялся, вскрикнули и побежали.

Он, с целью раз навсегда хорошенько прочить их, спустил курок. Пуля, направленная с шальной меткостью, настигла мальчика, остановившегося ближе к берегу.

Н. И. Пастухов, мгновенно вспомнив, что револьвер заряжен, весь похолодел, увидав, как мальчик зашатался, быстро рванулся в сторону и, взмахнув руками, разом грохнулся о землю.

Обезумев от ужаса, Н. И. Пастухов выско-

чил из лодки, бросился к мальчику, нагнулся над ним, стал окликать его, ласково ободрять, но было уже поздно.

Ребенок лежал бледный, без движения, широко открытыми глазками, в которых застыло выражение смертельного ужаса. Он был убит наповал.

Обезумевший от ужаса Н. И. Пастухов бросился в город на ожидавшей его на берегу лошади и мигом вернулся оттуда в сопровождении полиции и нескольких врачей, которых он буквально хватал по дороге, не спрашивая об условиях, и только испуганным и дрожащим голосом повторял:

– Скорей! Ради бога, скорей! Может быть, еще можно что-нибудь сделать!..

Но делать уже было нечего. Нагрянувшие власти нашли у трупа уже громадную толпу крестьян с матерью убитого мальчика во главе.

Их всех призывали разбежавшиеся дети, поторопившиеся известить, что «старый, сердитый барин убил Ваську».

Тут же стояла на страже и земская полиция, знакомая с порядками следствия и с за-

конами и зная, что мертвое тело нельзя трогать с места до приезда начальства.

На коленях перед трупом, прижавшись головой к остывшему маленькому телу, неутешно рыдала мать маленького Васи.

Увидав Н. И. Пастухова, она бросилась к нему, и не защити его присутствовавшие, она, кажется, разорвала бы его своими руками.

В порыве отчаяния она проклинала его самым страшным образом, и когда расстроенный и перепуганный Н. И. Пастухов направился к экипажу, она, силой удержанная десятскими, крикнула ему вслед:

– Пусть бог отомстит тебе за меня! Ежели у тебя есть дети, пусть он их у тебя отнимет, как ты у меня моего сыночка бедного отнял!

Движимый горем и раскаянием в своем невольном преступлении, Н. И. Пастухов дал несколько тысяч семье Васи, поставил над его могилой мраморный памятник и внес в земскую управу сумму на учреждение в ближайшем селе школы в память убитого.

Но проклятие убитой горем матери, видимо, оказалось сильнее всяких денег, могуще-

ственное всяких пожертвований и даров, и несчастье, призванное на его голову, как бы стало осуществляться.

У Н. И. Пастухова было только двое детей: сын, которому в момент этого горького события было около тридцати пяти – тридцати шести лет, и дочь несколькими годами моложе брата.

Сын был уже давно женат, дочь тоже была замужем, и у каждого из них, в свою очередь, была семья. Оба были в полном расцвете сил и здоровья и, богатые, счастливые, наслаждались всеми благами жизни.

Не прошло и года после ужасной гибели Васи, как дочь Н. И. Пастухова внезапно заболела горловой чахоткой и через несколько месяцев умерла в страшных муках от голода, не имея сил глотать никакую пищу.

Брат, присутствовавший на ее погребении и сам несший гроб ее до могилы, почти внезапно умер через три недели после нее, проболев только пять или шесть дней.

Эта последняя могила была вырыта через девять месяцев после трагической смерти маленького Васи.

Люди, не зараженные предрассудками, могут объяснить это простой случайностью, но многие из тех, кто был свидетелем передаваемого случая, увидели в нем нечто иное.

Сам Н. И. Пастухов ни разу, сколько можно было заметить, не вспоминал ни случая нечаянного убийства, ни совпадения обрушившихся на него несчастий с поразившим его проклятием матери Васи. Помимо нравственного горя, это роковое дело принесло Н. И. Пастухову немало и материальных убытков.

Дело это до суда не дошло, но, по признанию Н. И. Пастухова, это обошлось ему в солидную цифру.

Сына Н. И. Пастухов обожал, и во всем живом мире не было существа ему более близкого и дорогого, а между тем и хоронить его старику пришлось при совершенно исключительных условиях.

Сын, никогда не разлучавшийся с отцом, сам был к нему горячо привязан и, узнав о внезапной болезни отца, занемогшего на одной рыбной ловле, за Пушкином, куда он поехал после похорон дочери, тотчас же отправился, чтобы перевезти больного отца в Моск-

ву.

Поехал он к нему совершенно здоровый, но дорогой простудился и при возвращении в Москву сам занемог.

Отец в это время лежал без памяти и ничего не знал о болезни сына.

Квартира молодого Пастухова расположена была на одной лестнице со стариком, прямо над его квартирой, и лежал больной сын прямо над той комнатой, где лежал и приговоренный к смерти старик.

Очнувшись от беспамятства на третий или четвертый день болезни, старик спросил о сыне, и доктора, уже не питавшие никакой надежды на его выздоровление, осторожно предупредили старика об опасной болезни сына.

Он, вздохнув, перекрестился, спросил, остается ли какая-нибудь надежда на выздоровление, и, получив отрицательный ответ, попросил окружающих, чтобы его предупредили в ту минуту, когда у сына начнется агония.

Желание это было исполнено, и он, узнав, что сын доживает последние минуты своей

сравнительно молодой жизни, поднял глаза к потолку, как бы желая взором проникнуть сквозь все материальные преграды туда, где угасала эта дорогая для него жизнь.

Не только провести, но даже и перенести его по лестнице в квартиру сына не было никакой возможности, и старика только в креслах подкатили к двери передней в ту минуту, когда сверху мимо него пронесли гроб с дорогим ему прахом.

В тех же креслах его подкатили к окну, из которого он увидел сына, когда гроб его вынесли из дома.

Самого Н. И. Пастухова смерть постигла тоже со странным совпадением дат.

Его хоронили 31 июля 1911 года, то есть накануне тридцатилетнего юбилея его газеты, первый номер которого вышел в свет 1 августа 1881 года.

* * *

Эти отдельные эпизоды, вырванные из очень большой репортерской работы в «Московском листке», могут, как мне думается, дать некоторое представление и о репортаже того времени, и о Н. И. Пастухове – создателе

газеты, которая читалась и в гостиных, и в кабинетах, и в трактирах, и на рынках, и в многочисленных торговых рядах и линиях.

Казенные газеты

«Студент 3-го семестра утешает вдов и разводит сирот. Согласен за стол и квартиру. Б. Бронная, д. Чебышева, студенту Андрееву».

Эти строки единственные остались у меня в памяти из газеты, которая мозолила мне глаза десятки лет в Москве во всех трактирах, ресторанах, конторах и магазинах. В доме Чебышева, на Большой Бронной, постоянном обиталище малоимущих студентов Московского университета, действительно оказались двое студентов Андреевых, над которыми побалагурили товарищи, и этим все и окончилось.

Эту газету получали все учреждения, потому что обязаны были получать и непременно держать ее на виду.

Программа этой газеты, утвержденная правительством, была шире всех газетных программ того времени. Ей было разрешено пе-

чатать «все, что интересно читать и потребно обывателю». Так и написано было в разрешении, которое мне показывал сам редактор, маленький чиновничек, назначенный из канцелярии обер-полицмейстера.

Он имел шикарную квартиру при редакции и жил так, как полагается жить человеку, занимающему подобную квартиру.

Редактор никогда не читал своей газеты, имевшей свою хорошо оборудованную типографию. Газету вообще никто не читал, а меньше всего подписчики.

Интересовались ею только самые злополучные люди, справлявшиеся о том, какого числа будет продаваться за долги их обстановка, да еще интересовались собачьи воры, чтобы узнать, по какому адресу вести украденную ими собаку, чтоб получить награду от публикующего о том, что у него пропала собака. Эти лица, насколько я знаю, читали газету, а кто были остальные читатели, если только они были, – неизвестно.

Меня вопросы об аукционах не интересовали, а если у меня пропадала породистая собака, что было два раза в моей жизни, то я

прямо шел на Грачевку, в трактир Павловского, разыскивал Александра Игнатьева, атамана шайки собачьих воров, – и он мне приводил мою собаку.

Цензурный комитет в глаза не видал этой газеты, в которой печатались обязательные постановления Городской думы касательно благоустройства города, краткие сообщения из полицейских приказов и протоколов о происшествиях и список приехавших в столицу и выехавших особ не ниже пятого класса.

Кроме того, в газете «припечатывались» казенные и частные объявления, и на квитанциях писалось: «За припечатание сего объявления получено 33 копейки серебром».

Частные лица редко сдавали сюда торговые объявления, и называлась эта газета «Ведомости московской городской полиции».

Распространение газеты зависело от энергии участкового пристава и характера участка, которым пристав этот ведал. Так, в Арбатской и Пречистенской частях этой газеты и не увидишь, хотя каждый домовладелец обязан был на нее подписываться. Эти два участ-

ка были населены дворянством, которое гнало полицейских, приходивших с подписной книгой на газету. Зато в некоторых более подходящих участках были приставы, ревностно заботившиеся о доходах газеты, причем, конечно, не забывали и о своем кармане.

В 1881 году московская полиция была преобразована: прежнее административное деление столицы на кварталы было уничтожено, и Москва была разделена на 40 участков.

Квартальных переименовали в участковые пристава и дали им вместо старых мундиров со жгутиками чуть ли не гвардейскую форму с расшитыми серебряными воротниками и серебряными погонами с оранжевым просветом.

Пузатые, небритые квартальные надели почти что гвардейские мундиры, и только некоторые из молодых побрились и стали лихо закручивать усы.

Некоторые из них отпустили бороды по примеру царского двора, где бакенбардисты превратились в бородачей: царь носил бороду.

Квартальные, ставши приставами, конечно

но, заважничали и подняли тариф: теперь фунтом чернослива или ногой телятины торговцы уже не отделялись – гони наличные, купить сами умеем.

В это время я написал для «Будильника» четверостишие, которое мне показали, троекратно и зло зачеркнутое красными чернилами, да еще с цензорской добавкой: «Это уж не либерально, а мерзко!»

Четверостишие было такое:

*Квартальный был – стал участ-
ковый,
А в общем та же благодать:
Несли квартальному целковый,
А участковому – дай пять!*

В числе таких квартальных, переодевшихся в почти гвардейский мундир, был капитан Змеев – щеголь и козырь вовсю.

Он в это время был приставом на Тверской-Ямской, где улицы и переулки были населены потомками когда-то богатого сословия ямщиков и вообще торговым, серым по тому времени, людом.

Поручил собрать подписку околоточным, но безуспешно. Ответы были такие:

– На кой она нам!

– Мы люди неграмотные, газетов отродясь не читали!

В одно из воскресений, после обедни, на обширный двор участка были согнаны все домовладельцы, трактирщики и лавочники – хозяева.

Поддевки, длинные сюртуки ниже колен, смазные сапоги и картузы, как у Дикого из «Грозы», наполнили Двор. Вынесли стол с книгой подписки на газету.

Вышел на крыльцо грозный пристав Змеев:

– Здравствуйте, почтенные!

– Здравствуйте, вскорodie!

– Кто у вас на «Полицейские ведомости» подписался, руку подними.

Поднялись две руки: трактирщика Осипова и лавочника Луки Прокофьева.

– Выходи сюда. Подошли без шапок, дрожат.

– Ну, спасибо вам, молодцы! Можете идти домой! – даже руку им подал на прощанье.

Затем обратился к писарю и приказал каждому раздать по газете, кому хватит.

– Здесь, вот видите, на первой странице высочайшие приказы и обязательные постановления напечатаны. Их обязан знать каждый обыватель. Берите газету, располагайтесь на травке и выучите наизусть пока первую страницу. Да чтоб без ошибок было! А кто выучит – пусть доложит мне, я проэкзаменую сам.

И крикнул городовым:

– Никого не выпускать со двора!

Городовые заперли ворота. Пристав важно ушел в свой кабинет.

Ошалелые обыватели бросились к писарю. Некоторые стали по складам читать газету и заучивать.

Писарь предложил желающим подписаться и с квитанцией идти к приставу в канцелярию. Подписка была четыре рубля за год. Конечно, сдачи с пяти рублей не давали. Брали квитанции, шли в канцелярию и исчезали.

Некоторые, упорные, пробовали учить заданное, но ничего не выходило.

В результате весь участок Змеева подписался на «Полицейские ведомости», а вышедшие из кабинета с аудиенции через па-

радный ход участка прямо на улицу почесывали затылок:

– Н-да! Что ловко, то ловко!

В Москве была еще такая же газета с обязательной подпиской, но той в столице не выдали.

Она выходила раз в неделю, посылалась в провинцию почтой, где ее сваливали, не распечатывая бандероли, в архив присутственных мест уездных городов. Оттуда она поступала в конце концов через сторожей в соседние лавочки на оклейку стен или употреблялась на курево.

В ней печатались циркуляры, еще ранее разосланные по уездам почтой, и «припечатывались» объявления о пропавших коровах и забеглых лошадях, о потерях документов и разных находках.

Я в первый раз познакомился с этой газетой, носившей громкое название «Московские губернские ведомости», в начале 80-х годов, на охоте под Коломной, где в сельской лавочке в половину этой газеты мне завернули фунт мятных пряников.

На привале в лесу я стал смотреть газету и

среди объявлений о пропажах и находках наткнулся на такое сообщение:

«В лесу близ Черкизова найдены неизвестно кому принадлежащие кандалы с потертыми подкандальниками. Владельца просят явиться, с доказательствами принадлежности в Московское губернское правление, в стол находок».

Цензура и цензоры

Самым глухим и трудным временем для печати было, пожалуй, десятилетие с 1881 по 1891 год, сменившее время «диктатуры сердца» и либеральных веяний, когда печать чувствовала себя относительно свободно. Это жесточайшее время реакции отразилось первым делом на печати: получить разрешение на газету или журнал было почти невозможно. Зато правительство легко закрывало издания или умело сводило на нет при всяком удобном случае неудобные ему. Любопытно, что одним из первых во время наступившей реакции пострадал цензор Никотин, просматривавший журнал Н. А. Пушкарева «Свет и тени». Он пропустил карикатуру, не разгадав-

ши ее смысла. Пострадал за нее и автор-художник, тогда еще студент-медик, М. М. Чемоданов.

Во всю страницу журнала «Свет и тени» летом 1881 года появился рисунок: стоят прямо воткнутые в две чернильницы по сторонам стола два гусиных пера, а через них была перекинута в виде вьющейся линии надпись: «Наше оружие для разрешения современных вопросов».

Перья и надпись изображали, если всмотреться, два столба с перекладиной. Перекладина-надпись была сделана почерком с росчерками, и один из росчерков, как раз посередине перьев, походил на висящую петлю.

Публика сразу узнала виселицу, и номер журнала был у всех в руках. Хватились испуганные власти, стали отбирать журнал, закрыли розницу издания и уволили цензора.

Уцелевшие у газетчиков номера продавались нарасхват по 5 рублей из-под полы. Вылетел со службы цензор Никотин, в общем очень милый и образованный человек, лучший из цензоров того времени.

Его увольнение больше всего отозвалось

на цензорах, и они зло набросились на печать, и осторожность их доходила до абсурда.

*Привыкай к пеленанью, мой милый,
Привыкай, не шутя говорю,
Подрастешь да исполнишься силой,
Так и мысль спеленают твою.*

Этими строчками заканчивалось стихотворение «Ребенок», сданное мною, вскоре после опубликования рисунка М. М. Чемоданова, в «Будильник».

Оно было послано в гранках цензору Егорову, лучшему из оставшихся цензоров, свободомыслящему и притом дружившему с редактором «Будильника» Н. П. Кичеевым, которому он и сказал, указывая на эти строчки:

– Николай Петрович, да разве можно? Вы хотите, чтоб и меня в отставку, как Никотина, выгнали?

– За что же?

– Да за то, что я допустил намек!

Эта знаменательная беседа с цензором, рассказанная Н. П. Кичеевым своим товарищам, повторялась во всех редакциях и повис-

ла грозной тучей над изданиями.

«Намек» дал тон всей тогдашней литературе, которая в ответ цензуре заговорила эзоповым языком и приучала читателя разыскивать и разгадывать «намекы» даже там, где их не было. И разгадывали и находили, хотя это часто походило на сплошной анекдот.

Что, кроме анекдота, могло явиться в печати под «пятой» правительства, боявшегося даже намека, и какая могла быть печать, если газеты и журналы разрешались только тем, на кого твердо надеялось правительство, уверенное в том, что оно разрешает только тому право на издание, у кого и мысли о каком-нибудь неугодном властям намеке в голову прийти не могло, и разве такой издатель в свою газету и журнал мог пригласить редактора, который был бы способен пропустить какой бы то ни было намек?

Это было время, когда только в подпольной печати были рыцари без страха и упрека.

В легальной печати было два лагеря: в одном – «рыцари» со страхом и намеком, а в другом – «рыцари» без страха и намека. Во главе первых в Москве стояли «Московский

телеграф», «Зритель» Давыдова, «Свет и тени» Пушкарева, ежемесячная «Русская мысль», «Русские ведомости», которые со страхом печатали Щедрина, писавшего сказки и басни, как Эзоп, и корреспонденции из Берлина Йоллоса, описывавшего под видом заграничной жизни русскую, сюда еще можно было причислить «Русский курьер», когда он был под редакцией В. А. Гольцева, и впоследствии газету «Курьер».

* * *

Ко второй категории можно отнести было: «Московские ведомости», «Московский листок», «Русский листок», «Русское слово», тогда еще не перешедшее к И. Д. Сытину, которые все кормились и не рассуждали, будучи бесцензурными, а «Новости дня» были безопасны вследствие предварительной цензуры.

В такие времена задумалось издание детского журнала «Ласточка», в котором поэт из народа И. А. Белоусов являлся издателем, а я редактором.

Приложив к прошению законное количество гербовых марок, я послал его в главное

управление по делам печати, ходатайствуя о разрешении журнала. «Скоро сказка говорится, дело мешкотно творится» – есть поговорка. Через долгое время я получил ответ из главного управления о представлении документов о моем образовательном цензе.

Во время затеи с «Ласточкой» одновременно я был уже редактором «Журнала спорта», который был разрешен тем же самым главным управлением по делам печати.

В моем ответе, указав на этот факт, я дополнил, что, кроме того, я имею честь состоять «действительным членом Общества любителей российской словесности при Императорском московском университете» и работаю в журналистике более 20 лет.

Начальником главного управления по делам печати в эти времена был профессор Московского университета Н. А. Зверев, который сам был действительным членом Общества любителей российской словесности и, конечно, знал, что в члены Общества избираются только лица, известные своими научными и литературными трудами.

В ответ на это мне главным управлением

сообщалось, что всего этого недостаточно для утверждения меня редактором детского журнала, а необходим гимназический аттестат. Гимназического аттестата, да и вообще никаких бумаг, кроме указа об отставке с перечислением сражений, в которых я участвовал, полученного мной после турецкой войны, тогда у меня не было: все их растерял во времена моей бродяжной юности.

Так и пришлось прекратить все хлопоты о детском журнале!

Вскоре после этого Н. А. Зверев приехал в Москву и потребовал к себе всех московских редакторов. Пошел и я. Он собрал редакторов в кабинете цензурного комитета и начал увещевать, чтобы были потише, не проводили «разных неподходящих идей», и особенно набросился на своего бывшего товарища по профессуре В. А. Гольцева, редактора «Русской мысли», и В. М. Соболевского, редактора «Русских ведомостей».

Надо заметить, что это было в начале японской войны и как раз в тот день, когда было напечатано сообщение об успехах наших войск, взявших Путиловскую сопку.

– А вам, господа, – сказал Н. А. Зверев, обращаясь к В. А. Гольцеву и В. М. Соболевскому, – я особенно удивляюсь. Что это вам далась какая-то конституция! Что это, господа? В такое время! Или у вас нет тем? Писали бы о войне, о героических подвигах. Разве это не тема, например, сегодняшней факт – сопка с деревом!

Беседа кончилась как-то юмористически. Когда вышли из кабинета, я резюмировал зверевскую беседу так:

*Вот вам тема – сопка с деревом,
А вы все о конституции...
Мы стояли перед Зверевым
В ожиданьи экзекуции...
Ишь какими стали ярыми
Света суд, законы правые!
А вот я вам циркулярами
Поселю в вас мысли здравые.
Есть вам тема – сопка с деревом:
Ни гу-гу про конституцию!
Мы стояли перед Зверевым
В ожиданьи экзекуции...*

Дождались конституции, грянула свобода печати, стали писать по-новому. Забыли «сопку с деревом», доставление документов об образовательном цензе, стали выходить изда-

ния явочным порядком. Стали писать все что угодно, никакой цензуры, казалось, не было, но оказалось – ненадолго.

Стали опять поговаривать о «свободе печати», той печати, которая свободно припечатывала бы каждое свободное слово, воскресла цензура и принялась «припечатывать»!

Для редакторов открылись двери тюрем, на издателей посыпались денежные штрафы, сажали редакторов и прикрывали газеты. Нужно было или платить штраф, сохраняя издание, или на место посаженного редактора выставлять нового, запасного. Таких явилось сколько угодно.

– Ответственный редактор!

– Редактор для отсидки!

Цены на таких редакторов были разные: от 15 рублей на хозяйских харчах в месяц и выше – до сотен рублей. Был случай, напечатанный в газетах, что двенадцать редакторов одного и того же петербургского издания одновременно отсиживали в тюрьме трехмесячный стаж.

Такие «редакторы» вербовались издателями среди безработных или лиц, ничем не рис-

кующих, так как жалованье им шло и во время заключения.

Свободе «печати», припечатывавшей «свободное слово», стало трудно бороться с этим, надо было находить и выдумывать что-то новое. Был выдвинут новый проект устава о печати, в котором, между прочим, имелся 45-й параграф, предусматривающий особый образовательный ценз для ответственного редактора, вроде диплома об окончании курса в среднем учебном заведении. Этот 45-й параграф уже заставил многих издателей, особенно провинциальных, задуматься. Как-то я получил от одного из них письмо, в котором он, между прочим, обращается с просьбой:

«Подыщите мне, пожалуйста, парочку, а то и троечку, на всякий случай, подходящих редакторов, но непременно с гимназическим дипломом, на жалованье от 40 до 50 рублей. Сначала пришлите одного, а другие двое чтобы были наготове, когда потребуется. Вы знаете, что статья 46-я нового устава о печати для нас, глухой провинции, прямо зарез, здесь трудно найти ответственного редактора с гимназическим образованием. У вас же в

Москве, взять хоть Хитров рынок, ими хоть пруд пруди. Ведь обязанности никакой: сиди пей водку дома да только подписывай газету. Конечно, справиться надо, не судившийся ли, а все остальное ничего, у меня тесть содержит лечебницу для алкоголиков. Только главное – аттестат и благонадежность. Пожалуйста, присмотрите парочку...»

Я прочел это письмо и подумал: догадайся я раньше найти на Хитровом рынке такого редактора, давно бы издавал детский журнал.

Когда я редактировал коннозаводческий «Журнал спорта», московская цензура тоже меня нередко тревожила и ставила иногда в ужасное положение. Так, в 90-х годах прошлого столетия я как-то напечатал воскресный номер и выпустил его, не дождавшись цензорских гранок. Сделал я это вполне сознательно, так как был более чем уверен, что ровно никаких противоцензурных погрешностей в номере нет.

В 8 часов вечера, в субботу, я роздал номер газетчикам и послал к цензору за гранками. Каково же было мое удивление, когда посланный вернулся и уведомил, что номер выпус-

кать нельзя, так как цензором сделаны вымарки. Номер я уже роздал весь и уехал на поезде, а вернувшись в понедельник, отправился в цензурный комитет, куда были доставлены и цензорские гранки. Оказалось, что вычеркнуто было только одно слово: «казенная».

Слово это находилось в отчете о скачках, на которых участвовали лошади казенного Деркульского завода, и было, между прочим, написано: «Хотя казенная кобыла и была бита хлыстом, но все-таки не подавалась вперед».

Слово «казенная» было вычеркнуто, и номер задержан. Цензурный комитет помещался тогда на углу Сивцева Вражка и Б. Власьевского переулка. Я вошел и попросил доложить о себе председателю цензурного комитета В. В. Назаревскому, которым и был приглашен в кабинет. Я рассказал о моем противоцензурном поступке, за который в те блаженные времена могло редактору серьезно достаться, так как «преступление» – выпуск номера без разрешения цензуры – было налицо.

– Что же, я поговорю с цензором. Это зависит только от него, как он взглянет, так и будет, – сказал мне председатель цензурного комитета.

В разговоре В. В. Назаревский, между прочим, сказал:

– А знаете, в чьем доме мы теперь с вами беседуем?

– Не знаю!

– Это дом Герцена (Позднее я выяснил, что В. В. Назаревский ошибся: дом А. И. Герцена был не здесь, а в Старо-Конюшенном переулке.) Этот сад, который виден из окон, – его сад, и мы сидим в том самом кабинете, где он писал свои статьи.

– Бывает! – сказал я.

– Да-с! А теперь на месте Герцена сидит председатель московского цензурного комитета.

На столе В. В. Назаревского лежала пачка бумаги. Я взял карандаш и на этой пачке написал:

*Как изменился белый свет!
Где Герцен сам в минуты гнева
Порой писал царям ответ, —*

*Теперь цензурный комитет
Крестит направо и налево!..*

В. В. Назаревский прочел и потом перевернул бумагу.

– Это прекрасно, но... вы написали на казенной бумаге.

– Уж извините! Значит – последовательность. Слово «казенная» не дает мне покоя. Из-за «казенной» лошади я попал сюда и испортил «казенную» бумагу...

– Вы так хорошо испортили «казенную» бумагу, что и «казенную» лошадь можно за это простить. Не беспокойтесь, за выпуск номера мы вас не привлечем. Я поговорю с цензором, а эти строчки я оставлю себе на память.

Так А. И. Герцен выручил меня от цензурной неприятности.

* * *

Что бы, кажется, могло быть бесцензурного в «Журнале спорта», где разбирались только одни коннозаводские вопросы? Но тем не менее то и дело цензура прикладывала к нему свою руку.

Большие номера журнала выходили по воскресеньям, печатались в субботу и к газет-

чикам поступали или поздно вечером, или в четыре часа утра.

Статьи для цензуры посылались в пятницу, а хроника и отчеты – в субботу, после четырех часов дня, то есть когда верстался номер. Бывали случаи, что уже наступал вечер, а цензурных гранок не приносили. Приходилось иногда ехать самому к цензору на квартиру выручать материал.

Приедешь. Отпирает кухарка:

– Тебе чего?

– Кто дома есть?

– Никого нетути! Уехадши в киятры!

– Цензурные гранки не оставлены?

– Дранки? Вот они лежат, да отдавать не приказано, в понедельник в комитет пойдут.

Дверь захлопывается – положение невеселое: или номер не выпускай, или рискуй закрытием журнала за бесцензурный выход. Тогда все это было возможно в административном порядке.

Приходилось в одиннадцать часов ночи посылать секретаря дежурить у подъезда цензора и ждать его возвращения из театра, чтобы получить гранки.

Иногда эти гранки отдавались, нецензурные недоразумения улаживались – и номер выходил беспрепятственно. Иногда же я выпускал номер на риск, и приходилось ездить с объяснениями в цензурный комитет. Все это стоило времени и трепало нервы.

Иногда дело передавалось в суд и кончалось рублевым штрафом, но до суда я старался никогда не доводить, чтобы не обозлить цензуру, которая все-таки имела возможность всегда зарезать издание тем или другим путем.

Такие цензоры, как С. И. Соколов и С. В. Залетов, относились ко мне хорошо, доверяли выпускать текущий дневной материал без просмотра. Такое доверие давало мне возможность раньше выпускать номер, – но тут бывали курьезные недоразумения.

– Что же это вы нас подводите? Мы вам доверяем, а вы подводите-с!

– Что? Где?

– Читайте: «Гнедой жеребец Патриарх покрыл мадам Анго». Да разве это можно! Патриарх... да еще мадам Анго?

– Это лошадь иностранная, разве я вино-

ват, что у нее такое имя!

– Ну так пусть пишут иностранцы, а нам не подобает. За это нам...

– Да ведь вот и в казенном журнале «Коннозаводство», издающемся в Петербурге при Главном управлении государственного коннозаводства, так же написано. Я показал цензору казенный журнал, откуда была сделана перепечатка о Патриархе.

– Безобразники! А еще государственное коннозаводство! – вздохнул цензор и успокоился.

Во времена, когда я был мало известен цензуре, хроника в журнале часто черкалась цензором и происходили недоразумения и объяснения в цензурном комитете.

Был задержан однажды выпуск номера за заметку в хронике такого содержания:

«Ф. Ф. Достоевский купил у Л. Ф. Грабовского двух кобыл – Лютеранку и Круцяту».

В среду я был вызван в цензурный комитет к моему цензору.

– Это кобыла-то у вас лютеранка? Да что вы это? Я этого пропустить не могу. Ведь вы так, пожалуй, напишите, что я – жеребец...

или еще что в этом роде. Здесь я усматриваю оскорбление религии!

Конечно, все разъяснилось, уладилось и «антирелигиозная» заметка о кобылах была благосклонно пропущена.

Труднее мне пришлось отстаивать заметку под заглавием «Продажная скачка».

– То есть позвольте, как это продажная? Это уж оскорбление императорского общества! Разве допустимы продажные скачки?! – набросился на меня цензор.

– Да ведь «продажная» – это название приза. Это значит, что выигравшая приз лошадь обязательно продается с аукциона тотчас же после скачки...

– Я не позволю!

Пришлось дойти до председателя цензурного комитета, представить ему скаковую афишу, где скачка была озаглавлена «продажная».

«Зритель»

Редакция сатирического и юмористического журнала «Зритель» помещалась на Тверском бульваре в доме Фальковской, где-то на третьем этаже. Тут же была и цинкография В. В. Давыдова. В. В. Давыдов был всегда весь замазанный, закоптелый, высокий и стройный, в синей нанковой, выгоревшей от кислоты блузе, с черными от работы руками, – похожий на коммунара с парижских баррикад 1871 года. По духу он и действительно был таким.

Обстановки в редакции не было никакой: некрашенные столы, убогие деревянные стулья Сухаревской работы.

Мы, сотрудники, собирались обыкновенно по четвергам, приходили часам к трем, усаживались пить чай из никогда не чищенного огромного самовара, пили из дешевых, пузырчатых, зеленого стекла стаканов, с оловянными ложечками.

Сахар в пакете, в бумаге колбаса, сыр и качи или булки, которые рвали руками. Вешали пальто на гвозди, вбитые в стену, где

попало. Приходили Антоша Чехонте, Е. Вернер, М. Лачинов, тогда еще студент Петровской академии, Н. Кичеев, П. Кичеев, Н. Стружкин и еще кое-кто.

Выходил В. В. Давыдов и тут же приносил пачку материала. Обсуждали каждую мелочь вместе. Записывали экспромты, остроты, шутки. В. В. Давыдов был все – и редактор, и секретарь, и кассир. Когда были в кармане деньги, он выворачивал все на стол и делил кому что следует, а иногда прямо заявлял:

– Ни копыа нет! В субботу приходите, получу!

И всегда слово его было верно.

В журнале особый успех имел отдел «Литературное попури», где доставалось всем и каждому, не стесняясь положением, дружбой, отношениями.

Этот отдел составлялся коллективом во время наших четверговых чаев. Не щадили здесь ни своих, ни чужих, даже присутствующих. Также обсуждались всеми вместе и театральные рецензии.

Являлся М. М. Чемоданов со своими карикатурами, – их рассматривали, меняли надпи-

си, давали ему новые темы.

В то время фамилия «М. М. Чемоданов», после его карикатуры в журнале Пушкарева «Свет и тени», за которую слетел цензор Никотин, была страшной, и он стал подписываться «Лилин», чтобы скрыть от цензуры свое имя.

В этих беседах мы напрягали все усилия, чтобы надуть цензуру, на что очень реагировал сам В. В. Давыдов.

М. М. Чемоданов улыбался и набрасывал проекты карикатур такие, что комар носа не подточит. В каждом номере журнала появлялись такие карикатуры, смысл которых разгадывался уже тогда, когда журнал выходил в свет. В большинстве это были политические карикатуры.

Обыкновенно кто-нибудь приносил в редакцию свой набросок или рецензию, и тут же это подвергалось общей обработке.

«Виктор Крылов переделывает Гамлета на русские нравы!», «Театральные барышники получают билеты из касс театров!», «Два Ильинских обывателя собираются совершить воздухоплавание через трубу!», «Фунт кре-

стовниковских свечей равняется 91 золотнику!»

Целая страница рецензий с массой карикатур давалась на исполнение новых пьес во всех театрах – всегда зло и остроумно.

Удивительные были эти наши заседания, на которых люди перерождались.

Важные, недоступные в своих редакциях и на местах службы – здесь они были просты, остроумны и веселы, там «важничали глупо», а здесь «дурачились умно».

У всех главной была одна мысль: как бы подвести цензора. Особенно это удавалось М. М. Чемоданову, делавшему для цензуры наброски карандашом неоконченными, а потом, уже на подписанном цензором листе, он делал два-три штриха, и появлялся или портрет известного деятеля, или такая поза у какого-нибудь начальствующего лица, что оно выходило в смешном виде.

Как-то раз М. М. Чемоданов принес рисунок на первую страницу: у ворот дома на скамейке, освещенный керосиновым фонарем (тогда так освещалась вся Москва), спит и сладко улыбается дворник. Мы все расхохота-

лись: живой портрет императора Александра III!

– Это для друзей, а вот это для цензуры! Показывает другой такой же оригинал, сделанный также пером: совсем другое лицо, а все остальное, как у первого.

Затем на втором рисунке делает два-три штриха карандашом, и опять выходит Александр III.

Начинается придумывание подписи. Под рисунком один из нас написал:

*Покорный своей незатейливой доле,
Дворник сидит и спит.
И снится ему: на российском престоле
Такой же безграмотный дворник сидит.*

– Это для друзей. Надо придумать для цензуры! В дикий восторг пришел В. В. Давыдов, выпросил у М. М. Чемоданова рисунок и долго носился с ним, показывая направо и налево. Четверостишие ходило по Москве. К другому оригиналу я написал какие-то восемь строк насчет сна бедняка, которому грезится

во сне сытый богач.

Стихи напечатаны были потом в «Осколках», но дворник «не пошел»: как раз накануне не был получен циркуляр доставлять цензору карикатуры и рисунки не в оригинале, а в оттисках.

Мы озорничали и радовались, как дети, а Антон Павлович Чехов, наш главный сотрудник, писавший под разными псевдонимами, веселился больше всех.

После заседаний некоторые шли через бульвар в трактир к Саврасенкову, так как В. В. Давыдов, – убежденный трезвенник, – в редакции, кроме чаю, ничего не допускал. Только один раз это правило было нарушено. Мы сидели за своей обычной четверговой работой. Вдруг вваливается, прихрамывая и улыбаясь своей огромной нижней губой, актер В. Н. Андреев-Бурлак.

– Четверговую соль готовите?

– А, Василий Николаевич, наконец-то! – вскочил встречать его В. В. Давыдов.

– Принес что-нибудь?

– Да я же тебе вчера слово дал!

Василий Николаевич Андреев-Бурлак был

не менее талантливым рассказчиком и писателем, чем актером.

В это время была в моде его книжка рассказов «На Волге», а в «Русской мысли» незадолго перед этим имел большой, заслуженный успех его прекрасный художественный рассказ «За отца» на сюжет побега из крепости политического заключенного.

– На, получай! – и подает одной рукой тетрадку В. В. Давыдову, а другой, вынув из кармана бутылку коньяку, ставит на стол.

– Для вдохновения! Хлеб на столе, соль своя!

В. В. Давыдов даже не поморщился; откупили бутылку и налили коньяку в стаканы зеленого стекла, а Василий Николаевич в это время, по общей просьбе, стал читать принесенный им рассказ, который назывался «Как мы чумели». Его напечатали в «Зрителе», а потом осмеянная особа, кажется, генерал Лорис-Меликов, укрощавший чуму в Ветлянке, где-то около Астрахани, обиделся, и из Петербурга пришел нагоняй московскому цензурному комитету за пропущенный рассказ.

Освирепела цензура, которая к тому же

узнала, что Лилин – это псевдоним М. М. Чемоданова, и довела до того, что «Зритель», единственный сатирический журнал всей той эпохи, был окончательно обескровлен, а В. В. Давыдов со своей цинкографией перешел в «Московский листок».

«Будильник»

«Будильник» около полувека веселил Москву, и никто из нас, веселых сотрудников тогда веселого журнала, не знал глубокой трагедии, заложенной в основании этого самого распространенного в восьмидесятих годах юмористического органа.

В те времена и читатели и сотрудники мало интересовались, кем был основан журнал и при каких условиях.

Сотрудники жили настоящим днем, не заглядывая в прошлое: приходили со статьями, за гонораром, собирались составлять номера по субботам, видели тех, кто перед глазами, а в прошлое не заглядывали.

Кое-кто знал, правда, что основатель московского «Будильника» был художник и писатель А. П. Сухов, и этим ограничивались, не

вникая в подробности его биографии, а человек это был интереснейший.

А. П. Сухов был сыном касимовского крестьянина, умершего в 1848 году от холеры. Похоронив мужа, вдова Сухова пришла со своим десятилетним мальчиком из деревни в Москву и поступила работницей в купеческую семью, а сына отдала к живописцу вывесок в ученье, где он и прожил горьких девять лет: его часто били, много и за все.

В эти годы А. П. Сухов самоучкой выучился писать и читать и самоучкой начал потихоньку от хозяина рисовать. Отслужив условленные года у хозяина, он перешел уже мастером к богомазу и принялся писать образа.

Еще восемь лет прожил он у богомаза, усиленно в это время читая все, что попадалось под руку, и рисуя. Но то и другое шло без всякой системы.

Его мать перешла работать в семью одного профессора Московского университета, с которым А. П. Сухов, посещая по праздникам свою мать, встречался.

Однажды он показал профессору свои рисунки и несколько тетрадок с написанными

им рассказами и сценками из рабочего быта.

Профессор, заметив способности А. П. Сухова, посоветовал ему более серьезно и систематически заняться самообразованием.

А. П. Сухов, которому к этому времени исполнилось двадцать шесть лет, оставил богомаза, нанял комнатку за три рубля в месяц на Козихе и принялся за работу. Читал, учился по вечерам, начав с грамматики, а днем писал образа по заказу купцов.

Профессор дал ему рекомендацию в журнал «Развлечение», где его приняли и стали печатать его карикатуры, а потом рассказы и повести под псевдонимом «Железная маска».

Через несколько лет вышла отдельная книга А. П. Сухова «Типы темного царства», из жизни замоскворецкого купечества, которую он прекрасно изучил благодаря своей профессии богомаза.

В 1872 году А. П. Сухов завел небольшую типографию-литографию и решил издавать свой журнал.

Рязанскому мужику, конечно, такого разрешения тогда не дали, но упорный и настойчивый А. П. Сухов все-таки добился своего: он

купил существовавший в Петербурге, но уже год не издававшийся журнал «Будильник». А. П. Сухов, приобретя право на издание, перенес журнал в Москву и влез в неоплатные долги: хлопоты очень дорого стоили.

Смелый и интересный журнал сразу получил в Москве большой успех и прекрасно начал расходиться в розницу, но вскоре проштрафился перед цензурой, и розничная продажа была запрещена.

Кредиторы насели, и он в конце концов принужден был уступить свое издание, сохранив за собой права постоянного сотрудничества.

В это время с ним случилась беда, окончательно добившая этого талантливое самородка-крестьянина.

А. П. Сухов был арестован в своей квартире и посажен в острог за растрату денег, якобы собранных в пользу голодающих самарцев; на самом же деле ничего подобного не было, растрата не подтвердилась, и А. П. Сухов, просидевший около года, был выпущен из тюрьмы.

Оказалось, что А. П. Сухов издал в пользу

голодающих благотворительный номер «Будильника» и весь чистый барыш его отослал по назначению, но с него комитет помощи голодающим начал требовать и деньги, затраченные им на издание этого номера.

Впоследствии комитет извинился в неправильном иске, вызвавшем арест, но незаслуженный позор и тюремное заключение отозвались на здоровье А. П. Сухова: он зачах и через семь месяцев по освобождении, в 1875 году, скончался в одиночестве в своей бедной комнатке на Козихе среди начатых рукописей и неоконченных рисунков, утешаясь только одной радостью, что его мать умерла во время славы своего сына.

* * *

Я застал «Будильник» во время его расцвета. Издательницей была Л. Н. Уткина, а редактором – Н. П. Кичеев. Серьезная беллетристика, лирические стихотворения, юмористика и сатира, насколько они были возможны после первого марта 1881 года, чередовались в журнале.

Я напечатал там свое стихотворение «Волга», проскочившее как-то случайно по цен-

зурным условиям того времени.

*Разина Стеньки товарищи славные
Волгой владели до моря Хвалынского...*

Такие строчки тогда не любили, и самое имя Стеньки Разина вычеркивалось московской цензурой.

Я вошел в состав редакции, хотя работал и в конкурирующих изданиях: петербургских «Осколках», «Москве», «Волне», «Зрителе» и «Развлечении».

После Л. Н. Уткиной, потратившей все свои средства на издание, оно перешло к Арнольди. Редакторами были Н. П. Кичеев и Ал. Дм. Курепин.

В это время редакция «Будильника» помещалась на углу Тверской и Гнездниковского переулка в доме Самуила Малкиеля, прославившегося поставкой бумажных подошв для солдатских сапог во время турецкой войны 1877 года.

В этом же доме был и пушкинский театр А. А. Бренко, и типография журнала, которую содержал присяжный поверенный, родствен-

ник Малкиеля.

Интересна была тогда редакция. Такие редакционные «четверги» были еще только в «Зрителе».

Субботы в редакции были сборными днями; получали гонорар, сдавали и обсуждали всей компанией материал на следующий номер, а постоянный художник и карикатурист редакции Д. Н. Чичагов сидел обыкновенно молча в углу и делал зарисовки.

В моем архиве сохранилась такая субботняя зарисовка, сделанная с натуры и впоследствии напечатанная в юбилейном номере «Будильника» под названием: «Редакционный день «Будильника».

За столом сидят: Арнольди, Курепин, Кичев, новый издатель Левинский; стоят Ан. Чехов, Амфитеатров, Пассек, Сергеенко, а входящим в дверь изображен я, в высоких сапогах и с рукописью в руках.

В. М. Дорошевич тогда еще не работал, он пришел позднее.

В первое время, когда «Будильник» перешел к чиновнику В. Д. Левинскому, который забрал в свои руки дело и начал вымарши-

вать копейки, сведя гонорар до минимума и посылая агентов собирать объявления для журнала, еще держались старые редакционные традиции: были веселые «субботы» сотрудников.

Вспоминаются строки, написанные об этих собраниях В. М. Дорошевичем:

«Рассказы в этом журнале писал Антоша Чехонте и по субботам, в редакционный день, гудел баском:

– Вот буду знаменитостью, – стану брать по 15 копеек за строчку.

Огромный А. В. Амфитеатров пишет пародии – гомерический хохот стоит в редакции, когда их читают.

Бен-Иохаи поет у него – в пародии на «Уриэля Акосту», оперу Серова:

*Я евреям донесу,
Донесу!
Жрет Акоста колбасу,
Колбасу!*

П. А. Сергеенко – тот, что теперь вкушает только репу, говорит:

– Милые, ведь ей не больно! – и подписывается... сказать страшно: Эмиль Пуп.

Как буря, влетает в крохотную редакцию Гиляй – В. А. Гиляровский, – схватывает стул, на котором сидит сотрудник, поднимает его выше головы и относит в другой угол.

– Не беспокойся, я тебя опять на место поставлю! – и сыплет под общий хохот экспромтами.

– До чего вы только доболтаетесь! – машет рукой Д. Д. Курепин – самый корректный, самый интеллигентный из редакторов в мире, мягкой, любезной рукой сдерживающий всю эту молодую, веселую, смешливую ватагу, готовую поднять на смех кого угодно, что угодно.

А милый В. Д. Левинский говорит, возвращая «рукопись» для переделки:

– Батяка, длинно!

– Владимир Дмитриевич!!! Всего четыре строки!

– Добрый мой, эту мысль можно в трех строках уложить. Сократите!

Какая школа!

И среди этой молодой, жизнерадостной компании – Пассек; у него был настоящий юмор – способность смешить не улыбаясь».

Редактировать В. Д. Левинский стал сам – и все талантливое ушло. Журнал стал бесцветен, и только выручал розницу яркими обложками художник Ив. Ив. Кланг, милейший человек.

Еще работал очень долго в «Будильнике» художник А. Левитан, брат знаменитого И. И. Левитана.

В. Д. Левинский пробовал по-старому устраивать «субботы», но они уже были не те.

– Не-ет, дорогой, это нельзя, я не поставлю, – цедит сквозь зубы В. Д. Левинский.

– Ведь цензура же разрешила!

– Да, но, кроме цензуры, надо еще знать многое. По цензуре оно цензурно, а кое-кого задеваете! Кого?

– Ну, банкира Полякова, Лазаря Соломоновича.

– Вот то-то! А он принят у его сиятельства князя Владимира Андреевича. Что же тогда мне будет, если он пожалуется князю?

Как-то В. Д. Левинский вынул из пачки материала, приготовленного к приему, стихотворение и стал читать:

МУЗЫКАНТУ САШЕ

*Саша, юный музыкант,
На тромбоне трубит,
Его барственный талант
Ноту «ре» не любит.
Чуть ему кто поднесет
Новую реформу,
«Ре» он мигом зачеркнет
И оставит «форму».*

– Кто это «музыкант Саша»? А стихи ничего себе, звучные! – улыбнулся В. Д. Левинский. Он всегда говорил как-то не открывая рта. – Автор подписался псевдонимом «Я». Ни фамилии, ни адреса. Кто это такой, музыкант Саша? А стишок недурной!

– Да и гонорар не платить. Ведь это восемь гривен вам в карман, – подпускает И. И. Кланг.

В. Д. Левинский довел гонорар до гривенника за строку стихотворения.

– Н-да! Но вдруг оно уже было напечатано, вдруг Саша очень известное лицо?

Наконец присутствовавшие не выдержали, расхохотались, и кто-то сказал:

– Неужели вы, Владимир Дмитриевич, не знаете Сашу, который играет на тромбоне?

– Не знаю! Мало ли таких!

– Только один такой. Какой Саша дает «формы» вместо «реформы», тот и на тромбоне играет: Александр III.

– Ах, скотина! – взвыл В. Д. Левинский, покраснел и начал рвать стихи...

– Саша-то скотина? Это о государе императоре вы так?

В. Д. Левинский побледнел, вскочил и замахал руками:

– Что вы! Что вы! Кто прислал стих, вот я про кого! Кончилось общим хохотом, в котором только не участвовал все еще бледный и дрожащий В. Д. Левинский.

Стихотворение это было довольно известное в наших кружках. Кто-нибудь прислал его В. Д. Левинскому, слегка изменив. На самом деле оно таково:

*Царь наш, юный музыкант,
На тромбоне трубит,
Его царственный талант
Ноту «ре» не любит.
Чуть министр преподнесет
Новую реформу,
«Ре» он мигом зачеркнет*

И оставит «форму».

Стихи ходили по Москве. Кто их прислал в редакцию, так и осталось неизвестным. Я больше не бывал в «Будильнике» – уж очень он стал елеяно юмористический.

«Развлечение»

«Журнал литературно-юмористически-карикатурный». Его основал Ф. Б. Миллер в 1859 году.

Я помню его с семидесятых годов, когда он жестоко пробирал московское купечество, и даже на первой полосе, в заголовке, в эти годы печатался типичный купец в цилиндре на правое ухо и сапогах бураками, разбивавший в зале ресторана бутылкой зеркало.

Это был портрет известного богача: кругом пьяная публика, тоже портреты, а перед купцом, согнувшись в три погибели, волосатый человек в сюртуке, из заднего кармана которого торчит полуштоф водки.

Купец был М. А. Хлудов, а волосатый – Н. И. Пастухов. Автор этого рисунка, впоследствии мой большой приятель, Лавр Лаврович Бе-

Лянкин, неподкупно честный человек, но «злой на перо», сотрудник «Развлечения» с начала издания, известный художник-миниатюрист с четким рисунком, умевший схватывать типичные черты оригинала и живо передававший сходство лиц. Он одевался по моде, нюхал «головкинский» дорогой табак из золотой табакерки времен Людовика XVI и жил в своем доме на Мещанской, недалеко от Сухаревки, на которую ходил каждое воскресенье, коллекционируя миниатюры и рисунки. Он работал в «Развлечении» постоянно, но давал только то, что сам хотел, и никакой критики и замечаний редактора не выносил:

– Не хочешь – не надо! Наплевать мне на твой журналишко и на тебя! – скажет, возьмет рисунок и уйдет, а через неделю приходит и встречается редактором как желанный и ожидаемый.

Если ему и давали тему – он исполнял только ту, которая ему по душе. Карикатурист 60-х годов, он был напитан тогдашним духом обличения и был беспощаден, но строго лоялен в цензурном отношении: никогда не шел против властей и не вышучивал начальство

выше городского. Но зато уж и тешил свое обличающее сердце, – именно сердце, а не ум – насчет тех, над которыми цензурой глумиться не воспрещалось, и раскрыть подноготную самодура-купца или редактора газеты считал для себя великим удовольствием.

Л. Л. Белянкин был старейший карикатурист, которого я знал и с которым вместе работал немалое время в юмористических журналах.

Кроме Л. Л. Белянкина, я был знаком еще с писателем Даниловым, работавшим в «Развлечении» тоже с 1859 года, с самого основания журнала.

В 1859 году он был сослан на Кавказ рядовым, но потом возвращен за отличия в делах с горцами. Выслан он был за стихи, которые прочел на какой-то студенческой тайной вечеринке, а потом принес их в «Развлечение»; редактор, не посмотрев, сдал их в набор и в гранках послал к цензору. Последний передал их в цензурный комитет, а тот к жандармскому генералу, и в результате перед последним предстал редактор «Развлечения» Ф. Б. Миллер. Потребовали и автора к жандарму.

На столе лежала гранка со следующими стихами:

*– Тятька! Эвося народу
Собралось у кабака!
Все гуторят про свободу...
Тятька, кто она така?
– Замолчи! Пуццай гуторют,
Наше дело сторона...
Как возьмут тебя да вспорют,
Так узнаешь, кто она!
Волинадо*

Так и было подписано – Волинадо.

Генерал отпустил Ф. Б. Миллера, узнав, что он не видел рукописи, и напустился на автора. Показал ему читанные им на вечеринке стихи, а главное, набросился на подпись:

– Так тебе воли надо! Я тебе такую волю покажу! На Кавказ! Без выслуги! В рядовые! Ты понимаешь всю язву подписи? «Воли надо»!

– Помилуйте, ваше превосходительство, да ведь это моя фамилия. Да и стихи не мои... их все знают.[3]

– Твоя фамилия Данилов... Вот и справка из полиции.

– А прочтите наоборот: Данилов и выходит Волинадо!

Тем не менее Данилова сослали. Стихотворение потом было где-то напечатано, а Данилов после крестьянской реформы 1861 года вернулся с Кавказа и стал писать под псевдонимом Волинадо. Историю происхождения этого псевдонима я слышал от И. А. Вашкова, многолетнего фактического редактора «Развлечения» при Ф. Б. Миллере и его наследниках и главного, а иногда и единственного сотрудника этого журнала, наполнявшего за отсутствием материала – денег не было – весь журнал: и рассказ, и мелочи, и стихи, и куплеты, и злободневный фельетон. Он подписывался «Мичман Жевакин».

Рисунки и карикатуры для журнала художники выполняли за грошовую оплату, а Л. Л. Белянкин так иногда и совсем бесплатно работал из любви к изданию.

После подписки, когда появлялись деньги, появлялись и сотрудники. Такое же тяжелое положение журнала было после смерти Ф. Б. Миллера, а в 1881 году наследники продали журнал кому-то, а затем он перешел к Алек-

сандру Викторовичу Насонову.

А. В. Насонов – человек состоятельный, имел крупный пост на какой-то железной дороге. Первые годы он не занимался журналом; его по-прежнему, как и при Ф. М. Миллере, вел И. А. Вашков, а с 1883 года им занялся сам А. В. Насонов. Его редакторство было расцветом журнала. В переходное время, когда И. А. Вашков ушел в «Московский листок», редактировал журнал П. И. Кичеев. Он выпустил несколько номеров со злейшими карикатурами Л. Л. Белянкина. Тому и другому пришлось оставить сотрудничество после следующего случая: П. И. Кичеев встретил в театре репортера «Русского курьера», которому он не раз давал сведения для газеты, и рассказал ему, что сегодня лопнул самый большой колокол в Страстном монастыре, но это стараются скрыть, и второе, что вчера на Бронной у модистки родились близнецы, сросшиеся между собою спинами, мальчик и девочка, и оба живы-здоровы, и врачи определили, что они будут жить. Репортер, поверивший старому литератору, напечатал то и другое известие в воскресном номере своей газе-

ты.

А через три дня, в четверг, в «Развлечении» появились во весь лист карикатуры: лопнувший колокол, а рядом два близнеца с лицом Н. П. Ланина, редактора «Русского курьера», а далее сам Н. П. Ланин сидит в ванне с надписью «ланинское шампанское» и из ванны вылетает стая уток, и тут же издатель «Новостей дня» А. Я. Липскеров ловит этих уток.

Портреты того и другого, сделанные Л. Л. Белянкиным, были великолепны. После этого «происшествия» редактировать «Развлечение» стал сам А. В. Насонов, а карикатуры исполнялись Н. И. Богдановым, А. И. Лебедевым, М. Е. Малышевым, С. А. Любовниковым и Эрбером.

У А. В. Насонова по субботам за чаем собирались сотрудники, весело беседовали, придумывали темы для карикатур и разные мелочи и тут же получали гонорар. Сказал остроумно мелочь, приняли присутствовавшие – получай наличными!

Я иногда по 3 рубля зарабатывал за четверостишия на заданную тему, по 25 копеек за

строку стихов; это тогда считалось крупной платой – обыкновенно за стихи платили 10 или 15 копеек. Это было в 1884 и 1885 годах.

В это время в «Развлечении» печатал много своих рассказов расправлявший могучие крылья А. П. Чехов. Присылали в журнал свои повести и рассказы маститый поэт А. Н. Плещеев, С. Н. Терпигорев (Атава), Н. Н. Златовратский, драматург П. М. Невежин, сотрудничали в нем Д. Д. Минаев, Вас. И. Немирович-Данченко, А. Грузинский (Лазарев), Л. И. Пальмин и др.

К А. В. Насонову шли все охотно. Музыкальным отделом заведовал старый профессор Московской консерватории, композитор А. И. Дюбюк, выпускавший ежемесячным бесплатным приложением музыкальные пьесы.

К концу 1885 года дела А. В. Насонова пошатнулись, на издание не стало хватать средств, пришлось передать журнал, который и приобрел некто Щербов, человек совершенно никому не известный и чуждый литературе.

А. В. Насонов отдал ему издание за долги, но первое время был редактором, а с 1886 года

появилась подпись одного Щербова. Узнав это, все лучшие сотрудники ушли, из художников остался один А. И. Лебедев, снова явился из «Будильника» Л. Л. Белякин, после чего Щербов издательствовал недолго.

Совершенно неожиданно «Развлечение» перешло в собственность Ивану Андреевичу Морозову, книжнику-лубочнику с Никольской, издававшему копеечные листовки и разные «страшные» повести или романы известных писателей, но под другими названиями, а то и под теми же, но авторы были другие.

Главным сотрудником, по существу, редактором, так как сам был полуграмотным, Морозов пригласил А. М. Пазухина, автора романов и повестей, годами печатавшихся непрерывно в «Московском листке» по средам и пятницам. И в эти дни газетчики для розницы брали всегда больше номеров и говорили:

– Как же-с, по постным дням фельетоны Алексея Михайловича!

А. М. Пазухин имел большой успех у читателей этой газеты.

Сотня романов, написанных А. М. Пазухи-

ным, самых сердцепипательных, бытовых романов всегда с благополучным концом невольно заставляла любить добряка-автора. Романы эти по напечатании в «Листке» покупались очень задешево приложениями к журналам вроде «Родины» и разными издателями и распространялись среди простого читателя.

В числе издателей романов А. М. Пазухина был и книжник Морозов.

Как-то Морозов вызвал А. М. Пазухина в трактир на Лубянской площади, где он обыкновенно за чайком вершил все свои дела, и говорит:

– Алексей Михайлович, ко мне набиваются с товарцем, журналишко предлагают – «Развлечение»! Как ты думаешь, справимся? Я на тебя рассчитываю!

– Да ведь его Щербов, человек богатый, издает.

– Надоел он ему. Задарма отдает, только подписчиков за два месяца удовлетворить, с 1 ноября. Только гляди, чтоб дешево, дорогих сотрудников не надо. Вот Кузьмича возьми. Он и недорог и писуч! Роман ему огулом за

сотню на полгода закажем. Идет?

– Ладно, бери!

И стал Морозов издавать «Развлечение». Полномера напишет сам А. М. Пазухин, а другую половину Иван Кузьмич Кондратьев, автор ряда исторических романов. Стихи, мелочи и карикатуры тоже получались по дешевой цене или переделывались из старых.

Недолго издательствовал Морозов – выгоды было мало. Ему гораздо больше давали его лубки, оракулы, поминанья и ходовые «Францыли Венецианы», да и «Битва русских с кабардинцами». Нашелся покупатель, и он продал журнал. «Развлечение» перешло к Николаю Никитичу Соедову, агенту по продаже и залогоу домов при Московском кредитном обществе.

Н. Н. Соедов, имевший в Москве обширное знакомство, друживший с литераторами и артистами, хлебосол и душа общества, оказался талантливым издателем.

Дело у Н. Н. Соедова пошло недурно. Появились хорошие сотрудники, привлеченные хлебосольством хозяина. На квартире у него стали устраиваться еженедельно деловые ве-

черинки, начинавшиеся обсуждением тем и заканчивавшиеся веселым ужином.

Памятна мне вечеринка перед днем пятидесятилетия журнала, где обсуждался выпуск большого юбилейного номера. На нем Федор Иванович Шаляпин, еще начинавший только что свою карьеру, восхищал всех своим молодым голосом и в первый раз в Москве на этой вечеринке спел «Дубинушку», а мы хором подпевали.

Особенно восторгался пением очень молчаливый и замкнутый художник Сергей Васильевич Иванов и тут же пообещал дать рисунок для юбилейного номера, а когда я прочел свою поэму «Стенька Разин», – Сергей Васильевич заявил:

– Я дам Стеньку Разина!

Через несколько дней С. В. Иванов принес большую акварель, изображающую Волгу под Жигулями и разбойничью ватагу в лодке под парусом. Подписал под ней: «Стеньки Разина ладья».

Цензура, пропустив картину, сделанную во всю страницу красками, изменила подпись, заставив напечатать: «Понизовая вольница».

Картина С. В. Иванова была украшением этого прекрасного, изданного на великолепной бумаге объемистого номера, где были помещены портреты всех сотрудников журнала, во главе которых стоял первый издатель Ф. Б. Миллер. Интересно, что в этом номере были стихи Ф. И. Шаляпина, кажется, никогда до этого не писавшего стихов.

Журнал шел без убытка, но коммерческие дела Н. Н. Соедова как-то запутались, и ему пришлось продать журнал. В это время этот ловкий делец и нашел Н. И. Пастухова, которого – все дивились – сумел уговорить приобрести у него издание.

Н. И. Пастухов купил «Развлечение», сделал его – совсем неожиданно для всех – бесплатным приложением к «Московскому листку» и через год, потратив для этого большие деньги, также неожиданно прекратил этот старейший в Москве юмористический журнал, в котором полвека его ругали и высмеивали в тексте и карикатурах.

«Русский листок»

*...Хлебник, немец аккуратный,
В бумажном колпаке, не раз
Уж отворял свой васисдас.*

Как только вспомню эти строки, так сейчас же приходит на ум солидный, чистенький-чистенький немец с брюшком, в цветном жилете с золотой цепью, блондин, с вьющейся бородой, гладко причесанный, с большими серыми глазами, которыми как-то особо убедительно он всегда смотрел в глаза собеседника.

По наружности с него художнику рисовать бы Гамбринуса в молодости, а по чисто русскому купеческому говору – Н. А. Лейкину писать одного из героев его книжки «Наши за границей».

У него одно время на Петровке была контора по продаже имений и домов – и когда он устанется на покупателя своими убедительными, честными немецкими глазами, так тот не уйдет из конторы, не продав или не купив то, что ему Владимир Эмильевич Миллер

предложит.

Никому, всегда всем довольный, он не за-
видовал, да как-то один из клиентов конторы
посоветовал ему открыть при конторе свою
газету как рекламу делу.

– Сколько вы деньжищ за рекламу своей
конторы переплатите в газеты, а тут своя бу-
дет: каждый день печатай даром!

– Я ведь только в двух газетах печатаю
объявления о продаже и покупке: в «Москов-
ском листке» и «Новостях дня».

– У кого печатаете? У бывшего кабатчика,
безграмотного Пастухова, и у московского це-
хового мещанина из евреев Липскерова? Уж
если у них дело пошло, как же у вас не пой-
дет! Открывайте газету, всех забьете!

И в первый раз в жизни отвел В. Э. Миллер
от глаз собеседника свои убедительные глаза
и не сказал ни да, ни нет.

А мысль иметь свою газету, главное, чтоб
рекламировать свое дело, засела прочно в
упорной немецкой голове.

Целый год ходил, думал, рассчитывал, ри-
совал себя владельцем и редактором газеты, в
которой он будет на полстранице перечис-

лять все дома и имения, порученные его конторе для продажи, – и от покупателей отбою не будет.

– Нет, надо свою газету, деньги есть на первое время, а там... О! Но, конечно, надо не сразу, а исподволь!

Ходил в старину рассказ о немце, которому подарили щенка-фоксика и сказали, что ему надо обязательно хвост обрубить. Осмотрел владелец фоксика хвост – и стало ему жаль его рубить в указанном месте, уже очень больно будет. Надо не сразу, исподволь, с тонкого конца. И отрубил самый тонкий сустав на конце хвоста, а там привыкай, и до толстого дойдем исподволь.

Не говоря никому ни слова, В. Э. Миллер выхлопотал для развития своего коммерческого дела разрешение издавать два раза в неделю «Русский справочный листок» с кучей программой.

Фактическим редактором газеты был старый литератор, милый человек, Пятницкий, у которого при массе достоинств был один недостаток: пьян с утра!

В буфете театра Корша я увидел Пятницко-

го, который с молодым Гамбринусом пил пиво, и тут при первом взгляде на новоиспеченного редактора вспомнились мне пушкинские строки, а на другой день я любопытствовал посмотреть и открытый им «васисдас», в котором я и прочитал рассказ о немце и щенке в отделе хозяйственных сведений.

Убогая была газетка, но В. Э. Миллер знал, что делал. В продолжение трех лет два раза в год он ездил в Петербург в главное управление по делам печати, уставляя свои убедительные глаза на управляющего, всучивал ему прошение с просьбой добавки в программу то театрального отдела, то справочного, то беседы с читателями, и так исподволь довел «Русский справочный листок» до ежедневной газеты с довольно широкой программой и наконец в заключение всего явился опять к главному управляющему по делам печати, уставил на него невинные убедительные глаза и сказал;

– Ваше превосходительство, до сих пор я просил вас о расширении программы, а теперь буду просить о сокращении!

А сам держит наготове прошение и убедительно в генеральские глаза смотрит и читает в них недоумение, вызванное неслыханной доселе в стенах этого здания просьбой.

– Как? Как? О сокращении?

– Так точно... изволите ли видеть, ваше превосходительство, газета называется «Русский справочный листок», уж очень и в типографском отношении некрасиво, и вид заголовка пропадает, вычеркнуть бы его.

– Ха-ха-ха! И только?

На другой день с новым заголовком в сумках газетчиков лежал «Русский листок».

И все-таки газетка была убогая.

Встретил я как-то в ресторане «Палермо» в Рахмановском переулке Пятницкого вполпьяна.

– Ну, как «Русский листок»?

Пятницкий, не отрывая от кружки с пивом рта, неодобрительно мотал головой.

– А все-таки Миллер молодец – исподволь от «Листка объявлений» добился газеты!

Пятницкий, допивая остатки пива, одобрительно качнул головой, поставил кружку и вытер бороду и усы.

– Сделал он все так же, как тот немец, который исподволь фоксу хвост рубил.

– Ты почему знаешь?

– Как почему? Да газету купил тогда и прочитал!

– А не Пазухин тебе сказал?

– Нет, не Пазухин! Своими глазами в «Русском справочном листке» в хозяйственном отделе прочитал.

– Значит, подлецы, выкрали!

За следующими кружками пива выяснилось дело. А. М. Пазухин, который под псевдонимами потихоньку от Н. И. Пастухова давал сценки в газету В. Э. Миллера, дал и эту мелочь. Она прошла вместе с другими.

Газета печаталась в количестве одной тысячи днем по средам и субботам, а газетчикам раздавалась по четвергам и воскресеньям.

– В субботу, выпустив номер, – рассказал Пятницкий, – я пошел сюда, в «Палермо» (редакция была почти рядом, на Петровке). Сижусь за пивом, вдруг вбегает взбешенный Миллер – глаза сверкают, губы дрожат, в руках газета. Сел со мной, больше никого в комнате этой не было, положил передо мной газету,

левой рукой тычет в нос, а правой вцепился мне в плечо и шепчет, точь-в-точь как Отелло Дездемоне: «Платок! Платок!»:

– Это что? Эт-то что? Читаю о немце и фоксике.

– Ну что же – вполне цензурно!

– Да ведь это же насмешка надо мной! Кто дал?

– Пазухин!

– Я ему, хромоту, другую ногу перешибу!

А потом тихо.

– Набор цел? Не разобрал еще?

– Не успели...

– Так идите в типографию и вместо этого пошлого анекдота поместите какое-нибудь объявление о продаже дома и перепечатайте... тысячу номеров, а те сожжем....

Я слушал и хохотал.

– Да, вот тебе смешно, а я чуть места не лишился, а Пазухин здесь тоже ни при чем, он этот анекдот стибрил из старинного «Развлечения»!

* * *

«Русский листок» шел плохо, но В. Э. Миллер не унывал. Сотрудники лучше к нему

не шли, компаньонов не находилось, а он, веселый и энергичный, крутился волчком, должен был в типографиях, на каждый номер добывать бумаги, иногда в долг, реже на наличные, а все-таки верил в успех, аккуратно выпускал газету и наконец стал искать компаньона.

– Завязнешь ты в этом болоте! – сказал ему оптовик-газетчик П. И. Ласточкин, которого он звал в компаньоны.

– Было бы болото, а черти будут! – смеялся в ответ В. Э. Миллер.

– Цензуру сними, – посоветовал в ответ Ласточкин. Газета была еще подцензурная, что очень влияло на свежесть известий, которые появлялись позднее, вследствие того что гранки не успевали иногда вернуться от цензора.

В. Э. Миллер опять появился в Петербурге в главном управлении по делам печати и устремил свои убедительные глаза на главного управляющего Соловьева, который не отказал Миллеру в его просьбе, но сказал:

– Разрешу при одном условии – если редактором вы возьмете К. П. Цветкова.

В. Э. Миллер, знавший К. П. Цветкова как

издателя детского журнала «Малютка» и сотрудника «Московских ведомостей», согласился, и под газетой, уже «без предварительной цензуры», появилась надпись: «Издатель – В. Э. Миллер, редактор – К. П. Цветков».

Бесцензурная газета подняла престиж В. Э. Миллера, и богатый оптовый торговец бумагой П. М. Генцель открыл ему кредит, а через год, в 1897 году, когда долг В. Э. Миллера возрос до крупной суммы, и сам вошел в компаньоны. Появилась под газетой подпись: издатели В. Э. Миллер и П. М. Генцель. Это был троянский конь!

В. Э. Миллер окончательно запутался в долгах, и в 1898 году подписи В. Э. Миллера под газетой уже не было, а издателем подписывался Н. Л. Казецкий, юрисконсульт фирмы П. М. Генцеля, потом исчезла подпись редактора К. П. Цветкова, и с 34-го номера 1899 года под «Русским листком» стояло: редактор-издатель Н. Л. Казецкий. Газета полностью перешла к нему.

Ожило дело. Н. Л. Казецкий всю свою энергию вложил в газету и привлек сотрудников, чтобы дать издание, как он говорил, на «амер-

риканский образец».

Самому Н. Л. Казецкому, как гласному Городской думы, занятому, помимо судебных дел, и общественными делами, заниматься газетой было некогда, и он доверялся фактическим редакторам.

Одним из первых появился М. М. Гаккебуш, не брезговавший никакими средствами, чтобы поднять розницу и заставить москвича читать «Русский листок».

Сенсации придумывались, сплетни печатались, и газета явилась в Москве первой представительницей желтой прессы.

Разухабисто вел в ней театральные отчеты Ф. Д. Гриднин, явился из Одессы некий Редер, к характеристике деятельности которого можно сказать, что впоследствии он был выслан из Москвы за газетные шантажи.

Менялись редакторы – менялось лицо газеты. При А. П. Ландберге она стала приличной, в ней появились фельетоны-романы, излюбленные Москвой.

Из числа романистов печатались: Северцов-Полилов, Андрей Осипов, Назарьева, Д. С. Дмитриев. Родион Менделевич (Меч) еже-

дневно пересыпал газету звучными юмористическими стихами. Из злободневных фельетонистов имел большой успех Н. Г. Шебуев, который, окончивши университет, перешел в «Русский листок» из «Новостей дня» и стал писать передовые статьи и фельетоны, для которых брал судебные отчеты и делал из этих отчетов беллетристические бытовые сценки, очень живо написанные.

Н. Г. Шебуев в это время служил помощником судебного следователя при окружном суде и заведовал районом преступной Грачевки, откуда и брал сенсационный материал. Он первый ввел этот жанр в газеты.

Вскоре Н. Г. Шебуев бросил службу и окончательно перешел в литературу. Здесь начал свою работу Александр Петрович Волков, ставший впоследствии одним из лучших репортеров.

Время от времени отрываясь от судебных и общественных дел, сам Н. Л. Казецкий становился во главе газеты – в редакции гремел гром и сверкали молнии.

Уж очень Н. Л. Казецкий был шумен, иногда резок, но его все любили – и сотрудники, и

мелкие служащие, и обширная типография. Несмотря на свою грубость и несдержанность, он был очень отзывчив, входил в нужды своих сотрудников и широкой рукой помогал им без отказа в тяжелые минуты жизни. Таких редакторов было только два: он и Н. И. Пастухов.

Московские литераторы, не работавшие в «Русском листке», не любили его за резкость и выступления на разных собраниях, и только из-за этого все его предложения вызывали шумные споры и в конце концов их проваливали, как бы они целесообразны ни были.

На подготовительных заседаниях представителей печати по поводу предстоящего какого-то юбилея он предложил создать в память этого праздника убежище для престарелых журналистов на средства от оплаты всех перепечаток вплоть до репортерских заметок.

Сумма получилась очень большая, но это, конечно, невыгодно было издателям газет. На Н. Л. Казецкого набросились, проект провалили, а он, быстро уходя, рявкнул на весь зал:

– Не стоило метать бисер перед свиньями!
Тьфу!

Собрание проводило его улюлюканьем и свистом. Впоследствии Н. Л. Казецкий переименовал название своей газеты, она стала называться «Раннее утро» и шла хорошо в розницу.

«Курьер»

Социал-демократическая «Искра» как-то сотовалась, что московский «Курьер» «кокетничает с марксизмом девяностых годов».

Это было, пожалуй, довольно верно: подцензурным газетам девяностых годов можно было только «кокетничать с марксизмом».

Более серьезное отношение являлось невозможным, особенно «Курьеру» – газете с предварительной цензурой, где каждая статья с предубеждением прочитывалась цензором: его пугал один веявший в газете дух В. А. Гольцева.

Часто приходилось авторам самим ездить или в цензурный комитет, или даже на квартиры цензоров, обитавших в каких-нибудь казенных зданиях, или где-нибудь в маленьких домишках на пустырях Кошаткиной деревни, заселенной кошкодавами и темным

людом, завсегдааем притонов Сенной площади и Оружейного переулка.

Но, несмотря на строгость цензуры, «Курьер» все-таки был в те годы единственной радикальной московской газетой, в которой работала молодежь: В. М. Фриче, П. С. Коган, В. М. Шулятиков.

«Курьер» как-то неожиданно вырос на поле московской журналистики. Подпись под газетой была: издатель – А. Г. Алексеев, редактор – Я. А. Фейгин.

* * *

Происхождение «Курьера» имеет свою историю, которая, конечно, теперь забыта, да и в те времена знали ее далеко не все. И то знали кусочками, каждый свое.

В 1892 году появился в Москве кавказский князь Нижерадзе, молодой, стройный, редкой красоты.

В богатой черкеске с золотыми газырями и кинжалом на чеканном поясе, он выделялся среди наших сюртучников и фрачников и сделался всюду желанным гостем и кумиром московских дам.

В 1893 году, может быть для положения в

обществе, он стал издавать ежедневную газетку «Торговля и промышленность», которую продолжал в 1894 году, выпустив 190 номеров. И вдруг изменил ее название.

Сто девяносто первый номер вышел уже под названием «Курьер торговли и промышленности».

В конце года соиздателем явился владелец типографии, где печатался «Курьер», а окончательно прогоревший князь исчез навсегда с московского горизонта, к великому горю своих кредиторов, в числе которых был и типограф.

Вскоре после исчезновения князя прекратился в конце года и «Курьер», в мае 1895 года вышел снова в новом издательстве Е. Коган, а в сентябре 1896 года под газетой стояла подпись: редактор-издатель Я. А. Фейгин.

Это был небольшой хромой человек, одевавшийся по последней моде, сверкавший кольцами с драгоценными камнями на пальцах. Он занимал какую-то видную должность в страховом обществе «Якорь». Его знала вся веселящаяся Москва, на всех обедах он обязательно говорил речи с либеральным укло-

ном, вращался в кругу богатых москвичей, как и князь Нижерадзе, и неукоснительно бывал ежедневно на бирже, а после биржи завтракал то в «Славянском базаре» среди московского именитого купечества, то в «Эрмитаже» в кругу московской иностранной колонии.

* * *

Как-то на заборах Москвы тех времен появилась огромная афиша с полуаршинными буквами: «Дикая Америка».

Упоминалось в этой афише имя знаменитого предпринимателя американского ковбоя Буффало-Биль, но, конечно, здесь и духом его не пахло.

Приехало десятка два татуированных и раскрашенных индейцев с перьями на голове, несколько ковбоев в соломенных шляпах и с убийственными шпорами, которыми можно пропороть шкуру слона.

Шпоры эти были приготовлены для укрощения «диких мустангов», за каждого из которых ни один цыган на Конной больше красненькой не даст.

– Ну и шкапы-кабысдохи! – метко опреде-

лил мой товарищ-казак, с которым мы пришли в огороженное забором место этого дикого табора на Ходынке.

Внутренность индейского лагеря была оригинальна даже для Москвы, повидавшей все.

«Шкапы-кабысдохи» паслись на свободе, в вигвамах полуголые медно-красные индейцы сидели вокруг очага и пальцами, должно быть никогда не мытыми, рвали мясо, поджаренное тут же на углях, и вместо хлеба ели из котелка горячие жареные орехи, те самые, которые по пятаку за стакан с той поры продавались разносчиками на улицах под названием китайских орехов. Приготовлением пищи занимались женщины, а кругом бегали полуголые, как в цыганском таборе, будущие вожди племени сиу, к которому принадлежали, как значилось в афише, эти дикие индейцы, показывавшие мне свои томагавки и лассо для ловли лошадей.

Мне как представителю прессы показали ковбой несколько приемов: с помощью лассо ловили лошадей, скакали, джигитировали, вольтижировали.

Меня, привыкшего к табунной жизни в задонских степях, где действительно арканятся и выезжаются могучие лошади, до четырех лет не выдавшие человека, смешили эти убогие приемы, которые они применяли с серьезными лицами, а мой товарищ-казак все, что они делали, в гораздо лучшем виде повторил перед ними, да я и сам вспомнил старинку.

Все были поражены, а антрепренер сконфужен и просил меня ничего не писать о том, что было на репетиции. Это был небольшого роста человек, привезший из-за границы эту «Дикую Америку», которая, по его словам, имела большой успех в Европе.

«Дикая Америка» в Москве, выдавшей цыганские таборы и джигитовку казаков, успеха не имела. Я исполнил просьбу и вообще ни строчки не написал о «Дикой Америке», не хотел обижать знакомого мне антрепренера, отца Я. А. Фейгина, который показался очень симпатичным и милым, а главное, жаль было оставить голодными на чужой стороне привезенных индейцев.

* * *

Прогорела «Дикая Америка», исчез Фейгин-отец, а Фейгин-сын все ярче и ярче сверкал в Москве.

С начала 1897 года подпись Я. А. Фейгина появилась еще в числе пятерых издателей под новым журналом «Бюллетень Хлебной биржи». Последний издавался на средства богатых московских хлебных торговцев, а о втором его издании – «Курьере торговли и промышленности» – редактор «Московского листка» Н. И. Пастухов ядовито замечал, что он «жареным пахнет».

В «Курьере торговли и промышленности» печатались отчеты товариществ и обществ, а также разные оплаченные статьи, которые умел добывать предприимчивый Я. А. Фейгин благодаря связям с коммерческим миром: многие товарищества с миллионными оборотами без затруднений могли заплатить сотню-другую рублей за напечатание рекламной статьи или отчета в газете с таким громким названием.

Такие публикации зависели от директоров-распорядителей, с которыми Я. А. Фейгин встречался за завтраками в «Эрмитаже».

У Я. А. Фейгина явились деньги, захотелось славы редактора политической газеты, но все-таки издавать одну большую газету ему было не под силу, и он составил компанию, в которую вошли два присяжных поверенных – И. Д. Новик, Е. З. Коновицер – и два брата Алексеевых, молодые люди купеческого рода, получившие богатое наследство.

Я. А. Фейгин поехал в Петербург и благодаря своим знакомствам ухитрился перефасонить свой «Курьер торговли и промышленности» на ежедневную газету «Курьер» с довольно обширной программой, но и с предварительной цензурой.

Это было сделать гораздо легче, чем выхлопотать новое издание. Тогда министерство внутренних дел не разрешало никому издание новых газет.

Много денег дали братья Алексеевы, и составила организованная при помощи В. А. Гольцева, сумевшего пригласить и старых журналистов, и ученых, и молодежь, редакция левого направления.

В. А. Гольцев, руководивший политикой, писал еженедельные фельетоны «Литератур-

ное обозрение», П. С. Коган вел иностранный отдел, В. М. Фриче ведал западной литературой и в ряде ярких фельетонов во все время издания газеты основательно знакомил читателя со всеми новинками Запада, не переведенными еще на русский язык.

В. М. Фриче, П. С. Коган и В. М. Шулятиков, молодой критик и публицист, составляли марксистский кружок газеты.

Так как цензура была очень внимательна к новому изданию в отношении политических статей, то пришлось выезжать на беллетристике и писать лирически-революционные фельетоны, что весьма удавалось В. М. Фриче и П. С. Когану.

* * *

Под газетой значилась подпись: издатели – А. Г. Алексеев и Я. А. Фейгин, редактор – Я. А. Фейгин.

А. Г. Алексеева в редакции почти никто не видал, показывался он иногда только на товарищеских редакционных собеседованиях, происходивших в ресторанах «Эрмитаж» или «Континенталь», а также в «России» в Петровских линиях, которая помещалась рядом с ре-

дакцией.

Я. А. Фейгин метался по своим делам по Москве, а фактическим редактором был И. Д. Новик. Первые месяцы газета шла, конечно, слабо, направление еще ярко не определилось, но ее счастью помогло чужое несчастье.

В 1898 году 21 апреля «Русские ведомости» получили третье предостережение с приостановкой издания на три месяца за «сбор пожертвований в пользу духоборов с распубликованием о сем в номере девяносто третьем газеты».

«Русские ведомости» прекратились и предложили своим подписчикам на время запрещения заменить свою газету «Курьером», как более подходящим по направлению к «Русским ведомостям», чем все остальные московские газеты.

У «Курьера» прибыло сразу восемь тысяч подписчиков на эти два месяца.

– Из богадельни да в акробаты! – кто-то метко сострил тогда.

Для газеты создалась обстановка, при которой можно было сверкнуть ярче, чем «Русские ведомости», и тем удержать подписчи-

ков. Тут понадобилось и расширение беллетристического отдела, и пригодились лирические революционные фельетоны. Были приглашены лучшие силы по беллетристике, появились Д. Н. Мамин-Сибиряк, К. М. Станюкович, Вас. И. Немирович-Данченко, И. Н. Потапенко, И. А. Бунин, В. В. Каллаш, Д. Л. Мордовцев, Н. И. Тимковский, поэты К. В. Бальмонт, В. Я. Брюсов, Лев Медведев, Е. А. Буланина и много других.

За время существования «Курьера» многие русские писатели, ставшие известными впоследствии, в нем начинали свои работы: Леонид Андреев, Борис Зайцев, Георгий Чулков, Гусев-Оренбургский, Е. Гославский.

Леонид Андреев сначала был в «Курьере» судебным репортером. С захватывающим интересом читались его художественные отчеты из окружного суда. Как-то он передал И. Д. Новичу написанный им рождественский рассказ, который и был напечатан. Он очень понравился В. А. Гольцеву и И. Д. Новичу, и они стали просить Леонида Андреева продолжать писать рассказы.

С каждым новым рассказом слава Леонида

Андреева росла, и разные издания стали забрасывать его приглашениями.

В один счастливый день вдруг он проснулся знаменитостью, но все еще не оставлял свои судебные отчеты, что, конечно, отвлекало его от беллетристики.

– Леонид Николаевич, вы вчера хотели дать новый рассказ, – как-то сказал ему И. Д. Новик.

– Хотел, Исаак Данилович, да вчера после заседания попал под суд.

– Как под суд?

– Да вот так.

И объяснил, как он попал.

Попасть под суд – это значило после заседания в окружном суде спуститься в нижний этаж здания, где как раз под Митрофаньевской залой находился очень хороший буфет и всегда собиралась очень веселая товарищеская компания.

В самые первые дни славы Леонида Андреева явился в редакцию «Курьера» сотрудник «Русского слова», редактировавший приложение к газете – журнал «Искры», М. М. Бойович с предложением по поручению И. Д. Сытина

дать ему рассказ.

– Хорошо, – сказал Леонид Андреев, – дам. Условия такие: десять копеек строка и пятнадцать рублей авансом.

– Я передам условия И. Д. Сытину и завтра принесу ответ.

На другой день в те же часы приходит М. М. Бойович в редакцию и застаёт Леонида Андреева за чтением только что полученной книжки «Русского богатства», в которой Н. К. Михайловский расхвалил Андреева.

– Леонид Николаевич, Иван Дмитриевич Сытин согласен на условия, вот и аванс!

Леонид Андреев молча показал статью Н. К. Михайловского М. М. Бойовичу и сказал:

– Сегодня условия другие: 25 копеек строчка и 50 рублей аванс!

* * *

Весело и дружно работала редакция «Курьера». Прошел второй год издания, но цензура становилась все строже, конкурировать с бесцензурными газетами было все труднее и труднее.

Многих провинциальных подписчиков отбила петербургская «Россия», талантливо ре-

дактируемая А. В. Амфитеатовым и В. М. Дорошевичем, а когда она была закрыта через год, старые подписчики к «Курьеру» не вернулись.

Цензура придиралась, закрывая розницу, лишала объявлений. Издательские карманы стали это чувствовать, что отозвалось и на сотрудниках. Начались недоумения, нелады: кружок марксистов держался особняком, кто-то из сотрудников ушел. Цензура свирепствовала, узнав, какие враги существующего порядка состоят в редакции. Гранки, перечеркнутые цензурой, возвращались пачками, а иногда и самого редактора вызывали в цензуру и, указывая на гранки, обвиняли чуть не в государственном преступлении.

– Что вы думали, посылая подобные вещи?

А И. Д. Новик не унывал и все посылал и посылал цензорам горячий материал. Алексей Максимович Горький прислал сюда своего «Буревестника», который был возвращен в редакцию, изуродованный донельзя черными чернилами в отдельных строках и наконец сразу перечеркнутый красными крест-накрест.

В то время, когда газеты кричали о вечном мире, я написал два противоположных стихотворения – одно полное радости, что наконец-то строят «здание мира», а другое следующее:

*Заседанье было в Гааге,
Были речи, шумный пир.
В целом мире на бумаге
Водворился вечный мир.
После дичи, после супа
От речей раздался стон:
Заказали вновь у Крупна
Новых пушек миллион.*

Первое напечатали, а второе зачеркнутым было возвращено с отеческим выговором редактору. Цензоры никак не думали, что скоро «миллион пушек» понадобится для грядущей войны. Сытые чиновники, верившие в свою силу, не чувствовали приближения бури грядущего.

А тут еще А. В. Луначарский, приглашенный В. А. Гольцевым и находившийся тогда в ссылке в Вятке, прислал «Курьеру» блестящую статью: «В боевой готовности».

В каждой строке статьи чувствовалось вея-

ние приближающейся революции.

* * *

«Курьер» вступил в четвертый год издания. В редакции шли какие-то недоразумения. Редактировал газету некоторое время В. П. Потемкин, сыпались кары на газету – цензура становилась злее с каждым днем.

Издателю надоело доплачивать убытки. И в это время поэт Скиталец прислал свое известное революционное стихотворение «Гусляр».

Цензура ли проморгала этот грозный призыв «бить по пустым головам», редакция ли недосмотрела, – но «Гусляр» появился в газете, да еще на первой странице.

Бумм! На всю Москву бумм! Цензор С. П. Соколов арестован.

Номера, отбираемые полицией, продавались в тот же день газетчиками по рублю, а ходовой сообразительный оптовик-газетчик Анисимов, имевший свою лавочку в Петровских линиях, нажил на этом деньги, долгое время торгуя «Курьером» из-под полы.

Кажется, этим и окончил «Курьер» свое яркое и короткое существование.

«Детское чтение»

В девяностых годах минувшего века собирались аккуратно литераторы, принимавшие участие в журнале «Детское чтение», у его издателя Дмитрия Ивановича Тихомирова в собственном его доме на Большой Молчановке.

Это были скучнейшие, но всегда многолюдные вечера с ужинами, на которых, кроме трех-четырех ораторов, гости, большею частью московские педагоги, сидели, уставя в молчании «брады свои» в тарелки, и терпеливо слушали, как по часу, стоя с бокалами в руках, разливались В. А. Гольцев на всевозможные модные тогда либеральные темы, Н. Н. Златовратский о «золотых сердцах народа», а сам Д. И. Тихомиров, бия себя кулаками в грудь и потрясая огромной седой бородищей, вопиял:

– Мы – народ! Мы – служители народного просвещения!

Слушали, ели и пили собственное тихомировское вино из его крымского имения «Красная горка». Чокались водянистым «зандом» и

кислым «аликантом» и ждали, когда литератор – рассказчик В. Е. Ермилов или нетерпеливый экспромтист перебьет текущую плавно элоквенцию какой-нибудь неожиданной шуткой или веселым анекдотом. Тогда все оживали впредь до новой речи.

Кончались речи и неожиданными сюрпризами. Был случай, когда тишайший Н. Н. Златовратский вцепился в бородку благовоспитанного В. А. Гольцева, вцепившегося в свою очередь в широкую бороду Н. Н. Златовратского, так что их пришлось растаскивать соседям: Они ярко выразили свое несходство в убеждениях: В. А. Гольцев был западник, а Н. Н. Златовратский – народник.

Это, помню, был вечер очень многолюдный, на котором присутствовал, между прочим, и педагог-писатель В. А. Острогорский, который вступился за В. А. Гольцева, а Д. И. Тихомиров – за Н. Н. Златовратского. Они, В. А. Острогорский и Д. И. Тихомиров, старинные друзья, после сели рядом и молча пили водку, время от времени кидая друг на друга недружелюбные взгляды; у В. А. Острогорского еще сильнее косили глаза, а Д. И. Тихоми-

ров постукивал своей хромой ногой. Мне удалось тогда сорвать напряженное состояние вечера шуткой, за которую на меня после очень косился Д. И. Тихомиров, – но на этот раз она достигла своей цели, развеселила гостей, и вечер прошел прекрасно.

Я встал, взял стакан с «аликантом», кто-то стукнул вилкой по тарелке, и стол устремил на меня глаза. Указывая на дующихся друзей, я сказал:

*Сидят приятели за водкой,
Но не пойму я одного:
С ним Митя на ноге короткой,
Он – косо смотрит на него!*

А потом В. Е. Ермилов ввернул какую-то шутку, и все весело и шумно просидели до утра.

Впоследствии как-то эти воскресенья сошли на нет и к 1905 году прекратились.

Вначале бывали на них: почти всегда оба Немировича-Данченко, Д. Н. Мамин-Сибиряк, А. С. Серафимович, братья Бунины, Ладыженский, Е. А. Буланина, Альбов, Елпатьевский, С. С. Голоушев, В. М. Лавров, Соловьев, Федоров-Давыдов и многие профессора и видные

педагоги.

«Русская мысль»

В 1881 году я служил в театре А. А. Бренко. Мой старый товарищ и друг, актер В. Н. Андреев-Бурлак, с которым мы тогда жили вдвоем в квартирке, при театре на Тверской, в доме Малкиеля, напечатал тогда в «Русской мысли» прекрасный рассказ «За отца», в котором был описан побег из крепости политического преступника.

Это был первый сотрудник самого толстого в скромной серенькой обложке московского ежемесячника «Русской мысли», с которым я познакомился и который познакомил меня с издателем В. М. Лавровым и редактором ее С. А. Юрьевым.

Знакомство состоялось у артистов нашего театра М. И. Писарева и А. Я. Гламы-Мещерской, у которых часто бывали многие литературные знаменитости того времени: С. А. Юрьев, В. М. Лавров, В. А. Гольцев и весь кружок «Русской мысли»; наезжали петербургские писатели: Г. И. Успенский, Н. К. Михайловский, А. Н. Плещеев.

Я уже напечатал тогда в журнале «Москва» у Кланга свою поэму «Бурлаки», которая сопровождалась цветной репродукцией репинской картины «Бурлаки».

В дальнейшем я встречался с ними то у М. И. Писарева, то у В. М. Лаврова.

«Русская мысль» – создание двух человек: С. А. Юрьева и В. М. Лаврова.

Сергей Андреевич Юрьев был одним из самых оригинальных литературных представителей блестящей плеяды людей сороковых годов: выдающийся публицист, критик, драматический писатель, знаток сцены, ученый и философ.

Еще в 40-х годах он окончил в Москве математический факультет, получил место астронома-наблюдателя при обсерватории Московского университета и написал две работы «О солнечной системе». Вследствие болезни глаз бросил свою любимую науку и весь отдался литературе: переводил Шекспира, Кальдерона, Лопе де Вега, читал лекции и в 1878 году был избран председателем Общества любителей российской словесности, а после смерти А. Н. Островского – председателем Об-

щества драматических писателей. В 1880 году основал журнал «Русская мысль».

В это время в Москву приехал из г. Ельца, Орловской губернии, молодой человек, купеческий сын, получивший чуть ли не миллионное наследство.

В. М. Лавров – страстный любитель литературы и театра, он познакомился с М. И. Писаревым и сделался своим в кружке артистов. Там он встретился с С. А. Юрьевым и стал издателем «Русской мысли».

Отцовское хлебное дело ликвидировал и весь отдался издательству журнала.

* * *

Дорогая затея была тогда издавать ежемесячный журнал, конкурирующий с петербургскими известными изданиями: «Отечественными записками» и «Вестником Европы».

В. М. Лаврову удалось тогда объединить вокруг нового журнала лучшие литературные силы. Прекрасно обставленная редакция, роскошная квартира издателя, где задавались обеды и ужины для сотрудников журнала, быстро привлекли внимание. В первые годы издания журнала за обедом у В. М. Лаврова С.

А. Юрьев сообщил, что известный художник В. В. Пукирев, картина которого «Неравный брак» только что нашумела, лежит болен и без всяких средств.

В. М. Лавров вынул пачку денег, но С. А. Юрьев, зная, что В. В. Пукирев не возьмет ни от кого денежной помощи, предложил устроить в пользу художника музыкально-литературный вечер в одном из частных залов. Присутствовавшие отозвались на этот призыв, и тут же составила интереснейшая программа с участием лучших литературных и артистических сил.

* * *

Редактором «Русской мысли» С. А. Юрьев был около шести лет, а потом после его смерти редактором был утвержден В. М. Лавров.

Кроме прекрасной памяти, которую оставил по себе С. А. Юрьев, вспоминается после него ряд анекдотов, характеризующих его удивительную рассеянность.

Он жил на Большой Дмитровке, а летом на даче. В квартире оставалась старушка прислуга. С. А. Юрьев только иногда заезжал домой в дни своего посещения редакции. К при-

слуге как-то пришла знакомая портниха. Старушка для гостьи ставила самовар. Раздался звонок. Старушка, занятая самоваром, попросила отпереть дверь и сказать, что дома никого нет. Сергей Андреевич прямо с дачи заехал на квартиру, позвонил в звонок, над которым красовалась медная пластинка с надписью: «С. А. Юрьев». Ему отперла эта портниха, незнакомая женщина, и заявила, не снимая с двери цепочку, что никого нет дома.

– Ах, какая жалость! Ну вот, скажите, что я был! – С. А. Юрьев передал ей свою визитную карточку и уехал в редакцию.

Узналось все это после. А потом как-то мы ужинали у В. М. Лаврова. Сергей Андреевич уезжал раньше других; мы вышли его проводить в прихожую, подали ему шубу, его бобровая шапка лежала на столе, а рядом с шапкой спал котенок.

Сергей Андреевич, продолжая прощальный разговор, гладил свою шапку, потом схватил котенка, приняв его по близорукости и рассеянности за шапку, и хотел его надеть на голову, но котенок в испуге запищал и оцарапал ему руку.

После С. А. Юрьева фактическим редактором «Русской мысли» стал В. А. Гольцев, но утвердить его редактором власти наотрез отказались, считая его самым ярким революционером.

Журнал шел прекрасно, имел огромный успех у читателей, но так дорого стоил, что В. М. Лавров, человек совсем не коммерческий, приплачивал очень большие деньги, что вместе с широким хлебосольством кончилось тем, что заставило его посократиться.

Живя в Москве широкой жизнью, вращаясь в артистическом и литературном мире, задавая для своих друзей обеды, лет через десять В. М. Лавров понял, что московская жизнь ему не под силу. В 1893 году он купил в восьми верстах от городка Старая Руза, возле шоссе, клочок леса между двумя оврагами, десятин двадцать, пустошь Малеевку, выстроил в этом глухом месте дом, разбил сад и навсегда выехал из Москвы, посещая ее только по редакционным делам в известные дни, не больше раза в неделю.

От своего владения он отрезал два участка для постройки дач своим сотрудникам В. А.

Гольцеву и М. Н. Ремезову. Оба выстроились.

Вскоре М. Н. Ремезов продал свою дачку мне, где я и стал жить со своей семьей летом.

По другую сторону шоссе верстах в двух купили участки земли и построили дачи профессора А. А. Мануйлов и Н. А. Мензбир.

«Писательский уголок» – звали это место в Москве.

«Поднадзорный поселок» – окрестила его полиция, которой прибавилось дела – следить за новыми поселенцами, куда то и дело приезжали гости, очень интересные охранному отделению.

В. М. Лавров назвал свой хуторок «Малеевкой», а я свою дачку «Гиляевкой». Впоследствии, когда рядом на шоссе у моста через Москву-реку открылось почтовое отделение, его назвали «Гиляевка».

В другой половине дома, рядом с почтовым отделением, была открыта на собранные пожертвования народная библиотека, названная именем В. А. Гольцева. Эта вывеска красовалась не более недели: явилась полиция, и слова «имени Гольцева» и «народная» были уничтожены, а оставлено только одно – «биб-

блиотека». Так грозно было в те времена имя Гольцева и слово «народ» для властей.

* * *

Я жил в Гиляевке только летом, да и то часто уезжал по редакционным делам. Во время моих приездов мы нередко вместе обедали и ужинали то у В. М. Лаврова, то у В. А. Гольцева, то у меня.

Часто приезжали гости: бывал А. П. Чехов, когда он сделался сотрудником «Русской мысли», как-то гостил у меня В. М. Дорошевич, очаровавший В. М. Лаврова и В. А. Гольцева, которые до того относились к нему, как к сотруднику мелкой прессы, свысока.

Было время, когда точно так же и «Русская мысль», и «Русские ведомости» относились и к Антону Чехову, а потом к нему на поклон пришли.

Когда приезжали летом гости, обеды бывали у В. М. Лаврова очень веселые, хотя далеко не такие, которые он задавал в Москве.

Здесь не было в помине дорогих вин, как тогда; зато были прекрасные домашние наливки и запеканки; единственное вино, которое подавалось на этих обедах, было превос-

ходное кахетинское.

В. М. Лавров выписывал его от какого-то друга-грузина с Кавказа бочонками в 40 ведер и разливал сам по бутылкам.

У него были три собаки – Бутылка, Стакан и Рюмка – и гусь.

Когда я в первый раз приехал к нему на дачу, мы завтракали – гостей не было никого. За кофе он встал, взял кусок хлеба и вышел на крыльцо. Через минуту, слышу, он кричит:

– Владимир Алексеевич! Владимир Алексеевич! Я выскочил на крыльцо:

– Вы меня, Вукол Михайлович?

– Нет, не вас. Вон, видите, тоже Владимир Алексеевич.

Переваливаясь с ноги на ногу, к нему шествовал огромный белый гусь, отвечая на его голос каким-то особенно густым-густым басом.

В. М. Лавров начал кормить его хлебом. Выяснилось, что это его любимец, названный в честь известного адвоката Владимира Алексеевича Федотова, подарившего ему этого гуся. Всякую птицу, всякого зверя, имевших у него свою кличку и на нее отзывавшихся, лю-

бил В. М. Лавров.

По зимам я иногда приезжал к нему на день, на два и, так как моя дача была холодная, останавливался в его доме.

Зимний день у неба всегда проходил так; в одиннадцать встанет, попьет кофе, выходит погулять, Первым делом идет через занесенный снежными сугробами сад по узкой тропинке к большой террасе, на которую летом выход из столовой, где стоял огромный летний обеденный стол.

В. М. Лавров насыпал горстями на стол овса, конопли, проса и возвращался в столовую.

Сядет, любуется в окно: а стол, «птичья зимняя столовая», как он его называл, весь живой, мельтешится пестрым ковром.

Мелкие птахи всех зимующих пород, от синички до красногрудого снегиря и сотни воробьев, чиликают, дерутся, долбят носиками.

После завтрака та же картина, но в миниатюре и с другой стороны: в гостиной открывается форточка и выставляется на особое приспособление полная зерен кормушка. Слетаются пернатые, а В. М. Лавров радуется и о каждой птичке что-нибудь расскажет:

– Ах, забияка! Вот я тебя! – и стучит в стекло пальцем на воробья, который синичку клюнул... Затем идет в кабинет и работает. Перед обедом выходит в лес гулять, и за ним три его любимые собаки: Бутылка, Стакан и огромная мохнатая Рюмка, которые были приучены так, что ни на одну птицу не бросались; а после обеда спит до девяти часов.

В десять ужин, а после ужина уходит в кабинет и до четырех часов стучит на своем «ремингтоне». Летом тот же режим – только больше на воздухе. Любитель цветов, В. М. Лавров копается в саду, потом ходит за грибами, а по ночам делает переводы на русский язык польских писателей или просматривает материалы для очередного номера журнала, которые ему привозили из редакции.

Переводы В. М. Лаврова сочинений Сенкевича и Ожешко считались лучшими, печатались во многих номерах «Русской мысли» за все долгие годы ее издания.

Раз в месяц, ко дню выхода книжки, В. М. Лавров уезжал в Москву, где обычно бывали обеды «Русской мысли», продолжение тех дружеских обедов, которые он задавал со-

трудникам в московский период своей жизни у себя на квартире. Впоследствии эти обеды перенеслись в «Эрмитаж» и были более официальны и замкнуты.

* * *

У В. М. Лаврова в библиотеке в Малеевке было много книг и хранился очень им берегаемый альбом, в котором имелись автографы многих писателей-друзей. Альбом этот В. М. Лавров редко кому показывал и только изредка прочитывал приезжавшим к нему отдельные записи.

Несколько стихотворений у меня сохранилось; вот стихотворение Аполлона Майкова:

*Вы – ответственный редактор
«Русской мысли» – важный пост!
В жизни – мысль великий фактор,
В ней народов мощь и рост,
Но она – что конь упрямый:
Нужен верный ездовой,
Чтоб он ровно шел и прямо,
Не мечая, как шальной.
Русский дух им должен править:
Есть у вас он, то легко
Вам журнал свой и прославить,
И поставить высоко.*

Переводчик Петр Вейнберг оставил такой автограф:

НАШИМ ВРАГАМ

*Оставьте нас! В шипящей злости
Вы нам и жалки и смешны.
Оставьте, вы не в пору гости
На светлом празднике весны.
Напрасно бьете вы тревогу,
Стараясь ужас пробудить, —
Для нас открытую дорогу
Не вам, не вам загородить!
Оставьте нас! Когда весной,
В сиянье первой красоты,
Откроет с силой молодую
Могучий дуб свои листья, —
Тогда ничто его свободы
И свежих сил не сокрушит —
Под грозным вихрем непогоды
Неколебимо он стоит,
Удары смело переносит,
Растет и крепнет по часам
И гордо голову возносит
К своим заветным небесам.*

С. В. Максимов писал в альбом:

«Припоминается мне такой случай: И. С. Тургенев любил разбираться в почерках, отгадывая по их разнообразию не столько состоя-

ние в данный момент духа писавшего, сколько вообще личный характер и душевные свойства его. В тот день он получил из-за границы какую-то немецкую книгу с приложением автографов Гете и Шиллера.

Сравнивая почерки обоих, Иван Сергеевич обратил внимание на их резкую разницу: один писал разгонисто, видимо, не только не жалел бумаги, но даже как будто бы формат стеснял его, задерживая быстроту нарождавшейся мысли, когда и перо едва поспевало за их полетом:

«Ему в державу тесны миры!»

Другой усердно нанизывал буквы, как бисер, сближал строки и даже заполнял текстом не только поля, но и пробелы междустрочий.

«И веревочку подай!» – шутливо замечал наш поэт и серьезно доказывал, что в последнем он явно видит бережливость немца в противоположность первому (очевидно, и по почерку), сбросившему с себя путы национального характера, как всемирный гений.

Случайная мысль на тот раз дала нашему великому учителю литературного языка провести художественную, мастерскую парал-

лель вроде той, о которой далеко раньше шутиливо намекал он в «Хоре и Калиныче» и которую критически разработал впоследствии в «Гамлете» и «Дон-Кихоте».

Имелось в альбоме стихотворение Я. П. Полонского.

*Отчего это, братцы, и голос
есть,
Да негромко поет, обрывается?
Отчего это, братцы, и песня
есть,
Да наводит тоску, словно мается?
Где та сила, та грудь богатыр-
ская,
Что певала под гусли звончатые
На пирах, в теремах, перед боем в
шатрах?
Народится ли вновь на святой Ру-
си
Та живая душа, тот великий дух,
Чтоб от моря до моря, по всем
степеням,
Вдоль широкой реки, в глубине
лесной
По проселкам, по селам, по всем
городам*

*Пронеслась эта песня, как божий
гром,
И чтоб вся-то Русь православная,
Откликаючись, встрепенулася!*

Д. Н. Мамин-Сибиряк написал В. М. Лаврову свои впечатления:

«Тридцать лет тому назад я принес в редакцию «Русской мысли» свою первую статью, которая и была напечатана в 1882 году («Старатели»).

Это была, кажется, вообще первая статья, напечатанная мною в толстом журнале. Затем я сотрудничаю в «Русской мысли» четырнадцатый год и могу засвидетельствовать замечательный факт, именно, что Вукол Михайлович Лавров всегда одинаков – когда журнал был в тяжелых обстоятельствах и когда достиг успеха, когда к нему является начинающий автор и когда автор с именем».

Написал в альбом стихотворение и И. А. Бунин:

*На высоте, на снеговой вершине,
Я вырезал стальным клинком сонет.
Проходят дни. Быть может, и до-*

ныне
Снега хранят мой одинокий след.
На высоте, где небеса так сини,
Где радостно сияет зимний свет,
Глядело только солнце, как сти-
лет
Чертил мой стих на изумрудной
льдине.
И весело мне думать, что поэт
Меня поймет. Пусть никогда в до-
лине
Его толпы не радуется привет!
На высоте, где небеса так сини,
Я вырезал в полдневный час сонет
Лишь для того, кто на вершине...

А. П. Чехов часто бывал у профессора поли-
тической экономии И. И. Иванюкова, которо-
го близко знал В. М. Лавров.

После одного из таких посещений Антон
Павлович написал в альбом В. М. Лаврову:

«Я ночевал у И. И. Иванюкова, в квартире
В. М. Соболевского, и проспал до 12 часов дня,
что подписом удостоверяю. Антон Чехов».

«Любовь – высший дар, высшее чувство че-
ловека! – пишет Д. В. Григорович. – Обраще-
но это чувство к отечеству, к общественной

пользе, к отдельной личности – оно далеко оставляет за собой все, что обыкновенно служит двигателем в нашей жизни. Все наши цели и мудрствования, и так называемые дела, тщеславные стремления, карьера и т. д., – все это, если взять в расчет не вечность, но только нашу коротенькую жизнь, – все это не стоит, в сущности, того, чтобы колотиться, биться, огорчаться или радоваться, как это делаем мы! На свете есть одно настоящее чувство, которым стоит серьезно заниматься, – это любовь. Для любви, для нее одной, стоит родиться на свет, и прискорбно умирать потому только, что приходится расстаться с нею и нет больше надежды испытать ее снова».

Интересной подробностью альбома было еще и то, что в нем имелись стихотворения людей, не писавших обычно стихами.

Среди таких стихотворений имелись – артиста А. И. Сумбатова-Южина:

*Солнце жаркими лучами
Грудь Кавказа целовало,
И под страстными огнями
Все цвело и ликовало.
Лишь старик Казбек угрюмый*

*Этой ласке не поддавался
И один с своею думой
Под снегами оставался.
Из-за ласки лицемерной
Не хотел менять одежды
И сменить свой холод верный
На весенние надежды.*

В. А. Гольцев написал:

*Нас мгла и тревоги встречали,
Порой заграждая нам путь.
Хотелось нередко в печали
Свободною грудью вздохнуть.
Но дни проходили чредою,
Все мрак и все злоба вокруг —
Не падали духом с тобою
Мы, горем исполненный друг!
И крепла лишь мысль и стреми-
лась
К рассвету, к свободе вперед —
Туда, где любовь сохранилась.
Где солнце надежды взойдет!*

М. Н. Ремезов:

*И много лет мы вместе жили,
В одной ладье мы вместе плыли,
Делили радость и печаль,
Ты на руле сидел и правил.*

*Ладью упорно гнали вдаль.
А Гольцев смело парус ставил,
Когда ж чрез борт катился вал,
Я только воду отливал...*

Последние строчки особенно понятны, – постоянный сотрудник и редактор «Русской мысли» М. Н. Ремезов занимал, кроме того, важный пост иностранного цензора, был в больших чинах и пользовался влиянием в управлении по делам печати, и часто, когда уж очень высоко ставил парус В. А. Гольцев, бурный вал со стороны цензуры налетал на ладью «Русской мысли», и М. Н. Ремезов умело «отливал воду», и ладья благополучно миновала бури цензуры и продолжала плыть дальше, несмотря на то, что, по словам М. Н. Ремезова,

*В ладье везем мы груз запретный
Гуманных нравственных идей
И «Русской мысли» клич завет-
ный
К любви и равенству людей.*

* * *

Увлеченный кипучей газетной обязательной работой, я, несмотря на долголетнюю

дружбу с В. А. Гольцевым и В. М. Лавровым, поместил в «Русской мысли» только несколько стихотворений, да и то по просьбе редакции, «Гоголевщину», в которой описал мою поездку в Полтавщину в 1900 году перед Гоголевскими празднествами.

После моего доклада в Обществе любителей российской словесности, который впоследствии был напечатан отдельной книгой «На родине Гоголя», В. А. Гольцев обратился ко мне с просьбой напечатать его в «Русской мысли». Перепечатка из «Русской мысли» обошла все газеты.

«Русское слово»

«Русское слово» было разрешено без предварительной цензуры, но с программой, указанной К. П. Победоносцевым, выхлопотавшим это издание для А. А. Александрова.

«Самодержавие, православие и народность» – было девизом газеты.

Газетка была и на вид, и по содержанию весьма убогая, ни подписки, ни розницы не было – и издатель разорился.

В конце концов ее купил умный и предприимчивый И. Д. Сытин с целью иметь собственную газету для рекламы бесчисленных книг своего обширного издательства.

И. Д. Сытину некогда было заниматься газетой, и она также продолжала влачить довольно жалкое существование; он мало заботился о ней и не раз предлагал ее купить кому-нибудь, но желающих не находилось.

Редакция помещалась в книжном издательстве И. Д. Сытина на Старой площади. Направо с площадки лестницы был вход в издательство, а налево в редакцию. Крошечная прихожая, заставленная по обеим сторонам

почти до потолка связками газет – того и гляди упадут и задавят. Дальше три комнатки для сотрудников, в одной из которых две кассы наборщиков – повернуться негде, а еще дальше кабинет Гермониуса, заведовавшего редакцией и фактического редактора. Гермониусов было, два, оба литераторы. К одному из них обратился поэт Минаев с вопросом: «Скажи-ка мне, по таксе ль взимает брат твой Аксель?»

Который из братьев Гермониусов был в «Русском слове» редактором, не знаю, но номинальным числился Киселев.

В прихожей можно было наблюдать такие сценки: входит в плюшевой ротонде сверкавшая тогда в Москве опереточная дива Панская и не может пролезть между столиком и кипами газет, чтобы добраться до комнаты Гермониуса, а за столиком сидит Дементий, одновременно и сторож, и курьер, и швейцар, и чистит огромную селедку.

Увидав Панскую и желая заработать «на чай», Дементий пытается снять ротонду селедочными руками, но случайно вошедший один из главных сотрудников К. М. Данилен-

ко, еще совсем юный, выручает и проводит Панскую в кабинет редактора.

Из помещения на Старой площади редакция «Русского слова» вскоре, переменив несколько квартир, переехала на Петровку, в дом доктора Левинсона, в нижний этаж, где была когда-то редакция арендуемых у императорских театров театральных афиш, содержащая А. А. Левинсоном, сыном домовладельца.

По одну сторону редакции была пивная Трехгорного завода, а с другой – винный погреб Птицына. Наверху этого старого, сломанного в первые годы революции, двухэтажного дома помещались довольно сомнительные номера «Надежда», не то для проходящих, не то для приезжающих.

Сюда приехал приглашенный И. Д. Сытиным редактировать «Русское слово» В. М. Дорошевич, после закрытия «России» за амфитеатровский фельетон «Обмановы», и привез с собой своего товарища по Одессе Розенштейна.

Затем редакция переехала в дом Обидиной, тут же на Петровке, в надворный фли-

гель, а оттуда уже в дом М. В. Живаго, теперь уже снесенный, на проезде Страстного бульвара.

Это был исторический дом старого барства: столбчатая красная стена, стоявшая тысяч сорок, колонны, фрески, и все это было замазано, загрязнено, на вбитые в красную стену гвозди вешались вырезки из газет и платки. Снаружи дом был одноэтажный, а надворная часть с антресолями к пристройкам в три этажа.

В это время И. Д. Сытин присмотрел и купил соседний дом у вдовы Н. А. Лукутина, Любови Герасимовны, дочери известного миллионера Герасима Хлудова.

Редакция поместилась в бывшем магазине Лукутина, где продавались его знаменитые изделия из папье-маше. Одновременно И. Д. Сытин выстроил в приобретенном у Н. А. Лукутина владении четырехэтажный корпус на дворе, где разместилась редакция и типография и где стало печататься «Русское слово» на новых ротационных машинах. Рядом И. Д. Сытин выстроил другой корпус, для редакции, с подъемными машинами для своих из-

даний.

С приездом В. М. Дорошевича, воспользовавшегося дополнительно разрешенной Победоносцевым «Русскому слову» широкой программой, газета не только ожила, но и за сверкала.

И. Д. Сытин не вмешивался в распорядки редакции. Редактором был утвержден его зять, Ф. И. Благов, доктор по профессии, не занимавшийся практикой, человек весьма милый и скромный, не мешавший В. М. Дорошевичу делать все, что он хочет. В. М. Дорошевич, с титулом «короля фельетонистов» и прекрасный редактор, развернулся вовсю. Увеличил до небывалых размеров гонорары сотрудникам, ввел строжайшую дисциплину в редакции и положительно неслыханные в Москве порядки, должно быть, по примеру парижских и лондонских изданий, которые он осматривал во время своих частых поездок за границу.

Дом для редакции был выстроен на манер большой парижской газеты: всюду коридорная система, у каждого из крупных сотрудников – свой кабинет, в вестибюле и приемной

торчат мальчуганы для посылок и служащие для докладов; ни к одному сотруднику без доклада постороннему войти нельзя.

В этом же доме разместил И. Д. Сытин и другие свои издания: третий этаж заняло целиком «Русское слово», а в четвертом поместились «Вокруг света» и «Искры», как приложение к «Русскому слову», сначала издававшееся с текстом, а потом состоящее исключительно из иллюстраций.

Редактором «Искр» был серб Милан Михайлович Бойович, филолог, окончивший Московский университет, еще студентом состоявший моим помощником при московском отделе амфитеатровской «России».

Редактором «Вокруг света» был В. А. Попов, прекрасно поставивший журнал, который при нем достиг огромной по тем временам подписки.

Помещение редакции было отделано шикарно: кабинет И. Д. Сытина, кабинет В. М. Дорошевича, кабинет редактора Ф. И. Благова, кабинет выпускающего М. А. Успенского, кабинет секретаря и две комнаты с вечно стучащими пишущими машинками и непрерывно

звонящими телефонами заведовавшего московской хроникой К. М. Даниленка.

У кабинета В. М. Дорошевича стоял постоянно дежурный – и без его доклада никто в кабинет не входил, даже сам И. Д. Сытин.

Когда В. М. Дорошевич появлялся в редакции, то все смолкало. Он шествовал к себе в кабинет, принимал очень по выбору, просматривал каждую статью и, кроме дневных приемов, просиживал за чтением гранок ночи до выхода номера.

В. М. Дорошевич в созданной обстановке редакции портился. Здесь он не был тем милым и веселым собеседником, каким я часто видал его у себя дома или в компании.

Особенно интересен он был за обедом или ужином, полный блестящего остроумия в рассказах о своих путешествиях. Это был человек, любивший вкусно поесть и выпить хорошего вина. Пил не особенно много, смаковал и съедал огромное количество всякой снеди. Он иногда обедал у меня, всегда предупреждая:

– Попроси Марию Ивановну, чтоб она меня борщом с ватрушками угостила!

В назначенный день, одетый обязательно в смокинг, являлся к обеду и после первой тарелки жирного борща просил вторую, а то и третью тарелку, уничтожая при этом гору ватрушек.

Подают индейку. Жена спрашивает:

– Влас Михайлович, вам темного или белого мяса?

– И того и другого, и по полной тарелке!.. Любил поесть!

А ночью, после обеда, в редакции просит меня: – Позвони Марии Ивановне, не осталось ли там ватрушек? Я бы сам попросил, да стыдно!

Я, кажется, был одним из немногих, который входил к нему без доклада даже в то время, когда он пишет свой фельетон с короткими строчками и бесчисленными точками. Видя, что В. М. Дорошевич занят, я молча ложился на диван или читал газеты. Напишет он страницу, прочтет мне, позвонит и посылает в набор. У нас была безоблачная дружба, но раз он на меня жестоко обозлился, хотя ненадолго.

Гордый и самолюбивый всевластный дик-

татор «Русского слова», он привык благодаря слишком подчеркнутому «уважению» окружающих лиц к своей особе требовать почти молчания в своем присутствии. Его даже боялись.

Сидели мы как-то в кабинете Ф. И. Благова, компанией, и весело разговаривали. Неожиданно входит В. М. Дорошевич – «горд и ясен», во фраке. Только что он раскрыл рот, чтобы сделать какое-то распоряжение, как я его перебил:

– Влас, у тебя есть время?

– Пять минут. Еду в балет, сегодня Гельцер!

– Этого достаточно. Отвернись к стенке и застегни пуговицы, – и указал ему, где застегнуть пуговицы.

Он удостоверился в правоте моих слов и, весь красный от волнения, опустил шапокляк и со словами «извините» быстро вышел.

На другой день он мне обиженно сказал:

– Свинья ты! Мог бы шепнуть на ухо, что ли. В дураках меня оставил! Они этого никогда не забудут! – А глаза злые-злые.

Конечно, нашей дружбы это не испортило. Из своих путешествий он мне присылал ото-

всюду открытки. Одну недавно нашел, в бумагах. Это открытка из Испании, из города Хереса. Три строчки:

«Гиляй! Я думал, что это бывает только с мухами; вообрази, попал в Херес!»

* * *

В. М. Дорошевич знал, что я работаю в «Русском слове» только по его просьбе. Уезжая за границу, он всегда просил меня писать и работать больше, хотя и при нем я работал немало.

Помню, в день, когда тираж «Русского слова» перевалил за сто тысяч – в первый раз в Москве, даже и в России, кажется, – меня угощала редакция обедом за мой фельетон «Ураган». Это было 19 июня 1904 года, на другой день после пронесшегося над Москвой небывалого до сего урагана, натворившего бед. Незабвенный и памятный день для москвичей, переживших его!

Мне посчастливилось быть в центре урагана. Я видел его начало и конец: пожелтело небо, налетели бронзовые тучи, мелкий дождь сменился крупным градом, тучи стали черными, они задевали колокольни.

Наступивший мрак сменился сразу злое-ще желтым цветом. Грянула буря, и стало хо-лодно. Над Сокольниками спустилась черная туча – она росла снизу, а сверху над ней опу-скалась такая же другая. Вдруг все закрути-лось. Внутри этой крутящейся черной массы засверкали молнии. Совсем картина разруше-ния Помпеи по Плинию! Вдобавок среди зиг-загов молний вспыхивали желтые огни, и багрово-желтый огненный столб крутился по-середине. Через минуту этот ужас оглушающе промчался, руша все на своем пути. Неслись крыши, доски, звонили колокола; срывало кресты и купола, вырывало с корнем деревья; огромная Анненгофская роца была сбрита; столетние деревья или расщеплены, или вы-ворочены с корнем. Было разрушено огром-ное здание Кадетского корпуса и Фельдшер-ской школы. По улицам – горы сорванных же-лезных крыш, свернутых в трубочку, как бу-мага. Кое-где трупы. Много убитых и ране-ных...

* * *

В десятом часу вечера, измученный, обо-рванный и грязный, я вошел в кабинет В. М.

Дорошевича.

– Садись на мое место и пиши. Я тебе пришлю закусить! – сказал В. М. Дорошевич, оглядев меня с ног до головы:

– Должно быть, в смерче крутился! Пиши, я тебе мешать не буду. Посылай гранки!

Мне подали чаю и холодных закусок.

Через два часа я написал впечатление пережитого урагана и позвонил. Вошел В. М. Дорошевич, но я, весь пыльный, уже лежал на его роскошном турецком диване.

– Усни, я запру дверь. Встанешь – позвонишь!

Встал я только через два часа.

В. М. Дорошевич сидел за столом и подал мне оттиск первой полосы. Когда номер был сверстан, В. М. Дорошевич и я поехали осматривать беды урагана в Сокольники, Лефортово и вплоть до самого Карачарова. Уже всходило солнце.

Особенно его поразила Анненгофская роща – этот вековой лес, после урагана представлявший собой горы вырванных с корнем и расщепленных сосен и елей-великанов. Среди обломков ныряли босяки: роща была их

летней дачей. Немало их там погибло в урагане.

Проезжая мимо нее, мы вспомнили с В. М. Дорошевичем кое-что о ней.

Интересна судьба этой рощи: она выросла в одну ночь – и погибла в один день, даже в несколько минут.

История ее такова. Когда царица Анна Иоанновна приехала в Москву и остановилась в только что выстроенном дворце, где впоследствии помещался Первый кадетский корпус, то, любуясь видом на широкое поле, сказала:

«Как жаль, что здесь пустое место, а не лес!»

На другое утро, проснувшись, она подошла к тому же окну – и была поражена: поля не было, а зеленела огромная сосновая роща!

Услужливая и всемогущая придворная челядь за ночь тысячами крепостных и солдат перетащила из Сокольников выкорчеванные сосны и ели и посадила рощу!

Роща потом разрослась, ее подсаживали и блюли, но она не сделалась любимым народным гуляньем: москвичи знали, как появи-

лась она, названная в честь царицы «Анненгофская».

Москва по-своему отомстила Анненгофской роще: ее сделали свалкой нечистот, и ветерок с рощи отравлял Лефортово многие годы, а по ночам жителям приходилось закрывать окна.

Всю ночь гроыхали по булыжным мостовым длинные обозы отходников, заменявших тогда канализацию, но и с перенесением из Анненгофской рощи свалки нечистот к Сортировочной станции Московско-Казанской железной дороги все-таки еще в нее сливались нечистоты, и название «Анненгофская роща» было только в указателях Москвы и официальных сообщениях, – в народе ее знали испокон века и до последних дней только под одним названием: «Говенная роща!»

Вспомнили мы это, а кругом был ужас: здания с зияющими окнами, без рам и стекол, с черными прогалами меж оголенных стропил. Церкви без крестов и куполов, разбитые каменные столбы, по улицам целые горы свернутого и смятого железа, груды обломков зданий, убитые лошади, иногда люди. Далее – об-

ломки векового госпитального Лефортовского парка. Мост через Язу сорван. Валялась полицейская будка, вместе с городовым перенесенная через целый квартал. На переезде Московско-Казанской железной дороги была сорвана крыша с элеватора, штопором свернут гигантский железный столб семафора, и верхний конец его воткнулся в землю.

Ураган ринулся к Ярославлю, оставляя следы разрушения более чем на сотни верст; было много убитых и раненых. Ночью в районе урагана, среди обломков в Лефортове и в роще горели костры, у которых грелись рабочие и жители, оставшиеся без крова.

Запомнилась картина: у развалин домика – костер, под рогожей лежит тело рабочего с пробитой головой, а кругом сидят четверо детей не старше восьми лет и рядом плачущая беременная мать. Голодные, полуголые – в чем вышли, в том и остались.

Такого урагана не помнили в Москве старожилы.

Мы вернулись в Москву, и у заставы уже носились газетчики. «Русское слово» шло на расхват.

– Ураган! Подробности об урагане! – кричали газетчики.

* * *

Во время японской войны я написал ряд фельетонов под заглавием «Нитки», в которых раскрыл все интендантское взяточничество по поставке одежды на войска. Эти фельетоны создали мне крупных врагов – я не стеснялся в фамилиях, хотя мне угрожали судом, – но зато дали успех газете.

Редакция боялась печатать мои «Нитки», мне предлагали вычеркивать фамилий, но В. М. Дорошевич выругал:

– Печатать целиком! Никогда Владимир Алексеевич не дал ни одного неверного сведения, и никогда ни на одну его статью опровержения еще не было... и не будет!

Во время войны с Японией огромный успех в газете имели корреспонденции Вас. И. Немировича-Данченко с театра военных действий и статьи Краевского из Японии, куда он пробрался во время войны и вернулся обратно в Москву.

Многие тогда сомневались в правдивости его сообщений.

Я же верил ему – уж очень юркий и смелый человек, тип «пройдисвета».

У меня долго хранился складной чемодан, который он мне подарил, вернувшись из Японии. Он был весь обклеен багажными марками: Иокогама, Сан-Франциско и т. д.

«Русское слово» гремело – и с каждым днем левело, как левела вся Россия.

Наконец хлынула всеобщая забастовка, а затем 17 октября с манифестом о «свободах».

В первом, вышедшем после 17 октября 1905 года в «свободной России», номере «Русского слова» передовая статья, приветствовавшая свободу слова, заканчивалась так:

– Отныне довольно говорить рабьим языком!

Прошел год, обещанные свободы разлетелись прахом.

С наступлением реакции «Русское слово» опять заговорило «рабьим языком», а успех газеты все-таки с каждым днем рос и рос.

Атаман Буря и пиковая дама

В 1885 году, 1 января, выползли на свет две газетки, проползли сколько могли и погибли тоже почти одновременно, незаметно, никому не нужные. Я помню, что эти газетки были – и только, мне было не до них. Я с головой ушел в горячую работу в «Русских ведомостях», мешать эти газетки мне не могли, настолько они были пусты и безжизненны.

Через полстолетия припомнились они не за их достоинства, а за что-то другое, видимо, более яркое и характерное, чем в других, более популярных газетах того времени.

Газеты эти – «Голос Москвы» Васильева и «Жизнь» Д. М. Погодина. Н. В. Васильев – предшественник «Московских ведомостей» – был редактором «Голоса Москвы», а издателем был И. И. Зарубин, более известный по Москве под кличкой «Хромой доктор».

Иван Иванович Зарубин был и хромым и доктором, никогда никого не лечивший, погруженный весь в разные издательства, на которых он вечно прогорал и, задолжав, обыкновенно исчезал из города. Исчез он из Петер-

бурга, где издавал после «Голоса Москвы» журнал «Здоровье», скончавшийся, как и все издания этого доктора, от карманной чахотки. Когда явился в редакцию «Здоровья» судебный пристав описывать за долги имущество И. И. Зарубина, то нашел его одного в единственной комнате с единственным столом, заваленным вырезками из газет, и с постелью, постланной на кипах журнала, а кругом вдоль стен вместо мебели лежали такие же кипы.

И. И. Зарубин с ножницами в руках любезно встретил судебного пристава и, указывая ему на одну из кип, предложил:

– Садитесь на «Здоровье»!

Газета «Голос Москвы», издававшаяся года за два до «Здоровья», памятна для меня тем, что в ней Влас Михайлович Дорошевич прямо с гимназической скамьи начал свою литературную карьеру репортером. Его ввел в печать секретарь редакции «Голоса Москвы» Андрей Павлович Лансберг.

Много-много лет спустя В. М. Дорошевич в дружеской беседе рассказал о первой нашей встрече.

В поисках сенсаций для «Голоса Москвы» В. М. Дорошевич узнал, что в сарае при железнодорожной будке, близ Петровско-Разумовского, зарезали сторожа и сторожиху. Полный надежд дать новинку, он пешком бросился на место происшествия. Отмахав верст десять по июльской жаре, он застал еще трупы на месте. Сделав описание обстановки, собрав сведения, он попросил разрешения войти в будку, где судебный следователь производил допрос.

– Я обратился к уряднику, – рассказывал он мне через десять лет, – караулившему вход, с просьбой доложить следователю обо мне, как вдруг отворилась дверь будки, из нее быстро вышел кто-то – лица я не рассмотрел – в белой блузе и высоких сапогах, прямо с крыльца прыгнул в пролетку, крикнул извозчику – лихач помчался, пыля по дороге.

Меня, – продолжал рассказ В. М. Дорошевич, – принял судебный следователь Баренцевич, которому я отрекомендовался репортером: «Опоздали, батенька! Гиляровский из «Русских ведомостей» уже был и все знает. Только сейчас вышел... Вон едет по дороге!» Я

был оскорблен в лучших своих чувствах, и как я тебя в тот миг ненавидел!

Печатался «Голос Москвы» в надворном флигеле дома Горчакова на Страстном бульваре в типографии В. Н. Бестужева, который был кругом в долгах, а ему, в свою очередь, был должен только один человек на свете: И. И. Зарубин!

Скоро сотрудникам перестали аккуратно платить, и редактор Н. В. Васильев ушел. Под газетой появилась подпись «Редактор-издатель И. И. Зарубин», но к декабрю фактически он уже владельцем газеты не был – она перешла к В. Н. Бестужеву, который и объявил о подписке на 1886 год.

Подписка была плохая. Забрав деньги злополучных подписчиков, В. Н. Бестужев прекратил газету, а И. И. Зарубин исчез из Москвы...

В типографии В. Н. Бестужева печаталась еще ежедневная газета «Жизнь», издательницей которой была Е. Н. Погодина, а редактором Д. М. Погодин, сын известного ученого М. П. Погодина, владелец типографии в доме Котельниковой на Софийской набережной.

В этой типографии Д. М. Погодина в 1881 году начал печататься «Московский листок», но через год перешел в свою типографию. Успех «Московского листка» вскружил голову супругам Погодиным, и они начали издавать сперва «Московскую газету», которую дотянули до 1884 года. Потратив все наличные деньги из своего наследства, они прекратили издание, а с 1 января 1885 года выпустили за теми же подписями «Жизнь», печатая ее в своей типографии. Газета не шла ни в розницу, ни по подписке. После пасхи типографию у них отняли за долги, и газета стала печататься в типографии И. И. Смирнова, на Маросейке, в доме Хвоцинской. Платить было нечем, и газету надо было прекращать, но тут явился на помощь известный адвокат Ф. Н. Плевако, который дал денег и напечатал в ней несколько статей, отказавшись от дальнейшего участия.

* * *

Года за два перед этим в Москве появился некто В. Н. Бестужев, дворянин одной из черномоземных губерний, выдававший себя за богатого человека, что ему и удавалось благода-

ря его импозантной наружности.

Здоровенный, красивый малый, украшенный орденами, полученными во время турецкой кампании, он со всеми перезнакомился, вел широкую жизнь, кутил и скандалил, что в особый грех тогда не ставилось, и приобрел большую типографию в доме П. И. Шаблыкина, на углу Большой Дмитровки и Газетного переулка.

П. И. Шаблыкин, состоявший тогда чиновником особых поручений при генерал-губернаторе, покровительствовал своему арендатору типографии, открытой им, кажется, на имя жены, которая не касалась дела, а распоряжался всем сам В. Н. Бестужев.

В типографии его печатались тогда «Современные известия» и еще несколько изданий.

Сам он тоже выпускал какой-то «Листок объявлений», выходивший раза 3–4 в год. Желание иметь свою газету в нем кипело. Пробовал просить разрешение на издание, но столь прославленному скандалисту получить его не удавалось. Узнав, что дела Погодиных плохи, В. Н. Бестужев вошел в газету с тем, что имена издателя и редактора остаются, а фак-

тически газета будет принадлежать ему.

Редакция «Жизни» помещалась в третьем этаже надворного флигеля дома Шаблыкина, на Большой Дмитровке, против конторы Большого театра, где впоследствии был Театральный музей С. И. Зимины.

Заведовал редакцией секретарь Нотгафт, мужчина чрезвычайно презентабельный, англазированной вида, с рыжими холеными баками, всегда изящно одетый, в противовес всем сотрудникам, журналистам последнего сорта, которых В. Н. Бестужев в редакции поил водкой, кормил колбасой, ругательски ругал, не имея возражений, потому что все знали его огромную физическую силу и привычку к мордобою.

Издательница и редактор не бывали в редакции: чего доброго, еще изобьют! Газета печаталась и не шла. Объявлений никаких не было. Были только два бесплатных: первое – «Продается библиотека покойного М. П. Погодина 10 000 томов. Есть книги на сарматском, датском, шведском и финском языках. Обширный Славянский Отдел. Каталог – целый том, стоит 400 рублей», и второе: «Портретная

галерея русских писателей (120 масляной краской), оставшаяся после покойного М. П. Погодина, продается, Софийская набережная, д. Котельниковой».

В один из обычных маловеселых редакционных дней бегал по редакции, красный от волнения и вина, В. Н. Бестужев и наконец, выгнав всех сотрудников, остался вдвоем с Нотгафтом. Результатом беседы было то, что в газете появился, на первой и второй страницах, большой фельетон: «Пиковая дама». Повесть. «Пиковая дама означает тайную недоброжелательность». «Новейшая гадательная книга...».

Все было в фельетоне, как у А. С. Пушкина.

В конце фельетона была подпись: «Ногтев. Продолжение следует».

Эффект был поразительный! По Москве заговорили, что «Пиковая дама» А. С. Пушкина печатается в газете «Жизнь»!

Всю розничную торговлю в Москве того времени держал в своих руках крупный оптовик Петр Иванович Ласточкин, имевший газетную торговлю у Сретенских ворот и на Моховой. Как и почему, – никто того тогда не

знал, – П. И. Ласточкин, еще в 4 часа утра, в типографии взял несколько тысяч номеров «Жизни» вместо двухсот экземпляров, которые брал обычно. И не прогадал.

Мало того, чуть ли не целый день в типографии печатался этот номер, и его раскупали газетчики.

Московские газеты напустились на эту выходку «Жизни»; одни обвиняли редакцию в безграмотности, другие в халатности, бранили злополучную чету Погодиных.

Эту дикую выходку В. Н. Бестужева своим практическим умом разгадал один Н. И. Пастухов.

Когда ему за утренним чаем А. М. Пазухин, вошедший с рукописью в руках и газетой «Жизнь», подал заметку о безграмотной редакции, Н. И. Пастухов, уже заранее прочитавший газету, показал ему кукиш и сказал:

– А этого он не хочет?

– Я не понимаю, Николай Иванович! Кто?

– Бестужев твой! Ведь это он для рекламы такую штуку отчубучил! Вот, гляди, завтра все его ругать начнут, а ему только это и надо!

Н. И. Пастухов правильно угадал смысл выходки В. Н. Бестужева. Газета с этого дня пошла в ход. Следующий номер также разошелся в большом количестве, но в нем было только помещено следующее письмо:

Письмо в редакцию

«Чтобы снять с почтенной редакции газеты «Жизнь» всякое нареkanie в каком-либо недосмотре или небрежном отношении к делу, прошу напечатать настоящее мое заявление: заведывая в качестве секретаря редакции получаемыми рукописями и формируя к выпуску газету, я во вчерашнем № 125 «Жизни» допустил напечатать фельетон «Пиковая дама». Вполне доверяя лицу, мне лично известному, и без сведения редактора приняв вышеозначенный фельетон, я прямо передал его в набор, никак не предполагая, что за ним кроется плагиат, и затем допустил его к напечатанию. Грубая ошибка была обнаружена уже по выходе газеты, и только настоящим письмом считаю возможным разъяснить мистификацию. К. Ногтев».

Фамилия эта в литературных кругах, конечно, была неведомой.

По сведениям из типографии стало известно, что в гранках фельетон был без всякой подписи, потом на редакторских гранках появилась подпись, сделанная В. Н. Бестужевым: «К. Нотгафт», и уже в верстке рукой выпускающего была зачеркнута и поставлено «Ногтев».

Н. И. Пастухов оказался прав. Газету разрекламировали. На другой день вместе с этим письмом начал печататься сенсационный роман А. Ив. Соколовой «Новые птицы – новые песни», за ее известным псевдонимом «Синее домино».

Роман заинтересовал публику, и на некоторое время «Жизнь» удержала розницу. Появились платные крупные объявления. Половину первой страницы заняли объявления театров: «Частный оперный театр» в доме Лианозова, в Газетном переулке; «Новый театр Корша»; «Общедоступный театр Щербинского», носивший название Пушкинского, в доме барона Гинзбурга на Тверской; «Театр русской комической оперы и оперетки» Сетова в

доме Бронникова, на Театральной площади. На четвертой странице появились объявления докторов по секретным болезням, «подседнокопытная мазь от всех болезней Иванова», а также стали печататься объявления фирм: правления мануфактур Саввы Морозова, Банкирская контора Выдрина, Брокера, Ралле, Депре.

В мелких газетах часто печатались судебные отчеты о скандалах В. Н. Бестужева, но большие газеты, в частности «Русские ведомости», такими делами не интересовались.

На время В. Н. Бестужев затих, пошли слухи, что он женился на богатой – женился и переменялся! Снял большую типографию, занялся издательством, а потом через полгода опять закутил.

Однажды я выходил из театра Корта и услышал, как швейцар Роман стремительно выбежал на театральное крыльцо и кричит:

– Одиночка Бестужева, Герасим!

За швейцаром в николаевской шинели с бобровым воротником и волчьей папахе козырем вышел атлет с закрученными усами и сверкающими глазами.

Швейцар поискал одиночку Бестужева, вернулся и доложил атлету в николаевской шинели:

– Герасима нет! Его в участок пьяного отправили!

– Мер-рзавец! – загремел атлет, взглянул на меня, остановился на полслове, от удивления раскрыл рот, стремительно бросился и обнял меня: – Сологуб! Ты ли это? Откуда? Пойдем к «Яру»!

Сделавшись центром внимания знакомых, выходявших из театра, я спустился с ним на тротуар, а пока он нанимал извозчика к «Яру», исчез в толпе и долго слышал еще его ругань.

Так вот он кто такой, В. Н. Бестужев!

Эта встреча была вскоре после напечатания «Пиковой дамы», история которой еще не заглохла среди москвичей.

* * *

В это время дела В. Н. Бестужева, по-видимому, не веселили. Он перевел в свою типографию редакцию «Жизни», в дом Горчакова на Страстном бульваре. Кредиторы и полиция ловили В. Н. Бестужева: первые – за долги,

вторые – чтобы отправить на высылку в «Титы» по постановлениям десятка мировых судей, присудивших его к аресту за скандалы и мордобития. Ни сотрудники, ни типография денег не получали. Одна газета закрылась, а другая едва выходила. Лучшие наборщики разошлись – остались пьяницы и «подшибалы» с Хитрова рынка.

Подшибалами были спившиеся с круга наборщики, выгнанные отовсюду и получавшие работу только в некоторых типографиях по-денно, раз в неделю, в случае какой-нибудь экстренности.

Днем они, поочередно занимая друг у друга опорки и верхнее рваное платье, выбегали из ворот в Глинищевский переулок и становились в очередь у окна булочной

Филиппова, где ежедневно производилась булочной раздача хлеба, по фунту и больше, для нищих бесплатно. Этим подаванием и питались подшибалы, работавшие у Б. Н. Бестужева.

Подшибалы – это, так сказать, яркие типы «рабов капитала». В старые времена на подшибалах наживали деньги типографчики.

Делились они на ночных и дневных. Ночные получали вдвое и приглашались даже во все газеты, кроме «Русских ведомостей», «Московского листка» и «Русского слова», где штат наборщиков был постоянный, полностью укомплектованный. Особенно типографчики нуждались в подшибалах перед праздниками, когда листы газет были забиты объявлениями. Многие мелкие типографии даже жили подшибалами, но и крупные иногда не брезговали пользоваться их дешевым трудом. Богатая типография Левенсона, находившаяся до пожара в собственном огромнейшем доме на Петровке, была всегда переполнена подшибалами. Лучшие из них получали 50 копеек в день, причем эти деньги им платились в два раза: 30 копеек в полдень, а вечером остальные 20, чтобы не запили днем. Расходовались эти деньги подшибалами так: 8 копеек сотка водки, 3 – хлеб, 10 – в «пырку», так звались харчевни, где за пятак наливали чашку щей и на 4 копейки или каши с постным маслом, или тушеной картошки; иные ухитрялись еще из этого отрывать на махорку. Вечером меню было более сокращенным, из которого

пятаяк оставлялся на ночлег в доме Ярошенко на Хитровом рынке, где в двух квартирах ютились специально подшибалы. Некоторые из подшибал ухитрялись ночевать в типографиях Левенсона, В. Н. Бестужева и еще кое у кого под реалами.

Подшибал использовали иногда типографчики при забастовках наборщиков, и они работали под защитой полиции.

Отсюда и название: «Подшибалы!»

Эти подшибалы и составляли основную массу работающих в типографии В. Н. Бестужева. Спали под кассами, на полу, спали в кухне, где кипятился куб с горячей водой, если им удавалось украсть дров на дворе. О жалованье и помину не было.

Поздно ночью, тайно, являлся к ним пьяный В. Н. Бестужев, посылал за водкой, хлебом и огурцами, бил их смертным боем – и газета выходила. Подшибалы чувствовали себя как дома в холодной, нетопленной типографии, и так как все были разуты и раздеты – босые и голые, то в осенние дожди уже не показывались на улицу.

Вдруг на номере 223 газета остановилась –

это был последний номер издания В. Н. Бестужева.

По требованию домовладельца явилась полиция и стала выгонять силой подшибал и отправлять в больницу: у кого тиф, у кого рожа!

В этот год свирепствовали в Москве заразные болезни, особенно на окраинах и по трущобам. В ночлежках и притонах Хитровки и Аржановки то и дело заболели то брюшным, то сыпным тифом, скарлатиной и рожей.

За разными известиями мне приходилось мотаться по трущобам, чтобы не пропустить интересного материала. Как ни серьезны, как ни сухи были читатели «Русских ведомостей», но и они любили всякие сенсации и уголовные происшествия, а редакция ставила мне на вид, если какое-нибудь эффектное происшествие раньше появлялось в газетах мелкой прессы.

На одном из расследований на Хитровке, в доме Ярошенко, в квартире, где жили подшибалы, работавшие у В. Н. Бестужева, я заразился рожей.

Мой друг еще по холостой жизни доктор Андрей Иванович Владимиров лечил меня и даже часто ночевал. Температура доходила до 41°, но я не лежал. Лицо и голову доктор залил мне коллодиумом, обклеил сахарной бумагой и ватой. Было нечто страшное, если посмотретья в зеркало.

В это время зашел ко мне Антон Павлович Чехов, но А. И. Владимиров потребовал, чтобы он немедленно ушел, боясь, что он заразится.

Когда я стал поправляться, заболел у меня ребенок скарлатиной. Лечили его А. П. Чехов и А. И. Владимиров. Только поправился он – заболела сыпным тифом няня. Эти болезни были принесены мной из трущоб и моими хитрованцами.

– Вот до чего ваше репортерство довело! – говорила мне няня.

* * *

Во время этих перипетий В. Н. Бестужев исчез из Москвы.

До его исчезновения, кроме театра Корша, я только один раз его встретил за завтраком в ресторане Ливорно.

Забегаю как-то вечером перекусить в этот актерский ресторанчик в Кузнецком переулке. Публики, по летнему времени, никого. За столиком сидят трое: Дорошевич, Риваль-Прохоров, талантливый романист, старый мой друг, и В. Н. Бестужев.

В. М. Дорошевич еще в потрепанных штанах, которые настолько коротки, что не закрывают растянутых резинок, просящих есть штиблет, Риваль в мятой крахмальной рубахе и галстук шарфиком, бант которого раскинулся по засаленному воротнику пиджачка с короткими рукавами, а В. Н. Бестужев в шикарной паре.

– Гиляй, милый, садись с нами! Это Бестужев... Это Дорошевич... А это Владимир Алексеевич Гиляровский, которого вы, конечно, знаете.

Они оба встали и пожали мне руку. В. М. Дорошевич на меня смотрел сумрачно, а В. Н. Бестужев расплылся в улыбку:

– Да мы с Владимиром Алексеевичем давно знакомы! Во-первых, оба, так сказать, герои турецкой войны, а потом по Пензе. Я – пензенский помещик!

О встрече у подъезда театра Корша – ни слова. И начал рассказывать о широкой жизни в Пензе, о катаниях на тройках, обедах у губернатора – и еще черт знает о чем залихватски врал.

Я не мешал ему – и он, по-видимому, был очень этим доволен.

На самом деле все было гораздо проще: в 1878/79 году я служил под фамилией Сологуба актером в труппе Далматова в Пензенском театре, куда приехал прямо с турецкой войны.

В вечер, о котором идет рассказ, шла оперетка «Птички певчие» с участием лучшей опереточной певицы того времени Ц. А. Раичевой. Губернатора играл Далматов, Пиколло – Печорин, я – полицмейстера. Сбор неполный, но недурной.

Во время первого антракта смотрю со сцены в дырочку занавеса. Публика – умная в провинции публика – почти уже уселась, как вдруг, стуча костылями и гремя шпорами и медалями, движется, возбуждая общее любопытство, коренастый, могучего вида молодой драгунский унтер-офицер, вольноопределяющийся, и садится во втором ряду.

В последнем акте, смотря со сцены, я заметил, что место его было пусто.

Публика разошлась. Мы разгримировались, переодеваемся. Вдруг в уборную В. П. Далматова влетает содержатель буфета Руммель и жалуется, что военный на костылях, весь в орденах, еще в предпоследнем антракте уселся в комнатке при буфете, распорядился подать вина на двадцать рублей, напился и уснул.

– Когда я его стал будить, – рассказывал Руммель, – он начал ругаться, вынул револьвер, грозил всех перестрелять, а когда я сказал, что пошлю за полицией, – он заявил, что на полицию плюет и разговаривать может только с плац-адъютантом. Мы уже посылали за полицией, но квартальный его знает и боится войти: застрелит! – закончил содержатель буфета.

В. П. Далматов смекнул, в чем дело, и ко мне:

– Володя, надень свою черкеску, Георгия, возьми у реквизитора офицерские погоны и аксельбанты адъютантские, подклей усики и нагони-ка на него холоду.

Я надел свою шикарную черкеску с малиновым бешметом, Георгия, общеармейские поручичьи погоны и шашку. Для устрашения подклеил усы, загнул их кольцом, надвинул на затылок папаху и пошел в буфет, откуда далеко доносился шум.

Смотрю в дверную щель. Развалившись на стуле, за столом с посудой сидит огромный юнкерище, стучит по столу и требует шампанского. На соседнем стуле лежат два черных костыля и шинель солдатского сукна.

В коридоре толпились актеры и смотрели в другую дверь. Я быстро подошел к чудищу.

– Встать! – крикнул я так, что юнкер в испуге вскочил, забыв о костылях, и взял под козырек, хотя шапки у него не было.

– Какого полка?

– Московского драгунского...

– Это что у вас за медали? Откуда медаль в память войны двенадцатого года? Севастопольская, за усмирение польского мятежа?! Откуда они?

– Я старший в роде. Отцовские и дедовские медали!

– А почему за последнюю войну шесть

штук одинаковых?

– Из разных мест посылали...

– А костыли для чего?

– У меня была сломана нога, г-н поручик!

Он к каждому ответу прибавлял «господин поручик» и отрезвел сразу.

– Ну, вот что, молодой человек! Я сам был молод, сам кутил. Прощаю вас на первый раз. Извольте уходить домой! Следовало бы вас за эти медали и за все поведение на гауптвахту, но я прощаю. Идите!

– Очень благодарен, г-н поручик. Извиняюсь... лишка выпил... – И уж совсем другим тоном к буфетчику: – Эй, ты, сколько с меня?

– Двадцать рублей...

Он вынул из кармана пачку денег, бросил двадцатипятирублевку:

– Сдачи не надо!

– Г-н поручик, разрешите надеть шинель?

– Одевайтесь и уходите! Живо!

Я повернулся и вышел в коридор. На него надели шинель, и он молча застучал костылями по коридору и ушел, бросив рубль сторожу Григорьичу, который запер за ним дверь.

На другой день пристав, театрал и приятель В. П. Далматова, которому тот рассказал о вчерашнем, сказал, что это был драгунский юнкер Владимир Бестужев, который, вернувшись с войны, пропивает свое имение, и что сегодня его губернатор уже выслал из Пензы за целый ряд буйств и безобразий.

Пристав уже раньше знал все происшествие от буфетчика Руммеля, который также рассказал обо всем в гостинице Варецова, где жил юнкер.

Все подробности этого события дошли и до В. Н. Бестужева, который собрался идти и пристрелить актера Сологуба, так его осрамившего, но в это время пришла полиция и, не выпуская на улицу, выпроводила его из Пензы. Таково было наше первое знакомство.

* * *

После закрытия газеты В. Н. Бестужев, как я уже сказал, словно в воду канул.

Прошло много лет. В. М. Дорошевич стал знаменитостью, и наши отношения обратились в теплую и долгую дружбу. Он совершил свою блестящую поездку на Сахалин и, вернувшись в Москву, первым делом приехал ко

мне:

– А тебе я с Сахалина поклон привез от приятеля,

– От доктора Лобаса? – я находился с ним в переписке по поводу его кружка на Сахалине «Помощь каторге».

– Что Лобас! От Володи Бестужева! Только о тебе и говорил, вспоминал, как ты ему в Пензе клочку задал.

Оказалось, что В. Н. Бестужев очутился на Сахалине в должности смотрителя каторжной тюрьмы и бил каторжников смертным боем – и при этом уверял всех и был сам глубоко уверен, что он лучший из сахалинских тюремщиков.

Каторга звала его:

– Атаман Буря.

В конце концов он попал под суд за зверства, растраты, пьянство, но не дождался суда: умер от разрыва сердца в камере следователя перед допросом.

«Нижегородское обалдение»

В 80-х годах при «Новом времени» стало выходить каждую субботу иллюстрированное литературное приложение. Кроме того, по субботам же печатались рассказы и в тексте газеты. Участвовали поэты, ученые и беллетристы, в том числе А. П. Чехов, печатавший свои рассказы четыре раза в месяц. Он предложил мне чередоваться с ним.

– Одну субботу ты, другую – я.

И послал мой первый рассказ, который через неделю был напечатан.

С этого я начал мое сотрудничество в «Новом времени», не бросая работы в «Русских ведомостях».

Я был единственным журналистом, одновременно работавшим в «Новом времени» и в «Русских ведомостях». И щепетильные, строгие «Русские ведомости» против этого ничего не имели.

Весной 1896 года «Русские ведомости» обратились ко мне с просьбой дать для них описание коронации. Кроме меня, должны были еще участвовать от них два корреспондента.

Подали мы трое – я, Лукин и Митропольский в коронационную комиссию заблаговременно список на три лица, но охранное отделение утвердило только двух, а меня вычеркнуло, и редакция возвратила мне мои две фотографические карточки в полной неприкосновенности, поручив мне только давать для газеты уличные сцены.

Огорченный, я отправился из редакции домой и встречаю на Тверской А. В. Амфитеатрова. Он писал также фельетоны в «Новом времени». Рассказываю ему свое горе.

– Попробуем что-нибудь сделать; здесь проездом Суворин, я сегодня его увижу и попрошу, чтоб он записал тебя мне в помощники по Москве и выхлопотал тебе корреспондентский билет, ему ни в чем не откажут, ты же наш сотрудник притом. Тогда ты будешь писать в «Русские ведомости», а мне поможешь для «Нового времени» в Нижнем на выставке.

Я отдал ему фотографии и недели через две получил билет и печатный список корреспондентов на коронацию, в котором значился и я корреспондентом «Нового времени».

Кроме меня, в списке стояло еще четыре корреспондента этой газеты, а пятым сам А. С. Суворин. Мне там было делать нечего, я преспокойно работал для «Русских ведомостей», а благодаря марке «Нового времени» везде имел первое место.

* * *

Благодаря этому билету такими же правами я пользовался и на Всероссийской Нижегородской выставке, куда поехал с Амфитеатровым. Мне было поручено описать торжественное открытие выставки и протелеграфировать раньше всех, срочно, в «Новое время». Я занял опять-таки благодаря званию корреспондента «Нового времени» место рядом с трибуной, откуда открывавший выставку министр финансов С. Ю. Витте говорил программную речь. Я ее записал всю, от слова до слова, и, поручив дальнейшие речи другому корреспонденту «Нового времени», Прокофьеву, бросился на телеграф и дословно передал срочной телеграммой в «Новое время» всю речь Витте. В ней было больше тысячи слов. С телеграфа я вернулся в зал, где уже кончилось торжество, и встретил секретаря Витте,

который роздал только что написанную на машинке речь министра всем корреспондентам, которые решили ввиду краткости времени речь эту телеграфировать только завтра.

Я сказал секретарю, что мною речь уже послана, и показал ему телеграфную квитанцию. Секретарь пришел в ужас.

– Да что вы сделали! Ведь здесь много изменений! Я об этом должен буду доложить министру. Получится разноголосица. Я доложу министру!

– Это ваше дело. А я сделал то, что обязан был сделать корреспондент.

Вернувшись в свой номер, я сравнил записанную мной речь Витте с полученной от секретаря и нашел, что моя телеграмма несколько иная. Амфитеатрова в этот день я не видал и только на другой день рассказал ему об этом.

– И прекрасно, что послал! – одобрил Амфитеатров.

Оказывается, что он уже знает обо всем случившемся. Посланная мной телеграмма произвела целую бурю. Витте обозлился, администрация переволновалась, но нашла вы-

ход: сию же минуту приказали Северному телеграфному агентству послать речь Витте по всей России, во все газеты.

Я с нетерпением ждал прибытия газет из Петербурга. Действительно, оказалось, что речь Витте напечатана в газетах от Северного телеграфного агентства только в «Новом времени»; в агентских телеграммах значилось казенное сообщение об открытии, законченное словами: «Министр вошел на кафедру и произнес речь», а далее от редакции: «См. выше телеграмму нашего корреспондента». Телеграмма была напечатана моя, но, по всей вероятности, ее частью исправили по агентской. Впоследствии я за нее получил гонорар, но больше в «Новом времени» не писал. С выставки давал Амфитеатров «Нижегородские впечатления», а я занялся спортивным отделом специально для редактируемого мной журнала «Спорт» и много времени проводил в городе на бегах, где готовился розыгрыш громадного бегового выставочного приза, которого мне, впрочем, не удалось дождаться...

* * *

До 1917 года у меня хранились записки и

впечатления о выставке, которые я готовил к отдельному изданию, но за обычной суетой так и не закончил. Помню, что эта начатая работа у меня носила заглавие «Нижегородское обалдение».

Огромный выставочный ресторан «Эрмитаж» с обширными террасами, уставленными сотнями богато сервированных столов, с полудня переполнялся завтракающими, обедающими и ужинающими... Шум, музыка в разных местах и время от времени оглушительный колокольный звон: это проба колоколов фирм, развесивших на звонницах свой товар. Московские заводы – Финляндского, Оловянишникова и Самгина привезли огромные и мелкие колокола. Звонари были артистами своего дела. Особенно отличался звонарь у Самгина, который вызванивал разные музыкальные мотивы.

Когда он разделявал на колоколах «камаринского», то слушатели так увлекались, что сами приплясывали. Под весь этот несмолкаемый шум хлопали в ресторане поминутно пробки шампанского, которое здесь лилось рекой.

Здесь пирует вся Москва. Публика Тестова, «Эрмитажа», «Праги» и «Яра». Даже сам Иван Иваныч здесь в своем цилиндре, слегка набекрень, который он то и дело снимает, раскланиваясь направо и налево. За ним шествуют пять купеческих юнцов в смокингах и панамах. Судя по их физиономиям, он их ведет опохмеляться... Алексей Федорович, главный метрдотель, уже сервировал для богатых гостей стол и через минуту, почтительно склонившись, выслушивает заказ купеческого «арбитра элантиарум». Он пробует ароматный белорыбий балык, что на языке тает. На круглом розовом лице то же выражение, как у Лупетки 22 года назад под Главным домом...

* * *

Да разве один он здесь Лупетка! Среди экспонентов выставки, выбившихся из мальчишков сперва в приказчики, а потом в хозяева, их сколько угодно. В бытность свою мальчишками в Ножовой линии, на Глаголе и вообще в холодных лавках они стояли целый день на улице, зазывая покупателей, в жестокие морозы согревались стаканом сбитня или возней со сверстниками, а носы, уши и распух-

шие щеки блестели от гусиного сала, лоснившегося помороженными местами, на которых лупилась кожа. Вот за это и звали их «лупетками».

На декорированных стенах ресторана, как во всех павильонах выставки, висели гербы Нижнего Новгорода, причем фигура герба – олень, выкрашенный в красную краску, – вызвала веселое настроение: уж в очень игривой позе этот олень был изображен живописцем. Амфитеатров, когда приглашал кого-нибудь в ресторан, всегда говорил:

– Пойдем под веселую козу!

А потом с его легкой руки это прозвание перешло и на всю выставку.

– Когда муж-то вернется? – спрашивают в Москве купчиху.

– А кто его знает! Под веселой козой загулял!

И действительно, здесь был разгул вовсю. Особенно отличались москвичи, бросавшие огромные деньги на дело и безделье: мануфактуристам устройство одних витрин, без товара, обошлось в четыре миллиона рублей.

«На витрины затрачено четыре миллиона. Сколько пропьют фабриканты?»

Эту задачу для детей младшего возраста можно было решить всякому, кто побывал под веселой козой в «Эрмитаже» и в других нижегородских местах разгула... Это был поток, который втягивал всякого мало-мальски известного человека. Вот почему у меня явилось это название в моих пропавших записках – «Нижегородское обалдение».

В «Эрмитаже» на террасе был особый почетный стол, куда обыкновенные посетители не допускались. Сюда садились высшие чины администрации и некоторые приглашенные лица. Здесь всегда завтракали В. И. Ковалевский, М. И. Казн, писатель Д. В. Григорович, П. П. Семенов-Тяньшанский, адмирал Макаров, заведующие отделами и строители, Амфитеатров, который всегда затаскивал с собой и меня. Постоянным гостем был Савва Иванович Мамонтов, так гордившийся своим павильоном Севера, украшенным панно Врубеля, Константина Коровина и других корифеев живописи.

Из купечества за этим столом бывали только двое: первый Савва Морозов, кругленький купчик с калмыцкими глазами на

лунообразном лице, коротко остриженный, в щегольском смокинге и белом галстуке, самый типичный цветок современной выставочной буржуазии, расцветший в теплицах капитализма на жирной земле, унавоженной скопидами дедами и отцами. Второй – представитель последних, в долгополом сюртуке, в сапогах бураками, подстриженный по старинному в кружок, бодрый и могучий, несмотря на свои шестьдесят лет,-

Н. А. Бугров, старообрядец, мукомол, считающийся в десятках миллионов. Мельницы Бугрова, пароходы Бугрова, леса Бугрова, богадельня, приют и даже в далеких Ессентуках санаторий для бедных – Бугрова и Мальцева, а в соседнем городке – бугровский поселок, где, как сказывали, более ста небольших однотипных домиков с огородами и садиками. Поселок этот продолжал расти и теперь, подерживая пословицу: «Седина в бороду, а бес в ребро», и глядя на волжского богатыря Николая Александровича – его иначе не называли в городке – смело можно было ожидать, что поселок удвоится, а население его утроится по меньшей мере... Проходит два-три меся-

ца, смотришь – домик новый строится... Приезжает красавица-молодица со старушкой, в сарафанах или платьях с рядом пуговиц от ворота до подола, как в керженских или хвалынских скитах одеваются, как М. В. Нестеров красавиц заволжских на своих картинах кажет. Смотришь, года через два в садике под окошком молодичка расстегнула сарафан, младенца кормит, а старушка в темном сарафане другого нянчит...

Сюда Николай Александрович и наезжает отдыхать после трудов неусыпных. И никто его встречать не смеет – сам знает, к кому и когда ему зайти...

А в скитах какая-нибудь матушка Секлетея или Нимфодора выхаживает новую обительницу поселка, которой уже домик строится, чтобы вовремя из скита переехать...

* * *

Сам я как-то не удосужился посетить город Гороховец, про который мне это рассказывали и знакомые нижегородцы и приятели москвичи, бывавшие там, но одного взгляда на богатыря Бугрова достаточно было, чтобы поверить, тем более зная его жизнь, в кото-

рой он был не человек, а правило! Вставал рано, ложился рано, соблюдал не только посты, а среды и пятницы. И не пил ничего, кроме одного стакана шампанского, которое только пригубливал для порядка, чтобы компанию не расстраивать или не обидеть тех, с кем за столом сидит. А за столом приходилось ему сидеть и с министрами, которым он, как и всем без исключения, тоже говорил «ты».

В голодный 1892 год приехал к нему сам министр финансов Вышнеградский дать огромный заказ на поставку хлеба. Сговорились, сторговались.

– Ладно, сделаю, – сказал Бугров.

– А сколько вам, Николай Александрович, позвольте аванса на закупки дать?.. Тысяч сто? – спрашивает министр.

– Да что ты, ваше превосходительство, смейтесь надо мной, что ли?.. Аванца! Своими обойдемся, мелочишкой-то! Ты уж не беспокойся: сказал – сделаю.

Даже во время выставки на обеде, данном купечеством Витте, Бугров и всесильный министр разговаривали при всех на «ты».

– Ладно, Сергей Юльич, уж будь без сумле-

ния, сделаю... – и они пожали друг другу руки.

А вот супругу Витте, знаменитую Матильду, он обидел – и все обошлось благополучно.

Надо сказать, что Бугров признавал только своих скитских простушек и не выносил важных дам, особенно благотворительниц, надождавших с просьбами. Он их даже не удостоивал разговорами.

Как-то Бугров, вскоре после обеда Витте, сидел за почетным столом и посасывал по капельке «Аи». Он другого шампанского не признавал, а «Аи» называл «Ау» и вывел отсюда глагол: «аукнуть».

К столу подходит с портфелем в руках один из секретарей Витте и, сделав общий поклон, обращается к Бугрову, после целого потока извинений, что позволил себе не вовремя побеспокоить:

– Сейчас в кабинете его высокопревосходительства идет дамское заседание под председательством супруги министра по делу благотворительности. Ее высокопревосходительство просит вас пожаловать в заседание... Вас ждут, и мне приказано без вас не возвращаться... Я не могу вернуться без вас...

– Ну-к што ж. Хошь вертайся, хошь не вертайся, твое дело... А я не пойду... А коли вернешься, так скажи, что Николай Александрович сказал, что ему недосуг. Понял: ему недосуг.

И пошел по выставке анекдот: Бугров Матильду сукой назвал.

Савву Морозова Бугров здорово недолюбливал за его либеральные речи и как-то выразился среди друзей на своеобразном языке по поводу его высшего образования:

– Хвалится – ниверситет проходил! Проходил – по коридору скрозь! А что ежели жетонном хвалится, так это ему отец у профессырей выхлопотал!

Не любила Бугрова ресторанная прислуга – на чай гривенник по-старинному давал, а носильщики на вокзале и в Москве и в Нижнем, как увидят Бугрова выходящим из вагона, бегут от него – тоже больше гривенника за пудовый чемодан не дает!

* * *

Исключение насчет «на чай» прислуге он делал только за этим почетным столом, чтоб не отставать от других. Здесь каждый платил

за себя, а Савва Морозов любил шиковать и наливал соседей шампанским. От него в этом не отставал и Савва Мамонтов. Мне как-то пришлось сидеть между ними. Я слушал с интересом рассказ Мамонтова о его Северном павильоне справа, а слева – Савва Морозов все подливал и подливал мне «Ау», так как Бугров сидел с ним рядом и его угощал Морозов.

* * *

Завтрак проходил; к концу является опоздавший Амфитеатров, глядит на меня и смеется.

– Гиляй, ты красней веселой козы, а глаза у тебя осовели!

– Видишь, – ответил я ему, показывая правой рукой на Мамонтова, а левой на Морозова, – как не осаветь!

– Вижу, справа Савва, слева Савва, тут осавеешь! Начался этот завтрак шуткой, а кончился... Когда-то мне отец сказал:

– Язык твой – враг твой, прежде ума твоего рыщет! Впоследствии я не раз вспоминал эти его мудрые слова, а тут не до них было, под веселой козой!

Амфитеатров наскоро закусил и торопливо куда-то ушел, а мы продолжали сидеть и благодушествовать. Были незнакомые петербургские чиновники, был один из архитекторов, строивших выставку. Разговор как-то перекинулся на воспоминания о Ходынке, и, конечно, обратились ко мне, как очевидцу, так как все помнили мою статью в «Русских ведомостях».

– Ну, а какая причина катастрофы? – спросил кто-то.

А Савва мне все подливает.

– Одна из причин гибели такой массы народа – это Всероссийская выставка. Особенно вот это главное огромное железное здание!

Я указал на железный павильон.

– Ведь все эти железные павильоны остались от прежней московской Всероссийской выставки на Ходынке. Вот их-то в Петербурге, экономии ради, и решили перевезти сюда, хотя, говоря по совести, и новые не обошлись бы дороже. А зато, если бы стояли эти здания на своих местах, так не было бы на Ходынке тех рвов и ям, которые даже заровнять не догадались устроители, а ведь в этих-то ямах и

погибло больше всего народу.

И вижу я, что моя публика смутилась, а Савва Морозов даже бутылку шампанского отставил в другую сторону, хотя у меня фужер был пустой. Только один Бугров поддержал меня:

– А знаешь, ты это верно... Не сломай – несчастья не было бы.

Архитектор открыл рот, да так и остановился...

На мое или на их счастье, вдруг грянул оркестр и одновременно раздался колокольный «камаринский». Как-то перевели разговор на колокола, а потом стали расходиться.

– Николай Александрович, где вы сегодня вечером? Приходите в театр, – предлагает Бугрову Морозов.

– Чего я там не видал? Как голые девки через голых мужчин сигают?

В Москве Бугров бывал только в Большом театре.

Вот тут-то, смотря на чиновничьи форменные фуражки министерства финансов, я вспомнил слова моего отца.

Я всегда вспоминал эти слова не вовремя.

Надо было бы их вспомнить и на другой день, на каком-то торжественном обеде, где я проговорил то, что было не по месту и не по времени, да еще пустил какой-то экспромт про очень высокопоставленную особу.

Дня через три после этого меня вызвали в Выставочный комитет и предложили мне командировку – отправиться по Волге, посетить редакции газет в Казани, в Самаре, в Симбирске и в Саратове и написать в газетах по статье о выставке, а потом предложили проехать на кавказские курорты и тоже написать в курортных газетах. Тут же мне вручили пакет, в котором было пятнадцать новеньких, номер за номером, радужных сторублевок, билет на шелковой материи от министерства путей сообщения на бесплатный проезд в первом классе по всей сети российских железных дорог до 1 января 1897 года и тут же на веленовой бумаге открытый лист от Комитета выставки, в котором просят «не отказать в содействии В. А. Гиляровскому, которому поручено озаботиться возможно широким распространением сведений о выставке».

Это было так «безапелляционно» предло-

жено, что я положил в карман полученное и отправился к Амфитеатрову, но он внезапно уехал в Москву.

И опять вспомнил слова моего отца, когда ехал на пароходе вниз по матушке по Волге, но на этот раз я уже не сожалел о том, что на выставке забыл их.

Вначале выставка пустовала. Приезжих было мало, корреспонденты как столичных, так и провинциальных газет писали далеко не в пользу выставки и, главное, подчеркивали, что многое на ней не готово, что на самом деле было далеко не так. Выставка на ее 80 десятинах была так громадна и полна, что все готовое и заметно не было. Моя поездка по редакциям кое-что разъяснила мне, и газеты имели действительно огромное влияние на успех выставки.

Из Нижнего я выехал в первой половине июня на старом самолетском пароходе «Гоголь», где самое лучшее было – это жизнерадостный капитан парохода, старый волгарь Кутузов, знавший каждый кусок Волги и под водой и на суше как свою ладонь. Пассажиров во всех трех классах было масса. Многие из

них ехали с выставки, но все, и бывшие, и не бывшие на выставке, ругались и критиковали. Лейтмотив был у всех:

– Открыли неготовую выставку.

– Что же не готово на выставке? – спросил я одного низового купца.

– Мало ли что.

– Нет, что именно?

– Много еще чего не хвата-ат.

– Да вы подробно осмотрели все?

– Так, раза два заходил с приятелем... Панораму глядели, моржей ученых смотрели.

– А еще что?

– Минина – Пожарного видели... А потом в «Эрмитаж» зашли... Хотели еще вчера поглядеть, да не попали, в городе заканителились... Известно, дело наше хлебное, торговое – тот хорош, другой надобен... Да мы еще побываем на выставке, когда она вся сполна будет.

– Да как же вы можете говорить о выставке, когда вы, кроме «Эрмитажа» и моржей, ничего не видели?

– А в газетах-то пишут.

Я взял купца за руку, подвел его к вывешенному объявлению и показал красную

строку: «Выставка вполне закончена». Выругал купец газетчиков и уверовал. Так и дома скажет. А таких купцов тысячи. Другие, оказывается, и совсем не были на выставке, а ругательски ругаются со слов газет и из желания хоть как-нибудь да поругать начальство, блеснуть перед слушателем смелостью и по-либеральничать...

Таковыми же моськами оказались и многие корреспонденты и редакторы газет. Я переговорил со многими редакторами газет, которые мне пришлось посетить. Они охотнее печатали обличительные корреспонденции только потому, что обличительное читается лучше, показывает, что газета никого не боится, даже самого устроителя Витте всемогущего, которого все терпеть не могли.

– Любит, брат, это наша публика, – говорил мне один из приволжских редакторов, мой старый товарищ по Москве.

Другие редакторы обижались, что им прислали только по одному билету на выставку.

– Будь с нами полюбезнее выставка, мы бы ее поддержали... Вот мы и пишем, что она не готова, пусть почувствует.

– Да ведь это же неправда! А если я вам напишу совершенно противоположное?

– Это будет подрыв престижа газеты. Впрочем, дайте статью.

Я прошел в контору редакции и, заплатив девять рублей, сдал объявление о выставке, такое, какое вывешено было на пароходе и вывешивается всюду, а на другой День в редакцию сдал статью, от которой отказаться было нельзя: напечатанным объявлением о готовности выставки редактор сжег свои корабли.

В числе моих обязанностей было побывать попутно в городах у управляющих казенных палат и директоров Государственного банка с поручением им развесить объявление о выставке в учреждениях города. Мой открытый лист за подписью вице-президента выставки всеми любимого и уважаемого В. И. Ковалевского производил на них впечатление.

На пароходе «Гоголь» я познакомился с управляющим банка в Астрахани Швецовым, который весьма любезно принял для развешивания объявления и заметку в «Астраханском листке», чем дал мне возможность сэко-

номить неделю моей поездки. Из Царицына я поехал на Кавказ и на Дон. Я закончил мою поездку Кисловодском и потом уже в августе снова побывал на выставке, где был дружески встречен всеми: приезда Витте и всякого начальства тогда уже не ожидалось, публики было много.

* * *

О, какого мог бы разыграть я Хлестакова с этим билетом и открытым листом!

Министерский билет первого класса я скромно предъявлял контролю в вагоне и вводил в смущение железнодорожное начальство.

– Ваше превосходительство, пожалуйста, купе свободное есть.

Положительно, можно было зазнаться.

За кого они меня принимали, не знаю, но во всяком случае не за административно высланного газетного корреспондента.

Да и могли ли иначе выслать корреспондента «Нового времени», да еще такого неосторожного на язык в публичных местах!

Широко я попользовался этим билетом. Мотался всюду, по всей России, и на Кавказ, и

в Донские степи, и в Крым, и опять на выставку приезжал, а зимой чуть не на каждую пятницу поэтов, собиравшихся у К. К. Случевского, ездил в Петербург из Москвы с курьерским. И за все это я был обязан встрече на улице с Амфитеатовым, который через три года дал мне еще более интересную работу.

«Россия»

В половине апреля 1899 года меня вызвал по телефону в Петербург А. В. Амфитеатов и предложил мне взять на себя обязанности корреспондента из Москвы и заведование московским отделением вновь выходящей большой газеты «Россия».

Совершенно неожиданно засверкала на газетном небосклоне эта

*Беззаконная комета
Среди бесчисленных светил.*

О самом появлении ее чуть не до самого дня выпуска и слышно ничего не было, и вдруг огромная, интересная газета, подписанная «Г. П. Сазонов – редактор-издатель». В газетном мире лицо совершенно неизвестное.

Знали, что это ученый-экономист, человек, живущий своим трудом.

Но знали также, что фактический редактор и заведующий всем делом А. В. Амфитеатров и что на издание имеются огромные средства.

У Амфитеатрова никогда не было никаких средств. Был случай, что он вздумал держать театр, на который ухлопал несколько тысяч, и задолжал на много лет.

Помню я, что во время неудачной антрепризы я послал ему четверостишие, за которое даже он немного посердился.

*Жаль, что ты Амфитеатров,
Жаль, что держишь ты театр...
Лучше был бы ты Театров
И ходил в амфитеатр!*

Откуда деньги у газеты, я узнал случайно уже много после, когда в редакции Дорошевич познакомил меня с красивым, изящным брюнетом, одетым по последней моде.

– Матвей Осипович Альберт, наш издатель.

– Да мы уже давно знакомы, еще с выставки да и по Москве.

М. О. Альберт – я его знал в 1897 году директором Московского отделения немецкого Общества электрического освещения, где были пайщиками и крупные капиталисты, коренные москвичи. До выставки, говорят, он был служащим в одном из предприятий Мамонтовых, потом как-то сразу выдвинулся и в Петербурге уже очутился во главе Общества Невского судостроительного завода, где пайщиками были тоже главным образом немцы. Этот самый Альберт, ничего общего не имевший до того с печатным делом и мало кому ведомый, выбросил на газету целый капитал.

* * *

И вот огромная, интересная газета вышла 28 апреля 1899 года, когда кипела подготовка к Пушкинским торжествам в Москве, где уже с 26 апреля начались в Малом театре пушкинские спектакли и заседания в ученых обществах.

Газету выпустили в день десятилетия смерти Щедрина, и в ней огромный, в полстраницы портрет его с автографом, стихотворением Елены Буланиной и избранных, без риска получить для первого номера цен-

зурную кару, две полосы незабвенных строк автора из его «забытых слов».

А дальше блестящая информация, повесть Авсеенка и ряд интересных статей.

Так и пошел номер за номером... В объявлении стояли имена заведующих отделами: финансовым, экономическим, земским и крестьянским – Г. П. Сазонов, литературным и политическим – А. В. Амфитеатров, научным – профессор П. И. Ковалевский и д-р И. Л. Янушкевич, музыкальным – И. Ф. Соловьев и Я. А. Рубинштейн, иностранным – Л. Ю. Гольштейн, театральным – Ю. Д. Беляев, московским – В. А. Гиляровский, провинциальным – фельетонист В. М. Дорошевич и общественным – А. В. Амфитеатров.

* * *

Московские известия я давал в редакцию по междугородному телефону к часу ночи, и моим единственным помощником был сербский студент Милан Михайлович Бойович, одновременно редактировавший журнал «Искры», приложение к «Русскому слову», и сотрудничавший в радикальной сербской газете «Одъек». Его честность и деловитость мне

были необходимы, я на него мог положиться как на самого себя. Я был знаком с его семьей, жившей в Сербии: отец – учитель, сестра – учительница, мать и еще малолетние братья и сестры. Я с письмом Бойовича был у них в 1897 году, когда ездил в Белград, командированный Русским гимнастическим обществом, председателем которого я был, для участия на состязаниях, устраиваемых гимнастическим сербским обществом «Душан Сильный».

Во время моих отъездов из Москвы он заменял меня.

В газете помещалось много больших статей и фельетонов о Пушкине А. Фаресова, А. Зорина и др. Это было все ко времени, и каждая строчка о Пушкине читалась с интересом. Газета в Москве шла хорошо.

26 мая вместо еженедельного иллюстрированного приложения к газете был выпущен огромный портрет Пушкина в красках. Потом много лет я видел его в рамках на стенах москвичей...

Кроме телефона, вещи менее срочные посылались почтой. Одна из таких моих корреспонденции, напечатанная за полной подпи-

сю, начиналась так:

«Я сейчас имел счастье целовать ту руку, которую целовал Александр Сергеевич Пушкин».

Да, это было так. Мне удалось узнать, что еще жива В. А. Нащокина и ютится где-то в подмосковном селе Всехсвятском. Я нашел ее на задворках, в полуразрушенном флигельке. Передо мной на ветхом кресле сидела ветхая, ветхая старушка, одна-одинешенька. Ее сын, уже с проседью, я видел его после на скачках в потрепанном виде, был без места и ушел в Москву, а его дети убежали играть.

Я всю беседу с ней описал тогда в «России», а теперь помню только, что она рассказывала о незабвенных вечерах. Пушкин всегда читал ей свои стихи, они сидели вдвоем, когда муж задерживался в Английском клубе. Я рассказал ей о чествованиях Пушкина. Она как-то плохо восприняла это и только повторяла:

– Все Пушкин, все Пушкин!

Прощаясь, я поцеловал у нее руку, и она сказала, подняв на меня свои старческие глаза:

– Пушкин всегда мне руку целовал... Ах

Пушкин, все Пушкин!

Я послал корреспонденцию в «Россию», а рассказ о Нащокиной – в Пушкинскую комиссию. Дряхлую старушку возили в одно из заседаний, чествовали и устроили ей пенсию.

* * *

Иногда приходилось добывать сведения, которые по цензурным, политическим и другим условиям московские газеты не печатали, но мне стесняться было нечего, время от времени проскакивали сенсации.

В Москве существовала чайная фирма В-го, имевшая огромный оборот. Этого чаю в Москве почти не продавали, но он имел широкое распространение в западных и южных губерниях. Были города, особенно уездные, где другого чаю и достать нельзя было. Фирма рассылала по всем этим торговцам чай через своих комиссионеров, которые оставляли товар в кредит, делая огромную скидку, какой не могли делать крупнейшие московские фирмы – Поповы, Перловы, Филипповы, Губкины.

* * *

Встречаю как-то на улице знакомого тата-

рина, который рассказывает мне, что чайная фирма В. выписала из голодающих деревень Заволжья большую партию татар, которые за грошовое жалованье, ютятся с семьями в грязи и тесноте, работают по завертке чая. Они живут на своих частных квартирах, которые стали очагами заболевания сыпным тифом. Много их умерло, а живые продолжают работать, приходя из своих зараженных квартир рассыпать и завертывать чай. Я тотчас же отправился на их квартиры в переулках близ Грачевки и действительно нашел нечто ужасное: сырые, грязные помещения набиты татарскими семьями, где больные сыпным тифом, которых еще не успели отправить в больницу, лежат вместе со здоровыми... Говорил, спрашивал, выслушивал жалобы от всех, кто не боялся со мной говорить. Зашел в местный участок, где застал дежурного околоточного, который ровно ничего не знал об очаге сыпного тифа, так как это был не его околоток. Разыскал помощника пристава, но он мне ответил нехотя:

– Да, что-то такое я слышал, только я этим не заведу.

Я прямо отправился на междугородный телефон, вызвал Амфитеатрова, рассказал подробности и продиктовал заметку. Через день газета появилась в Москве. Это была сенсация. Ее перепечатали провинциальные газеты, а московские промолчали... От чая этой фирмы стали бояться заразиться сыпным тифом. Вечером ко мне приходили от фирмы, но меня не застали дома. На другой день явились два представителя ко мне, как к заведующему отделением «России», и начали требовать имя автора, грозя судом. Я их попросту выгнал. Но каким-то путем все-таки узнали, что автор заметки я. Часа через три явились два других франта, ласковые и заискивающие, совершенно просто и откровенно предложили мне крупную взятку, только чтобы я написал опровержение. Этих уж я так выгнал (жил в третьем этаже), что отбил навсегда охоту приходить с такими предложениями, и тотчас же вызвал Амфитеатрова, подробно рассказал о предложенной взятке и просил, чтобы редакция не печатала никаких опровержений, потому что известие верно и никто судиться не посмеет.

Шли дни. Разговор – по всей Москве, а в московских газетах ни строчки об этом ужасном факте. Ко мне зашел сотрудник одной газеты, человек весьма обделистый, и начал напевать о том, что я напрасно обидел фирму, что из провинции торговцы наотрез отказываются брать их чай и даже присылают его обратно. Он мне открыто предложил взять взятку наличными деньгами и, кроме того, принять на несколько тысяч объявлений для газеты.

Амфитеатров по телефону передал мне, что его осаждают знакомые и незнакомые просьбами поместить опровержение и что тот самый сотрудник, который предложил мне взятку, был у него тоже и привозил деньги за объявления в газету, но редакция отказала наотрез печатать их. Между прочим, в числе ходатаев за фирму он назвал одного журналиста, сотрудничавшего в «Новостях» Нотовича. Незадолго перед этим этот журналист судился в Московском окружном суде за какое-то неважное дело и был оправдан. Председатель суда Е. Р. Ринк, известный остроумием, во время допроса обратился к нему:

– Подсудимый, мне помнится, несколько лет назад вы уже судились у нас... Это... Это было дело...

– На политической подкладке! – перебивает его подсудимый.

– А мне помнится, на лисьей. – Взрыв хохота в зале: многие помнили дело о какой-то комбинации с шубой.

В конце концов фирма щедро расплатилась с татарами, помогла пострадавшим, отправила семьи на родину и еще шире развила торговое дело, конечно, понеся сотысячные убытки первое время.

Главное, что меня порадовало, это то, что семьи татар были обеспечены.

Как-то утром ко мне явился мулла с делегацией от московских татар, благодарили меня, что заступился за несчастных голодающих, и поднесли мне благодарственный адрес с сотней подписей на русском и татарском языках.

Нечто о старом

Это было в декабре 1899 года, а ранее – в 1897 году – я был командирован Русским гимнастическим обществом в Сербию на все-народный гимнастический праздник, устраиваемый сербским обществом «Душан Сильный».

Приходится рассказать об этом празднике, хотя, по-видимому, трудно увязать репортерскую работу с гимнастикой!

А вышло так, что не будь я гимнастом, не участвовать бы мне в нашумевшем на весь мир событии.

Сербия в это время, в 1897 году, была маленьким княжеством, населенным прекрасным трудящимся народом. Она управлялась после убийства князя Михаила Обреновича его племянником Миланом, вступившим на престол четырнадцатилетним с дурными пороками юношей.

С детства опекуны воспитывали Милана в Париже, где он не столько изучал науки, сколько веселился. Докняжив до 21 года, Милан задумал жениться, и ему подсватали бес-

сарабскую красавицу с огромным состоянием, дочь русского полковника Наталью Кешко.

Милан рассчитывал на приданое, но умная Наталья удержала за собой право распоряжения своим состоянием, и Милан опустошал расходами на свой двор казначейство Сербии, которая после двух войн (1876 и 1877/78 годов) была в 1882 году из княжества провозглашена королевством, к великому неудовольствию народа, боявшегося увеличения налогов.

Налоги на содержание короля возросли, Наталья денег не давала, и Милан стал ее врагом. В королевстве образовались две партии – Милана и Натальи. Милан окончательно запутался в долгах и ухитрился заложить почти все свое королевство в австрийских банках.

Народное недовольство росло. Милан, запутанный банками, попал в зависимость Австрии, стал проводить ее политику.

Сербии грозило банкротство, и окончательно запутавшегося в долгах и интригах Милана заставили передать королевскую власть своему малолетнему сыну Александру и его регентам.

Милана «выслали» из пределов Сербии с обязательством не возвращаться до совершеннолетия сына и выдали ему миллион франков отступного.

Регенты выслали также и Наталью, но она скоро вернулась, завладела воспитанием сына и фактически стала королевой.

В это время я и попал в Сербию. Король Александр тогда не был еще женат на сербке Драге.

Первого июня начались торжества освящением знамени «Душана Сильного», а затем на площади крепости в присутствии тысяч народа начались гимнастические игры и состязания гимнастов, собравшихся со всех славянских земель.

Белградские соколы-душановцы, более пятисот человек, были в своей красивой форме, а провинциальные члены общества в своих национальных костюмах: сербы-магометане – в фесках, сербы-горцы – в коричневых грубого сукна куртках, с кинжалами и пистолетами за строчеными поясами. Было несколько арнаутов. Один, бывавший в Батуме и на Кавказе, говорил по-русски.

Мы с ним беседовали. Он звал меня поехать к нему в гости, в Албанию, куда европейцев в то время не пускали. Он обещал мне полную безопасность у себя в стране, где был каким-то старшиной, и дал свой адрес и адрес его земляка, жившего в Белграде, к которому я мог бы обратиться.

Самыми яркими были сремские горцы, обвешанные оружием, в шитых украинских рубахах, чумарках и бараньих папахах, лихо сдвинутых на затылок.

Из-под папахи змеились длинные чубы, черневшие на бритых головах, у пожилых висели громадные усищи вниз – совсем наши запорожцы далеких времен!

Эти сремцы были потомками запорожцев, бежавших при Екатерине во время разгрома Сечи частью на Кубань, а частью в Турцию. Они заботливо хранили свои обычаи и одежды.

Славный был народ, молодец к молодцу, ходили неразлучно, кучкой, и все были прекрасные гимнасты.

Три дня продолжались состязания, заканчивавшиеся каждый день обедом участников

состязания и загородными поездками на пароходе по Дунаю. Обеды сопровождались речами, от которых корчились австрийские сыщики.

На третий день раздавались награды лично королем, и когда первым было объявлено мое имя, имя русского, – а к русским тогда благоволили, – весь цирк, где происходило заседание, как один человек встал, и грянули «ура» и «живио».

Я получил первую награду – большую золотую медаль, меня окружили сербские женщины и подарили мне подарок: шитый золотом шарф.

Вечером в гостиницу Гранд-отель пришла депутация с приглашением меня, как получившего награду, на ужин.

Я оделся и вышел на улицу, где с факелами и знаменами меня встретили душановцы и, скрестив надо мной два знамени, повели меня среди толп народа на ужин.

На другой день я принадлежал самому себе и с двумя из новых друзей-душановцев гулял в крепостном саду.

Чудесный вид открывался с этой высокой,

укрепленной горы старой турецкой крепости с ее подземными тюрьмами и бездонными колодцами, куда в старину бросали преступников.

Под нами сливались громадные реки: Дунай и Сава, и долго еще в общем русле бежали две полосы – голубая и желтая. Красота была поразительная, а за рекой виднелись мосты в Землин, поля и сады Венгрии.

Удивительной красоты место, напоминающее откос в Нижнем Новгороде над слиянием Волги и Оки!

Мы гуляли с публикой по саду. Содержащиеся в казематах крепости каторжники также гуляли между публикой, позвякивая цепями, и никто не подходил к ним, никто не заговаривал с ними, зная, что этого нельзя – таков закон.

Невдалеке от нас на садовой скамейке сидел часовой с ружьем в руках, кругом гуляла публика, кандалники работали в цветниках, а один из них самым спокойным манером намывливал лицо часовому, брал у него из рук бритву и брил его.

На другой день я выехал в Россию. На вок-

зале меня провожали с музыкой и почетным караулом.

* * *

Прошло два года. Я вел репортерскую работу, редактировал «Журнал спорта» по зимам, чуть ли не каждую пятницу выезжал в Петербург на «пятницы К. К. Случевского», где собирались литераторы, издававшие журнал «Словцо», который составлялся тут же на пятницах, и было много интересных, талантливых людей из литературного общества столицы, и по осеням уезжал в южнорусские степи на Дон или Кавказ.

Больше всего в этих местах я метался из зимовника в зимовник задонских степей, ночуя иногда даже в грязных калмыцких кибитках.

Здесь я переживал далекое прошлое, объезжал, как простой табунщик, неуков, диких лошадей, прямо у табуна охотился в угон за волком с одной плетью. Бывало:

*По курганам, по бурьянам
На укрючном маштаке
На табун лечу с арканом
В разгулявшейся руке...*

Огромное количество материала давали мне мои поездки в южнорусские степи.

* * *

Репортерство бросило меня и в конский спорт.

В 1882 году редакция командировала меня дать отчет о скачках, о которых тогда я и понятия не имел.

С первого же раза я был поражен и очарован красотой и резвостью скаковых лошадей. Во время моих поездок по задонским зимовникам еще почти не было чистокровных производителей, а только полукровные. Они и тогда поражали меня красотой и силой, но им далеко было до того, что я увидел на московском ипподроме.

Как журналист, я имел право входа в трибуны, где перезнакомился со скаковым миром, встречался раза два с приезжавшими в дни больших призов гвардейскими ремонтерами, которым когда-то показывал лошадей на зимовнике.

Конечно, никому из них и на ум не могло прийти, что они разговаривают с табунщиком, которому в зимовниках давали рубли

«на чай».

В это время на моих глазах расцвел на скачках тотализатор.

Знаменитый московский адвокат Ф. Н. Плевако в одной из своих защитительных речей на суде говорил: «Если строишь ипподром, рядом строй тюрьму».

И прав был Федор Никифорович!

* * *

После юбилейных Пушкинских торжеств 1899 года меня вызвали на редакционное совещание в Петербург.

Первым в редакции меня встретил редактор-издатель П. А. Сазонов, торопившийся куда-то по делу.

– Очень рад, что приехали, идите, там ждут!

В редакторском кабинете я застал А. В. Амфитеатрова, В. М. Дорошевича и Яшу Рубинштейна, талантливую юношу, музыкального критика, сына Антона Рубинштейна.

Остальные участники совещания уже ушли.

А. В. Амфитеатров был главной силой в редакции, и его слово имело решающее значение.

ние.

После общих разговоров А. В. Амфитеатров сказал:

– Гиляй, нам для газеты позарез нужно сенсацию: вся надежда на тебя.

– Все, что интересного будет в Москве, не прозеваю!

– Нет, надо что-нибудь эффектное, крупное, Москвы нам мало!

– Вроде Стенли, открытия Африки, – пошутил Яша.

– Ладно, есть, – ответил я.

Вспомнился мне недавний разговор с сотрудником московских газет сербом М. М. Бойовичем. Он мне говорил, что хорошо бы объехать дикую Албанию, где нога европейца не бывала, а кто и попадал туда, то живым не возвращался.

– У моего отца, – говорил М. М. Бойович, – есть друг, албанец, которого он когда-то спас от смерти. Он предлагал отцу совершить это путешествие, обещался сопровождать его и вернуть живым домой. В Албании существует обычай, что если за своего спутника кто, по местному выражению, «взят на бесу», то его

не трогают.

При этом разговоре М. М. Бойовича я вспомнил своего друга арнаута, приглашавшего меня к себе в гости в Албанию.

Об этом я рассказал А. В. Амфитеатрову и В. М. Дорошевичу, которые пришли в восторг от этого предложения, приказали мне выдать крупный аккредитив, так как предстояло купить оружие и лошадь.

На другой день я выехал в Москву, получил заграничный паспорт и через три дня отправился на Балканы.

В кармане у меня были письма в редакцию газеты «Одъек» и ее редакторам Пашичу и Протичу и к учителю М. М. Бойовичу от его сына литератора, студента Московского университета.

В Сербии в это время королем был безвольный юный Александр, но Милан вновь вернулся в Сербию и руководил им, фактически будучи королем.

Все помышления Милана сводились к тому, чтобы ликвидировать партию радикалов, мешавшую самовластию фактического короля.

Двадцать четвертого июня в Белграде на Милана было произведено покушение: неизвестный человек выпустил в него на главной улице четыре пули.

Подъезжая к Белграду, я узнал о только что совершившемся покушении на Милана, и уже на вокзале я почувствовал, что в городе что-то готовится на том вокзале, где два года назад меня торжественно встречали и провожали.

Свободно, независимо, с хорошим настроением, как и тогда, я вышел из вагона, ничего не подозревая, но мрачный полисмен-офицер внимательно взглянул на меня и с непреклонным видом потребовал паспорт. Это меня обозлило. Сразу почувствовалось другое настроение, совсем противоположное тому, какое было.

Ответив ему таким же взглядом, я сунул ему в руки паспорт и сказал:

– Прислать ко мне, в Гранд-отель, – и ушел. Наступил вечер. Обычно оживленного Белграда нельзя было узнать: кафены и пиварни были закрыты, в домах не видно огня, на улицах никого – только блестящие ружьями патру-

ли.

Разузнав кое-что в гостинице, где меня встретили как старого знакомого, я вынул из чемодана письма, положил их в карман и, несмотря на просьбы прислуги не выходить, отправился к Пашичу, к Стояну Протичу и в редакцию «Одъек». У квартиры Протича какой-то добрый человек мне ответил:

– Ухапшили.

«Одъек» оказался опечатанным, и все сотрудники были арестованы, так же как и редактор.

Зашел в пиварню «Империаль», где все столы были заняты полицией и офицерами. Никто из знакомых ко мне не подходил, все шушукались и дико на меня смотрели. А были знакомые лица.

Один из посетителей, когда я, расплатившись, выходил, отделился от группы и, козыряя, вкрадчиво спросил, по-шпионски:

– Куда путешествуете?

– В Тамбов, – ответил я, выходя, оставив его в позе вопросительного знака.

На другой день, не успел я еще встать, в номер вошли два приятеля-душановца и ис-

пуганным голосом советовали мне уехать, намекая, что Милану выгодно обвинить в участии в покушении кого-нибудь из русских.

Я расхохотался им в лицо – и после раскалялся. Они были правы: меньше риска было бы уехать в тот день, но тогда не стоило бы ехать – это позор для журналиста убежать от такого события.

Душановцы, сообщив, что у них сегодня общее собрание в «Империаале», ушли, хотя я и просил их подождать, чтобы идти вместе в банкирскую контору Андреевича получить перевод.

Я понял потом, почему они торопились.

В конторе Андреевича я получал деньги, окруженный полицейскими офицерами. Один из них спросил меня, как это я, корреспондент, ухитрился так вовремя приехать к событию и за четыре дня до него перевести деньги. Я ответил ему довольно дерзко по-русски, и он больше ко мне не приставал.

Из банка я отправился на скупщину «Душана Сильного», где заседали человек двести. Меня выбрали почетным председателем.

От знакомых я узнал подробности покуше-

ния на Милана. Он около пяти часов вечера, в коляске со своим адъютантом, майором Лукичем, возвращался из главной канцелярии.

«Атентатор», как называли покушавшегося на убийство, заметив приближающуюся коляску, махая бумагой, сложенной в виде прошения, подбежал и начал стрелять.

После первого выстрела Милан выскочил из коляски и начал ползать по мостовой, стараясь скрыться от пули, но последовал еще выстрел и ранил Милана сзади, слегка поцарапав кожу.

Пока Милан ползал и прятался за коляской, «атентатор» ранил в руку Лукича, а сам, выстрелив себе в шею, бросился на набережную реки Савы и прыгнул в воду, откуда был скоро извлечен и арестован.

Он оказался Джурой Княжевичем, которого Милан знал, когда он служил лакеем при купальне.

За месяц до покушения Княжевич уехал в Бухарест, пожил там, снова вернулся в Белград и стал жить в гостинице под видом приезжего купца.

Накануне совершения покушения Княже-

вич начал чистить старый револьвер, делать патроны и на следующий день произвел бутфорское покушение на короля.

Милан организовал покушение, которое ему было необходимо как предлог для уничтожения радикалов.

Когда кто-то из собравшихся предложил выразить сочувствие «королю Милану», я в резких выражениях отказался от звания председателя, и собрание скомкалось.

Многие похватали шляпы и быстро разошлись.

Около меня осталось только шестеро друзей, угостивших меня обедом, который был устроен в каком-то глухом саду, в старой беседке, куда собрались поодиночке.

Во время обеда мне сообщили имена десятков арестованных радикалов.

В городе была полная паника, люди боялись говорить друг с другом, ставни всех окон на улице были закрыты. По пустынным улицам ходили отряды солдат и тихо проезжали под конвоем кареты с завешенными окнами.

На мои вопросы по поводу «аттентатора» все молчали и только махали руками, чуть не

зажимая рот.

Один прямо предупредил, что за такие слова расправа коротка – не посмотрят, что русский. Его слова подтверждали расклеенные всюду афиши, гласившие, что объявлено «ванредно станьо» – осадное положение.

Было бесконечно жаль видеть Белград, который так недавно я видел ликующим, в таком терроре. Мне было ясно, что Милан воспользуется обстоятельствами и сосчитается со своими противниками.

Я решил, может быть необдуманно, рискованно и – в первой попытке – неудачно, попробовать помочь в первую очередь арестовываемым радикалам.

В пиварне «Империаль» написал и отнес на телеграф телеграмму в «Россию», написанную по-русски французскими буквами, следующего содержания:

«Милан придумал искусственное покушение с целью погубить радикалов. Лучшие люди Сербии арестованы; ожидаются казни, если не будет вмешательства держав».

Конечно, этим я сделал большую ошибку, о чем узнал уже через час.

Моя телеграмма не была отправлена, и милановские сторонники такого человека, который может пустить по свету правдивое сообщение о событиях в Сербии, должны были ликвидировать.

У Милана расправа с такими людьми была короткая. На паспорте таких людей отмечалось, что владелец его выбыл из Сербии, а чемодан и паспорт бросали на вокзале, например, в Вене.

Все эти белградские события происходили 27 июня.

Казематы крепости были переполнены «ухапшенными», из коих 37, с Пашичем, Протичем и Николичем, были приговорены («преким») судом Милана к тайной казни.

В ночь на 29 июня, Петров день, над Белградом был страшный тропический ливень с грозой. Я сидел у окна гостиничного номера и видел только одно поминутно открывающееся небо, которое бороздили зигзаги молний. Взрывы грома заглушали шум ливня.

Около полуночи ко мне в номер вошли два моих друга в полной военной форме.

– Идем, скорей, скорей! Иначе будет позд-

но! Сейчас за тобой придут. Скорей!

Подали мне пальто и шапку. Мы вышли, идем по коридору, вдруг я хватился своей табакерки – забыл ее на окне!

– Сейчас вернусь. Я забыл табакерку!

– Идем! Ты с ума сошел!

– Не оставлю табакерки! – крикнул я и побежал назад.

Друзья замерли на месте. Я вскоре вернулся, и мы вышли на улицу. Ливень лил стеной. Мы брели по тротуарам по колесо в воде, а с середины улиц неслись бурные потоки.

Друзья только в эти минуты наперерыв, перебивая друг друга, рассказали, что мое счастье было в том, что я забыл табакерку. В те минуты, когда я за ней бегал, по коридору прошел военный обход, который арестовал бы меня, и утром я был бы уже удушен.

Мы спустились к Дунаю, и друзьям удалось устроить меня на венгерский пароход.

* * *

К утру погода прояснилась. Я лежал в каюте венгерского парохода и притворялся спящим.

Я слышал шаги многих людей на палубе,

но тихо лежал в каюте и встал только когда пароход отошел от белградской пристани. Я поднялся на палубу. Восход был чудный. Я любовался удалявшимся от меня Белградом, зеленевшими садами.

Перед каждой сербской пристанью на правом берегу Дуная я уходил в каюту и запирался, опасаясь сербских сыщиков. Зато, когда пароход остановился на венгерской пристани Оршаве, я дал в газету «Россия» такую телеграмму:

«Оршава. 29 июня. В Белграде полное осадное положение. Установлен военно-полевой суд. Судьи назначаются Миланом Обреновичем. Лучшие, выдающиеся люди Сербии, закованные в кандалы, сидят в подземных темницах. Редакция радикальной газеты «Одъек», находящейся в оппозиции к Милану, закрыта. Все сотрудники и наборщики арестованы. Остальные газета поют Милану хвалебные гимны. Если не последует постороннее вмешательство, – начнутся казни. В. Гиляровский».

Она была напечатана в «России» 30 июня за моей подписью, потому что в Петербурге

имелись слухи о моем аресте. В том же номере газеты была напечатана телеграмма другого сербского корреспондента, сообщавшая о моем аресте:

«Базиас. 28 июня. В Белграде господствует полнейшая паника. Среди лиц, принадлежащих к радикальной партии, произведена масса арестов; в числе арестованных находится один русский корреспондент. Корреспонденция с границей становится невозможной, так как письма на почте перехватывают. Выехал из Белграда».

Эта телеграмма не печаталась «Россией» до получения известий от меня.

Моя телеграмма в газету через петербургскую цензуру попала в министерство иностранных дел, которое совместно с представителями других держав послало своих представителей на организованный Миланом суд. Этот суд должен был приговорить шестьдесят шесть обвиняемых вождей радикалов с Пашичем, Протичем и Николичем во главе к смертной казни.

Благодаря вмешательству держав был казнен только один, стрелявший, Княжевич, сто-

рож при купальне, у которого с Миланом были свои счета и которого Милан принес в жертву.

Остальные шестьдесят пять были сосланы в Пожаревацкую каторгу, где и были до убийства короля Александра и Драги.

Мои телеграммы с дороги печатались в «России», перепечатывались не только русскими, но и зарубежными газетами, вызывая полное презрение к Милану, которого вскоре изгнали из Сербии.

* * *

В Петербург я возвращался из-за границы через Москву.

Никогда не забыть мне первой встречи по возвращении: соскакиваю с пролетки – багажа у меня никакого, все осталось в пользу Милана в Белграде, равно как и паспорт у коменданта Белграда, – отдаю извозчику деньги. Вдруг передо мной останавливается с выпученными глазами и удивленно раскрытым ртом М. М. Войович:

– Ты, Гиляй!

– Здравствуй, Милаша! – ответил я, обнимая и целуя его.

Насилу пришел в себя М. М. Бойович. Радовался и плясал на лестнице. Оказывается, что он не считал уже меня в живых.

Утром он получил телеграмму из Землина от своего корреспондента, что я тайно казнен Миланом, и он торопился в Сербское подворье, чтобы заказать обо мне панихиду, перед этим зашел ко мне на дом, чтобы приготовить мою семью к известию о моей гибели.

Вечером я выехал в Петербург, радостно встреченный редакционными друзьями, сообщившими, что мои корреспонденции из Белграда перепечатываются газетами, а «Россия» увеличила свой тираж. Редакция чествовала меня обедом за газетный «бум», свергнувший короля. За обедом из рук в руки ходила моя табакерка, которой косвенно я был обязан спасением.

* * *

Благодаря положению редактора одного из спортивных журналов тех времен я работал несколько лет в Главном управлении государственного коннозаводства. Работа считалась почетной, и жалованья не полагалось.

При зачислении в Главное управление го-

сударственного коннозаводства я избрал себе степное коневодство и выговорил право не являться в канцелярию, а материалы, которые обязан был доставлять для казенного журнала «Коннозаводчество», присылал почтой.

Получив должность и звание «корреспондента Главного управления государственного коннозаводства», я имел право входа на все ипподромы и конские заводы, что мне как редактору «Журнала спорта» было очень полезно.

Во время этой работы я особенно счастливым чувствовал себя на Дону, хотя не забывал Заволжских степей, Кавказа и Крыма.

В Задонье, на зимовниках, я блаженствовал. Обыкновенно приезжал к управляющему казенным пунктом Гавриле Яковлевичу Политковскому, и от него уже уезжал в самые глухие калмыцкие Дербенты, причем брал с собой специально для калмыков корзину с разными лакомствами: булками, бубликами, леденцами и другой снедью.

Уезжал я обычно в зимовники на паре в легком экипаже, ехал не торопясь, имея все-

гда в тележке кулек бубликов или булок, и раздавал их встречным пешеходам.

Я на личном опыте хорошо знал, как дорого путнику в степи получить такой подарок; не раз я с завистью посматривал на проезжающих по степи, которые что-нибудь жевали.

Во время таких поездок мне приходилось встречать двух-трех человек, знакомых по моей бродяжной жизни. Но никому из них не приходило в голову, что я и есть бывший табунщик Леша!

В разговорах с ними я иногда показывал ловкость в работе арканом или выезде неуков, но все это они относили просто к моей ловкости и знанию конского дела.

* * *

Как-то с Г. Я. Политковским, еще по первым моим поездкам по зимовкам, заехали мы к лучшему коневоду Подкопаеву, которого я встречал, сравнительно еще молодым, у моего хозяина. Подкопаев был дружен с ним.

Тогда это был могучий, сухой богатырь – теперь же я встретил ожиревшего, но все еще могучего старика.

Интересный человек был Подкопаев. Чело-

век романтический!

Зимовник Подкопаева в очень давние времена принадлежал какому-то казачьему генералу, а потом перекуплен был старым коневодом, у которого была единственная дочь, донская красавица.

Явился как-то на зимовник молодой казак, Иван Подкопаев, нанялся в табунщики, оказался прекрасным наездником и вскоре стал первым помощником старика.

Казак влюбился в хозяйскую дочь, а та в него. Мать, видя их взаимность, хотела их поженить, но гордый отец мечтал ее видеть непременно за офицером, и были приезжавшие ремонтеры, которые не прочь бы жениться на богатой коннозаводчице.

Отец раз и навсегда отказал простому казаку и удалил бы его от себя, если бы без него мог управлять зимовником.

Упорен был отец, но и дочь была в него: всем женихам отказывала.

Прошло десять лет терзаний двух влюбленных людей. Умер отец, и зимовник перешел к дочери. Только тогда, перестрадав десять лет, молодые поженились, и в память пе-

режитых страданий Иван Николаевич Подкопаев, ставший владельцем зимовника, переменял прежнее тавро.

Лошади с выжженным новым Подкопаевским тавром очень ценились и на Дону и в кавалерии, и долго еще встречались на Дону лошади прекрасных форм с Подкопаевским тавром: сердцем, пронзенным стрелой!

Не один раз заезжал я к Ивану Николаевичу: было что послушать от него, было чему поучиться по коннозаводскому делу. Не одну руководящую статью я написал с его слов!

Любил меня старик и жена его, могучая старуха, сохранившая былую красоту в сединах своих. Таких я видел только среди низового донского казачества, среди гребенцов, на Кубани, на Тереке в старые годы.

Я у него баловался с неуками, но это его не удивляло: так будто и быть должно. Но ни одного слова, ни намек на прошлое я от него не слышал, хотя, рассказывая о донских коневодах, он не раз упоминал мне имя своего друга, бывшего моего хозяина.

Памятью о старике осталась у меня огромная, тяжелая, плетенная из сыромятного рем-

ня нагайка, которую он мне подарил как любителю охоты «в угон» – этой старинной, давно забытой казачьей и калмыцкой охоты.

– Владай! Еще сам холостым ее сплел, с полсотни волчаков ею захлестал, когда помоложе был! Теперь только сколько годов она без нужды висит, владай!

Той же осенью я обновил ее в нагайских степях. В последний раз я виделся с И. Н. Подкопаевым в Ростове-на-Дону на конской выставке, в 1899 году.

* * *

Во время выставки, на другой день раздачи наград, проездом на Кавказ, от поезда до поезда, остановился, чтобы ее посетить, Владимир Иванович Ковалевский, мой старый знакомый по Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде в 1896 году. Он в это время занимал пост товарища министра финансов.

В. И. Ковалевский приехал на выставку без предупреждения, совершенно неожиданно, без всякой формы.

Я увидел В. И. Ковалевского, уже окруженного толпой начальства, и городской голова Хмельницкий подошел ко мне, чтобы пред-

ставить меня В. И. Ковалевскому, но этого делать не пришлось, так как, обрадовавшись встрече, мы обнялись и расцеловались. Пока происходил осмотр выставки, в павильоне был сервирован завтрак.

В это время в устьях Дона уже третий год усиленно велись работы по углублению донских гирл, чтобы морские суда могли идти прямо до Ростова, без перегрузки товаров на лодки.

Во время завтрака ростовский городской голова Хмельницкий обратился к В. И. Ковалевскому с просьбой отложить отъезд на сутки, чтобы сделать поездку на пароходе и осмотреть работы по углублению донских гирл, столь важные для развития торговли. В. И. Ковалевский отказался от этого предложения из-за срочной поездки на Кавказ, обещая обязательно заехать на обратном пути.

Забились во мне репортерские жилки! Какая славная корреспонденция для «России»: осмотр и описание донских гирл, о которых я так много слышал!

Я встал и обратился к В. И. Ковалевскому с просьбой не отказать в поездке, рассказав о

красоте донских гирл, в которых никогда не бывал, рисуя их по астраханским камышам. В заключение опять попросил В. И. Ковалевского остаться на сутки в Ростове, чтобы повидать очень важные для развития русской торговли работы в гирлах.

В. И. Ковалевский, когда я закончил обращение к нему, улыбнулся и сказал:

– Уговорил меня Владимир Алексеевич! Едем в гирла!

* * *

По окончании завтрака условились, что поездка в гирла состоится на следующий день в десять часов утра на пароходе «Коцебу».

Владимир Иванович Ковалевский уехал к себе в служебный вагон, а я – в гостиницу, заняться корреспонденцией.

Часу в десятом вечера, окончив писать, я вышел в коридор, чтобы поразмяться, и, к великому своему удивлению, увидел, что как раз против моего номера отпирал дверь только что вернувшийся домой старик-коневод Василий Степанович, у которого когда-то, в дни скитаний и приключений моей молодости, я работал в зимовнике, заявив ему, что

перед этим я служил в цирке при лошадях.

Проверить мои слова, конечно, никому не приходило в голову, а о паспорте в те времена и в тех местах вообще никто и не спрашивал, да он никому и не был нужен. Судили и ценили человека по работе, а не по бумагам. Молнией сверкнули в памяти дни, проведенные мною в зимовнике, и вся обстановка жизни в нем.

Был зимовник Василия Степановича полной чашей, всего в нем было вволю.

Хозяйство по дому зимовника вели жена Василия Степановича и его племянница лет шестнадцати, скромная, малограмотная девушка. Газет и журналов в доме, конечно, не получалось. Табунчики были калмыки, жившие кругом в своих кибитках, и несколько русских наездников из казаков.

Я понравился хозяевам и быстро подружился со всеми, щеголяя цирковыми приемами, и начал объезжать неуков и вести разговоры с приезжавшими офицерами, покупателями лошадей.

Все это ярко мгновенно вспомнилось, пока я следил, как Василий Степанович отпирал

ключом свой гостиничный номер.

– Василий Степанович, откуда так поздно? – спросил я.

– У Ивана Николаевича Подкопаева был.

Старик оглянулся и узнал во мне одного из находившихся во время приезда на выставку В. И. Ковалевского людей, который был представлен ему как корреспондент Главного управления государственного коннозаводства.

– Там у него все наши собрались.

– Жаль, что вы не представили свой молодец на выставку, – сказал я. – Ведь, наверное, у вас еще сохранилось потомство рыжего Мирзы, что вы у Пловойского купили, из тех четырех, что из Перми привели?

– Да, да, от Мирзы! Он ведь только три года у меня пробыл, а какой богатый приплод оставил! Весь в себя, золотисто-рыжий! Он был настоящий Карабах чистых арабских кровей.

– Я таких два косяка у Подкопаева видел!

– Тут, наверное, и от моего Мирзы были, я парочку бурлачков его приплода уступил Ивану Николаевичу, а он меня бурлачком Ту-

риновским наградил.

– Орлово-растопчинский?

– Да, ну и лошадь! Всех детей в себя клеил. Все в гвардию пошли.

Старик, почуяв во мне знающего конские дела человека, пригласил зайти к нему в номер побеседовать на сон грядущий.

– Эх, Мирза, Мирза! Век не забуду! Давно это было, а он и сейчас передо мной, золотой весь, как лимон на солнышке, – сказал, когда мы вошли в номер и уселись в кресла, Василий Степанович.

– Да, давно это было, Василий Степанович, ровно двадцать пять лет! Ровнехонько!

Старик удивленно посмотрел на меня.

– Верно. В семьдесят четвертом я привел его! Знаменитость! Вот и вы слышали о нем!

– Н-да!

– Стало быть, вам кто-нибудь из ремонтников-стариков сказывал. Им все любовались. Вы знаете хорошо наше дело! Никогда не думал, что у вас в Питере такие знатоки есть!

Я хлопнул старика по плечу:

– Ну, куме, запирай-ка свой номер, пойдём ко мне, поговорим по охоте!

Через минуту старик сидел у меня за столом, на котором стояло сантуринское и закуски.

Я сбросил надоевший за день коннозаводческий мундир и сидел в одной рубашке.

Разговаривали о выставке, о лошадях.

Я насилу уговорил, чтобы он звал меня по имени и отчеству.

– Вот вы бы ко мне на зимовничек пожаловали. У Подкопан вы бывали, он сам мне на выставке об этом говорил, а теперь бы ко мне завернуть. Есть что повидать!

Слушал я старика, а все одна думушка в голове: эх, была не была! Да и давай ему описывать его зимовник тех времен вплоть до обстановки комнат, погреба с вином, и даже о здоровье жены Анны Степановны спросил. С растущим удивлением он смотрел на меня и шевелил беззвучно губами – будто слово не выходило, а сказать что-то очень хотелось.

– Это вам кто-нибудь рассказывал, – вздохнув, сказал он, даже улыбнулся и сообщил, что Анна Степановна стара стала.

– Милый Василий Степанович! Послушай, что я тебе скажу, только дай мне слово, что

обо всем, что услышишь, никогда никому не заикнешься. Я тебя люблю, считаю своим другом и буду с тобой откровенен.

Смотрю в его опять растерянное лицо.

– Так даешь слово молчать? Даешь?

– Даю! Вот перед образом божусь, вечно молчать буду!

Старик встал, набожно перекрестился и сел, уставившись на меня.

– Изволь. Это было ровно двадцать пять лет назад. В тот год, когда ты купил у Пловойского Мирзу – одного из четырех жеребцов персидских.

– По-дружески мне, можно сказать, по охоте, генерал мне его уступил, так сказать, любя меня, – вставил старик.

– Купил ты Мирзу, а как вести на зимовник, не знаешь. Тогда ты один верхом на чалом в Великокняжескую приехал. Тебя тогда выручил Гаврило Руфыч! Помнишь?

– Как же, вахмистр... Кобылин, Гаврило Руфыч. Он мне своего малого дал, который с ним лошадь привел с Волги.

– Ну, а дальше что?

– Нанял я его за тройк. Боялся доверить ма-

лому, справится ли? А Кобылин говорит: «Ручаюсь за него, как за себя!» Молодчиной малый оказался: то шагом с моим чалым, а то наметом пустит. Я ему кричу, а он и не слушает. Разговорились дорогой, и малый мне понравился. Без места он в то время был. Я его к себе и принянял. Как родной он мне вскоре стал.

– Алешей его звали?

– Алешей, Алексей Ивановичем!

И старик опять с ошалелым лицом уставился на меня, ничего не соображая.

– Слушай же, Василий Степанович, да помни, что обещал наш разговор в тайне держать!

И я рассказал ему все подробности работы у него, напоминая каждую мелочь, вплоть до того, когда сбежал от него, испугавшись приехавшего за лошадьми жандармского полковника.

Что было с моим стариком, передать трудно: и слезы, и восклицания, и жесты удивления – то руками всплеснет, то по бедрам себя хлопнет, слушает и слова не проронит!

Я рассказал ему мою дальнейшую жизнь

до последнего дня.

А что я пережил в это время – ни в сказке сказать, ни пером описать.

Наконец старик со слезами опустился на колени, я тоже перед ним встал на колени, обнялись крепко и оба расплакались.

– А Женя что? – спросил я, когда мы успокоились.

– Убивалась она очень, когда вы ушли! Весь зимовник прямо с ума сошел. Ездили по степи, спрашивали у всех. Полковнику другой же день обо всем рассказали, – а он в ответ: «Поглядите, не обокрал ли! Должно быть, из беглых!» Очень Женя убивалась! Вы ей портмонетик дорогой подарили, так она его на шее носила. Чуть что – в слезы, а потом женихи стали свататься, она всех отгоняла.

Через пять лет, двадцати годков уж вышла замуж. Приехал к нам на Дон сибирский посевиц богатый, производителей покупать для своих табунов, Ермилий Мефодьевич! Степенный, из себя красивый, лицо такое, как на иконах архангелов пишут. У Подкопаева и еще кое у кого лошадей купил, потом ко мне заявился. Поехал с калмыком табуны осмат-

ривать, упал, да ногу и сломал. С месяц пролежал у меня, Женя за ним ухаживала, а потом замуж за него и вышла, в Сибири живут. Только детей у них нет, одна беда. Года три назад гостили у меня по осени. Вот поглядите!

Старик вынул из бумажника фотографию. В кресле сидит мужчина средних лет, гладко причесанный, елейного вида, с правильными чертами лица, окаймленного расчесанной волосок к волоску не широкой и не узкой бородой. Левая рука его покоится на двух книгах, на маленьком столике, правая держится за шейную часовую цепочку, сбегаящую по бархатному жилету под черным сюртуком.

Справа стоит стройная красавица, типичная низовая казачка, про которых поют:

*Брови черные дугой,
Глаза с поволокой...*

Она положила на его правое плечо руку – а в свесившейся кисти ее, на золотой цепочке, надетой на большой палец, маленький перламутровый портмоне, который я ей подарил тогда. На крышке портмоне накладка, рисунок которой слишком мелок, сразу я не рас-

смотрел, зато обратила мое внимание брошка – сердце, пронзенное стрелой. То же самое было на портмоне.

– Еще до свадьбы, когда я две недели как-то по зиме жил в Ростове, она просила меня сделать его на портмоне. Потом брошку уж жених подарил, сердце из рубинов, а стрела бриллиантовая. Кроме никогда ничего не носит.

– Тавро Подкопаева? – спросил я.

– Может, и Подкопая, а может, и нет! Расплакался старик.

При расставании Василий Степанович сказал, что если бы я не ушел тогда так внезапно, то зимовник был бы теперь мой, что его и Анны Степановны мечта была выдать Женю за меня замуж.

– Вот отчего она и убивалась и долго замуж не выходила – все ждала, и в последний раз, когда приезжала с Анной Степановной, они всплакнули о вас! Кому я теперь мой зимовник оставлю!

* * *

Утром, когда я после долгой ночной беседы отправился на пароход, номер Василия Степа-

новича был пуст: он в семь утра уехал домой.

К девяти часам утра мы все собрались на пароходе «Коцебу». На обеденном столе кают-компании был разложен план гирл и чертежи построек, и как только двинулся пароход, заведующий гирловыми работами подробно объяснил В. И. Ковалевскому то, что нам надлежало осмотреть.

День был сырой. Туман окутал Дон. Около часу пришлось ждать разводки железнодорожного моста. Наконец пароход двинулся, но через час пути опять встал: туман сгустился до того, что далее следовать было нельзя.

Накрыли завтрак. Это, собственно говоря, был не завтрак, а ряд серьезных бесед присутствующих по всевозможным вопросам об образовании, торговле, промышленности.

В. И. Ковалевский задавал вопрос за вопросом, выслушивал ответы и закончил этот завтрак-конференцию вопросом:

– Почему у вас, в таком богатом торговом городе, нет высшего механического училища?

– Пробовали, хлопотали в Петербурге, но получили такой отказ, что и попечение отло-

жили.

– Здесь все представители города в сборе, – сказал В. И. Ковалевский, – подавайте снова прошение, а я пошлю в Петербург телеграмму о необходимости в Ростове высшего учебного заведения и надеюсь на утвердительный ответ.

Министру финансов С. Ю. Витте была послана с гирл, с лоцмейстерского поста телеграмма, а мы в это время в тучах комаров и мошкары осматривали углубление канала, на котором громадные машины «Петр Великий» и «Донские гирла» черпали грунт, который нагружался в шаланды и отвозился в море.

Потом мы посетили пост, на котором был отличный дом со службами, окруженный прекрасным садом, телеграф и метеорологическая станция, таможня для осмотра судов, идущих с рейда, отстоящего в четырех верстах от гирл, – и не встретили ни одного здорового человека из живущих на посту, расположенном на низком берегу, в вечном тумане, в самой лихорадочной местности. Здесь все были больны малярией.

Этой поездкой я закончил свою репортер-

скую работу в последний год столетия.

* * *

В Москве я через некоторое время получил приглашение присутствовать на торжестве закладки высшего технического училища в Ростове-на-Дону и дружеское письмо одного из членов комитета с таким заключением:

«...Непременно приезжайте, ждем Вас как одного, пожалуй, главного виновника предстоящего торжества. Не уговори Вы Владимира Ивановича поехать на гирла, никакого бы высшего училища у нас никогда не было».

* * *

Я был на спектакле в Малом театре. Первая от сцены ложа левого бенуара привлекала бинокли. В ней сидело четыре пожилых, степенного вида, бородатых мужчины в черных сюртуках. Какие-то богатые сибиряки... Но не они привлекали внимание публики, а женщина в соболовом палантине, только что вошедшая и занявшая свое место.

Величественная, стройная фигура, глаза, которые, раз увидав, – не забудешь, и здоровый румянец не знающего косметики, полного жизни, как выточенного, оливково-матово-

го лица остановил на себе мое внимание.

Я сидел в третьем ряду кресел. Что-то незнакомое и вместе с тем знакомое было в ней. Она подняла руку, чтобы взять у соседа афишу. А на ней мой кошелек – перламутровый, на золотой цепочке! А на груди переливается красным блеском рубиновая брошка – сердце, пронзенное бриллиантовой стрелой...

Вместо эпилога

С гордостью почти полвека носил я звание репортера – звание, которое у нас вообще не было в почете по разным причинам.

– Так, газетный репортеришко! – говорили некоторые чуть не с презрением, забывая, что репортером начинал свою деятельность Диккенс, не хотели думать, что знаменитый Стенли, открывший неизвестную глубь Африки, был репортером и открытие совершил по поручению газеты; репортерствовал В. М. Дорошевич, посетивший Сахалин, дав высокохудожественные, но репортерские описания страшного по тем временам острова.

В. М. Дорошевич разыскал на Сахалине невинно осужденного Тальму, поверил его

рассказу и, вернувшись в Москву, первым делом поведал это мне и попросил съездить в Пензу, на место происшествия, и, когда я собрал ему сведения, подтверждающие невиновность Тальмы, он в Петербурге, через печать устроил пересмотр дела.

Это было в 1898 году, когда он работал в газете «Россия».

Когда начался пересмотр, он послал сотрудника «России» Майкова в Пензу, снабдив его добытыми мною сведениями, а Тальма был вызван с Сахалина на новый суд. Майков следил за разбором дела и посылал в «Россию» из Пензы свои корреспонденции, в результате чего Тальма был оправдан.

Так же В. М. Дорошевич изучил дело осужденных братьев Скитских в Полтаве, добился через печать нового следствия, в результате которого было полное оправдание невиновных. В обоих случаях он был репортером. А В. Г. Короленко? Многие и многие русские писатели отдавали репортажу много сил, внимания и находчивости.

Я бесконечно любил это дело и отдавался ему весь, часто не без риска. И никогда ни од-

но мое сообщение не было опровергнуто. Все было строгой, проверенной, чистой правдой. И если теперь я пишу эти строки, так только потому, что я – репортер – имею честь быть членом Союза советских писателей.

Лето 1934 года.

Картино.

Московские газеты в 80-х годах

Вот я и думаю: какая самая яркая бытовая фигура из московских редакторов газет 80-х годов прошлого века? Перебираю.

Редактор «Московских ведомостей» М. Н. Катков. Вечная тема для либеральных остряков.

Сменивший его С. А. Петровский. О нем говорили только, что он наживал огромные деньги игрой на бирже на акции.

И. С. Аксаков – редактор «Руси». Но, впрочем, это был журнал, а не газета.

В. М. Соболевский со своими «Русскими ведомостями» был популярен только среди профессоров, судейских, земцев и либеральных думцев, но для Москвы не представлял из себя ничего характерного. Писал прекрасные

передовые статьи.

Была еще «Русская газета», издавал ее книжник И. М. Желтов, но она скоро кончилась. Да был еще «Московский телеграф» – большая, хорошая газета, но через полгода ее закрыла цензура.

Н. П. Гиляров-Платонов был неведом для публики, ибо он никогда не выходил из своего кабинета, а популярность его «Современных известий» составляли только два обличителя-фельетониста.

Н. П. Ланин – прекрасный заводчик шипучих вод и никчемный редактор либерального, но скучного «Русского курьера», совсем непопулярного в Москве.

Н. И. Пастухов, который говорил о себе: «Я сам себе предок», – самая яркая фигура. Безграмотный редактор на фоне безграмотной Москвы, понявшей и полюбившей человека, умевшего говорить на ее языке. Безграмотный редактор приучил читать безграмотную свою газету, сделал многих грамотными, приучил к чтению Охотный ряд, лавочника, извозчика, посетителя трактиров. Он единственная яркая бытовая фигура в газетном

мире того времени, почему я с него и начинаю.

«Московский листок» издавал Н. И. Пастухов – крестьянин полуграмотный, державший в 60-х годах кабак у Арбатских ворот. Кроме извозчиков, мастеровых и бродяг в его кабаке имела пристанище группа бездомных студентов университета, которым Пастухов покровительствовал, поил, кормил и давал ночлег. В числе этой группы студентов были двое, которые перевернули судьбу Пастухова и из кабатчика сделали потом редактора.

Эти двое были: филолог Жеребцов, работавший в «Русских ведомостях», в то время еще маленькой газетке, издававшейся П. С. Скворцовым и выходившей три раза в неделю, а потом уже сделавшейся ежедневной, – и второй – Ф. Н. Плевако, дававший тогда хронике, впоследствии знаменитый адвокат. Пастухов гордился, что у него бывают писатели, которые, набросав заметки, посылают его относить их в редакцию. Он бегал и относил. Присмотревшись, Пастухов сам стал узнавать происшествия, описывать их, давать свои безграмотные рукописи Жеребцову или Плевако,

которые выправляли их и сдавали в печать сначала от своего имени. Студенты кончили курс – Жеребцов уехал в провинцию учителем, Плевако стал адвокатом, а Пастухов кабатчик-меценат прогорел и волей-неволей стал кормиться около газет, сделавшись репортером. До конца своей жизни он был безграмотным, но по добыванию сведений не было ему равного.

Кроме «Русских ведомостей», он работал в «Современных известиях», которые издавал около 20 лет известный публицист и ученый Н. П. Гиляров-Платонов, бакалавр духовной академии, славянофил, сотрудник И. С. Аксакова.

«Современные известия» – как значилось в программе, политические, общественные, церковные, ученые, литературные и художественные, – были тогда самой распространенной газетой и весьма своеобразной: с одной стороны, они блистали яркими политическими статьями, с другой – с таким же жаром врывались в общественную и городскую жизнь. То громили «коварный Альбион», то бочки отходников, беспокоившие по ночам

Никиту Петровича, жившего на углу Знаменки и Антипьевского переулка в нижнем этаже, окнами на улицу.

Это был человек именно не от мира сего.

Он спал днем, работал ночью. Редко кого принимал у себя, кроме ближайших сотрудников, да и с теми мало разговаривал. Я только раз был у него, в мае месяце. Он по обыкновению лежал на диване в теплой шапке и читал гранки. Руки никому никогда не подавал и, кто бы ни пришел, не вставал с дивана.

Газета шла хорошо, денег в кассе бывало много, но Никита Петрович мало обращал на них внимания. Номера выпускал частью сам (типография помещалась близко, в Ваганьковском переулке), частью второй редактор, его племянник, Ф. А. Гиляров, известный педагог и филолог. Тоже не от мира сего, тоже не считавший денег.

И шло бы все по-хорошему, да вдруг поступила в контору редакции на 18 рублей жалования некая барынька, Марья Васильевна, – и фактическое распоряжение кассой оказалось в руках у нее. К Никите Петровичу она вхожа стала и его к рукам прибрала. Но надо ска-

зять, что о любовных делах здесь и помину не было. Когда же касса опустела, Марья Васильевна исчезла.

Ее место заступил управляющий Кац, на которого друзья и сотрудники жаловались Никите Петровичу и советовали его учитывать, но Никита Петрович отвечал всем одно и то же: «Ах, оставьте, как это все противно!» И, наконец, кажется в 1887 году «Современные известия» закрылись от запутанных дел. Хотя газета еще шла, но «Московский листок» ускорил ее кончину.

«Московский листок», во главе которого встал Пастухов, вскормлен «Современными известиями».

Пастухов в «Современных известиях» под псевдонимом Старый Знакомый каждую субботу писал московский фельетон, где, как тогда говорилось, «прохватывал и протаскивал» купца и обывателя, не щадя интимной жизни.

Москва читала эти фельетоны взасос.

А по воскресеньям такие же фельетоны, еще более хлесткие, писал под псевдонимом Берендей некто П. А. Збруев, полицейский чи-

НОВНИК.

И эти два фельетониста создавали успех газеты.

Пастухов, кроме того, писал фельетоны с нижегородской ярмарки, где в 1880 году познакомился с гр. Н. П. Игнатьевым, который и разрешил ему, человеку без всякого ценза, за разные услуги, газету.

И еще за полгода почти до выхода «Листка» в «Будильнике» появилась карикатура: едет Пастухов на рысаке, в шубе, на санках. На лошади надпись: «Московский листок», а внизу подпись: «На своей собственной».

И 1 августа 1881 года Н. И. Пастухов выехал.

На своей собственной! Вышел 1-й номер «Московского листка». Фактическим редактором был Н. П. Кичеев, редактор «Будильника», старый литератор, чистый и изящный человек.

На другой день, 2 августа, он меня в саду театра А. А. Бренко, у которой я служил, познакомил с Пастуховым, а тот пригласил меня сотрудничать, и в номере от 4 августа я дебютировал театральными анекдотами, под

псевдонимом Театральная Крыса.

Газета печаталась в типографии Погодина на Софийской набережной, близ Б. Каменного моста.

Владелец дома и типографии, маленький человек с большой бородой и в черном сюртуке, Дм. Мих. Погодин, отрекомендовался мне при встрече:

– Дмитрий Погодин. Сын знаменитого историка.

Производил впечатление недалекого, ограниченного человека. Он то и дело прибегал в редакцию, удирая от своей властной жены, которой боялся.

Пока первые дни «Листок» издавался опрятно. Но вдруг Пастухов завел отдел: «Советы и ответы».

Это нечто неслыханное. Например: «Купцу Ильюше. Гляди за своей супругой, а то она к твоему адвокату ластится: ты в лавку – и он тут как тут... Поглядывай». Или: «Васе из Рогожской. Тухлой солониной торгуешь, а певиче венгерке у Яра брильянты даришь. Как бы Матрена Филиппьевна не прознала». И весь город грохотал: и Вася и Матрена Филиппов-

на были действительно, их знали и проходу им не давали зубоскалы-купцы, пока сами не попадались в «Советы и ответы».

А попадались очень многие.

После первого же такого появления «Советов и ответов» Кичеев отказался от редактирования, и его место временно занял Игнатий Герсон, маленький сотрудник, у которого визитные карточки были таковы: «Игнатий Герсон. Прозаическое заведение и рифмоплетня». Талантливый автор сценок, но больше юморист, чем редактор.

Герсона вскоре сменил Ев. Ал. Балле. Газета шла ходко, сообщая всякую московскую новость раньше всех других. Репортаж под руководством Н. И. Пастухова был поставлен блестяще. Он облюбовал меня и целыми днями и вечерами, а то и до утра, возил с собой всюду, со всеми знакомил и учил, как и что писать и как добывать сведения. Эта работа увлекла меня, и в первый же год я сделал большую услугу «Листку».

29 июня 1882 года на 296 версте Московско-Курской железной дороги провалился в размытую ночным ливнем насыпь почтовый

поезд, и трупы откапывали с глубины 14 саженей.

Я в тот же день был на месте катастрофы, дал на другой день раньше всех газет целый фельетон с подробностями, поразившими Москву, и две недели я прожил в этой могиле, ежедневно посылал корреспонденции о кукуевской катастрофе. Она была под Мценском, в пяти верстах от Спасского-Лутовинова И. С. Тургенева, там жил на даче в это время Я. П. Полонский с семьей и гостил Ев. М. Гаршин, который, приехав на место катастрофы, увидел меня и увез к Я. П. Полонскому, где я иногда и ночевал, а утром уезжал на работу.

Розница газеты возрастала тысячами.

А еще, когда в Орехово-Зуеве сгорела у Викулы Морозова рабочая казарма с народом, я, переодевшись рабочим, два дня пробыл на фабрике и дал две корреспонденции со всеми подробностями и именами погибших, что старались скрыть администрация фабрики и полицейские власти.

И газета получила известность в фабричных районах. Купцы дрожали и трепетали Пастухова.

Потом явился вместо Валле-де-Бара выпускающим номера Ф. К. Иванов, который до самого конца издания, до 1917 года, и был редактором уже измененного тогда «Листка».

Одновременно с Ивановым прибыл из Великого Села, Ярославской губернии, новый сотрудник, сельский учитель А. М. Пазухин, и предложил писать повести и рассказы.

А в это время в Москве издавалась Н. П. «Паниным, гласным Думы и владельцем знаменитого завода шипучих вод, газета «Русский курьер». Газета чистая и самая либеральная. В ней работали В. А. Гольцев и Вл. И. Немирович-Данченко, А. О. Лютецкий и другие либералы того времени.

Пастухов в своей газете жестоко ругал своего конкурента, называя Ланина кислещейным фабрикантом и «Русский курьер» кислещейной газетой.

«Русский курьер» кто-то подвел, напечатав под другим заглавием какое-то известное классическое произведение, а потом П. И. Кичеев, старый журналист, написал и послал, конечно, от чужого имени либеральное стихотворение, которое «Русский курьер» напе-

чтал, – и оно оказалось акростихом «Ланин – дурак».

И «Московский листок» до того был аккуратен, боясь быть одураченным, что когда Пазухин принес в первый раз в редакцию свою повесть, то побоялись ее взять: вдруг краденая!

– А может быть, ты откуда-нибудь ее украл! – так и сказал ему при нас Пастухов.

И заставили его тут же, в редакции, написать на заданную тему рассказ. И он написал «Приезд сельского учителя», который и был напечатан. А затем Пазухин написал сотни сенок и десятки романов из купеческого и крестьянского быта, где всегда правда и добро торжествовали. Его читатели любили – и вторники и пятницы с романами Пазухина печатали газеты больше. По воскресеньям сценки писал И. Ш. Мясницкий (И. И. Барышев, управляющий издательством и домом К. Т. Солдатенкова).

Больше пазухинских романов имел успех только пастуховский «Разбойник Чуркин». История такова: в Гуслицах, а именно в селе Запонорье, проживал разбойник Василий

Чуркин. Дело о нем, довольно большое, находилось в уездном полицейском управлении, и исправник Афанасьев, приятель Пастухова, дал ему это дело на дом как материал для очерка. И вот Пастухов затеял написать роман, хотя самый Васька Чуркин далеко не был разбойником, а просто грабил на дорогах, воровал из вагонов и шантажировал угрозами пожаров местных мелких фабрикантов. Он был сослан в Сибирь, бежал, опять принялся за разбой и был убит местными крестьянами в болоте около деревни Заволенье. А Пастухов сделал из него героя-разбойника, так что генерал-губернатор В. А. Долгоруков запретил печатать роман. Я несколько раз по просьбе Пастухова ездил для проверки фактов и для описания местности в Гуслицы, и когда говорил Пастухову, что Чуркин вовсе не интересный тип, он злился и все-таки писал свое.

Особенно подробно давались в «Листке» отчеты из окружного суда. Впоследствии их давала Козлянинова, а в начале издания А. Я. Липскеров, бывший судебный стенограф «Московских ведомостей», тоже человек ма-

лограмотный, писавший, например: «одна ножница», «пара годов» и т. п. И Липскерову выхлопотал М. Н. Катков свою газету «Новости дня» в 1883 году.

Пастухов обозлился на нового конкурента и ругательски ругал его, а если кто из сотрудников уходил в «Новости дня», то делался врагом его. Зато было полное ликование, если сотрудник из «Новостей дня» переходил в «Листок». Когда В. М. Дорошевич, почему-то поссорившийся с Липскеровым, пришел к Пастухову, то он такой гонорар ему дал, о каком в России не слыхивали. Впрочем, ненадолго: Дорошевич уехал в Одессу.

Я в 1884 году перешел в «Русские ведомости», и Пастухов дулся на меня, но почему-то все-таки относился ко мне прекрасно и всегда приглашал меня к себе и на свои ежедневные обеды у Тестова.

Впрочем, я давал ему кое-какие мелочи, а когда сотрудничал в «Новостях дня», работал главным образом в журналах: в «Будильнике», «Развлечениях», «Осколках», «Зрителе», а впоследствии печатался и в толстых журналах, – и все-таки с Пастуховым дружил и лю-

бил его: безусловно, добрейшей души был человек, готовый помочь нуждающемуся, кто бы он ни был. И помогал не мелкими подарочками, а прямо жизнь человеку устраивал, особенно семейным людям. И все это делал так, чтобы никто ничего не знал. Я мог бы привести десятки случаев, мне известных. И что бы про Н. И. Пастухова не говорили, а я скажу одно при воспоминании о нем:

«Жил-был на свете добрый человек!»

В 1883 году я начал работать по репортажу для «Русских ведомостей». Редакция тогда помещалась в доме Мецгера в Юшковом переулке по Мясницкой. Как раз в том доме, на котором переламывается этот искривленный переулок. Во дворе – типография, а в фасадном корпусе – редакция. Солидная обстановка с огромными, зеленым сукном крытыми, столами, с единственным портретом основателя газеты Н. С. Скворцова.

Тогда уже редактором был В. М. Соболевский, заведующим редакцией был добрейшей души человек В. С. Пагануцци, присяжный поверенный, а в хозяйственном отделе принимал участие его друг А. А. Никольский, ко-

торому, собственно говоря, газета и была обязана своим существованием и благосостоянием. После кончины Н. С. Скворцова дела газеты шли туго, она, как говорится, дышала на ладан и погибла, бы, если бы Никольский, юрисконсульт железных дорог, не нашел мецената в лице В. К. фон Мекка, председателя правления Московско-Рязанской железной дороги. Тот сыпнул деньгами, и газета пережила тяжелое время, а там помогла ее дальнейшему успеху В. А. Морозова – и газета расцвела. Вскоре долги все были уплачены и даже приобретены газетой дом и собственная типография.

Еще солиднее обставлена была редакция с рядом отдельных кабинетов и большой редакционной приемной, где перед громадным библиотечным шкафом стоял огромный зеленого сукна стол, на одном конце которого важно заседал заведующий московским отделом А. П. Лукин, а в уголке – секретарь редакции, где и принимал он. посетителей. Для вящей торжественности А. П. Лукин над книжным шкафом водрузил большой гипсовый бюст Зевса, найденный на чердаке вновь куп-

ленного дома, и, сидя против него, вдохновлялся величием громовержца.

Кроме «Русских ведомостей», где он писал и фельетоны за подписью Скромный Наблюдатель, Лукин вел фельетоны в «Новостях», но только под псевдонимом «ХП». Именно двенадцать. Он сам писал их мало, а заказывал разным сотрудникам кусочки фельетонов по разным вопросам и сшивал их вместе, составляя фельетон. Я много зарабатывал у него этим путем, получая 5 копеек за строку.

В московском отделе главными силами были: милейший Ф. Н. Митропольский, ведущий заседания Думы и земства, добрейший и невозмутимый неповоротливый толстяк, которого звали «Недвижимое имущество «Русских ведомостей», и я, в противоположность ему носивший прозвание «Летучий репортер». И ту и другую кличку дали нам остроумцы в типографии. Я вел городские происшествия и, в случае катастроф, эпидемий или лесных пожаров, командировался «специальным корреспондентом» на место происшествий, иногда очень далеко, даже на Кавказ, на Волгу и пр. Увлечшись этим живым делом,

я не жалел сил и достиг того, что перебивал славу репортеров «Московского листка» и портил спортсменскую кровь Пастухова, набрасывавшегося на стаю своих репортеров при всяком случае, когда появившееся у меня сенсационное известие просыпал «Листок». Вторым редактором «Русских ведомостей» был незабвенный, милый П. И. Бларамберг. Добрейший человек, прекрасный редактор и известный композитор. Одна из его опер «Тушинцы» шла в Большом театре в 1845 году. «Шестидесятник-идеалист» – так озаглавлен был его некролог в «Историческом вестнике» в 1907 году.

Помню такой случай. Из дома Корзинкина в фирме Бордевиль украли двадцатипудовый нескораемый шкаф с большими деньгами. Кража, выходящая из ряда обыкновенных: взломали двери и увезли шкаф из Столешникова переулка – самого людного места – в августе месяце.

Полицию поставили на ноги, сыскнушка разослала агентов всюду, дело вел знаменитый в то время следователь по особым делам В. Ф. Кейзер, который впоследствии вел дело

Ходынки, где нам опять пришлось с ним встретиться.

И никаких результатов!

Прошло недели три – дело замолкло.

Выхожу я как-то вечером из дома – я жил в доме Вельтищева, на Б. Никитской, – а у ворот встречает меня известный громила Болдоха, не раз бегавший из Сибири, громила по специальности.

– Я к вам! Пропишите их, подлецов, господин Гиляровский, в газете.

И рассказал он мне в подробностях до мелочей всю кражу у Бордевиля, как при его главном участии увезли шкаф, отправили его по Рязанской дороге в город Егорьевск, оттуда на лошади в Ильинский погост в Гуслицы, за 12 верст от станции, и по дороге к Запонорье, в кустах, взломали шкаф и сбросили его в речку Гуслицу, у моста, в глубокое место под ветлами. Денег там нашли около 15 тысяч рублей, поделили и поехали обратно, а потом дорогой Болдоху опоили «малинкой», обобрали и в бесчувственном состоянии сбросили с поезда, думая, что он мертвый. Когда же он вернулся на Хитров к организатору кражи,

съемщику-капиталисту Золотому, тот сказал, что ничего знать не знает, что все в поезде были пьяны и не видели, как и куда Болдоха скрылся. Свалился, должно, пьяный с поезда, а мы знать не знаем!

И на следующий день в «Русских ведомостях» я напечатал подробнейший рассказ Болдохи с указанием места, где лежит шкаф. Болдохе я верил безусловно.

Через день особой повесткой меня вызывают в сыскную полицию. В кабинете сидят помощник начальника капитан Николас и Кейзер. Набросились на меня, пугают судом, арестом, высылкой, допытываются, а я смеюсь:

– Мои агенты лучше ваших! Кейзер из себя выходит.

– Если это неправда, мы вас привлечем по статьям...

– Пошлите вы прежде ваших агентов в Гуслицы за шкафом.

– А если его там нет, то вы будете под судом.

Я ушел домой, а через два дня мне сообщили, что сыщик Рудников, ездивший в Гуслицы, привез шкаф, и последний находится,

взломанный, в сыскном отделении.

Кейзер приезжал в редакцию, но меня не нашел. Уже зимой Болдоха, арестованный на месте преступления, указал всех участников, и дело Золотого разбиралось в окружном суде и кончилось каторгой.

Болдоха успел бежать.

Редакция платила мне 5 копеек за строку, отдельные расходы и 100 рублей в месяц.

Самая первая моя работа, давшая мне успех и положение в «Русских ведомостях», была напечатана в 1886 году. Это очерк из жизни рабочих на белильных заводах под заглавием «Обреченные». В 1873 году я был рабочим на белильном заводе Сорокина в Ярославле, и там на клочках бумаги, на нарах, в свободные часы я записывал впечатления. Эти клочки послал моему отцу, и они у него долго хранились. Ими-то я и воспользовался для этого правдивого очерка.

Никогда не позабыть мне пережитой мной, начинающим еще литератором, одной беседы в редакции за чаем и вином, где Н. К. Михайловский и А. И. Чупров говорили, что в России еще не народился пролетариат, а в от-

вет Г. И. Успенский привел в пример моих «Обреченных» и доказал, что первое гнездо российского пролетариата – это белильные заводы. И тогда, рассказывая им свои впечатления из заводской и бурлацкой жизни, я был центром внимания этих крупных людей. И в тот же день мы выпили на брудершафт и поружились с Глебом Ивановичем, с которым я был знаком раньше. А познакомились мы в Чернышах.

Так назывались номера на Тверской в доме Олсуфьева, против Брюсовского переулка. Это, можно сказать, было отделение «Русских ведомостей»: в верхнем этаже этих мебелирашек я жил в 1882–83 гг., а рядом со мной жил писатель М. И. Орфанов (Мишля). Живали здесь Ф. Д. Нефедов, Н. М. Астырев, С. А. Приклонский и Г. И. Успенский, и негласно пребывал, ночуя то у Мишлы, то у меня, Петр Григорьевич Зайчневский, тогда только что вернувшийся из каторги, автор знаменитой прокламации в 1862 году, призывавшей идти на Зимний дворец и истребить живущих там.

Еще тогда я водил Глеба Ивановича по трюцобам Хитрова рынка – мы ходили вдвоем, и

Глеб Иванович, издававший виды в «Растеряевой улице», приходил в ужас от виденного...

Тогда «Русские ведомости» были более демократичны, чем стали впоследствии, с переходом в свой дом. Подробности – в юбилейном издании «Русских ведомостей», где изложена вся история этой газеты, всегда воевавшей с «Московскими ведомостями». «Московские ведомости» была газета слишком известная по своему направлению, и сотрудники ее держались там скрытно и особняком, что из всех их только и появлялся в обществе, т. е., вернее, в театрах и на первых представлениях, лучший критик того времени С. В. Флеров (Васильев). Остальных никто и не видал и не знал. Разве только тогда, когда они появлялись в цензурных комитетах в качестве душителей всякого свободного слова в должности цензоров.

Они-то у меня и сожгли мою первую книгу «Трущобные люди».

Были еще газеты – «Русский листок», начавший издаваться, кажется, Миллером, под названием «Русский справочный листок», потом перешедший к присяжному поверенно-

му, гласному Думы Н. Л. Казецкому и впоследствии переименованный название на «Раннее утро».

Начал я с Пастухова и кончу им.

Раскаиваюсь и сожалею, как я раз обидел Николая Ивановича, и настолько жестоко, что у него слезы на глазах появились.

Н. И. Пастухов, издавая «Московский листок», одновременно во время ярмарки в Нижнем издавал «Нижегородскую почту». Как-то в «Осколках» Лейкина я напечатал шутку: «Цитаты из «Ревизора» нашим газетам». Против «Нижегородской почты» стояло: «Родная сестра тому кобелю, которого вы, наверное, знаете».

Встретил меня у Тестова Николай Иванович, вынул из кармана «Осколки», указал эти строки, подчеркнутые красным карандашом, и спросил:

– Ты?

– Я! Что же, это шутка.

– Шутка. Стало быть, моя «Почта» – сука, «Листок» – кобель, а я-то кто же буду?.. Стыдно, Володя, за хлеб, за соль так... – Слезы на глазах.

– Николай Иванович, я не хотел вас обидеть...

– Знаю, ради красного словца и себя облаещь... Идем селянку хлебать!

Были еще в Москве «Полицейские ведомости», которых никто не выписывал и не покупал.

В 1881 году в Москве была преобразована полиция. Уничтожили прежние кварталы и разделили Москву на 40 участков.

Квартальных переименовали в участковых приставов и дали им вместо старых мундиров со жгутиками чуть ли не гвардейскую форму с расшитыми серебряными воротниками и серебряными погонами с оранжевым просветом.

Это было после 1 марта 1881 года, когда все тщательно ждали реформ.

И по Москве заходили четыре стишка:

*Мы все надеждой запаслись —
Вот-вот пойдут у нас реформы.
И что же. Только дождалось
Городовые новой формы.*

И действительно только. Переоделись старые городовые в новую форму.

Пузатые, небритые квартальные надели почти что гвардейские мундиры, и только некоторые, из молодых, побрились и стали лихо закручивать усы.

Некоторые отпустили бороды по примеру царского двора, где из бакенбардов стали все бородасты: царь носил окладистую бороду.

И, конечно, ставши приставами, квартальные заважничали и подняли тариф: теперь фунтом чернослива или ногой телятины не отделаешься.

– Гони наличные, купить сами умеем!

Отдал я тогда в «Будильник» четверостишие, которое мне показали троекратно и зло зачеркнутым красными чернилами, да еще с цензорской добавкой: «Это уже не либерально, а мерзко!»

А четверостишие было такое:

*Квартальный был, стал участковый,
А в общем та же благодать.*

*Несли квартальному целковый —
А участковому дай пять.*

И вот в числе таких квартальных, переодевшихся в гвардейский мундир, был капи-

тан Змеев – щеголь и козырь.

В это время издавались «Полицейские ведомости», в которых только публиковалось о торгах и о пропавших собаках, да еще о сдаче квартир, и которых, конечно, никто не выписывал и не читал.

И вот приставам было приказано понажать на обывателей, особенно на домовладельцев, чтобы они обязательно подписывались.

Капитан Змеев в это время был приставом на Тверской-Ямской, где, особенно переулки, были населены потомками когда-то богатого сословия ямщиков, и вообще торговым, серым по тому времени, людом.

Он поручил собрать подписку околоточным, но безуспешно. Ответы были такие:

– На кой она нам!

– Мы люди неграмотные, газетов отродясь не читали! – и т. п.

И вот в одно из воскресений, после обедни, чуть ли не с городовыми на обширный двор участка были согнаны все домовладельцы.

Поддевки, длинные сюртуки ниже колен, смазные сапоги и картузы – как Дикой из

«Грозы» – наполнили двор. Вынесли стол с книгой подписки на газету.

Вышел на крыльцо грозный и блестящий пристав.

– Здравствуйте, почтенные.

– Здравствуйте, вскорodie...

– Кто у вас на «Полицейские ведомости» подписался, руку подними.

Поднялись две руки: трактирщик Осипов и лавочник Прокофьев.

– Выходи сюда. Пошли без шапок, дрожат.

– Ну, спасибо вам, молодцы! Можете идти домой! – Даже руку им подал на прощанье.

Обратился к писарю и приказал каждому раздать по газете – кому хватит.

– Здесь, вот видите, на первой странице высочайшие приказы и обязательные постановления напечатаны. Их обязан знать каждый обыватель. Берите газету, располагайтесь на травку и выучите наизусть пока первую страницу. Да чтобы без ошибок был! А кто выучит – пусть доложит мне, я проэкзаменую сам. – И крикнул городовым: – Никого не выпускайте со двора.

Городовые заперли ворота. Пристав важно

ушел в канцелярию. Ошалелые обыватели бросились к писарю. Некоторые стали по складам читать газету и заучивать. Писарь предложил желающим подписаться и с квитанцией идти к приставу в канцелярию. Конечно, сдачи с пяти рублей не давал. (Газета стоила 4 рубля в год.) Брала квитанции, шли в канцелярию и исчезали. Некоторые, упорные, пробовали учить заданное, но ничего не выходило. В результате весь участок Змеева подписался на «Полицейские ведомости», а выходявшие из аудиенции через парадный ход участка прямо на улицу почесывали затылок.

– Н-да... Что ловко, то ловко, а четвертной в кармане нет.

Помню, и мне, журналисту, раз пришлось участвовать в полицейской взятке.

Приставом 3-го участка Тверской части был долгое время Замайский. Большой театрал, меценат отчасти и очень любезный с представителями печати, которых побаивался.

Было в Большом театре соное представление «Демона», причем дирижировал сам Ру-

бинштейн. «Русские ведомости» выдали мне 5 рублей на билет и просили дать отчет об этом спектакле. Нечего говорить, что за 5 рублей никакого билета достать было нельзя. Но все же я вошел в театр, где меня знали даже все капельдинеры, и первое действие простоял в проходе при входе. К концу действия вошел Замайский и стал рядом со мной.

– Что же вы не сидите?

– Места нет – не мог билета купить.

– Н-да.

Акт кончился, публика хлынула к выходу, и я тоже. Но Замайский меня остановил:

– Погодите!

Я в недоумении остановился.

Замайский зорко оглядывал проходящих и вдруг поманил пальцем высокого молодого человека, шикарно одетого, в черном сюртуке. Тот вытянулся перед ним.

– Что прикажете, Станислав Фомич?

– В каком ряду сидишь?

– В пятом-с.

– Давай билет.

Франт передал билет приставу.

– П-шел, мерзавец.

Тот нырнул к выходу, а пристав ко мне.

– Вот садитесь, место хорошее, пятый ряд. Я стоял в недоумении.

– Возьмите и садитесь. Будьте спокойны, билет правильный. Берите, – и сунул мне билет в руку.

– Как же это? – удивляюсь я.

– Да вот так!.. Вы знаете, кто этот мерзавец? Карманник это, Пашка Рябчик.

И отчет о спектакле появился только благодаря этому случаю.

Москва и москвичи

От автора

Я – москвич! Сколь счастлив тот, кто может произнести это слово, вкладывая в него всего себя. Я – москвич!

...Минувшее проходит предо мною...

Привожу слова пушкинского Пимена, но его несравненно богаче: на пестром фоне хорошо знакомого мне прошлого, где уже умирающего, где окончательно исчезнувшего, я вижу растущую не по дням, а по часам новую Москву. Она ширится, стремится вверх и вниз, в неведомую доселе стратосферу и в подземные глубины метро, освещенные электричеством, сверкающие мрамором чудесных зал.

...В «гранит одетая» Москва-река окаймлена теперь тенистыми бульварами. От них сбегают широкие каменные лестницы. Скоро они омоются новыми волнами: Волга с каждым днем приближается к Москве.

Когда-то на месте этой каменной лестницы, на Болоте, против Кремля, стояла на шесте голова Степана Разина, казненного здесь. Там, где недавно, еще на моей памяти, были болота, теперь – асфальтированные улицы, прямые, широкие. Исчезают нестройные ряды устарелых домишек, на их месте растут новые, огромные дворцы. Один за другим поднимаются первоклассные заводы. Недавние гнилые окраины уже слились с центром и почти не уступают ему по благоустройству, а ближние деревни становятся участками столицы. В них входят стадионы – эти московские коллизеи, где десятки и сотни тысяч здоровой молодежи развивают свои силы, готовят себя к героическим подвигам и во льдах Арктики, и в мертвой пустыне Кара-Кумов, и на «Крыше мира», и в ледниках Кавказа.

Москва вводится в план. Но чтобы создать новую Москву на месте старой, почти тысячу лет строившейся кусочками, где какой удобен для строителя, нужны особые, невиданные доселе силы...

Это стало возможно только в стране, где

Советская власть.

Москва уже на пути к тому, чтобы сделать-ся первым городом мира. Это на наших глазах.

...Грядущее проходит предо мною...

И минувшее проходит предо мной. Уже теперь во многом оно непонятно для молодежи, а скоро исчезнет совсем. И чтобы знали жители новой столицы, каких трудов стоило их отцам выстроить новую жизнь на месте старой, они должны узнать, какова была старая Москва, как и какие люди бытовали в ней.

И вот «на старости я сизнова живу» двумя жизнями; «старой» и «новой». Старая – фон новой, который должен отразить величие второй. И моя работа делает меня молодым и счастливым – меня, прожившего и живущего

*На грани двух столетий,
На переломе двух миров.*

Москва, декабрь 1934 г.

В Москве

Наш полупустой поезд остановился на темной наружной платформе Ярославского вокзала, и мы вышли на площадь, миновав галдевших извозчиков, штурмовавших богатых пассажиров и не удостоивших нас своим вниманием. Мы зашагали, скользя и спотыкаясь, по скрытым снегом неровностям, ничего не видя ни под ногами, ни впереди. Безветренный снег валил густыми хлопьями, сквозь его живую вуаль изредка виднелись какие-то светлевшие пятна, и, только наткнувшись на деревянный столб, можно было удостовериться, что это фонарь для освещения улиц, но он освещал только собственные стекла, залепленные сырым снегом.

Мы шли со своими сундучками за плечами. Иногда нас перегоняли пассажиры, успевшие нанять извозчика. Но и те проехали. Полная тишина, безлюдье и белый снег, переходящий в неведомую и невидимую даль. Мы знаем только, что цель нашего пути – Лефортово, или, как говорил наш вожак, коренной москвич, «Лафортово».

– Во, это Рязанский вокзал! – указал он на темневший силуэт длинного, неосвещенного здания со светлым круглым пятном наверху; это оказались часы, освещенные изнутри и показывавшие половину второго.

Миновали вокзалы, переползли через су-гроб и опять зашагали посредине узких переулков вдоль заборов, разделенных деревянными домишками и запертыми наглухо воротами. Маленькие окна отсвечивали кое-где желто-красным пятнышком лампадки... Темь, тишина, сон беспробудный.

Вдали два раза ударил колокол – два часа! – Это на Басманной. А это Ольховцы... – пояснил вожатый. И вдруг запел петухом:

– Ку-ка-ре-ку!..

Мы оторопели: что он, с ума спятил?

А он еще...

И вдруг – сначала в одном дворе, а потом и в соседних ему ответили проснувшиеся петухи. Удивленные несвоевременным пением петухов, сначала испуганно, а потом зло залились собаки. Ольховцы ожили. Кое-где засветились окна, кое-где во дворах застучали засовы, захлопали двери, слышались удив-

ленные голоса: «Что за диво! В два часа ночи поют петухи!»

Мой друг Костя Чернов залаял по-собачьи; это он умел замечательно, а потом завыл по-волчьи. Мы его поддержали. Слышно было, как собаки гремят цепями и бесятся.

Мы уже весело шагали по Басманной, совершенно безлюдной и тоже темной. Иногда натыкались на тумбы, занесенные мягким снегом. Еще площадь. Большой фонарь освещает над нами подобие окна с темными и непонятными фигурами.

– Это Разгуляй, а это дом колдуна Брюса, – пояснил Костя.

Так меня встретила в первый раз Москва в октябре 1873 года.

Из Лефортова в Хамовники

На другой день после приезда в Москву мне пришлось из Лефортова отправиться в Хамовники, в Теплый переулок. Денег в кармане в обрез: два двугривенных да медяки. А погода такая, что сапог больше изорвешь. Обледенелые нечищенные тротуары да талый снег на огромных бульгах. Зима еще не устоялась.

На углу Гороховой – единственный извозчик, старик, в армяке, подпоясанном обрывками вылинявшей вожжи, в рыжей, овчинной шапке, из которой султаном торчит кусок пакли. Пузатая мохнатая лошаденка запряжена в пошевни – низкие лубочные санки с низким сиденьем для пассажиров и перекинутой в передней части дощечкой для извозчика. Сбруя и вожжи веревочные. За подпояской кнут.

– Дедушка, в Хамовники!

– Кое место?

– В Теплый переулок.

– Двоегривенный.

Мне показалось это очень дорого.

– Гривенник.

Ему показалось это очень дешево. Я пошел. Он двинулся за мной.

– Последнее слово – пятиалтынный? Без почину стою...

Шагов через десять он опять:

– Последнее слово – двенадцать копеек...

– Ладно.

Извозчик бьет кнутом лошаденку. Скользим легко то по снегу, то по оголенным мокрым булыгам, благо широкие деревенские полозья без железных подрезов. Они скользят, а не режут, как у городских санок. Зато на всех косогорах и уклонах горбатой улицы сани раскатываются, тащат за собой избочившуюся лошадь и ударяются широкими отводами о деревянные тумбы. Приходится держаться за спинку, чтобы не вылететь из саней.

Вдруг извозчик оборачивается, глядит на меня:

– А ты не сбежишь у меня? А то бывает: везешь, везешь, а он в проходные ворота – юрк!

– Куда мне сбежать – я первый день в Москве...

– То-то!

Жалуется на дорогу:

– Хотел сегодня на хозяйской гитаре выехать, а то туда, к Кремлю, мостовые совсем оголели...

– На чем? – спрашиваю. – На гитаре?

– Ну да, на колибере... вон на таком, гляди.

Из переулка поворачивал на такой же, как и наша, косматой лошаденке странный экипаж. Действительно, какая-то гитара на колесах. А впереди – сиденье для кучера. На этой «гитаре» ехали купчиха в салопе с куньим воротником, лицом и ногами в левую сторону, и чиновник в фуражке с кокардой, с портфелем, повернутый весь в правую сторону, к нам лицом.

Так я в первый раз увидел колибер, уже уступивший место дрожкам, высокому экипажу с дрожащим при езде кузовом, задняя часть которого лежала на высоких, полукругом, рессорах. Впоследствии дрожки были положены на плоские рессоры и стали называться, да и теперь зовутся, пролетками.

Мы ехали по Немецкой. Извозчик разговаривался:

– Эту лошадь – завтра в деревню. Вчера на Конной у Илюшина взял за сорок рублей кир-

гизку... Добрая. Четыре года. Износу ей не будет... На той неделе обоз с рыбой из-за Волги пришел. Ну, барышники у них лошадей укупили, а с нас вдвое берут. Зато в долг. Каждый понедельник трешку плати. Легко разве? Так все извозчики обзаводятся. Сибиряки привезут товар в Москву и половину лошадей распродадут...

Переезжаем Садовую. У Земляного вала – вдруг суматоха. По всем улицам извозчики, кучера, ломовики нахлестывают лошадей и жмутся к самым тротуарам. Мой возница остановился на углу Садовой.

Вдали звенят колокольчики.

Извозчик обернулся ко мне и испуганно шепчет:

– Кульеры! Гляди!

Колокольцы заливаются близко, слышны топот и окрики.

Вдоль Садовой, со стороны Сухаревки, бешено мчатся одна за другой две прекрасные одинаковые рыжие тройки в одинаковых новых коротеньких тележках. На той и на другой – разудалые ямщики, в шляпенках с павлиньими перьями, с гиканьем и свистом ма-

шут кнутами. В каждой тройке по два одинаковых пассажира: слева жандарм в серой шинели, а справа молодой человек в штатском.

Промелькнули бешеные тройки, и улица приняла обычный вид.

– Кто это? – спрашиваю.

– Жандармы. Из Питера в Сибирь везут. Должно, важнееюших каких. Новиков-сын на первой сам едет. Это его самолучшая тройка. Кульерская. Я рядом с Новиковым на дворе стою, нагляделся.

*...Жандарм с усищами в аршин.
А рядом с ним какой-то бледный
Лет в девятнадцать господин... —*

вспоминаю Некрасова, глядя на живую иллюстрацию его стихов.

– В Сибирь на каторгу везут: это – которые супротив царя идут, – пояснил полусшепотом старик, оборачиваясь и наклоняясь ко мне.

У Ильинских ворот он указал на широкую площадь. На ней стояли десятки линеек с облезлыми крупными лошадьми. Оборванные кучера и хозяева линеек суетились. Кто торговался с нанимателями, кто усаживал пасса-

жиров: в Останкино, за Крестовскую заставу, в Петровский парк, куда линейки совершали правильные рейсы. Одну линейку занимал синодальный хор, певчие переругивались ба-сами и дискантами на всю площадь.

– Куда-нибудь на похороны или на свадьбу везут, – пояснил мой возница и добавил: – Сейчас на Лубянке лошадку попоим. Давай копейку: пошло за счет седока.

Я исполнил его требование.

– Вот проклятущие! Чужих со своим ведром не пуцают к фанталу, а за ихнее копейку выплачивай сторожу в будке. А тот с начальством делится.

Лубянская площадь – один из центров города. Против дома Мосолова (на углу Большой Лубянки) была биржа наемных экипажей допотопного вида, в которых провожали покойников. Там же стояло несколько более приличных карет; баре и дельцы, не имевшие собственных выездов, нанимали их для визитов. Вдоль всего тротуара – от Мясницкой до Лубянки, против «Гусенковского» извозчичьего трактира, стояли сплошь – мордами на площадь, а экипажами к тротуарам –

запряжки легковых извозчиков. На морды лошадей были надеты торбы или висели на оглобле веревочные мешки, из которых торчало сено. Лошади кормились, пока их хозяева пили чай. Тысячи воробьев и голубей, шныряя безбоязненно под ногами, подбирали овес.

Из трактира выбегали извозчики – в расстегнутых синих халатах, с ведром в руке – к фонтану, платили копейку сторожу, черпали грязными ведрами воду и поили лошадей. Набрасывались на прохожих с предложением услуг, каждый хваля свою лошадь, величая каждого, судя по одежде, – кого «ваше степенство», кого «ваше здоровье», кого «ваше благородие», а кого «вась-сиясь!»

Шум, гам, ругань сливались в общий гул, покрываясь раскатами грома от проезжающих по булыжной мостовой площади экипажей, телег, ломовых полков[4] и водовозных бочек.

Водовозы вереницами ожидали своей очереди, окружив фонтан, и, взмахивая черпаками-ведрами на длинных шестах над бронзовыми фигурами скульптора Витали, черпали

воду, наливая свои бочки.

Против Проломных ворот десятки ломовиков то сидели идолами на своих полках, то вдруг, будто по команде, бросались и окружали какого-нибудь нанимателя, явившегося за подводой. Кричали, ругались. Наконец по общему соглашению устанавливалась цена, хотя нанимали одного извозчика и в один конец. Но для нанимателя дело еще не было кончено, и он не мог взять возчика, который брал подходящую цену. Все ломовые собирались в круг, и в чью-нибудь шапку каждый бросал медную копейку, как-нибудь меченую. Наниматель вынимал на чье-то «счастье» монету и с обладателем ее уезжал.

Пока мой извозчик добивался ведра в очереди, я на все успел насмотреться, поражаясь суете, шуму и беспорядочности этой самой тогда проезжей площади Москвы... Кстати сказать, и самой зловонной от стоянки лошадей.

* * *

Спустились к Театральной площади, «окружили» ее по канату. Проехали Охотный, Моховую. Поднялись в гору по Воздвиженке. У Арбата прогромыхала карета на высоких

рессорах, с гербом на дверцах. В ней сидела седая дама. На козлах, рядом с кучером, – выездной лакей с баками, в цилиндре с позументом и в ливрее с большими светлыми пуговицами. А сзади кареты, на запятках, стояли два бритых лакея в длинных ливреях, тоже в цилиндрах и с галунами.

За каретой на рысаке важно ехал какой-то чиновный франт, в шинели с бобром и в треуголке с плюмажем, едва помещая свое солидное тело на узенькой пролетке, которую тогда называли эгоисткой...

Театральная площадь

Грохот трамваев. Вся расцвеченная, площадь то движется вперед, то вдруг останавливается, и тысячи людских голов поднимают кверху глаза: над Москвой мчатся стаи самолетов – то гусиным треугольником, то меняя построение, как стеклышки в калейдоскопе.

Рядом со мной, у входа в Малый театр, сидит единственный в Москве бронзовый домовладелец, в том же самом заячьем халатике, в котором он писал «Волки и овцы». На стене у

входа я читаю афишу этой пьесы и переносюсь в далекое прошлое.

К подъезду Малого театра, утопая железными шинами в нескребенном снегу и ныряя по ухабам, подползла облезлая допотопная театральная карета. На козлах качался кучер в линючем армяке и вихрастой, с вылезшей ключьями паклей шапке, с подвязанной щекой. Он чмокал, цыкал, дергал веревочными вожжами пару разномастных, никогда не чищенных «кабысдохов», из тех, о которых популярный в то время певец Паша Богатырев пел в концертах слезный романс:

*Были когда-то и вы рысаками
И кучеров вы имели лихих...*

В восьмидесятих годах девственную неприкосновенность Театральной площади пришлось ненадолго нарушить, и вот по какой причине.

Светловодная речка Неглинка, заключенная в трубу, из-за плохой канализации стала клоакой нечистот, которые стекали в Москву-реку и заражали воду.

С годами труба засорилась, ее никогда не

чистили, и после каждого большого ливня вода заливала улицы, площади, нижние этажи домов по Неглинному проезду.

Потом вода уходила, оставляя на улице зловонный ил и наполняя подвальные этажи нечистотами.

Так шли годы, пока не догадались выяснить причину. Оказалось, что повороты (а их было два: один – под углом Малого театра, а другой – на площади, под фонтаном с фигурой скульптора Витали) были забиты отбросами города.

Подземные болота, окружавшие площадь, как и в древние времена, тоже не имели выхода.

Начали перестраивать Неглинку, открыли ее своды. Пришлось на площади забить несколько свай.

Поставили три высоких столба, привезли тридцатипудовую чугунную бабу, спустили вниз на блоке – и запели. Народ валил толпами послушать.

*Эй, дубинушка, ухнем,
эй, зеленая, подернем!..*

Поднимается артелью рабочих чугунная бабища и бьет по свае.

Чем больше собирается народу, тем оживленнее рабочие: они, как и актеры, любят петь и играть при хорошем сборе.

Запевала оживляется, – что видит, о том и поет. Вот он усмотрел толстую барыню-щеголиху и высоким фальцетом, отчеканивая слова, выводит:

*У барыни платье длинно,
Из-под платья...*

А уж дальше такое хватит, что барыня под улюлюканье и гоготанье рада сквозь землю провалиться. А запевала уже увидал франта в цилиндре:

*Франт, рубаха – белый цвет,
А порткам, знать, смены нет.*

И ржет публика, и все прибывает толпа. Артель утомилась, а хозяин требует; – Старайся, робя, наддай еще!

Встряхивается запевала и понаддает:

*На дворе собака брешет,
А хозяин пузо чешет.*

Толпа хохочет...

– Айда, робя, обедать.

«Дубинушку» пели, заколачивая сваи как раз на том месте, где теперь в недрах незримо проходит метро.

В городской думе не раз поговаривали о метро, но как-то неуверенно. Сами «отцы города» чувствовали, что при воровстве, взяточничестве такую панаму разведут, что никаких богатств не хватит...

– Только разворуют, толку не будет. А какой-то поп говорил в проповеди:

– За грехи нас ведут в преисподнюю земли. «Грешники» поверили и испугались.

Да кроме того, с одной «Дубинушкой» вместо современной техники далеко уехать было тоже мудрено.

Хитровка

Хитров рынок почему-то в моем воображении рисовался Лондоном, которого я никогда не видел.

Лондон мне всегда представлялся самым туманным местом в Европе, а Хитров рынок, несомненно, самым туманным местом в Москве.

Большая площадь в центре столицы, близ реки Яузы, окруженная облупленными каменными домами, лежит в низине, в которую спускаются, как ручьи в болото, несколько переулков. Она всегда курится. Особенно к вечеру. А чуть-чуть туманно или после дождя поглядишь сверху, с высоты переулка – жуть берет свежего человека: облако село! Спускаешься по переулку в шевелящуюся гнилую яму.

В тумане двигаются толпы оборванцев, мелькают около туманных, как в бане, огоньков. Это торговки съестными припасами сидят рядами на огромных чугунах или корчагах с «тушенкой», жареной протухлой колбасой, кипящей в железных ящиках над жаров-

нями, с бульонкой, которую больше называют «собачья радость»... Хитровские «гурманы» любят лакомиться объедками. «А ведь это был рябчик!» – смакует какой-то «бывший». А кто попроще – ест тушеную картошку с прогорклым салом, щековину, горло, легкое и завернутую рулетом коровью требуху с непромытой зеленью содержимого желудка – рубец, который здесь зовется «рябчик».

А кругом пар вырывается клубами из отворяемых поминутно дверей лавок и трактиров и сливается в общий туман, конечно, более свежий и ясный, чем внутри трактиров и ночлежных домов, дезинфицируемых только махорочным дымом, слегка уничтожающим запах прелых портянок, человеческих испарений и перегорелой водки.

Двух- и трехэтажные дома вокруг площади все полны такими ночлежками, в которых ночевало и уютилось до десяти тысяч человек. Эти дома приносили огромный барыш домовладельцам. Каждый ночлежник платил пятак за ночь, а «номера» ходили по двугривенному. Под нижними нарами, поднятыми на аршин от пола, были логовища на двоих; они

разделялись повешенной рогожей. Пространство в аршин высоты и полтора аршина ширины между двумя рогожами и есть «номер», где люди ночевали без всякой подстилки, кроме собственных отрепьев...

На площадь приходили прямо с вокзалов артели приезжих рабочих и становились под огромным навесом, для них нарочно выстроенным. Сюда по утрам являлись подрядчики и уводили нанятые артели на работу. После полудня навес поступал в распоряжение хитрованцев и барышников: последние скупали все, что попало. Бедняки, продававшие с себя платье и обувь, тут же снимали их и переодевались вместо сапог в лапти или опорки, а из костюмов – в «сменку до седьмого колена», сквозь которую тело видно...

Дома, где помещались ночлежки, назывались по фамилии владельцев: Бунина, Румянцева, Степанова (потом Ярошенко) и Ромейко (потом Кулакова). В доме Румянцева были два трактира – «Пересыльный» и «Сибирь», а в доме Ярошенко – «Каторга». Названия, конечно, негласные, но у хитрованцев они были приняты. В «Пересыльном» собирались бездом-

ники, нищие и барышники, в «Сибири» – степенью выше – воры, карманники и крупные скупщики краденого, а выше всех была «Каторга» – притон буйного и пьяного разврата, биржа воров и беглых. «Обратник», вернувшийся из Сибири или тюрьмы, не миновал этого места. Прибывший, если он действительно «деловой», встречался здесь с почетом. Его тотчас же «ставили на работу».

Полицейские протоколы подтверждали, что большинство беглых из Сибири уголовных арестовывалось в Москве именно на Хитровке.

Мрачное зрелище представляла собой Хитровка в прошлом столетии. В лабиринте коридоров и переходов, на кривых полуразрушенных лестницах, ведущих в ночлежки всех этажей, не было никакого освещения. Свой дорогу найдет, а чужому незачем сюда соваться! И действительно, никакая власть не смела сунуться в эти мрачные бездны.

Всем Хитровым рынком заправляли двое городских – Рудников и Лохматкин. Только их пудовых кулаков действительно боялась «шпана», а «деловые ребята» были с обоими

представителями власти в дружбе и, вернувшись с каторги или бежав из тюрьмы, первым делом шли к ним на поклон. Тот и другой знали в лицо всех преступников, пригладевшись к ним за четверть века своей несменяемой службы. Да и никак не скроешься от них: все равно свои донесут, что в такую-то квартиру вернулся такой-то.

Стоит на посту властитель Хитровки, сосет трубку и видит – вдоль стены пробирается какая-то фигура, скрывая лицо.

– Болдох! – гремит городской.

И фигура, сорвав с головы шапку, подходит.

– Здравствуйте, Федот Иванович!

– Откуда?

– Из Нерчинска. Только вчера прихрял. Уж извините пока что...

– То-то, гляди у меня, Сережка, чтоб тихо-мирно, а то...

– Нешто не знаем, не впервой. Свои люди...

А когда следователь по особо важным делам В. Ф. Кейзер спросил Рудникова:

– Правда ли, что ты знаешь в лицо всех беглых преступников на Хитровке и не аре-

штуешь их?

– Вот потому двадцать годов и стою там на посту, а то и дня не простишь, пришьют! Конечно, всех знаю.

И «благоденствовали» хитрованцы под такой властью.

Рудников был тип единственный в своем роде.

Он считался даже у беглых каторжников справедливым, и поэтому только не был убит, хотя бит и ранен при арестах бывал не раз. Но не со злобы его ранили, а только спасая свою шкуру. Всякий свое дело делал: один ловил и держал, а другой скрывался и бежал.

Такова каторжная логика.

Боялся Рудникова весь Хитров рынок как огня:

– Попадешься – возьмет!

– Прикажут – разыщет.

За двадцать лет службы городovým среди рвани и беглых у Рудникова выработался особый взгляд на все:

– Ну, каторжник... Ну, вор... нищий... бродяга... Тоже люди, всяк жить хочет. А то что? Один я супротив всех их. Нешто их всех пере-

ловишь? Одного пымаешь – другие прибегут... Жить надо!

Во время моих скитаний по трущобам и репортерской работы по преступлениям я часто встречался с Рудниковым и всегда дивился его умению найти след там, где, кажется, ничего нет. Припоминается одна из характерных встреч с ним.

С моим другом, актером Васей Григорьевым, мы были в дождливый сентябрьский вечер у знакомых на Покровском бульваре. Часов в одиннадцать ночи собрались уходить, и тут оказалось, что у Григорьева пропало с вешалки его летнее пальто. По следам оказалось, что вор влез в открытое окно, оделся и вышел в дверь.

– Соседи сработали... С Хитрова. Это уж у нас бывалое дело. Забыли окно запереть! – сказала старая кухарка.

Вася чуть не плачет – пальто новое. Я его утешаю:

– Если хитрованцы, найдем.

Попрощались с хозяевами и пошли в 3-й участок Мясницкой части. Старый, усатый пристав полковник Шидловский имел при-

вычку сидеть в участке до полуночи; мы его застали и рассказали о своей беде.

– Если наши ребята – сейчас достанем. Позвать Рудникова, он дежурный!

Явился огромный атлет, с седыми усами и кулачищами с хороший арбуз. Мы рассказали ему подробно о краже пальто.

– Наши! Сейчас найдем... Вы бы пожаловали со мной, а они пусть подождут. Вы пальто узнаете?

Вася остался ждать, а мы пошли на Хитров в дом Буниных. Рудников вызвал дворника, они пошептались.

– Ну, здесь взять нечего. Пойдем дальше!

Темь. Слякоть. Только окна «Каторги» светятся красными огнями сквозь закоптелые стекла да пар выходит из отворяющейся то и дело двери.

Пришли во двор дома Румянцева и прямо во второй этаж, налево в первую дверь от входа.

– Двадцать шесть! – крикнул кто-то, и все в ночлежке зашевелились.

В дальнем углу отворилось окно, и раздались один за другим три громких удара, будто

от проваливающейся железной крыши.

– Каторга сигает! – пояснил мне Рудников и крикнул на всю казарму: – Не бойтесь, дьяволы! Я один, никого не возьму, так зашел...

– Чего ж пугаешь зря! – обиделся рыжий, солдатского вида здоровяк, приготовившийся прыгать из окна на крышу пристройки.

– А вот морду я тебе набью, Степка!

– За что же, Федот Иванович?

– А за то, что я тебе не велел ходить ко мне на Хитров. Где хошь пропадай, а меня не подводи. Тебя ищут... Второй побег. Я не потерплю!..

– Я уйду... Вон «маруха» завела! – И он подмигнул на девицу с синяком под глазом.

– П-пшел! Чтоб я тебя не видел! А кто в окно сиганул? Зеленщик? Эй, Болдоха, отвечай!

Молчание.

– Кто? Я спрашиваю! Чего молчишь? Что я тебе – сыщик, что ли? Ну, Зеленщик? Говори! Ведь я его хромую ногу видел.

Болдоха молчит. Рудников размахивается и влепляет ему жесточайшую пощечину.

Поднимаясь с пола, Болдоха сквозь слезы говорит:

– Сразу бы так и спрашивал. А то каните-лится... Ну, Зеленщик!

– Черт с ним! ПопадетсЯ, скажи ему, забери. Чтоб утекал отсюда. Подводите, дьяволы. Пошлют искать – все одно возьму. Не спрашивают – ваше счастье, ночуйте. Я не за тем. Беги наверх, скажи им, дуракам, чтобы в окна не сигали, а то с третьего этажа убьются еще! А я наверх, он дома?

– Дрыхнет, поди!

Зашли в одну из ночлежек третьего этажа. Там та же история: отворилось окно, и мелькнувшая фигура исчезла в воздухе. Эту ночлежку Болдоха еще не успел предупредить.

Я подбежал к открытому окну. Подо мной зияла глубина двора, и какая-то фигура крадась вдоль стены. Рудников посмотрел вниз.

– А ведь это Степка Махалкин! За то и Махалкиным прозвали, что сигать с крыш мастак. Он?

– Васьки Чуркина брат, Горшок, а не Махалкин, – слышался из-под нар бас-октава.

– Ну, вот он и есть, Махалкин. А это ты, Лавров? Ну-ка вылазь, покажись барину.

– Это наш протодьякон, – сказал Рудников,

обращаясь ко мне.

Из-под нар вылез босой человек в грязной женской рубахе с короткими рукавами, открывавшей могучую шею и здоровенные плечи.

– Многая лета Федоту Ивановичу, многая лета! – загремел Лавров, но получив в морду, опять залез под нары.

– Соборным певчим был, семинарист. А вот до чего дошел! Тише вы, дьяволы! – крикнул Рудников, и мы начали подниматься по узкой деревянной лестнице на чердак. Внизу гудело «многая лета».

Поднялись. Темно. Остановились у двери. Рудников попробовал – заперто. Загремел кулачищем так, что дверь задрожала. Молчание. Он застучал еще сильнее. Дверь приотворилась на ширину железной цепочки, и из нее показался съемщик, приемщик краденого.

– Ну, что надо? И кто?

Поднимается кулак, раздается визг, дверь отворяется.

– И что вы деретесь? Я же человек!

– А коли ты человек – где пальто, которое

тебе Сашка Пономарь сегодня принес?

– И что вы ночью беспокоите? Никакого пальто мне не приносили.

– Так. Повыдьте-ка отсюда, а мы поищем! – сказал мне Рудников, и, когда за мной затворилась дверь, опять слышались крики.

Потом все смолкло. Рудников вышел и вынес пальто.

– Вот оно! Проклятый черт запрятал в самый нижний сундук и сверху еще пять сундуков поставил.

Таков был Рудников.

Иногда бывали обходы, но это была только видимость обыска: окружают дом, где поспокойнее, наберут «шпаны», а «крупные» никогда не попадались.

А в «Кулаковку» полиция и не совалась.

«Кулаковкой» назывался не один дом, а ряд домов в огромном владении Кулакова между Хитровской площадью и Свиныйинским переулком. Лицевой дом, выходивший узким концом на площадь, звали «Утюгом». Мрачнейший за ним ряд трехэтажных зловонных корпусов звался «Сухой овраг», а все вместе – «Свиной дом». Он принадлежал известному

коллекционеру Свиньину. По нему и переулок назвали. Отсюда и кличка обитателей: «утюги» и «волки Сухого оврага».

Забирают обходом мелкоту, беспаспортных, нищих и административно высланных. На другой же день их рассортируют: беспаспортных и административных через пересыльную тюрьму отправят в места приписки, в ближайшие уезды, а они через неделю опять в Москве. Придут этапом в какой-нибудь Зарайск, отметятся в полиции и в ту же ночь обратно. Нищие и барышники все окажутся москвичами или из подгородных слобод, и на другой день они опять на Хитровке, за своим обычным делом впредь до нового обхода.

И что им делать в глухом городишке? «Работы» никакой. Ночевать пустить всякий побоится, ночлежек нет, ну и пробираются в Москву и блаженствуют по-своему на Хитровке. В столице можно и украсть, и пострелять милостыньку, и ограбить свежего ночлежника; заманив с улицы или бульвара какого-нибудь неопытного беднягу бездомного, завести в подземный коридор, хлопнуть по затылку и

раздеть догола. Только в Москве и житье. Куда им больше деваться с волчьим паспортом: ни тебе «работы», ни тебе ночлега.

Я много лет изучал трущобы и часто посещал Хитров рынок, завел там знакомства, меня не стеснялись и звали «газетчиком».

Многие из товарищей-литераторов просили меня сводить их на Хитров и показать трущобы, но никто не решался войти в «Сухой овраг» и даже в «Утюг». Войдем на крыльцо, спустимся несколько шагов вниз в темный подземный коридор – и просятся назад.

Ни на кого из писателей такого сильного впечатления не производила Хитровка, как на Глеба Ивановича Успенского.

Работая в «Русских ведомостях», я часто встречался с Глебом Ивановичем. Не раз просиживали мы с ним подолгу и в компании и вдвоем, обедывали и вечера вместе проводили. Как-то Глеб Иванович обедал у меня, и за стаканом вина разговор пошел о трущобах.

– Ах, как бы я хотел посмотреть знаменитый Хитров рынок и этих людей, перешедших «рубикон жизни». Хотел бы, да боюсь. А вот хорошо, если б вместе нам отправиться!

Я, конечно, был очень рад сделать это для Глеба Ивановича, и мы в восьмом часу вечера (это было в октябре) подъехали к Солянке. Оставив извозчика, пешком пошли по грязной площади, окутанной осенним туманом, сквозь который мерцали тусклые окна трактиров и фонарики торговок-обжорок. Мы остановились на минутку около торговок, к которым подбегали полураздетые оборванцы, покупали зловонную пищу, причем непременно ругались из-за копейки или куска прибавки, и, съев, убегали в ночлежные дома.

Торговки, эти уцелевшие оглодки жизни, засаленные, грязные, сидели на своих горшках, согревая телом горячее кушанье, чтобы оно не простыло, и неистово вопили:

– Л-лап-ш-ша-лапшица! Студень свежий коровий! Оголовье! Свининка-рванинка вареная! Эй, кавалер, иди, на грош горла отрежу! – хрипит баба со следами ошибок молодости на конопатом лице.

– Горла, говоришь? А нос у тебя где?

– Нос? На кой мне ляд нос? И запела на другой голос:

– Печенка-селезенка горячая! Рванинка!

– Ну, давай всего на семитку!

Торговка поднимается с горшка, открывает толстую сальную крышку, грязными руками вытаскивает «рванинку» и кладет покупателю на ладонь.

– Стюдию на копейку! – приказывает нищий в фуражке с подобием кокарды...

– Вот беда! Вот беда! – шептал Глеб Иванович, жадными глазами следил за происходящим и жался боязливо ко мне.

– А теперь, Глеб Иванович, зайдём в «Каторгу», потом в «Пересыльный», в «Сибирь», а затем пройдем по ночлежкам.

– В какую «Каторгу»?

– Так на хитровском жаргоне называется трактир, вот этот самый!

Пройдя мимо торговки, мы очутились перед низкой дверью трактира-низка в доме Ярошенко.

– Заходить ли? – спросил Глеб Иванович, держа меня под руку.

– Конечно!

Я отворил дверь, откуда тотчас же хлынул зловонный пар и гомон. Шум, ругань, драка, звон посуды...

Мы двинулись к столику, но навстречу нам с визгом пронеслась по направлению к двери женщина с окровавленным лицом и вслед за ней – здоровенный оборванец с криком:

– Измордую проклятую!

Женщина успела выскочить на улицу, оборванец был остановлен и лежал уже на полу: его «успокоили». Это было делом секунды.

В облаке пара на нас никто не обратил внимания. Мы сели за пустой грязный столик. Ко мне подошел знакомый буфетчик, будущий миллионер и домовладелец. Я приказал подать полбутылки водки, пару печеных яиц на закуску – единственное, что я требовал в трущобах.

Я протер чистой бумагой стаканчики, налил водки, очистил яйцо и чокнулся с Глебом Ивановичем, руки которого дрожали, а глаза выражали испуг и страдание.

Я выпил один за другим два стакана, съел яйцо, а он все сидит и смотрит.

– Да пейте же!

Он выпил и закашлялся. – Уйдем отсюда... Ужас!

Я заставил его очистить яйцо. Выпили еще по стаканчику.

– Кто же это там?

За средним столом, обнявшись с пьяной девицей, сидел угощавший ее парень, наголо стриженный брюнет с перебитым носом.

Перед ним, здоровенный, с бычьей шеей и толстым бабьим лицом, босой, в хламиде наподобие рубахи, орал громоподобным басом «многая лета» бывший вышибала-пропойца.

Я объясняю Глебу Ивановичу, что это «фартовый» гуляет. А он все просит меня:

– Уйдем.

Расплатились, вышли.

– Позвольте пройти, – вежливо обратился Глеб Иванович к стоящей на тротуаре против двери на четвереньках мокрой от дождя и грязи бабе.

– Пошел в... Вишь, полон полусапожек...

И пояснила дальше хриплая и гнусавая баба историю с полусапожком, приправив крепким словом. Пыталась встать, но, не выдержав равновесия, шлепнулась в лужу.

Глеб Иванович схватил меня за руку и потащил на площадь, уже опустевшую и покры-

тую лужами, в которых отражался огонь единственного фонаря.

– И это перл творения – женщина! – думал вслух Глеб Иванович.

Мы шли. Нас остановил мрачный оборванец и протянул руку за подаванием. Глеб Иванович полез в карман, но я задержал его руку и, вынув рублевую бумажку, сказал хитрованцу:

– Мелочи нет, ступай в лавочку, купи за пятак папирос, принеси сдачу, и я тебе дам на ночлег.

– Сейчас сбегаю! – буркнул человек, зашлепал опорками по лужам, по направлению к одной из лавок, шагах в пятидесяти от нас, и исчез в тумане.

– Смотри, сюда неси папиросы, мы здесь подождем! – крикнул я ему вслед.

– Ладно, – слышалось из тумана.

Глеб Иванович стоял и хохотал.

– В чем дело? – спросил я.

– Ха-ха-ха, ха-ха-ха! Так он и принес сдачу. Да еще папирос! Ха-ха-ха!

Я в первый раз слышал такой смех у Глеба Ивановича.

Но не успел он еще как следует нахохотаться, как зашлепали по лужам шаги, и мой посланный, задыхаясь, вырос перед нами и открыл громадную черную руку, на которой лежали папиросы, медь и сверкало серебро.

– Девяносто сдачи. Пятак себе взял. Вот и «Заря», десяток.

– Нет, постой, что же это? Ты принес? – спросил Глеб Иванович.

– А как же не принести? Что я, сбегу, что ли, с чужими-то деньгами. Нешто я... – уверенно выговорил оборванец.

– Хорошо... хорошо, – бормотал Глеб Иванович.

Я отдал оборванцу медь, а серебро и папиросы хотел взять, но Глеб Иванович сказал:

– Нет, нет, все ему отдай... Все. За его удивительную честность. Ведь это...

Я отдал оборванцу всю сдачу, а он сказал удивленно вместо спасибо только одно:

– Чудаки господа! Нешто я украду, коли поверили?

– Пойдем! Пойдем отсюда... Лучшего нигде не увидим. Спасибо тебе! – обернулся Глеб Иванович к оборванцу, поклонился ему и

быстро потащил меня с площади. От дальнейшего осмотра ночлежек он отказался.

* * *

Многих из товарищей-писателей водил я по трущобам, и всегда благополучно. Один раз была неудача, но совершенно особого характера. Тот, о ком я говорю, был человек смелости испытанной, не побоявшийся ни «Утюга», ни «волков Сухого оврага», ни трактира «Каторга», тем более, что он знал и настоящую сибирскую каторгу. Словом, это был некто иной, как знаменитый П. Г. Зайчневский, тайно пробравшийся из места ссылки на несколько дней в Москву. Как раз накануне Глеб Иванович рассказал ему о нашем путешествии, и он весь загорелся. Да и мне весело было идти с таким подходящим товарищем. Около полуночи мы быстро шагали по Свинынскому переулку, чтобы прямо попасть в «Утюг», где продолжалось пьянство после «Каторги», закрывавшейся в одиннадцать часов. Вдруг солдатский шаг: за нами, вынырнув с Солянки, шагал взвод городских. Мы поскорее на площадь, а там из всех переулков стекаются взводами городские и окружают

дома: облава на ночлежников.

Дрогнула рука моего спутника:

– Черт знает... Это уже хуже!

– Не бойся, Петр Григорьевич, шагай смелее!..

Мы быстро пересекли площадь. Подколокольный переулок, единственный, где не было полиции, вывел нас на Яузский бульвар. А железо на крышах домов уже гремело. Это «серьезные элементы» выбирались через чердаки на крышу и пластами укладывались около труб, зная, что сюда полиция не полезет...

Петр Григорьевич на другой день в нашей компании смеялся, рассказывая, как его испугали толпы городских. Впрочем, было не до смеху: вместо кулаковской «Каторги» он рисковал попасть опять в нерчинскую!

В «Кулаковку» даже днем опасно ходить – коридоры темные, как ночью. Помню, как-то я иду подземным коридором «Сухого оврага», чиркаю спичку и вижу – ужас! – из каменной стены, из гладкой каменной стены вылезает голова живого человека. Я остановился, а голова орет:

– Гаси, дьявол, спичку-то! Ишь шлятся!

Мой спутник задул в моей руке спичку и потащил меня дальше, а голова еще что-то бурчала вслед.

Это замаскированный вход в тайник под землей, куда не то что полиция – сам черт не ползет.

В восьмидесятых годах я был очевидцем такой сцены в доме Ромейко.

Зашел я как-то в летний день, часа в три, в «Каторгу». Разгул уже был в полном разгаре. Сижу с переписчиком ролей Кириным. Кругом, конечно, «коты» с «марухами». Вдруг в дверь влетает «кот» и орет:

– Эй, вы, зеленые ноги! Двадцать шесть!

Все насторожились и наострили лыжи, но ждут объяснения.

– В «Утюге» кого-то пришили. За полицией побежали...

– Гляди, сюда прихондорят!

Первым выбежал здоровенный брюнет. Из-под нахлобученной шапки виднелся затылок, правая половина которого обросла волосами много короче, чем левая. В те времена каторжным еще брили головы, и я понял, что

ему надо торопиться. Выбежало еще человек с пяток, оставив «марух» расплачиваться за угощение.

Я заинтересовался и бросился в дом Ромейко, в дверь с площади. В квартире второго этажа, среди толпы, в луже крови лежал человек лицом вниз, в одной рубахе, обутый в лакированные сапоги с голенищами гармоникой. Из спины, под левой лопаткой, торчал нож, всаженный вплотную. Я никогда таких ножей не видал: из тела торчала большая, причудливой формы, медная блестящая рукоятка.

Убитый был «кот». Убийца – мститель за женщину. Его так и не нашли – знали, да не сказали, говорили: «хороший человек».

Пока я собирал нужные для газеты сведения, явилась полиция, пристав и местный доктор, общий любимец Д. П. Кувшинников.

– Ловкий удар! Прямо в сердце, – определил он.

Стали писать протокол. Я подошел к столу, разговариваю с Д. П. Кувшинниковым, с которым меня познакомил Антон Павлович Чехов.

– Где нож? Нож где? Полиция засуетилась.

– Я его сам сию минуту видел. Сам видел! – кричал пристав.

После немалых поисков нож был найден: его во время суматохи кто-то из присутствовавших вытащил и заложил за полбутылки в соседнем кабаке.

Чище других был дом Бунина, куда вход был не с площади, а с переулка. Здесь жило много постоянных хитрованцев, существовавших поденной работой вроде колки дров и очистки снега, а женщины ходили на мытье полов, уборку, стирку как поденщицы.

Здесь жили профессионалы-нищие и разные мастеровые, отрущобившиеся окончательно. Больше портные, их звали «раками», потому что они, голые, пропившие последнюю рубаху, из своих нор никогда и никуда не выходили. Работали день и ночь, перешивая тряпье для базара, вечно с похмелья, в отрепьях, босые.

А заработок часто бывал хороший. Вдруг в полночь вваливаются в «рачью» квартиру воры с узлами. Будят.

– Эй, вставай, ребята, на работу! – кричит разбуженный съемщик.

Из узлов вынимают дорогие шубы, лисьи ротонды и гору разного платья. Сейчас начинается кройка и шитье, а утром являются барышники и охапками несут на базар меховые шапки, жилеты, картузы, штаны.

Полиция ищет шубы и ротонды, а их уже нет: вместо них – шапки и картузы.

Главную долю, конечно, получает съемщик, потому что он покупатель краденого, а нередко и атаман шайки.

Но самый большой и постоянный доход давала съемщикам торговля вином. Каждая квартира – кабак. В стенах, под полом, в толстых ножках столов – везде были склады вина, разбавленного водой, для своих ночлежников и для их гостей. Неразбавленную водку днем можно было получить в трактирах и кабаках, а ночью торговал водкой в запечатанной посуде «шланбой».

В глубине бунинского двора был тоже свой «шланбой». Двор освещался тогда одним тусклым керосиновым фонарем. Окна от грязи не пропускали света, и только одно окно «шланбоя», с белой занавеской, было светлее других. Подходят кому надо к окну, стучат. От-

крывается форточка. Из-за занавесочки высывается рука ладонью вверх. Приходящий кладет молча в руку полтинник. Рука исчезает и через минуту появляется снова с бутылкой смирновки, и форточка захлопывается. Одно дело – слов никаких. Тишина во дворе полная. Только с площади слышатся пьяные песни да крики «караул». Но никто не пойдет на помощь. Разденут, разуют и голым пустят. То и дело в переулках и на самой площади поднимали трупы убитых и ограбленных донага. Убитых отправляли в Мясницкую часть для судебного вскрытия, а иногда – в университет.

Помню, как-то я зашел в анатомический театр к профессору И. И. Нейдингу и застал его читающим лекцию студентам. На столе лежал труп, поднятый на Хитровом рынке. Осмотрев труп, И. И. Нейдинг сказал:

– Признаков насильственной смерти нет.

Вдруг из толпы студентов вышел старый сторож при анатомическом театре, знаменитый Волков, нередко помогавший студентам препарировать, что он делал замечательно умело.

– Иван Иванович, – сказал он, – что вы, признаков нет! Посмотрите-ка, ему в «лигаментум-нухе» насыпали! – Повернул труп и указал перелом шейного позвонка. – Нет уж, Иван Иванович, не было случая, чтобы с Хитровки присылали не убитых.

* * *

Много оставалось круглых сирот из рожденных на Хитровке. Вот одна из сенок восьмидесятых годов.

В туманную осеннюю ночь во дворе дома Буниных люди, шедшие к «шланбою», услышали стоны с помойки. Увидели женщину, разрешавшуюся ребенком.

Дети в Хитровке были в цене: их сдавали с грудного возраста в аренду, чуть не с аукциона, нищим. И грязная баба, нередко со следами ужасной болезни, брала несчастного ребенка, совала ему в рот соску из грязной тряпки с нажеванным хлебом и тащила его на холодную улицу. Ребенок, целый день мокрый и грязный, лежал у нее на руках, отравляясь соской, и стонал от холода, голода и постоянных болей в желудке, вызывая участие у прохожих к «бедной матери несчастного сиро-

ты». Бывали случаи, что дитя утром умирало на руках нищей, и она, не желая потерять день, ходила с ним до ночи за подаванием. Двухлетних водили за ручку, а трехлеток уже сам приучался «стрелять».

На последней неделе великого поста грудной ребенок «покрикастее» ходил по четвертаку в день, а трехлеток – по гривеннику. Пятилетки бегали сами и приносили тяткам, мамкам, дяденькам и тетенькам «на пропой души» гривенник, а то и пятиалтынный. Чем больше становились дети, тем больше с них требовали родители и тем меньше им подавали прохожие.

Нищенствуя, детям приходилось снимать зимой обувь и отдавать ее караульщику за углом, а самим босиком метаться по снегу около выходов из трактиров и ресторанов. Приходилось добывать деньги всеми способами, чтобы дома, вернувшись без двугривенного, не быть избитым. Мальчишки, кроме того, стояли «на стреме», когда взрослые воровали, и в то же время сами подучивались у взрослых «работе».

Бывало, что босяки, рожденные на Хитров-

ке, на ней и доживали до седых волос, исчезая временно на отсидку в тюрьму или дальнюю ссылку. Это мальчишки.

Положение девочек было еще ужаснее.

Им оставалось одно: продавать себя пьяным развратникам. Десятилетние пьяные проститутки были не редкость.

Они ютились больше в «вагончике». Это был крошечный одноэтажный флигелек в глубине владения Румянцева. В первой половине восьмидесятых годов там появилась и жила подолгу красавица, которую звали «княжна». Она исчезала на некоторое время из Хитровки, попадая за свою красоту то на содержание, то в «шикарный» публичный дом, но всякий раз возвращалась а «вагончик» и пропивала все свои сбережения. В «Каторге» она распевала французские шансонетки, танцевала модный тогда танец качучу.

В числе ее «ухажеров» был Степка Махалкин, родной брат известного гуслицкого разбойника Васьки Чуркина, прославленного даже в романе его имени.

Но Степка Махалкин был почище своего брата и презрительно называл его:

– Васька-то? Пустельга! Портяночник!

Как-то полиция, арестовала Степку и отправила в пересыльную, где его заковали в кандалы. Смотритель предложил ему:

– Хочешь, сниму кандалы, только дай слово не бежать.

– Ваше дело держать, а наше дело бежать! А слова тебе не дам. Наше слово крепко, а я уже дал одно слово.

Вскоре он убежал из тюрьмы, перебравшись через стену.

И прямо – в «вагончик», к «княжне», которой дал слово, что придет. Там произошла сцена ревности. Махалкин избил «княжну» до полусмерти. Ее отправили в Павловскую больницу, где она и умерла от побоев.

* * *

В адресной книге Москвы за 1826 год в списке домовладельцев значится: «Свиньин, Павел Петрович, статский советник, по Певческому переулку, дом № 24, Мясницкой части, на углу Солянки».

Свиньин воспет Пушкиным: «Вот и Свиньин, Российский Жук». Свиньин был человек известный: писатель, коллекционер и

владелец музея. Впоследствии город переименовал Певческий переулочек в Свиньинский.

На другом углу Певческого переулка, тогда выходящего на огромный, пересеченный оврагами, заросший пустырь, постоянный притон бродяг, прозванный «вольным местом», как крепость, обнесенная забором, стоял большой дом со службами генерал-майора Николая Петровича Хитрова, владельца пустопорожного «вольного места» вплоть до нынешних Яузского и Покровского бульваров, тогда еще носивших одно название: «бульвар Белого города». На этом бульваре, как значилось в той же адресной книге, стоял другой дом генерал-майора Хитрова, № 39. Здесь жил он сам, а в доме № 24, на «вольном месте», жила его дворня, были конюшни, погреба и подвалы. В этом громадном владении и образовался Хитров рынок, названный так в честь владельца этой дикой усадьбы.

В 1839 году умер Свиньин, и его обширная усадьба и барские палаты перешли к купцам Расторгуевым, владевшим ими вплоть до Октябрьской революции.

Дом генерала Хитрова приобрел Воспита-

тельный дом для квартир своих чиновников и перепродал его уже во второй половине прошлого столетия инженеру Ромейко, а пустырь, все еще населенный бродягами, был куплен городом для рынка. Дом требовал дорогого ремонта. Его окружение не вызывало охотников снимать квартиры в таком опасном месте, и Ромейко пустил его под ночлежки: и выгодно, и без всяких расходов.

Страшные трущобы Хитровка десятки лет наводили ужас на москвичей.

Десятки лет и печать, и дума, и администрация, вплоть до генерал-губернатора, тщетно принимали меры, чтобы уничтожить это разбойное логово.

С одной стороны близ Хитровки – торговая Солянка с Опекунским советом, с другой – Покровский бульвар и прилегающие к нему переулки были заняты богатейшими особняками русского и иностранного купечества. Тут и Савва Морозов, и Корзинкины, и Хлебниковы, и Оловянишниковы, и Расторгуевы, и Бахрушины... Владельцы этих дворцов возмущались страшным соседством, употребляли все меры, чтобы уничтожить его, но ни речи, гре-

мевшие в угоду им в заседаниях думы, ни дорого стоящие хлопоты у администрации ничего сделать не могли. Были какие-то тайные пружины, отжимавшие все их нападающие силы, – и ничего не выходило. То у одного из хитровских домовладельцев рука в думе, то у другого – друг в канцелярии генерал-губернатора, третий сам занимает важное положение в делах благотворительности.

И только советская власть одним постановлением Моссовета смахнула эту не излечимую при старом строе язву и в одну неделю в 1923 году очистила всю площадь с окружающими ее вековыми притонами, в несколько месяцев отделала под чистые квартиры недавние трущобы и заселила их рабочим и служащим людом. Самую же главную трущобу «Кулаковку» с ее подземными притонами в «Сухом овраге» по Свиныйинскому переулку и огромным «Утюгом» срыла до основания и заново застроила. Все те же дома, но чистые снаружи... Нет заткнутых бумагой или тряпками или просто разбитых окон, из которых валит пар и несется пьяный гул... Вот дом Орлова – квартиры нищих-профессионалов и

место ночлега новичков, еще пока ищущих поденной работы... Вот рядом огромные дома Румянцева, в которых было два трактира – «Пересыльный» и «Сибирь», а далее, в доме Степанова, трактир «Каторга», когда-то принадлежавший знаменитому укрывателю беглых и разбойников Марку Афанасьеву, а потом перешедший к его приказчику Кулакову, нажившему состояние на насиженом своим старым хозяином месте.

И в «Каторге» нет теперь двери, из которой валил, когда она отворялась, пар и слышались дикие песни, звон посуды и вопли поножовщины. Рядом с ним дом Буниных – тоже теперь сверкает окнами... На площади не толпятся тысячи оборванцев, не сидят на корчагах торговки, грязные и пропахшие тухлой селедкой и разлагающейся бульонкой и требухой. Идет чинно народ, играют дети... А еще совсем недавно круглые сутки площадь мельтешила толпами оборванцев. Под вечер металась и галдели пьяные со своими «марухами». Не видя ничего перед собой, шатались нанюхавшиеся «марафету» кокаинисты обоих полов и всех возрастов. Среди них были рож-

денные и выращенные здесь же подростки-девочки и полуголые «огольцы» – их кавалеры.

«Огольцы» появлялись на базарах, толпой набрасывались на торговков и, опрокинув лоток с товаром, а то и разбив палатку, расхватывали товар и исчезали врассыпную.

Степенью выше стояли «поездошники», их дело – выхватывать на проездах бульваров, в глухих переулках и на темных вокзальных площадях из верха пролетки саки и чемоданы... За ними «фортачи», ловкие и гибкие ребята, умеющие лазить в форточку, и «ширмачи», бесшумно лазившие по карманам у человека в застегнутом пальто, заторкав и затырив его в толпе. И по всей площади – нищие, нищие... А по ночам из подземелий «Сухого оврага» выползали на фарт «деловые ребята» с фомками и револьверами... Толкались и «портяночники», не брезговавшие сорвать шапку с прохожего или у своего же хитроуна-нищего отнять суму с куском хлеба.

Ужасные иногда были ночи на этой площади, где сливались пьяные песни, визг избиваемых «марух» да крики «караул». Но никто

не рисковал пойти на помощь: раздетого и разутого голым пустят да еще избьют за то, чтобы не лез куда не следует.

Полицейская будка ночью была всегда молчалива – будто ее и нет. В ней лет двадцать с лишком губернаторствовал городской Рудников, о котором уже рассказывалось. Рудников ночными бездоходными криками о помощи не интересовался и двери в будке не отпирал.

Раз был такой случай. Запутался по пьяному делу на Хитровке сотрудник «Развлечения» Епифанов, вздумавший изучать трущобы. Его донага раздели на площади. Он – в будку. Стучит, гремит, «караул» кричит. Да так голый домой и вернулся. На другой день, придя в «Развлечение» просить аванс по случаю ограбления, рассказывал финал своего путешествия: огромный будочник, босой и в одном белье, которому он назвался дворянином, выскочил из будки, повернул его к себе спиной и гаркнул: «Всякая сволочь по ночам будет беспокоить!» – и так наподдал ногой – спасибо, что еще босой был, – что Епифанов отлетел далеко в лужу...

Никого и ничего не боялся Рудников. Даже сам Кулаков, со своими миллионами, которого вся полиция боялась, потому что «с Иваном Петровичем генерал-губернатор за ручку здоровался», для Рудникова был ничто. Он прямо являлся к нему на праздник и, получив от него сотенную, гремел:

– Ванька, ты шутишь, что ли? Аль забыл? А?.. Кулаков, принимавший поздравителей в своем доме, в Свиныйинском переулке, в мундире с орденами, вспоминал что-то, трепетал и лепетал:

– Ах, извините, дорогой Федот Иваныч. И давал триста.

Давно нет ни Рудникова, ни его будки.

Дома Хитровского рынка были разделены на квартиры – или в одну большую, или в две-три комнаты, с нарами, иногда двухэтажными, где ночевали бездомники без различия пола и возраста. В углу комнаты – каморка из тонких досок, а то просто ситцевая занавеска, за которой помещаются хозяин с женой. Это всегда какой-нибудь «пройди свет» из отставных солдат или крестьян, но всегда с «чистым» паспортом, так как иначе нельзя полу-

читать право быть съемщиком квартиры. Съемщик никогда не бывал одинокий, всегда вдвоем с женой и никогда – с законной. Законных жен съемщики оставляли в деревне, а здесь заводили сожительниц, аборигенок Хитровки, нередко беспаспортных...

У каждого съемщика своя публика: у кого грабители, у кого воры, у кого «рвань коричневая», у кого просто нищая братия.

Где нищие, там и дети – будущие каторжники. Кто родился на Хитровке и ухитрился вырасти среди этой ужасной обстановки, тот кончит тюрьмой. Исключения редки.

Самый благонамеренный элемент Хитровки – это нищие. Многие из них здесь родились и выросли; и если по убожеству своему и никчемности они не сделались ворами и разбойниками, а так и остались нищими, то теперь уж ни на что не променяют своего ремесла.

Это не те нищие, случайно потерявшие средства к жизни, которых мы видели на улицах: эти наберут едва-едва на кусок хлеба или на ночлег. Нищие Хитровки были другого сорта.

В доме Румянцева была, например, квартира «странников». Здоровеннейшие, опухшие от пьянства детины с косматыми бородами; сальные волосы по плечам лежат, ни гребня, ни мыла они никогда не видывали. Это монахи небывалых монастырей, пилигримы, которые век свой ходят от Хитровки до церковной паперти или до замоскворецких купчих и обратно.

После пьяной ночи такой страховидный дядя вылезает из-под нар, просит в кредит у съемщика стакан сивухи, облачается в страннический подрясник, за плечи ранец, набитый тряпьем, на голову скуфейку и босиком, иногда даже зимой по снегу, для доказательства своей святости, шагает за сбором.

И чего-чего только не наврет такой «странник» темным купчихам, чего только не всучит им для спасения души! Тут и щепочка от гроба господня, и кусочек лестницы, которую праотец Иаков во сне видел, и упавшая с неба чека от колесницы Ильи-пророка.

Были нищие, собиравшие по лавкам, трактирам и торговым рядам. Их «служба» – с десяти утра до пяти вечера. Эта группа и другая,

называемая «с ручкой», рыскающая по церквям, – самые многочисленные. В последней – бабы с грудными детьми, взятыми напрокат, а то и просто с поленом, обернутым в тряпку, которое они нежно баюкают, прося на бедного сиротку. Тут же настоящие и поддельные слепцы и убогие.

А вот – аристократы. Они жили частью в доме Орлова, частью в доме Бунина. Среди них имелись и чиновники, и выгнанные со службы офицеры, и попы-расстриги.

Они работали коллективно, разделив московские дома на очереди. Перед ними адрес-календарь Москвы. Нищий-аристократ берет, например, правую сторону Пречистенки с переулками и пишет двадцать писем-слезниц, не пропустив никого, в двадцать домов, стоящих внимания. Отправив письмо, на другой день идет по адресам. Звонит в парадное крыльцо: фигура аристократическая, костюм, взятый напрокат, приличный. На вопрос швейцара говорит:

– Вчера было послано письмо по городской почте, так ответа ждут.

Выносят пакет, а в нем бумажка от рубля и

выше.

В надворном флигеле дома Ярошенко квартира № 27 называлась «писучей» и считалась самой аристократической и скромной на всей Хитровке. В восьмидесятых годах здесь жили даже «князь с княгиней», слепой старик с беззубой старухой женой, которой он диктовал, иногда по-французски, письма к благодетелям, своим старым знакомым, и получал иногда довольно крупные подачки, на которые подкармливал голодных переписчиков. Они звали его «ваше сиятельство» и относились к нему с уважением. Его фамилия была Львов, по документам он значился просто дворянином, никакого княжеского звания не имел; в князя его произвели переписчики, а затем уж и остальная Хитровка. Он и жена – запойные пьяницы, но когда были трезвые, держали себя очень важно и на вид были весьма представительны, хотя на «князе» было старое тряпье, а на «княгине» – бурнус, зачиненный разноцветными заплатами.

Однажды приехали к ним родственники откуда-то с Волги и увезли их, к крайнему сожалению переписчиков и соседей-нищих.

Проживал там также горчайший пьяница, статский советник, бывший мировой судья, за что хитрованцы, когда-то не раз судившиеся у него, прозвали его «цепной», намекая на то, что судьи при исполнении судебных обязанностей надевали на шею золоченую цепь.

Рядом с ним на нарах спал его друг Добро-нравов, когда-то подававший большие надежды литератор. Он печатал в мелких газетах романы и резкие обличительные фельетоны. За один из фельетонов о фабрикантах он был выслан из Москвы по требованию этих фабрикантов. Добро-нравов берет у себя, как реликвию, наклеенную на папку вырезку из газеты, где был напечатан погубивший его фельетон под заглавием «Раешник». Он прожил где-то в захолустном городишке на глубоком севере несколько лет, явился в Москву на Хитров и навсегда поселился в этой квартире. На вид он был весьма представительный и в минуты трезвости говорил так, что его можно было заслушаться.

Вот за какие строки автор «Раешника» был выслан из Москвы:

«...Пожалте сюда, поглядите-ка. Хит-

ра купецкая политика. Не хлыщ, не франт, а миллионер-фабрикант, попить, погулять охочий на каторжный труд, на рабочий. Видом сам авантёрный, вывел корпус пятиэтажный, ткнут, снуют да мотают, тысячи людей на него одного работают. А народ-то фабричный, ко всякой беде привычный, кости да кожа, да испитая рожа. Плохая кормежка да рваная одежда. И подводит живот да бока у рабочего паренька.

Сердешные!

А директора беспечные по фабрике гуляют, на стороне не дозволяют покупать продукты: примерно, хочешь лук ты – посылай сынишку забирать на книжку в заводские лавки, там, мол, без надбавки!

Дешево и гнило!

А ежели нутро заговорило, не его, вишь, вина, требует вина, тоже дело – табак, опять беги в фабричный кабак, хозяйское пей, на другом будешь скупей. А штучка не мудра, дадут в долг и полведра.

А в городе хозяин вроде как граф, на пользу ему и штраф, да на прибыль и

провизия – кругом, значит, в ремизе я. А там на товар процент, куда ни глянь, все дивидент. Нигде своего не упустим, такого везде «Петра Кириллова» запустим. Лучше некуда!»

Рядом с «писучей» ночлежкой была квартира «подшибал». В старое время типографчики наживали на подшибалах большие деньги. Да еще говорили, что благодеяние делают: «Куда ему, голому да босому, деваться! Что ни дай – все пропъет!»

* * *

Разрушение «Свиного дома», или «Утюга», а вместе с ним и всех флигелей «Кулаковки» началось с первых дней революции. В 1917 году ночлежники «Утюга» все, как один, наотрез отказались платить съемщикам квартир за ночлег, и съемщики, видя, что жаловаться некому, бросили все и разбежались по своим деревням. Тогда ночлежники первым делом разломали каморки съемщиков, подняли доски пола, где разыскали целые склады бутылок с водкой, а затем и самые стенки каморок истопили в печках. За ночлежниками явились учреждения и все деревянное, до решет-

ника крыши, увезли тоже на дрова. В домах без крыш, окон и дверей продолжал ютиться самый оголтелый люд. Однако подземные тайники продолжали оставаться нетронутыми. «Деловые» по-прежнему выходили на фарт по ночам. «Портяночники» – днем и в сумерки. Первые делали набеги вдали от своей «хазы», вторые грабили в потемках пьяных и одиночек и своих же нищих, появлявшихся вечером на Хитровской площади, а затем разграбили и лавчонки на Старой площади.

Это было голодное время гражданской войны, когда было не до Хитровки.

По Солянке было рискованно ходить с узелками и сумками даже днем, особенно женщинам: налетали хулиганы, выхватывали из рук узелки и мчались в Свиньинский переулок, где на глазах преследователей исчезали в безмолвных гудах кирпичей. Преследователи останавливались в изумлении – и вдруг в них летели кирпичи. Откуда – неизвестно... Один, другой... Иногда проходившие видели дымок, вьющийся из мусора.

– Утюги кашу варят!

По вечерам мельтешились тени. Люди с

чайниками и ведерками шли к реке и возвращались тихо: воду носили.

Но пришло время – и Моссовет в несколько часов ликвидировал Хитров рынок.

Совершенно неожиданно весь рынок был окружен милицией, стоявшей во всех переулках и у ворот каждого дома. С рынка выпускали всех – на рынок не пускали никого. Обитатели были заранее предупреждены о предстоящем выселении, но никто из них и не думал оставлять свои «хазы».

Милиция, окружив дома, предложила немедленно выселяться, предупредив, что выход свободный, никто задержан не будет, и дала несколько часов сроку, после которого «будут приняты меры». Только часть нищих-инвалидов была оставлена в одном из надворных флигелей «Румянцевки»...

Штурман дальнего плавания

Был в начале восьмидесятых годов в Москве очень крупный актер и переводчик Сарду Н. П. Киреев. Он играл в Народном театре на Солянке и в Артистическом кружке. Его сестра, О. П. Киреева, – оба они были народники – служила акушеркой в Мясницкой части, была любимицей соседних трущоб Хитрова рынка, где ее все звали по имени и отчеству; много восприняла она в этих грязных ночлежках будущих нищих и воров, особенно, если, по несчастью, дети родились от матерей замужних, считались законными, а потому и не принимались в воспитательный дом, выстроенный исключительно для незаконнорожденных и подкидышей. Врачом полицейским был такой же, как Ольга Петровна, благодетель хитровской рвани, описанный портретно в рассказе А. П. Чехова «Попрыгунья», – Д. П. Кувшинников, нарочно избравший себе этот участок, чтобы служить бедноте. О. П. Киреева была знакома с нашей семьей, и часто ее маленькая дочка Леля бывала у нас, и мы с женой бывали в ее маленькой квартир-

ке в третьем этаже промозглого грязно-желтого здания, под самой каланчой. Внизу была большая квартира доктора, где я не раз бывал по субботам, где у Софьи Петровны, супруги доктора, страстной поклонницы литераторов и художников, устраивались вечеринки, где читали, рисовали и потом ужинали. Бывал там и А. П. Чехов, и его брат художник Николай, и И. Левитан, – словом, весь наш небольшой кружок «начинающих» и не всегда вкусно сытых молодых будущих...

Как-то днем захожу к Ольге Петровне. Она обмывает в тазике покрытую язвами ручонку двухлетнего ребенка, которого держит на руках грязная нищенка, баба лет сорока. У мальчика совсем отгнили два пальца: средний и безымянный. Мальчик тихо всхлипывал и тарасил на меня глаза: правый глаз был зеленый, левый – карий. Баба ругалась: «У, каторжный, дармоедина! Удавить тебя мало».

Я прошел в следующую комнату, где кипел самовар.

Вернувшись, Ольга Петровна рассказала мне обыкновенную хитровскую историю: на помойке ночлежки нашли солдатку-нищен-

ку, где она разрешилась от бремени этим самым младенцем. Когда Ольгу Петровну позвали, мать была уже мертвой. Младенец был законнорожденный, а потому его не приняли в воспитательный дом, а взяла его ночлежница-нищенка и стала с ним ходить побираться. Заснула как-то пьяная на рождество на улице, и отморозил ребенок два пальца, которые долго гнили, а она не лечила – потому подавали больше: высунет он перед прохожим изъязвленную руку... ну и подают сердобольные... А раз Сашка Кочерга наткнулась на полицию, и ее отправили в участок, а оттуда к Ольге Петровне, которая ее знала хорошо, на перевязку.

Плохой, лядащий мальчонок был; до трех лет за грудного выдавала, и раз нарвалась: попросила на улице у проходившего начальника сыскной полиции Эффенбаха помочь грудному ребенку.

– Грудной, говоришь? Что-то велик для грудного... Высунулся малый из тряпок и тычет культяпой ручонкой – будто козу делает...

– А тебе сто за дело?.. Свелось эдакая... Посел к... Кончилось отправлением в участок,

откуда малого снесли в ночлежку, а Сашку Кочергу препроводили по характеру болезни в Мясницкую больницу, и больше ее в ночлежке не видали.

Вскоре Коську стали водить нищенствовать за ручку – перевели в «пешие стрелки». Заботился о Коське дедушка Иван, старик ночлежник, который заботился о матери, брал ее с собой на все лето по грибы. Мать умерла, а ребенок родился 22 февраля, почему и окрестил его дедушка Иван Касьяном.

– Касьян праведный! – звал его потом старик за странность характера: он никогда не лгал.

И сам старик был такой.

– Правдой надо жить, неправдой не проживешь! – попрекал он Сашку Кочергу, а Коська слушал и внимал.

Три года водил за ручку Коську старик по зимам на церковные паперти, а летом уходил с ним в Сокольники и дальше, в Лосиный остров по грибы и тем зарабатывал пропитание. Тут Коська от него и о своей матери узнал. Она по зимам занималась стиркой в ночлежках, куда приходили письма от мужа ее, сол-

дата, где-то за Ташкентом, а по летам собира-
ла грибы и носила в Охотный. Когда Коське
минуло шесть лет, старик умер в больнице.
Остался Коська один в ночлежке. Малый бой-
кий, ловкий и от лесной жизни сильный и
выносливый. Стал нищенствовать по ночам у
ресторанов «в разувку» – бегают босой по сне-
гу, а за углом у товарища валенки. Потом со-
шелся с карманниками, стал «работать» на
Сухаревке и по вагонам конки, но сам в кар-
маны никогда не лазил, а только был «убега-
лой», то есть ему передавали кошелек, а он
убегал. Ему верили: никогда ни копейки не
возьмет. Потом на стреме стал стоять. Но сто-
ило городовому спросить: «Что ты тут дела-
ешь, пащенок?» – он обязательно всю правду
ахнет: «Калаулю. Там наши лебята лавку со
двола подламывают».

Уж и били его воры за правду, а он все
свое. Почему такая правда жила в ребенке –
никто не знал. Покойный старик грибник
объяснял по-своему эту черту своего любим-
ца:

– Касьяном зову – потому и не врет. Такие
в три года один раз родятся... Касьяны все

правдивые бывают!..

Коська слышал эти слова его часто и еще правдивее становился...

Умер старик, прогнали Коську из ночлежки, прижился он к подзаборной вольнице, которая шайками ходила по рынкам и ночевала в помойках, в пустых подвалах под Красными воротами, в башнях на Старой площади, а летом в парке и Сокольниках, когда тепло, когда «каждый кустик ночевать пустит».

Любимое место у них было под Сокольниками, на Ширяевом поле, где тогда навезли целые бунты толстенных чугунных труб для готовившейся в Москве канализации. Тут жили и взрослые бродяги, и детвора бездомная. Ежели заглянуть днем во внутренность труб, то там лежат стружки, солома, рогожи, бумага афишная со столбов, тряпье... Это постели ночлежников.

Коська со своей шайкой жил здесь, а потом все «переехали» на Балкан, в подземелья старого водопровода. Так бродячая детвора, промышлявшая мелким воровством, чтобы кое-как пожрать только, ютилась и существовала. Много их попадало в Рукавишников-

ский исправительный приют, много их высылали на родину, а шайки росли и росли, пополняемые труппами, где плодилась нищета, и беглыми мальчишками из мастерских, где подчас жизнь их была невыносима. И кто вынесет побои колодкой по голове от пьяного сапожника и тому подобные способы воспитания, веками внедрявшиеся в обиход тогдашних мастерских, куда приводили из деревень и отдавали мальчуганов по контракту в ученье на года, чтобы с хлеба долой! И не все выносили эту пятилетнюю кабалу впроголодь, в побоях. Целый день полуголодный, бошой или в рваных опорках зимой, видит мальшый на улицах вольных ребятишек и пристаёт к ним... И бежали в труппу, потому что им не страшен ни холод, ни голод, ни тюрьма, ни побои... А ночевать в мусорной яме или в подвале ничуть не хуже, чем у хозяина в холодных сенях на собачьем положении... Здесь спи сколько влезет, пока брюхо хлеба не запросит, здесь никто не разбудит до света пинком и руганью:

– Чего дрыхнешь, сволочь! Вставай, дармоеднице! – визжит хозяйка.

И десятилетний «дармоедище» начинает свой рабочий день, таща босиком по снегу или грязи на помойку полную лоханку больше себя.

Ольге Петровне еще раз пришлось пови-
дать своего пациента. Он караулил на оста-
новке конки у Страстного и ожидал, когда
ему передадут кошелек... Увидал он, как про-
тискивалась на площадку Ольга Петровна,
как ее ребята «затырили» и свистнули ее аку-
шерскую сумочку, как она хватилась и закри-
чала отчаянным голосом...

Через минуту Коське передали сумочку, и
он убежал с ней стремглав, но не в условлен-
ное место, в Поляковский сад на Бронной, где
ребята обыкновенно «тырбанили слам», а убе-
жал он по бульварам к Трубе, потом к Покров-
ке, а оттуда к Мясницкой части, где и сел у во-
рот, в сторонке. Спрятал под лохмотья сумку
и ждет. Показывается Ольга Петровна, идет,
шатается как-то... Глаза заплаканы... В воро-
та... По двору... Он за ней, догоняет на узкой
лестнице и окликает:

– Ольга Петровна.

Остановилась. Спрашивает:

– Ты что, Коська? – Асама плачет...

– Ольга Петровна. Вот ваша сумка, все цело, ни синь пороха не тронуто...

– Это был счастливейший день в моей жизни, во всей моей жизни, – рассказывала она мне.

Оказывается, что в сумке, кроме инструментов, были казенные деньги и документы. Пропажа сумки была погибелью для нее: под суд!

– Коська сунул мне в руку сумку и исчез... Когда я выбежала за ним на двор, он был уже в воротах и убежал, – продолжала она.

Через год она мне показала единственное письмо от Коськи, где он сообщает – письмо писано под его диктовку, – что пришлось убежать от своих «ширмачей», «потому, что я их обманул и что правду им сказать было нельзя... Убежал я в Ярославль, доехал под вагоном, а оттуда попал летом в Астрахань, где работаю на рыбных промыслах, а потом обещали меня взять на пароход. Я выучился читать».

Это было последнее известие о Коське. Давно умерла Ольга Петровна...

1923 год. Иду в домком. В дверях сталкиваюсь с человеком в черной шинели и тюленьей кепке,

– Извиняюсь.

– Извиняюсь.

Он поднимает левую руку, придерживая дверь, и я вижу перед собой только два вытянутых пальца – указательный и мизинец, а двух средних нет. Улыбающееся, милое, чисто выбритое лицо, и эти пальцы... Мы извинились и разошлись. За столом управляющий. Сажусь.

– Встретили вы сейчас интересного человека?

– Да, пальцев на руке нет. Будто козу кажет!

– Что пальцы? А глаза-то у него какие: один – зеленый, а другой – карий... И оба смеются...

– Наш жилец?

– К сожалению, нет. Приходил отказываться от комнаты. Третьего дня отвели ему в № 6 по ордеру комнату, а сегодня отказался. Какой любезный! Вызывают на Дальний Восток,

в плавание. Только что приехал, и вызывают. Моряк он, всю жизнь в море пробыл. В Америке, в Японии, в Индии... Наш, русский, старый революционер 1905 года... Заслуженный. Какие рекомендации! Жаль такого жильца... Мы бы его сейчас в председатели заперли...

– Интересный? – говорю.

– Да, очень. Вот от него мне памятка осталась. Тогда я ему бланк нашей анкеты дал, он написал, а я прочел и усомнился. А он говорит: «Все правда. Как написано – так и есть. Врать не умею».

Управляющий передает мне нашу домовую анкету. Читаю по рубрикам:

«Касьян Иванович Иванов, 45 лет.

Место рождения: Москва, дом Ромейко на Хитровке.

Мать: солдатка-нищенка.

Отец: неизвестный».

А в самом верху анкеты, против рубрики «Должность», написано: «Штурман дальнего плавания».

Сухаревка

Сухаревка – дочь войны. Смоленский рынок – сын чумы.

Он старше Сухаревки на 35 лет. Он родился в 1777 году. После московской чумы последовал приказ властей продавать подержанные вещи исключительно на Смоленском рынке и то только по воскресеньям во избежание разнесения заразы.

После войны 1812 года, как только стали возвращаться в Москву москвичи и начали разыскивать свое разграбленное имущество, генерал-губернатор Растопчин издал приказ, в котором объявил, что «все вещи, откуда бы они взяты ни были, являются неотъемлемой собственностью того, кто в данный момент ими владеет, и что всякий владелец может их продавать, но только один раз в неделю, в воскресенье, в одном только месте, а именно на площади против Сухаревской башни». И в первое же воскресенье горы награбленного имущества запрудили огромную площадь, и хлынула Москва на невиданный рынок.

Это было торжественное открытие веко-

вой Сухаревки.

Сухарева башня названа Петром I в честь Сухарева, стрелецкого полковника, который единственный со своим полком остался верен Петру во время стрелецкого бунта.

Высоко стояла вековая Сухарева башня с ее огромными часами. Издалека было видно. В верхних ее этажах помещались огромные цистерны водопровода, снабжавшего водой Москву.

Много легенд ходило о Сухаревой башне: и «колдун Брюс» делал там золото из свинца, и черная книга, написанная дьяволом, хранилась в ее тайниках. Сотни разных легенд – одна нелепее другой.

По воскресеньям около башни кипел торг, на который, как на праздник, шла вся Москва, и подмосковный крестьянин, и заезжий провинциал.

Против роскошного дворца Шереметевской больницы вырастали сотни палаток, раскинутых за ночь на один только день. От рассвета до потемок колыхалось на площади море голов, оставляя узкие дорожки для проезда по обеим сторонам широченной в этом

месте Садовой улицы. Толклось множество народа, и у всякого была своя цель.

Сюда в старину москвичи ходили разыскивать украденные у них вещи, и не безуспешно, потому что исстари Сухаревка была местом сбыта краденого. Вор-одиночка тащил сюда под полой «стыренные» вещи, скупщики возили их возами. Вещи продавались на Сухаревке дешево, «по случаю». Сухаревка жила «случаем», нередко несчастным. Сухаревский торговец покупал там, где несчастье в доме, когда все нипочем; или он «укупит» у не знающего цену нуждающегося человека, или из-под полы «товарца» приобретет, а этот «товарец» иногда дымом поджога пахнет, иногда и кровью облит, а уж слезами горькими – всегда. За бесценок купит и дешево продает...

Лозунг Сухаревки: «На грош пятаков!»

Сюда одних гнала нужда, других – азарт наживы, а третьих – спорт, опять-таки с девизом «на грош пятаков». Один нес последнее барахло из крайней нужды и отдавал за бесценок: окружают барышники, чуть не силой вырвут. И тут же на глазах перепродадут

втридорога. Вор за бесценок – только бы продать поскорее – бросит тем же барышникам свою добычу. Покупатель необходимого являлся сюда с последним рублем, зная, что здесь можно дешево купить, и в большинстве случаев его надували. Недаром говорили о платье, мебели и прочем: «Сухаревской работы!»

Ходили сюда и московские богачи с тем же поиском «на грош пятаков».

Я много лет часами ходил по площади, заходил к Бакастову и в другие трактиры, где с утра воры и бродяги дуются на бильярде или в азартную биксу или фортунку, знакомился с этим людом и изучал разные стороны его быта. Чаще всего я заходил в самый тихий трактир, низок Григорьева, посещавшийся более скромной сухаревской публикой: тут игры не было, значит, и воры не заходили.

Я подружился с Григорьевым, тогда еще молодым человеком, воспитанным и образованным самоучкой. Жена его, вполне интеллигентная, стояла за кассой, получая деньги и гремя трактирными медными марками – деньгами, которые выбрасывали из «лопаточ-

ников» (бумажников) юркие ярославцы-половые в белых рубашках.

Я садился обыкновенно направо от входа, у окна, за хозяйский столик вместе с Григорьевым и беседовал с ним часами. То и дело подбегал к столу его сын, гимназист-первоклассник, с восторгом показывал купленную им на площади книгу (он увлекался «путешествиями»), брал деньги и быстро исчезал, чтобы явиться с новой книгой.

Кругом, в низких прокуренных залах, галдели гости, к вечеру уже подвыпившие. Среди них сновали торгаши с мелочным товаром, бродили вокруг столов случайно проскользнувшие нищие, гремели кружками монашки-сборщицы.

Влетает оборванец, выпивает стакан водки и хочет убежать. Его задерживают полове. Скандал. Кликнули с поста городского, важного, толстого. Узнав, в чем дело, он плюет и, уходя, ворчит:

– Из-за пятака правительство беспокоить!

Изредка заходили сыщики, но здесь им делать было нечего. Мне их указывал Григорьев и много о них говорил. И многое из того, что

он говорил, мне пригодилось впоследствии.

У Григорьева была большая прекрасная библиотека, составленная им исключительно на Сухаревке. Сын его, будучи студентом, участвовал в революции. В 1905 году он был расстрелян царскими войсками. Тело его нашли на дворе Пресненской части, в грудe трупов. Отец не пережил этого и умер. Надо сказать, что и ранее Григорьев считался неблагонадежным и иногда открыто воевал с полицией и ненавидел сыщиков...

Настоящих сыщиков до 1881 года не было, потому что сыскная полиция как учреждение образовалась только в 1881 году. До тех пор сыщиками считались только два пристава – Замайский и Муравьев, имевшие своих помощников из числа воров, которым мирволили в мелких кражах, а крупные преступления они должны были раскрывать и важных преступников ловить. Кроме этих двух, был единственно знаменитый в то время сыщик Смолин, бритый плотный старик, которому поручались самые важные дела. Центр района его действия была Сухаревка, а отсюда им были раскинуты нити повсюду, и он один

только знал все. Его звали «Сухаревский губернатор».

Десятки лет он жил на 1-й Мещанской в собственном двухэтажном домике вдвоем со старухой прислугой. И еще, кроме мух и тараканов, было только одно живое существо в его квартире – это состарившаяся с ним вместе большущая черепаха, которую он кормил из своих рук, сажал на колени, и она ласкалась к нему своей голой головой с умными глазами. Он жил совершенно одиноко, в квартире его – все знали – было много драгоценностей, но он никого не боялся: за него горой стояли громилы и берегли его, как он их берег, когда это было возможно. У него в доме никто не бывал: принимал только в сенях. Дружил с ворами, громилами, и главным образом с шулерами, бывая в игорных домах, где его не стеснялись. Он знал все, видел все – и молчал. Разве уж если начальство прикажет разыскать какую-нибудь дерзкую кражу, особенно у известного лица, – ну, разыщет, сами громилы скажут и своего выдадут...

Был с ним курьезный случай: как-то украли медную пушку из Кремля, пудов десяти ве-

су, приказало ему начальство через три дня пушку разыскать. Он всех воров на ноги.

– Чтоб была у меня пушка! Свалите ее на Антроповых ямах в бурьян... Чтоб завтра пушка оказалась, где приказано.

На другой день пушка действительно была на указанном пустыре. Начальство перевезло ее в Кремль и водрузило на прежнем месте, у стены. Благодарность получил.

Уже много лет спустя выяснилось, что пушка для Смолина была украдена другая, с другого конца кремлевской стены послушными громилами, принесена на Антроповы ямы и возвращена в Кремль, а первая так и исчезла.

В преклонных годах умер Смолин бездетным. Пережила его только черепаха. При описи имущества, которое в то время, конечно, не все в опись попало, найдено было в его спальне два ведра золотых и серебряных часов, цепочек и портсигаров.

Громилы и карманники очень соболезновали:

– Сколько добра-то у нас пропало! Оно ведь все наше добро-то было... Ежели бы знать, что

умрет Андрей Михайлович, – прямо голыми руками бери!

Десятки лет околачивался при кварталах сыщиком Смолин. Много легенд по Сухаревке ходило о нем. Еще до русско-турецкой войны в Златоустенском переулке в доме Медынцева совершенно одиноко жил богатый старик индеец. Что это был за человек, никто не знал. Кто говорил, что он торгует восточными товарами, кто его считал за дисконтера. Кажется, то и другое имело основание. К нему иногда ходили какие-то восточные люди, он был окружен сплошной тайной. Восточные люди вообще жили тогда на подворьях Ильинки и Никольской. И он жил в таком переулке, где днем торговля идет, а ночью ни одной души не увидишь. Кому какое дело – живет индеец и живет! Мало ли какого народу в Москве.

Вдруг индейца нашли убитым в квартире. Все было снаружи в порядке: следов грабежа не видно. В углу, на столике, стоял аршинный Будда литого золота; замки не взломаны. Явилась полиция для розысков преступников. Драгоценности целыми сундуками направи-

ли в хранилище Сиротского суда: бриллианты, жемчуг, золото, бирюза – мерами! Напечатали объявление о вызове наследников. За торговала Сухаревка! Бирюзу горстями покупали, жемчуг... бриллианты...

Дело о задушенном индейце в воду кануло, никого не нашли. Наконец года через два явился законный наследник – тоже индеец, но одетый по-европейски. Он приехал с деньгами, о наследстве не говорил, а цель была одна – разыскать убийц дяди. Его сейчас же отдали на попечение полиции и Смолина.

Смолин первым делом его познакомил с восточными людьми Пахро и Абазом, и давай индейца для отыскивания следов по шулерским мельницам таскать – выучил пить и играть в модную тогда стуколку... Запутали, закружили юношу. В один прекрасный день он поехал ночью из игорного притона домой – да и пропал. Поговорили и забыли.

А много лет спустя как-то в дружеском разговоре с всеведущим Н. И. Пастуховым я заговорил об индейце. Оказывается, он знал много, писал тогда в «Современных известиях», но об индейце генерал-губернатором было за-

прещено даже упоминать.

– Кто же был этот индеец? – спрашиваю.

– Темное дело. Говорят, какой-то скрывававшийся глава секты душителей.

– Отчего же запретил о нем писать генерал-губернатор?

– Да оттого, что в спальне у Закревского золотой Будда стоял!

– Разве Закревский был буддист?!

– Как же, с тех пор, как с Сухаревки ему Будду этого принесли!

* * *

Небольшого роста, плечистый, выбритый и стриженный начисто, в поношенном черном пальто и картузе с лаковым козырьком, солидный и степенный, точь-в-точь камердинер средней руки, двигается незаметно Смолин по Сухаревке. Воры исчезают при его появлении. Если увидят, то знают, что он уже их заметил – и, улова удобную минуту, подбегают к нему... Рыжий, щеголеватый карманник Пашка Рябчик что-то спроворил в давке и хотел скрыться, но взгляд сыщика остановился на нем. Сделав круг, Рябчик был уже около и что-то опустил в карман пальто Смолина.

– Щучка здесь... с женой... Проигрался...
Зло работает...

– С Аннушкой?

– Да-с... Юрка к Замайскому поступил... Игроки с деньгами! У старьевщиков покупают... Вьюн... Голиаф... Ватошник... Кукиш и сам Цапля. Шуруют вон, гляди...

Быстро выпалил и исчез. Смолин переложил серебряные часы в карман брюк.

Издали углядел в давке высокую женщину в ковровом платке, а рядом с ней козлиную бородку Щучки. Женщина увидела и шепнула бороде. Через минуту Щучка уже терся как незнакомый около Смолина.

– Сегодня до кишок меня раздели... У Васьки Темного... проигрался!

– Ничего, злее воровать будешь! Щучка опустил ему в карман кошелек.

– Аннушка сработала?

– Она... Сам не знаю, что в нем...

– А у Цапли что?

– Прямо плачу, что не попал, а угодил к Темному! Вот дело было! Сашку Утюга сегодня на шесть тысяч взяли...

– Сашку? Да он сослан в Сибирь!

– Какое! Всю зиму на Хитровке околачивался... болел... Марк Афанасьев подкармливал. А в четверг пофартило, говорят, в Гуслицах с кем-то купца пришил... Как одну копейку шесть больших отдал. Цапля метал... Архивариус метал. Резал Назаров.

– Расплюев!

– Да, вон он с Цаплей у палатки стоит... Андрей Михайлович, первый фарт тебе отдал!.. Дай хоть копеечку на счастье...

– На, разживайся! – И отдал обратно кошелек.

– Вот спасибо! Век не забуду... Ведь почин дороже денег... Теперь отыграюсь! Да! Сашку до копыа разыграли. Дали ему утром сотенный билет, он прямо на вокзал в Нижний... А Цапля завтра новую мельницу открывает, богатую.

Смолин подходит к Цапле.

– С добычей! Когда на новоселье позовешь? У Цапли и лицо вытянулось.

– Сашку-то сегодня на шесть больших слопали! Ну, когда новоселье?..

Оторопел окончательно старый Цапля.

– Цапля! Это что ты отобрал? Портреты ка-

ких-то вельмож польских... На что они тебе?

– Для дураков, Андрей Михайлович, для дураков... Повешу в гостиной – за моих предков сойдут... Так в четверг, милости просим, там же на Цветном, над моей старой квартирой... сегодня снял в бельэтаже...

– Сашку на Волгу спровадили?

Добывает Цаплю всеведущий сыщик и идет дальше, к ювелирным палаткам, где выигравшие деньги шулера обращают их в золотые вещи, чтоб потом снова проигратъся на мельницах...

Поговорит с каждым, удивит каждого своими познаниями, а от них больше выудит...

– Это кто такой франт, что с Абазом стоит?

– Невский гусь... как его...

– Кихибарджи?.. Зачем он здесь?

– За кем-то из купцов охотится... в «Славянском базаре» в сорокарублевом номере остановились. И Караулов с ними...

И по развалу проползет тенью Смолин.

Увидал Комара.

– Ну как твои куклы?

Все Смолин знает – не то, что где было, а что и когда будет и где...

И знает, и будет молчать, пока его самого начальство не прищучит!

* * *

Из властей предержавших почти никто не бывал на Сухаревке, кроме знаменитого московского полицмейстера Н. И. Огарева, голова которого с единственными в Москве усами черными, лежащими на груди, изредка по воскресеньям маячила над толпой около палаток антикваров. В палатках он время от времени покупал какие-нибудь удивительные настенные часы. И всегда платил за них наличные деньги, и никогда торговцы с него, единственного, может быть, не запрашивали лишнего. У него была страсть к настенным часам. Его квартира была полна настенными часами, которые били на разные голоса непрерывно, одни за другими. Еще он покупал карикатуры на полицию всех стран, и одна из его комнат была увешана такими карикатурами. Этим товаром снабжали его букинисты и цензурный комитет, задерживавший такие издания.

Особенно он дорожил следующей карикатурой.

Нарисован забор. Вдали каланча с вывешенными шарами и красным флагом (сбор всех частей). На заборе висят какие-то цветные лохмотья, а обозленная собака стоит на задних лапках, карабкается к лохмотьям и никак не может их достать.

Подпись:

«Далеко Арапке до тряпки» (в то время в Петербурге был обер-полицмейстером Трепов, а в Москве – Арапов).

– Вот идиоты, – говорил Н. И. Огарев.

Ну кто бы догадался! Так бы и прошла наша смешка незаметно... Я видел этот номер «Будильника», внимания на него не обратил до тех пор, пока городовые не стали отбирать журнал у газетчиков. Они все и рассказали.

В те времена палаток букинистов было до тридцати. Здесь можно было приобрести все, что хочешь. Если не найдется нужный том какого-нибудь разрозненного сочинения, только закажи, к другому воскресенью достанут. Много даже редчайших книг можно было приобрести только здесь. Библиофилы не пропускали ни одного воскресенья. А как к этому дню готовились букинисты! Шесть

дней рыщут – ищут товар по частным домам, усадьбам, чердакам, покупают целые библиотеки у наследников или разорившихся библиофилов, а «стрелки» скупают повсюду книги и перепродают их букинистам, собиравшимся в трактирах на Рождественке, в Большом Кисельном переулке и на Малой Лубянке. Это была книжная биржа, завершавшаяся на Сухаревке, где каждый постоянный покупатель знал каждого букиниста и каждый букинист знал каждого покупателя: что ему надо и как он платит. Особым почетом у букинистов пользовались профессора И. Е. Забелин, Н. С. Тихонравов и Е. В. Барсов.

Любили букинисты и студенческую бедноту, делали для нее всякие любезности. Приходит компания студентов, человек пять, и общими силами покупают одну книгу или издание лекций совсем задешево, и все учатся по одному экземпляру. Или брали напрокат книгу, уплачивая по пятаку в день. Букинисты давали книги без залога, и никогда книги за студентами не пропадали.

Букинисты и антиквары (последних звали «старьевщиками») были аристократической

частью Сухаревки. Они занимали место ближе к Спасским казармам. Здесь не было той давки, что на толкучке. Здесь и публика была чище: коллекционеры и собиратели библиотек, главным образом из именитого купечества.

Всем букинистам был известен один собиратель, каждое воскресенье копавшийся в палатках букинистов и в разваленных на рожках книгах, оставивший после себя ценную библиотеку. И рассчитывался он всегда неуклонно так: сторгует, положим, книгу, за которую просили пять рублей, за два рубля, выжав все из букиниста, и лезет в карман. Вынимает два кошелька, из одного достает рубль, а из другого вываливает всю мелочь и дает один рубль девяносто три копейки.

– Семи копеечек нет... Вот получите.

Знают эту систему букинисты, знают, что ни за что не добавит, и отдадут книгу.

А один букинист раз сказал ему:

– Ну как вам не совестно копеечки-то у нашего брата вымарщивать?

– Ты ничего не понимаешь! А в год-то их сколько накопится?

Знали еще букинисты одного курьезного покупателя. Долгое время ходил на Сухаревку старый лакей с аршином, в руках и требовал книги в хороших переплетах и непременно известного размера. За ценой не стоял. Его чудак-барин, разбитый параличом и не оставлявший постели, таким образом составлял библиотеку, вид которой утешал его.

На этой «аристократической» части Сухаревки вперемежку с букинистами стояли и палатки антикваров.

Уважаемым покупателем у последних был Петр Иванович Щукин. Сам он редко бывал на Сухаревке. К нему товар носили на дом. Дверь его кабинета при амбаре на Ильинке, запертая для всех, для антикваров всегда была открыта. Вваливаются в амбар барахольщики с огромными мешками, их сейчас же провожают в кабинет без доклада. Через минуту Петр Иванович погружается в тучу пыли, роясь в грудях барахла, вываленного из мешков. Отбирает все лучшее, а остатки появляются на Сухаревке в палатках или на рожках около них. Сзади этих палаток, к улице, барахольщики второго сорта раскидывали

рогожи, на которых был разложен всевозможный чердачный хлам: сломанная медная ручка, кусок подсвечника, обломок старинной канделябры, разрозненная посуда, ножны от кинжала.

И любители роются в товаре и всегда находят что купить. Время от времени около этих рогож появляется владелец колокольного завода, обходит всех и отбирает обломки лучшей бронзы, которые тут же отсылает домой, на свой завод. Сам же направляется в палатки антикваров и тоже отбирает лом серебра и бронзы.

– Что покупаете? – спрашиваю как-то его.

– Серебряный звон!

Для Сухаревки это развлечение.

Колокол льют! Шушукуются по Сухаревке – и тотчас же по всему рынку, а потом и по городу разносятся нелепые рассказы и вранье. И мало того, что чужие повторяют, а каждый сам старается похлеще соврать, и обязательно действующее лицо, время и место действия точно обозначит.

– Слышали, утром-то сегодня? Под Каменным мостом кит на мель сел... Народищу там!

– В беговой беседке у швейцара жена родила тройню – и все с жеребьячьими головами.

– Сейчас Спасская башня провалилась. Вся! И с часами! Только верхушку видать.

Новичок и в самом деле поверит, а настоящий москвич выслушает и виду не подает, что вранье, не улыбается, а сам еще чище что-нибудь прибавит. Такой обычай:

– Колокол льют!

Сотни лет ходило поверье, что чем больше небылиц разойдется, тем звонче колокол отольется. А потом встречаются:

– Чего ты назвонил, что башня провалилась? Бегал – на месте стоит, как стояла!

– У Финляндского на заводе большой колокол льют! Ха-ха-ха!

* * *

С восьмидесятых годов, когда в Москве начали выходить газеты и запестрели объявлениями колокольных заводов, Сухаревка перестала пускать небылицы, которые в те времена служили рекламой. А колоколозаводчик неукоснительно появлялся на Сухаревке и скупал «серебряный звон». За ним очень ухаживали старьевщики, так как он был не из

типов, искавших «на грош пятаков».

Это был покупатель со строго определенной целью – купить «серебряный звон», а не «на грош пятаков». Близок к нему был еще один «чайник», не пропускавший ни одного воскресенья, скупавший, не выжиливая копечку и фарфор, и хрусталь, и картины...

Между любителями-коллекционерами были знатоки, особенно по хрусталу, серебру и фарфору, но таких было мало, большинство покупателей мечтало купить за «красненькую» настоящего Рафаэля, чтобы потом за тысячи перепродать его, или купить из «первых рук» краденое бриллиантовое кольцо за полсотни... Пускай потом картина Рафаэля окажется доморощенной мазней, а кольцо – бутылочного стекла, покупатель все равно идет опять на Сухаревку в тех же мечтах и до самой смерти будет искать «на грош пятаков». Ни образования, ни знания, ничего, кроме тятенькиных капиталов и природного умения наживать деньги, у него не имеется.

И торгуются такие покупатели из-за копейки до слез, и радуются, что удалось купить статуэтку голой женщины с отбитой рукой и

поврежденным носом, и уверяют они знакомых, что даром досталась:

– Племянница Венеры Милосской!

– Что?!

– А рука-то где! А вы говорите!

Еще обидится! И пойдет торговаться с извозчиком из-за гривенника.

Много таких ходило по Сухаревке, но посещали Сухаревку и истинные любители старины, которые оставили богатые коллекции, ставшие потом народным достоянием.

...Но много их и пропало. Все делалось как-то втихомолку, по-сухаревски.

И все эти антиквары и любители были молчаливы, как будто они покупали краденое. Купит, спрячет и молчит. И все в одиночку, тайно друг от друга.

Но раз был случай, когда они все жадной волчьей стаей или, вернее, стаей пугливого воронья набросились па крупную добычу. Это было в восьмидесятых годах.

Тогда умер знаменитый московский коллекционер М. М. Зайцевский, более сорока лет собиравший редкости изящных искусств, рукописей, пергаментов, первопечатных

книг. Полвека его знала вся Сухаревка.

За десятки лет все его огромные средства были потрачены на этот музей, закрытый для публики и составлявший в полном смысле этого слова жизнь для своего старика владельца, забывавшего весь мир ради какой-нибудь «новенькой старинной штучки» и никогда не отступившего, чтобы не приобрести ее.

Он ухаживал со страстью и терпением за какой-нибудь серебряной крышкой от кружки и не успокаивался, пока не приобретал ее. Я знаком был с М. М. Зайцевским, но трудно было его уговорить показать собранные им редкости. Да никому он их и не показывал. Сам, один любовался своими сокровищами, тщательно их охраняя от постороннего глаза.

Прошло сорок лет, а у меня до сих пор еще мелькают перед глазами редкости этих четырех больших комнат его собственного дома по Хлебному переулку. Стены комнат тесно увешаны массой старинных картин. На первом плане картина, изображающая святого Иеронима. Это оригинал замечательного художника. Некоторые знатоки приписывали его кисти Луки Джордано. Рядом с этой кар-

тиной помещались две громадные картины фламандской школы, изображающие пир и торжественный выход какого-то властителя. Далее картина Лессуера «Христос с детьми», картина Адриана Стаде и множество других картин прошлых веков.

В следующей комнате огромная коллекция редчайших икон, начиная с икон строгановского письма, кончая иконами, уцелевшими чуть не со времен гонения на христиан. Тут же коллекция крестов. Между ними золотой складень с надписью: «Моление головы московских стрельцов Матвея Тимофеевича Снягина». Третья комната занята портретами на кости и на металле. Портрет Екатерины II, сделанный из немецких букв, которые можно рассмотреть только в лупу. Из букв составлялась вся история царствования. Еще два портрета маслом с графа Орлова-Чесменского. На одном портрете граф изображен на своем Барсе верхом, а на другом – в санях, запряженных Свирепым. Около на столе лежит кованая, вся в бирюзе, сбруя Свирепого. Далее сотни часов, рогов, кружек, блюд, а посреди их статуя Ермака Тимофеевича, грудь которого сделана из

огромной цельной жемчужины. Она стоит на редчайшем серебряном блюде XI века.

Перечислить все, что было в этих залах, невозможно. А на дворе, кроме того, большой сарай был завален весь разными редкостями более громоздкими. Тут же вся его библиотека. В отделении первопечатных книг была книга «Учение Фомы Аквинского», напечатанная в 1467 году в Майнце, в типографии Шефера, компаньона изобретателя книгопечатания Гутенберга.

В отделе рукописей были две громадные книги на пергаменте с сотнями рисунков рельефного золота. Это «Декамерон» Боккаччо, писанная по-французски в 1414 году.

После смерти владельца его наследники, не открывая музея для публики, выставили некоторые вещи в залах Исторического музея и снова взяли их, решив продать свой музей, что было необходимо для дележа наследства. Ученые-археологи, профессора, хранители музеев дивились редкостям, высоко ценили их и соболезновали, что казна не может их купить для своих хранилищ.

Три месяца музей стоял открытым для по-

купателей, но продать, за исключением мелочей, ничего не удалось: частные московские археологи, воспитанные на традициях Сухаревки с девизом «на грош пятаков», ходили стаями и ничего не покупали. Сухаревские старьевщики-барахольщики типа Ужо, коллекционеры, бесящиеся с жиру или собирающие коллекции, чтобы похвастаться перед знакомыми, или скупающие драгоценности для перевода капиталов из одного кармана в другой, или просто желающие помаклячить искатели «на грош пятаков», вели себя возмутительно.

Они с видом знатоков старались «овладеть» своими глазами, разбегающимся, как у вора на ярмарке, при виде сокровищ, поднимали голову и, рассматривая истинно редкие, огромной ценности вещи, говорили небрежно:

– М...н...да... Но это не особенная редкость! Пожалуй, я возьму ее. Пусть дома валяется... Целковых двести дам.

Так ценили финифтьевый ларец, стоивший семь тысяч рублей.

Об этом ларце в воскресенье заговорили

молчаливые раритетчики на Сухаревке. Предлагавший двести рублей на другой день подсылал своего подручного купить его за три тысячи рублей. Но наследники не уступили. А Сухаревка, обиженная, что в этом музее даром ничего не укупишь, начала «колокола лить».

Несколько воскресений между антикварами только и слышалось, что лучшие вещи уже распроданы, что наследники нуждаются в деньгах и уступают за бесценок, но это не помогло сухаревцам укупить «на грош пятаков».

В один прекрасный день на двери появилась вывеска, гласившая, что Сухаревских маклаков и антикваров из переулков (были названы два переулка) просят «не трудиться звонить».

Дальнейшую судьбу музея и его драгоценностей я не знаю.

Помню еще, что сын владельца музея В. М. Зайцевский, актер и рассказчик, имевший в свое время успех на сцене, кажется, существовал только актерским некрупным заработком, умер в начале этого столетия. Его знали

под другой, сценической фамилией, а друзья, которым он в случае нужды помогал щедрой рукой, звали его просто – Вася Днепров.

Что он Зайцевский – об этом и не знали. Он как-то зашел ко мне и принес изданную им книжку стихов и рассказов, которые он исполнял на сцене. Книжка называлась «По-полам». Меня он не застал и через день позвонил по телефону, спросив, получил ли я ее.

– Спасибо, – ответил я, – жаль, что не застал меня. Кстати, скажи, цел ли отцовский музей?

– Эге! Хватился! Только и остался портрет отца, и то я его этой зимой на Сухаревке купил.

* * *

Неизменными посетителями Сухаревки были все держатели антикварных магазинов. Один из них являлся с рассветом, садился на ящик и смотрел, как расставляют вещи. Сидит, глядит и, чуть усмотрит что-нибудь интересное, сейчас ухватит раньше любителей-коллекционеров, а потом перепродает им же втридорога.

Нередко антиквары гнали его:

– Да уходите, не мешайте, дайте разложиться!

– Ужо! Ужо! – отвечает он всегда одним и тем же словом и сидит, как примороженный.

Так и звали его торговцы: «Ужо!»

Любил рано приходиться на Сухаревку и Владимир Егорович Шмаровин. Он считался знатоком живописи и поповского фарфора. Он покупал иногда серебряные чарочки, из которых мы пили на его «средах», покупал старинные дешевые медные, бронзовые серьги. Он прекрасно знал старину, и его обмануть было нельзя, хотя подделок фарфора было много, особенно поповского. Делали это за границей, откуда приезжали агенты и привозили товар.

На Сухаревке была одна палатка, специально получавшая из-за границы поддельного «Попова». Подделки практиковались во всех областях.

Нумизматы неопытные также часто попадались на сухаревскую удочку. В серебряном ряду у антикваров стояли витрины, полные старинных монет. Кроме того, на застекленных лотках продавали монеты ходячие ну-

мизматы. Спускали по три, по пяти рублей редкостные рубли Алексея Михайловича и огромные четырехугольные фальшивые медные рубли московской и казанской работы.

Поддельных Рафаэлей, Корреджио, Рубенсов – сколько хочешь. Это уж специально для самых неопытных искателей «на грош пятаков». Настоящим знатокам их даже и не показывали, а товар все-таки шел.

Был интересный случай. К палатке одного антиквара подходит дама, долго смотрит картины и останавливается на одной с надписью: «И. Репин»; на ней ярлык: десять рублей.

– Вот вам десять рублей. Я беру картину. Но если она не настоящая, то принесу обратно. Я буду у знакомых, где сегодня Репин обедает, и покажу ему.

Приносит дама к знакомым картину и показывает ее И. Е. Репину. Тот хохочет. Просит перо и чернила и подписывает внизу картины: «Это не Репин. И. Репин».

Картина эта опять попала на Сухаревку и была продана благодаря репинскому автографу за сто рублей.

Старая Сухаревка занимала огромное про-

странство в пять тысяч квадратных метров. А кругом, кроме Шереметевской больницы, во всех домах были трактиры, пивные, магазины, всякие оптовые торговли и лавки – сапожные и с готовым платьем, куда покупателя затаскивали чуть ли не силен. В ближайших переулках – склады мебели, которую по воскресеньям выносили на площадь.

Главной же, народной Сухаревкой была толкучка и развал.

Какие два образных слова: народ толчется целый день в одном месте, и так попавшего в те места натолкают, что потом всякое место болит! Или развал: развалят нескончаемыми рядами на рогожах немудрый товар и торгуют кто чем: кто рваной обувью, кто старым железом; кто ключи к замкам подбирает и тут же подпиливает, если ключ не подходит. А карманники по всей площади со своими тырщиками снуют: окружают, затырят, вытасшат. Кричи «караул» – никто и не послушает, разве за карман схватится, а он, гляди, уже пустой, и сам поет: «Караул! Ограбили!» И карманники шайками ходят, и кукольники с подкидчиками шайками ходят, и сменщики

шайками, и барышники шайками.

На Сухаревке жулью в одиночку делать нечего. А сколько сортов всякого жулья! Взять хоть «играющих»: во всяком удобном уголку садятся прямо на мостовую трое-четверо и открывают игру в три карты – две черные, одна красная. Надо угадать красную. Или игра в ремешок: свертывается кольцом ремешок, и надо гвоздем попасть так, чтобы гвоздь остался в ремешке. Но никогда никто не угадает красной, и никогда гвоздь не останется в ремне. Ловкость рук поразительная.

И десятки шаек игроков шатаются по Сухаревке, и сотни простаков, желающих нажать, продуваются до копейки. На лотке с гречневиками тоже своя игра; ею больше забавляются мальчишки в надежде даром съесть вкусный гречневик с постным маслом. Дальше ходячая лотерея – около нее тоже жулье.

Имеются жулики и покрупнее.

Пришел, положим, мужик свой последний полушубок продавать. Его сразу окружает шайка барышников. Каждый торгуется, каждый дает свою цену. Наконец, сходятся в цене. Покупающий неторопливо лезет в карман,

будто за деньгами, и передает купленную вещь соседу. Вдруг сзади мужика шум, и все глядят туда, а он тоже туда оглядывается. А полушубок в единый миг, с рук на руки, и исчезает.

– Что же деньги-то, давай!

– Че-ево?

– Да деньги за шубу!

– За какую? Да я ничего и не видал!

Кругом хохот, шум. Полушубок исчез, и требовать не с кого.

Шайка сменщиков: продадут золотые часы, с пробой, или настоящее кольцо с бриллиантом, а когда придет домой покупатель, поглядит – часы медные и без нутра, и кольцо медное, со стеклом.

Положим, это еще Кречинский делал. Но Сухаревка выше Кречинского. Часы или булавку долго ли подменить! А вот подменить дюжину штанов – это может только Сухаревка. Делалось это так: ходят малые по толкучке, на плечах у них перекинута связка штанов, совершенно новеньких, только что сшитых, аккуратно сложенных.

– Почем штаны?

– По четыре рубля. Нет, ты гляди, товар-то какой... По случаю аглицкий кусок попал. Тридцать шесть пар вышло. Вот и у него, и у него. Сейчас только вынесли.

Покупатель и у другого смотрит.

– По три рубля... пару возьму.

– Эка!

– Ну, красненькую за трое... Берешь?

– По четыре... А вот что, хошь ежели, бери всю дюжину за три красных...

У покупателя глаза разгорелись: кому ни предложи, всякий купит по три, а то и по четыре рубля. А сам у того и другого смотрит и считает, – верно, дюжина. А у третьего тоже кто-то торгует тут рядом.

Сторговались за четвертную. Покупатель отдает деньги, продавец веревочкой связывает штаны... Вдруг покупателя кто-то бьет по шее. Тот оглядывается.

– Извини, обознался, за приятеля принял!

Покупатель получает штаны и уходит. Приносит домой. Оказывается, одна штанина сверху и одна снизу, а между ними – барахло.

Сменили пачку, когда он оглянулся.

Купил «на грош пятаков»!

Около селедочниц, сидящих рядами и торгующих вонючей обжоркой, жулья меньше; тут только снуют, тоже шайками, бездомные ребятишки, мелкие карманники и поездошники, таскающие у проезжих саквояжи из пролетов. Обжорка – их любимое место, их биржа. Тухлая колбаса в жаровнях, рванинка, бульонка, обрезки, ржавые сельди, бабы на горшках с тушеной картошкой... Вдруг ливень. Развал закутывает рогожами товар. Кто может, спасается под башню. Только обжорка недвижима – бабы поднимают сзади подола и окутывают голову... Через несколько минут опять голубое небо, и толпа опять толчется на рынке.

После дождя и в дождь особенно хорошо торгуют обувью.

В одну из палаток удалось затащить чиновника в сильно поношенной шинели. Его долго рвали пополам два торговца – один за правую руку, другой за левую.

За два рубля чиновник покупает подержанные штиблеты, обувается и уходит, лавируя между лужами.

Среди торговцев – спор:

- Не дойдет!
- Дойдет!
- На пару пива?
- На сколько?
- На четверть часа.
- Пошло.
- Нет, бриться идет!

Чиновник уселся на тумбу около башни. Небритый и грязный цирюльник мигнул вихрастому мальчишке, тот схватил немытую банку из-под мази, отбежал, черпнул из лужи воды и подал. Здесь бритье стоило три копейки, а стрижка – пять.

По утрам, когда нет клиентов, мальчишки обучались этому ремеслу на отставных солдатах, которых брили даром. Изрежет неумелый мальчуган несчастного, а тот сидит и терпит, потому что в билете у него написано: «бороду брить, волосы стричь, по миру не ходить». Через неделю опять солдат просит побрить!

– Ну, недорезанный, садись! – приглашает его на тумбу московский Фигаро.

Я любил останавливаться и подолгу смотреть на эту галдящую орду, а иногда и отда-

ваться воле зазывал.

Идешь по тротуару мимо лавок, а тебя за полы хватают.

– Пожалте-с, у нас покупали!

Тащат и тащат. Хочешь не хочешь, заведут в лавку. А там уже обступят другие приказчики: всякий свое дело Делает и свои заученные слова говорит. Срепетовка ролей и исполнение удивительные. Заставят пересмотреть, а то и примерить всё: и шубу, и пальто, и поддевку.

– Да ведь мне ничего не надо!

– Теперь не надо. Опосля понадобится. Лишнее знание не повредит. Окромя пользы, от этого ничего. Может, что знакомым понадобится, вот и знаете, где купить, а каков товар – своими глазами убедились.

Шумит зазывала на улице у лавки.

Идет строгая дама.

– Сударыня! У нас покупали. Для супруга пальто, для деток поддевки-с...

Дама гордо проходит мимо. Тон зазывалы меняется.

– Сударыня, сударыня! Из брюк чего-нибудь не желаете ли!.. – кричит ей вдогонку

при общем хохоте зазывала и ловит новых прохожих.

А какие там типы были! Я знал одного из них. Он брал у хозяина отпуск и уходил на масленицу и пасху в балаганы на Девичьем поле в деда-зазывалы. Ему было под сорок, жил он с мальчиков у одного хозяина. Звали его Ефим Макариевич. Не Макарыч, а из почтения – Макариевич.

У лавки солидный и важный, он был в балагане неузнаваем с своей седой подвязанной бородой. Как заорет на все поле:

– Рррра-ррр-ра-а! К началу! У нас Юлия Пастраны – двоюродная внучка от облизьяны! Дыра на боку, вся в шелку!.. – И пойдет и пойдет...

Толпа уши развесит. От всех балаганов сбегаются люди «Юшку-комедианта» слушать. Таращим и мы на него глаза, стоя в темноте и давке, задрав головы. А он седой бородой трясет да над нами же издевается. Вдруг ткнет в толпу пальцем да как завизжит:

– Чего ты чужой карман шарить?

И все завертят головами, а он уже дальше: ворону увидал – и к ней.

– Дура ты дура! Куда тебя зря нечистая сила прет... Эх ты, девятиногая буфетчица из помойной ямы!.. Рр-ра-ра! К началу-у, к началу!

Сорвет бороду, махнет ею над головой и исчезнет вниз.

А через минуту опять выскакивает, на ходу бороду нацепляет:

– Эге-ге-гей! Публик почтенная, полупочтенная и которая так себе! Начинайте торопиться, без вас не начнем. Знай наших, не умирай скорча.

Вдруг остановится, сделает серьезную физиономию, прислушивается. Толпа замрет.

– Ой-ой-ой! Да никак начали! Торопись, ребята! И балаган всегда полон, где Юшка орет. Однажды, беседуя с ним за чайком, я удивился тому, как он ловко умеет владеть толпой. Он мне ответил:

– Это что, толпа – баранье стадо. Куда козел, туда и она. Куда хочешь повернешь. А вот на Сухаревке попробуй! Мужики в одиночку втолкуй, какому-нибудь коблу лесному, а еще труднее – кулугуру степному, да заставь его в лавку зайти, да уговори его ненужное купить. Это, брат, не с толпой под Девичьим, а в сто

раз потруднее! А у меня за тридцать лет на Сухаревке никто мимо лавки не прошел. А ты – толпа. Толпу... зимой купаться уговорю!

* * *

Сухаревка была особым миром, никогда более не повторяемым. Она вся в этом анекдоте:

Один из посетителей шмаровинских «сред», художник-реставратор, возвращался в одно из воскресений с дачи и прямо с вокзала, по обыкновению, заехал на Сухаревку, где и купил великолепную старую вазу, точь-в-точь под пару имеющейся у него.

Можете себе представить радость настоящего любителя, приобретшего такое ценное сокровище!

А дома его встретила прислуга и сообщила, что накануне громилы обокрали его квартиру.

Он купил свою собственную вазу!

Под Китайской стеной

Постройка Китайской стены, отделяющей Китай-город от Белого города, относится к половине XVI века. Мать Иоанна Грозного, Елена Глинская, назвала эту часть города Китай-городом в воспоминание своей родины – Китай-городка на Подолии.

В начале прошлого столетия, в 1806 году, о китайгородской стене писал П. С. Валуев: «Стены Китая от злоупотребления обращены в постыдное положение. В башнях заведены лавки немаловажных чиновников; к стенам пристроены в иных местах неблаговидные лавочки, в других погреба, сараи, конюшни... Весьма много тому способствуют и фортификационные укрепления земляные, бастион и ров, которых в древности никогда не было. Ими заложены все из города стоки. Нечистоты заражают воздух. Такое злоупотребление началось по перенесении столицы в Петербург... Кругом всей стены Китай-города построены каменные и деревянные лавки».

После этого как раз перед войной 1812 года, насколько возможно, привели стену в по-

рядок. С наружной стороны уничтожили пристройки, а внутренняя сторона осталась по старому, и вдобавок на Старой площади, между Ильинскими и Никольскими воротами, открылся Толкучий рынок, который в половине восьмидесятых годов был еще в полном блеске своего безобразия. Его великолепно изобразил В. Е. Маковский на картине, которая находится в Третьяковской галерее. Закрыли толкучку только в восьмидесятых годах, но следы ее остались, – она развела трущобы в самом центре города, которые уничтожила только советская власть. Это были лавочки, пристроенные к стене вплоть до Варварских ворот, а с наружной – Лубянская площадь с ее трактирами-притонами и знаменитой «Шиповской крепостью».

В екатерининские времена на этом месте стоял дом, в котором помещалась типография Н. И. Новикова, где он печатал свои издания. Дом этот был сломан тогда же, а потом, в первой половине прошлого столетия, был выстроен новый, который принадлежал генералу Шипову, известному богачу, имевшему в столице силу, человеку весьма оригинально-

му: он не брал со своих жильцов плату за квартиру, разрешал селиться по сколько угодно человек в квартире, и никакой не только прописки, но и записей жильцов не велось...

Полиция не смела пикнуть перед генералом, и вскоре дом битком набился сбежавшимися отовсюду ворами и бродягами, которые в Москве орудовали вовсю и носили плоды ночных трудов своих скупщикам краденого, тоже ютившимся в этом доме. По ночам пройти по Лубянской площади было рискованно.

Обитатели «Шиповской крепости» делились на две категории: в одной – беглые крепостные, мелкие воры, нищие, сбежавшие от родителей и хозяев дети, ученики и скрывшиеся из малолетнего отделения тюремного замка, затем московские мещане и беспаспортные крестьяне из ближних деревень. Все это развеселый пьяный народ, ищущий здесь убежища от полиции.

Категория вторая – люди мрачные, молчаливые. Они ни с кем не сближаются и среди самого широкого разгула, самого сильного опьянения никогда не скажут своего имени, ни одним словом не намекнут ни на что бы-

лое. Да никто из окружающих и не смеет к ним подступиться с подобным вопросом. Это опытные разбойники, дезертиры и беглые с каторги. Они узнают друг друга с первого взгляда и молча сближаются, как люди, которых связывает какое-то тайное звено. Люди из первой категории понимают, кто они, но, молча, под неодолимым страхом, ни словом, ни взглядом не нарушают их тайны.

Первая категория исчезает днем для своих мелких Делишек, а ночью пьянствует и спит.

Вторая категория днем спит, а ночью «работает» по Москве или ее окрестностям, по барским и купеческим усадьбам, по амбарам богатых мужиков, по проезжим дорогам. Их работа пахнет кровью. В старину их называли «Иванами» а впоследствии – «деловыми ребятами».

И вот, когда полиция после полуночи окружила однажды дом для облавы и заняла входы, в это время возвращавшиеся с ночной добычи «иваны» заметили неладное, собрались в отряды и ждали в засаде. Когда полиция начала врывать в дом, они, вооруженные, бросились сзади на полицию, и началась свал-

ка. Полиция, ворвавшаяся в дом, встретила сопротивление портяночников изнутри и налет «Иванов» снаружи. Она позорно бежала, избитая и израненная, и надолго забыла о новой облаве.

«Иваны», являясь с награбленным имуществом, с огромными узлами, а иногда с возом разного скарба на отбитой у проезжего лошади, дожидались утра и тащили добычу в лавочки Старой и Новой площади, открывавшиеся с рассветом. Ночью к этим лавочкам подойти было нельзя, так как они охранялись огромными цепными собаками. И целые возы пропадали бесследно в этих лавочках, пристроенных к стене, где имелись такие тайники, которых в темных подвалах и отыскать было нельзя.

Лавочки мрачны даже днем, – что в них лежит, разглядеть нельзя. С виду, по наружно выставленному товару, каждая из этих лавочек как бы имеет свою специальную, небогатую торговлю. В одной продавали дешевые меха, в другой – старую, чиненую обувь, в третьей – шерсть и бумагу, в четвертой – лоскут, в пятой – железный и медный лом... Но все

это только приличная обстановка для непосвященных, декорация, за которой скрывается самая суть дела. В этих лавчонках, принималось все, что туда ни привозилось и ни приносилось, – от серебряной ложки до самовара и от фарфоровой чашки до надгробного памятника...

Как-то полиции удалось разыскать здесь даже медную десятипудовую пушку, украденную из Кремля.

Днем лавочки принимали розницу от карманников и мелких воришек – от золотых часов до носового платка или сорванной с головы шапки, а на рассвете оптом, узлами, от «иванов» – ночную добычу, иногда еще с необсохшей кровью. Получив деньги, «иваны» шли пировать в свои притоны, излюбленные кабаки и трактиры, в «Ад» на Трубу или «Поляков трактир». Мелкие воры и жулики сходились в притоны вечером, а «иваны» – к утру, иногда даже не заходя в лавочки у стены, и прямо в трактирах, в секретных каморках «тырбанили slam» – делили добычу и тут же сбывали ее трактирщику или специальным скупщику.

В дни существования «Шиповской крепости» главным разбойничьим притоном был близ Яузы «Поляков трактир», наполненный отдельными каморками, где производился дележ награбленного и продажа его скупщикам. Здесь собирались бывшие люди, которые ничего не боялись и ни над чем не задумывались...

В одной из этих каморок четверо грабителей во время дележа крупной добычи задушили своего товарища, чтобы завладеть его долей... Здесь же, на чердаке, были найдены трубочистом две отрубленные ноги в сапогах.

После дележа начиналось пьянство с женщинами или игра. Серьезные «иваны» не увлекались пьянством и женщинами. Их страстью была игра. Тут «фортунка» и «судьба» и, конечно, шулера.

Трактир Полякова продолжал процветать, пока не разогнали Шиповку. Но это сделала не полиция. Дом после смерти слишком человеколюбивого генерала Шилова приобрело императорское человеколюбивое общество и весьма не человеколюбиво принялось оно за старинных вольных квартирантов. Все силы

полиции и войска, которые были вызваны в помощь ей, были поставлены для осады неприступной крепости. Старики, помнящие эту ночь, рассказывали так:

– Нахлынули в темную ночь солдаты – тишина и мрак во всем доме. Входят в первую квартиру – темнота, зловоние и беспорядок, на полах рогожи, солома, тряпки, поленья. Во всей квартире оказалось двое: хозяин да его сын-мальчишка.

В другой та же история, в третьей – на столе полштофа вина, куски хлеба и огурцы – и ни одного жильца. А у всех выходов – солдаты, уйти некуда. Перерыли сараи, погреба, чуланы – нашли только несколько человек, молчаливых как пни, и только утром заря и первые лучи солнца открыли тайну, осветив крышу, сплошь усеянную оборванцами, лежащими и сидящими. Их согнали вниз, даже не арестовывали, а просто выгнали из дома, и они бросились толпами на пустыри реки Яузы и на Хитров рынок, где пооткрывался ряд платных ночлежных домов. В них-то и приютились обитатели Шиповки из первой категории, а «иваны» первое время поразбредлись,

а потом тоже явились на Хитров и заняли подвалы и тайники дома Ромейко в «Сухом овраге».

Человеколюбивое общество, кое-как подремонтировав дом, пустило в него такую же рвань, только с паспортами, и так же тесно связанную с толкучкой. Заселили дом сплошь портные, сапожники, барышники и торговцы с рук, покупщики краденого.

Целые квартиры заняли портные особой специальности – «раки». Они были в распоряжении хозяев, имевших свидетельство из ремесленной управы. «Раками» их звали потому, что они вечно, «как рами на мели», сидели безвыходно в своих норах, пропившиеся до последней рубашки.

Шипов дом не изменил своего названия и сути. Прежде был он населен грабителями, а теперь заселился законно прописанными «коммерсантами», неусыпно пекущимися об исчезновении всяких улик кражи, грабежа и разбоя, «коммерсантами», сделавшими из этих улик неистощимый источник своих доходов, скупая и перешивая краденое.

Смело можно сказать, что ни один домо-

владелец не получал столько верных и громадных процентов, какие получали эти съемщики квартир и приемщики краденого.

В этом громадном трехэтажном доме, за исключением нескольких лавок, харчевен, кабака в нижнем этаже и одного притона-трактира, вся остальная площадь состояла из мелких, грязных квартир. Они были битком набиты базарными торговками с их мужьями или просто сожителями.

Квартиры почти все на имя женщин, а мужья состоят при них. Кто портной, кто сапожник, кто слесарь. Каждая квартира была разделена перегородками на углы и койки... В такой квартире в трех-четыре разгороженных комнатках жило человек тридцать, вместе с детьми...

Летом с пяти, а зимой с семи часов вся квартира на ногах. Закусив наскоро, хозяйки и жильцы, перекидывая на руку вороха разного барахла и сунув за пазуху туго набитый кошелек, грязные и оборванные, бегут на толкучку, на промысел. Это съемщики квартир, которые сами работают с утра до ночи. И жильцы у них такие же. Даже детишки вме-

сте со старшими бегут на улицу и торгуют спичками и папиросами без бандеролей, тут же сфабрикованными черт знает из какого табака.

Раз в неделю хозяйки кое-как моют и убирают свою квартиру или делают вид, что убирают, – квартиры загрязнены до невозможности, и их не отмоешь. Но есть хозяйки, которые никогда или, за редким исключением, не больше двух раз в году убирают свои квартиры, населенные ворами, пьяницами и проститутками.

Эти съемщицы тоже торгуют хламьем, но они выходят позже на толкучку, так как к вечеру обязательно напиваются пьяные со своими сожителями...

Первая категория торговков являлась со своими мужьями и квартирантами на толкучку чуть свет и сразу успевала запасть свежим товаром, скупаемым с рук, и надуть покупателей своим товаром. Они окружали покупателя, и всякий совал, что у него есть: и пиджак, и брюки, и фуражку, и белье.

Все это рваное, линючее, ползет чуть не при первом прикосновении. Калоши или са-

поги окажутся подклеенными и замазанными, черное пальто окажется серо-буро-малиновым, на фуражке после первого дождя выступит красный околыш, у сюртука одна пола окажется синей, другая – желтой, а полспины – зеленой. Белье расползается при первой стирке. Это все «произведения» первой категории шиповских ремесленников, «выдержавших экзамен» в ремесленной управе.

Чуть свет являлись на толкучку торговки, барахольщики первой категории и скупщики из «Шилова дома», а из желающих продать – столичная беднота: лишившиеся места чиновники приносили последнюю шинелишку с собачьим воротником, бедный студент продавал сюртук, чтобы заплатить за угол, из которого его гонят на улицу, голодная мать, продающая одеяльце и подушку своего ребенка, и жена обанкротившегося купца, когда-то богатая, боязливо предлагала самовар, чтобы купить еду сидящему в долговом отделении мужу.

Вот эти-то продавцы от горькой нужды – самые выгодные для базарных коршунов. Они стайей окружали жертву, осыпали ее на-

смешками, пугали злыми намеками и угрозами и окончательно сбивали с толку.

– Почему?

– Четыре рубля, – отвечает сконфуженный студент, никогда еще не выдавший толкучки.

– Га! Четыре! А рублевку хошь?

Его окружали, щупали сукно, смеялись и стояли все на рубле, и каждый бросал свое едкое слово:

– Хапаный!.. Покупать не стоит. Еще попадешься! Студент весь красный... Слезы на глазах. А те рвут-рвут...

Плачет голодная мать.

– Может, нечистая еще какая!

И торговка, вся обвешанная только что купленным грязным тряпьем, с презрением отталкивает одеяло и подушку, а сама так и зарится на них, предлагая пятую часть назначенной цены.

– Должно быть, краденый, – замечает старик барышник, напрасно предлагавший купчихе три рубля за самовар, стоящий пятнадцать, а другой маклак ехидно добавлял, видя, что бедняга обомлела от ужаса:

– За будочником бы спсылать...

Эти приемы всегда имели успех: и сконфуженный студент, и горемыка-мать, и купчиха уступали свои вещи за пятую часть стоимости, только выдавший виды чиновник равнодушно твердит свое да еще заступает за других, которых маклаки собираются обжудить. В конце концов, он продает свой собачий воротник за подходящую цену, которую ему дают маклаки, чтобы только он «не отсвечивал».

Это картина самого раннего утра, когда вторая категория еще опохмеляется. Но вот выползает и она. Площадь меняет свое население, часы обирательства бедноты сменяются часами эксплуатации пороков и слабостей человеческих. На толкучке толчется масса пьяниц, притащивших и свое и чужое добро, чтобы только добыть на опохмелку. Это типы, подходящие к маклакам второй категории, и на них другой способ охоты приноровлен, потому что эти продавцы – народ не совестливый и не трусливый, их и не запугаешь и не заговоришь. На одно слово десять в ответ, да еще родителей до прабабушки помянут.

Сомнительного продавца окружают ма-

клаки. Начинают рассматривать вещь, перевертывать на все стороны, смотреть на свет и приступают к торгу, предлагая свою цену:

– Два рубля? Полтора! Гляди сам, больше не стоит!

– Сказал два, меньше ни копья!

– Ну без четверти бери, леший ты упрямый!

– Два! – безапелляционно отрезает тот.

– Ну, держи деньги, что с тобой делать! – как бы нехотя говорит торговка, торопливо сует продавцу горсть мелочи и вырывает у него купленную вещь.

Тот начинает считать деньги, и вместо двух у него оказывается полтора.

– Давай полтину! Ведь я за два продавал. Торговка стоит перед ним невозмутимо.

– Отдай мою вещь назад!

– Да бери, голубок, бери, мы ведь силой не отнимаем, – говорит торговка и вдруг с криком ужаса: – Да куды ж это делось-то? Ах, ба-тюшки-светы, ограбили, среди белого дня ограбили!

И с этими словами исчезает в толпе.

Жажущие опохмелиться отдают вещь за

то, что сразу дадут, чтобы только скорее вина добыть – нутро горит.

Начиная с полдня являются открыто уже не продающие ничего, а под видом покупки проходят в лавочки, прилепленные в Китайской стене на Старой площади, где, за исключением двух-трех лавочек, все занимаются скупкой краденого.

На углу Новой площади и Варварских ворот была лавочка рогожского старообрядца С. Т. Большакова, который торговал старопечатными книгами и дониконовскими иконами. Его часто посещали ученые и писатели. Бывали профессора университета и академики. Рядом с ним еще были две такие же старокнижные лавки, а дальше уж, до закрытия толкучки, в любую можно сунуться с темным товаром.

Толкучка занимала всю Старую площадь – между Ильинкой и Никольской, и отчасти Новую – между Ильинкой и Варваркой. По одну сторону – Китайская стена, по другую – ряд высоких домов, занятых торговыми помещениями. В верхних этажах – конторы и склады, а в нижних – лавки с готовым платьем и обу-

Вью.

Все это товар дешевый, главным образом русский: шубы, поддевки, шаровары или пальто и пиджачные и сюртучные пары, сшитые мешковато для простого люда. Было, впрочем, и «модье» с претензией на шик, сшитое теми же портными.

Лавки готового платья. И здесь, так же как на Сухаревке, насильно затаскивали покупателя. Около входа всегда галдеж от десятка «зазывал», обязанностью которых было хватать за полы проходящих по тротуарам и тащить их непременно в магазин, не обращая внимания, нужно или не нужно ему готовое платье.

– Да мне не надо платья! – отбивается от двух молодцов в поддевках, ухвативших его за руки, какой-нибудь купец или даже чиновник.

– Помилте, вышздоровье, – или, если чиновник, – васкобродие, да вы только поглядите товар.

И каждый не отстаёт от него, тянет в свою сторону, к своей лавке.

А если удастся затащить в лавку, так

несчастливого заговорят, замучат примеркой и уговорят купить, если не для себя, то для супруги, для деток или для кучера... Великие мастера были «зазывалы»!

– У меня только в лавку зайди, не надо, да купит! Уговорю!.. – скажет хороший «зазывала». И действительно уговорит.

Такие же «зазывалы» были и у лавок с готовой обувью на Старой площади, и в закоулках Ямского приказа на Москворецкой улице.

И там и тут торговали специально грубой привозной обувью – сапогами и башмаками, главным образом кимрского производства. В семидесятых годах еще практиковались бумажные подметки, несмотря на то, что кожа сравнительно была недорога, но уж таковы были девизы и у купца и у мастера: «на грош пятаков» и «не обманешь – не продашь».

Конечно, от этого страдал больше всего небогатый люд, а надуть покупателя благодаря «зазывалам» было легко. На последние деньги купит он сапоги, наденет, пройдет две-три улицы по лужам в дождливую погоду – глядь, подошва отстала и вместо кожи бумага из сапога торчит. Он обратно в лавку...

«Зазывалы» уж узнали, зачем, и на его жалобы закидают словами и его же выставят мошенником: пришел, мол, халтуру сорвать, купил на базаре сапоги, а лезешь к нам...

– Ну, ну, в какой лавке купил?

Стоит несчастный покупатель, растерявшись, глядит – лавок много, у всех вывески и выходы похожи и у каждой толпа «зазывал»...

Заплачет и уйдет под улюлюканье и насмешки... Был в шестидесятых годах в Москве полицмейстер Лужин, страстный охотник, державший под Москвой свою псарню. Его доезжачему всучили на Старой площади сапоги с бумажными подошвами, и тот пожаловался на это своему барину, рассказав, как и откуда получается купцами товар. Лужин послал его узнать подробности этой торговли. Вскоре охотник пришел и доложил, что сегодня рано на Старую площадь к самому крупному оптовику-торговцу привезли несколько возов обуви из Кимр.

Лужин, захватив с собой наряд полиции, помчался на Старую площадь и неожиданно окружил склады обуви, указанные ему. Местному приставу он ничего не сказал, чтобы тот

не предупредил купца. Лужин поспел в то самое время, когда с возов сваливали обувь в склады. Арестованы были все: и владельцы складов, и их доверенные, и приехавшие из Кимр с возами скупщики, и продавцы обуви. Опечатав товар и склады, Лужин отправил арестованных в городскую полицейскую часть, где мушкетеры выпороли и хозяев склада, и кимрских торговцев, привезших товар.

Купцы под розгами клялись, что никогда таким товаром торговать не будут, а кимряки после жестокой порки дали зарок, что не только они сами, а своим детям, внукам и правнукам закажут под страхом отцовского проклятия ставить бумажные подошвы.

И действительно, кимряки стали работать по чести, о бумажных подметках вплоть до турецкой войны 1877–1878 годов не слышно было.

Но во время турецкой войны дети и внуки кимряков были «вовлечены в невыгодную сделку», как они объясняли на суде, поставщиками на армию, которые дали огромные заказы на изготовление сапог с бумажными

подметками. И лазили по снегам балканским и кавказским солдаты в разорванных сапогах, и гибли от простуды... И опять с тех пор пошли бумажные подметки... на Сухаревке, на Смоленском рынке и по мелким магазинам с девизом «на грош пятаков» и «не обманешь – не продашь».

Только с уничтожением толкучки в конце восьмидесятых годов очистилась Старая площадь, и «Шипов дом» принял сравнительно приличный вид.

Отдел благоустройства МКХ в 1926 году привел китайгородскую стену – этот памятник старой Москвы – в тот вид, в каком она была пятьсот лет назад, служа защитой от набегов врага, а не тем, что застали позднейшие поколения.

Вспоминается бессмертный Гоголь:

«Возле того забора навалено на сорок телег всякого мусора. Что за скверный город. Только поставь какой-нибудь памятник или просто забор – черт их знает, откуда и нанесут всякой дряни...»

Такова была до своего сноса в 1934 году китайгородская стена, еще так недавно нахо-

дившаяся в самом неприглядном виде. Во многих местах стена была совершенно разрушена, в других чуть не на два метра вросла в землю, башни изуродованы поселившимися в них людьми, которые на стенах развели полное хозяйство: дачи не надо!

*...Возле древней башни
На стенах старинных были чуть
не пашни.*

Из расщелин стен выросли деревья, которые были видны с Лубянской, Варварской, Старой и Новой площадей.

Тайны Неглинки

Трубную площадь и Неглинный проезд почти до самого Кузнецкого моста тогда заливало при каждом ливне, и заливало так, что вода водопадом хлестала в двери магазинов и в нижние этажи домов этого района. Происходило это оттого, что никогда не очищенная подземная клоака Неглинки, проведенная от Самотеки под Цветным бульваром, Неглинным проездом, Театральной площадью и под Александровским садом вплоть до

Москвы-реки, не вмещала воды, переполнявшей ее в дождливую погоду. Это было положительно бедствием, но «отцы города» не обращали на это никакого внимания.

В древние времена здесь протекала речка Неглинка. Еще в екатерининские времена она была заключена в подземную трубу: набили свай в русло речки, перекрыли каменным сводом, положили деревянный пол, устроили стоки уличных вод через спускные колодцы и сделали подземную клоаку под улицами. Кроме «законных» сточных труб, проведенных с улиц для дождевых и хозяйственных вод, большинство богатых домовладельцев провело в Неглинку тайные подземные стоки для спуска нечистот, вместо того чтобы вывозить их в бочках, как это было повсеместно в Москве до устройства канализации. И все эти нечистоты шли в Москву-реку.

Это знала полиция, обо всем этом знали гласные-домовладельцы, и все, должно быть, думали: не нами заведено, не нами и кончится!

Побывав уже под Москвой в шахтах артезианского колодца и прочитав описание под-

земных клоак Парижа в романе Виктора Гюго «Отверженные», я решил во что бы то ни стало обследовать Неглинку. Это было продолжение моей постоянной работы по изучению московских трущоб, с которыми Неглинка имела связь, как мне пришлось узнать в притонах Грачевки и Цветного бульвара.

Мне не трудно было найти двух смельчаков, решившихся на это путешествие. Один из них – беспаспортный водопроводчик Федя, пробавлявшийся поденной работой, а другой – бывший дворник, солидный и обстоятельный. На его обязанности было опустить лестницу, спустить нас в клоаку между Самотекой и Трубной площадью и затем встретить нас у соседнего пролета и опустить лестницу для нашего выхода. Обязанность Феди – сопровождать мне в подземелье и светить.

И вот в жаркий июльский день мы подняли против дома Малюшина, близ Самотеки, железную решетку спускного колодца, опустили туда лестницу. Никто не обратил внимания на нашу операцию – сделано было все очень скоро: подняли решетку, опустили лестницу. Из отверстия валил зловонный

пар. Федя-водопроводчик полез первый; отверстие, сырое и грязное, было узко, лестница стояла отвесно, спина шаркала о стену. Послышалось хлюпанье воды и голос, как из sklepa:

– Лезь, что ли!

Я подтянул выше мои охотничьи сапоги, застегнул на все пуговицы кожаный пиджак и стал спускаться. Локти и плечи задевали за стенки трубы. Руками приходилось крепко держаться за грязные ступени отвесно стоявшей, качающейся лестницы, поддерживаемой, впрочем, рабочим, оставшимся наверху. С каждым шагом вниз зловоние становилось все сильнее и сильнее. Становилось жутко. Наконец слышались шум воды и хлюпанье. Я посмотрел вверх. Мне видны были только четырехугольник голубого, яркого неба и лицо рабочего, державшего лестницу. Холодная, до костей пронизывающая сырость охватила меня.

Наконец я спустился на последнюю ступеньку и, осторожно опуская ногу, почувствовал, как о носок сапога зашуршала струя воды.

– Опускайся смелей; становись, неглубоко тутотка, – глухо, гробовым голосом сказал мне Федя.

Я встал на дно, и холодная сырость воды проникла сквозь мои охотничьи сапоги.

– Лампочку зажечь не могу, спички подмокли! – жалуется мой спутник.

У меня спичек не оказалось. Федя полез обратно.

Я остался один в этом замурованном склепе и прошел по колено в бурлящей воде шагов десять. Остановился. Кругом меня был мрак. Мрак непроницаемый, полнейшее отсутствие света. Я поворачивал голову во все стороны, но глаз мой ничего не различал.

Я задел обо что-то головой, поднял руку и нащупал мокрый, холодный, бородавчатый, покрытый слизью каменный свод и нервно отдернул руку... Даже страшно стало. Тихо было, только внизу журчала вода. Каждая секунда ожидания рабочего с огнем мне казалась вечностью. Я еще подвинулся вперед и услышал шум, похожий на гул водопада. Действительно, как раз рядом со мной гудел водопад, рассыпавшийся миллионами грязных

брызг, едва освещенных бледно-желтоватым светом из отверстия уличной трубы. Это оказался сток нечистот из бокового отверстия в стене. За шумом я не слышал, как подошел ко мне Федя и толкнул меня в спину. Я обернулся. В руках его была лампочка в пять рожков, но эти яркие во всяком другом месте огоньки здесь казались красными звездочками без лучей, ничего почти не освещавшими, не могшими побороть и фута этого мрака. Мы пошли вперед по глубокой воде, обходя по временам водопады стоков с улиц, гудевшие под ногами. Вдруг страшный грохот, будто от рушащихся зданий, заставил меня вздрогнуть. Это над нами проехала телега. Я вспомнил подобный грохот при моем путешествии в тоннель артезианского колодца, но здесь он был несравненно сильнее. Все чаще и чаще над моей головой гремели экипажи. С помощью лампочки я осмотрел стены подземелья, сырые, покрытые густой слизью. Мы долго шли, местами погружаясь в глубокую тину или невылазную, зловонную жидкую грязь, местами наклоняясь, так как заносы грязи были настолько высоки, что невозможно было ид-

ти прямо – приходилось нагибаться, и все же при этом я доставал головой и плечами свод. Ноги проваливались в грязь, натываясь иногда на что-то плотное. Все это заплыло жидкой грязью, рассмотреть нельзя было, да и до того ли было.

Дошагали в этой вони до первого колодца и наткнулись на спущенную лестницу. Я поднял голову, обрадовался голубому небу,

– Ну, целы? Вылазь! – загудел сверху голос.

– Мы пройдем еще, спускай через пролет.

– Ну-к что ж, уж глядеть так глядеть!

Я дал распоряжение перенести лестницу на два пролета вперед; она поползла вверх. Я полюбовался голубым небом, и через минуту, утопая выше колен в грязи и каких-то обломках и переползая уличные отбросы, мы зашагали дальше.

Опять над нами четырехугольник ясного неба. Через несколько минут мы наткнулись на возвышение под ногами. Здесь была куча грязи особенно густой, и, видимо, под грязью было что-то навалено... Полезли через кучу, осветив ее лампочкой. Я ковырнул ногой, и под моим сапогом что-то запружинило... Пе-

решагнули кучу и пошли дальше. В одном из таких заносов мне удалось рассмотреть до половины занесенный илом труп громадного дога. Особенно трудно было перебраться через последний занос перед выходом к Трубной площади, где ожидала нас лестница. Здесь грязь была особенно густа, и что-то все время скользило под ногами. Об этом боязно было думать.

А Федю все-таки прорвало:

– Верно говорю: по людям ходим.

Я промолчал. Смотрел вверх, где сквозь железную решетку сияло голубое небо. Еще пролет, и нас ждут уже открытая решетка и лестница, ведущая на волю.

* * *

Мои статьи о подземной клоаке под Москвой наделали шуму. Дума постановила начать перестройку Неглинки, и дело это было поручено моему знакомому инженеру Н. М. Левачеву, известному охотнику, с которым мы ездили не раз на зимние волчьи охоты.

С ним, уже во время работ, я спускался второй раз в Неглинку около Малого театра, где канал делает поворот и где русло было так за-

бито разной нечистью, что вода едва проходила сверху узкой струйкой: здесь и была главная причина наводнений.

Наконец в 1886 году Неглинка была перестроена.

Репортерская заметка сделала свое дело. А моего отчаянного спутника Федю Левачев взял в рабочие, как-то устроил ему паспорт и сделал потом своим десятником.

* * *

За десятки лет после левачевской перестройки снова грязь и густые нечистоты образовали пробку в повороте канала под Китайским проездом, около Малого театра. Во время войны наводнение было так сильно, что залило нижние жилые этажи домов и торговые заведения, но никаких мер сонная хозяйка столицы – городская дума не принимала.

Только в 1926 году взялся за Неглинку Моссовет и, открыв ее от Малого театра, под который тогда подводился фундамент, до половины Свердловской площади, вновь очистил загрязненное русло и прекратил наводнения.

Я как-то шел по Неглинной и против Государственного банка увидел посреди улицы

деревянный барак, обнесенный забором, вошел в него, встретил инженера, производившего работы, – оказалось, что он меня знал, и на мою просьбу осмотреть работы изъявил согласие. Посредине барака зияло узкое отверстие, из которого торчал конец лестницы.

Я попробовал спуститься, но шуба мешала, – а упускать случай дать интересную заметку в «Вечернюю Москву», в которой я тогда работал, не хотелось. Я сбросил шубу и в одном пиджаке спустился вниз.

Знакомый подземный коридор, освещенный тусклившимися сквозь туман электрическими лампочками. По всему желобу был настлан деревянный помост, во время оттепели все-таки заливавшийся местами водой. Работы уже почти кончились, весь ил был убран, и подземная клоака была приведена в полный порядок.

Я прошел к Малому театру и, продрогший, промочив ноги и нанюхавшись запаха клоаки, вылез по мокрой лестнице. Надел шубу, которая меня не могла согреть, и направился в редакцию, где сделал описание работ и припомнил мое старое путешествие в клоаку.

На другой день я читал мою статью уже лежа в постели при высокой температуре, от гриппа я в конце концов совершенно оглох на левое ухо, а потом и правое оказалось поврежденным.

Это было эпилогом к моему подземному путешествию в бездны Неглинки сорок лет назад.

Ночь на Цветном бульваре

Дырка в кармане! Что может быть ничтожнее этого?

А случилось так, что именно эта самая маленькая, не замеченная вовремя дырка оказалась причиной многих моих приключений.

Был август 1883 года, когда я вернулся после пятимесячного отсутствия в Москву и отдался литературной работе: писал стихи и мелочи в «Будильнике», «Развлечении», «Осколках», статьи по различным вопросам, давал отчеты о скачках и бегах в московские газеты. Между ипподромными знакомыми всех рангов и положений пришлось познакомиться с людьми самых темных профессий, но всегда щегольски одетых, крупных игроков в то-

тализатор. Я усиленно поддерживал подобные знакомства: благодаря им я получал интересные сведения для газет и проникал иногда в тайные игорные дома, где меня не стеснялись и где я встречал таких людей, которые были приняты в обществе, состояли даже членами клубов, а на самом деле были или шулера, или аферисты, а то и атаманы шаек. Об этом мирке можно написать целую книгу. Но я ограничусь только воспоминаниями об одном завсегдае бегов, щеголе-блондине с пушистыми усами, имевшем даже собственного рысака, бравшего призы.

В тот день, когда произошла история с дыркой, он подошел ко мне на ипподроме за советом: записывать ли ему свою лошадь на следующий приз, имеет ли она шансы? На подъезде, после окончания бегов, мы случайно еще раз встретились, и он предложил по случаю дождя довести меня в своем экипаже до дому. Я отказывался, говоря, что еду на Самотеку, а это ему не по пути, но он уговорил меня и, отпустив кучера, лихо домчал в своем шарабане до Самотеки, где я зашел к моему старому другу художнику Павлику Яковлеву.

Дорогой все время разговаривали о лошадях, – он считал меня большим знатоком и уважал за это.

От Яковлева я вышел около часа ночи и зашлепал в своих высоких сапогах по грязи средней аллеи Цветного бульвара, по привычке сжимая в правом кармане неразлучный кастет – подарок Андреева-Бурлака. Впрочем, эта предосторожность была излишней: ни одной живой души, когда

*Осенний мелкий дождичек
Сеет, сеет сквозь туман.*

Ночь была непроглядная. Нигде ни одного фонаря, так как по думскому календарю в те ночи, когда должна светить луна, уличного освещения не полагалось, а эта ночь по календарю считалась лунной. А тут еще вдобовок туман. Он клубился над кустами, висел на деревьях, казавшихся от этого серыми призраками.

В такую только ночь и можно идти спокойно по этому бульвару, не рискуя быть ограбленным, а то и убитым ночными завсегдатаями, выходящими из своих трущоб в

грачевских переулках и Арбузовской крепости, этого громадного бывшего барского дома, расположенного на бульваре.

Самым страшным был выходящий с Грачевки на Цветной бульвар Малый Колосов переулок, сплошь занятый полтинными, последнего разбора публичными домами. Подъезды этих заведений, выходящие на улицу, освещались обязательным красным фонарем, а в глухих дворах ютились самые грязные тайные притоны проституции, где никаких фонарей не полагалось и где окна завешивались изнутри.

Характерно, что на всех таких дворах не держали собак... Здесь жили женщины, совершенно потерявшие образ человеческий, и их «коты», скрывавшиеся от полиции, такие, которым даже рискованно было входить в ночлежные дома Хитровки. По ночам «коты» выходили на Цветной бульвар и на Самотеку, где их «марухи» замарьяживали пьяных. Они или приводили их в свои притоны, или их тут же раздевали следовавшие по пятам своих «дам» «коты». Из последних притонов вербовались «составителями» громилы для со-

вершения преступлений, и сюда никогда не заглядывала полиция, а если по требованию высшего начальства, главным образом прокуратуры, и делались обходы, то «хозяйки» заблаговременно знали об этом, и при «внезапных» обходах никогда не находили того, кого искали...

Хозяйки этих квартир, бывшие проститутки большей частью, являлись фиктивными содержательницами, а фактическими были их любовники из беглых преступников, разыскиваемых полицией, или разные не попавшиеся еще аферисты и воры.

У некоторых шулеров и составителей игры имелись при таких заведениях сокровенные комнаты, «мельницы», тоже самого последнего разбора, предназначенные специально для обыгрывания громил и разбойников, которые только в такие трущобы являлись для удовлетворения своего азарта совершенно спокойно, зная, что здесь не будет никого чужого. Пронюхают агенты шулера – составителя игры, что у какого-нибудь громилы после удачной работы появились деньги, сейчас же устраивается за ним охота. В известный день

его приглашают на «мельницу» поиграть в банк – другой игры на «мельницах» не было, – а к известному часу там уж собралась стройно спевшаяся компания шулеров, приглашается и исполнитель, банкомет, умеющий бить наверняка каждую нужную карту, – и деньги азартного вора переходят компании. Специально для этого и держится такая «мельница», а кроме того, в ней в дни, не занятые «деловыми», играет всякая шпана мелкотравчатая и дает верный доход – с банка берут десять процентов. На большие «мельницы», содержимые в шикарных квартирах, «деловые ребята» из осторожности не ходили – таких «мельниц» в то время в Москве был десяток на главных улицах.

* * *

Временем наибольшего расцвета такого рода заведений были восьмидесятые годы. Тогда содержательницы притонов считались самыми благонамеренными в политическом отношении и пользовались особым попустительством полиции, щедро ими оплачиваемой, а охранное отделение не считало их «опасными для государственного строя» и да-

же покровительствовало им вплоть до того, что содержатели притонов и «мельниц» попадали в охрану при царских проездах. Тогда полиция была занята только вылавливанием «неблагонадежных», революционно настроенных элементов, которых арестовывали и ссылали сотнями.

И блаженствовал трущобный мир на Грачевке и Цветном бульваре...

Я шагал в полной тишине среди туманных призраков и вдруг почувствовал какую-то странную боль в левой ноге около щиколотки; боль эта стала в конце концов настолько сильной, что заставила меня остановиться. Я оглядывался, куда бы присесть, чтоб переобуться, но скамейки нигде не было видно, а нога болела нестерпимо.

Тогда я прислонился к дереву, стянул сапог и тотчас открыл причину боли: оказалось, что мой маленький перочинный ножик провалился из кармана и сполз в сапог. Сунув ножик в карман, я стал надевать сапог и тут услышал хлюпанье по лужам и тихий разговор. Я притих за деревом. Со стороны Безымянки темнеет на фоне радужного круга от

красного фонаря тихо движущаяся группа из трех обнявшихся человек.

– Заморился, отдохнем... Ни живой собаки нет...

– Эх, нюня дохлая! Ну, опускай...

Крайние в группе наклонились, бережно опуская на землю среднего.

«Пьяного ведут», – подумал я.

Успеваю рассмотреть огромную фигуру человека в поддевке, а рядом какого-то куцего, горбатого. Он качал рукой и отдувался.

– Какой здоровущий был, все руки оттянул! А здоровущий лежал плашмя в луже.

– Фокач, бросим его тут... а то в кусты рядом...

– Это у будки-то, дуроплясина! Побегут завтра лягаши по всем «хазам»...

– В трубу-то вернее, и концы в воду!

– Делать, так делать вглухую. Ну, берись! Теперь на руках можно.

Большой взял за голову, маленький – за ноги, и понесли, как бревно.

Я – за ними, по траве, чтобы не слышно. Дождик перестал. Журчала вода, стекая по канавке вдоль тротуара, и с шумом падала в

приемный колодец подземной Неглинки
сквозь железную решетку. Вот у нее-то «тру-
женики» остановились и бросили тело на
камни.

– Поднимай решетку!

Маленький наклонился, а потом выпря-
мился: – Чижало, не могу!

– Эх, рвань дохлая!

Гигант рванул и сдвинул решетку. «Эге, –
сообразил я, – вот что значит: «концы в воду».
Я зашевелился в кустах, затопал и гаркнул на
весь бульвар:

– Сюда, ребята! Держи их!

И, вынув из кармана полицейский сви-
сток, который на всякий случай всегда носил
с собой, шляясь по трущобам, дал три резких,
продолжительных свистка.

Оба разбойника метнулись сначала вдоль
тротуара, а потом пересекли улицу и скры-
лись в кустах на пустыре.

Я подбежал к лежавшему, нащупал лицо.
Борода и усы бритые... Большой стройный че-
ловек. Ботинки, брюки, жилет, а белое пятно
оказалось крахмальной рубахой. Я взял его
руку – он шевельнул пальцами. Жив!

Я еще тройной свисток – и мне сразу откликнулись с двух разных сторон. Послышались торопливые шаги: бежал дворник из соседнего дома, а со стороны бульвара – городской, должно быть, из будки... Я спрятался в кусты, чтобы удостовериться, увидят ли человека у решетки. Дворник бежал вдоль тротуара и прямо наткнулся на него и засвистал. Подбежал городской... Оба наклонились к лежащему. Я хотел выйти к ним, но опять почувствовал боль в ноге: опять провалился ножик в дырку!

И это решило дальнейшее: зря рисковать нечего, завтра узнаю.

Я знал, что эта сторона бульвара принадлежит первому участку Сретенской части, а противоположная с Безымянкой, откуда тащили тело, – второму.

На Трубной площади я взял извозчика и поехал домой.

К десяти часам утра я был уже под сретенской каланчой, в кабинете пристава Ларепланда. Я с ним был хорошо знаком и не раз получал от него сведения для газет. У него была одна слабость. Бывший кантонист, десятки

лет прослужил в московской полиции, дошел из городских до участкового, получил чин коллежского асессора и был счастлив, когда его называли капитаном, хотя носил погоны гражданского ведомства.

– Капитан, я сейчас получил сведения, что сегодня ночью нашли убитого на Цветном бульваре.

– Во-первых, никакого убитого не было, а подняли пьяного, которого ограбили на Грачевке, перетащили его в мой участок и подкинули. Это уж у воров так заведено, – чтобы хлопот меньше и им и нам. Кому надо в чужом участке доискиваться! А доказать, что перетащили, нельзя. Это первое. А второе: покорнейшая к вам просьба об этом ни слова в газете не писать. Я даже протокола не составлял и дело прикончил сам. Откуда только вы узнали – диву даюсь! Этого никто, кроме поднявших городских да потерпевшего, не знает... А он-то и просил прекратить дело. Нет, уж вы, пожалуйста, не пишите, а то меня подведете, – я и обер-полицмейстеру не доносил.

И рассказал мне Ларепланд, что ночью привезли бесчувственно пьяного, чуть не до-

гола раздетого человека, которого подняли на мостовой, в луже.

– Сперва думали – мертвый, положили в часовню, где два тела опившихся лежали, а он зашевелился и заговорил. Сейчас – в приемный покой, отходили, а утром я с ним разговаривал. Оказался богатый немец, в конторе Вогау его брат служит. Сейчас же его вызвали, он приехал в карете и увез брата. Немец загулял, попал в притон, девки затащили, а там опоили его «малинкой», обобрали и выбросили на мой участок. Это у нас то и Дело бывает... То из того ко мне подарок, то наши ребята во второй подкинут... Там капитан Капени (тоже кантонист) мой приятель, ну и прекращаем дело. Да и пользы никому нет – все по-старому будет, одни хлопоты. Хорошо, что еще жив остался – вовремя признак жизни подал!

Молодой, красивый немец... Попал в притон в нетрезвом виде, заставили его пиво пить вместе с девками. Помнит только, что все пили из стаканов, а ему поднесли в граненой кружке с металлической крышкой, а на крышке птица, – ее только он и запомнил...

Я пообещал ничего не писать об этом происшествии и, конечно, ничего не рассказал приставу о том, что видел ночью, но тогда же решил заняться исследованием Грачевки, так похожей на Хитровку, Арженовку, Хапиловку и другие трущобы, которые я не раз посещал.

Кружка с орлом

В свободный вечер попал на Грачевку. Послушав венгерский хор в трактире «Крым» на Трубной площади, где встретил шулеров – постоянных посетителей скачек – и кой-кого из знакомых купцов, я пошел по грачевским притонам, не официальным, с красными фонарями, а по тем, которые уютятся в подвалах на темных, грязных дворах и в промозглых «фатерах» «Колосовки», или «Безымянки», как ее еще иногда называли.

К полуночи этот переулочек, самый воздух которого был специфически зловонен, гудел своим обычным шумом, в котором прорывались звуки то разбитого фортепьяно, то скрипки, то гармоники; когда отворялись двери под красным фонарем, то неслись пьяные песни.

В одном из глухих, темных дворов свет из окон почти не проникал, а по двору двигались неясные тени, слышались перешептывания, а затем вдруг женский визг или отчаянная ругань...

Передо мной одна из тех трущоб, куда заманиваются пьяные, которых обируют дочиста и выбрасывают на пустыре.

Около входов стоят женщины, показывают «живые картины» и зазывают случайно забредших пьяных, обещая за пятак предоставить все радости жизни вплоть до папироски за ту же цену...

Когда я пересек двор и подошел к входу в подвал, расположенному в глубине двора, то услышал приглашение на французском языке и далее по-русски:

– Зайдите к нам, у нас весело!

От стены отделилась высокая женщина и за рукав потащила меня вниз по лестнице.

– У нас и водка и пиво есть.

Вошли. Перед глазами мельтешился красноватый свет среди пара и копоти. Хаос звуков. Под черневшими сводами огромной комнаты стояли три стола. На стене близ двери

коптила жестяная лампочка, и черная струйка дыма расходилась воронкой под сводом, сливаясь незаметно с черным от сажи потолком. На двух столах стояли такие же лампочки, пустые бутылки, валялись объедки хлеба, огурцов, селедки. На крайнем к окну столе шла ожесточенная игра в банк. Метал плотный русак богатырского сложения, с окладистой, степенной бородой, в поддевке. Засученные рукава открывали громадные кулаки, в которых почти исчезала колода карт. Крутом теснились оборванные, бледные, с пылающими взорами понтеры.

– Семитка око...

– Имею – пятак. На пе.

– Угол от пятака... – слышались возгласы игроков. Дальше, сквозь отворенную дверь, виднелась другая такая же комната. Там тоже стоял в глубине стол, но уже с двумя свечками, и за столом тоже шла игра в карты...

Передо мной, за столом без лампы, сидел небритый бледный человек в форменной фуражке, обнявшись с пьяной бабой, которая выводила фальцетом:

И чай пил-ла, и б-булк-и ела,

Поз-за-была и с кем си-идела.

Испитой юноша, на вид лет семнадцать, в лакированных сапогах, в венгерке и в новом картузе на затылке, стуча дном водочного стакана по столу, убедительно доказывал что-то маленькому потрепанному человечку:

– Слушай, ты...

– И что слушай? Что слушай? Работали вместе, и слам пополам...

– Оно пополам и есть!.. Ты затырка, я поширмохе, тебе лопатошник, а мне бака... В лопатошнике две красных!..

– Бака-то полета ходит, небось анкер...

– Провалиться, за четвертную ушла... – Заливаешь!

– Пра-слово! Чтоб сдохнуть! – Где же они?

– Прожил! Вот коньки лаковые, вот чепчик... Ни финаги в кармане!

– Глянь-ка, Оська, какой стрюк заполз!

Испитой юноша посмотрел на меня, и я услышал, как он прошептал:

– Не лягаш ли?

– Тебе все лягавые чудятся...

– Не-ет. Просто стрюк шатаный...

– Да вот сейчас узнаем... – Он обратился к

приведшей меня «даме»: – Па-алковни-ца, что, кредитного сво-во, что ли, привела?

Полковница повернула в говорившему свое строгое, густо наштукатуренное лицо, подмигнула большими черными, глубоко запавшими глазами и крикнула:

– Барин выпить хочет. Садитесь, садитесь! Je vous prie![5]

– Садись – гость будешь, вина купишь – хозяин будешь! – крикнул бородач-банкомет, тасовавший карты.

Я сел рядом с Оськой.

– Что ж, барин, ставь вина, угощай свою полковницу, – проговорил юноша в венгерке.

– Изволь!

– Да уж расшибись на рупь-целковый, всех угощай. Вон и барон мучится с похмелья.

Мужчина в форменной фуражке лихо подлетел ко мне и скороговоркой выпалил:

– Барон Дорфгаузен... Отто Карлович... Прошу любить и жаловать, – он шаркнул ножкой в опорках.

– Вы барон? – спросил я.

– Ma parole! Даю слово! Барон и губернский секретарь... В Лифляндии родился, в Берлине

обучался, в Москве с кругу спился и вдребезги проигрался... Одолжите двугривенный. Пойду отыгрываться... До первой встречи.

– Извольте!

И через минуту слышался его властный голос:

– Куш под картой. Имею... Имею...

– Верно, господин, он настоящий барон, – зашептал мне Оська. – Теперь свидетельства на бедность да разные фальшивые удостоверения строчит... А как печати на копченом стекле салит! Ежели желаете вид на жительство – прямо к нему. И такция недорогая... Сейчас ежели плакат, окромя бланка, полтора рубля, вечность – три.

– Вечность?

– Да, дворянский паспорт или указ об отставке... С чинами, с орденами пропишет...

– Барон... Полковница... – в раздумье проговорил я.

– И полковница настоящая, а не то что какая-нибудь подполковница... Она с самим живет... Заведение на ее имя.

Тут полковница перебила его и, пересыпая речь безграмотными французскими фразами,

начала рассказывать, как ее выдали подростком еще за старика, гарнизонного полковника, как она с соседом-помещиком убежала за границу, как тот ее в Париже бросил, как впоследствии она вернулась домой, да вот тут в Безымянке и очутилась.

– Ну ты, стерва, будет языком трепать, тащи пива! – крикнул, не оглядываясь, банкомет.

– Несу, оголтелый, чего орешь, каторга!

– Унгдюк! Не везет... А? Каково? Нет, вы послушайте. Ставлю на шестерку куш – дана! На пё. Имею полкуша на пё, очки вперед... Взял. Отгибаюсь – бита. Тем же кушем иду-бита... Ставлю на смарку – бита! Подряд, подряд!..

– Проиграли, значит?

– Вдрызг! А ведь только последнюю бы дали – и я крез! Талию изучил – и вдруг бита!.. Одолжите еще... до первой встречи... Тот же куш...

Опять даю двугривенный.

– Ол-райт! Это по-барски... До первой встречи!..

Полковница налила пива в четыре стакана, а для меня в хрустальную кружку с мель-

хиоровой крышкой, на которой красовался орел.

Барон оторвался на минуту от карт и, подняв стакан, молодецки возгласил:

– За здоровье дам! Ур-ра!..

– А вы что же не пьете? Кушайте! – обратилась ко мне полковница.

– Не пью пива... – коротко ответил я. В это время игра кончилась.

Банкомет, сунув карты и деньги в карман и убавив огонь в лампе, встал.

– Шабаш, до завтра! Выкидывайтесь все отсель.

Игроки, видимо привыкшие ему повиноваться, мгновенно поднялись и молча ушли. Остался только барон, все еще ерепенившийся. Банкомет выкинул ему двугривенный:

– Подавись и выкидывайся!.. Надоел ты мне. Куш под картой, очки вперед!.. На грош амуниции, на рубль амбиции! Уходи, не продайся!

Банкомет взял за плечи барона и вмиг выставил его за дверь, которую тотчас же запер на крюк. Даже выругаться барон не успел. Остались: оська, карманник в венгерке, пья-

ная баба, полковница и банкомет. Он подсел к нам.

Из соседней комнаты доносились восклицания картежников. Там, должно быть, шла игра серьезная.

Полковница вновь наполнила пивом стаканы, а мне придвинула мою нетронутую кружку:

– Кушайте же, не обижайте нас.

– Да ведь не один же я? Вот и молодой человек не пьет...

– Шалунок-то? Ему нельзя, – сказал Оська.

– Ему доктор запретил... – успокоила полковница.

– А вот вы, барин, чего не пьете? У нас так не полагается. Извольте пить! – сказал бородач-банкомет и потянулся ко мне чокаться.

Я отказался.

– Считаю это за оскорбление. Вы брезгуете нами! Это у нас не полагается. Пейте! Ну? Не доводи до греха, пей!

– Нет!

– А, нет? Оська, лей ему в глотку!

Банкомет вскочил со стула, схватил меня одной рукой за лоб, а другой за подбородок,

чтобы раскрыть мне рот. Оська стоял с кружкой, готовый влить пиво насильно мне в рот.

Это был решительный момент. Я успел выхватить из кармана кастет и прямым ударом ткнул в зубы нападавшего. Он с воем грохнулся на пол.

– Что еще там? – раздался позади меня голос, и из двери вышел человек в черном сюртуке, а следом за ним двое остановились на пороге, заглядывая к нам. Человек в сюртуке повернулся ко мне, и мы оба замерли от удивления.

– Это вы? – воскликнул человек в сюртуке и одним взмахом отшиб в сторону вскочившего с пола и бросившегося на меня банкюмета, борода которого была в крови. Тот снова упал. Передо мной, сконфуженный и пораженный, стоял беговой «спортсмен», который вез меня в своем шарабане. Все остальные окаменели.

Он выхватил из рук еще стоявшего у стола Оськи кружку с пивом и выплеснул на пол.

– Убери! – приказал он дрожавшей от страха полковнице. – Владимир Алексеевич, как вы сюда попали? Зайдемте ко мне в комнату.

– Ну вас к черту! Я домой...

И, надвинув шапку, я шагнул к двери. На полу стонал, лежа на брюхе и выплевывая зубы, банкомет.

– Нет, нет, я вас провожу!..

Выскочил за мной, под локоть помогая мне подняться по избитым камням лестницы, и бормотал извинения...

Я упорно молчал. В голове мелькало: «Концы в воду, Ларепланд с «малинкой», немец, кружка с птицей...»

«Спортсмен» продолжал рассыпаться передо мной в извинениях и между прочим сказал:

– Все-таки я вас спас от Самсона. Он ведь мог вас изуродовать.

– Ну, спас-то я себя сам, потому что «малинки» не выпил.

– Откуда вы знаете? – встрепенулся он и вдруг спохватился и уже другим тоном добавил: – Какой такой «малинки»?

– А которую ты выплеснул из кружки. Мало ли что я знаю.

– Вы... вы... – Зубы стучали, слово не выходило.

– Все знаю, да молчать умею.

– Вижу-с. Вот потому-то я хотел, чтобы вы ко мне в комнату зашли. Там отдельный выход. Приятели собрались... В картишки поиграть. Ведь я здесь не живу.

– Видел... Голиафа, маркера, узнал.

– Да... он под рукой сидел... метал Кречинский. Там еще Цапля... Потом Ватошник, потом...

– Ватошник? Тимошка? Да ведь он сыщик!

– Кому сыщик, а нам дружок... Еще раз, простите великодушно.

– Помни: я все знаю, но и виду не подам никогда. Будто ничего не было. Прощай! – крикнул я ему уже из калитки...

При встречах «спортсмен» старался мне не показываться на глаза, но раз поймал меня одного на беговой аллее и дрожащим голосом зашептал:

– Обещались, Владимир Алексеевич, а вот в газете-то что написали? Хорошо, что никто внимания не обратил, прошло пока... А ведь как ясно – Феньку все знают за полковницу, а барона по имени-отчеству целиком назвали, только фамилию другую поставили, его ведь

вся полиция знает, он даже прописанный. Главное вот барон...

– Ну, успокойся, больше не буду. Действительно, я напечатал рассказ «В глухую», где подробно описал виденный мною притон, игру в карты, отравленного «малинкой» гостя, которого потащили сбросить в подземную клоаку, приняв за мертвого. Только Колосов переулочек назвал Безымянным. Обстановку описал и в подробностях, как живых, действующих лиц. Барон Дорфгаузен, Отто Карлович... и это действительно было его настоящее имя.

А эпиграф к рассказу был такой:

«...При очистке Неглинного канала находили кости, похожие на человеческие...»

Драматурги из «Собачьего зала»

Все от пустяков – вроде дырки в кармане. В те самые времена, о которых я пишу сейчас, был у меня один разговор:

– Персидская ромашка! О нет, вы не шутите, это в жизни вещь великая. Не будь ее на свете – не был бы я таким, каким вы меня видите, а мой патрон не состоял бы в членах Общества драматических писателей и не получал бы тысячи авторского гонорара, а «Собачий зал»... Вы знаете, что такое «Собачий зал»?..

– Не знаю.

– А еще репортер известный, «Собачьего зала» не знаете!

Разговор этот происходил на империале вагона конки, тащившей нас из Петровского парка к Страстному монастырю. Сосед мой, в свеженькой коломянковой паре, шляпе калабрийского разбойника и шотландском шарфике, завязанном «неглиже с отвагой, а ля черт меня побери», был человек с легкой проседью на висках и с бритым актерским лицом. Когда я на станции поднялся по винто-

вой лестнице на империал, он назвал меня по фамилии и, подвинувшись, предложил место рядом. Он курил огромную дешевую сигару. Первые слова его были:

– Экономия: внизу в вагоне пятак, а здесь, на свежем воздухе, три копейки... И не из экономии я езжу здесь, а вот из-за нее... – И погрозил дымящейся сигарицей. – Именно эти сигары только и курю... Три рубля вагон, полтора рубля грядка, да-с, – клопосдохс, настоящий империал, потому что только на империале конки и курить можно... Не хотите ли сделаться империалистом? – предлагает мне сигару.

– Не курю, – и показал ему в доказательство табакерку, предлагая понюшку.

– Нет уж, увольте. Будет с меня домашнего чиханья.

А потом и бросил ту фразу о персидской ромашке... Швырнул в затылок стоявшего на Садовой городского окурок сигары, достал из кармана свежую, закурил и отрекомендовался:

– Я – драматург Глазов. Вас я, конечно, знаю.

– А какие ваши пьесы? – Мои? А вот...

И он перечислил с десяток пьес, которые, судя по афишам, принадлежали перу одного известного режиссера, прославившегося обилием переделок иностранных пьес. Его я знал и считал, что он автор этих пьес.

– Послушайте, да вы перечисляете пьесы, принадлежащие... – Я назвал фамилию.

– Да, они принадлежали ему, а автор их – я. Семнадцать пьес в прошлом году ему сделал и получил за это триста тридцать четыре рубля. А он на каждой сотни наживает, да и писателем драматическим числится, хотя собаку через «ять» пишет. Прежде в парикмахерской за кулисами мастерам щипцы подавал, задаром нищих брил, постигая ремесло, а теперь вот и деньги, и почет, и талантом считают... В Обществе драматических писателей заседает... Больше ста пьес его числится по каталогу, переведенных с французского, английского, испанского, польского, венгерского, итальянского и пр. и пр. А все они переведены с «арапского»!

– Как же это случилось?

– Да так. Года два назад написал я коме-

дию. Туда, сюда – не берут. Я – к нему в театр. Не застаю. Иду на дом. Он принимает меня в роскошном кабинете. Сидит важно, развалясь в кресле у письменного стола.

– Написал я пьесу, а без имени не берут. Не откажите поставить свое имя рядом с моим, и гонорар пополам, – предлагаю ему,

Он взял пьесу и начал читать, а мне дал сигару и газету.

– И талант у вас есть, и сцену знаете, только мне свое имя вместе с другим ставить неудобно. К нашему театру пьеса тоже не подходит.

– Жаль!

– Вам, конечно, деньги нужны? Да?

– Прямо жить нечем.

– Ну так вот, переделайте мне эту пьесу.

И подал мне французскую пьесу, переведенную одним небезызвестным переводчиком, жившим в Харькове.

Я посмотрел новенькую, только что процenzурованную трехактную пьесу.

– Как переделать? Да ведь она переведена!

– Да очень просто: сделать нужно так, чтобы пьеса осталась та же самая, но чтобы и ав-

тор и переводчик не узнали ее. Я бы это сам сделал, да времени нет... Как эту сделаете, я сейчас же другую дам.

Я долго не понимал сначала, чего он, собственно, хочет, а он начал мне способы переделки объяснять, и так-то образно, что я сразу постиг, в чем дело.

– Ну-с, так через неделю чтобы пьеса была у меня. Неделя – это только для начала, а там надо будет пьесы в два дня перешивать.

Через неделю я принес. Похвалил, дал денег и еще пьесу. А там и пошло, и пошло; два дня – трехактный фарс и двадцать пять рублей. Пьеса его и подпись его, а работа целиком моя.

Я заинтересовался, слушал и ровно ничего не понимал.

Вагон остановился у Страстного, и, слезая с имперяла, Глазов предложил мне присесть на бульваре, у памятника Пушкину. Он рассказывал с увлечением. Я слушал со вниманием.

– Как же вы переделывали и что? Откуда же режиссер брал столько пьес для переделки? – спросил я.

– Да ведь он же режиссер. Ну, пришлют ему пьесу для постановки в театре, а он сейчас же за мной. Прихожу к нему тайком в кабинет. Двери позатворяет, слышу – в гостиной знакомые голоса, товарищи по сцене там, а я, как краденый. Двери кабинета на ключ. Подает пьесу – только что с почты – и говорит:

– Сделай к пятнице. В субботу должны отослать обратно. Больше двух дней держать нельзя.

Раз в пьесе, полученной от него, письмо попало: писал он сам автору, что пьеса поставлена быть не может по независящим обстоятельствам. Конечно, зачем чужую ставить, когда своя есть! Через два дня я эту пьесу перелицевал, через месяц играли ее, а фарс с найденным письмом отослали автору обратно в тот же день, когда я возвратил его.

Мой собеседник увлекся.

– И сколько пьес я для него переделал! И как это просто! Возьмешь, это самое, новенькую пьесу, прочитаешь и первое дело даешь ей подходящее название. Например, автор назвал пьесу «В руках», а я сейчас – «В рукавицах», или назовет автор – «Рыболов», а я – «На

рыбной ловле». Переменишь название, принимаешься за действующих лиц. Даешь имена, какие только в голову взбредут, только бы на французские походили. Взбрело в голову первое попавшееся слово, и сейчас его на французское. Маленьких персонажей перешиваешь по-своему: итальянца делаешь греком, англичанина – американцем, лакея – горничной... А чтобы пьесу совсем нельзя было узнать, вставишь автомата или попугая. Попугай или автомат на сцене, а нужные слова за него говорят за кулисами. Ну-с, с действующими лицами покончишь, декорации и обстановку переиначишь. Теперь надо изменять по-своему каждую фразу и перетасовывать явления. Придумываешь эффектный конец, соль оригинала заменяешь сальцем, и пьеса готова.

Он сразу впал в минорный тон.

– Обворовываю талантливых авторов! Ведь на это я пошел, когда меня с квартиры гнали... А потом привык. Я из-за куска хлеба, а тот имя свое на пьесах выставляет, слава и богатство у него. Гонорары авторские лопатой гребет, на рысаках ездит... А я? Расходы

все мои, получаю за пьесу двадцать рублей, из них пять рублей переписчикам... Опохмеляю их, оголтелых, чаем пою... Пока не опохмелишь, руки-то у них ходуном ходят...

Он много еще говорил и взял с меня слово обязательно посетить его.

– Мы только с женой вдвоем. Она – бывшая провинциальная артистка, драматическая инженю. Завтра я свободен, заказов пока нет, Итак, завтра в час дня.

– Даю слово.

На другой день я спускался в подвальный этаж домишка рядом с трактиром «Молдавия», на Живодерке, в квартиру Глазова.

В темных сенцах, куда выходили двери двух квартир, стояли три жалких человека, одетых в лохмотья; четвертый – в крахмальной рубаше и в одном жилете – из большой коробки посыпал оборванцев каким-то порошком. Пахло чем-то знакомым.

– Здравствуйте, Глазов! – крикнул я с лестницы.

– А, это вы? Владимир Алексеевич! Сейчас... Только пересыплю этих дьяволов. – И он бросал горстями порошок за ворот, за пазуху,

даже за пояс брюк трем злополучникам.

Несчастные ежились, хохотали от щекотки и чихали.

– Ну, подождите, пока не повылазят. А мы пойдем. Пожалуйста!

И он отворил передо мной дверь в свою довольно чистую квартирку.

– Что за история? – спрашиваю я.

– Переписчики пришли, – серьезно ответил мне Глазов. – Сейчас заказ принесли срочный.

– Так в чем же дело?

– Персидской ромашкой я пересыпаю... А без этого их нельзя... Извините меня... Я сейчас оденусь.

Он накинул пиджак.

– Эллен! Ко мне мой друг пришел... Писатель... Приготовь нам закусить... Да иди сюда.

– Mille pardon... Я не одета еще.

Из спальни вышла молодая особа с папильотками в волосах и следами грима и пудры на усталом лице.

– Моя жена... Стасова-Сарайская... Инженерная драмати.

– Ах, Жорж! Не может он без глупых шу-

ток! – улыбнулась она мне. – Простите, у нас беспорядок. Жорж возится с этой рванью, с переписчиками... Сидят и чешутся... На сорок копеек в день персидской ромашки выходит... А то без нее такой зоологический сад из квартиры сделают, что сбежишь... Они из «Собачьего зала».

Глазов перебивает:

– Да. Великое дело – персидская ромашка. Сам я это изобрел. Сейчас их осыплешь – и в бороду, и в голову, и в белье, у которых есть... Потом полчаса подержишь в сенях, и все в порядке: пишут, не чешутся, и в комнате чисто...

– Так, говорите, без персидской ромашки и пьес не было бы?

– Не было бы. Ведь их в квартиру пускать нельзя без нее... А народ они грамотный и сцену знают. Некоторые – бывшие артисты... В два дня пьесу стряпаем: я – явление, другой – явление, третий – явление, и кипит дело... Эллен, ты угощай завтраком гостя, а я займусь пьесой... Уж извините меня... Завтра утром сдавать надо... Посидите с женой.

Мы вошли в комнату рядом со спальней,

где на столе стояла бутылка водки, а на керосинке жарилось мясо. В декабре стояла сырая, пронизывающая погода: снег растаял, стояли лужи; по отвратительным московским мостовым проехать невозможно было ни на санях, ни на колесах.

То же самое было и на Живодерке, где помещался «Собачий зал Жана де Габриель». Населенная мастеровым людом, извозчиками, цыганами и официантами, улица эта была весьма шумной и днем и ночью. Когда уже все «заведения с напитками» закрывались и охочему человеку негде было достать живой влаги, тогда он шел на эту самую улицу и удовлетворял свое желание в «Таверне Питера Питта».

Так называлась винная лавка Ивана Гаврилова на языке обитателей «Собачьего зала», состоявшего при «Таверне Питера Питта».

По словам самого Жана Габриеля, он торговал напитками по двум уставам: с семи утра до одиннадцати вечера – по питейному, а с одиннадцати вечера до семи утра – по похмельному.

Вечером, в одиннадцать часов, лавка запиралась, но зато отпиралась каморка в сенях, где стояли два громадных сундука – один с бутылками, другой с полубутылками. Торговала ими «бабушка» на вынос и распивочно в «Собачем зале». На вынос торговали через форточку. Покупатель постучит с заднего двора, сунет деньги молча и молча получит бутылку. Форточка эта называлась «шланбой». Таких «шланбоев» в Москве было много: на Грачевке, на Хитровке и на окраинах. Если ночью надо достать водки, подходи прямо к городовому, спроси, где достать, и он укажет дом:

– Войдешь в ворота, там шланбой, занавеска красная. Войдешь, откроется форточка... А потом мне гривенник сунешь или дашь глотнуть из бутылки.

Возвращаясь часу во втором ночи с Малой Грузинской домой, я скользил и тыкался по рытвинам тротуаров Живодерки. Около одного из редких фонарей этой цыганской улицы меня кто-то окликнул по фамилии, и через минуту передо мной вырос весьма отрепанный, небритый человек с актерским лицом.

Знакомые черты, но никак не могу припомнить.

Он назвался.

– Запутался, брат, запил. Второй год в «Собачьем зале» пребываю. Сцену бросил, переделкой пьес занимаюсь.

Я помнил его молодым человеком, талантливым начинающим актером, и больно стало при виде этого опустившегося бедняка: опух, дрожит, глаза слезятся, челюсти не слушаются.

– Водочки бы, – нерешительно обратился он ко мне.

– Да ведь поздно, а то угостил бы.

– Нет, что ты! Пойдем со мною, вот здесь рядом... Он ухватил меня за рукав и торопливо зашагал по обледенелому тротуару. На углу переулка стоял деревянный двухэтажный дом и рядом с ним, через ворота, освещенный фонарем, старый флигель с казенной зеленой вывеской «Винная лавка».

Мы остановились у ворот.

Актер стукнул в калитку.

– Кто еще? – прохрипели со двора.

– Сезам, отворись, – ответил мой спутник.

– Кто? – громче хрипело со двора.

– Шланбой.

По этому магическому слову калитка отворилась, со двора пахнуло зловонием, и мы прошли мимо дворника в тулупе, с громадной дубиной в руках, на крыльцо флигеля и очутились в сенях.

– Держись за меня, а то загремишь, – предупредил меня спутник.

Роли переменялись: теперь я держался за его руку. Он отворил дверь. Пахнуло теплом, ужасным, зловонным теплом жилой трущобы.

Картина, достойная описания: маленькая комната, грязный стол с пустыми бутылками, освещенный жестяной лампой; налево громадная русская печь (помещение строилось под кухню), а на полу вповалку спало более десяти человек обоего пола, вперемежку, так тесно, что некуда было поставить ногу, чтобы добраться до стола.

– Вот мы и дома, – сказал спутник и заорал диким голосом: – Проснитесь, мертвые, восстаньте из гробов! Мы водки принесли!..

Кучи лохмотьев зашевелились, слыша-

лись недовольные голоса, ругань.

А он продолжал:

– Мы водки принесли! И полез на печь.

– Бабка, водки!

– Ишь вас носит, дьяволы-полунощники,

покою вам нет...

– Аркашка, ты? – слышалось с печи.

– А с полу вставали, протирали глаза, бормотали:

– Где водка?..

– Дайте, черти, воды! Горло пересохло! – стонала полураздетая женщина, с растрепанными волосами, матово-бледная, с синяком на лбу.

– Аркашка, кого привел?.. Карася?

– Да еще какого, бабка... Водки!

С печи слезли грязная, морщинистая старуха и оборванный актер, усиленно старавшийся надеть пенсне с одним стеклом: другое было разбито, и он закрывал глаз, против которого не было стекла.

– Тоже артист и автор, – рекомендовал Аркашка.

Я рассматривал комнату. Над столом углом была нарисована нецензурная карикатура,

изображавшая человека, который, судя по лицу, много любил и много пострадал от любви; под карикатурой подпись:

«Собачий зал Жана де Габриель». Здесь жили драматурги и артисты, работавшие на своих безграмотных хозяев.

Купцы

Во всех благоустроенных городах тротуары видут по обе стороны улицы, а иногда, на особенно людных местах, поперек мостовых для удобства пешеходов делались то из плитняка, то из асфальта переходы. А вот на Большой Дмитровке бульжная мостовая пересечена наискось прекрасным тротуаром из гранитных плит, по которому никогда и никто не переходит, да и переходить незачем: переулков близко нет.

Этот гранитный тротуар начинается у подъезда небольшого особняка с зеркальными окнами. И как раз по обе стороны гранитной диагонали Большая Дмитровка была всегда самой шумной улицей около полуночи.

В Богословском (Петровском) переулке с 1883 года открылся театр Корша. С девяти ве-

черя отовсюду поодиночке начинали съезжаться извозчики, становились в линию по обеим сторонам переулка, а не успевшие занять место вытягивались вдоль улицы по правой ее стороне, так как левая была занята лихачами и парными «голубчиками», платившими городу за эту биржу крупные суммы. «Ваньки», желтоглазые погонялки – эти извозчики низших классов, а также кашники, приезжавшие в столицу только на зиму, платили «халтуру» полиции.

Дежурные сторожа и дворники, устанавливавшие порядок, подходили к каждому подъезжающему извозчику, и тот совал им в руку заранее приготовленный гривенник.

Городовой важно прогуливался посередине улицы и считал запряжки для учета при дележе. Иногда он подходил к лихачам, здоровался за руку: взять с них, с биржевых плательщиков, было нечего. Разве только приятель-лихач угостит папироской.

Прохожих в эти театральные часы на улице было мало. Чаще других пробегали бедно одетые студенты, возвращаясь в свое общежитие на заднем дворе купеческого особняка.

Извозчики стояли кучками у своих саней, курили, болтали, распивали сбитень, а то и водочку, которой приторговывали сбитенщики, тоже с негласного разрешения городского.

Еще с начала вечера во двор особняка въехало несколько ассенизационных бочек, запряженных парами кляч, для своей работы, которая разрешалась только по ночам. Эти «ночные брокеры», прозванные так в честь известной парфюмерной фирмы, открывали выгребные ямы и переливали содержимое черпаками на длинных рукоятках и увозили за заставу. Работа шла. Студенты протискивались сквозь вереницы бочек, окруживших вход в общежитие.

Вдруг извозчики засуетились и выстроились вдоль тротуаров в выжидательных позах.

– Корш отходит!

Из переулка вываливалась театральная публика, веселая, оживленная.

Извозчики набросились:

– Вам куды? Ваш-здоровь, с Иваном!

– Рублик. Вам куды?

Орут на все голоса извозчики, толкаясь и

перебивая друг друга, загораживая дорогу публике.

– Куды? Куды? – висит в воздухе.

Городовой ходит с видом по крайней мере командующего армией и покрикивает.

Вдруг в этот момент отворяются ворота особняка и показывается пара одров с бочкой...

– Куды? Назад! – покрывает шум громовой возглас городского. – А ты чего глядишь, морда? Вишь, публика не прошла!

И дворник, сидевший у ворот, поощряется начальственным жестом в рыло.

– Дрыхнешь, дьявол!

Пара кляч задвигается усилиями обоих назад во двор, и ворота закрываются. Но аромат уже отравил ругающуюся публику...

Извозчики разъехались. Публика прошла. К сверкавшему яблочковыми фонарями подъезду Купеческого клуба подкатывали собственные запряжки, и выходившие из клуба гости на лихачах уносились в загородные рестораны «взять воздуха» после пира.

* * *

Купеческий клуб помещался в обширном

доме, принадлежавшем в екатерининские времена фельдмаршалу и московскому главнокомандующему графу Салтыкову и после наполеоновского нашествия перешедшем в семью дворян Мятлевых. У них-то и нанял его московский Купеческий клуб в сороковых годах.

Тогда еще Большая Дмитровка была сплошь дворянской: Долгорукие, Долгоруковы, Голицыны, Урусовы, Горчаковы, Салтыковы, Шаховские, Щербатовы, Мятлевы... Только позднее дворцы стали переходить в руки купечества, и на грани настоящего и прошлого веков исчезли с фронтонов дворянские гербы, появились на стенах вывески новых домовладельцев: Солодовниковы, Голофтеевы, Цыплаковы, Шелапутины, Хлудовы, Обидины, Ляпины...

В старину Дмитровка носила еще название Клубной улицы – на ней помещались три клуба: Английский клуб в доме Муравьева, там же Дворянский, потом переехавший в дом Благородного собрания; затем в дом Муравьева переехал Приказчиный клуб, а в дом Мятлева – Купеческий. Барские палаты были за-

няты купечеством, и барский тон сменился купеческим, как и изысканный французский стол перешел на старинные русские кушанья.

Стерляжья уха; двухаршинные осетры; белуга в рассоле; «банкетная телятина»; белая, как сливки, индюшка, обкормленная грецкими орехами; «пополамные растегаи» из стерляди и налимьих печенок; поросенок с хреном; поросенок с кашей. Поросята на «вторничные» обеды в Купеческом клубе покупались за огромную цену у Тестова, такие же, какие он подавал в своем знаменитом трактире. Он откармливал их сам на своей даче, в особых кормушках, в которых ноги поросенка перегораживались решеткой: «чтобы он с жирку не сбрыкнул!» – объяснял Иван Яковлевич.

Каплуны и пулярки шли из Ростова Ярославского, а телятина «банкетная» от Троицы, где телят отпаивали цельным молоком.

Все это подавалось на «вторничных» обедах, многолюдных и шумных, в огромном количестве.

Кроме вин, которых истреблялось море, особенно шампанского, Купеческий клуб сла-

вился один на всю Москву квасами и фруктовыми водами, секрет приготовления которых знал только один многолетний эконом клуба – Николай Агафоныч.

При появлении его в гостиной, где после кофе с ликерами переваривали в креслах купцы лукулловский обед, сразу раздавалось несколько голосов:

– Николай Агафоныч!

Каждый требовал себе излюбленный напиток. Кому подавалась ароматная листовка: черносмородинной почкой пахнет, будто весной под кустом лежишь; кому вишневая – цвет рубина, вкус спелой вишни; кому малиновая; кому белый сухарный квас, а кому кислые щи – напиток, который так газирован, что его приходилось закупоривать в шампанки, а то всякую бутылку разорвет.

– Кислые щи и в нос шибают, и хмель вышибают! – говаривал десятипудовый Ленечка, пивший этот напиток пополам с замороженным шампанским.

Ленечка – изобретатель кулебяки в двенадцать ярусов, каждый слой – своя начинка; и мясо, и рыба разная, и свежие грибы, и цып-

лята, и дичь всех сортов. Эту кулебяку приготавливали только в Купеческом клубе и у Тестова, и заказывалась она за сутки.

На обедах играл оркестр Степана Рябова, а пели хоры – то цыганский, то венгерский, чаще же русский от «Яра». Последний пользовался особой любовью, и содержательница его, Анна Захаровна, была в почете у гуляющего купечества за то, что умела потрафлять купцу и знала, кому какую певицу порекомендовать; последняя исполняла всякий приказ хозяйки, потому что контракты отдавали певицу в полное распоряжение содержательницы хора.

Только несколько первых персонажей хора, как, например, голосистая Поля и красавица Александра Николаевна, считались недоступными и могли любить по своему выбору. Остальные были рабынями Анны Захаровны.

Реже приглашался цыганский хор Федора Соколова от «Яра» и Христофора из «Стрельны», потому что с цыганками было не так-то просто ладить. Цыганку деньгами не купишь.

И венгерки тоже не нравились купече-

ству: – По-каковски я с ней говорить буду? После обеда, когда гурманы переваривали пищу, а игроки усаживались за карты, любители «клубнички» слушали певиц, торговались с Анной Захаровной и, когда хор уезжал, мчались к «Яру» на лихачах и парных «голубчиках», биржа которых по ночам была у Купеческого клуба. «Похищение сабинянок» из клуба не разрешалось, и певицам можно было уезжать со своими поклонниками только от «Яра».

Во время сезона улица по обеим сторонам всю ночь напролет была уставлена экипажами. Вправо от подъезда, до Глинищевского переулка, стояли собственные купеческие запряжки, ожидавшие, нередко до утра, засидевшихся в клубе хозяев. Влево, до Козицкого переулка, размещались сперва лихачи и за ними гремели бубенцами парные с отлетом «голубчики» в своих окованных жестью трехместных санях.

В корню – породистый рысак, а донская пристяжная – враспряжку, чтоб она, откинувшись влево, в кольцо выгибалась, мордой к самой земле.

И лихачи и «голубчики» знали своих клубных седоков, и седоки знали своих лихачей и «голубчиков» – прямо шли, садились и ехали. А то вызывались в клуб лихие тройки от Ечкина или от Ухарского и, гремя бубенцами, несли веселые компании за заставу, вслед за хором, уехавшим на парных долгушах-линейках.

И неслись по ухабам Тверской, иногда с песнями, загулявшие купцы. Молчаливые и важные лихачи на тысячных рысаках перегонялись с парами и тройками.

– Эгей-гей, голубчики, грррабб-ят! – раздавался любимый ямщицкий клич, оставшийся от разбойничьих времен на больших дорогах и дико звучащий на сонной Тверской, где не только грабителей, но и прохожих в ночной час не бывало.

Умчались к «Яру» подвыпившие за обедом любители «клубнички», картежники перебирались в игорные залы, а за «обжорным» столом в ярко освещенной столовой продолжали заседать гурманы, вернувшиеся после отдыха на мягких диванах и креслах гостиной, придумывали и обдумывали разные заковыри-

стые блюда на ужин, а накрахмаленный повар в белом колпаке делал свои замечания и нередко одним словом разбивал кулинарные фантазии, не считаясь с тем, что за столом сидела сплоченная компания именитого московского купечества. А если приглашался какой-нибудь особенно почтенный гость, то он только молча дивился и своего суждения иметь не мог.

Но однажды за столом завсегдатаев появился такой гость, которому даже повар не мог сделать ни одного замечания, а только подобострастно записывал то, что гость говорил.

Он заказывал такие кушанья, что гурманы рты разевали и обжирались до утра. Это был адвокат, еще молодой, но плотный мужчина, не уступавший по весу сидевшим за столом. Недаром это был собиратель печатной и рукописной библиотеки по кулинарии. Про него ходили стихи:

*Видел я архив обжоры,
Он рецептов вкусно жрать
От Кавказа до Ижоры
За сто лет сумел собрать.*

«Вторничные» обеды были особенно многолюдны. Здесь отводили свою душу богачи-купцы, питавшиеся всухомятку в своих амбарах и конторах, посылая в трактир к Арсентьичу или в «сундучный ряд» за горячей ветчиной и белугой с хреном и красным уксусом, а то просто покупая эти и другие закуски и жареные пирожки у разносчиков, снующих по городским рядам и торговым амбарам Ильинки и Никольской.

– Пир-роги гор-ряч-чие!

В другие дни недели купцы обедали у себя дома, в Замоскворечье и на Таганке, где их ожидала супруга за самоваром и подавался обед, то постный, то скоромный, но всегда жирный – произведение старой кухарки, не любившей вносить новшества в меню, раз установленное много лет назад.

И вот по вторникам ездило это купечество обжираться в клуб.

В семидесятых и восьмидесятых годах особенно славился «хлудовский стол», где председательствовал степеннейший из степенных купцов, владелец огромной библиотеки Алексей Иванович Хлудов со своим братом, пле-

мянником и сыном Михаилом, о котором ходили по Москве легенды.

* * *

А. Н. Островский в «Горячем сердце», изображая купца Хлынова, имел в виду прославившегося своими кутежами в конце прошлого века Хлудова. «Развлечение», модный иллюстрированный журнал того времени, целый год печатал на заглавном рисунке своего журнала центральную фигуру пьяного купца, и вся Москва знала, что это Миша Хлудов, сын миллионера – фабриканта Алексея Хлудова, которому отведена печатная страничка в словаре Брокгауза, как собирателю знаменитой хлудовской библиотеки древних рукописей и книг, которую описывали известные ученые.

Библиотека эта по завещанию поступила в музей. И старик Хлудов до седых волос вечера проводил по-молодому, ежедневно за лукуловскими ужинами в Купеческом клубе, пока в 1882 году не умер скоропостижно по пути из дома в клуб. Он ходил обыкновенно в высоких сапогах, в длинном черном сюртуке и всегда в цилиндре.

Когда карета Хлудова в девять часов вече-

ра подъехала, как обычно, к клубу и швейцар отворил дверку кареты, Хлудов лежал на подушках в своем цилиндре уже без признаков жизни. Состояние перешло к его детям, причем Миша продолжал прожигать жизнь, а его брат Герасим, совершенно ему противоположный, сухой делец, продолжал блестящие дела фирмы, живя незаметно.

Миша был притчей во языцех... Любимец отца, удалец и силач, страстный охотник и искатель приключений. Еще в конце шестидесятых годов он отправился в Среднюю Азию, в только что возникший город Верный, для отыскания новых рынков и застрял там, проводя время на охоте на тигров. В это время он напечатал в «Русских ведомостях» ряд интереснейших корреспонденции об этом, тогда неведомом крае. Там он подружился с генералом М. Г. Черняевым. Ходил он всегда в сопровождении огромного тигра, которого приручил, как собаку. Солдаты дивились на «вольного с тигрой», любили его за удаль и безумную храбрость и за то, что он широко тратил огромные деньги, поил солдат и помогал всякому, кто к нему обращался.

Так рассказывали о Хлудове очевидцы. А Хлудов явился в Москву и снова безудержно загулял.

В это время он женился на дочери содержателя меблированных комнат, с которой он познакомился у своей сестры, а сестра жила с его отцом в доме, купленном для нее на Тверском бульваре. Женившись, он продолжал свою жизнь без изменения, только стал еще задавать знаменитые пиры в своем Хлудовском тупике, на которых появлялся всегда в разных костюмах: то в кавказском, то в бухарском, то римским полуголым гладиатором с тигровой шкурой на спине, что к нему шло благодаря чудному сложению и отработанным мускулам и от чего в восторг приходили – московские дамы, присутствовавшие на пирах. А то раз весь выкрасился черной краской и явился на пир негром. И всегда при нем находилась тигрица, ручная, ласковая, прожившая очень долго, как домашняя собака.

В 1875 году начались события на Балканах: восстала Герцеговина. Черняев был в тайной переписке с сербским правительством, которое приглашало его на должность главноко-

мандующего. Переписка, конечно, была прочитана Третьим отделением, и за Черняевым был учрежден надзор, в Петербурге ему отказано было выдать заграничный паспорт. Тогда Черняев приехал в Москву к Хлудову, последний устроил ему и себе в канцелярии генерал-губернатора заграничный паспорт, и на лихой тройке, никому не говоря ни слова, они вдвоем укатили из Москвы – до границ еще распоряжение о невыпуске Черняева из России не дошло. Словом, в июле 1876 года Черняев находился в Белграде и был главным командующим сербской армии, а Миша Хлудов неотлучно состоял при нем.

Мой приятель, бывший участник этой войны, рассказывал такую сцену:

– Приезжаю с докладом к Черняеву в Делиград. Меня ведут к палатке главного командующего. Из палатки выходит здоровенный русак в красной рубахе с солдатским «Георгием» и сербским орденом за храбрость, а в руках у него бутылка рома и чайный стакан.

– Ты к Черняеву? К Мише? – спрашивает меня. Я отвечаю утвердительно.

– Ну так это все равно, и он Миша и я Ми-

ша. На, пей.

Налил стакан рому. Я отказываюсь.

– Не пьешь? Стало быть, ты дурак. – И залпом выпил стакан.

А из палатки выглянул Черняев и крикнул:

– Мишка, пошел спать!

– Слушаю, ваше превосходительство. – И, отсалютовав стаканом, исчез в соседней палатке.

Вернулся Хлудов в Москву, женился во второй раз, тоже на девушке из простого звания, так как не любил ни купчих, ни барынь. Очень любил свою жену, но пьянствовал по-старому и задавал свои обычные обеды.

И до сих пор есть еще в Москве в живых люди, помнящие обед 17 сентября, первые именины жены после свадьбы. К обеду собралась вся знать, административная и купеческая. Перед обедом гости были приглашены в зал посмотреть подарок, который муж сделал своей молодой жене. Внесли огромный ящик сажени две длины, рабочие сорвали крышку. Хлудов с топором в руках сам старался вместе с ними. Отбили крышку, перевернули

его дном кверху и подняли. Из ящика вывалился... огромный крокодил.

* * *

Последний раз я видел Мишу Хлудова в 1885 году на собачьей выставке в Манеже. Огромная толпа окружила большую железную клетку. В клетке на табурете в поддевке и цилиндре сидел Миша Хлудов и пил из серебряного стакана коньяк. У ног его сидела тигрица, била хвостом по железным прутьям, а голову положила на колени Хлудову. Это была его последняя тигрица, недавно привезенная из Средней Азии, но уже прирученная им, как собачонка.

Вскоре Хлудов умер в сумасшедшем доме, а тигрица Машка переведена в зоологический сад, где была посажена в клетку и зачахла...

* * *

Всё это были люди, проедавшие огромные деньги. Но были и такие любители «вторичных» обедов, которые из скупости посещали их не более раза в месяц.

Таков был один из Фирсановых. За скупость его звали «костяная яичница». Это был

миллионер, лесной торговец и крупный дисконтер, скарעד и копеечник, каких мало. Детей у него в живых не осталось, и миллионы пошли по наследству каким-то дальним родственникам, которых он при жизни и знать не хотел. Он целый день проводил в конторе, в маленькой избушке при лесном складе, в глухом месте, недалеко от товарной станции железной дороги. Здесь он принимал богачей, нуждавшихся в деньгах, учитывал векселя на громадные суммы под большие проценты и делал это легко, но в мелочах был скуп невероятно.

В минуту откровенности он говорил:

– Ох, мученье, а не жизнь с деньгами. В другой раз я проснусь и давай на счетах прикидывать. В день сто тысяч вышло. Ну, десятки-то тысяч туда-сюда, не беспокоишься о них – знаешь, что на дело ушли, не жаль. А вот мелочь! Вот что мучит. Примерно, привезет из моего имени приказчик продукты, ну, масла, овса, муки... Примешь от него, а он, идол этакий, стоит перед тобой и смотрит в глаза... На чай, вишь, – привычка у них такая – дожидается!.. Ну, вынешь из кармана ко-

шелек, достанешь гривенник, думаешь дать, а потом мелькнет в голове: ведь я ему жалованье плачу, за что же еще сверх того давать? А потом опять думаешь: так заведено. Ну, скрепя сердце и дашь, а потом ночью встанешь и мучаешься, за что даром гривенник пропал. Ну вот, я и удумал, да так уж и начал делать: дам приказчику три копейки и скажу: «Вот тебе три копейки, добавь свои две, пойдди в трактир, закажи чайку и пей в свое удовольствие, сколько хочешь».

В 1905 году в его контору явились экспроприаторы. Скомандовав служащим «руки вверх», они прошли к «самому» в кабинет и, приставив револьвер к виску, потребовали:

– Отпирай шкаф!

Он так рассказывал об этом случае:

– Отпираю, а у самого руки трясутся, уже и денег не жаль: боюсь, вдруг пристрелят. Отпер. Забрали тысяч десять с лишком, меня самого обыскали, часы золотые с Цепочкой сняли, приказали четверть часа не выходить из конторы... А когда они ушли, уж и хохотал я как их надул: пока они мне карманы обшаривали, я в кулаке держал десять золотых, успел

со стола схватить... Не догадались кулак-то разжать! Вот как я их надул!.. Хи-хи-хи! – и раскатывался дробным смехом.

Над ним, по купеческой привычке, иногда потешались, но он ни на кого не обижался.

Не таков был его однофамилец, с большими рыжими усами вроде сапожной щетки. Его никто не звал по фамилии, а просто именовали: Паша Рыжеусов, на что он охотно откликался. Паша тоже считал себя гурманом, хоть не мог отличить рябчика от куропатки. Раз собеседники зло над ним посмеялись, после чего Паша не ходил на «вторничные» обеды года два, но его уговорили, и он снова стал посещать обеды: старое было забыто. И вдруг оно всплыло совсем неожиданно, и стол уже навсегда лишился общества Паши.

В числе обедающих на этот раз был антрепренер Ф. А. Корш, часто бывавший в клубе; он как раз сидел против Рыжеусова.

– Павел Николаевич, что это я вас у себя в театре не вижу?

– Помилуйте, Федор Адамыч, бываю изредка... Вот на это воскресенье велел для ребят-шек ложу взять. Что у вас пойдет?

– В воскресенье? «Женитьба».

– Что-о?

– «Женитьба» Гоголя...

– Ну и зачем вы эту мерзость ставите?

Ф. А. Корш даже глаза вытаращил и не успел ответить, как весь стол прыснул от смеха.

– Подлецы вы все, вот что! Сволочь! – взвизгнул Рыжеусов, выскочил из-за стола и уехал из клуба.

Хохот продолжался, и удивленному Ф. А. Коршу наперерыв рассказывали причину побега Рыжеусова.

Года два назад за ужином, когда каждый заказывал себе блюдо по вкусу, захотел и Паша щегольнуть своим гурманством.

– А мне дупеля! – говорит он повару, вызванному для приема заказов.

– Дупеля? А ты знаешь, что такое дупель? – спрашивает кто-то.

– Конечно, знаю... Птиченка сама по себе махонькая, так с рябчонка, а ноги во-о какие, а потом нос во-о какой!

Повар хотел возразить, что зимой дупелей нет, но веселый Королев мигнул повару и вы-

шел вслед за ним. Ужин продолжался.

Наконец, в закрытом мельхиоровом блюде подают дупеля.

– А нос где? – спрашивает Паша, кладя на тарелку небольшую птичку с длинными ногами.

– Зимой у дупеля голова отрезается... Едок, а этого не знаешь, – поясняет Королев.

– А!

Начинает есть и, наконец, отрезает ногу.

– Почему нога нитками пришита?.. И другая тоже? – спрашивает у официанта Паша.

Тот фыркает и закрывается салфеткой. Все недоуменно смотрят, а Королев серьезно объясняет:

– Потому, что я приказал к рябчику пришить петушью ногу.

Об этом на другой день разнеслось по городу, и уж другой клички Рыжеусову не было, как «Нога петушья»!

Однажды затащили его приятели в Малый театр на «Женитьбу», и он услышал: «У вас нога петушья!» – вскочил и убежал из театра.

Когда Гоголю поставили памятник, Паша ругательски ругался:

– Ему! Надсмешнику!

Бывал на «вторничных» обедах еще один чудака, Иван Савельев. Держал он себя гордо, несмотря на долгополый сюртук и сапоги бутылками. У него была булочная на Покровке, где все делалось по «военногосударственному», как он сам говорил. Себя он называл фельдмаршалом, сына своего, который заведовал другой булочной, именовал комендантом, калачников и булочников – гвардией, а хлебопеков – гарнизоном.

Наказания провинившимся он никогда не производил единолично, а устраивал формальные суды. Стол покрывался зеленым сукном, ставился хлеб с серебряной солонкой, а для подсудимых приносились из кухни скамьи.

Наказания были разные: каторжные работы – значит отхожие места и помойки чистить, ссылка – перевод из главной булочной во вторую. Арест заменялся денежным штрафом, лишение прав – уменьшением содержания, а смертная казнь – отказом от места.

Все старшие служащие носили имена героев и государственных людей: Скобелев, Гурко,

Радецкий, Александр Македонский и так далее. Они отвечали только на эти прозвища, а их собственные имена были забыты. Так и в книгах жалованье писалось:

*Александр Македонский – крендельщик
6 рублей*

Гурко – калашник ... 6»

Наполеон – водовоз ... 4»

Так звали служащих и все старые покупатели. Надо заметить, что все «герои» держали себя гордо и поддерживали тем славу имен своих.

Гурманы охотно приглашали за свой стол Ивана Савельева, когда он изредка появлялся в клубе, потому что с ним было весело. Для потехи!

Даже постоянно серьезных братьев Ляпиных он умел рассмешить. Братья Ляпины не пропускали ни одного обеда. «Неразлучники» – звали их. Было у них еще одно прозвание – «чет и нечет», но оно забылось, его помнили только те, кто знал их молодыми.

Они являлись в клуб обедать и уходили после ужина. В карты они не играли, а целый вечер сидели в клубе, пили, ели, беседовали

со знакомыми или проводили время в читальне, надо заметить, всегда довольно пустой, хотя клуб имел прекрасную библиотеку и выписывал все русские и многие иностранные журналы.

Братья Ляпины – старики, почти одногодки. Старший – Михаил Иллиодорович – толстый, обрюзгший, малоподвижный, с желтоватым лицом, на котором, выражаясь словами Аркашки Счастливецва, вместо волос «какие-то перья растут».

Младший – Николай – энергичный, бородатый, был полной противоположностью брату. Они, холостяки, вдвоем занимали особняк с зимним садом. Ляпины обладали хорошим состоянием и тратили его на благотворительные дела...

История Ляпиных легендарная, и зря ее не рассказывали всякому купцу, знавшие Ляпиных смолоду.

Ляпины родом крестьяне не то тамбовские, не то саратовские. Старший в юности служил у прасола и гонял гурты в Москву. Как-то в Моршанске, во время одного из своих путешествий, он познакомился со скопца-

ми, и те уговорили его перейти в их секту, предлагая за это большие деньги.

Склонили его на операцию, но случилось, что сделали только половину операции, и, вручив часть обещанной суммы, закончить операцию решили через год и тогда же и уплатить остальное. Но на полученную сумму Ляпин за год успел разбогатеть и отказался от денег и операции.

А все-таки Михаил Иллиодорович обрюзг, потолстел и частенько прихварывал: причина болезни была одна – объедение.

* * *

В половине восьмидесятых годов выдалась бесснежная зима. На масленице, когда вся Москва каталась на санях, была настолько сильная оттепель, что мостовые оголились, и вместо саней экипажи и телеги гремели железными шинами по промерзшим камням – резиновых шин тогда не знали.

В пятницу и субботу на масленой вся улица между Купеческим клубом и особняком Ляпиных была аккуратно уложена толстым слоем соломы.

Из-под соломы не было видно даже попе-

речного гранитного тротуара, который, только для своего удобства, Ляпины провели в Купеческий клуб от своего подъезда.

И вот у этого подъезда, прошуршав по соломке, остановилась коляска. Из нее вышел младший брат Ляпин и помог выйти знаменитому профессору Захарьину.

Через минуту профессор, миновав ряд шикарных комнат, стал подниматься по узкой деревянной лестнице на антресоли и очутился в маленькой спальне с низким потолком.

Пахло здесь деревянным маслом и скипидаром. В углу, на пуховиках огромной кровати красного дерева, лежал старший Ляпин и тяжело дышал.

Сердито на него посмотрел доктор, которому брат больного уже рассказал о «вторничном» обеде и о том, что братец понатужился блинами, – так, десяточка на два перед обедом.

– Это что? – закричал профессор, ткнув пальцем в стенку над кроватью.

– Клопик-с... – сказал Михалыч, доверенный, сидевший неотлучно у постели больного.

– Как свиньи живете. Забрались в дыру, а рядом залы пустые. Перенесите спальню в светлую комнату! В гостиную! В зал!

Пощупал пульс, посмотрел язык, прописал героическое слабительное, еще поругался и сказал:

– Завтра можешь встать!

Взял пятьсот рублей за визит и уехал.

На другой день к вечеру солома с улицы была убрана, но предписание Захарьина брата не исполнили: спален своих не перевели...

Они смотрели каждый в свое зеркало, укрепленное на наружных стенах так, что каждое отражало свою сторону улицы, и брата докладывали друг другу, что видели:

– Пожарные по Столешникову вниз поехали.

– Студент к подъезду подошел.

Николай уезжал по утрам на Ильинку, в контору, где у них было большое суконное дело, а старший весь день сидел у окна в покойном кожаном кресле, смотрел в зеркало и ждал посетителя, которого пустит к нему швейцар – прямо без доклада. Михаил Иллио-

дорович всегда сам разговаривал с посетителями.

Главным образом это были студенты, приходившие проситься в общежитие.

Швейцар знал, кого пустить, тем более, что подходившего к двери еще раньше было видно в зеркале.

Входит в зал бедно одетый юноша.

– Пожить бы у вас...

– Что же, можно. А вы кто такой будете?

Если студент университета, Ляпин спросит, какого факультета, и сам назовет его профессоров, а если ученик школы живописи, спросит – в каком классе, в натурном ли, в головном ли, и тоже о преподавателях поговорит, причем каждого по имени-отчеству назовет.

– Так-с! Значит, пожить у нас хотите?

Раскроет книгу жильцов, посмотрит отметки в общежитии и, если есть вакансия, даст записку.

– Вот с этой бумажкой идите в общежитие, спросите Михалыча, заведующего, и устройтесь.

Ляпинцы

На дворе огромного владения Ляпиных сзади особняка стояло большое каменное здание, служившее когда-то складом под товары, и его в конце семидесятых годов Ляпины перестроили в жилой дом, открыв здесь бесплатное общежитие для студентов университета и учеников Училища живописи и ваяния.

Поселится юноша и до окончания курса живет, да и кончившие курс иногда оставались и жили в «Ляпинке» до получения места.

Вообще среди учащихся немногие были обеспечены – большинство беднота. И студенты, и ученики Училища живописи резко делились на богачей и на многочисленную голь перекатную.

Эти две различные по духу и по виду партии далеко держались друг от друга. У бедноты не было знакомств, им некуда было пойти, да и не в чем. Ютились по углам, по комнатам, а собирались погулять в самых дешевых трактирах. Излюбленный трактир был у них неподалеку от училища, в одноэтажном до-

микe на углу Уланского переулка и Сретенского бульвара, или еще трактир «Колокола» на Сретенке, где собирались живописцы, работавшие по церквам. Все жили по-товарищески: у кого заведется рублишко, тот и угощает.

Многие студенты завидовали ляпинцам – туда попадали только счастливцы: всегда полно, очереди не дождешься.

Много из «Ляпинки» вышло знаменитых докторов, адвокатов и художников. Жил там некоторое время П. И. Постников, известный хирург; жил до своего назначения профессор Училища живописи художник Корин; жили Петровичев, Пырин. Многих «Ляпинка» спасла от нужды и гибели.

Были и «вечные ляпинцы». Были три художника – Л., Б. и Х., которые по десять – пятнадцать лет жили в «Ляпинке» и оставались в ней долгое время уже по выходе из училища. Обжились тут, обленились. Существовали разными способами: писали картинки для Сухаревки, малярничали, когда трезвые... Ляпины это знали, но не гнали: пускай живут, а то пропадут на Хитровке.

«Ляпинка» была для многих студентов счастьем. Бывало нередко, что бесквартирные студенты проводили ночи на бульварах...

* * *

В восьмидесятые годы, кажется в 1884 году, Московский университет окончил доктор Владимирова, семинарист, родом из Галича. На четвертом курсе полуголодный Владимирова остался без квартиры и недели две проводил майские ночи, гуляя по Тверскому бульвару, от памятника Пушкина до Никитских ворот. В это же время, около полуночи, из своего казенного дома переходил бульвар обер-полицмейстер Козлов, направляясь на противоположную сторону бульвара, где жила известная московская красавица портниха. Утром, около четырех-пяти часов, Козлов возвращался тем же путем домой. Владимирова, как и другие бездомовники, проводившие ночи на Тверском бульваре, знал секрет путешествий Козлова. Бледный юноша в широкополой шляпе, модной тогда среди студентов (какие теперь только встречаются в театральных реквизитах для шиллеровских разбойников), обратил на себя внимание Козлова.

Утром как-то они столкнулись, и Козлов, расправив свои чисто военные усы, спросил:

– Молодой человек, отчего это я вас встречаю по ночам гуляющим вдоль бульвара?

– А оттого, что не всем такое счастье, чтобы гулять поперек бульвара каждую ночь.

* * *

Грязно, конечно, было в «Ляпинке», зато никакого начальства. В каждой комнате стояло по четыре кровати, столики с ящиками и стулья. Помещение было даровое, а за стол брали деньги.

Внизу была столовая, где подавался за пятнадцать копеек в два блюда мясной обед – щи и каша, бесплатно раз в день давали только чай с хлебом. Эта столовая была клубом, где и «крамольные» речи говорились, и песни пелись, и революционные прокламации первыми попадали в «Ляпинку» и читались открыто: сыщики туда не проникали, между своими провокаторов и осведомителей не было. Чуть подозрительное лицо появится, сейчас ляпинцы учуют, окружают и давай делать допрос по-ляпински: отбили охоту у сыщиков. Тем не менее в «Ляпинке» бывали обыски и

нередко арестовывалась молодежь, но жандармы старались это делать, из боязни столкновения, не в самом помещении, а на улице, – ловили поодиночке. Во время студенческих волнений здесь происходили сходки. Десятки лет свободно существовала «Ляпинка», принимая учащуюся молодежь. Известен только один случай, когда братья Ляпины отказались принять в «Ляпинку» ученика Училища живописи, – а к художникам они благоволили особенно.

На одной из ученических выставок в Училище живописи всех поразила картина «Мертвое озеро». Вещь прекрасная, но жуткая: каменная пустыня, кровавая от лучей заката, посередине – озеро цвета застывшей крови, Автор картины – неуклюжий, оборванный человек, уже пожилой, некрасивый, с озлобленным выражением глаз, косматая шапка волос, не ведавших гребня. Это был ученик Жуков. Он пошел к Ляпину проситься в общежитие, но своим видом и озлобленно-дерзким разговором произвел на братьев такое впечатление, что они отказали ему в приеме в общежитие. Он ушел, встретил на

улице знакомого кучера из той деревни, где был волостным писарем до поступления в училище. Кучер служил у какой-то княгини и, узнав, что Жукову негде жить, приютил его в своей комнатке, при конюшне.

Была у Жукова еще аллегорическая картина «После потопа», за которую совет профессоров присудил ему первую премию в пятьдесят рублей, но деньги выданы не были, так как Жуков был вольнослушателем, а премии выдавались только штатным ученикам. Он тогда был в классе профессора Савицкого, и последний о нем отзывался так:

– Жемчужина школы!

И погибла эта жемчужина школы.

Когда его перевели из кучерской в комнату старинного барского дома, прислуга стала глумиться над ним, и не раз он слышал ужасное слово: «Дармоед».

И в один злополучный день прислуга, вошедшая убирать его комнату, увидела: из камина торчали ноги, а среди пылающих дров в камине лежала обуглившаяся верхняя часть тела несчастного художника. Директор школы князь Львов выдал сто рублей на похоро-

ны Жукова, которого товарищи проводили на Даниловское кладбище. Более близкие его друзья – а их было у него очень мало – рассказывали, что после него осталась большая поэма в стихах, посвященная девушке, с которой он и знаком не был, но был в нее тайно влюблен... Рассказывали, что он очень тяготился своей невзрачной наружностью, был болезненно самолюбив. А все-таки, думается, выдай ему училище пятьдесят рублей, мы, может быть, увидели бы крупного, оригинального художника – это ждали и Савицкий и товарищи, верившие в его талант...

Много талантов погибло от бедности. Такова судьба Волгушева. Слесарь, потом ученик школы, участник крупных выставок, обитатель «Ляпинки»... Его волжские пейзажи были прекрасны. Он умер от чахотки: заболел, лечиться не на что. Это тоже был человек гордый, неуступчивый... С ним был такой случай. Перед окончанием курса несколько учеников, лучших пейзажистов, были приглашены московским генерал-губернатором князем Сергеем Александровичем в его подмосковное имение «Ильинское» на лето отдохнуть и

писать этюды. Среди них был и Волгужев. На рождественской ученической выставке Сергей Александрович, неуклонно посещавший эти выставки, остановился перед картиной Волгужева, написанной у него в имении, расхвалил ее и спросил о цене.

Подозвали Волгужева. В отрепанном пиджаке, как большинство учеников того времени, он подошел к генерал-губернатору, который был выше его ростом на две головы, и взял его за пуговицу мундира, что привело в ужас все начальство.

– Какая цена этой картины? Она мне нравится, я хочу ее приобрести, – сказал Сергей Александрович.

– Пятьсот рублей, – отрезал Волгужев, продолжая вертеть княжескую пуговицу.

– Это слишком дорого.

– А дорого, так и не надо, дешевле не продам! – Волгужев бросил вертеть пуговицу и отошел.

Цена была неслыханная, и, кроме того, по расценке выставочной комиссии, она объявлена была в сто рублей. На это указали Волгужеву.

– Знаю; всякому другому – сто, а этому – пятьсот. Уж очень он важен... Я тоже важничать умею... На кой ты мне?

* * *

Как-то на выставке появился женский портрет ученика из класса В. А. Серова. Автор его тоже жил в «Ляпинке». Портрет этот – молодая девица в белом платье на белом фоне, в белой раме – произвел впечатление, и одна молодая дама пожелала познакомиться с художником. Ей представили автора: ляпинец как ляпинец. Но на костюм эта важная дама не обратила внимания и предложила ему написать ее портрет. На другой день в том же своем единственном пиджаке он явился в роскошную квартиру против дома генерал-губернатора и начал писать одновременно с нее и с ее дочери. Молчаливый и стесняющийся обстановки попервоначально, художник наконец поободрился, стал разговаривать, дама много спрашивала его о жизни художников и изъявила желание устроить для них у себя вечеринку.

– Позовите ко мне ваших товарищей, только скажите, чем и как их угощать.

– Водка, селедка, огурцы, колбаса, и, пожа-луй, пивка бы хорошо. Чаю не надо. А сколько позвать? Человек пяток не много?

– Да что вы? Сколько хотите зовите: чем больше, тем лучше.

– Я и тридцать наберу!

– Вот на тридцать и приготовим, очень ра-да.

В назначенный день к семи часам вечера приперла из «Ляпинки» артель в тридцать че-ловек. Швейцар в ужасе, никого не пускает. Выручила появившаяся хозяйка дома, и кня-жеский швейцар в щегольской ливрее сни-мал и развешивал такие пальто и полушубки, каких вестибюль и не видывал. Только места для калош остались пустыми.

Поперла ватага по коврам в роскошную столовую и сразу расселась за огромный стол, уставленный всевозможными закусками, ви-нами, пивом, водкой. Хозяйка и две ее знако-мые дамы заняли места в конце стола. Преду-смотрительно устроитель вечера усадил сре-ди дам двух нарочно приглашенных неля-пинцев, франтов-художников, красавцев, вра-щавшихся в светском обществе, которые за-

няли хозяйку дома и бывших с ней дам; больше посторонних никого не было. Муж хозяйки дома, старый генерал, вышел было, взглянул, поклонился, но его никто даже не заметил, и он скрылся, осторожно притворив дверь.

С каждой рюмкой компания оживлялась, чокались, пили, наливали друг другу, шумели, и один из ляпинцев, совершенно пьяный, начал даже очень громко «родителей поминать». Более трезвые товарищи его уговорили уйти, швейцар помог одеться, и «Атамоныч» побрел в свою «Ляпинку», благо это было близко. Еще человек шесть «тактично» выпроводили таким же путем товарищи, а когда все было съедено и выпито, гости понемногу стали уходить.

Долго об этой пирушке вспоминали ее участники.

* * *

Были у ляпинцев и свои развлечения – театр Корша присылал им пять раз в неделю бесплатные билеты на галерку, а цирк Саламонского каждый день, кроме суббот, когда сборы всегда были полные, присылал два-

дцать медных блях, которые заведующий Михалыч и раздавал студентам, требуя за каждую бляху почему-то одну копейку. Студенты охотно платили, но куда эти копейки шли, никто не знал.

Кроме этого, удовольствий для студентов-ляпинцев никаких не было, если не считать бесплатного входа на художественные выставки.

Развлекались еще ляпинцы во время студенческих волнений, будучи почти всегда во главе движения. Раз было так, что больше половины «Ляпинки» ночевало в пересыльной тюрьме.

«Среды» художников

За Нарышкинским сквером, на углу Малой Дмитровки, против Страстного монастыря, в старинном барском доме много лет помещалось «Общество любителей художеств», которое здесь устраивало модные тогда «Периодические выставки».

На них лучшие картины получали денежные премии и прекрасно раскупались. Во время зимнего сезона общество устраивало «пятницы», на которые по вечерам собирались художники, ставилась натура, и они, «уставля брады свои» в попитры, молчаливо и сосредоточенно рисовали, попивая чай и перекидываясь между собой редкими словами.

Иногда кто-нибудь в это время играл на рояле, кто-нибудь из гостей-певцов пел или читал стихи. Вечера оканчивались скромной закуской. На них присутствовали только корифеи художества: Маковские, Поленов, Сорокин, Ге, Неврев и члены Общества – богатеи-меценаты П. М. Третьяков, Свешников, Куманин. Учащимся и молодым художникам доступа не было, а потому «пятницы» были

нудны и скучны – недаром их прозвали «казенные пятницы». На них почти постоянно бывал художник-любитель К. С. Шиловский, впоследствии актер Малого театра Лошинский, человек живой, талантливый, высокообразованный. Он скучал на этих заседаниях, и вот как-то пригласил кое-кого из членов «пятниц» к себе на «субботу».

И стали у него на квартире, в Пименовском переулке, собираться художники. Они рисовали, проводили время за чайным столом в веселых беседах, слушали музыку, чтение, пение; много бывало и молодежи. Все это заканчивалось ужином. На «субботах» бывал В. Е. Шмаровин, знаток живописи и коллекционер. На одной из ученических выставок он первый «углядел» Левитана и приобрел его этюдик. Это была первая вещь, проданная Левитаном, и это было началом их дружбы. Шмаровин вообще дружил с полуголодной молодежью Училища живописи, покупал их вещи, а некоторых приглашал к себе на вечера, где бывали также и большие художники. Как-то на «субботе» Шиловского он пригласил его и всех гостей к себе на следующую «сре-

ду», и так постепенно «пятницы» заглохли и обезлюдели. «Субботы» Шиловского, которые так увлекли художников попервоначально, тоже не привились. Хлебосольный Шиловский на последние рубли в своей небольшой, прекрасно обставленной квартире угощал своих гостей ужинами с винами – художники стали стесняться бывать и ужинать на чужой счет, да еще в непривычной барской обстановке.

«Среды» Шмаровина были демократичны. Каждый художник, состоявший членом «среды», чувствовал себя здесь как дома, равно как и гости. Они пили и ели на свой счет, а хозяин дома, «дядя Володя», был, так сказать, только организатором и директором-распорядителем.

На «средах» все художники весь вечер рисовали акварель: Левитан – пейзаж, француз баталист Дик де Лон-лей – боевую сценку, Клод – карикатуру, Шестеркин – натюрморт, Богатов, Ягужинский и т. д. – всякий свое. На рисунке проставлялась цена, которую получал художник за свою акварель, – от рубля до пяти. Картины эти выставлялись тут же в зале «для обозрения публики», а перед ужином

устраивалась лотерея, по гривеннику за билет. Кто брал один билет, а иной богатенький гость и десяток, и два – каждому было лестно выиграть за гривенник Левитана! Оставшиеся картины продавались в магазинах Дациаро и Аванцо. Из вырученной от лотереи суммы тут же уплачивалась стоимость картины художникам, а остатки шли на незатейливый ужин. Кроме того, на столах лежали папки с акварелями, их охотно раскупали гости. И каждый посетитель «сред» сознавал что он пьет-ест не даром.

На «субботах» и «средах» бывала почти одна и та же публика. На «субботах» пили и ели под звуки бубна, а на «средах» пили из «кубка Большого орла» под звуки гимна «среды», состоявшего из одной строчки – «Недурно пущено», на музыку «Та-ра-ра-бум-бия».

И вот на одну из «сред» в 1886 году явился в разгар дружеской беседы К. С. Шиловский и сказал В. Е. Шма-ровину:

– Орел и бубен должны быть вместе, пусть будут они у тебя на «средах».

«Субботы» кончились – и остались «среды».

Почетный «кубок Большого орла» на бубне Шиловского подносился Шмаровиным каждому вновь принятому в члены «среды» и выпивался под пение гимна «Недурно пущено» и грохот бубна...

Это был обряд «посвящения» в члены кружка. Так же подносился «Орел» почетным гостям или любому из участников «сред», отличившемуся красивой речью, удачным экспромтом, хорошо сделанным рисунком или карикатурой. Весело зажили «среды». Собирались, рисовали, пили и пели до утра.

В артистическом мире около этого времени образовалось «Общество искусства и литературы», многие из членов которого были членами «среды».

В 1888 году «Общество искусства и литературы» устроило в Благородном собрании блестящий бал. Точные исторические костюмы, декорация, обстановка, художественный грим – все было сделано исключительно членами «среды».

И. Левитан, Голоушев, Богатов, Ягужинский и многие другие работали не покладая рук. Бал удался – «среда» окрепла.

В 1894 году на огромный стол, где обычно рисовали по «средам» художники свои акварели, В. Е. Шмаровин положил лист бристоля и витиевато написал сверху: «1-я среда 1894-го года». Его сейчас же заполнили рисунками присутствующие. Это был первый протокол «среды».

Каждая «среда» с той поры имела свой протокол... Крупные имена сверкали в этих протоколах под рисунками, отражавшими быт современности. Кроме художников, писали стихи поэты. М. А. Лохвицкая, Е. А. Буланина, В. Я. Брюсов записали на протоколах по несколько стихотворений.

Это уже в новом помещении, в особняке на Большой Молчановке, когда на «среды» стало собираться по сто и более участников и гостей. А там, в Савеловском переулке, было еще только начало «сред».

На звонок посетителей «сред» выходил В. Е. Шмаровин.

– Ну вот, друг, спасибо, что пришел! А то без тебя чего-то не хватало... Иди погрейся с морозца, – встречал он обычно пришедшего.

Кругом все знакомые... Приветствуя, В. Е.

Шмаровин иногда становится перед вошедшим: в одной руке серебряная стопочка допетровских времен, а в другой – екатерининский штоф, «квинтель», как называли его на «средах».

Основная масса гостей являлась часов в десять. Старая няня, всеобщий друг, помогает раздеваться... Выходит сам «дядя Володя», целуется... Отворяется дверь в зал с колоннами, весь увешанный картинами... Посредине стол, ярко освещенный керосиновыми лампами с абажурами, а за столом уже сидит десяток художников – кто над отдельным рисунком, кто протокол заполняет... Кругом стола ходили гости, смотрели на работу... Вдруг кто-нибудь садился за рояль. Этот «кто-нибудь» обязательно известность музыкального мира: или Лентовская, или Аспергер берется за виолончель – и еще веселее работает под музыку. Входящие не здороваются, не мешают работать, а проходят дальше, или в гостиную через зал, или направо в кабинет, украшенный картинами и безделушками. Здесь, расположившись на мягкой мебели, беседуют гости... Лежат бубен, гитары, балалайки... Через

коридор идут в столовую, где кипит самовар, хозяйка угощает чаем с печеньем и вареньем. А дальше комната, откуда слышатся звуки арфы, – это дочь хозяина играет для собравшихся подруг... Позднее она будет играть в квартете, вместе со знаменитостями, в большом зале молчановского особняка.

Была еще комната: «мертвецкая».

Это самая веселая комната, освещенная темно-красным фонарем с потолка. По стенам – разные ископаемые курганные древности, целые плато старинных серег и колец, оружие – начиная от каменного века – кольчуги, шлемы, бердыши, ятаганы.

Вдоль стен широкие турецкие диваны, перед ними столики со спичками и пепельницами, кальян для любителей. Сидят, хохочут, болтают без умолку... Кто-нибудь бренчит на балалайке, кое-кто дремлет. А «мертвецкой» звали потому, что под утро на этих диванах обыкновенно спали кто лишнее выпил или кому очень далеко было до дому...

В полночь раздавались удары бубна в руках «дяди Володи»... Это первый сигнал. Художники кончают работать. Через десять ми-

нут еще бубен...

Убираются кисти, бумага; рисунки, еще не высохшие, ставятся на рояль. Все из-за стола расходятся по комнатам – в зале накрывают ужин... На множестве расписанных художниками тарелок ставится закуска, описанная в меню протокола. Колбасы: жеваная, дегтярная, трафаретная, черепаховая, медвежье ушко с жирком, моржовые разварные клыки, – собачья радость, пятки пилигрима... Водки: горилка, брыкаловка, сногшибаловка, тринтравная и другие... Наливки: шмаровка, настоенная на молчановке, декадентская, варенуха из бубновых валетов, аукционная, урядницкая на комаре и таракане... Вина: из собственных садов «среды», с берегов моря житейского, розовое с изюминкой пур для дам. Меню ужина: 1) чудо-юдо рыба лещ; 2) телеса птичьи индейские на кости; 3) рыба лабардан, соус – китовые поплавки всмятку; 4) сыры: сыр бри, сыр Дарья, сыр Марья, сыр Бубен; 5) сладкое: мороженое «недурно пущено». На столе стоят старинные гербовые квинтеля с водками, чарочки с ручками и без ручек – все это десятками лет собиралось В. Е. Шмарови-

ным на Сухаревке. И в центре стола ставился бочонок с пивом, перед ним сидел сам «дядя Володя», а дежурный по «среде» виночерпий разливал пиво. Пили. Ели. Вставал «дядя Володя», звякал в бубен. Все затихало.

– Дорогие товарищи, за вами речь.

И указывал на кого-нибудь, не предупреждая, – приходилось говорить. А художник Синцов уже сидел за роялем, готовый закончить речь гимном... Скажет кто хорошо – стол кричит.

– «Орла!»

Кубок пьется под музыку и общее пение гимна «Недурно пущено».

Утро. Сквозь шторы пробивается свет. Семейные и дамы ушли... Бочонок давно пуст... Из «мертвецкой» слышится храп. Кто-то из художников, пишет яркими красками с натуры: стол с неприбранной посудой, пустой «Орел» высится среди опрокинутых рюмок, бочонок с открытым краном, и, облокотясь на стол, дремлет «дядя Володя». Поэт «среды» подписывает рисунок на законченном протоколе:

Да, час расставанья пришел,

*День занимается белый,
Бочонок стоит опустелый,
Стоит опустелый «Орел»...*

1922 год. Все-таки собирались «среды». Это уж было не на Большой Молчановке, а на Большой Никитской, в квартире С. Н. Лентовской. «Среды» назначались не регулярно. Время от времени «дядя Володя» присылал приглашения, заканчивавшиеся так:

«22 февраля, в среду, на «среде» чаепитие. Условия следующие: 1) самовар и чай от «среды»; 2) сахар и все иное съедобное, смотря по аппетиту прибывший приносит на свою долю с собой в количестве невозбранном...»

Начинающие художники

Настоящих любителей, которые приняли бы участие в судьбе молодых художников, было в старой Москве мало. Они ограничивались самое большое покупкой картин для своих галерей и «галдарей», выторговывая каждый грош.

Настоящим меценатом, кроме П. М. Третьякова и К. Т. Солдатенкова, был С. И. Мамонов, сам художник, увлекающийся и понимающий.

Около него составилась кружок людей, уже частью знаменитостей, или таких, которые показывали с юных дней, что из них выйдут крупные художники, как и оказывалось впоследствии.

Беднота, гордая и неудачливая, иногда с презрением относилась к меценатам.

– Примамонтились, воротнички накрахмалили! – говорили бедняки о попавших в кружок Мамонова.

Трудно было этой бедноте выбиваться в люди. Большинство дети неимущих родителей – крестьяне, мещане, попавшие в Учили-

ще живописи только благодаря страстному влечению к искусству. Многие, окончив курс впроголодь, люди талантливые, должны были приискивать какое-нибудь другое занятие. Многие из них стали Церковными художниками, работавшими по стенной живописи в церквах. Таков был С. И. Грибков, таков был Баженов, оба премированные при окончании, надежда Училища. Много их было таких.

Грибков по окончании училища много лет держал живописную мастерскую, расписывал церкви и все-таки неуклонно продолжал участвовать на выставках и не прерывал дружбы с талантливыми художниками того времени.

По происхождению – касимовский мещанин, бедняк, при окончании курса получил премию за свою картину «Ссора Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем». Имел премии позднее уже от Общества любителей художеств за исторические картины. Его большая мастерская церковной живописи была в купленном им доме у Калужских ворот.

Дом был большой, двухэтажный, населен беднотой – прачки, мастеровые, которые ни-

когда ему не платили за квартиру, и он не только не требовал платы, но еще сам ремонтировал квартиры, а его ученики красили и белили.

В его большой мастерской было место всем. Приезжает какой-нибудь живописец из провинции и живет у него, конечно, ничего не делая, пока место найдет, пьет, ест. Потерял живописец временно место – приходит тоже, живет временно, до работы.

В учениках у него всегда было не меньше шести мальчуганов. И работали по хозяйству и на посылушках, и краску терли, и крыши красили, но каждый вечер для них ставился натурщик, и они под руководством самого Грибкова писали с натуры.

Немало вышло из учеников С. И. Грибкова хороших художников. Время от времени он их развлекал, устраивал по праздникам вечеринки, где водка и пиво не допускались, а только чай, пряники, орехи и танцы под гитару и гармонию. Он сам на таких пирушках до поздней ночи сидел в кресле и радовался, как гуляет молодежь.

Иногда на этих вечеринках рядом с ним

сидели его друзья-художники, часто бывавшие у него: Неврев, Шмельков, Пукирев и другие, а известный художник Саврасов жил у него целыми месяцами.

В последние годы, когда А. К. Саврасов уже окончательно спился, он иногда появлялся в грибковской мастерской в рубище. Ученики радостно встречали знаменитого художника и вели его прямо в кабинет к С. И. Грибкову. Друзья обнимались, а потом А. К. Саврасова отправляли с кем-нибудь из учеников в баню к Крымскому мосту, откуда он возвращался подстриженный, одетый в белье и платье Грибкова, и начиналось вытрезвление.

Это были радостные дни для Грибкова. Живет месяц, другой, а потом опять исчезает, ютится по притонам, рисуя в трактирах, по заказам буфетчиков, за водку и еду.

Всем помогал С. И. Грибков, а когда умер, пришлось хоронить его товарищам: в доме не оказалось ни гроша.

А при жизни С. И. Грибков не забывал товарищей. Когда разбил паралич знаменитого В. В. Пукирева и он жил в бедной квартирке в одном из переулков на Пречистенке, С. И.

Грибков каждый месяц посылал ему пятьдесят рублей с кем-нибудь из своих учеников. О В. В. Пукиреве С. И. Грибков всегда говорил с восторгом:

– Ведь это же Дубровский, пушкинский Дубровский! Только разбойником не был, а вся его жизнь была, как у Дубровского, – и красавец, и могучий, и талантливый, и судьба его такая же!

Товарищ и друг В. В. Пукирева с юных дней, он знал историю картины «Неравный брак» и всю трагедию жизни автора: этот старый важный чиновник – живое лицо. Невеста рядом с ним – портрет невесты В. В. Пукирева, а стоящий со скрещенными руками – это сам В. В. Пукирев, как живой.

У С. И. Грибкова начал свою художественную карьеру и Н. И. Струнников, поступивший к нему в ученики четырнадцатилетним мальчиком. Так же, как и все, был «на побегушках», был маляром, тер краски, мыл кисти, а по вечерам учился рисовать с натуры. Раз С. И. Грибков послал ученика Струнникова к антиквару за Калужской заставой реставрировать какую-то старую картину.

В это время к нему приехал П. М. Третьяков покупать портрет архимандрита Феофана работы Тропинина. Увидав П. М. Третьякова, антиквар бросился снимать с него шубу и га-лоши, а когда они вошли в комнату, то схватил работавшего над картиной Струнникова и давай его наклонять к полу:

– Кланяйся в ноги, на колени перед ним. Ты знаешь, кто это?

Н. И. Струнников в недоумении упирался, но П. М. Третьяков его выручил, подал ему руку и сказал:

– Здравствуйте, молодой художник!

Портрет Тропинина П. М. Третьяков купил тут же за четыреста рублей, а антиквар, когда ушел П. М. Третьяков, заметался по комнате и заскулил:

– А-ах, продешевил, а-ах, продешевил!

Н. И. Струнников, сын крестьянина, пришел в город без копейки в кармане и добился своего не легко. После С. И. Грибкова он поступил в Училище живописи и начал работать по реставрации картин у известного московского парфюмера Брокара, владельца большой художественной галереи.

За работу Н. И. Струнникову Брокер денег не давал, а только платил за него пятьдесят рублей в училище и содержал «на всем готовом». А содержал так: отвел художнику в сторожке койку пополам с рабочим, – так двое на одной кровати и спали, и кормил вместе со своей прислугой на кухне. Проработал год Н. И. Струнников и пришел к Брокеру:

– Я ухожу.

Брокер молча вынул из кармана двадцать пять рублей. Н. И. Струнников отказался.

– Возьмите обратно.

Брокер молча вынул бумажник и прибавил еще пятьдесят рублей. Н. И. Струнников взял, молча повернулся и ушел.

Нелегка была жизнь этих начинающих художников без роду, без племени, без знакомства и средств к жизни.

Легче других выбивались на дорогу, как тогда говорили, «люди в крахмальных воротничках». У таких заводились знакомства, которые нужно было поддерживать, а для этого надо было быть хорошо воспитанным и образованным.

У Жуковых, Волгушевых и других таких –

имя их легион – ни того, ни другого.

Воспитание в детстве было получить негде, а образование Училище живописи не давало, программа общеобразовательных предметов была слаба, да и смотрели на образование, как на пустяки, – были уверены, что художнику нужна только кисть, а образование – вещь второстепенная.

Это ошибочное мнение укоренилось прочно, и художников образованных в то время почти не было. Чудно копирует природу, дает живые портреты – и ладно. Уменья мало-мальски прилично держать себя добыть негде. Полное презрение ко всякому приличному обществу – «крахмальным воротничкам» и вместе – к образованию. До образования ли, до наук ли таким художникам было, когда нет ни квартиры, ни платья, когда из сапог пальцы смотрят, а штаны такие, что приходится задом к стене поворачиваться. Мог ли в таком костюме пойти художник в богатый дом писать портрет, хотя мог написать лучше другого... Разве не от этих условий погибли Жуков, Волгушев? А таких были сотни, погибавших без средств и всякой под-

держки.

Только немногим удавалось завоевать свое место в жизни. Счастьем было для И. Левитана с юных дней попасть в кружок Антона Чехова. И. И. Левитан был беден, но старался по возможности прилично одеваться, чтобы быть в чеховском кружке, также в то время бедном, но талантливом и веселом. В дальнейшем через знакомых оказала поддержку талантливому юноше богатая старуха Морозова, которая его даже в лицо не видела. Отвела ему уютный, прекрасно меблированный дом, где он и написал свои лучшие вещи.

Выбился в люди А. М. Корин, но он недолго прожил – прежняя ляпинская жизнь надорвала его здоровье. Его любили в училище как бывшего ляпинца, выбившегося из таких же, как они сами, теплой любовью любили его. Преклонялись перед корифеями, а его любили так же, как любили и А. С. Степанова. Его мастерская в Училище живописи помещалась во флигельке, направо от ворот с Юшкова переулка.

Огромная несуразная комната. Холодно. Печка дымит. Посредине на подстилке ка-

кое-нибудь животное: козел, овца, собака, петух... А то – лисичка. Юркая, с веселыми глазами, сидит и оглядывается; вот ей захотелось прилечь, но ученик отрывается от мольберта, прутиком пошевелит ей ногу или мордочку, ласково погрозит, и лисичка садится в прежнюю позу. А кругом ученики пишут с нее и посреди сам А. С. Степанов делает замечания, указывает.

Ученики у А. С. Степанова были какие-то особенные, какие-то тихие и скромные, как и он сам. И казалось, что лисичка сидела тихо и покорно оттого, что ее успокаивали эти покойные десятки глаз, и под их влиянием она была послушной, и, кажется, сознательно послушной.

Этюды с этих лисичек и другие классные работы можно было встретить и на Сухаревке, и у продавцов «под воротами». Они попадали туда после просмотра их профессорами на отчетных закрытых выставках, так как их было девать некуда, а на ученические выставки классные работы не принимались, как бы хороши они ни были. За гроши продавали их ученики кому попало, а встречались иногда

среди школьных этюдов вещи прекрасные.

Ученические выставки бывали раз в году – с 25 декабря по 7 января. Они возникли еще в семидесятых годах, но особенно стали популярны с начала восьмидесятых годов, когда на них уже обозначились имена И. Левитана, Архипова, братьев Коровиных, Святославского, Аладжалова, Милорадовича, Матвеева, Лебедева и Николая Чехова (брата писателя).

На выставках экспонировались летние ученические работы. Весной, по окончании занятий в Училище живописи, ученики разъезжались кто куда и писали этюды и картины для этой выставки. Оставались в Москве только те, кому уж окончательно некуда было деваться. Они ходили на этюды по окрестностям Москвы, давали уроки рисования, нанимались по церквям расписывать стены.

Это было самое прибыльное занятие, и за летнее время ученики часто обеспечивали свое существование на целую зиму. Ученики со средствами уезжали в Крым, на Кавказ, а кто и за границу, но таких было слишком мало. Все, кто не скапливал за лето каких-нибудь грошовых сбережений, надеялись толь-

ко на продажу своих картин.

Ученические выставки пользовались популярностью, их посещали, о них писали, их любила Москва. И владельцы галерей, вроде Солдатенкова, и никому не ведомые москвичи приобретали дешевые картины, иногда будущих знаменитостей, которые впоследствии приобретали огромную ценность.

Это был спорт: угадать знаменитость, все равно что выиграть двести тысяч. Был один год (кажется, выставка 1897 года), когда все лучшие картины закупили московские «иностранцы»: Прове, Гутхейль, Кноп, Катуар, Брокер, Гоппер, Мориц, Шмидт...

После выставки счастливы, успевшие продать свои картины и получить деньги, переодевались, расплачивались с квартирными хозяйками и первым делом – с Моисеевной.

* * *

Во дворе дома Училища живописи во флигельке, где была скульптурная мастерская Волнухина, много лет помещалась столовка, занимавшая две сводчатые комнаты, и в каждой комнате стояли чисто-начисто вымытые простые деревянные столы с горами нарезан-

ного черного хлеба. Кругом на скамейках сидели обедавшие.

Столовка была открыта ежедневно, кроме воскресений, от часу до трех, и всегда была полна. Раздетый, прямо из классов, наскоро прибегает сюда ученик, берет тарелку и металлическую ложку и прямо к горячей плите, где подслеповатая старушка Моисеевна и ее дочь отпускают кушанья. Садится ученик с горячим за стол, потом приходит за вторым, а потом уж платит деньга старушке и уходит. Иногда, если денег нет, просит подождать, и Моисеевна верила всем.

– Ты уж принеси... а то я забуду, – говорила она.

Обед из двух блюд с куском говядины в супе стоил семнадцать копеек, а без говядины одиннадцать копеек. На второе – то котлеты, то каша, то что-нибудь из картошки, а иногда полная тарелка клюквенного киселя и стакан молока. Клюква тогда стоила три копейки фунт, а молоко две копейки стакан.

Не было никаких кассирш, никаких билетиков. И мало было таких, кто надует Моисеевну, почти всегда платили наличными, зай-

мут у кого-нибудь одиннадцать копеек и заплатят. После выставок все расплачивались обязательно.

Бывали случаи, что является к Моисеевне какой-нибудь хорошо одетый человек и сует ей деньги.

– Это ты, батюшка, за что же?

– Должен тебе, Моисеевна, получи!

– Да ты кто будешь-то? – И всматривается в лицо подслеповатыми глазами.

Дочка узнает скорее и называет фамилию. А то сам скажется.

– Ах ты батюшки, да это, Санька, ты? А я и не узнала было... Ишь фронт какой!.. Да что ты мне много даешь?

– Бери, бери, Моисеевна, мало я у тебя даром обедов-то поел.

– Ну вот и спасибо, соколик!

На трубе

...Ехали бояре с папиросками в зубах.

Местная полиция на улице была...

Такова была подпись под карикатурой в журнале «Искра» в начале шестидесятых годов прошлого столетия.

Изображена тройка посередине улицы. В санях четыре щеголя папиросы раскуривают, а два городских лошадей останавливают.

Эта карикатура сатирического журнала была ответом на запрещение курить на улицах, виновных отправляли в полицию, «несмотря на чин и звание», как было напечатано в приказе обер-полицмейстера, опубликованном в газетах.

Немало этот приказ вызвал уличных скандалов, и немало от него произошло пожаров: курильщики в испуге бросали папиросы куда попало.

В те годы курение папирос только начинало вытеснять нюхательный табак, но все же он был еще долго в моде.

– То ли дело нюхануть! И везде можно, и дома воздух не портишь... А главное, дешево и сердито!

Встречаются на улице даже мало знакомые люди, здороваются шапочно, а если захотят продолжать знакомство – табакерочку вынимают.

– Одолжайтесь.

– Хорош. А ну-ка моего... Хлопнет по крышке, откроет.

– А ваш лучше. Мой-то костромской мятный. С канупером табачок, по крепости – вырви глаз.

– Вот его сиятельство князь Урусов – я им овес поставляю – угощали меня из жалованной золотой табакерки Хра... Хра... Да... Храпце.

– Раппе. Парижский. Знаю.

– Ну вот... Духовит, да не заборист. Не понравился... Ну я и говорю: «Ваше сиятельство, не обессудьте уж, не побрезгуйте моим...» Да вот эту самую мою анютку с хвостиком, берестяную – и подношу... Зарядил князь в обе, глаза вытарацил – и еще зарядил. Да как чихнет!.. Чихает, а сам вперебой спрашивает:

«Какой такой табак?.. Аглецкий?..» А я ему и говорю: «Ваш французский Храппе – а мой доморощенный – Бутатре»... И объяснил, что у будочника на Никитском бульваре беру. И князь свой Храппе бросил – на «самтре» перешел, первым покупателем у моего будочника стал. Сам заходил по утрам, когда на службу направлялся... Потом будочника в кварталные вывел...

В продаже были разные табаки: Ярославский – Дунаева и Вахрамеева, Костромской – Чумакова, Владимирский – Головкиных, Ворошатынский, Бобковский, Ароматический, Суворовский, Розовый, Зеленчук, Мятный. Много разных названий носили табаки в «картузах с казенной бандеролью», а все-таки в Москве нюхали больше или «бутатре» или просто «самтре», сами терли махорку, и каждый сдабривал для запаха по своему вкусу. И каждый любитель в секрете свой рецепт держал, храня его якобы от дедов.

Лучший табак, бывший в моде, назывался «Розовый». Его делал пономарь, живший во дворе церкви Троицы-Листы, умерший столетним стариком. Табак этот продавался че-

рез окошечко в одной из крохотных лавочек, осевших глубоко в землю под церковным строением на Сретенке. После его смерти осталось несколько бутылок табаку и рецепт, который настолько своеобразен, что нельзя его не привести целиком.

«Купить полсажени осиновых дров и сжечь их, просеять эту золу через сито в особую посуду.

Взять листового табаку махорки десять фунтов, немного его подсушить (взять простой горшок, так называемый коломенский, и ступку деревянную) и этот табак класть в горшок и тереть, до тех пор тереть, когда останется не больше четверти стакана корешков, которые очень трудно трутся: когда весь табак перетрется, просеять его сквозь самое частое сито. Затем весь табак сызнова просеять и высевки опять протереть и просеять. Золу также второй раз просеять. Соединить золу с табаком так: два стакана табаку и один стакан золы, сыпать это в горшок, смачивая водой стакан с осьмою, смачивать не сразу, а понемногу, и в это время опять тереть, и так тереть весь табак до конца, выкладывая в од-

но место. Духи класть так: взять четверть фунта эликсиру соснового масла, два золотника розового масла и один фунт розовой воды самой лучшей. Сосновое масло, один золотник розового масла и розовую воду соединить вместе подогретую, но не очень сильно; смесь эту, взбалтывая, подбавлять в каждый раствор табаку с золою и все это стирать.

Когда весь табак перетрется со смесью, его вспыскивать оставшимся одним золотником розового масла и перемешивать руками. Затем насыпать в бутылки; насыпав в бутылки табак, закупорить его пробкой и завязать пузырем, поставить их на печь дней на пять или на шесть, а на ночь в печку ставить, класть их надо в лежащем положении. И табак готов».

Задолго до постройки «Эрмитажа» на углу между Грачевкой и Цветным бульваром, выходя широким фасадом на Трубную площадь, стоял, как и теперь стоит, трехэтажный дом Внукова. Теперь он стал ниже, потому что глубоко осел в почву. Еще задолго до ресторана «Эрмитаж» в нем помещался разгульный трактир «Крым», и перед ним всегда стояли

тройки, лихачи и парные «голубчики» по зимам, а в дождливое время часть Трубной площади представляла собой непроездное болото, вода заливала Неглинный проезд, но до Цветного бульвара и до дома Внукова никогда не доходила.

Разгульный «Крым» занимал два этажа. В третьем этаже трактира второго разряда гуляли барышники, шулера, аферисты и всякое жулье, прилично сравнительно одетое. Публику утешали песенники и гармонисты.

Бельэтаж был отделан ярко и грубо, с претензией на шик. В залах были эстрады для оркестра и для цыганского и русского хоров, а громогласный орган заводился вперемежку между хорами по требованию публики,

Кому что нравится, – оперные арии мешались с камаринским и гимн сменялся излюбленной «Лучинушкой».

Здесь утешались загулявшие купчики и разные приезжие из провинции. Под бельэтажем нижний этаж был занят торговыми помещениями, а под ним, глубоко в земле, подо всем домом между Грачевкой и Цветным бульваром сидел громаднейший подвальный

этаж, весь сплошь занятый одним трактиром, самым отчаянным разбойничьим местом, где развлекался до бесчувствия преступный мир, стекавшийся из притонов Грачевки, переулков Цветного бульвара, и даже из самой «Шиповской крепости» набегали фартовые после особо удачных Сухих и мокрых дел, изменяя даже своему притону «Поляковскому трактиру» на Яузе, а хитровская «Каторга» казалась пансионом благородных девиц по сравнению с «Адом».

Много лет на глазах уже вошедшего в славу «Эрмитажа» гудел пьяный и шумный «Крым» и зловеще молчал «Ад», из подземелья которого не доносился ни один Звук на улицу. Еще в семи- и восьмидесятих годах он был таким же, как и прежде, а то, пожалуй, и хуже, потому что за двадцать лет грязь еще больше пропитала пол и стены, а газовые рожки за это время насквозь прокоптили потолки, значительно осевшие и потрескавшиеся, особенно в подземном ходе из общего огромного зала от входа с Цветного бульвара до выхода на Грачевку. А вход и выход были совершенно особенные. Не ищите ни подъез-

да, ни даже крыльца... Нет.

Сидит человек на скамейке на Цветном бульваре и смотрит на улицу, на огромный дом Внукова. Видит, идут по тротуару мимо этого дома человек пять, и вдруг – никого! Куда они девались?.. Смотрит – тротуар пуст... И опять неведомо откуда появляется пьяная толпа, шумит, дерется... И вдруг исчезает снова... Торопливо шагает будочник – и тоже проваливается сквозь землю, а через пять минут опять вырастает из земли и шагает по тротуару с бутылкой водки в одной руке и со свертком в другой...

Встанет заинтересовавшийся со скамейки, подойдет к дому – и секрет открылся: в стене ниже тротуара широкая дверь, куда ведут ступеньки лестницы. Навстречу выбежит, ругаясь непристойно, женщина с окровавленным лицом, и вслед за ней появляется оборванец, валит ее на тротуар и бьет смертным боем, приговаривая:

– У нас жить так жить!

Выскакивают еще двое, лупят оборванца и уводят женщину опять вниз по лестнице. Избитый тщетно силится встать и переползает

на четвереньках, охая и ругаясь, через мостовую и валится на траву бульвара...

Из отворенной двери вместе с удушающей струей махорки, пьяного перегара и всякого человеческого зловония оглушает смешение самых несовместимых звуков. Среди сплошного гула резнет высокая нота подголоска-запевалы, и грянет звериным ревом хор пьяных голосов, а над ним звон разбитого стекла, и дикий женский визг, и многоголосая ругань.

А басы хора гудят в сводах и покрывают гул, пока опять не прорежет их визгливый подголосок, а его не заглушит, в свою очередь, фальшивая нота скрипки...

И опять все звуки сливаются, а теплый пар и запах газа от лопнувшей где-то трубы на минуту остановят дыхание...

Сотни людей занимают ряды столов вдоль стен и середину огромнейшего «зала». Любопытный скользит по мягкому от грязи и опилок полу, мимо огромный плиты, где и жарится и варится, к подобию буфета, где на полках красуются бутылки с ерофеичем, желудочной, перцовкой, разными сладкими наливками и ромом, за полтинник бутылка, от

которого разит клопами, что не мешает этому рому пополам с чаем делаться «пунштиком», любимым напитком «зеленых ног», или «болдох», как здесь зовут обратников из Сибири и беглых из тюрем.

Все пьяным-пьяно, все гудит, поет, ругается... Только в левом углу за буфетом тише – там идет игра в ремешок, в наперсток... И никогда еще никто в эти игры не выигрывал у шулеров, а все-таки по пьяному делу играют... Уж очень просто.

Например, игра в наперсток состоит в том, чтобы угадать, под каким из трех наперстков лежит хлебный шарик, который шулер на глазах у всех кладет под наперсток, а на самом деле приклеивает к ногтю – и под наперстком ничего нет...

В ремешок игра простая: узкий кожаный ремешок свертывается в несколько оборотов в кружок, причем партнер, прежде чем распустился ремень, должен угадать середину, то есть поставить свой палец или гвоздь, или палочку так, чтобы они, когда ремень развернется, находились в центре образовавшегося круга, в петле. Но ремень складывается так,

что петли не оказывается.

И здесь в эти примитивные игры проигрывают все, что есть: и деньги, и награбленные вещи, и пальто, еще тепленькое, только что снятое с кого-нибудь на Цветном бульваре. Около играющих ходят барышники-портяночники, которые скупают тут же всякую мелочь, все же ценное и крупное поступает к самому «Сатане» – так зовут нашего хозяина, хотя его никогда никто в лицо не видел. Всем делом орудуют буфетчик и два здоровенных вышибалы – они же и скупщики краденого.

Они выплывают во время уж очень крупных скандалов и бьют направо и налево, а в помощь им всегда становятся завсегдаити – «болдохи», которые дружат с ними, как с нужными людьми, с которыми «дело делают» по сбыту краденого и пользуются у них приютом, когда опасно ночевать в ночлежках или в своих «хазах». Сюда же никакая полиция никогда не заглядывала, разве только городовые из соседней будки, да и то с самыми благими намерениями – получить бутылку водки.

И притом дальше общего зала не ходили, а

зал только парадная половина «Ада». Другую половину звали «Треисподняя», и в нее имели доступ только известные буфетчику и вышибалам, так сказать, заслуженные «болдохи», на манер того, как вельможи, «имеющие приезд ко двору». Вот эти-то «имеющие приезд ко двору» заслуженные «болдохи» или «иваны» из «Шиповской крепости» и «волки» из «Сухого оврага» с Хитровки имели два входа – один общий с бульвара, а другой с Грачевки, где также исчезали незримо с тротуара, особенно когда приходилось тащить узлы, что через зал все-таки как-то неудобно.

«Треисподняя» занимала такую же по величине половину подземелья и состояла из коридоров, по обеим сторонам которых были большие каморки, известные под названием: маленькие – «адских кузниц», а две большие – «чертовых мельниц».

Здесь грачевские шулера метали банк – единственная игра, признаваемая «Иванами» и «болдохами», в которую они проигрывали свою добычу, иногда исчисляемую тысячами.

В этой половине было всегда тихо – пьянства не допускали вышибалы, одного слова

или молчаливого жеста их все боялись. «Чертовы мельницы» молотили круглые сутки, когда составлялась стоящая дела игра. Круглые сутки в маленьких каморках делалось дело: то «тырбанка сламу», то есть дележ награбленного участниками и продажа его, то исполнение заказов по фальшивым паспортам или другим подложным документам особыми спецами. Несколько каморок были обставлены как спальни (двухспальная кровать с соломенным матрасом) – опять-таки только для почетных гостей и их «марух»...

Заходили сюда иногда косматые студенты, пели «Дубинушку» в зале, шумели, пользуясь уважением бродяг и даже вышибал, отводивших им каморки, когда не находилось мест в зале.

Так было в шестидесятых годах, так было и в семидесятых годах в «Аду», только прежде было проще: в «Треисподнюю» и в «адские кузницы» пускались пары с улицы, и в каморки ходили из зала запросто всякие гости, кому надо было уединиться. Иногда в семидесятых годах в «Ад» заходили почетные гости – актеры Народного театра и Артистического

кружка для изучения типов. Бывали Киреев, Полтавцев, Вася Васильев. Тогда полиция не заглядывала сюда, да и после, когда уже существовала сыскная полиция, обходов никаких не было, да они ни к чему бы и не повели – под домом были подземные ходы, оставшиеся от водопровода, устроенного еще в екатерининские времена.

В конце прошлого столетия при канализационных работах наткнулись на один из таких ходов под воротами этого дома, когда уже «Ада» не было, а существовали лишь подвальные помещения (в одном из них помещалась спальня служащих трактира, освещавшаяся и днем керосиновыми лампами).

С трактиром «Ад» связана история первого покушения на Александра II 4 апреля 1866 года. Здесь происходили заседания, на которых и разрабатывался план нападения на царя.

В 1863 году в Москве образовался кружок молодежи, постановившей бороться активно с правительством. Это были студенты университета и Сельскохозяйственной академии. В 1865 году, когда число участников увеличилось, кружок получил название «Организа-

ция».

Организатором и душой кружка был студент Ишутин, стоявший во главе группы, квартировавшей в доме мещанки Ипатовой по Большому Спасскому переулку, в Каретном ряду. По имени дома эта группа называлась ипатовцами. Здесь и зародилась мысль о цареубийстве, неизвестная другим членам «Организации».

Ипатовцы для своих конспиративных заседаний избрали самое удобное место – трактир «Ад», где никто не мешал им собираться в сокровенных «адских кузницах». Вот по имени этого притона группа ишутинцев и назвала себя «Ад».

Кроме трактира «Ад», они собирались еще на Большой Бронной, в развалившемся доме Чебышева, где Ишутин оборудовал небольшую переплетную мастерскую, тоже под названием «Ад», где тоже квартировали некоторые «адовцы», называвшие себя «смертниками», то есть обреченными на смерть. В числе их был и Каракозов, неудачно стрелявший в царя.

Последовавшая затем масса арестов терро-

ризировала Москву, девять «адовцев» были посланы на каторгу (Каракозов был повешен). В Москве все были так перепуганы, что никто и заикнуться не смел о каракозовском покушении. Так все и забылось.

Еще в прошлом столетии упоминалось о связи «Ада» с каракозовским процессом, но писать об этом, конечно, было нельзя. Только в очень дружеских беседах старые писатели Н. Н. Златовратский, Н. В. Успенский, А. М. Дмитриев, Ф. Д. Нефедов и Петр Кичеев вспоминали «Ад» и «Чебыши», да знали подробности некоторые из старых сотрудников «Русских ведомостей», среди которых был один из главных участников «Адской группы», бывавший на заседаниях смертников в «Аду» и «Чебышах». Это Н. Ф. Николаев, осужденный по каракозовскому процессу в первой группе на двенадцать лет каторжных работ.

Уже в конце восьмидесятых годов он появился в Москве и сделался постоянным сотрудником «Русских ведомостей» как переводчик, кроме того, писал в «Русской мысли». В Москве ему жить было рискованно, и он ютился по маленьким ближайшим городкам,

но часто наезжал в Москву, останавливаясь у друзей. В редакции, кроме самых близких людей, мало кто знал его прошлое, но с друзьями он делился своими воспоминаниями.

Этому последнему каракозовцу немного не удалось дожить до каракозовской выставки в Музее Революции в 1926 году.

* * *

Первая половина шестидесятых годов была началом буйного расцвета Москвы, в которую устремились из глухих углов помещики проживать выкупные платежи после «освободительной» реформы. Владельцы магазинов «роскоши и моды» и лучшие трактиры обогащались; но последние все-таки не удовлетворяли изысканных вкусов господ, побывавших уже за границей, – живых стерлядей и парной икры им было мало. Знатные вельможи задавали пиры в своих особняках, выписывая для обедов страсбургские паштеты, устриц, лангустов, омаров и вина из-за границы за бешеные деньги.

Считалось особым шиком, когда обеды готовил повар-француз Оливье, еще тогда прославившийся изобретенным им «салатом

Оливье», без которого обед не в обед и тайну которого не открывал. Как ни старались гурманы, не выходило: то, да не то.

На Трубе у бутаря часто встречались два любителя его бергамотного табаку – Оливье и один из братьев Пеговых, ежедневно ходивший из своего богатого дома в Гнездниковском переулке за своим любимым бергамотным, и покупал он его всегда на копейку, чтобы свеженький был. Там-то они и стоворились с Оливье, и Пегов купил у Попова весь его громадный пустырь почти в полторы десятины. На месте будок и «Афонькина кабака» вырос на земле Пегова «Эрмитаж Оливье», а непроездная площадь и улицы были замощены.

Там, где в болоте по ночам раздавалось кваканье лягушек и неслись вопли ограбленных завсегдатаями трактира, засверкали огнями окна дворца обжорства, перед которым стояли день и ночь дорогие дворянские запряжки, иногда еще с выездными лакеями в ливреях.

Все на французский манер в угоду требовательным клиентам сделал Оливье – только

одно русское оставил: в ресторане не было фрачных лакеев, а служили московские полковые, сверкавшие рубашками голландского полотна и шелковыми поясами.

И сразу успех неслыханный. Дворянство так и хлынуло в новый французский ресторан, где, кроме общих зал и кабинетов, был белый колонный зал, в котором можно было заказывать такие же обеды, какие делал Оливье в особняках у вельмож. На, эти обеды также выписывались деликатесы из-за границы и лучшие вина с удостоверением, что этот коньяк из подвалов дворца Людовика XVI, и с надписью «Трианон».

Набросились на лакомство не знавшие куда девать деньги избалованные бары...

Три француза вели все дело. Общий надзор – Оливье. К избранным гостям – Мариус и в кухне парижская знаменитость – повар Дюге.

Это был первый, барский период «Эрмитажа».

Так было до начала девяностых годов. Тогда еще столбовое барство чуралось выскочек из чиновного и купеческого мира. Те пиروва-

ли в отдельных кабинетах.

* * *

Затем стало сходить на нет проевшееся барство. Первыми появились в большой зале московские иностранцы-коммерсанты – Кнопы, Вогау, Гопперы, Марки. Они являлись прямо с биржи, чопорные и строгие, и занимали каждая компания свой стол.

А там поперло за ними и русское купечество, только что сменившее родительские сибирки и сапоги бураками на щегольские смокинги, и перемешалось в залах «Эрмитажа» с представителями иностранных фирм.

Оливье не стало. Мариус, который благоговел перед сиятельными гурманами, служил и купцам, но разговаривал с ними развязно и даже покровительственно, а повар Дюге уже не придумывал для купцов новых блюд и, наконец, уехал на родину.

Дело шло и так блестяще.

На площади перед «Эрмитажем» барские запряжки сменились лихачами в неудобных санках, запряженных тысячными, призовыми рысаками. Лихачи стояли также и на Страстной площади и у гостиниц «Дрезден»,

«Славянский базар», «Большая Московская» и «Прага».

Но лучшие были у «Эрмитажа», платившие городу за право стоять на бирже до пяти-сот рублей в год. На других биржах – по четыреста.

Сытые, в своих нелепых воланах дорогого сукна, подпоясанные шитыми шелковыми поясами, лихачи смотрят гордо на проходящую публику и разговаривают только с выходящими из подъезда ресторана «сиятельными особами».

– Вась-сиясь!..

– Вась-сиясь!..

Чтобы москвичу получить этот княжеский титул, надо только подойти к лихачу, гордо сесть в пролетку на дурых шинах и грозно крикнуть:

– К «Яру»!

И сейчас же москвич обращается в «вась-сиясь».

Воланы явились в те давно забытые времена, когда сердитый барин бил кулаком и пинал ногами в спину своего крепостного кучера.

Тогда волан, до уродства набитый ватой, спасал кучера от увечья и уцелел теперь, как и забытое слово «барин» у извозчиков без волана и «вась-сиясь» у лихачей...

Каждому приятно быть «вась-сиясем»!

Особенно много их появилось в Москве после японской войны. Это были поставщики на армию и их благодетели – интенданты. Их постепенный рост наблюдали приказчики магазина Елисеева, а в «Эрмитаж» они явились уже «вась-сиясями».

Был такой перед японской войной толстый штабс-капитан, произведенный лихачами от Страстного сперва в полковника, а потом лихачами от «Эрмитажа» в «вась-сиясь», хотя на погонах имелись все те же штабс-капитанские четыре звездочки и одна полоска. А до этого штабс-капитан ходил только пешком или таскался с ипподрома за пятак на конке. Потом он попал в какую-то комиссию и стал освобождать богатых людей от дальних путешествий на войну, а то и совсем от солдатской шинели, а его писарь, полуграмотный солдат, снимал дачу под Москвой для своей любовницы.

– Вась-сиясь! С Иваном! Вась-сиясь, с Федором! – встречали его лихачи у подъезда «Эрмитажа».

Худенькие офицерики в немодных шинельках бегали на скачки и бега, играли в складчину, понтировали пешедралом с ипподромов, проиграв последнюю красненькую, торговались в Охотном при покупке фруктов, колбасы, и вдруг... Японская война!

Ожили!

Стали сперва заходить к Елисееву, покупать вареную колбасу, яблоки... Потом икру... Мармелад и портвейн № 137. В магазине Елисеева наблюдательные приказчики примечали, как полнели, добрели и росли их интендантские покупатели.

На извозчиках подъезжать стали. Потом на лихачах, а потом в своих экипажах...

– Э... Э... А?.. Пришлите по этой записке мне... и добавьте, что найдете нужным... И счет. Знаете?.. – гудел начальственно «низким басом и запускал в небеса ананасом»...

А потом ехал в «Эрмитаж», где уже сделался завсегдатаем вместе с десятками таких же, как он, «вась-сиясей», и мундирных и штат-

ских.

Но многих из них «Эрмитаж» и лихачи «на ноги поставили»!

«Природное» барство проелось в «Эрмитаже», и выскочкам такую марку удержать было трудно, да и доходы с войной прекратились, а барские замашки остались. Чтоб прокатиться на лихаче от «Эрмитажа» до «Яра» да там, после эрмитажных деликатесов, поужинать с цыганками, венгерками и хористками Анны Захаровны – ежели кто по рубашечной части, – надо тысячи три солдат полураздеть: нитки гнилые, бухарка, рубаха-недомерок...

А ежели кто по шапочной части – тысячи две папах на вершок поменьше да на старой пакле вместо ватной подкладки надо построить.

А ежели кто по сапожной, так за одну поездку на лихаче десятки солдат в походе ноги потрут да ревматизм навечно приобретут.

И ходили солдаты полураздетые, в протухлых, плешивых полушубках, в то время как интендантские «вась-сияси» «на шепоте дутом» с крашеными дульцинеями по «Ярам»

ездили... За счет полушубков ротонды собольи покупали им и котиковые манто.

И кушали господа интендантские «вась-сияси» деликатесы заграничные, а в армию шла мука с червями.

Прошло время!..

Мундирные «вась-сияси» начали линять. Из титулованных «вась-сиясей» штабс-капитана разжаловали в просто барина... А там уж не то что лихачи, а и «желтоглазые» извозчики, даже извозчики-зимники на своих клячах за барина считать перестали – «Эрмитаж» его да и многих его собутыльников «поставил на ноги»...

Лихачи знали всю подноготную всякого за-всегда «Эрмитажа» и не верили в прочность... «вась-сиясей», а предпочитали купцов в загуле и в знак полного к ним уважения каждого именовали по имени-отчеству.

«Эрмитаж» перешел во владение торгового товарищества. Оливье и Мариуса заменили новые директора: мебельщик Поликарпов, рыбак Мочалов, буфетчик Дмитриев, купец Юдин. Народ со смекалкой, как раз по новой публике.

Первым делом они перестроили «Эрмитаж» еще роскошнее, отделали в том же здании шикарные номерные бани и выстроили новый дом под номера свиданий. «Эрмитаж» увеличился стеклянной галереей и летним садом с отдельным входом, с роскошными отдельными кабинетами, эстрадами и благоуханным цветником...

«Эрмитаж» стал давать огромные барыши – пьянство и разгул пошли вовсю. Московские «именитые» купцы и богатеи посерешили прямо в кабинеты, где сразу распоясывались... Зернистая икра подавалась в серебряных ведрах, аршинных стерлядей на уху приносили прямо в кабинеты, где их и закалывали... И все-таки спаржу с ножа ели и ножом резали артишоки. Из кабинетов особенно славился красный, в котором московские прожигатели жизни ученую свинью у клоуна Таити съели...

Особенно же славились ужины, на которые съезжалась кутящая Москва после спектаклей. Залы наполняли фраки, смокинги, мундиры и дамы в открытых платьях, сверкавших бриллиантами. Оркестр гремел на хо-

рах, шампанское рекой... Кабинеты переполнены. Номера свиданий торговали вовсю! От пяти до двадцати пяти рублей за несколько часов. Кого-кого там не перебывало! И все держалось в секрете; полиция не мешалась в это дело – еще на начальство там наткнешься!

Роскошен белый колонный зал «Эрмитажа». Здесь привились юбилеи. В 1899 году, в Пушкинские дни, там был Пушкинский обед, где присутствовали все знаменитые писатели того времени.

А обыкновенно справлялись здесь богатейшие купеческие свадьбы на сотни персон.

И ели «чумазые» руками с саксонских сервизов все: и выписанных из Франции руанских уток, из Швейцарии красных куропаток и рыбу-соль из Средиземного моря...

Яблоки кальвиль, каждое с гербом, по пять рублей штука при покупке... И прятали замоскворецкие гости по задним карманам долгопых сюртуков дюшесы и кальвиль, чтобы отвезти их в Таганку, в свои старомодные дома, где пахло деревянным маслом и кислой капустой...

Особенно часто снимали белый зал для банкетов московские иностранцы, чествовавшие своих знатных приезжих земляков...

Здесь же иностранцы встречали Новый год и правили немецкую масленицу; на всех торжествах в этом зале играл лучший московский оркестр Рябова.

В 1917 году «Эрмитаж» закрылся. Собирались в кабинетах какие-то кружки, но и кабинеты опустели...

«Эрмитаж» был мрачен, кругом ни души: мимо ходить боятся.

Опять толпы около «Эрмитажа»... Огромные очереди у входов. Десятки ручных тележек ожидают заказчиков, счастливцев, получивших пакет от «АРА», занявшего все залы, кабинеты и службы «Эрмитажа».

* * *

Наполз нэп. Опять засверкал «Эрмитаж» ночными огнями. Затолпились вокруг оборванные извозчики вперемежку с оборванными лихачами, но все еще на дутых шинах. Начали подъезжать и отъезжать пьяные автомобили. Бывший распорядитель «Эрмитажа» ухитрился мишурно повторить прошлое

модного ресторана. Опять появились на карточках названия: котлеты Помпадур, Мари Луиз, Валларуа, салат Оливье... Но неугрызимые котлеты – на касторовом масле, и салат Оливье был из огрызков... Впрочем, вполне к лицу посетителям-нэпманам.

В швейцарской – котиковое манто, бобровые воротники, собольи шубы...

В большом зале – те же люстры, белые скатерти, блестит посуда...

На стене, против буфета, еще уцелела надпись М. П. Садовского. Здесь он завтракал, высмеивая прожигателей жизни, и наблюдал типы. Вместо белорубашечных половых подавали кушанья служащие в засаленных пиджаках и прибежали на зов, сверкая оборками брюк, как кружевом. Публика косо поглядывала на посетителей, на которых кожаные куртки.

Вот за шампанским кончает обед шумная компания... Вскакивает, жестикулирует, убеждает кого-то фронт в смокинге, с брюшком. Набеленная, с покрашенными губами дама курит папиросу и пускает дым в лицо и подливает вино в стакан человеку во френче.

Ему, видимо, неловко в этой компании, но он в центре внимания. К нему относятся убеждающие жесты жирного франта. С другой стороны около него трется юркий человек и показывает какие-то бумаги. Обхаживаемый отводит рукой и не глядит, а тот все лезет, лезет...

Прямо-таки сцена из пьесы «Воздушный пирог», что с успехом шла в Театре революции. Все – как живые!.. Так же жестикулирует Семен Рак, так же нахальничает подкрашенная танцовщица Рита Керн... Около чувствующего себя неловко директора банка Ильи Коромыслова трется Мирон Зонт, просящий субсидию для своего журнала... А дальше секретари, секретарши, директора, коммерсанты Обрыдловы и все те же Семены Раки, самодовольные, начинающие жиреть...

И на других столах то же.

Через год в зданиях «Эрмитажа» был торжественно открыт Моссоветом Дом крестьянина.

Чрево Москвы

Охотный ряд – Чрево Москвы.

В прежние годы Охотный ряд был застроен с одной стороны старинными домами, а с другой – длинным одноэтажным зданием под одной крышей, несмотря на то, что оно принадлежало десяткам владельцев. Из всех этих зданий только два дома были жилыми: дом, где гостиница «Континенталь», да стоящий рядом с ним трактир Егорова, знаменитый своими блинами. Остальное все лавки, вплоть до Тверской.

Трактир Егорова когда-то принадлежал Воронину, и на вывеске была изображена ворона, держащая в клюве блин. Все лавки Охотного ряда были мясные, рыбные, а под ними зеленные подвалы. Задние двери лавок выходили на огромный двор – Монетный, как его называли издревле. На нем были тоже одноэтажные мясные, живорыбные и яичные лавки, а посередине – двухэтажный «Монетный» трактир. В задней части двора – ряд сараюшек с погребками и кладовыми, кишевшими полчищами крыс.

Охотный ряд получил свое название еще в те времена, когда здесь разрешено было торговать дичью, приносимой подмосковными охотниками.

Впереди лавок, на площади, вдоль широкого тротуара, стояли переносные палатки и толпились торговцы с корзинами и мешками, наполненными всевозможными продуктами. Ходили охотники, обвешанные утками, тетерками, зайцами. У баб из корзин торчали головы кур и цыплят, в мешках визжали поросята, которых продавцы, вынимая из мешка, чтобы показать покупателю, непременно поднимали над головой, держа за связанные задние ноги. На мостовой перед палатками сновали пирожники, блинники, торговцы гречневиками, жареными на постном масле. Сбитенщики разливали, по копейке за стакан, горячий сбитень – любимый тогда медовый напиток, согревавший извозчиков и служащих, замерзавших в холодных лавках. Летом сбитенщиков сменяли торговцы квасами, и самый любимый из них был грушевый, из вареных груш, которые в моченом виде лежали для продажи пирамидами на лотках, а

квас черпали из ведра кружками.

Мясные и рыбные лавки состояли из двух отделений. В первом лежало на полках мясо разных сортов – дичь, куры, гуси, индейки, паленые поросята для жаркого и в ледяных ваннах – белые поросята для заливного. На крючьях по стенам были развешаны туши барашков и поенных молоком телят, а весь потолок занят окороками всевозможных размеров и приготовлений – копченых, вареных, провесных. Во втором отделении, темном, освещенном только дверью во двор, висели десятки мясных туш. Под всеми лавками – подвалы. Охотный ряд бывал особенно оживленным перед большими праздниками. К лавкам подъезжали на тысячных рысаках расфранченные купчихи, и за ними служащие выносили из лавок корзины и кульки с товаром и сваливали их в сани. И торчит, бывало, из рогожного кулька рядом с собольей шубой миллионерши окорок, а поперек медвежьей полости лежит пудовый мороженный осетр во всей своей красоте.

Из подвалов пахло тухлятиной, а товар лежал на полках первосортный. В рыбных –

лучшая рыба, а в мясных – куры, гуси, индейки, поросята.

Около прилавка хлопочут, расхваливают товар и бесперебойно врут приказчики в засаленных долгополых поддевках и заскоруженых фартуках. На поясе у них – Целый ассортимент ножей, которые чистятся только на ночь. Чистота была здесь не в моде.

Главными покупателями были повара лучших трактиров и ресторанов, а затем повара барские и купеческие, хозяйки-купчихи и кухарки. Все это толклось, торговалось, спорило из-за копейки, а охотнорядец рассыпался перед покупателем, памятуя свой единственный лозунг: «не обманешь – не продашь».

Беднота покупала в палатках и с лотков у разносчиков последние сорта мяса: ребра, подбедерок, покромку, требуху и дешевую баранину-ордынку. Товар лучших лавок им не по карману, он для тех, о которых еще Гоголь сказал: «Для тех, которые почище».

Но и тех и других продавцы в лавках и продавцы на улицах одинаково обвешивают и обсчитывают, не отличая бедного от богатого, – это был старый обычай охотнорядских

торговцев, неопровержимо уверенных – «не обманешь – не продашь».

Охотный ряд восьмидесятых годов самым наглядным образом представляет протокол санитарного осмотра этого времени.

Осмотр начался с мясных лавок и Монетного двора.

«О лавках можно сказать, что они только по наружному виду кажутся еще сносными, а помещения, закрытые от глаз покупателя, ужасны. Все так называемые «палатки» обращены в курятники, в которых содержится и режется живая птица. Начиная с лестниц, ведущих в палатки, полы и клетки содержатся крайне небрежно, помет не вывозится, всюду запекшаяся кровь, которою пропитаны стены лавок, не окрашенных, как бы следовало по санитарным условиям, масляною краскою; по углам на полу всюду набросан сор, перья, рогожа, мочала... колоды для рубки мяса избиты и содержатся неопрятно, туши вешаются на ржавые железные невылуженные крючья, служащие при лавках одеты в засаленное платье и грязные передники, а ножи в неопрятном виде лежат в привешанных к по-

ясу мясников грязных, окровавленных ножах, которые, по-видимому, никогда не чистятся... В сараях при некоторых лавках стоят чаны, в которых вымачиваются снятые с убитых животных кожи, издающие невыносимый смрад».

Осмотрев лавки, комиссия отправилась на Монетный двор. Посредине его – сорная яма, заваленная грудой животных и растительных гниющих отбросов, и несколько деревянных срубов, служащих вместо помойных ям и предназначенных для выливания помоев и отбросов со всего Охотного ряда. В них густой массой, почти в уровень с поверхностью земли, стоят зловонные нечистоты, между которыми виднеются плавающие внутренности и кровь. Все эти нечистоты проведены без разрешения управы в городскую трубу и без фильтра стекают по ней в Москву-реку.

Нечистоты заднего двора «выше всякого описания». Почти половину его занимает официально бойня мелкого скота, помещающаяся в большом двухэтажном каменном сарае. Внутренность бойни отвратительна. Запекшаяся кровь толстым слоем покрывает ас-

фальтовый пол и пропитала некрашенные стены. «Все помещение довольно обширной бойни, в которой убивается и мелкий скот для всего Охотного ряда, издает невыносимое для свежего человека зловоние. Сарай этот имеет маленькое отделение, еще более зловонное, в котором живет сторож заведующего очисткой бойни Мокеева. Площадь этого двора покрыта толстым слоем находящейся между камнями запекшейся крови и обрывков внутренностей, подле стен лежит дымящийся навоз, кишки и другие гниющие отбросы. Двор окружен погребями и запертыми сараями, помещающимися в полуразвалившихся постройках».

«Между прочим, после долгих требований ключа был отперт сарай, принадлежащий мяснику Ивану Кузьмину Леонову. Из сарая этого по двору сочилась кровавая жидкость от сложенных в нем нескольких сот гнилых шкур. Следующий сарай для уборки битого скота, принадлежащий братьям Андреевым, оказался чуть ли не хуже первого. Солонина вся в червях и т. п. Когда отворили дверь — стаи крыс выскакивали из ящиков с мясной

тухлятиной, грузно шлепались и исчезали в подполье!.. И так везде... везде».

Протокол этого осмотра исторический. Он был прочитан в заседании городской думы и вызвал оживленные прения, которые, как и всегда, окончились бы ничем, если бы не гласный Жадаев.

Полуграмотный кустарь-ящичник, маленький, вихрастый, в неизменной поддевке и смазных сапогах, когда уже кончились прения, попросил слова; и его звонкий резкий тенор сменил повествование врача Попандополо, рисовавшего ужасы Охотного ряда. Миазмы, бациллы, бактерии, антисанитария, аммиак... украшали речь врача.

– Верно! Верно, что говорит Василий Константиныч! Так как мы поставляем ящики в Охотный, так уж нагляделись... И какие там миазмы и сколько их... Заглянешь в бочку – так они кишмя кишат... Так и ползают по солонине... А уж насчет бахтериев – так и шмыгают под ногами, рыжие, хвостатые... так и шмыгают, того и гляди наступишь.

Гомерический хохот. Жадаев сверкнул глазами, и голос его покрыл шум.

– Чего ржете! Что я, вру, что ли? Во-о какие, хвостатые да рыжие! Во-о какие! Под ногами шмыгают... – и Он развел руками на поларшина.

Речь Жадаева попала в газеты, насмешила Москву, и тут принялись за очистку Охотного ряда. Первым делом было приказано иметь во всех лавках кошек. Но кошки и так были в большинстве лавок. Это был род спорта – у кого кот толще. Сытые, огромные коты сидели на прилавках, но крысы обращали на них мало внимания. В надворные сараи котов на ночь не пускали после того, как одного из них в сарае ночью крысы сожрали.

Так с крысами ничего поделаться и не могли, пока один из охотнорядцев, Грачев, не нашел, наконец, способ избавиться от этих хищников. И вышло это только благодаря Жадаеву.

Редактор журнала «Природа и охота» Л. П. Сабанеев, прочитав заметку о Жадаеве, встретился с Грачевым, посмеялся над «хвостатыми бахтериями» и подарил Грачеву щенка фокса-крысолова. Назвал его Грачев Мальчиком и поселил в лавке. Кормят его мясом до-

сыта. Соседи Грачева ходят и посмеиваются. Крысы бегают стаями. Мальчик подрос, окреп. В одно утро отпирают лавку и находят двух задушенных крыс. Мальчик стоит около них, обрубком хвоста виляет... На другой день – тройка крыс... А там пяток, а там уж ни одной крысы в лавке не стало – всех передудшил...

Так же Мальчик и амбар грачевский очистил... Стали к Грачеву обращаться соседи – и Мальчик начал отправляться на гастроли, выводить крыс в лавках. Вслед за Грачевым завели фокстерьеров и другие торговцы, чтобы охранять первосортные съестные припасы, которых особенно много скопилось перед большими праздниками, когда богатая Москва швырялась деньгами на праздничные подарки и обжорство.

* * *

После революции лавки Охотного ряда были снесены начисто, и вместо них поднялось одиннадцатизэтажное здание гостиницы «Москва»; только и осталось от Охотного ряда что два древних дома на другой стороне площади. Сотни лет стояли эти два дома, покры-

тые грязью и мерзостью, пока комиссия по «Старой Москве» не обратила на них внимание, а Музейный отдел Главнауки не приступил к их реставрации.

Разломали все хлевушки и сарайчики, очистили от грязи дом, построенный Голицыным, где прежде резали кур и был склад всякой завали, и выявились на стенах, после отбитой штукатурки, пояски, карнизы и прочие украшения, художественно высеченные из кирпича, а когда выбросили из подвала зловонные бочки с сельдями и уничтожили заведение, где эти сельди коптились, то под полом оказались еще беломраморные покои. Никто из москвичей и не подозревал, что эта «коптильня» в беломраморных палатах.

Василий Голицын, фаворит царевны Софьи, образованнейший человек своего века, выстроил эти палаты в 1686 году и принимал в них знатных иностранцев, считавших своим долгом посетить это, как писали за границей, «восьмое чудо» света.

Рядом с палатами Голицына такое же обширное место принадлежало заклятому врагу Голицына – боярину Троекурову, началь-

нику стрелецкого приказа. «За беду боярину сталося, за великую досаду показалося», что у «Васьки Голицына» такие палаты!

А в это время Петр I как раз поручил своему любимцу Троекурову наблюдать за постройкой Сухаревой башни.

И вместе с башней Троекуров начал строить свой дом, рядом с домом Голицына, чтобы «утереть ему нос», а материал, кстати, был под рукой – от Сухаревой башни. Проведал об этом Петр, назвал Троекурова казнокрадом, а все-таки в 1691 году рядом с домом Голицына появились палаты, тоже в два этажа. Потом Троекуров прибавил еще третий этаж со сводами в две с половиной сажени, чего не было ни до него, ни после.

Когда Василия Голицына, по проискам врагов, в числе которых был Троекуров, сослали и секвестровали его имущество, Петр I подарил его дом грузинскому царевичу, потомки которого уже не жили в доме, а сдавали его внаем под торговые здания. В 1871 году дом был продан какому-то купцу. Дворец превратился в трущобу.

То же самое произошло и с домом Троеку-

рова. Род Троекуровых вымер в первой половине XVIII века, и дом перешел к дворянам Соковниным, потом к Салтыковым, затем к Юрьевым и, наконец, в 1817 году был куплен «Московским мещанским обществом», которое поступило с ним чисто по-мещански: сдало его под гостиницу «Лондон», которая вскоре превратилась в грязнейший извозничий трактир, до самой революции служивший притоном шулеров, налетчиков, барышников и всякого уголовного люда.

Одновременно с этими двумя домами, тоже из зависти, чтобы «утереть нос» Ваське Голицыну и казнокраду Троекурову, князь Гагарин выстроил на Тверской свой дом. Это был казнокрад похуже, пожалуй, Троекурова, как поется о нем в песне:

*Ах ты, сукин сын Гагарин,
Ты собака, а не барин...
Заедаешь харчевые,
Наше жалованье,
И на эти наши деньги
Ты большой построил дом
Среди улицы Тверской
За Неглинной за рекой.
Со стеклянным потолком,*

*С москворецкою водой,
По фонтану ведена,
Жива рыба пущена...*

Неизвестно, утер ли нос Голицыну и Троекурову своим домом Матвей Гагарин, но известно, что Петр I отрубил ему голову.

Реставрированные дома Голицына и Троекурова – это последняя память об Охотном ряде... И единственная, если не считать «Петра Кириллова».

Об этом продукте Охотного ряда слышится иногда при недобросовестном отпуске товара:

– Ты мне Петра Кирилыча не заправляй!

Петр Кириллов, благодаря которому были введены в трактирах для расчета марки, был действительно лицо, увековечившее себя не только в Москве, ко и в провинции. Даже в далекой Сибири между торговыми людьми нередко шел такой разговор:

– Опять ты мне Петра Кирилыча заправил!

Петр Кирилыч родился в сороковых годах в деревне бывшего Углицкого уезда. Десятилетним мальчиком был привезен в Москву и определен в трактир Егорова половым.

Наглядевшись на охотнорядских торгов-

цев, практиковавших обмер, обвес и обман, он ловко применил их методы торгового дела к своей профессии.

Кушанья тогда заказывали на слово, деньги, полученные от гостя, половые несли прямо в буфет, никуда не заходя, платили, получали сдачу и на тарелке несли ее, тоже не останавливаясь, к гостю. Если последний давал на чай, то чайные деньги сдавали в буфет на учет и делили после. Кажется, ничего украсть нельзя, а Петр Кирилыч ухитрялся. Он как-то прятал деньги в рукава, засовывал их в диван, куда садился знакомый подрядчик, который брал и уносил эти деньги, вел им счет и после, на дому, рассчитывался с Петром Кирилычем. И многие знали, а поймать не могли. Уж очень ловок был. Даст, бывало, гость ему сто рублей разменять. Вмиг разменяет, сочтет на глазах гостя, тот положит в карман, и делу конец. А другой гость начнет пересчитывать:

– Чего ты принес? Тут пятишки нет, всего девяносто пять...

Удивится Петр Кириллов. Сам перечтет, положит деньги на стол, поставит сверху на

них солонку или тарелку.

– Верно, не хватает пятишки! Сейчас сбегая, не обронил ли на буфете.

Через минуту возвращается сияющий и бросает пятерку.

– Ваша правда... На буфете забыл... Гость доволен, а Петр Кирилыч вдвое.

В то время, когда пересчитывал деньги, он успел стащить красненькую, а добавил только пятерку.

А если гость пьяненький, он получал с него так: выпил, положим, гость три рюмки водки и съел три пирожка. Значит, за три рюмки и три пирожка надо сдать в буфет 60 копеек.

Гость сидит, носом поклевывает:

– Сколько с меня?

– С вас-с... вот, извольте видеть, – загибает пальцы Петр Кирилыч, считая: – По рюмочке три рюмочки, по гривенничку три гривенничка – тридцать, три пирожка по гривенничку – тридцать, три рюмочки тридцать. Папиросок не изволили спрашивать? Два рубля тридцать.

– Сколько?

– Два рубля тридцать!

– Почему такое?

– Да как же-с? Водку кушали, пирожки кушали, папирос, сигар не спрашивали, – и загибает пальцы. – По рюмочке три рюмочки, по гривеннику, три гривенника – тридцать, три пирожка – тридцать. По гривеннику три гривенника, по рюмочке три рюмочки, да три пирожка – тридцать. Папиросочек-сигарочек не спрашивали – два рубля тридцать...

Бросит ничего не понявший гость трешницу. Иногда и сдачи не возьмет, ошалелый.

И все знали, что Петр Кирилыч обсчитывает, но никто не мог понять, как именно, а товарищи-половые радовались:

– Вот молодчина!

И учились, но не у всех выходило.

Когда в трактирах ввели расчет на «марки», Петр Кирилыч бросил работу и уехал на покой в свой богато обстроенный дом на Волге, где-то за Угличем. И сказывали земляки, что, когда он являлся за покупками в свой Углич и купцы по привычке приписывали в счетах, он сердился и говорил:

– А ты Петра Кирилыча хоть мне-то не за-

правляй! Да еще оставил после себя Петр Кирилыч на память потомству особый способ резать расстегаи.

Трактир Егорова кроме блинов славился рыбными расстегаями. Это – круглый пирог во всю тарелку, с начинкой из рыбного фарша с вязигой, а середина открыта, и в ней, на ломтике осетрины, лежит кусок налимьей печени. К расстегаю подавался соусник ухи бесплатно.

Ловкий Петр Кирилыч первый придумал «художественно» разрезать такой пирог. В одной руке вилка, в другой ножик; несколько взмахов руки, и в один миг расстегай обращался в десятки тоненьких ломтиков, разбежавшихся от центрального куска печени к толстым румяным краям пирога, сохранившего свою форму. Пошла эта мода по всей Москве, но мало кто умел так «художественно» резать расстегаи, как Петр Кирилыч, разве только у Тестова – Кузьма да Иван Семеныч. Это были художники!

Трактир Егорова – старозаветный, единственный в своем роде. Содержатель, старообрядец, запретил в нем курить табак:

– Чтобы нечистым зельем не пахло.

Нижний зал трактира «Низок» – с огромной печью. Здесь посетителям, прямо с шестка, подавались блины, которые у всех на виду беспрерывно пеклись с утра до вечера. Толстые, румяные, с разными начинками – «егоровские блины».

В этом зале гости сидели в шубах и наскоро ели блины, холодную белужину или осетрину с хреном и красным уксусом.

В зале второго этажа для «чистой» публики, с расписными стенами, с бассейном для стерлядей, обедались селянками и разными рыбными блюдами богачи – любители русского стола, – блины в счет не шли.

Против ворот Охотного ряда, от Тверской, тянется узкий Лоскутный переулок, переходящий в Обжорный, который кривулил к Манежу и к Моховой; нижние этажи облезлых домов в нем были заняты главным образом «пырками». Так назывались харчевни, где подавались: за три копейки – чашка щей из серой капусты, без мяса; за пятак – лапша зелено-серая от «подонья» из-под льняного или конопляного масла, жареная или тушеная

картошка.

Обжорный ряд с рассвета до полуночи был полон рабочего народа: кто впроголодь обедал в «пырках», а кто наскоро, прямо на улице, у торговок из глиняных корчаг – осердьем и тухлой колбасой.

В обжорке съедались все те продукты, какие нельзя было продать в лавках и даже в палатках Охотного. Товар для бедноты – слегка протухший, «крысами траченный».

Перед праздниками Охотный ряд возил московским Сквозник-Дмухановским возами съестные взятки, давали и «сухими» в конверте.

В обжорке брали «сухими» только квартальные, постовые же будочники довольствовались «натурой» – на закуску к водке.

– Ну, кума, режь-ка пополам горло! Да легкого малость зацепи...

Во время японской войны большинство трактиров стало называться ресторанами, и даже исконный тестовский трактир переименовал вывеску:

«Ресторан Тестова».

От трактира Тестова осталась только в

двух-трех залах старинная мебель, а все остальное и не узнаешь! Даже стены другие стали.

Старые москвичи-гурманы перестали ходить к Тестову. Приезжие купцы, не бывавшие несколько лет в Москве, не узнавали трактира. Первым делом – декадентская картина на зеркальном окне вестибюля... В большом зале – модернистская мебель, на которую десятипудовому купчине и сесть боязно.

Приезжие идут во второй зал, низенький, с широкими дубовыми креслами. Занимают любимый стол, к которому привыкли, располагаясь на разлатых диванах...

– Вот здесь по-тестовски, как прежде бывало!

Двое половых вырастают перед столом. Те же белые рубашки, зелененькие пояски, но за поясами не торчат обычные бумажники для денег и марок.

– А где твои присяги? Где марошник-лопатошник?

– На марки расчета не ведем, у нас теперь талоны...

– А где Кузьма? Где Иван Семеныч?.. Поло-

вой смутился: видит, гости почетные.

– На покое-с, в провинцию за старостью лет уехали... в деревню.

– А ты-то углицкий?

– Нет, мы подмосковные... Теперь ярославских мало у нас осталось...

– Что же ты как пень стоишь? Что же ты гостей не угощаешь? Вот, бывало, Кузьма Егорыч...

– Не наше дело-с, теперь у нас мирдотель на это... Подошел метрдотель, в смокинге и белом галстуке, подал карточку и наизусть забарабанил:

– Филе из куропатки... Шоффрау, соус провансаль... Беф бруи... Филе портюгез... Пудинг дипломат... – И совершенно неожиданно: – Шашлык по-кавказски из английской баранины.

И еще подал карточку с перечислением кавказских блюд, с подписью: шашлычник Георгий Сулханов, племянник князя Аргутинского-Долгорукова...

Выслушали всё и прочитали карточку гости.

– А ведь какой трактир-то был знамени-

тый, – вздохнул седой огромный старик.

– Ресторан теперь, а не трактир! – важно заявил метрдотель.

– То-то, мол, говорим, ресторан! А ехали мы сюда поесть знаменитого тестовского поросенка, похлебать щец с головизной, пощепотить икорки ачуевской да расстегайчика пожевать, а тут вот... Эф бруи... Яйца-то нам и в степи надоели!

В большом, полном народа зале загудела музыка.

– А где же ваша машина знаменитая? Где она? «Лучинушку» играла... Оперы...

– Вот там; да ее не заводим: многие гости обижаются на машину – старье, говорят! У нас теперь румынский оркестр... – И, сказав это, метрдотель повернулся, заторопился к другому столу.

Подали расстегаи.

– Разве это расстегай? Это калоша, а не расстегай! Расстегай круглый. Ну-ка, как ты его разрежешь?

– Нынче гости сами режут. Старик сказал соседу:

– Трактирщика винить нельзя: его дело

торговое, значит, сама публика стала такая, что ей ни машина, ни селянка, ни расстегай не нужны. Ей подай румын, да разные супы из черепахи, да филе бурдалезы... Товарец по покупателю... У Егорова, бывало, курить не позволялось, а теперь копти потолок сколько хошь! Потому всё, что прежде в Москве народ был, а теперь – публика.

Лубянка

В девяностых годах прошлого столетия разбогатевшие страховые общества, у которых кассы ломились от денег, нашли выгодным обратить свои огромные капиталы в недвижимые собственности и стали скупать земли в Москве и строить на них доходные дома. И вот на Лубянской площади, между Большой и Малой Лубянкой, вырос огромный дом. Это дом страхового общества «Россия», выстроенный на владении Н. С. Мосолова.

В восьмидесятых годах Н. С. Мосолов, богатый помещик, академик, известный гравёр и собиратель редких гравюр, занимал здесь отдельный корпус, в нижнем этаже которого помещалось варшавское страховое общество;

в другом крыле этого корпуса, примыкавшего к квартире Мосолова, помещалась фотография Мебиуса. Мосолов жил в своей огромной квартире один, имел прислугу из своих бывших крепостных. Полгода он обыкновенно проводил за границей, а другие полгода – в Москве, почти никого не принимая у себя. Изредка он выезжал из дому по делам в дорогой старинной карете, на паре прекрасных лошадей, со своим бывшим крепостным кучером, имени которого никто не знал, а звали его все «Лапша».

Против дома Мосолова на Лубянской площади была биржа наемных карет. Когда Мосолов продал свой дом страховому обществу «Россия», то карету и лошадей подарил своему кучеру и «Лапша» встал на бирже. Прекрасная запряжка давала ему возможность хорошо зарабатывать: ездить с «Лапшой» считалось шиком.

Мосолов умер в 1914 году. Он пожертвовал в музей драгоценную коллекцию гравюр и офортов, как своей работы, так и иностранных художников. Его тургеневскую фигуру помнят старые москвичи, но редко кто удо-

стаивался бывать у него. Целые дни он проводил в своем доме за работой, а иногда отдыхал с трубкой на длиннейшем черешневом чубуке у окна, выходявшего во двор, где помещался в восьмидесятых годах гастрономический магазин Генералова.

При магазине была колбасная; чтобы иметь товар подешевле, хозяин заблаговременно большими партиями закупал кишки, и они гнили в бочках, распространяя ужасную вонь. По двору носилась злющая собака, овчарка Енотка, которая не выносила полицейских. Чуть увидит полицейского – бросается. И всякую собаку, забежавшую на двор, рвала в клочья.

В соседнем флигеле дома Мосолова помещался трактир Гусенкова, а во втором и третьем этажах – меблированные комнаты. Во втором этаже номеров было около двадцати, а в верхнем – немного меньше. В первый раз я побывал в них в 1881 году, у актера А. Д. Казакова.

– Тут все наши, тамбовские! – сказал он.

Мосолов, сам тамбовский помещик, сдал дом под номера какому-то земляку-предпри-

нимателю, который умер в конце восьмидесятых годов, но и его преемник продолжал хранить традиции первого.

Номера все были месячные, занятые постоянными жильцами. Среди них, пока не вымерли, жили тамбовские помещики (Мосолов сам был из их числа), еще в семидесятых годах приехавшие в Москву доживать свой век на остатки выкупных, полученных за «освобожденных» крестьян.

Оригинальные меблирашки! Узенькие, вроде тоннеля, коридорчики, со специфическим «нумерным» запахом. Коридорные беспрерывно неслышными шагами бегали с плохо лужеными и нечищеными самоварами в облаках пара, с угаром, в номера и обратно... В неслышной, благодаря требованию хозяйна, мягкой обуви, в их своеобразной лакейской ловкости движений еще чувствовался пережиток типичных, растленных нравственно и физически, но по лакейской части весьма работоспособных, верных холопов прежней помещичьей дворни.

И действительно, в 1881 году еще оставались эти типы, вывезенные из тамбовских

усадеб крепостные. В те года население мебелирашек являлось не чем иным, как умирающей в городской обстановке помещичьей степной усадьбой. Через несколько лет они вымерли – сначала прислуга, бывшая крепостная, а потом и бывшие помещики. Дольше других держалась коннозаводчица тамбовская Языкова, умершая в этих номерах в глубокой старости, окруженная любимыми собачками и двумя верными барыне дворовыми «девками» – тоже старухами... Жил здесь отставной кавалерийский полковник, целые дни лежавший на диване с трубкой и рассылавший просительные письма своим старым друзьям, которые время от времени платили за его квартиру.

Некоторым жильцам, тоже старикам, тамбовским помещикам, прожившимся догола, помогал сам Мосолов.

Понемногу на место вымиравших помещиков номера заселялись новыми жильцами, и всегда на долгие годы. Здесь много лет жили писатель С. Н. Филиппов и доктор Добров, жили актеры-москвичи, словом, спокойные, небогатые люди, любившие уют и тиши-

ну.

Казаков жил у своего друга, тамбовского помещика Ознобишина, двоюродного брата Ильи Ознобишина, драматического писателя и прекрасного актера-любителя, останавливавшегося в этом номере во время своих приездов в Москву на зимний сезон.

Номер состоял из трех высоких комнат с большими окнами, выходящими на площадь. На полу лежал огромный мягкий ковер персидского рисунка, какие в те времена ткали крепостные искусницы. Вся мебель – красного дерева с бронзой, такие же трюмо в стиле рококо; стол красного дерева, с двумя башнями по сторонам, с разными ящиками и ящичками, а перед ним вольтеровское кресло. В простенке между окнами – драгоценные, инкрустированные «були» и огромные английские часы с басовым боем... На стенах – наверху портреты предков, а под ними акварели из охотничьей жизни, фотографии, и все – в рамках красного дерева... На камине дорогие бронзовые канделябры со свечами, а между ними часы – смесь фарфора и бронзы.

В спальне – огромная, тоже красного дере-

ва кровать и над ней ковер с охотничьим рогом, арапниками, кинжалами и портретами борзых собак. Напротив – турецкий диван; над ним масляный портрет какой-то очень красивой амазонки и опять фотографии и гравюры. Рядом с портретом Александра II в серой визитке, с собакой у ног – фотография Герцена и Огарева, а по другую сторону – принцесса Дагмара с собачкой на руках и Гарибальди в круглой шапочке.

Это все, что осталось от огромного барского имения и что украшало жизнь одинокого старого барина, когда-то прожигателя жизни, приехавшего в Москву доживать в этом номере свои последние годы.

Приходят в гости к Казакову актеры Кирев и Далматов и один из литераторов. Скучает в одиночестве старик. А потом вдруг:

– Знаете что? Видали ли вы когда-нибудь лакейский театр?

– Не понимаем.

– Ну, так увидите!

И позвонил. Вошел слуга, довольно обтрепанный, но чрезвычайно важный, с седыми баками и совершенно лысой головой. Высо-

кий, осанистый, вида барственного.

– Самоварчик прикажете, Александр Дмитриевич?

– Да, пожалуй. Скучно очень...

– Время такое-с, все разъехамшись... Во всем коридоре одна только Языкова барыня... Кто в парк пошел, кто на бульваре сидит... Косну придут, а теперь еще солнце не село.

Стоит старик, положив руку на спинку кресла, и, видимо, рад поговорить.

– Никанор Маркелыч! А я к вам с просьбой... Вот это мои друзья – актеры... Представьте нам старого барина. Григорий-то здесь?

– У себя в каморке, восьмому номеру папиросы набивает.

– Позовите его да представьте... мы по рублю вам соберем.

– Помилуйте, за что же-с... Я и так рад для вас.

– Со скуки умираем, развлеките нас...

– Сейчас за Гришей сбегаяю.

Он взял большое кресло, отодвинул его в противоположный угол, к окну, сказал «сейчас» и исчез. Казаков на наши вопросы отве-

чал только одно:

– Увидите. А пока давайте по рублю.

Через несколько минут легкий стук в дверь, и вошел важный барин в ермолке с кисточкой, в турецком халате с красными шнурами. Не обращая на нас никакого внимания, он прошел, будто никого и в комнате нет, сел в кресло и стал барабанить пальцами по подлокотнику, а потом закрыл глаза, будто задремал: В маленькой прихожей кто-то кашлянул. Барин открыл глаза, зевнул широко и хлопнул в ладоши.

– Ванька, трубку!

И вмиг вбежал с трубкой на длиннейшем черешневом чубуке человек с проседью, в подстриженных баках, на одной ноге опорок, на другой – туфля. Подал барину трубку, а сам встал на колени, чиркнул о штаны спичку, зажег бумагу и приложил к трубке.

Барин раскурил и затянулся.

– А мерзавец Прошка где?

– На нем черти воду возят...

– А! – барин выпустил клуб дыма и задумался.

– Ванька малый! Принеси-ка полштоф вод-

ки алой!

– А где ее взять, барин?

– Ах ты, татарин! Возьми в поставе!

– Черт там про тебя ее поставил...

– А шампанское какое у нас есть?

– А которым ворота запирают!

– Что ты сказал? Плохо слышу!

– Что сказал – кобель языком слизал!

– Ванька малый, ты малый бывалый, нет ли для меня у тебя невесты на примете?

– Есть лучше всех на свете, красавица, полпуда навоза на ней таскается. Как поклонится – фунт отломится, как павой пройдет – два нарастет... Одна нога хромая, на один глаз кося, малость конопатая, да зато бо-ога-атая!

– Ну, это не беда, давай ее сюда... А приданое какое?

– Имение большое, не виден конец, а посередке дворец – два кола вбито, бороной покрыто, добра полны амбары, заморские товары, чего-чего нет, харчей запасы невпроед: сорок кадушек соленых лягушек, сорок амбаров сухих тараканов, рогатой скотины – петух да курица, а медной посуды – крест да пуговица. А рожь какая – от колоса до колоса не слы-

хоть бабьего голоса!

– Ванька малый! А как из моей деревни пишут? Живут ли мои крепостные богато?

– Пишут, что чуть дышут, а живут страсть богато, гребут золото лопатой, а дерьмо языком, и ни рубах, ни порток ни на ком! Да вот еще вам бурмистр письмо привез...

– А где он, старый леший?

– Да уж на том свете смолу для господ кипятит! Слуга вынимает из опорка бумажку и подает барину.

– Ах ты, сукин сын! Почему подаешь барину письмо не на серебряном подносе?

– Да серебро-то у нас в забросе, подал бы на золотом блюде, да разбежались люди...

Барин вслух читает письмо:

«Батюшка барин сивый жеребец Михайло Петрович помер шкуру вашу барскую содрали продали на вырученные деньги куплен прочный хомут для вашей милости на ярмарке свиней породы вашей милости было до-вольно»,

– Ванька! Скот! Да это письмо старинное...

– Половину искурили – было длинное...

– Тогда был у меня на дворце герб, в золо-

том поле голубой щит...

– А теперь у вас, барин, в чистом поле вот что, – и, просунув большой палец между указательным и средним, слуга преподнес барину кукиш.

Обратился к нам:

– Представление окончено; кроме этого, у нас с барином ничего нет...

Гости зааплодировали, а восторженный Киреев вскочил и стал жать руки артистам.

Насилу мы уговорили их взять деньги...

Человек, игравший «Ваньку», рассказал, что это «представление» весьма старинное и еще во времена крепостного права служило развлечением крепостным, из-за него рисковавшим попасть под розги, а то и в солдаты.

То же подтвердил и старик Казаков, бывший крепостной актер, что он усиленно скрывал.

* * *

Рядом с домом Мосолова, на земле, принадлежавшей консистории, был простонародный трактир «Углич». Трактир извозничий, хотя у него не было двора, где обыкновенно кормятся лошади, пока их владельцы пьют

чай. Но в то время в Москве была «простота», которую вывел в половине девяностых годов обер-полицмейстер Власовский.

А до него Лубянская площадь заменяла собой и извозчий двор: между домом Мосолова и фонтаном – биржа извозчих карет, между фонтаном и домом Шилова – биржа ломовых, а вдоль всего тротуара от Мясницкой до Большой Лубянки – сплошная вереница легковых извозчиков, толкущихся около лошадей. В те времена не требовалось, чтобы извозчики обязательно сидели на козлах. Лошади стоят с надетыми торбами, разнузданные, и кормятся.

На мостовой вдоль линии тротуара – объедки сена и потоки нечистот.

Лошади кормятся без призора, стаи голубей и воробьев мечутся под ногами, а извозчики в трактире чай пьют. Извозчик, выйдя из трактира, черпает прямо из бассейна грязным ведром воду и поит лошадь, а вокруг бассейна – вереница водовозов с бочками.

Подъезжают по восемь бочек сразу, становятся вокруг бассейна и ведерными черпаками на длинных ручках черпают из бассейна

воду и наливают бочки, и вся площадь гудит ругательствами с раннего утра до поздней ночи...

Рядом с «Угличем», на углу Мясницкой – «Мясницкие» меблированные комнаты, занимаемые проезжими купцами и комиссионерами с образцами товаров. Дом, где они помещаются, выстроен Малюшиным «а земле, арендуемой у консистории.

Консистория! Слово, теперь непонятное для большинства читателей.

Попал черт в невод и в испуге вскрикивал:
– Не в консистории ли я?!

Была такая поговорка, характеризовавшая это учреждение.

А представляло оно собой местное церковное управление из крупных духовных чинов – совет, и мелких чиновников, которыми верховодил секретарь – главная сила, которая влияла и на совет. Секретарь – это все. Чиновники получали грошовое жалованье и существовали исключительно взятками. Это делалось совершенно открыто. Сельские священники возили на квартиры чиновников взятки возами, в виде муки и живности, а москов-

ские платили наличными. Взятки давали дьяконы, дьячки, пономари и окончившие академию или семинарию студенты, которым давали места священников. Консistorия владела большим куском земли по Мясницкой – от Фуркасовского переулкa до Лубянской площади. Она помещалась в двухэтажном здании казарменного типа, и при ней был большой сад. Потом дом этот был сломан, выстроен новый, ныне существующий, № 5, но и в новом доме взятки брали по-старому. Сюда являлось на поклон духовенство, здесь судили провинившихся, здесь заканчивались бракоразводные дела, требовавшие огромных взяток и подкупных свидетелей, которые для уличения в неверности того или другого супруга, что было необходимо по старому закону при разводе, рассказывали суду, состоявшему из седых архиереев, все мельчайшие подробности физической измены, чему свидетелями будто бы они были. Суду было мало того доказательства, что изменившего супружеской верности застали в кровати; требовались еще такие подробности, которые никогда ни одно третье лицо не может видеть, но свидетели

«видели» и с пафосом рассказывали, а судьи смаковали и «судили».

Выше консистории был Святейший синод. Он находился в Петербурге в здании под арками, равно как и Правительствующий сенат, тоже в здании под арками.

Отсюда ходила шутка:

– Слепейший синод и грабительствующий сенат живут подарками.

Между зданием консистории и «Мясницкими» номерами был стариннейший трехэтажный дом, где были квартиры чиновников. Это некогда был дом ужасов.

У меня сохранилась запись очевидца о посещении этой трущобы: «Мне пришлось, – пишет автор записи, – быть у одного из чиновников, жившего в этом доме. Квартира была в нижнем этаже старинного трехэтажного дома, в низеньких сводчатых комнатах. Впечатление жуткое, несмотря на вполне приличную семейную обстановку средней руки; даже пара канареек перекликалась в глубокой нише маленького окна. Своды и стены были толщины невероятной. Из потолка и стен в столовой торчали какие-то толстые железные

ржавые крючья и огромные железные кольца. Сидя за чаем, я с удивлением оглядывался и на своды и на крючья, и на кольца.

– Что это за странное здание? – спросил я у чиновника.

– Довольно любопытное. Вот, например, мы сидим в той самой комнате, где сто лет назад сидел Степан Иванович Шешковский, начальник тайной экспедиции, и производил здесь пытки арестованных. Вот эти крючья над нами – дыбы, куда подвешивали пытаемых. А вот этот шкафчик, – мой собеседник указал на глубокую нишу, на деревянных новых полочках которой стояли бутылки с наливками и разная посуда, – этот шкафчик не больше не меньше, как каменный мешок. Железная дверь с него снята и заменена деревянной уже нами, и теперь, как видите, в нем мирно стоит домашняя наливка, которую мы сейчас и попробуем. А во времена Шешковского сюда помещали стоймя преступников; видите, только аршин в глубину, полтора в ширину и два с небольшим аршина в вышину. А под нами, да и под архивом, рядом с нами – подвалы с тюрьмами, страшный засте-

нок, где пытали, где и сейчас еще кольца целы, к которым приковывали приведенных преступников. Там пострашнее. Уцелел и еще один каменный мешок с дверью, обитой железом. А подвал теперь завален разным хламом.

В дальнейшей беседе чиновник рассказал следующее:

– Я уже сорок лет живу здесь и застал еще людей, помнивших и Шешковского, и его помощников – Чередина, Агапыча и других, знавших даже самого Ваньку Каина. Помнил лучше других и рассказывал мне ужасы живший здесь в те времена еще подростком сын старшего сторожа того времени, потом наш чиновник. При нем уж пытки были реже. А как только воцарился Павел I, он приказал освободить из этих тюрем тайной экспедиции всех, кто был заключен Екатериной II и ее предшественниками. Когда их выводили на двор, они и на людей не были похожи: кто кричит, кто неистовствует, кто падает замертво...

На дворе с них снимали цепи и развозили кого куда, больше в сумасшедший дом... По-

том, уже при Александре I, сломали дыбу, станки пыточные, чистили тюрьмы. Чередин еще распорядился всем. Он тут и жил, при мне еще. Он рассказывал, как Пугачева при нем пытали, – это еще мой отец помнил... И Салтычиху он видел здесь, в этой самой комнате, где мы теперь сидим... Потом ее отсюда перевезли в Ивановский монастырь, в склеп, где она тридцать лет до самой смерти сидела. Вот я ее самолично видел в Ивановском монастыре... Она содержалась тогда в подземной тюрьме, выглядывала сквозь решетку, в окошечко, визжала, ругалась и плевалась на нас. Ее никогда не отпирали, и еду подавали в это самое единственное окошечко. Мне было тогда лет восемь, я ходил в монастырь с матерью и хорошо все помню...»

Прошло со времени этой записи больше двадцати лет. Уже в начале этого столетия возвращаюсь я по Мясницкой с Курского вокзала домой из продолжительной поездки – и вдруг вижу: дома нет, лишь груда камня и мусора. Работают каменщики, разрушают фундамент. Я соскочил с извозчика и прямо к ним. Оказывается, новый дом строить хотят.

– Теперь подземную тюрьму начали ломать, – пояснил мне десятник.

– А я ее видел, – говорю.

– Нет, вы видели подвальную, ее мы уже сломали, а под ней еще была, самая страшная: в одном ее отделении картошка и дрова лежали, а другая половина была наглухо замурована... Мы и сами не знали, что там помещение есть. Пролом сделали, и наткнулись мы на дубовую, железом кованную дверь. Насилу сломали, а за дверью – скелет человеческий... Как сорвали дверь – как загремит, как цепи звякнули... Кости похоронили. Полиция приходила, а пристав и цепи унес куда-то.

Мы пролезли в пролом, спустились на четыре ступеньки вниз, на каменный пол; здесь подземный мрак еще боролся со светом из проломанного потолка в другом конце подземелья. Дышалось тяжело... Проводник мой вынул из кармана огарок свечи и зажег... Своды... кольца... крючья...

Дальше было светлее, свечку погасили.

– А вот здесь скелет на цепях был.

Обитая ржавым железом, почерневшая дубовая дверь, вся в плесени, с окошечком, а за

ней низенький каменный мешок, такой же, в каком стояла наливка у старика, только с каким-то углублением, вроде узкой ниши.

При дальнейшем осмотре в стенах оказались еще какие-то ниши, тоже, должно быть, каменные мешки.

– Я приду завтра с фотографом, надо снять это и напечатать в журнале.

– Пожалуйста, приходите. Пусть знают, как людей мучили. Приходите.

Я вышел на улицу и только хотел сесть на извозчика, как увидел моего товарища по журнальной работе – иллюстратора Н. А. Богатова.

– Николай Алексеевич, есть у тебя карандаш? – останавливаю его.

– Конечно, я без карандаша и альбома – ни шагу. Я в кратких словах рассказал о том, что видел, и через несколько минут мы были в подземелье.

Часа три мы пробыли здесь с Богатовым, пока он сделал прекрасную зарисовку, причем десятник дал нам точные промеры подземелья. Ужасный каменный мешок, где был найден скелет, имел два аршина два вершка

вышины, ширины – тоже два аршина два вершка, а глубины в одном месте, где ниша, – двадцать вершков, а в другом – тринадцать. Для чего была сделана эта ниша, так мы и не догадались.

Дом сломали, и на его месте вырос новый.

В 1923–1924 годах, на месте, где были «Мясницкие» меблированные комнаты, выстроены торговые помещения. Под ними оказались глубоченные подвалы со сводами и какими-то столбами, напоминавшие соседние тюрьмы «Тайного приказа», к которому, вероятно, принадлежали они. Теперь их засыпали, но до революции они были утилизированы торговцем Чичкиным для склада молочных продуктов.

* * *

По другую сторону Мясницкой, в Лубянской проезде, было владение Ромейко. В выходящем на проезд доме помещался трактир Арсентьича, задний фасад которого выходил на огромный двор, тянувшийся почти до Златоустовского переулка. Двор был застроен оптовыми лавками, где торговали сезонным товаром: весной – огурцами и зеленью, ле-

том – ягодами, осенью – плодами, главным образом яблоками, а зимой – мороженой рыбой и круглый год – живыми раками, которых привозили с Оки и Волги, а главным образом с Дона, в огромных плетеных корзинах. Эта оптовая торговля была, собственно, для одних покупателей – лотошников и разносчиков. В начале девяностых годов это огромное дело прекратилось, владения Ромейко купил сибирский богатей Н. Д. Стахеев и выстроил на месте сломанного трактира большой дом, который потом проиграл в карты.

Позади «Шиповской крепости» был огромный пустырь, где по зимам торговали с возов мороженым мясом, рыбой и птицей, а в другое время – овощами, живностью и фруктами. Разносчики, главным образом тверские, покупали здесь товар и ходили по всей Москве, вплоть до самых окраин, нося на голове пудовые лотки и поставляя продукты своим постоянным покупателям. У них можно было купить и крупного осетра, и на пятак печенки для кошки. Разносчики особенно ценились хозяйками весной и осенью, когда улицы были непроходимы от грязи, или в большие хо-

лода зимой. Хороших лавок в Москве было мало, а рынки – далеко.

Как-то, еще в крепостные времена, на Лубянской площади появился деревянный балаган с немудрящим зверинцем и огромным слоном, который и привлекал главным образом публику. Вдруг по весне слон взбесился, вырвал из стены бревна, к которым был прикован цепями, и начал разметывать балаган, победоносно трубя и нагоняя страх на окружающие площадь толпы народа. Слон, раздраженный криками толпы, старался вырваться, но его удерживали бревна, к которым он был прикован и которые застревали в обломках балагана. Слон уже успел сбить одно бревно и ринулся на толпу, но к этому времени полиция привела роту солдат, которая несколькими залпами убила великана.

Теперь на этом месте стоит Политехнический музей.

Под каланчой

Полтора ста лет стоит на Тверской дом, в котором помещается теперь Моссовет. Выстроил его в 1782 году, по проекту знаменитого архитектора Казакова, граф Чернышев, московский генерал-губернатор, и с той поры дом этот; вплоть до революции был бесменно генерал-губернаторским домом. Фасадом он выходит на Советскую площадь, которая называлась Скобелевской, а ранее того – Тверской площадью. В этом доме происходили торжественные приемы и блестящие балы, устраивать которые особенно любил в восьмидесятых годах князь В. А. Долгоруков, правивший столицей в патриархальном порядке. На его балах бывала вся Москва, и в роскошных залах, среди усыпанных бриллиантами великосветских дам и блестящих мундиров, можно было увидеть сапоги замоскворецких миллионеров, поддевку гласного Давыда Жадаева и долгополый сюртук ростовщика Кашина... Ростовщики и даже скупщики краденного и содержатели разбойничьих притонов бывали на этих балах, прикрытые мундира-

ми благотворительных обществ, в которые доступ был открыт всем, кто жертвует деньгами. Многие из них даже получали чины и ордена, ими прикрывали свои преступные дела, являясь недоступными для полиции.

Подъезжает в день бала к подъезду генерал-губернаторского дворца какой-нибудь Ванька Кулаков в белых штанах и расшитом «благотворительном» мундире «штатского генерала», входит в вестибюль, сбрасывает на руки швейцару соболью шубу и, отсалютовав с вельможной важностью треуголкой дежурящему в вестибюле участковому приставу, поднимается по лестнице в толпе дам и почетных гостей. А пристав, бывший гвардейский офицер, принужден ему ответить, взяв под козырек, как гостю генерал-губернатора и казначею благотворительного общества, состоящего под высочайшим покровительством... Ну как же после этого пристав может составить протокол на содержателя разбойничьего притона «Каторга», трактира на Хитровом рынке?!

Вот тут-то, на этих балах, и завязывались нужные знакомства и обдeldывались разные

делишки, а благодушный «хозяин столицы», как тогда звали Долгорукова, окруженный стеной чиновников, скрывавших от него то, что ему не нужно было видеть, рассыпался в любезностях красивым дамам.

Сам князь, старый холостяк, жил царьком, любил всякие торжества, на которых представлялся. В известные дни принимал у себя просителей и жалобщиков, которые, конечно, профильтровывались чиновниками, заблаговременно докладывавшими князю, кто и зачем пришел, и характеризовавшими по-своему личность просителя. Впрочем, люди, знакомые князю, имели доступ к нему в кабинет, где он и выслушивал их один и отдавал приказания чиновникам, как поступить, но скоро все забывал, и не всегда его приказания исполнялись. Много анекдотов можно было бы припомнить про княжение Долгорукова на Москве, но я ограничусь только одним, относящимся, собственно, к генерал-губернаторскому дому, так как цель моих записок – припомнить старину главным образом о домах и местностях Москвы.

В конце семидесятых годов в Москве рабо-

тала шайка «червонных валетов», блестящих мошенников, которые потом судились окружным судом и были осуждены и сосланы все, кроме главы, атамана Шпейера, который так и исчез навеки неведомо куда. Самым интересным был финал суда: когда приговор был прочитан, из залы заседания вышел почтенный, профессорского вида, старик, сел на лихача, подозвал городского, передал ему конверт, адресованный на имя председателя суда, и уехал. В конверте оказалась визитная карточка Шпейера, и на ней написано карандашом: «Благодарю за сегодняшний спектакль. Я очень доволен. Шпейер».

Вот этот самый Шпейер, под видом богатого помещика, был вхож на балы к В. А. Долгорукову, при первом же знакомстве очаровал старика своей любезностью, а потом бывал у него на приеме, в кабинете, и однажды попросил разрешения показать генерал-губернаторский дом своему знакомому, приехавшему в Москву английскому лорду. Князь разрешил, и на другой день Шпейер привез лорда, показал, в сопровождении дежурного чиновника, весь дом, двор и даже конюшни и

лошадей. Чиновник молчаливо присутствовал, так как ничего не понимал по-английски. Дня через два, когда Долгоруков отсутствовал, у подъезда дома остановилась подвода с сундуками и чемоданами, следом за ней в карете приехал лорд со своим секретарем-англичанином и приказал вносить вещи прямо в кабинет князя... Подробности этого скандала я не знаю, говорили разно. Известно только, что дело кончилось в секретном отделении генерал-губернаторской канцелярии.

Англичанин скандалил и доказывал, что это его собственный дом, что он купил его у владельца, дворянина Шпейера, за 100 тысяч рублей со всем инвентарем и приехал в нем жить. В доказательство представил купчую крепость, заверенную у нотариуса, по которой и деньги уплатил сполна. Это мошенничество Шпейера не разбиралось в суде, о нем умолчали, и как разделались с англичанином – осталось неизвестным. Выяснилось, что на 2-й Ямской улице была устроена на один день фальшивая контора нотариуса, где и произошла продажа дома. После этого только началась ловля «червонных валетов», но

Шпейера так и не нашли. Вся Москва об этом молчала, знал только один фельетонист «Современных известий», Пастухов, но с него Долгоруков взял клятву, что он никогда не заикнется об этом деле. Много лет спустя Пастухов, по секрету, на рыбной ловле, рассказал мне об этом факте, а потом подтвердил его мне известный в свое время картежник Н. В. Попов, близко знавший почти всех членов шайки «червонных валетов», с которыми яхшался, и добавил ряд подробностей, неизвестных даже Пастухову. От него я узнал, что Шпейер был в этой афере вторым лицом, а главным был некий прогорелый граф, который не за это дело, а за ряд других мошенничеств был сослан в Сибирь.

Долгоруков не брал взяток. Не нужны они ему были.

Старый холостяк, проживший огромное состояние и несколько наследств, он не был кутилой, никогда не играл в карты, но любил задавать балы и не знал счета деньгам, даже никогда не брал их в руки.

Правой рукой его в служебных делах был начальник секретного отделения канцелярии

генерал-губернатора П. М. Хотинский – вечная московская «притча во языцах». Через него можно было умелому и денежному человеку сделать все.

Другой рукой князя был еще более приближенный человек – его бессменный камердинер Григорий Иванович Вельтищев, маленький, с большими усами.

Всеми расходами князя и всеми денежными суммами ведал он.

– Григорий, у нас для новогоднего бала все готово?

– Нет еще, ваше сиятельство. Денег еще не прислали. Придется пока перехватить тысячнок двадцать. Я думаю насчет гравера, вот напротив живет, к нему родственники приехали, а их гонят.

– Ничего не понимаю! Живых цветов побольше!

– Вот еще Лазарь Соломонович Поляков тоже просит...

– Ну да, он прекрасный человек. Скажи Павлу Михайловичу, что я приказал.

На новогоднем балу важно выступает под руку с супругой банкир Поляков в белых шта-

нах и мундире штатского генерала благотворительного общества. Про него ходил такой анекдот:

– Ну и хочется вам затруднять свой язык? Лазарь Соломонович, Лазарь Соломонович! Зовите просто – ваше превосходительство!

Перед окнами дома Моссовета раскинута Советская площадь. На фоне сквера, целый день оживленного группами гуляющих детей, – здание Института Маркса – Энгельса – Ленина.

Против окон парадных покоев, на другом конце площади, где теперь, сквер, высилась в те времена каланча Тверской части. Беспокойное было это место.

Целый день, с раннего утра – грохот по бульжнику. Пронзительно дребезжат извозчицьи пролетки, громяхают ломовые полки, скрипят мужицкие телеги, так как эта площадь – самое бойкое место, соединяющее через Столешников переулок два района города.

В конце прошлого века о правилах уличного движения в столице и понятия не имели: ни правой, ни левой стороны не признавали, ехали – кто как хотел, сцеплялись, кувырка-

лись... Круглые сутки стоял несмолкаемый шум.

Это для слуха. Зрение тоже не радовали картины из парадных окон генерал-губернаторского дворца: то пьяных и буянов вели «под шары», то тащили в приемный покой при части поднятых на улицах...

И для обоняния не всегда благополучно.

По случаю лунной ночи, по правилам думского календаря, хотя луны и не видно на самом деле, уличные фонари всей Москвы погашены.

В темноте тащится ночной благоуханный обоз – десятка полтора бочек, запряженных каждая парой ободранных, облезлых кляч. Между бочкой и лошадьёю на телеге устроено веревочное сиденье, на котором дремлет «золотарь» – так звали в Москве ассенизаторов.

Обоз подпрыгивает по мостовой, расплескивая содержимое на камни, гремя на весь квартал. И тянется, едва двигаясь, после полуночи такой обоз по Тверской, мимо дворца...

Обоз растянулся... Последние бочки на окончательно хромых лошадях поотстали... Один «золотарь» спит. Другой ест большой

калач, который держит за дужку.

– Динь... Динь... – раздаётся с каланчи звонок, и часовой поднимает два фонаря по блоку на высоком коромысле.

– Какой номер? – орет снизу брандмейстер.

– Третий, коло ниверситета, – отвечает сверху пожарный, указывая, где именно и какой пожар.

«Третий» – значит огонь выбился наружу.

Как бешеный вырвался вслед за вестовым с факелом, сеющим искры, пожарный обоз. Лошади – звери, воронежские битюги, белые с рыжим.

Дрожат камни мостовой, звенят стекла, и содрогаются стены зданий.

Бешеная четверка с баграми мчится через площадь по Тверской и Охотному ряду, опрокидывая бочку, и летит дальше... Бочка вверх колесами. В луже разлившейся жижи барахтается «золотарь»... Он высоко поднял руку и заботится больше всего о калаче... Калач – это их специальное лакомство: он удобен, его можно ухватить за ручку, а булку грязными руками брать не совсем удобно. Пожарные несутся вниз по Тверской, а бочки тянутся

дальше вверх, к заставе. Навстречу летят ночные гуляки от «Яра» – ресторана в Петровском парке – на тройках, «голубчиках» и лихаках, обнявшись с надушенными дамами, с гиком режут площадь, мчась по Тверской или вниз по Столешникову на Петровку.

На беспокойном месте жили генерал-губернаторы!

Иногда по Тверской в жаркий летний день тащится извозчичья пролетка с поднятым верхом, несмотря на хорошую погоду; из пролетки торчат шесть ног: четыре – в сапожниках со шпорами, а две – в ботинках, с брюками навывпуск.

Это привлекает внимание прохожих.

– Политика везут «под шары» в Тверскую!..

И действительно, пролетка сворачивает на площадь, во двор Тверской части, останавливается у грязного двухэтажного здания, внизу которого находится пожарный сарай, а верхний этаж занят секретной тюрьмой с камерами для политических и особо важных преступников.

Пролетка остановилась. Из нее, согнувшись в три погибели, выползают два жандар-

ма, а с ними и «политик».

Его отводят в одну из камер, маленькие окна которой прямо глядят на генерал-губернаторский дом, но снаружи сквозь них ничего не видно: сверх железной решетки окна затянуты частой проволочной сеткой, заросшей пылью.

Звали эту тюрьму «клоповник».

В главном здании, с колоннадой и красивым фронтоном, помещалась в центре нижнего этажа гауптвахта, дверь в которую была среди колонн, а перед ней – плацдарм с загородкой казенной окраски, черными и белыми угольниками. Около полосатой, такой же окраски будки с подвешенным колоколом стоял часовой и нервно озирался во все стороны, как бы не пропустить идущего или едущего генерала, которому полагалось «вызывать караул».

Чуть показывался с Тверской, или из Столешникова переулка, или от гостиницы «Дрезден», или из подъезда генерал-губернаторского дома генерал, часовой два раза ударял в колокол, и весь караул – двадцать человек с офицером и барабанщиком во главе –

стремглав, прыгая со ступенек, выстраивался фронтом рядом с будкой и делал ружьями «на караул» под барабанный бой...

И сколько десятков раз приходилось выскакивать им на чествование генералов! Мало ли их «проследует» за день на Тверскую через площадь! Многие генералы издали махали рукой часовому, что, мол, не надо вызывать, но были и любители, особенно офицеры, только что произведенные в генералы, которые тешили свое сердце и нарочно лишний раз проходили мимо гауптвахты, чтобы важно откозырять выстроившемуся караулу.

И так каждый день от «зари» до «зари».

А «заря» – это особый военный артикул, исполнявшийся караулом на гауптвахте утром и вечером.

За четверть часа до назначенного времени выходит горнист и играет на трубе «повестку к заре». Через четверть часа выстраивается весь караул у будки и под барабанный бой правит церемониал «зари».

После вечерней «зари» и до утренней генералов лишают церемониала отдания чести. Солдаты дремлют в караульном доме, только

сменяясь по часам, чтобы стеречь арестантов на двух постах: один под окнами «клоповника», а другой под окнами гауптвахты, выходящими тоже во двор, где содержались в отдельных камерах арестованные офицеры.

Кроме «клоповника» во дворе рядом с приемным покоем, помещалась «пьяная» камера, куда привозили пьяных и буянов.

Огромный пожарный двор был завален кучами навоза, выбрасываемого ежедневно из конюшен. Из-под навоза, особенно после дождей, текла ручьями бурая, зловонная жидкость прямо через весь двор под запертые ворота, выходящие в переулок, и сбегала по мостовой к Петровке. Рядом с воротами стояло низенькое каменное здание без окон, с одной дверью на двор. Это – морг. Его звали «часовня». Он редко пустовал. То и дело сюда привозили трупы, поднятые на улице, или жертвы преступлений. Их отправляли для судебно-медицинского вскрытия в анатомический театр или, по заключению судебных властей, отдавали родственникам для похорон. Бесприютных и беспаспортных отпевали тут же и везли на дрогах, в дощатых гробах на клад-

бище.

Дежурная комната находилась в правой стороне нижнего этажа, стена в стену с гауптвахтой, а с другой ее стороны была квартира полицейского врача. Над участком – квартира пристава, а над караульным домом, гауптвахтой и квартирой врача – казарма пожарной команды, грязная и промозглая.

Пожарные в двух этажах, низеньких и душных, были набиты, как сельди в бочке, и спали вповалку на нарах, а кругом на веревках сушилось промокшее на пожарах платье и белье. Половина команды – дежурная – никогда не раздевалась и спала тут же в одежде и сапогах.

И когда с каланчи, чуть заметя пожар, дежурный звонил за веревку в сигнальный колокол, пожарные выбегали иногда еще в непросохшем платье.

Мимо генерал-губернаторского дома громыкает пожарный обоз: на четверках – багры, на тройке – пожарная машина, а на парах – вереница бочек с водой.

А впереди, зверски дудя в медную трубу, мчится верховой с горящим факелом.

День и ночь шумела и гудела площадь.
Безмолвствовала только одна тюрьма.

В ее секретных камерах содержались в разное время интересные люди.

В 1877 году здесь сидел «шлиссельбуржец» Николай Александрович Морозов. Спичкой на закоптелой стене камеры им было написано здесь первое стихотворение, положившее начало его литературному творчеству:

*Кругом непроглядною серою
мглой
Степная равнина одета,
И мрачно и душно в пустыне глухой,
И нет в ней ни жизни, ни света.*

Потом к этому куплету стали присоединяться и другие. В первоначальном виде эта поэма была напечатана в 1878 году в журнале «Вперед» и вошла в первое издание его книги «Звездные песни», за которую в 1912 году Н. А. Морозова посадили в Двинскую крепость. В переделанном виде эта поэма была потом напечатана под названием «Шлиссельбургский узник».

В 1862 году в этой же самой угловой каме-

ре содержался Петр Григорьевич Зайчневский, известный по делу «Молодой России», прокламация которой привела в ужас тогдашнее правительство.

А еще раньше, в 1854 году, но уже не в «клоповнике», а в офицерских камерах гауптвахты содержался по обвинению в убийстве француженки Деманш А. В. Сухово-Кобылин, который здесь написал свою пьесу «Свадьба Кречинского», до сих пор не сходящую со сцены.

* * *

Революция смела тюрьму, гауптвахту, морг, участок и перевела в другое место Тверскую пожарную команду, успевшую отпраздновать в 1923 году столетие своего существования под этой каланчой.

Сто лет самоотверженной, полной риска работы нескольких поколений на виду у всей Москвы. Еще и сейчас немало москвичей помнят подвиги этих удальцов на пожарах, на ходынской катастрофе во время царского коронования в 1896 году, во время наводнений и, наконец, при пожаре артиллерийских складов на Ходынке в 1920 году.

Московскую пожарную команду создал еще граф Ф. В. Ростопчин. Прежде это было случайное собрание пожарных инструментов, разбросанных по городу, и отдельных дежурных обывателей, которые должны были по церковному набату сбегаться на пожар, кто с багром, кто с ведром, куда являлся и брандмайор.

С 1823 года пожарная команда стала городским учреждением. Создавались пожарные части по числу частей города, постепенно появились инструменты, обоз, лошади.

И только в 1908 году появился в пожарном депо на Пречистенке первый пожарный автомобиль. Это была небольшая машина с прикрепленной наверху раздвижной лестницей для спасения погибавших из верхних этажей, впрочем не выше третьего. На этом автомобиле первым мчался на пожар брандмайор с брандмейстером, фельдшером и несколькими смельчаками – пожарными-топорниками.

Автомобиль бешено удирал от пожарного обоза, запряженного отличными лошадьми. Пока не было телефонов, пожары усматривали с каланчи пожарные. Тогда не

было еще небоскребов, и вся Москва была видна с каланчи как на ладони. На каланче, под шарами, ходил день и ночь часовой. Трудно приходилось этому «высокопоставленному» лицу в бурю-непогоду, особенно в мороз зимой, а летом еще труднее: солнце печет, да и пожары летом чаще, чем зимой, — только гляди, не зевай! И ходит он кругом и «озирает окрестности».

*Отважен, силен, сердцем прост,
Его не тронула борьбы житей-
ской буря,
И занял он за это самый высший
пост,
На каланче дежуря.*

Вдруг облачко дыма... сверкнул огонек... И зверски рвет часовой пожарную веревку, и звонит сигнальный колокол на столбе посреди двора... Тогда еще электрических звонков не было.

Выбегают пожарные, на ходу одеваясь в не успевшее просохнуть платье, выезжает на великолепном коне вестовой в медной каске и с медной трубой. Выскакивает брандмейстер и, задрав голову, орет:

– Где? Какой?

– В Охотном! Третий! – отвечает часовой сверху.

А сам уже поднимает два шара на коромысле каланчи, знак Тверской части. Городская – один шар, Пятницкая – четыре, Мясницкая – три шара, а остальные – где шар и крест, где два шара и крест – знаки, по которым обыватель узнавал, в какой части города пожар.

А то вдруг истошным голосом орет часовой сверху:

– Пятый, на Ильинке! Пятый!

И к одинокому шару, означающему Городскую часть, привешивают с другой стороны коромысла красный флаг: сбор всех частей, пожар угрожающий.

И громыхают по булыжным мостовым на железных шинах пожарные обозы так, что стекла дрожат, шкафы с посудой ходуном ходят, и обыватели бросаются к окнам или на улицу поглядеть на каланчу.

Ночью вывешивались вместо шаров фонари: шар – белый фонарь, крест – красный. А если красный фонарь сбоку, на том месте, где

днем – красный флаг, – это сбор всех частей. По третьему номеру выезжали пожарные команды трех частей, по пятому – всех частей.

А если сверху крикнут: «Первый!» – это значит закрытый пожар: дым виден, а огня нет. Тогда конный на своем коне-звере мчится в указанное часовым место для проверки, где именно пожар, – летит и трубит. Народ шарахается во все стороны, а тот, прельщая сердца обывательниц, летит и трубит!

И горничная с завистью говорит кухарке, указывая в окно:

– Гляди, твой-то...

В те давние времена пожарные, николаевские солдаты, еще служили по двадцать пять лет обязательной службы и были почти все холостые, имели «твердых» возлюбленных – кухарок.

В свободное от пожаров время они ходили к ним в гости, угощались на кухне, и хозяйки на них смотрели как на своих людей, зная, что не прощельга какой-нибудь, а казенный человек, на которого положиться можно.

Так кухарки при найме и в условие хозяйкам ставили, что в гости «кум» ходить будет,

и хозяйки соглашались, а в купеческих домах даже поощряли.

Да и как не поощрять, когда пословица в те давние времена ходила: «Каждая купчиха имеет мужа – по закону, офицера – для чувств, а кучера – для удовольствия». Как же кухарке было не иметь кума-пожарного!

Каждый пожарный – герой, всю жизнь на войне, каждую минуту рискует головой. А тогда в особенности: полазь-ка по крышам зимой, в гололедицу, когда из разорванных рукавов струями бьет вода, когда толстое сукно куртки и штанов (и сухое-то не согнешь) делается как лубок, а неуклюжие огромные сапожищи, на железных гвоздях для прочности, сделаются как чугуны. И карабкается такой замороженный дядя в обледенелых сапогах по обледенелым ступеням лестницы на пылящую крышу и проделывает там самые головоломные акробатические упражнения; иногда ежась на стремнине карниза от наступающего огня и в ожидании спасительной лестницы, половиной тела жметя к стене, а другая висит над бездной... Топорники, каски которых сверкают сквозь клубы черного дыма,

раскрывая железо крыши, постоянно рискуют провалиться в огненные тартарары.

А ствольщик вслед за брандмейстером лезет в неизвестное помещение, полное дыма, и, рискуя задохнуться или быть взорванным каким-нибудь запасом керосина, ищет, где огонь, и заливает его... Трудно зимой, но невыносимо летом, когда пожары часты.

Я помню одно необычайно сухое лето в половине восьмидесятых годов, когда в один день было четырнадцать пожаров, из которых два – сбор всех частей. Горели Зарядье и Рогожская почти в одно и то же время... А кругом мелкие пожары...

В прошлом столетии в одной из московских газет напечатано было стихотворение под названием «Пожарный». Оно пользовалось тогда популярностью, и каждый пожарный чувствовал, что написано оно про него, именно про него, и гордился этим: сила и отвага!

ПОЖАРНЫЙ

*Мчатся искры, вьется пламя,
Грозен огненный язык.
Высоко держу я знамя,*

*Я к опасности привык!
Нет неделями покоя, —
Стой на страже ночь и день.
С треском гнется подо мною
Зыбкой лестницы ступень.
В вихре искр, в порыве дыма,
Под карнизом, на весу,
День и ночь неугомымо
Службу трудную несу.
Ловкость, удаль и отвага
Нам заветом быть должны.
Мерзнет мокрая сермяга,
Волоса опалены...
Правь струю рукой умелой,
Ломом крышу раскрывай
И рукав обледенелый
Через пламя подавай.
На высоких крышах башен
Я, как дома, весь в огне.
Пыл пожара мне не страшен,
Целый век я на войне!*

В наши дни пожарных лошадей уже нет, их заменили автомобили. А в старое время ими гордились пожарные. В шестидесятых годах полицмейстер, старый кавалерист Огарев, балетоман, страстный любитель пожарного дела и лошажник, организовал специаль-

ное снабжение лошадьми пожарных команд, и пожарные лошади били лучшими в Москве. Ими нельзя было не любоваться. Огарев сам ездил два раза в год по воронежским и тамбовским конным заводам, выбирал лошадей, приводил их в Москву и распределял по семнадцати пожарным частям, самолично следя за уходом. Огарев приезжал внезапно в часть, проходил в конюшню, вынимал из кармана платок – и давай пробовать, как вычищены лошади. Ему Москва была обязана подбором лошадей по мастям: каждая часть имела свою «рубашку», и москвичи издали узнавали, какая команда мчится на пожар. Тверская – все желто-пегие битюги. Рогожская – вороно-пегие, Хамовническая – соловые с черными хвостами и огромными косматыми черными гривами, Сретенская – соловые с белыми хвостами и гривами! Пятницкая – вороны в белых чулках и с лысиной во весь лоб, Городская – белые без отметин, Якиманская – серые в яблоках, Таганская – чалые, Арбатская – гнедые, Сущевская – лимонно-золотистые, Мясницкая – рыжие и Лефортовская – караковые. Битюги – красота, силища!

А как любили пожарные своих лошадей! Как гордились ими! Брандмейстер Беспалов, бывший вахмистр 1-го Донского полка, всю жизнь проводил в конюшне, дневал и ночевал в ней.

После его смерти должность тверского брандмейстера унаследовал его сын, еще юноша, такой же удалец, родившийся и выросший в конюшне. Он погиб на своем посту: провалившись во время пожара сквозь три этажа, сошел с ума и умер.

А Королев, Юшин, Симонов, Алексеев, Корыто, Вишневский десятки лет служили брандмейстерами, всегда в огне, всегда, как и все пожарные, на волосок от смерти!

В старину пожарных, кроме борьбы с огнем, совали всюду, начиная от вытаскивания задохшихся рабочих из глубоких колодцев или отравленных газом подвалов до исправления обязанностей санитаров. И все это без всяких предохранительных средств!

Когда случилась злополучная ходынская катастрофа, на рассвете, пока еще раздавались крики раздавленных, пожарные всех частей примчались на фурах и, спасая уцелев-

ших, развозили их по больницам. Затем убирали изуродованные трупы, и бешено мчались фуры с покойниками на кладбище, чтобы скорее вернуться и вновь везти еще и еще...

Было и еще одно занятие у пожарных. Впрочем, не у всех, а только у Суцевской части: они жгли запрещенные цензурой книги.

– Что это дым над Суцевской частью? Уж не пожар ли?

– Не беспокойтесь, ничего, это «Русскую мысль» жгут.

Там, в заднем сарае, стояла огромная железная решетчатая печь, похожая на клетку, в которой Пугачева на казнь везли (теперь находится в Музее Революции).

Когда было нужно, ее вытаскивали из сарая во двор, обливали книги и бумаги керосином и жгли в присутствии начальства.

Чего-чего не заставляло делать пожарных тогдашнее начальство, распорядившееся пожарными, как крепостными! Употребляли их при своих квартирах для работ и даже внаем сдавали. Так, в семидесятых годах обер-полицеймейстер Арапов разрешил своим дру-

зьям – антрепренерам клубных театров брать пожарных на роли статистов...

В Петровском парке в это время было два театра: огромный деревянный Петровский, бывший казенный, где по временам, с разрешения Арапова, по праздникам играла труппа А. А. Рассказова, и летний театр Немецкого клуба на другом конце парка, на дачах Киргофа.

В одно из воскресений у Рассказова идет «Хижина дяди Тома», а в саду Немецкого клуба – какая-то мелодрама с чертями.

У Петровского театра стояли пожарные дроги с баграми, запряженные светло-золотистыми конями Суцевской части. А у Немецкого клуба – четверки пегих битюгов Тверской части.

Восемь часов. Собирается публика. Артисты одеты. Пожарные в Петровском театре сидят на заднем дворе в тиковых полосатых куртках, загримированные неграми: лица, шеи и руки вычернены, как сапоги.

Оркестр уже заиграл увертюру, как вдруг из Немецкого клуба примчался верховой – и прямо к брандмейстеру Суцевской части Ко-

рыто, который, как начальство, в мундире и каске, сидел у входа в театр. Верховой сунул ему повестку, такую же, какую минуту назад передал брандмейстеру Тверской части.

Выскочил Корыто – и к пожарным:

– Ребята! Сбор частей! Пожар на Никольской! Вали, кто в чем есть, живо!

И Тверская часть уже несется по аллеям парка и далее по Петровскому шоссе среди клубов пыли.

Впереди мчится весь красный, с красным хвостом и красными руками, в блестящем шлеме верховой на бешеном огромном пегом коне... А сзади – дроги с баграми, на дрогах – красные черти...

Публика, метнувшаяся с дорожек парка, еще не успела прийти в себя, как видит: на золотом коне несется черный дьявол с пылающим факелом и за ним – длинные дроги с черными дьяволами в медных шлемах... Черные дьяволы еще больше напугали народ... Грохот, пламя, дым...

Бешено грохочут по Тверской один за другим дьявольские поезда мимо генерал-губернаторского дома, мимо Тверской части, на ко-

торой развеивается красный флаг – сбор всех частей. Сзади пожарных, стоя в пролетке и одной рукой держась за плечо кучера, лихо несется по Тверской полковник Арапов на своей паре и не может догнать пожарных...

А на Ильинке красные и черные черти уже лазят по крыше, среди багрового дыма и языков пламени.

На другой день вся Москва только и говорила об этом дьявольском поезде. А через несколько дней брандмайор полковник Потехин получил предписание, заканчивавшееся словами: «...строжайше воспрещаю употреблять пожарных в театрах и других неподходящих местах. Полковник Арапов».

* * *

Теперь пожарное дело в Москве доведено до совершенства, люди воспитанны, выдержанны, снабжены всем необходимым. Дисциплина образцовая – и та же былая удаль и смелость, но сознательная, вооруженная технической подготовкой, гимнастикой, наукой... Быстрота выездов на пожар теперь измеряется секундами. В чистой казарме, во втором этаже, дежурная часть – одетая и

вполне готовая. В полу казармы широкое отверстие, откуда видны толстые, гладко отполированные столбы.

Тревожный звонок – и все бросаются к столбам, охватывают их в обнимку, ныряют по ним в нижний сарай, и в несколько секунд – каждый на своем определенном месте автомобиля: каску на голову, прозодежду надевают на полном ходу летящего по улице автомобиля.

И вдруг:

– Пожарники едут! Пожарники едут! – кричит кучка ребятишек.

В первый раз в жизни я услышал это слово в конце первого года империалистической войны, когда население нашего дома, особенно надворных флигелей, увеличилось беженцами из Польши.

Меня, старого москвича и, главное, старого пожарного, резануло это слово. Москва, любовавшаяся своим знаменитым пожарным обозом – сперва на красавцах лошадях, подобранных по мастям, а потом бесшумными автомобилями, сверкающими медными шлемами, – с гордостью говорила:

– Пожарные! И вдруг:

– Пожарники!

Что-то мелкое, убогое, обидное.

Передо мной встает какой-нибудь уездный городишко, где на весь город три дырявые пожарные бочки, полтора багра, ржавая машина с фонтанирующим рукавом на колесах, вязнущих по ступицу в невылазной грязи немощеных переулков, а сзади тащится за ним с десятков убогих инвалидов-пожарников.

В Москве с давних пор это слово было ходовым, но имело совсем другое значение: так назывались особого рода нищие, являвшиеся в Москву на зимний сезон вместе со своими господами, владельцами богатых поместий. Помещики приезжали в столицу проживать свои доходы с имений, а их крепостные – добывать деньги, часть которых шла на оброк, в господские карманы.

Делалось это под видом сбора на «погорелые» места. Погорельцы, настоящие и фальшивые, приходили и приезжали в Москву семьями. Бабы с ребятишками ездили в санях собирать подаяние деньгами и барахлом, предъявляя удостоверения с гербовой печат-

тью о том, что предьявители сего едут по сбору пожертвований в пользу сгоревшей деревни или села. Некоторые из них покупали особые сани, с обожженными концами оглоблей, уверяя, что они только сани и успели вырвать из огня.

«Горелые оглобли», – острили москвичи, но все-таки подавали. Когда у ворот какого-нибудь дома в глухом переулке останавливались сани, ребяташки вбегали в Дом и докладывали:

– Мама, пожарники приехали!

Две местности поставляли «пожарников» на всю Москву. Это Богородский и Верейский уезды. Первые назывались «гусяки», вторые – «шувалики». Особенно славились богородские гусяки.

– Едешь по деревне, видишь, окна в домах заколочены, – это значит, что пожарники на промысел пошли целой семьей, а в деревне и следов пожара нет!

Граф Шувалов, у которого в крепостные времена были огромные имения в Верейском уезде, первый стал отпускать крестьян в Москву по сбору на «погорелые» места, пото-

му что они платили повышенный оброк. Это было очень выгодно помещику.

Когда таких «пожарников» задерживали и спрашивали:

– Откуда?

– Мы шувалики! – отвечали задержанные.

Бывали, конечно, и настоящие пострадавшие от пожара люди, с подлинными свидетельствами от волости, а иногда и от уездной полиции, но таких в полицейских протоколах называли «погорельщиками», а фальшивых – «пожарниками».

Вот откуда взялось это, обидное для старых пожарных, слово: «пожарники!»

Булочники и парикмахеры

На Тверской, против Леонтьевского переулка, высится здание бывшего булочника Филиппова, который его перестроил в конце столетия из длинного двухэтажного дома, принадлежавшего его отцу, популярному в Москве благодаря своим калачам и сайкам.

Филиппов был настолько популярен, что известный московский поэт Шумахер отметил его смерть четверостишием, которое знала вся Москва:

*Вчера угас еще один из типов,
Москве весьма известных и знакомых,
Тьмутараканский князь Иван Филиппов,
И в трауре оставил насекомых.*

Булочная Филиппова всегда была полна покупателей. В дальнем углу вокруг горячих железных ящичков стояла постоянная толпа, жующая знаменитые филипповские жареные пирожки с мясом, яйцами, рисом, грибами, творогом, изюмом и вареньем. Публика – от

учащейся молодежи до старых чиновников во фризовых шинелях и от расфранченных дам до бедно одетых рабочих женщин. На хорошем масле, со свежим фаршем пятачковый пирог был так велик, что парой можно было сытно позавтракать. Их завел еще Иван Филиппов, основатель булочной, прославившийся далеко за пределами московскими, калачами и сайками, а главное, черным хлебом прекрасного качества.

Прилавки и полки левой стороны булочной, имевшей отдельный ход, всегда были окружены толпами, покупавшими фунтиками черный хлеб и ситный.

– Хлебушко черненький труженику первое питание, – говорил Иван Филиппов.

– Почему он только у вас хорош? – спрашивали.

– Потому, что хлебушко заботу любит. Выпечка-то выпечкой, а вся сила в муке. У меня покупной муки нет, вся своя, рожь отборную покупаю на местах, на мельницах свои люди поставлены, чтобы ни соринки, чтобы ни пылинки... А все-таки рожь бывает разная, выбирать надо. У меня все больше тамбовская,

из-под Козлова, с Роминской мельницы идет мука самая лучшая. И очень просто! – заканчивал всегда он речь своей любимой поговоркой.

Черный хлеб, калачи и сайки ежедневно отправляли в Петербург к царскому двору. Пробовали печь на месте, да не выходило, и старик Филиппов доказывал, что в Петербурге такие калачи и сайки не выйдут.

– Почему же?

– И очень просто! Вода невская не годится! Кроме того, – железных дорог тогда еще не было, – по зимам шли обозы с его сухарями, калачами и сайками, на соломе испеченными, даже в Сибирь. Их как-то особым способом, горячими, прямо из печки, замораживали, везли за тысячу верст, а уже перед самой едой оттаивали – тоже особым способом, в сырых полотенцах, – и ароматные, горячие калачи где-нибудь в Барнауле или Иркутске подавались на стол с пылу, с жару.

Калачи на отрубях, сайки на соломе... И вдруг появилась новинка, на которую покупатель набросился стаей, – это сайки с изюмом...

– Как вы додумались?

– И очень просто! – отвечал старик. Вышло это, действительно, даже очень просто.

В те времена всевластным диктатором Москвы был генерал-губернатор Закревский, перед которым трепетали все. Каждое утро горячие сайки от Филиппова подавались ему к чаю.

– Э-тто что за мерзость! Подать сюда булочника Филиппова! – заорал как-то властитель за утренним чаем.

Слуги, не понимая, в чем дело, притащили к начальству испуганного Филиппова.

– Э-тто что? Таракан?! – и сует сайку с запеченным тараканом. – Э-тто что?! А?

– И очень даже просто, ваше превосходительство, – поворачивает перед собой сайку старик.

– Что-о?.. Что-о?.. Просто?!

– Это изюминка-с!

И съел кусок с тараканом.

– Врешь, мерзавец! Разве сайки с изюмом бывают? Пошел вон!

Бегом вбежал в пекарню Филиппов, схватил решето изюма да в саечное тесто, к вели-

кому ужасу пекарей, и ввалил.

Через час Филиппов угощал Закревского сайками с изюмом, а через день от покупателей отбою не было.

– И очень просто! Все само выходит, поймать сумеи, – говорил Филиппов при упоминании о сайках с изюмом.

– Вот хоть взять конфеты, которые «ландрин» зовут... Кто Ландрин? Что монпансье? Прежде это монпансье наши у французов выучились делать, только продавали их в бумажках завернутые во всех кондитерских... А тут вон Ландрин... Тоже слово будто заморское, что и надо для торговли, а вышло дело очень просто.

На кондитерскую Григория Ефимовича Елисеева это монпансье работал кустарь Федя. Каждое утро, бывало, несет ему лоток монпансье, – он по-особому его делал, – половинка беленькая и красненькая, пестренькая, кроме него никто так делать не умел, и в бумажках. После именин, что ли, с похмелья, вскочил он товар Елисееву нести.

Видит, лоток накрытый приготовлен стоит. Схватил и бежит, чтобы не опоздать. При-

носит. Елисейев развязал лоток и закричал на него:

– Что ты принес? Что?..

Увидал Федя, что забыл завернуть конфеты в бумажки, схватил лоток, побежал. Устал, присел на тумбу около гимназии женской... Бегут гимназистки, одна, другая...

– Почему конфеты? Он не понимает...

– По две копейки возьмешь? Дай пяток.

Сует одна гривенник... За ней другая... Тот берет деньги и сообразил, что выгодно. Потом их выбежало много, раскупили лоток и говорят:

– Ты завтра приходи во двор, к 12 часам, к перемене... Как тебя зовут?

– Федором, по фамилии Ландрин...

Подсчитал барыши – выгоднее, чем Елисею продавать, да и бумажки золотые в барышах. На другой день опять принес в гимназию.

– Ландрин пришел!

Начал торговать сперва вразнос, потом по местам, а там и фабрику открыл. Стали эти конфеты называться «ландрин» – слово показалось французским... ландрин да ландрин! А

он сам новгородский мужик и фамилию получил от речки Ландры, на которой его деревня стоит.

– И очень даже просто! Только случая не упустил. А вы говорите: «Та-ра-кан»!

* * *

А все-таки Филиппов был разборчив и не всяким случаем пользовался, где можно деньги нажить. У него была своеобразная честность. Там, где другие булочники и за грех не считали мошенничеством деньги наживать, Филиппов поступал иначе.

Огромные куши наживали булочники перед праздниками, продавая лежалый товар за полную стоимость по благотворительным заказам на подаяние заключенным.

Испокон веков был обычай на большие праздники – рождество, крещение, пасху, масленицу, а также в «дни поминовения усопших», в «родительские субботы» – посылать в тюрьмы подаяние арестованным, или, как говорили тогда, «несчастненьким».

Особенно хорошо в этом случае размахивалась Москва.

Булочные получали заказы от жертвовате-

ля на тысячу, две, а то и больше калачей и сакек, которые развозились в кануны праздников и делились между арестантами. При этом никогда не забывались и караульные солдаты из квартировавших в Москве полков.

Ходить в караул считалось вообще трудной и рискованной обязанностью, но перед большими праздниками солдаты просились, чтобы их назначали в караул. Для них, никогда не видевших куска белого хлеба, эти дни были праздниками. Когда подавание большое, они приносили хлеба даже в казармы и делились с товарищами. Главным жертвователем было купечество, считавшее необходимостью для спасения душ своих жертвовать «несчастненьким» пропитание, чтобы они в своих молитвах поминали жертвователя, свято веруя, что молитвы заключенных скорее достигают своей цели.

Еще ярче это выражалось у старообрядцев, которые по своему закону обязаны оказывать помощь всем пострадавшим от антихриста, а такими пострадавшими они считали «в темницу вверженных».

Главным центром, куда направлялись по-

даяния, была центральная тюрьма – «Бутырский тюремный замок». Туда со всей России поступали арестанты, ссылаемые в Сибирь, отсюда они, до постройки Московско-Нижегородской железной дороги, отправлялись пешком по Владимирке.

Страшен был в те времена, до 1870 года, вид Владимирки!

*...Вот клубится
Пыль. Все ближе... Стук шагов,
Мерный звон цепей железных,
Скрип телег и лязг штыков.
Ближе. Громче. Вот на солнце
Блещут ружья. То конвой;
Дальше длинные шеренги
Серых сукон. Недруг злой,
Враг и свой, чужой и близкий,
Все понуро в ряд бредут,
Всех свела одна недоля,
Всех сковал железный прут...*

А Владимирка начинается за Рогожской, и поколениями видели рогожские обитатели по несколько раз в год эти ужасные шеренги, мимо их домов проходившие. Видели детьми впервые, а потом седыми стариками и старухами все ту же картину, слышали:

*...И стон
И цепей железных звон...*

Ну, конечно, жертвовали, кто чем мог, стараясь лично передать подаяние. Для этого сами жертвователи отвозили иногда воза по тюрьмам, а одиночная беднота с парой калачей или испеченной дома булкой поджидала на Садовой, по пути следования партии, и, прорвавшись сквозь цепь, совала в руки арестантам свой трудовой кусок, получая иногда затрецины от солдат.

Страшно было движение этих партий.

По всей Садовой и на всех попутных улицах выставлялась вдоль тротуаров цепью охрана с ружьями...

И движется, ползет, громыхая и звеня железом, партия иногда в тысячу человек от пересыльной тюрьмы по Садовой, Таганке, Рогожской... В голове партии погромливают ручными и ножными кандалами, обнажая то и дело наполовину обритые головы, каторжане. Им приходится на ходу отвоевывать у конвойных подаяние, бросаемое народом.

И гремят ручными и ножными кандалами нескончаемые ряды в серых бушлатах с жел-

тым бубновым тузом на спине и желтого же сукна буквами над тузом: «С. К.».

«С. К.» – значит ссыльнокаторжный. Народ переводит по-своему: «Сильно каторжный».

Двигается «кобылка» сквозь шпалеры народа, усыпавшего даже крыши домов и заборы... За ссыльнокаторжными, в одних кандалах, шли скованные по нескольку железным прутком ссыльные в Сибирь, за ними беспаспортные бродяги, этапные, арестованные за «бесписьменность», отсылаемые на родину. За ними вереница заваленных узлами и мешками колымаг, на которых расположились больные и женщины с детьми, возбуждавшими особое сочувствие.

Во время движения партии езда по этим улицам прекращалась... Миновали Таганку. Перевалили заставу... А там, за заставой, на Владимирке, тысячи народа съехались с возами, ждут, – это и москвичи, и крестьяне ближайших деревень, и скупщики с пустыми мешками с окраин Москвы и с базаров.

До прибытия партии приходит большой отряд солдат, очищает от народа Владимирку и большое поле, которое и окружает.

Это первый этап. Здесь производилась последняя перекличка и проверка партии, здесь принималось и делилось подаяние между арестантами и тут же ими продавалось барышникам, которые наполняли свои мешки калачами и булками, уплачивая за них деньги, а деньги только и ценились арестантами. Еще дороже котировалась водка, и ею барышники тоже ухитрялись ссужать партию.

Затем происходила умопомрачительная сцена прощания, слезы, скандалы. Уже многие из арестантов успели подвыпить, то и дело буйство, пьяные драки... Наконец конвою удастся утомонить партию, выстроить ее и двинуть по Владимирке в дальний путь.

Для этого приходилось иногда вызывать усиленный наряд войск и кузнецов с кандалами, чтобы дополнительно заковывать буянов.

Главным образом перепивались и буянили, конечно, не каторжные, бывалые арестанты, а «шпана», этапные.

Когда Нижегородская железная дорога была выстроена, Владимирка перестала быть сухопутным Стиксом, и по ней Хароны со шты-

ками уже не переправляли в ад души грешников. Вместо проторенного под звуки цепей пути —

*Меж чернеющих под паром
Плугом поднятых полей
Лентой тянется дорога
Изумруда зеленей...
Все на ней теперь, иное,
Только строй двойной берез,
Что слыхали столько воплей,
Что видали столько слез,
Тот же самый... ..Но как чудно
В пышном убранстве весны
Все вокруг них! Не дождями
Эти травы вспоены,
На слезах людских, на поте,
Что лились рекой в те дни, —
Без призора, на свободе —
Расцвели теперь они.*

.....
*Всё цветы, где прежде слезы
Прибивали пыль порой,
Где гремели колымаги
По дороге столбовой.*

Закрылась Владимирка, уничтожен за заставой и первый этап, где раздавалось последнее подаяние. Около вокзала запрещено

было принимать подавание – разрешалось только привозить его перед отходом партии в пересыльную тюрьму и передавать не лично арестантам, а через начальство. Особенно на это обиделись рогожские старообрядцы:

– А по чем несчастненькие узнают, кто им подал? За кого молиться будут?

Рогожские наотрез отказались возить подавание в пересыльный замок и облюбовали для раздачи его две ближайšie тюрьмы: при Рогожском полицейском доме и при Лефортовском.

И заваливали в установленные дни подаванием эти две части, хотя остальная Москва продолжала посылать по-прежнему во все тюрьмы. Это пронюхали хитровцы и воспользовались.

Перед большими праздниками, к великому удивлению начальства, Лефортовская и Рогожская части переполнялись арестантами, и по всей Москве шли драки и скандалы, причем за «бесписьменность» задерживалось невероятное количество бродяг, которые указывали свое местожительство главным образом в Лефортове и Рогожской, куда их и пере-

сылали с конвоем для удостоверения личности.

А вместе с ними возами возили подаяние, которое тут же раздавалось арестантам, менялось ими на водку и поедалось.

После праздника все эти преступники оказывались или мелкими воришками, или просто бродяжками из московских мещан и ремесленников, которых по удостоверению личности отпускали по домам, и они расходились, справив сытно праздник за счет «благодетелей», ожидавших горячих молитв за свои души от этих «несчастненьких, ввергнутых в узилища слугами антихриста».

Наживались на этих подаяниях главным образом булочники и хлебопекарни. Только один старик Филиппов, спасший свое громадное дело тем, что съел таракана за изюминку, был в этом случае честным человеком.

Во-первых, он при заказе никогда не посылал завали арестантам, а всегда свежие калачи и сайки; во-вторых, у него велся особый счет, по которому видно было, сколько барыша давали эти заказы на подаяние, и этот барыш он целиком отвозил сам в тюрьму и

жертвовал на улучшение пищи больным арестантам. И делал все это он «очень просто», не ради выгод или медальных и мундирных отличий благотворительных учреждений.

Уже много лет спустя его сын, продолжавший отцовское дело, воздвиг на месте двухэтажного дома тот большой, что стоит теперь, и отделал его на заграничный манер, устроив в нем знаменитую некогда «филипповскую кофейную» с зеркальными окнами, мраморными столиками и лакеями в смокингах...

Тем не менее это парижского вида учреждение известно было под названием «вшивая биржа». Та же, что и в старые времена, постоянная толпа около ящиков с горячими пирожками...

Но совершенно другая публика в кофейной: публика «вшивой биржи».

Завсегдатаи «вшивой биржи». Их мало кто знал, зато они знали всех, но у них не было обычая подавать вида, что они знакомы между собой. Сидя рядом, перекидывались словами, иной подходил к занятому уже столу и просил, будто у незнакомых, разрешения сесть. Любимое место подальше от окон, по-

ближе к темному углу.

Эта публика – аферисты, комиссионеры, подводчики краж, устроители темных дел, агенты игорных домов, увлекающие в свои притоны неопытных любителей азарта, клубные арапы и шулера. Последние после бессонных ночей, проведенных в притонах и клубах, проснувшись в полдень, собирались к Филиппову пить чай и выработать план следующей ночи.

У сыщиков, то и дело забежавших в кофейную, эта публика была известна под рубрикой: «играющие».

В дни бегов и скачек, часа за два до начала, кофейная переполняется разнокалиберной публикой с беговыми и скаковыми афишами в руках. Тут и купцы, и чиновники, и богатая молодежь – все заядлые игроки в тотализатор.

Они являются сюда для свидания с «играющими» и «жучками» – завсегдатаями ипподромов, чтобы получить от них отметки, на какую лошадь можно выиграть. «Жучки» их сводят с шулерами, и начинается вербовка в игорные дома.

За час до начала скачек кофейная пустеет – все на ипподроме, кроме случайной, пришедшей публики. «Играющие» уже больше не появляются: с ипподрома – в клубы, в игорные дома их путь.

«Играющие» тогда уже стало обычным словом, чуть ли не характеризующим сословие, цех, дающий, так сказать, право жительства в Москве. То и дело полиции при арестах приходилось довольствоваться ответами на вопрос о роде занятий одним словом: «играющий».

Вот дословный разговор в участке при допросе весьма солидного франта:

– Ваше занятие?

– Играющий.

– Не понимаю! Я спрашиваю вас, чем вы добываете средства для жизни?

– Играющий я! Добываю средства игрой в тотализатор, в императорских скаковом и беговом обществах, картами, как сами знаете, выпускаемыми императорским воспитательным домом... Играю в игры, разрешенные правительством...

И, отпущенный, прямо шел к Филиппову

пить свой утренний кофе.

Но доступ в кофейную имели не все. На стенах пестрели вывески: «Собак не водить» и «Нижним чинам вход воспрещается».

Вспоминается один случай. Как-то незадолго до японской войны у окна сидел с барышней ученик военно-фельдшерской школы, погоны которого можно было принять за офицерские. Дальше, у другого окна, сидел, углубись в чтение журнала, старик. Он был в прорезиненной, застегнутой у ворота накидке. Входит, гремя саблей, юный гусарский офицер с дамой под ручку. На даме шляпа величиной чуть не с аэроплан. Сбросив швейцару пальто, офицер идет и не находит места: все столы заняты... Вдруг взгляд его падает на юношу-военного. Офицер быстро подходит и становится перед ним. Последний встает перед начальством, а дама офицера, чувствуя себя в полном праве, садится на его место.

– Потрудитесь оставить кофейную, видите, что написано? – указывает офицер на вывеску.

Но не успел офицер опустить свой перст, указывающий на вывеску, как вдруг раздает-

ся голос:

– Корнет, пожалуйста сюда!

Публика смотрит. Вместо скромного в накидке старика за столиком сидел величественный генерал Драгомиров, профессор Военной академии.

Корнет бросил свою даму и вытянулся перед генералом.

– Потрудитесь оставить кофейную, вы должны были занять место только с моего разрешения. А нижнему чину разрешил я. Идите!

Сконфуженный корнет, подобрав саблю, заторопился к выходу. А юноша-военный занял свое место у огромного окна с зеркальным стеклом.

Года через два, а именно 25 сентября 1905 года, это зеркальное стекло разлетелось вдребезги. То, что случилось здесь в этот день, поразило Москву.

Это было первое революционное выступление рабочих и первая ружейная перестрелка в центре столицы, да еще рядом с генерал-губернаторским домом!

С половины сентября пятого года Москва

уже была очень беспокойна, шли забастовки. Требования рабочих становились все решительнее.

В субботу, 24 сентября, к Д. И. Филиппову явилась депутация от рабочих и заявила, что с воскресенья они порешили забастовать.

Часов около девяти утра, как всегда в праздник, рабочие стояли кучками около ворот. Все было тихо. Вдруг около одиннадцати часов совершенно неожиданно вошел через парадную лестницу с Глинищевского переулка взвод городских с обнаженными шашками. Они быстро пробежали через бухгалтерию на черный ход и появились на дворе. Рабочие закричали:

– Вон полицию!

Произошла свалка. Из фабричного корпуса бросали бутылками и кирпичами. Полицейских прогнали.

Всё успокоилось. Вдруг у дома появился полицмейстер в сопровождении жандармов и казаков, которые спешили в Глинищевском переулке и совершенно неожиданно дали два залпа в верхние этажи пятиэтажного дома, выходящего в переулок и заселенного част-

ными квартирами. Фабричный же корпус, из окон которого кидали кирпичами, а по сообщению городских, даже стреляли (что и заставило их перед этим бежать), находился внутри двора.

Летели стекла... Сыпалась штукатурка... Мирные обыватели – квартиранты метались в ужасе. Полицмейстер ввел роту солдат в кофейную» потребовал топоры и ломы – разбивать баррикады, которых не было, затем повел солдат во двор и приказал созвать к нему всех рабочих, предупредив, что, если они не явятся, он будет стрелять. По мастерским были посланы полиция и солдаты, из столовой забрали обедавших, из спален – отдохавших. На двор согнали рабочих, мальчиков, дворников и метельщиков, но полиция не верила удостоверениям старших служащих, что все вышли, и приказала стрелять в окна седьмого этажа фабричного корпуса...

Около двухсот рабочих вывели окруженными конвоем и повели в Гнездниковский переулок, где находились охранное отделение и ворота в огромный двор дома градоначальника.

Около четырех часов дня в сопровождении полицейского в контору Филиппова явились три подростка-рабочих, израненные, с забинтованными головами, а за ними стали приходить еще и еще рабочие и рассказывали, что во время пути под конвоем и во дворе дома градоначальника их били. Некоторых избитых даже увезли в каретах скорой помощи в больницы.

Испуганные небывалым происшествием, москвичи толпились на углу Леонтьевского переулка, отгороженные от Тверской цепью полицейских. На углу против булочной Филиппова, на ступеньках крыльца у запертой двери бывшей парикмахерской Леона Эмбо, стояла кучка любопытных, которым податься было некуда: в переулке давка, а на Тверской – полиция и войска. На верхней ступеньке, у самой двери невольно обращал на себя внимание полным спокойствием красивый брюнет с большими седеющими усами.

Это был Жюль. При взгляде на него приходили на память строчки Некрасова из поэмы «Русские женщины»:

Народ галдел, народ зевал,

*Едва ли сотый понимал,
Что делается тут...
Зато посмеивался в ус,
Лукаво шуря взор,
Знакомый с бурями француз,
Столичный куафер.*

Жюль – парижанин, помнивший бои Парижской коммуны, служил главным мастером у Леона Эмбо, который был «придворным» парикмахером князя В. А. Долгорукова.

Леон Эмбо, французик небольшого роста с пушистыми, холеными усами, всегда щегольски одетый по последней парижской моде. Он ежедневно подтягивал князю морщины, прилаживал паричок на совершенно лысую голову и подклеивал волосок к волоску, завивая колечком усики молодившегося старика.

Во время сеанса он тешил князя, болтая без умолку обо всем, передавая все столичные сплетни, и в то же время успевал проводить разные крупные дела, почему и слыл влиятельным человеком в Москве. Через него многого можно было добиться у всемогущего хозяина столицы, любившего своего парикмахера.

Во время поездок Эмбо за границу его заменяли или Орлов, или Розанов. Они тоже пользовались благоволением старого князя и тоже не упускали своего. Их парикмахерская была напротив дома генерал-губернатора, под гостиницей «Дрезден», и в числе мастеров тоже были французы, тогда модные в Москве.

Половина лучших столичных парикмахерских принадлежала французам, и эти парикмахерские были учебными заведениями для купеческих саврасов.

Западная культура у нас с давних времен прививалась только наружно, через парикмахеров и модных портных. И старается «французик из Бордо» около какого-нибудь Лёньки или Серёньки с Таганки, и так-то вокруг него извивается, и так-то наклоняется, мелким барашком завивает и орет:

– Мал-шик!.. Шипси!..

Пока вихрастый мальчик подает горячие щипцы, Лёнька и Серёнька, облитые одеколоном и вежеталем, ковыряют в носу, и оба в один голос просят:

– Ты меня уж так причеши таперича, что-

бы без тятеньки выходило а-ля-капуль, а при тятеньке по-русски.

Здесь они перенимали у мастеров манеры, прически и учились хорошему тону, чтобы прельщать затем замоскворецких невест и щеголять перед яровскими певицами...

Обставлены первосортные парикмахерские были по образцу лучших парижских. Все сделано по-заграничному, из лучшего материала. Парфюмерия из Лондона и Парижа... Модные журналы экстренно из Парижа... В дамских залах – великие художники по прическам, люди творческой куаферской фантазии, знатоки стилей, психологии и разговорщики.

В будуарах модных дам, молодящихся купчих и невест-миллионерш они нередко поверенные всех их тайн, которые умеют хранить...

Они друзья с домовою прислугой – она выкладывает им все сплетни про своих хозяев... Они знают все новости и всю подноготную своих клиентов и умеют учесть, что кому рассказать можно, с кем и как себя вести... Весьма наблюдательны и даже остроумны...

Один из них, как и все, начавший карьеру с подавания щипцов, доставил в одну из редакций свой дневник, и в нем были такие своеобразные перлы: будуар, например, он называл «блудуар».

А в слове «невеста» он «не» всегда писал отдельно. Когда ему указали на эти грамматические ошибки, он сказал:

– Так вернее будет.

В этом дневнике, кстати сказать, попавшем в редакционную корзину, был описан первый «электрический» бал в Москве. Это было в половине восьмидесятых годов. Первое электрическое освещение провели в купеческий дом к молодой вдове-миллионерше, и первый бал с электрическим освещением был назначен у нее.

Роскошный дворец со множеством комнат и всевозможных уютных уголков сверкал разноцветными лампами. Только танцевальный зал был освещен ярким белым светом. Собралась вся прожигающая жизнь Москва, от дворянства до купечества.

Автор дневника присутствовал на балу, конечно, у своих друзей, прислуги, заgrimиро-

вав перед балом в «блудуаре» хозяйку дома применительно к новому освещению.

Она была великолепна, но зато все московские щеголихи в бриллиантах при новом, электрическом свете танцевального зала показались скверно раскрашенными куклами: они привыкли к газовым рожкам и лампам. Красавица хозяйка дома была только одна с живым цветом лица.

Танцевали вплоть до ужина, который готовил сам знаменитый Мариус из «Эрмитажа».

При лиловом свете столовой мореного дуба все лица стали мертвыми, и гости старались искусственно вызвать румянец обильным возлиянием дорогих вин.

Как бы то ни было, а ужин был весел, шумен, пьян – и... вдруг потухло электричество!

Минут через десять снова загорелось... Скандал! Кто под стол лезет... Кто из-под стола вылезает... Во всех позах осветило... А дамы!

– До сих пор одна из них, – рассказывал мне автор дневника и очевидец, – она уж и тогда-то не молода была, теперь совсем старуха, я ей накладку каждое воскресенье делаю, –

каждый раз в своем блудуаре со смехом про этот вечер говорит... «Да уж забыть пора», – как-то заметил я ей. «И што ты... Про хорошее лишний раз вспомнить приятно!».

Модные парикмахерские засверкали парижским шиком в шестидесятых, годах, когда после падения крепостного права помещики прожигали на все манеры полученные за землю и живых людей выкупные. Москва шикавала вовсю, и налезли парикмахеры-французы из Парижа, а за ними офранцузились и русские, и какой-нибудь цирюльник Елизар Баранов на Ямской не успел еще переменить вывески: «Цырюльня. Здесь ставят пиявки, отворяют кровь, стригут и бреют Баранов», а уж тоже козлиную бородку отпустил и тоже кричит, завивая приказчика из Ножевой линии:

– Мальшик, шипси! Шевелись, дьявол!
И все довольны.

* * *

Еще задолго до этого времени первым блеснул парижский парикмахер Гивартовский на Моховой. За ним Глазов на Пречистенке, скоро разбогатевший от клиентов сво-

его дворянского района Москвы. Он нажил десяток домов, почему и переулок называли Глазовским.

Лучше же всех считался Агапов в Газетном переулке, рядом с церковью Успения. Ни раньше, ни после такого не было. Около дома его в дни больших балов не проехать по переулку: кареты в два ряда, два конных жандарма порядок блюдут и кучеров вызывают.

Агапов всем французам поперек горла встал: девять дамских самых первоклассных мастеров каждый день объезжали по пятнадцати – двадцати домов. Клиенты Агапова были только родовитые дворяне, князья, графы.

В шестидесятых годах носили шиньоны, накладные косы и локоны, «презенты» из вьющихся волос.

Расцвет парикмахерского дела начался с восьмидесятых годов, когда пошли прически с фальшивыми волосами, передними накладками, затем «трансформации» из вьющихся волос кругом головы, – все это из лучших, настоящих волос.

Тогда волосы шли русские, лучше принимавшие окраску, и самые дорогие – француз-

ские. Денег не жалели. Добывать волосы ездили по деревням «резчики», которые скупали косы у крестьянок за ленты, платки, бусы, кольца, серьги и прочую копеечную дрянь.

Прически были разных стилей, самая модная: «Екатерина II» и «Людовики» XV и XVI.

После убийства Александра II, с марта 1881 года, все московское дворянство носило год траур и парикмахеры на них не работали. Барские прически стали носить только купчихи, для которых траура не было. Барских парикмахеров за это время съел траур. А с 1885 года французы окончательно стали добывать русских мастеров, особенно Теодор, вошедший в моду и широко развивший дело...

Но все-таки, как ни блестящи были французы, русские парикмахеры Агапов и Андреев (последний с 1880 года) занимали, как художники своего искусства, первые места. Андреев даже получил в Париже звание профессора куафюры, ряд наград и почетных дипломов.

Славился еще в Газетном переулке парикмахер Базиль. Так и думали все, что он был француз, на самом же деле это был почтенный москвич Василий Иванович Яковлев.

Модные парикмахеры тогда очень хорошо зарабатывали: таксы никакой не было.

– Стригут и бреют и карманы греют! – остригли тогда про французских парикмахеров.

Конец этому положил Артемьев, открывший обширный мужской зал на Страстном бульваре и опубликовавший: «Бритье 10 копеек с одеколоном и вежеталем. На чай мастера не берут». И средняя публика переполняла его парикмахерскую, при которой он также открыл «депо пиявок».

До того времени было в Москве единственное «депо пиявок», более полвека помещавшееся в маленьком сереньком домике, уютившемся к стене Страстного монастыря. На окнах стояли на утеху гуляющих детей огромные аквариумы с пиявками разных размеров. Пиявки получались откуда-то с юга и в «депо» приобретались для больниц, фельдшеров и захолустных окраинных цирюлен, где еще парикмахеры ставили пиявки. «Депо» принадлежало Молодцовым, из семьи которых вышел известный тенор шестидесятых и семидесятых годов П. А. Молодцов, лучший Торопка того времени. В этой роли он удачно дебю-

тировал в Большом театре, но ушел оттуда, поссорившись с чиновниками, и перешел в провинцию, где пользовался огромным успехом.

– Отчего же ты, Петрушка, ушел из императорских театров да Москву на Тамбов сменял? – спрашивали его друзья.

– От пиявок! – отвечал он.

Были великие искусники создавать дамские прически, но не менее великие искусники были и мужские парикмахеры. Особенным умением подстригать усы славился Липунцов на Большой Никитской, после него Лягин и тогда еще совсем молодой, его мастер, Николай Андреевич.

Лягина всегда посещали старые актеры, а Далматов называл его «мой друг».

В 1879 году мальчиком в Пензе при театральном парикмахере Шишкове был ученик, маленький Митя. Это был любимец пензенского антрепренера В. П. Далматова, который единственно ему позволял прикасаться к своим волосам и учил его гриму. Раз В. П. Далматов в свой бенефис поставил «Записки сумасшедшего» и приказал Мите приготовить лы-

рый парик. Тот принес на спектакль мокрый бычий пузырь и начал напяливать на выхорленную прическу Далматова... На крик актера в уборную сбежались артисты.

– Вы великий артист, Василий Пантелеймонович, но позвольте и мне быть артистом своего дела! – задрал голову на высокого В. П. Далматова, оправдывался мальчуган. – Только примерьте!

В. П. Далматов наконец согласился – и через несколько минут пузырь был напялен, кое-где подмазан, и глаза В. П. Далматова сияли от удовольствия: совершенно голый череп при его черных глазах и выразительном гриме производил сильное впечатление.

* * *

И сейчас еще работает в Москве восьмидесятилетний старик, чисто выбритый и бодрый.

– Я все видел – и горе и славу, но я всегда работал, работаю и теперь, насколько хватает сил, – говорит он своим клиентам.

– Я крепостной, Калужской губернии. Когда в 1861 году нам дали волю, я ушел в Москву – дома есть было нечего; попал к земляку

дворнику, который определил меня к цирюльнику Артемову, на Сретенке в доме Машюшина. Спал я на полу, одевался рваной шубенкой, полено в головах. Зимой в цирюльне было холодно. Стричься к нам ходил народ с Сухаревки. В пять часов утра хозяйка будила идти за водой на бассейн или на Сухаревку, или на Трубу. Зимой с ушатом на санках, а летом с ведрами на коромысле... Обувь – старые хозяйские сапожишки. Поставишь самовар... Сапоги хозяину вычистишь. Из колодца воды мыть посуду принесешь с соседнего двора.

Хозяева вставали в семь часов пить чай. Оба злые. Хозяин чахоточный. Били чем попало и за все, – все не так. Пороли розгами, привязавши к скамье. Раз после розог два месяца в больнице лежал – загноилась спина... Раз выкинули зимой на улицу и дверь заперли. Три месяца в больнице в горячке лежал...

С десяти утра садился за работу – делать парики, вшивая по одному волосу: в день был урок сделать в три пробора 30 полос. Один раз заснул за работой, прорвал пробор и жестоко был выдран. Был у нас мастер, пьяный тоже меня бил. Раз я его с хозяйской запиской во-

дил в квартал, где его по этой записке выпороли. Тогда такие законы были – пороть в полиции по записке хозяина. Девять лет я отбыл у него, получил звание подмастерья и поступил по контракту к Агапову на шесть лет мастером, а там открыл свою парикмахерскую, а потом в Париже получил звание профессора.

Это и был Иван Андреевич Андреев.

В 1888 и в 1900 годах он участвовал в Париже на конкурсе французских парикмахеров и получил за прически ряд наград и почетный диплом на звание действительного заслуженного профессора парикмахерского искусства.

В 1910 году он издал книгу с сотней иллюстраций, которые увековечили прически за последние полвека.

Два кружка

Московский артистический кружок был основан в шестидесятых годах и окончил свое существование в начале восьмидесятых годов. Кружок занимал весь огромный бельэтаж бывшего голицынского дворца, купленного в сороковых годах купцом Бронниковым. Кружку принадлежал ряд зал и гостиных, которые образовывали круг с огромными окнами на Большую Дмитровку с одной стороны, на Театральную площадь – с другой, а окна белого голицынского зала выходили на Охотный ряд.

Противоположную часть дома тогда занимали сцена и зрительный зал, значительно перестроенные после пожара в начале этого столетия.

Круг роскошных, соединенных между собой зал и гостиных замыкал несколько мелких служебных комнат без окон, представлявших собой островок, замаскированный наглухо стенами, вокруг которого располагалось круглое фойе. Любимым местом гуляющей по фойе публики всегда был белый зал с мягкой

мебелью и уютными уголками.

Великим постом это фойе переполнялось совершенно особой публикой – провинциальными актерами, съезжавшимися для заключения условий с антрепренерами на предстоящий сезон.

По блестящему паркету разгуливали в вычурных костюмах и первые «персонажи», и очень бедно одетые маленькие актеры, хористы и хористки. Они мешались в толпе с корифеями столичных и провинциальных сцен и важными, с золотыми цепями, в перстнях антрепренерами, приехавшими составлять труппы для городов и городишек.

Тут были косматые трагики с громоподобным голосом и беззаботные будто бы, а на самом деле себе на уме комики – «Аркашки» в тетушкиных кацавейках и в сапогах без подошв, утраченных в хождениях «из Вологды в Керчь и из Керчи в Вологду». И все это шумело, гудело, целовалось, обнималось, спорило и голосило.

Великие не очень важничали, маленькие не раболепствовали. Здесь все чувствовали себя запросто: Гамлет и могильщик, Пиккилы

и Ахиллы, Мария Стюарт и слесарша Пошлепкина. Вспоминали былые сезоны в Пинске, Минске, Хвалынске и Иркутске.

Все актеры и актрисы имели бесплатный вход в Кружок, который был для них необходимостью: это было единственное место для встреч их с антрепренерами.

Из года в год актерство помещалось в любимых своих гостиницах и мебелирашках, где им очищали места содержатели, предупрежденные письмами, хотя в те времена и это было лишнее: свободных номеров везде было достаточно, а особенно в таких больших гостиницах, как «Челыши».

Теперь на месте «Челышей» высится огромное здание гостиницы «Метрополь», с ее разноцветными фресками и «Принцессой Грезой» Врубеля, помогавшего вместе с архитектором Шехтелем строителю «Метрополя» С. И. Мамонтову.

А в конце прошлого столетия здесь стоял старинный домище Челышева с множеством номеров на всякие цены, переполненных великим постом съезжавшимися в Москву актерами. В «Челышах» останавливались и знаме-

нитости, занимавшие номера бельэтажа с огромными окнами, коврами и тяжелыми гардинами, и средняя актерская братия – в верхних этажах с отдельным входом с площади, с узкими, кривыми, темными коридорами, насквозь пропахшими керосином и кухней.

Во второй половине поста многие переезжали из бельэтажа наверх... подешевле.

Вторым актерским пристанищем были номера Голяшкина, потом – Фальцвейна, на углу Тверской и Газетного переулка. Недалеко от них, по Газетному и Долгоруковскому переулкам, помещались номера «Принц», «Кавказ» и другие. Теперь уже и домов этих нет, на их месте стоит здание телеграфа.

Не менее излюбленным местом были «Черныши», в доме Олсуфьева, против Брюсовского переулка.

Были еще актерские номера на Большой Дмитровке, на Петровке, были номера при Китайских банях, на Неглинном, довольно грязные, а самыми дешевыми были меблирашки «Семеновка» на Сретенском бульваре, где в 1896 году выстроен огромный дом стра-

хового общества «Россия».

В «Семеновку» пускали жильцов с собаками. Сюда главным образом приезжали из провинции комические старухи на великий пост.

Начиная от «Чельшей» и кончая «Семеновкой», с первой недели поста актеры жили весело. У них водились водочка, пиво, самовары, были шумные беседы... Начиная с четвертой – начинало стихать. Номера постепенно освобождались: кто уезжал в провинцию, получив место, кто соединялся с товарищем в один номер. Начинали коптить керосинки: кто прежде обедал в ресторане, стал варить кушанье дома, особенно семейные.

Керосинка не раз решала судьбу людей. Скажем, у актрисы А. есть керосинка. Актер Б., из соседнего номера, прожился, обедая в ресторане. Случайный разговор в коридоре, разрешение изжарить кусок мяса на керосинке... Раз, другой...

– А я тоже собираюсь купить керосинку! Уж очень удобно! – говорит актер Б.

– Да зачем же, когда у меня есть! – отвечает актриса А.

Проходит несколько дней.

– Ну, что зря за номер платить! Перенеси свою керосинку ко мне... У меня комната побольше!

И счастливый брак на «экономической» почве состоялся.

Актеры могли еще видаться с антрепренерами в театральных ресторанах: «Щербаки» на углу Кузнецкого переулка и Петровки, «Ливорно» в Кузнецком переулке и «Вельде» за Большим театром; только для актрис, кроме Кружка, другого места не было. Здесь они встречались с антрепренерами, с товарищами по сцене, могли получить контрамарку в театр и повидать воочию своих драматургов: Островского, Чаева, Потехина, Юрьева, а также многих других писателей, которых знали только по произведениям, и встретить знаменитых столичных актеров: Самарина, Шуйского, Садовского, Ленского, Музиля, Горбунова, Киреева. Провинциальные актеры имели возможность и дебютировать в пьесах, ставившихся на сцене Кружка – единственном месте, где разрешалось играть великим постом. Кружок умело обошел закон, запре-

щавший спектакли во время великого поста, в кануны праздников и по субботам. Кружок ставил – с разрешения генерал-губернатора князя Долгорукова, воображавшего себя удельным князем и не подчинявшегося Петербургу, – спектакли и постом, и по субботам, но с тем только, чтобы на афишах стояло: «сцены из трагедии «Макбет», «сцены из комедии «Ревизор» или «сцены из оперетты «Елена Прекрасная», хотя пьесы шли целиком.

Литературно-художественный кружок основался совершенно случайно в немецком ресторане «Альпийская роза» на Софийке.

Вход в ресторан был строгий: лестница в коврах, обставленная тропическими растениями, внизу швейцары, и ходили сюда завтракать из своих контор главным образом московские немцы. После спектаклей здесь собирались артисты Большого и Малого театров и усаживались в двух небольших кабинетах. В одном из них председательствовал певец А. И. Барцал, а в другом – литератор, историк театра В. А. Михайловский – оба бывшие посетители закрывшегося Артистического круж-

ка.

Как-то в память этого объединявшего артистический мир учреждения В. А. Михайловский предложил устраивать время от времени артистические ужины, а для начала в ближайшую субботу собраться в Большой Московской гостинице. Мысль эта была подхвачена единодушно, и собралось десятка два артистов с семьями. Весело провели время, пели, танцевали под рояль. Записались тут же на следующий вечер, и набралось желающих так много, что пришлось в этой же гостинице занять большой зал... На этом вечере был весь цвет Малого и Большого театров, литераторы и музыканты. Читала М. Н. Ермолова, пел Хохлов, играл виолончелист Брандуков. Программа вышла богатая. И весной 1898 года состоялось в ресторане «Эрмитаж» учредительное собрание, выработан был устав, а в октябре 1899 года, в год столетия рождения Пушкина, открылся Литературно-художественный кружок в доме графини Игнатьевой, на Воздвиженке.

Роскошные гостиные, мягкая мебель, отдельные столики, уголки с трельяжами, ка-

мины, ковры, концертный рояль... Уютно, интимно... Эта интимность Кружка и была привлекательна. Приходили сюда отдыхать, набираться сил и вдохновения, обменяться впечатлениями и переживать счастливые минуты, слушая и созерцая таланты в этой непохожей на клубную обстановке. Здесь каждый участвующий не знал за минуту, что он будет выступать. Под впечатлением общего настроения, наэлектризованный предыдущим исполнителем, поднимался кто-нибудь из присутствовавших и читал или монолог, или стихи из-за своего столика, а если певец или музыкант – подходил к роялю. Молодой еще, застенчивый и скромный, пробирался аккуратно между столиками Шаляпин, и его бархатный молодой бас гремел:

Люди гибнут за металл...

Потом чаровал нежный тенор Собинова. А за ними вставали другие, великие тех дней.

Звучала музыка известных тогда музыкантов... Скрябин, Игумнов, Корещенко....

*От музыки Корещенки
Подохли на дворе щенки, —*

сострил раз кто-то, но это не мешало всем восторгаться талантом юного композитора-пианиста.

Все больше и больше собиралось посетителей, больше становилось членов клуба. Это был единственный тогда клуб, где членами были и дамы. От наплыва гостей и новых членов тесно стало в игнатьевских залах.

Отыскиали новое помещение, на Мясницкой. Это красивый дом на углу Фуркасовского переулка. Еще при Петре I принадлежал он Касимовскому царевичу, потом Долгорукову, умершему в 1734 году в Березове в ссылке, затем Черткову, пожертвовавшему свою знаменитую библиотеку городу, и в конце концов купчиха Обидина купила его у князя Гагарина, наследника Чертковых, и сдала его под Кружок.

Помещение дорогое, расходы огромные, но число членов росло не по дням, а по часам. Для поступления в действительные члены явился новый термин: «общественный деятель». Это было очень почтенно и модно и даже иногда заменяло все. В баллотировочной таблице стояло: «...такой-то, общественный

деятель», – и выборы обеспечены. В члены-соперников выбирали совсем просто, без всякого стажа.

Но членских взносов оказалось мало. Пришлось организовать карточную игру с запрещенной «железкой». Члены Охотничьего клуба, избранные и сюда, сумели организовать крупную игру, и штрафы с засидевшихся за «железкой» игроков пополняли кассу. Штрафы были такие: в 2 часа ночи – 30 копеек, в 2 часа 30 минут – 90 копеек, то есть удвоенная сумма плюс основная, в 3 часа – 2 рубля 10 копеек, в 3 часа 30 минут – 4 рубля 50 копеек, в 4 часа – 9 рублей 30 копеек, в 5 часов – 18 рублей 60 копеек, а затем Кружок в 6 часов утра закрывался, и игроки должны были оставлять помещение, но нередко игра продолжалась и днем, и снова до вечера...

Игра была запрещенная, полиция следила за клубом, и были случаи, что составлялся протокол, и «железка» закрывалась.

Тут поднимались хлопоты о разрешении, даже печатались статьи в защиту клубной игры, подавались слезницы генерал-губернатору, где доказывалось, что игра не вред, а чуть

ли не благодеяние, и опять играли до нового протокола.

Тесно стало помещение, да и карточные комнаты были слишком на виду.

В это время Елисеев в своем «дворце Бахуса» отделал роскошное помещение с лепными потолками и сдал его Кружку. Тут были и удобные, сокровенные комнаты для «железки», и залы для исполнительных собраний, концертов, вечеров.

Кружок сделался самым модным буржуазным клубом, и помещение у Елисеева опять стало тесно. Выработан был план, по которому отделали на Большой Дмитровке старинный барский особняк. В бельэтаже – огромный двухсветный зал для заседаний, юбилеев, спектаклей, торжественных обедов, ужинов и вторичных «собеседований». Когда зал этот освобождался к двум часам ночи, стулья перед сценой убирались, вкатывался десяток круглых столов для «железки», и шел открытый азарт вовсю, переносившийся из разных столовых, гостиных и специальных карточных комнат. Когда зал был занят, игра происходила в разных помещениях. Каких только

комнат не было здесь во всех трех этажах! Запасная столовая, мраморная столовая, зеркальная столовая, верхний большой зал, верхняя гостиная, нижняя гостиная, читальня, библиотека (надо заметить, прекрасная) и портретная, она же директорская. Внизу бильярдная, а затем, когда и это помещение стало тесно, был отделан в левом крыле дома специально картежный зал – «азартный». Летняя столовая была в небольшом тенистом садике, с огромным каштаном и цветочными клумбами, среди которых сверкали электричеством вычурные павильончики-беседки для ужинающих веселыми компаниями, а во всю длину сада тянулась широкая терраса, пристроенная к зданию клуба в виде огромного балкона. Здесь у каждой компании был свой излюбленный стол.

Едва ли где-нибудь в столице был еще такой тихий и уютный уголок на чистом воздухе, среди зелени и благоухающих цветов, хотя тишина и благоухание иногда нарушались беспокойным соседом – двором и зданиями Тверской полицейской части, отделенной от садика низенькой стеной.

Выше векового каштана стояла каланча, с которой часовой иногда давал тревожные звонки о пожаре, после чего следовали шум и грохот выезжающей пожарной команды, чаще слышалась нецензурная ругань пьяных, приводимых в «кутузку», а иногда вопли и дикие крики упорных буянов, отбивающих покушение полицейских на их свободу...

Иногда благоухание цветов прорывала струйка из навозных куч около конюшен, от развешанного мокрого платья пожарных, а также из всегда открытых окон морга, никогда почти не пустовавшего от «неизвестно кому принадлежащих трупов», поднятых на улицах жертв преступлений, ожидающих судебно-медицинского вскрытия. Морг возвышался рядом со стенкой сада... Но к этому все так привыкли, что и внимания не обращали.

Только раз как-то за столом «общественных деятелей» один из них, выбирая по карточке вина, остановился на напечатанном на ней портрете Пушкина и с возмущением заметил:

- При чем здесь Пушкин? Это профанация!
- Пушкин всегда и при всем. Это великий

пророк... Помните его слова, относящиеся и ко мне, и к вам, и ко многим здесь сидящим... Разве не о нас он сказал:

*И на обломках самовластья
Напишут наши имена!*

Говорившего дополнил сосед-весельчак:

– Уж там запишут или не запишут ваши имена, а вот что Пушкин верно сказал, так это:

*И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,*

И указал одной рукой на морг, а другой – на соседний стол, занятый картежниками, шумно спорившими.

Этот разговор происходил в августе 1917 года, когда такие клубы, действительно, были уже «у гробового входа».

Через месяц Кружок закрылся навсегда.

Когда новое помещение для азартной игры освободило большой двухсветный зал, в него были перенесены из верхних столовых ужины в свободные от собраний вечера. Здесь ужинали группами, и каждая имела свой стол. Особым почетом пользовался длинный

стол, накрытый на двадцать приборов. Стол этот назывался «пивным», так как пиво было любимым напитком членов стола и на нем ставился бочонок с пивом. Кроме этого, стол имел еще два названия: «профессорский» и «директорский».

Завсегдатаи стола являлись после десяти часов и садились закусывать.

Одни ужинали, другие играли в скромные винт и преферанс, третьи проигрывались в «железку» и штрафами покрывали огромные расходы Кружка.

Когда предреволюционная температура 1905 года стала быстро подниматься, это отразилось и в Кружке ярче, чем где-нибудь.

С эстрады стало говориться то, о чем еще накануне молчали. Допущена была какая-то свобода действия и речей.

Все было разрешено, или, лучше сказать, ничего не запрещалось.

С наступлением реакции эстрада смолкла, а разврат усилился. Правительство боялось только революционеров, а все остальное поощряло: разрешало шулерские притоны, частные клубы, разгул, маскарады, развраща-

ощую литературу, – только бы политикой не пахло.

Допустили широчайший азарт и во всех старых клубах.

Отдельно стоял только неизменный Английский клуб, да и там азартные игры процветали, как прежде. Туда власти не смели сунуть носа, равно как и дамы.

В Купеческом клубе жрали аршинных стерлядей на обедах. В Охотничьем – разодетые дамы «кушали деликатесы», интриговали на маскарадах, в карточные их не пускали. В Немецком – на маскарадах, в «убогой роскоши наряда», в трепаных домино, «замарьяживали» с бульвара пьяных гостей, а шулера обыгрывали их в карточных залах.

Огромный двухсветный зал. Десяток круглых столов, по десяти и двенадцати игроков сидят за каждым, окруженные кольцом стоящих, которые ставят против банка со стороны. Публика самая разнообразная. За «рублевыми» столами – шумливая публика, споры,

- Вы у меня рубль отсюда стащили!
- Нет, вы у меня сперли! – Дежурный!
- Кто украл? У вас украли или вы украли?

За «золотыми» столами, где ставка не меньше пяти рублей, публика более «серьезная», а за «бумажным», с «пулькой» в двадцать пять рублей, уже совсем «солидная».

На дамах бриллианты, из золотых сумочек они выбрасывают пачки кредиток... Тут же сидят их кавалеры, принимающие со стороны участие в их игре или с нетерпением ожидающие, когда дама проиграется, чтобы увести ее из клуба...

Много таких дам в бриллиантах появилось в Кружке после японской войны. Их звали «интендантскими дамами». Они швырялись тысячами рублей, особенно «туровала» одна блондинка, которую все называли «графиней». Она была залита бриллиантами. Как-то скоро она сошла на нет – сперва слиняли бриллианты, а там и сама исчезла. Ее потом встречали на тротуаре около Сандуновских бань...

Самая крупная игра – «сотенный» стол, где меньшая ставка сто рублей, – велась в одной из комнат вверху или внизу.

Иногда кроме сотенной «железки» в этой комнате играли в баккара.

Раз игра в баккара дошла до невиданных размеров. Были ставки по пяти и десяти тысяч. Развели эту игру два восточных красавца с довольно зверскими лицами, в черкесках дорогого сукна, в золотых поясах, с кинжалами, сверкавшими крупными драгоценными камнями. Кем записаны они были в первый раз – неизвестно, но в первый же день они поразили таким размахом игры, что в следующие дни этих двух братьев – князей Шаховых – все записывали охотно. Они держали ответственный банк в баккара без отказа, выложив в обеспечение ставок пачки новеньких крупных кредиток на десятки тысяч. За ними увивались «арапы».

Ежедневно все игроки с нетерпением ждали прихода князей: без них игра не клеилась. Когда они появлялись, стол оживал. С неделю они ходили ежедневно, проиграли больше ста тысяч, как говорится, не моргнув глазом – и вдруг в один вечер не явились совсем (их уже было решено провести в члены-соревнователи Кружка).

– Где же азиаты? – волновались игроки.

– Напрасно ждете. Их вы не увидите, – за-

явил вошедший в комнату репортер одной газеты.

– ???

Молчаливое удивление.

– Сегодня сообщили в редакцию, что они арестованы. Я ездил проверить известие: оба эти князя никакие не князья, они оказались атаманами шайки бандитов, и деньги, которые проигрывали, они привезли с последнего разбоя в Туркестане. Они напали на почту, шайка их перебила конвой, а они собственно-ручно зарезали почтовых чиновников, взяли ценности и триста тысяч новенькими бумажками, пересылавшимися в казначейство. Оба они отправлены в Ташкент, где их ждет виселица.

* * *

Скажут:

– Почему автор этой книги открывает только дурные стороны клубов, а не описывает подробно их полезную общественную и просветительную деятельность?

И автор на это смело ответит:

– Потому, что для нашего читателя интереснее та сторона жизни, которая даже во

времена существования клубов была покрыта тайной, скрывавшей те истинные источники средств, на которые строилась «общественная деятельность» этих клубов.

О последней так много писалось тогда и, вероятно, еще будет писаться в мемуарах современников, которые знали только одну казовую сторону: исполнительные собрания с участием знаменитостей, симфонические вечера, литературные собеседования, юбилеи писателей и артистов с крупными именами, о которых будут со временем писать... В связи с ними будут, конечно, упоминать и Литературно-художественный кружок, насчитывавший более 700 членов и 54 875 посещений в год.

Еще найдутся кое у кого номера журнала «Известия Кружка» и толстые, отпечатанные на веленовой бумаге с портретом Пушкина отчеты.

В них, к сожалению, ни слова о быте, о типах игроков, за счет азарта которых жил и пирировал клуб.

Охотничий клуб

Дом Малкиеля, где был театр Бренко, перешел к миллионеру Спиридонову, который сдал его под Охотничий клуб.

Этот клуб зародился в трактирчике-низке на Неглинном проезде, рядом с Трубной площадью, где по воскресеньям бывал собачий рынок и птичий базар. Трактир так и звали: «Собачий рынок».

Охотники и любители птиц наполняли площадь, где стояли корзины с курами, голубями, индюками, гусями. На подставках висели клетки со всевозможными певчими птицами. Тут же продавались корм для птиц, рыболовные принадлежности, удочки, аквариумы с дешевыми золотыми рыбками и всех пород голуби.

Большой угол занимал собачий рынок. Каких-каких собак здесь не было! И борзые, и хортые, и псовые, и гончары всех сортов, и доги, и бульдоги, и всякая мохнатая и голая мелкота за пазухами у продавцов. Здесь работали собачьи воры.

И около каждой собачьей породы была

своя публика. Вокруг мохнатых болонок и голых левреток, вечно дрожавших, как осиновый лист, суется франты, дамские угодники, высматривающие подарок для дамы сердца. Около сеттеров, легашей и пегих гончих – солидные члены богатых обществ, ружейные охотники. Возле дворняг и всяких ублюдков на веревках, без ошейников – огородники и домовладельцы с окраины, высматривающие цепного сторожа. Оборванцы, только что поймавшие собаку, тащили ее на рынок. Между ними бывали тоже особенные специалисты.

Так года два подряд каждое воскресенье мальчуган приводил на веревке красивую и ласковую рыжую собаку по кличке Цезарь, дворняжку, которая жила на извозничьем дворе-трактире в Столешниковом переулке, и продавал ее. На другой день собака с перегрызенной веревкой уже была дома и ждала следующего воскресенья. Бывало, что собаку признавали купцы, но доказать было нельзя, и Цезарь снова продавался.

Яркой группой были борзятники, окружавшие своры борзых собак, псовых, хортых и паратых гончих; доезжачие в чекменях и под-

девках с чеканными поясами, с охотничьим рогом через плечо, с арапником и лихо заломленными шапками.

По одному виду можно было понять, что каждому из них ничего не стоит остановить коня на полном карьере, прямо с седла ринуться на матерого волка, задержанного на лету dospевшей собакой, налечь на него всем телом и железными руками схватить за уши, придавить к земле и держать, пока не сострунят.

Они осматривают собак, спорят. Разговор их не всякий поймет со стороны. Так и сыплются слова:

– Пазонки, черные мяса, выжлец, переярок, щипцы, прибылой, отрыж.

Вот, кажется, знакомое слово «щипцы», а это, оказывается, морда у борзой так называется.

Были тут и старики с седыми усами в дорогих расстегнутых пальто, из-под которых виднелся серебряный пояс на чекмене. Это – борзятники, москвичи, по зимам живущие в столице, а летом в своих имениях; их с каждым годом делалось меньше. Псовая охота, про-

цветавшая при крепостном праве, замирала. Кое-где еще держали псарни, но в маленьком масштабе.

По зимам охотники съезжались в Москву на собачью выставку отовсюду и уже обязательно бывали на Трубе. Это место встреч провинциалов с москвичами. С рынка они шли в «Эрмитаж» обедать и заканчивать день или, вернее сказать, ночь у «Яра» с цыганскими хорами, «по примеру своих отцов».

Ружейные охотники – москвичи – сплоченной компанией отправлялись в трактир «Собачий рынок», известный всем охотникам под этим названием, хотя официально он назывался по фамилии владельца.

Трактир «Собачий рынок» был не на самой площади, а вблизи нее, на Неглинном проезде, но считался на Трубе. Это был грязноватый трактирчик-низок. В нем имелся так называемый чистый зал, по воскресеньям занятый охотниками. Каждая их группа на этот день имела свой дожидавшийся стол.

Псовые и ружейные охотники, осмотрев до мелочей и разобрав по косточкам всякую достойную внимания собаку, отправлялись в

свой низок, и за рюмкой водки начинался разговор «по охоте».

В трактир то и дело входили собачники со щенками за пазухой и в корзинках (с большими собаками барышников в трактир не впускали), и начинался осмотр, а иногда и покупка собак.

Кривой собачник Александр Игнатьев, знаменитый собачий вор, предлагает желто-пегого пойнтера и убедительно говорит:

– От самого Ланского с Тверского бульвара. Вчера достукались. – Поднимает за шиворот щенка. – Его мать в прошлом году золотую медаль на выставке в манеже получила. Дианка. Помните?

Александр Михайлович Ломовский, генерал, самое уважаемое лицо между охотниками Москвы, тычет пальцем в хвост щенка и делает какой-то крюк рукой.

– Это ничего-с, Александр Михайлыч. Уж такой прутик, какого поискать.

Ломовский опять молча делает крюк рукой.

– Помилуйте, Александр Михайлыч, не может же этого быть. Мать-то его, Дианка, ведь

родная сестра...

– Словом, «родная сестра тому кобелю, которого вы, наверное, знаете», – замечает редактор журнала «Природа и охота» Л. П. Сабанеев и обращается к продавцу: – Уходи, Сашка, не проедайся. Нашел кого обмануть! Уж если Александру Михайлычу несешь собаку, так помни про хвост. Понимаешь, прохвост, помни!

Продавец конфузливо уходит, рассуждая:

– Ну, хоть убей, сам никакого порока не видел! Не укажи Александр Михайлыч чутошную поволоку в прутике... Ну и как это так? Ведь же от Дианки... Родной брат тому кобелю...

Третий собеседник, Николай Михайлович Левачев, городской инженер, известный перестройкой подземной Неглинки, в это время, не обращая ни на что никакого внимания, составлял на закуску к водке свой «Левачевский» салат, от которого глаза на лоб лезли.

Подходили к этому столу самые солидные московские охотники, садились, и разговоры иногда продолжались до поздней ночи.

В одно из таких воскресений договорились

до необходимости устроить Охотничий клуб. На другой день был написан Сабанеевым устав, под которым подписались во главе с Ломовским влиятельные люди, и через месяц устав был утвержден министром.

Почти все московские охотники, люди со средствами, стали членами клуба, и он быстро вошел в моду.

Началось с охотничьих собеседований, устройства выставок, семейных вечеров, охотничьих обедов и ужинов по субботам с дамами и хорами певиц, цыганским и русским.

Но сразу прохарчились. Расход превысил доход. Одной бильярдной и скромной коммерческой игры в карты почтенных старичков-охотников оказалось мало. Штрафов – ни копейки, а это главный доход клубов вообще. Для них нужны азартные игры. На помощь явился М. Л. Лазарев, бывший секретарь Скаковского общества, страстный игрок.

Горячо взялся Лазарев за дело, и в первый же месяц касса клуба начала пухнуть от денег. Но главным образом богатеть начал клуб на Тверской, в доме, где был когда-то «Пуш-

кинский театр» Бренко.

И началась азартная игра.

В третьем этаже этого дома, над бальной залой и столовой, имелась потайная комната, до которой добраться по лестничкам и запутанным коридорчикам мог только свой человек. Допускались туда только члены клуба, крупные игроки. Игра начиналась после полуночи, и штраф к пяти часам утра доходил до тридцати восьми рублей. Так поздно начинали играть для того, чтобы было ближе к штрафу, и для того, чтобы было меньше разговоров и наплыва любопытствующих и мелких игроков. А крупным игрокам, ведущим тысячную игру, штраф нипочем.

В одной из этих комнат стояло четыре круглых стола, где за каждый садилось по двенадцати человек. Тут были столы «рублевые» и «золотые», а рядом, в такой же комнате, стоял длинный, покрытый зеленым сукном стол для баккара и два круглых «сторублевых» стола для «железки», где меньше ста рублей ставка не принималась. Здесь игра начиналась не раньше двух часов ночи, и бывали случаи, что игроки засиживались в этой

комнате вплоть до открытия клуба на другой день, в семь часов вечера, и, отдохнув тут же на мягких диванах, снова продолжали игру.

Полного расцвета клуб достиг в доме графа Шереметева на Воздвиженке, где долго помещалась городская управа.

С переездом управы в новое здание на Воскресенскую площадь дом занял Русский охотничий клуб, роскошно отделав загаженные канцеляриями барские палаты.

Пошли маскарады с призами, обеды, выставки и субботние ужины, на которые съезжались буржуазные прожигатели жизни обо-его пола. С Русским охотничьим клубом в его новом помещении не мог спорить ни один другой клуб; по азарту игры достойным соперником ему явился впоследствии Кружок.

* * *

Поздний час. За длинным столом сидело и стояло человек пятнадцать. Шла баккара. Посредине стола держал банк изящный брюнет, методически продвигая по зеленому сукну холеной, слегка вздрагивающей рукой без всяких украшений атласную карту. Он то и дело брал папиросу, закуривал не торопясь, стара-

ясь казаться хладнокровным. По временам он как-то странно моргал глазами, но его красивое лицо было неподвижно, как маска. Перед ним лежали пачки сотенных, тысяч на пять, а напротив, у его помощника, груды более мелких кредиток и тоже груды сотенных.

Его помощник, облысевший преждевременно, бесцветный молодой человек в смокинге – неудачный отпрыск когда-то богатого купеческого рода. Он исправлял должность крупье, платил, когда банк проигрывал, и получал выигрыши. После каждой полочки аккуратно раскладывал кредитки, сортируя их. Кругом сидели обычные понтеры, любители баккара. Темный шатен с самой красивой бородой в Москве, на которую заглядывались дамы и которая дорого обошлась московским купчихам... Перед ним горка разбросанных сотенных, прикрытых большой золотой табакеркой, со сверкающей большой французской буквой N во всю ее крышку.

За эту табакерку он заплатил бешеные деньги в Париже, потому что это была табакерка Наполеона I. Из-за нее, как рассказывал владелец, Наполеон проиграл Ватерлоо, так

как, нюхая табак, недослышал доклада адъютанта, перепутал направления и двинул кавалерию по пересеченной местности, а пехоту – по равнине.

– Понюшка табаку перевернула мир! – так заключал он свой рассказ и показывал друзьям, вынимая из бумажника официальное удостоверение, что эта табакерка действительно принадлежала Наполеону.

Он, не считая, пачками бросал деньги, спокойной рукой получал выигрыши, не обращая внимания на проигрыш. Видно, что это все ему или скучно, или мысль его была далеко. Может быть, ему вспоминался безбородый юноша-маркер, а может быть, он предчувствовал грядущие голодные дни на Ривьере и в Монако.

Рядом с ним так же спокойно проигрывал и выигрывал огромные куши, улыбаясь во всю ширь круглого, румяного лица, покручивая молодые усики, стройный юноша, богач с Волги.

Он играл, как ребенок, увлекшийся занявшей его в тот момент игрушкой, радовался и ни о чем не думал.

Около него – высокий молодой человек с продолговатым лицом, с манерами англичанина. Он похож на статую. Ни один мускул его лица не дрогнет. На лице написана холодная сосредоточенность человека, делающего серьезное дело. Только руки его выдают... Для опытного глаза видно, что он переживает трагедию: ему страшен проигрыш... Он справляется с лицом, но руки его тревожно живут, он не может с ними справиться...

На другом конце стола прилизанный, с английским пробором на лысеющей голове скаковой «джентльмен», поклонник «карт, женщин и лошадей», весь занят игрой. Он соображает, следит за каждой картой, рассматривает каждую полоску ее крапа, когда она еще лежит в ящике под рукой банкюмета, и ставит то мелко, то вдруг большой куш и почти всегда выигрывает.

Банкюмет моргает и нервно тасует колоду, заглядывая вниз. Он ждет, пока дотасует до бубнового туза. Раньше метать не будет. Этот миллионер – честнейший из игроков, но он нервен и суеверен. И нервность его выражается в моргании, а иногда он двигает шеей, –

это уж крайняя степень нервности.

В дом Шереметева клуб переехал после пожара, который случился в доме Спиридонова поздней ночью, когда уж публика из нижних зал разошлась и только вверху, в тайной комнате, играли в «железку» человек десять крупных игроков. Сюда не доносился шум из нижнего этажа, не слышно было пожарного рожка сквозь глухие ставни. Прислуга клуба с первым появлением дыма ушла из дому. К верхним игрокам вбежал мальчуган-карточник и за ним лакей, оба с испуганными лицами, приотворили дверь, крикнули: «Пожар!» – и скрылись.

Но никто на них не обратил внимания. Поздние игроки, как всегда, очень зарвались. Игра шла очень крупная. Метал Александр Степанович Саркизов (Саркуша), богатый человек и умелый игрок, хладнокровный и обстоятельный. Он бил карту за картой и загребал золото и кредитки.

– Пахнет дымом, слышите? – Вдруг поднял голову, понюхал воздух и заволновался, моргая по привычке глазами, табачный фабрикант.

– Это от твоих папирос пахнет! – острит Саркуша и открывает девятку.

Вдруг грохот шагов по коридору. В дверь вместе с дымом врываются швейцар и пожарный.

– Кыш, вы, дьяволы! Сгорите!

– Перегородка в коридоре занялась! – кричит швейцар.

Некоторые в испуге вскочили, ничего не понимая, другие продолжали игру, а Саркуша опять открыл девятку и, загребая деньги, закричал пожарному:

– Тэбэ что за дэло? Дай банк домэтать!

– Да ведь ваши шубы сгорят! – оправдывается швейцар.

Саркуша рассовывает по карманам деньги, схватывает со стола лоток карт и с хохотом швыряет в угол.

Игроки сквозь густой дым едва добрались до парадной лестницы, которая еще не горела, и спустились вниз, в гардеробную, где в ожидании их волновались швейцары.

Эти подробности пожара очень любили рассказывать участники этого злополучного вечера, а Саркуша обижался:

– Какая талия была! Помэшали домэтать!

В большой зале бывшего Шереметевского дворца на Воздвиженке, где клуб давал маскарады, большие обеды, семейные и субботние ужины с хорами певиц, была устроена сцена. На ней играли любители, составившие потом труппу Московского Художественного театра.

Давали спектакли, из которых публике, чисто клубной, предпочитавшей маскарады и веселые ужины, больше всего нравился «Потонувший колокол», а в нем особенно мохнатый леший, прыгавший через камни и рытвины, и страшный водяной, в виде огромной лягушки, полоскавшейся в ручье и кричавшей: «Бре-ке-ке-кекс!»

Труппа была сыгравшаяся, прекрасная. Репертуар поддерживался избранный. Обо всем этом писалось много, – равно как писалось о маскарадах в газетах и даже публиковались в объявлениях названия ценных призов за лучшие костюмы.

Один из лучших призов получил какой-то московский красавец, явившийся в черном фраке, цилиндре, с ярко-синей бородой, расчесанной а-ля Скобелев на две стороны.

Этот костюм выделился между другими, украшенными драгоценными камнями купеческими костюмами, – и «Принц Рауль Синяя борода» получил золотой портсигар в пятьсот рублей.

Львы на воротах

Старейший в Москве Английский клуб помнил еще времена, когда «шумел, гудел пожар московский», когда на пылавшей Тверской, сквозь которую пробивались к заставе остатки наполеоновской армии, уцелел один великолепный дворец.

Дворец стоял в вековом парке в несколько десятин, между Тверской и Козьим болотом. Парк заканчивался тремя глубокими прудами, память о которых уцелела только в названии «Трехпрудный переулок».

Дворец этот был выстроен в половине восемнадцатого века поэтом М. М. Херасковым, и в екатерининские времена здесь происходили тайные заседания первого московского кружка масонов: Херасков, Черкасский, Тургенев, Н. В. Карамзин, Енгальчев, Кутузов и «брат Киновион» – розенкрейцеровское имя

Н. И. Новикова.

В 1792 году арестовали Н. И. Новикова, его кружок, многих масонов.

После 1812 года дворец Хераскова перешел во владение графа Разумовского, который и пристроил два боковых крыла, сделавших еще более грандиозным это красивое здание на Тверской. Самый же дворец с его роскошными залами, где среди мраморных колонн собирался цвет просвещеннейших людей тогдашней России, остался в полной неприкосновенности, и в 1831 году в нем поселился Английский клуб.

Лев Толстой в «Войне и мире» так описывает обед, которым в 1806 году Английский клуб чествовал прибывшего в Москву князя Багратиона: «...Большинство присутствовавших были старые, почтенные люди с широкими, самоуверенными лицами, толстыми пальцами, твердыми движениями и голосами».

Вот они-то и переехали на Тверскую, где на воротах до сего времени дремлют их современники – каменные львы с огромными, отвисшими челюстями, будто окаменевшие

вельможи, переваривающие лукулловский обед. Они смотрят безучастно на шумные, веселые толпы экскурсантов, стремящиеся в Музей Революции, и на пролетающие по Тверской автомобили... Так же безучастно смотрят, как сто лет назад смотрели на золотой герб Разумовских, на раззолоченные мундиры членов клуба в парадные дни, на мчавшиеся по ночам к цыганам пьяные тройки гуляк... Так же безучастно смотрели они в зимние ночи на кучеров на широком клубном дворе, гревшихся вокруг костров.

Одетые в бархатные, обшитые галуном шапки и в воланы дорогого сукна, кучера не знали, куда они попадут завтра: домой или к новому барину?

Отправит ли их новый барин куда-нибудь к себе в «деревню, в глушь, в Саратов», а семью разбросает по другим вотчинам...

Судьба крепостных решалась каждую ночь в «адской комнате» клуба, где шла азартная игра, где жизнь имений и людей зависела от одной карты, от одного очка... а иногда даже – от ловкости банкмета, умеющего быстротой рук «исправлять ошибки фортуны», как выра-

жался Федор Толстой, «Американец», завсегдай «адской комнаты»... Тот самый, о котором Грибоедов сказал:

*Ночной разбойник, дуэлист,
В Камчатку сослан был, вернулся
алеутом,
И крепко на руку нечист...*

И, по-видимому, «Американец» даже гордился этим и сам Константину Аксакову за клубным обедом сказал, что эти строки написаны про него... Загорецкий тоже очень им отдает. Пушкин увековечил «Американца» в Зарецком словами: «Картежной шайки атаман».

Это был клуб Фамусовых, Скалозубов, Загорецких, Репетиловых, Тугоуховских и Чацких.

Конечно, ни Пушкин, ни Грибоедов не писали точных портретов; создавая бытовой художественный образ, они брали их как сырой материал из повседневной жизни.

Грибоедов в «Горе от ума» в нескольких тирах отразил тогдашнюю Москву, в том числе и быт Английского клуба.

Герцен в «Былом и думах» писал, что Английский клуб менее всего английский. В нем

собакевичи кричат против освобождения и ноздревы шумят за естественные и неотъемлемые права дворян...

Это самое красивое здание на Тверской скрывал ряд пристроек-магазинов.

Октябрь смел пристройки, выросшие в первом десятилетии двадцатого века, и перед глазами – розовый дворец с белыми стройными колоннами, с лепными работами. На фронтоне белый герб республики сменил золоченый графский герб Разумовских. В этом дворце – Музее Революции – всякий может теперь проследить победное шествие русской революции, от декабристов до Ленина.

И, как введение в историю Великой революции, как кровавый отблеск зарницы, сверкнувшей из глубины грозных веков, встречают входящих в Музей на площадке вестибюля фигуры Степана Разина и его ватаги, работы скульптора Коненкова. А как раз над ними – полотно художника Горелова:

*Это с Дона челны налетели,
Взволновали простор голубой, —
То Степан удалую ватагу
На добычу ведет за собой...*

Это первый выплыв Степана «по матушке по Волге». А вот и конец его: огромная картина Пчелина «Казнь Стеньки Разина». Москва, площадь, полная народа, бояре, стрельцы... палач... И он сам на помосте, с грозно поднятой рукой, прощается с бунтарской жизнью и вещает грядущее:

*С паденьем головы удалой
Всему, ты думаешь, конец —
Из каждой капли крови алой
Отважный вырастет боец.*

Поднимаешься на пролет лестницы — дверь в Музей, в первую комнату, бывшую приемную. Теперь ее название: «Пугачевщина». Слово, впервые упомянутое в печати Пушкиным. А дальше за этой комнатой уже самый Музей с большим бюстом первого русского революционера — Радищева.

В приемной Английского клуба теперь стоит узкая железная клетка. В ней везли Емельяна с Урала до Москвы и выставляли на площадях и базарах попутных городов «на позорище и устрашение» перед толпами народа, еще так недавно шедшего за ним. В этой клетке привезли его и на Болотную площадь и 16

января 1775 года казнили.

На том самом месте, где стоит теперь клетка, сто лет тому назад стоял сконфуженный автор «Истории Пугачевского бунта» – великий Пушкин.

А на том месте, где сейчас висят цепи Пугачева, которыми он был прикован к стене тюрьмы, тогда висела «черная доска», на которую записывали исключенных за неуплаченные долги членов клуба, которым вход воспрещался впредь до уплаты долгов. Комната эта звалась «лифостротон»[6].

И рисует воображение дальнейшую картину: вышел печальный и мрачный поэт из клуба, пошел домой, к Никитским воротам, в дом Гончаровых, пошел по Тверской, к Страстной площади. Остановился на Тверском бульваре, на том месте, где стоит ему памятник, остановился в той же самой позе, снял шляпу с разгоряченной головы... Лето... Пусто в Москве... Все разъехались по усадьбам... Пусто в квартире... Некуда идти... И видит он клуб, «львов на воротах», а за ними ярко освещенные залы, мягкие ковры, вино, карты... и его любимая «говорильня». Там его

друзья – Чаадаев, Нащокин, Раевский...

И пошел одиноко поэт по бульвару... А вернувшись в свою пустую комнату, пишет 27 августа 1833 года жене: «Скажи Вяземскому, что умер тезка его, князь Петр Долгоруков, получив какое-то наследство и не успев промотать его в Английском клубе, о чем здешнее общество весьма жалеет. В клубе не был, чуть ли я не исключен, ибо позабыл возобновить свой билет, надобно будет заплатить штраф триста рублей, а я бы весь Английский клуб готов продать за двести рублей».

Уже впоследствии Пугачев помог ему расплатиться с клубом, и он снова стал посещать его.

В письме к П. В. Нащокину А. С. Пушкин 20 января 1835 года пишет: «Пугачев сделался добрым, исправным плательщиком оброка... Емелька Пугачев оброчный мой мужик... Денег он мне принес довольно, но как около двух лет жил я в долг, то ничего и не остается у меня за пазухой и все идет на расплату».

И Пушкин и Грибоедов хорошо знали клуб. «Горе от ума» – грибоедовская Москва, и многие типы его – члены Английского клуба. Как-

то я нашел в извлечениях из «Журнала старшин» клуба, где записывались только обстоятельства почему-либо «достопамятные», следующее: «1815 г. Предложенный от члена Сибилева из кандидатов в члены г-н Чатский по баллотированию не избран, вновь перебаллотирован и тоже не избран». Забаллотировали в Английский клуб – это событие! О нем говорила вся барская Москва. Кто такой Чатский и почему он не избран? Но хочется предположить, что есть что-то общее с «Горе от ума». По крайней мере, фамилия Чатский – это Чацкий.

И является вопрос: за что могли не избрать в члены клуба кандидата, то есть лицо, уже бывавшее в клубе около года до баллотировки? Вернее всего, что за неподходящие к тому времени взгляды, которые высказывались Чатским в «говорильне».

Те речи и монологи, которые мы читаем в «Горе от ума», конечно, при свободе слова в «говорильне» могли им произноситься как кандидатом в члены, но при баллотировке в члены его выбрать уже никак не могли и, вероятно, рады были избавиться от такого «яко-

бинца». Фамусовы, конечно, Чацкого не выберут. Это, конечно, мои предположения, но я уверен, что Чатский, забаллотированный в 1815 году, и Чацкий Грибоедова, окончившего пьесу в 1822 году, несомненно, имеют общее. Во всяком случае, писатель помнил почему-то такую редкую фамилию.

«Народных заседаний проба в палатах Аглицкого клуба». Может быть, Пушкин намекает здесь на политические прения в Английском клубе. Слишком близок ему был П. Я. Чаадаев, проводивший ежедневно вечера в Английском клубе, холостяк, не игравший в карты, а собиравший около себя в «говорильне» кружок людей, смело обсуждавших тогда политику и внутренние дела. Некоторые черты Чаадаева Пушкин придал своему Онегину в описании его холостой жизни и обстановки...

Сейчас, перечитывая бессмертную комедию, я еще раз утверждаюсь, что забаллотированный Чатский и есть Чацкий. Разве Фамусов, «Аглицкого клуба верный сын до гроба», – а там почти все были Фамусовы, – потерпел бы Чацкого в своей среде? А как забал-

лотировать? Да пустить слух, что он... сумасшедший!..

А весь монолог Репетилова – разве это не портреты членов Английского клуба?

Чацкий. Чай в клубе?

Репетилов. ...В Английском!..

У нас есть общество, и тайные собрания

По четвергам. Секретнейший Союз.

Чацкий. ...В клубе?

Репетилов. Именно... Шумим, братец, шумим!

Конечно, и Чаадаев, о котором в связи с Английским клубом вспоминает Герцен в «Былом и думах», был бельмом на глазу, но исключить его было не за что, хотя он тоже за свои сочинения был объявлен сумасшедшим, – но это окончилось благополучно, и Чаадаев неизменно, от юности до своей смерти 14 апреля 1856 года, был членом клуба, и, по преданиям, читал в «говорильне» лермонтовское стихотворение на смерть Пушкина. Читал – а его слушали «ничтожные потомки известной подлостью прославленных отцов...»

В своих письмах Чаадаев два раза упоми-

нает Английский клуб.

В письме к А. С. Пушкину в 1831 году: «...я бываю иногда – угадайте где? В Английском клубе! Вы мне говорили, что Вам пришлось бывать там; а я бы Вас встречал там, в этом прекрасном помещении, среди этих греческих колонн, в тени прекрасных деревьев...»

Потом, уже перед концом своей жизни, Чаадаев, видимо нуждаясь в деньгах, пишет своей кузине Щербатовой:

«...К довершению всего теперь кредит в клубе ограничен пятьюдесятью рублями, каковая сумма Вашим кузеном уже давно исчерпана...»

За два дня до своей смерти Чаадаев был еще в Английском клубе и радовался окончанию войны. В это время в «говорильне» смело обсуждались политические вопросы, говорили о войне и о крепостничестве.

И даже сам Николай I чутко прислушивался к этим митингам в «говорильне» и не без тревоги спрашивал приближенных:

– А что об этом говорят в Москве в Английском клубе?

Здесь в самые страшные николаевские

времена говорили беспрепятственно даже о декабристах. В том же «Журнале старшин» 24 сентября записано: «Офисиянт клуба Алексей Герасимов Соколов пришел поутру убирать комнату, нашел на столе запечатанное письмо с надписью: «Ивану Петровичу Бибикову, полковнику жандармов, прошу старшин вручить ему». Старшины по представлению им письма положили, пригласив г-на Бибикова, в присутствии его то письмо сжечь, а буде Бибиков изъявит желание получить его, как по подписи ему принадлежащее, в таковом случае предоставить ему оное взять, которое однакож Бибиков не принял, а письмо в общем присутствии старшин было сожжено...»

В книге Семенникова (Госиздат, 1921 г.) «Книгоиздательская деятельность Н. И. Новикова» среди перечисленных изданий упоминается книга, автором которой значится В. В. Чичагов. Это имя напомнило мне многое.

В прошлом столетии, в восьмидесятых годах я встречался с людьми, помнившими рассказы этого старика масона, в былые времена тоже члена Английского клуба, который много рассказывал о доме поэта М. М. Хераскова.

Дом был выстроен во второй половине XVIII века поэтом совместно с братом генерал-поручиком А. М. Херасковым. Поэт Херасков жил здесь с семьей до самой своей смерти.

При М. М. Хераскове была только одна часть, средняя, дворца, где колонны и боковые крылья, а может быть, фронтоны с колоннами и ворота со львами были сооружены после 1812 года Разумовским, которому Херасковы продали имение после смерти поэта в 1807 году. Во время пожара 1812 года он уцелел, вероятно, только благодаря густому парку. Если сейчас войти на чердак пристроек, то на стенах главного корпуса видны уцелевшие лепные украшения бывших наружных боковых стен.

В первой половине прошлого столетия в палатах дворца Разумовского существовала протестующая «говорильня», к которой прислушивался царь.

За сто лет в этом доме поэта Хераскова звучали речи масонов, закончившиеся их арестом.

Со смертью Чаадаева в 1856 году «гово-

рильня» стала «кофейной комнатой», где смелые речи сменились пересказом статей из «Московских ведомостей» и возлежанием в креслах пресытившихся гурманов и проигравшихся картежников.

Л. Н. Толстой, посещавший клуб в период шестидесятых годов, назвал его в «Анне Карениной» – «храм праздности». Он тоже вспоминает «говорильню», но уже не ту, что была в пушкинские времена.

Князь Гагин, введя в эту комнату Левина, назвал ее «умною». В этой комнате трое господ говорили о последней новости в политике.

Он описывает в другом месте клубные впечатления декабриста Волконского, в шестидесятых годах вернувшегося из сибирской каторги:

«Пройдясь по залам, уставленным столами со старичками, играющими в ералаш, повернувшись в inferнальной, где уж знаменитый «Пучин» начал свою партию против «компаний», постояв несколько времени у одного из бильярдов, около которого, хватаясь за борт, семенил важный старичок и еле-еле

попадал в своего шара, и, заглянув в библиотеку, где какой-то генерал степенно читал через очки, далеко держа от себя газету, и записанный юноша, стараясь не шуметь, пересматривал подряд все журналы, он направился в комнату, где собирались умные люди разговаривать».

Одна из особенностей «умной комнаты» состояла в том, что посетители ее знали, когда хотели знать, все, что делалось на свете, как бы тайно оно ни происходило.

В «Войне и мире» описывается роскошный бал, данный Москвой Багратиону в Английском клубе.

Вот и все, что есть в литературе об этом столетнем московском дворянском гнезде.

Ничего нет удивительного. Разве обыкновенного смертного, простого журналиста, пустили бы сюда?

Нет и нет!

Если мне несколько раз и в прошлом и нынешнем столетии удалось побывать в этом клубе, то уж не как журналисту, а как члену охотничьих и спортивных обществ, где членами состояли одновременно и члены Ан-

глийского клуба.

Дом принадлежал тогда уж не Разумовским, а Шаблыкину.

Роскошь поразительная. Тишина мертвая – кроме «инфернальной», где кипела азартная игра на наличные: в начале этого века среди членов клуба появились богатые купцы, а где купец, там денежки на стол.

Только сохранил свой старый стиль огромный «портретный» зал, длинный, уставленный ломберными столами, которые все были заняты только в клубные дни, то есть два раза в неделю – в среду и в субботу.

Здесь шла скромная коммерческая игра в карты по мелкой, тихая, безмолвная. Играли старички на своих, десятилетиями насиженных местах. На каждом столе стояло по углам по четыре стеариновых свечи, и было настолько тихо, что даже пламя их не колыхалось.

Время от времени играющие мановением руки подзывали лакеев, которые бесшумно, как тени, вырастали неведомо откуда перед барином, молчаливо делающим какой-то, им двоим известный, жест.

Тень лакея, такого же старого, как и барин, исчезала, и через минуту рядом с ломберным столом появлялся сервированный столик.

Этот «портретный» зал назывался членами клуба в шутку «детская».

Назывался он не в насмешку над заседавшими там старичками, а потому, что там велась слишком мелкая игра, и играющие, как умные детки, молчали наравне с мундирными портретами по стенам. А чуть кто-нибудь возвышал голос в карточном споре, поднимались удивленные головы, раздавалось повелительное «тс», и все смолкало.

Вход в «портретную» был через аванзал, которым, собственно, начинался клуб.

Аванзал – большая комната с огромным столом посредине, на котором в известные дни ставились баллотировочные ящики, и каждый входящий в эти дни член клуба, раньше чем пройти в следующие комнаты, обязан был положить в ящики шары, сопровождаемый дежурным старшиной.

Это были дни баллотировки в действительные члены.

По всем стенам аванзала стояли удивли-

тельно покойные, мягкие диваны, где после обеда члены клуба и гости переваривали пищу в облаках дыма ароматных сигар, а в старину – жуковского табаку в трубках с сажеными черешневыми чубуками, которые зажигали лакеи.

Старички особенно любили сидеть на диванах и в креслах аванзала и наблюдать проходящих или сладко дремать. Еще на моей памяти были такие древние старички – ну совсем князь Тугоуховский из «Горе от ума». Вводят его в мягких замшевых или суконных сапожках, закутанного шарфом, в аванзал или «кофейную» и усаживают в свое кресло. У каждого было излюбленное кресло, которое в его присутствии никто занять не смел.

– Кресло Геннадия Владимировича.

Садился старичок, смотрел вокруг, старался слушать вначале, а потом тихо засыпал.

Старый лакей, который служил здесь еще во времена крепостного права, знающий привычки старого барина, в известный час поставит перед ним столик с прибором и дымящейся серебряной миской и осторожно будит его, поглядывая на часы:

– Ваше превосходительство! Часы в этот момент начинают бить девять.

– Ваше превосходительство, кашка поставлена.

– А? Уж девять? Слышу!

Полакомится кашкой – и ведут его в карету.

Направо из аванзала вход во «фруктовую», где стояли столы с фруктами и конфетами, а за «фруктовой» – большая парадная столовая.

Левая дверь из аванзала вела в уже описанную «портретную».

В одно из моих ранних посещений клуба я проходил в читальный зал и в «говорильне» на ходу, мельком увидел старика военного и двух штатских, сидевших на диване в углу, а перед ними стоял огромный, в черном сюртуке, с львиной седеющей гривой, полный энергии человек, то и дело поправлявший свое скакивающее пенсне, который ругательски ругал «придворную накипь», по протекции рассылаемую по стране управлять губерниями.

Это был известный винодел Лев Голицын, когда-то блестяще окончивший Московский

университет, любимец профессора Никиты Крылова, известный краснобай, горячий спорщик, всегда громко хваставшийся тем, что он «не посрамлен никакими чинами и орденами».

Сидящий военный был А. А. Пушкин – сын поэта. Второй, толстый, с седеющими баками, был губернатор В. С. Перфильев, женатый на дочери Толстого, «Американца».

Льва Голицына тоже недолюбливали в Английском клубе за его резкие и нецензурные по тому времени (начало восьмидесятых годов) речи. Но Лев Голицын никого не боялся. Он ходил всегда, зиму и лето, в мужицком бобриковом широченном армяке, и его огромная фигура обращала внимание на улицах.

Извозчики звали его «диким барином». Тартары в его кавказском имении прозвали его «Аслан Дели» – сумасшедший Лев.

Он бросал деньги направо и налево, никому ни в чем не отказывал, особенно учащейся молодежи, держал на Тверской, на углу Чернышевского переулка, рядом с генерал-губернаторским домом магазинчик виноградных вин из своих великолепных крымских вино-

градников «Новый Свет» и продавал в розницу чистое, натуральное вино по двадцать пять копеек за бутылку.

– Я хочу, чтобы рабочий, мастеровой, мелкий служащий пили хорошее вино! – заявил он.

В конце девяностых годов была какая-то политическая демонстрация, во время которой от дома генерал-губернатора расстреливали и разгоняли шашками жандармы толпу студентов и рабочих. При появлении демонстрации все магазины, конечно, на запор.

Я видел, как упало несколько человек, видел, как толпа бросилась к Страстному и как в это время в открывшихся дверях голицынского магазина появилась в одном сюртуке, с развевающейся седой гривой огромная фигура владельца. Он кричал на полицию и требовал, чтобы раненых несли к нему на перевязку.

Через минуту его магазин был полон спасшимися. Раненым делали перевязку в задней комнате дочь и жена Л. Голицына, а сам он откупоривал бутылку за бутылкой дорогие вина и всех угощал.

Когда полиция стала стучать в двери, он запер магазин на ключ и крикнул:

– Я именинник, это – мои гости!

Через черный ход он выпустил затем всех, кому опасно было попадаться в руки полиции, и на другой день в «говорильне» клуба возмущался действиями властей.

Конечно, такой член Английского клуба был не по нутру тайным, советникам, но в «говорильне» его слушали.

Однажды в «говорильне» Лев Голицын громовым голосом, размахивая руками и поминутно поправляя пенсне, так же горячо доказывал необходимость запрещения водки, чтобы народ пил только чистые виноградные вина.

– Мы богаты, наш юг создан для виноградарства! Ему пробовал возражать красивый высокий блондин с закрученными усами – В. Н. Мартынов, видный чиновник удельного ведомства, Мартынов – сын убийцы Лермонтова.

Перед ними стоял старик с белой шевелюрой и бородой. Он делился воспоминаниями с соседями. Слышались имена: Лермонтов,

Пушкин, Гоголь...

Это был А. А. Стахович, известный коннозаводчик и автор интересных мемуаров, поклонник Пушкина и друг Гоголя. В своем имении «Пальне» под Ельцом он поставил в парке памятник Пушкину: бюст на гранитном пьедестале.

Бывали здесь и другие типы. В начале восьмидесятых годов сверкала совершенно лысая голова московского вице-губернатора, человека очень веселого, И. И. Красовского. Про него было пущено, кажется Шумахером, четверостишие:

*Краса инспекции московской
И всей губернии краса —
Иван Иванович Красовский,
Да где же ваши волоса?*

Бывал и обер-полицмейстер А. А. Козлов, не пропускавший ни одного значительного пожара. По установленному издавна порядку о каждом пожаре посетители Английского клуба извещались: входил специальный слуга в залы, звонил звонком и тихим, бархатным голосом извещал:

– В Городской части пожар номер пять, на

Ильинке.

– В Рогожской, в Дурном переулке пожар номер три.

И с первым появлением этого вестника выскакивал А. А. Козлов, будь в это время обед или ужин, и мчался на своей лихой паре, переодеваясь на ходу в непромокаемый плащ и надевая каску, которая всегда была в экипаже. С пожара он возвращался в клуб доедать свой обед или ужин.

Собирались иногда в «кофейной» П. И. Бартнев – издатель «Русского архива» и К. К. Тарновский – драматург.

За «говорильней» следовала большая гостиная; в ней, как и в «портретной», ломберные столы были заняты крупными игроками в коммерческие игры.

Десятками тысяч рублей здесь кончались пультки и роббера.

За большой гостиной следовала «галерея» – длинная комната, проходная в бильярдную и в читальню, имевшая также выход в сад.

Бильярдная хранила старый характер, описанный Л. Н. Толстым. Даже при моем по-

следнем посещении клуба в 1912 году я видел там китайский бильярд, памятный Л. Н. Толстому.

На этом бильярде Лев Николаевич в 1862 году проиграл проезжему офицеру тысячу рублей и пережил неприятную минуту: денег на расплату нет, а клубные правила строги – можно и на «черную доску» попасть.

Чем бы это окончилось – неизвестно, но тут же в клубе находился М. Н. Катков, редактор «Русского вестника» и «Московских ведомостей», который, узнав, в чем дело, выручил Л. Н. Толстого, дав ему займы тысячу рублей для расплаты. А в следующей книге «Русского вестника» появилась повесть Толстого «Казачки».

В левом углу проходной «галереи» была дверка в «инфернальную» и в «старшинскую» комнату, где происходили экстренные заседания старшин в случае каких-нибудь споров и недоразумений с гостями и членами клуба. Здесь творили суд и расправу над виновными, имена которых вывешивались на «черную доску».

Рядом со «старшинской» был внутренний

коридор и комната, которая у прислуги называлась «ажидация», а у членов – «лакейская». Тут ливрейные лакеи азартных игроков, засиживавшихся в «инфернальной» до утра, ожидали своих господ и дремали на барских шубах, расположившись на деревянных диванах.

Эта «ажидация» для выездных лакеев, которые приезжали сюда в старые времена на запятках карет и саней, была для них клубом. Лакеи здесь судачили, сплетничали и всю подноготную про своих господ разносили повсюду.

За «галереей» и бильярдной была читальня в пристройке, уже произведенной Разумовским после 1812 года. Этот зал строил Жилярди.

Входишь – обычно публики никакой. Сядешь в мягкое кресло. Ни звука. Только тикают старинные часы. Зеленые абажуры над красным столом с уложенными в удивительном порядке журналами и газетами, к которым редко прикасаются.

Безмолвно и важно стоят мраморные колонны, поддерживающие расписные своды –

творчество художников времен Хераскова.

Поблескивают золотыми надписями кожаные переплеты сквозь зеркальные стекла шкафов. Окна занавешены. Только в верхнюю, полукруглую часть окна, незашторенную, глядит темное небо.

Великолепные колонны с лепными карнизами переходят в покойные своды, помнящие тайные сборища масонов, – по преданиям, здесь был кабинет Хераскова. Сквозь полумрак рельефно выступает орнамент – головы каких-то рыцарей.

Верхний полукруг окна осветился выглянувшей из-за облака луной, снова померк... Часы бьют полночь. С двенадцатым ударом этих часов в ближайшей зале забили другие – и с новым двенадцатым ударом в более отдаленной зале густым, бархатным басом бьют старинные английские часы, помнящие сева-стопольские разговоры и, может быть, эпиграммы на царей Пушкина и страстные строфы Лермонтова на смерть поэта...

В ярком блеске «храм праздности» представлялся в дни торжественных обедов.

К шести часам в такие праздники обжор-

ства Английский клуб был полон. Старики, молодежь, мундиры, фраки... Стоят кучками, ходят, разговаривают, битком набита ближайшая к большой гостиной «говорильня». А двери в большую гостиную затворены: там готовится огромный стол с выпивкой и закуской...

– Сезон блюсти надо, – говаривал старшина по хозяйственной части П. И. Шаблыкин, великий гурман, проевший все свои дома. – Сезон блюсти надо, чтобы все было в свое время. Когда устрицы флексбургские, когда остендские, а когда крымские. Когда лососина, когда семга... Мартовский белорыбий балычок со свежими огурчиками в августе не подашь!

Все это у П. И. Шаблыкина было к сезону – ничего не пропустит. А когда, бывало, к новому году с Урала везут багряную икру зернистую и рыбу – первым делом ее пробуют в Английском клубе.

Настойки тоже по сезону: на почках березовых, на почках черносморозинных, на травах, на листьях, – и воды разные шипучие – секрет клуба...

Но вот часы в залах, одни за другими, бьют шесть. Двери в большую гостиную отворяются, голоса смолкают, и начинается шарканье, звон шпор... Толпы окружают закусочный стол. Пьют «под селедочку», «под парную белужью икорку», «под греночки с мозгами» и т. д. Ровно час пьют и закусывают. Потом из залы-читальни доносится первый удар часов – семь, – и дежурный звучным баритоном покрывает чоканье рюмок и стук ножей.

– Кушанье поставлено!

Блестящая толпа человек в двести движется через «говорильню», «детскую» и «фруктовую» в большую столовую, отделенную от клуба аванзалом.

Занимают места, кто какое облюбует.

На хорах – оркестр музыки. Под ним, на эстраде хоры – или цыганский, или венгерский, или русский от «Яра».

Эстрада в столовой – это единственное место, куда пропускаются женщины, и то только в хоре. В самый же клуб, согласно с основания клуба установленным правилам, ни одна женщина не допускалась никогда. Даже полы мыли мужчины.

Уселись. Старейший цыган Федор Соколов повел седым усом, сверкнул глазами, притопнул ногой, звякнул струной гитары – и грянул цыганский хор.

А налево, около столов, уставленных дымящимися кастрюлями, замерли как статуи, в белых одеждах и накрахмаленных белых колпаках, с серебряными черпаками в руках, служители «храма праздности».

Теперь здесь зал заседаний Музея Революции.

Сошел на нет и этот клуб. У большинства дворян не осталось роскошных выездов. Дела клуба стали слабнуть, вместо шестисот членов осталось двести. Понемногу стало допускаться в члены и именитое купечество.

Люднее стало в клубе, особенно в картежных комнатах, так как единственно Английский клуб пользовался правом допускать у себя азартные игры, тогда строго запрещенные в других московских клубах, где игра шла тайно. В Английский клуб, где почетным старшиной был генерал-губернатор, а обер-полицмейстер – постоянным членом, полиция не смела и нос показать.

После революции 1905 года, когда во всех клубах стали свободно играть во все азартные игры, опять дела клуба ослабли; пришлось изобретать способы добычи средств. Избрали для этой цели особую комиссию. Избранники додумались использовать пустой двор возведением на нем по линии Тверской, вместо стильной решетки и ворот с историческими львами, ряда торговых помещений.

Несколько членов этой комиссии возмутились нарушением красоты дворца и падением традиций. Подали особое мнение, в котором, между прочим, было сказано, что «клубу не подобает пускаться в рискованные предприятия, совсем не подходящие к его традициям», и закончили предложением «не застраивать фасада дома, дабы не очутиться на задворках торговых помещений».

Пересилило большинство новых членов, и прекрасный фасад Английского клуба, исторический дом поэта Хераскова, дворец Разумовских, очутился на задворках торговых помещений, а львы были брошены в подвал.

Дела клуба становились все хуже и хуже... и публика другая, и субботние обеды – парад-

ных уже не стало – скучнее и малолюднее... Обеды накрывались на десять – пятнадцать человек. Последний парадный обед, которым блеснул клуб, был в 1913 году в 300-летие дома Романовых.

А там грянула империалистическая война. Половина клуба была отдана под госпиталь. Собственно говоря, для клуба остались прихожая, аванзал, «портретная», «кофейная», большая гостиная, читальня и столовая. А все комнаты, выходящие на Тверскую, пошли под госпиталь. Были произведены перестройки. Для игры «инфернальная» была заменена большой гостиной, где метали баккара, на поставленных посредине столов играли в «железку», а в «детской», по-старому, шли игры по маленькой.

В таком виде клуб влачил свое существование до начала 1918 года, когда самый клуб захватило и использовало для своих нужд какое-то учреждение.

Одним из первых распоряжений организованной при Наркомпросе Комиссии по охране памятников искусства и старины было уничтожение торговых помещений перед фа-

садом дворца.

Революция открыла великолепный фасад за железной решеткой со львами, которых снова посадили на воротах, а в залах бывшего Английского клуба был организован Музей старой Москвы.

Наконец, 12 ноября 1922 года в обновленных залах бывшего Английского клуба открывается торжественно выставка «Красная Москва», начало Музея Революции. Это – первая выставка, начало революционного Музея в бывшем «храме праздности».

Выставка открылась в 6 часов вечера 12 ноября. Ярко горит электричество в холодных, несколько лет не топленных роскошных залах Английского клуба. Красные флаги расцвели холодный мрамор старинных стен. Из «портретной» доносятся говор, шарканье ног, прорезаемые иногда звоном шпор...

Тот же «портретный» зал. Только портреты другие. На стенах портреты и фотографии бойцов Октябрьской революции в Москве.

Зал переполнен. Наркомы, представители учреждений, рабочих организаций... Пальто, пиджаки, кожаные куртки, военные шинь-

ли... В первый раз за сто лет своего существования зал видит в числе почетных гостей женщин. Гости собираются группами около уголков и витрин – каждый находит свое, близкое ему по переживаниям.

Стены, увешанные оружием, обрамляющим фотографии последних московских боев, собрали современников во главе с наркоманди... На фотографиях эпизодов узнают друг друга... Говорят...

*Бойцы вспоминают минувшие дни
И битвы, где вместе рубились
они.*

Студенты

До реакции восьмидесятых годов Москва жила своею жизнью, а университет – своею.

Студенты в основной своей части еще с шестидесятых годов состояли из провинциальной бедноты, из разночинцев, не имевших ничего общего с обывателями, и ютились в «Латинском квартале», между двумя Бронными и Палашевским переулком, где немощные улицы были заполнены деревянной стройкой с мелкими квартирами.

Кроме того, два больших заброшенных барских дома дворян Чебышевых, с флигелями, на Козихе и на Большой Бронной почти сплошь были заняты студентами.

Первый дом назывался между своими людьми «Чебышевская крепость», или «Чебыши», а второй величали «Адом». Это – наследие нечаевских времен. Здесь в конце шестидесятых годов была штаб-квартира, где жили студенты-нечаевцы и еще раньше собирались Каракозовцы, члены кружка «Ад».

В каждой комнатухе студенческих квар-

тир «Латинского квартала» жило обыкновенно четверо. Четыре убогие кровати, они же стулья, столик да полка книг.

Одевалось студенчество кто во что, и нередко на четырех квартирантов было две пары сапог и две пары платья, что устанавливало очередь: сегодня двое идут на лекции, а двое других дома сидят; завтра они пойдут в университет.

Обедали в столовых или питались всухомятку. Вместо чая заваривали цикорий, круглая палочка которого, четверть фунта, стоила три копейки, и ее хватало на четверых дней на десять.

К началу учебного года на воротах каждого дома висели билетки – объявления о сдаче комнат внаймы. В половине августа эти билетки мало-помалу начинали исчезать.

В семидесятых годах формы у студентов еще не было, но все-таки они соблюдали моду, и студента всегда можно было узнать и по манерам, и по костюму. Большинство, из самых радикальных, были одеты по моде шестидесятых годов: обязательно длинные волосы, нахлобученная таинственно на глаза шля-

па с широченными полями и иногда – верх щегольства – плед и очки, что придавало юношам ученый вид и серьезность. Так одевалось студенчество до начала восьмидесятых годов, времени реакции.

Вступив на престол, Александр III стал заводить строгие порядки. Они коснулись и университета. Новый устав 1884 года уничтожил профессорскую автономию и удвоил плату за слушание лекций, чтобы лишить бедноту высшего образования, и, кроме того, прибавился новый расход – студентам предписано было носить новую форму: мундиры, сюртуки и пальто с гербовыми пуговицами и фуражками с синими околышами.

Устав окончательно скрутил студенчество. Пошли петиции, были сходки, но все это не выходило из университетских стен. «Московские ведомости», правительственная газета, поддерживавшая реакцию, обрушились на студентов рядом статей в защиту нового устава, и первый выход студентов на улицу был вызван этой газетой.

Большая Дмитровка, начинаясь у Охотного ряда, оканчивается на той части Страстного

бульвара, которая называется Нарышкинским сквером.

Третий дом на этой улице, не попавший в руки купечества, заканчивает правую сторону Большой Дмитровки, выходя и на бульвар. В конце XVIII века дом этот выстроил ротмистр Талызин, а в 1818 году его вдова продала дом Московскому университету. Ровно столет, с 1818 по 1918 год, в нем помещалась университетская типография, где столет печатались «Московские ведомости».

Дом, занятый типографией, надо полагать, никогда не ремонтировался и даже снаружи не красился. На вид это был неизменно самый грязный дом в столице, с облупленной штукатуркой, облезлый, с никогда не мывшимися окнами, закоптелыми изнутри. Огромная типография освещалась керосиновыми коптилками, отчего потолки и стены были черны, а приходившие на ночную смену наборщики, даже если были блондины, ходили брюнетами от летевшей из коптилок сажи. Типография выходила окнами на Дмитровку, а особняк, где были редакция и квартира редактора, – на сквер.

Постановив на сходке наказать «Московские ведомости» «кошачьим концертом», толпы студентов неожиданно для полиции выросли на Нарышкинском сквере, перед окнами газеты, и начался вой, писк, крики, ругань, и полетели в окна редактора разные пахучие предметы, вроде гнилых огурцов и тухлых яиц.

Явилась полиция, прискакал из соседних казарм жандармский дивизион, и начался разгон демонстрантов. Тут уже в окна газеты полетели и камни, зазвенели стекла...

Посредине бульвара конные жандармы носились за студентами. Работали с одной стороны нагайками, а с другой – палками и камнями. По бульвару метались лошади без всадников, а соседние улицы переполнились любопытными. Свалка шла вовсю: на помощь полиции были вызваны казаки, они окружили толпу и под усиленным конвоем повели в Бутырскую тюрьму. «Ляпинка» – описанное выше общежитие студентов Училища живописи – вся сплошь высыпала на бульвар.

Когда окруженную на бульваре толпу студентов, в числе которой была случайно по-

павшая публика, вели от Страстного к Бутырской тюрьме, во главе процессии обращал на себя внимание великан купчина в лисьей шубе нараспашку и без шапки. Это был подрядчик-строитель Громов. Его знала вся Москва за богатырскую фигуру. Во всякой толпе его плечи были выше голов окружающих. Он попал совершенно случайно в свалку прямо из трактира. Конный жандарм ударил его нагайкой по лицу. В ответ на это гигант сорвал жандарма с лошади и бросил его в снег. И в результате его степенство шагало в тюрьму.

На улице его приказчик, стоявший в числе любопытных на тротуаре, узнал Громова.

– Сидор Мартыныч, что с вами? – крикнул он.

– Агапыч, беги домой, скажи там, что я со скубентами в ривалюцию влопалси! – изо всех сил рявкнул Громов.

– Революция... Революция... – отозвалось в толпе и покатилося по всей Москве.

Но до революции было еще далеко!

Как это выступление, так и ряд последующих протестов, выражавшихся в неорганизованных вспышках, оставались в стенах уни-

верситета. Их подавляли арестами и высылками, о которых большинство москвичей и не знало, так как в газетах было строго запрещено писать об этом.

В 1887 году, когда к студенческому уставу были прибавлены циркуляры, ограничивавшие поступление в университет, когда инспекция и педеля, эти университетские сыщики, вывели из терпения студентов, опять произошли крупные уличные демонстрации, во время которых было пущено в ход огнестрельное оружие, но и это для большой публики прошло незаметно.

С каждым годом все чаще и чаще стали студенты выходить на улицу. И полиция была уже начеку. Чуть начнут собираться сходки около университета, тотчас же останавливают движение, окружают цепью городских и жандармов все переулки, ведущие на Большую Никитскую, и огораживают Моховую около Охотного ряда и Воздвиженки. Тогда открываются двери манежа, туда начинают с улицы тащить студентов, а с ними и публику, которая попадает на этих улицах.

Самым ярким в прошлом столетии было

студенческое выступление, после которого более ста пятидесяти студентов было отдано в солдаты, и последующие за ним, где требовали отмены «временных правил», на основании которых правительство и отдало студентов в солдаты.

Эта мера, в связи с волнениями студентов, вызвала протест всей интеллигенции и полное сочувствие к студенчеству в широких слоях населения. Но в печати никаких подробностей и никаких рассуждений не допускалось: говорили об этом втихомолку.

Тогда ходило по рукам много нелегальных стихотворений. Вот одно из них:

Сейте!

«Сейте разумное, доброе, вечное»
[7].

Сейте студентов по стогнам
земли,

Чтобы поведать все горе сердеч-
ное

Всюду бедняги могли.

Сейте, пусть чувство растет
благородное,

Очи омочит слеза, —

Сквозь эти слезы пусть слово сво-

бодное
Руси откроет глаза.
Пусть все узнают, что нравами
грубыми
Стали опять щеголять,
Снова наполнится край скалозу-
бами,
Чтоб просвещение гнать.
Пусть все узнают: застенки по-
старому,
И палачи введены,
Отданы гневу их дикому, ярому
Лучшие силы страны.
Вольные степи ветрами обвеяны,
Русь широка и грозна —
Вырастет новое – всюду посеяны
Светлых идей семена.
Те, что упорно и долго не верили
Правде свободных идей,
Ныне поймут – обсчитали, обме-
рили,
Выгнали их сыновей.
Всех разогнали, а всех ли вы выби-
ли,
Сделавши подлость и срам?
Это свершили вы к вашей погипе-
ли.
Память позорная вам!

И действительно, разбросанные в войска по разным городам России студенты были приняты везде радушно и везде заговорили о том, о чем прежде молчали. Это революционизировало и глухую провинцию.

Другое стихотворение, описывающее усмирение студенческих беспорядков в Москве, тоже не проскочило в печать, но распространялось в литографских оттисках:

Судак и обер-полицмейстер

*Я видел грозные моменты,
Досель кружится голова...
Шумели буйные студенты,
Гудела старая Москва,
Толпы стремились за толпами...
Свистки... Ура... Нагайки... Вой...
Кругом войска... за казаками
Трухтит жандармов синий
строй.*

*Что улица – картины те же,
Везде народ... Везде войска...
Студенты спрятаны в манеже,
Шумят, как бурная река.
И за студентами загнали
В манеж испуганный народ,
Всех, что кричали, не кричали,
Всех, кто по улице пройдет, —*

*Вали в манеж!
А дело жарко,
Войскам победа не легка...
Лови! Дави! Идет кухарка,
Под мышкой тащит судака...
Вскипели храбрые войска!
Маневр... Другой... И победили!
Летят кто с шашкой, кто с шты-
ком,
В манеже лихо водворили
Кухарку с мерзлым судаком...*

Когда кухарку с судаком действительно загнали в манеж, а новая толпа студентов высыпала из университета на Моховую, вдруг видят: мчится на своей паре с отлетом, запряженной в казенные, с высокой спинкой, сани, сам обер-полицмейстер. В толпе студентов, стоявших посредине улицы, ему пришлось задержаться и ехать тихо.

– Я вас прошу разойтись! – закричал, приподнявшись в санях, генерал.

В ответ – шум, а потом сзади саней взрыв хохота и крики:

– Долой самодержавие! И опять хохот и крики:

– Долой самодержавие!.. Долой!..

Взбешенный полицмейстер вскакивает в ворота манежа и натывается на кухарку с судаком, которая хватает его за рукав и вопит:

– Ваше благородие, выпустите! Рыбина-то протухнет...

И тычет в него оттаявшим судаком.

А у подъезда, под хохот толпы, городовые сдирают с задка полицмейстерских саней широкую полосу бумаги с яркой надписью: «Долой самодержавие!»

Во время остановки студенты успели наклеить на сани одну из афиш, сработанных художниками в «Ляпинке» для расклейки по городу:

«Долой самодержавие!»

Этот лозунг, ставший впоследствии грозным, тогда еще был новинкой.

Московский университет. «Татьянин день», 12 января старого стиля, был студенческий праздник в Московском университете.

Никогда не были так шумны московские улицы, как ежегодно в этот день. Толпы студентов до поздней ночи ходили по Москве с песнями, ездили, обнявшись, втроем и вчетвером на одном извозчике и горланили. Неда-

ром во всех песенках рифмуется: «спьяна» и «Татьяна»! Это был беззаботно-шумный гуляющий день. И полиция, – такие она имела расчеты и указания свыше, – в этот день студентов не арестовывала. Шпикам тоже было приказано не попадаться на глаза студентам.

Тогда любимой песней была «Дубинушка».

12 января утром – торжественный акт в университете в присутствии высших властей столицы. Три четверти зала наполняет студенческая беднота, промышляющая уроками: потертые тужурки, блины-фуражки с выцветшими добела, когда-то синими околышами... Но между ними сверкают шитые воротники роскошных мундиров дорогого сукна на белой шелковой подкладке и золочеными ручьятками шпаг по моде причесанные франтики; это дети богачей.

По окончании акта студенты вываливают на Большую Никитскую и толпами, распевая «Gaudeamus igitur»[8], движутся к Никитским воротам и к Тверскому бульвару, в излюбленные свои пивные. Но идет исключительно беднота; белоподкладочники, надев «николаевские» шинели с бобровыми воротниками,

уехали на рысках в родительские палаты.

Зарядившись в пивных, студенчество толпами спускается по бульварам вниз на Трубную площадь, с песнями, но уже «Gaudeamus» заменен «Дубинушкой». К ним присоединилось уже несколько белоподкладочников, которые, не желая отставать от товарищей, сбросили свой щегольской наряд дома и в стареньких пальтишках вышагивают по бульварам. Перед «Московскими ведомостями» все останавливаются и орут:

*И вырежем мы в заповедных лесах
На барскую спину дубину...*

И с песнями вкатываются толпы в роскошный вестибюль «Эрмитажа», с зеркалами и статуями, шлепая сапогами по белокаменной лестнице, с которой предупредительно сняты, ради этого дня, обычные мягкие дорогие ковры.

Еще с семидесятых годов хозяин «Эрмитажа» француз Оливье отдавал студентам на этот день свой ресторан для гулянки.

Традиционно в ночь на 12 января огромный зал «Эрмитажа» преображался. Дорогая

шелковая мебель исчезала, пол густо усыпался опилками, вносились простые деревянные столы, табуретки, венские стулья... В буфете и кухне оставлялись только холодные кушанья, водка, пиво и дешевое вино. Это был народный праздник в буржуазном дворце обжорства.

В этот день даже во времена самой злейшей реакции это был единственный зал в России, где легально произносились смелые речи. «Эрмитаж» был во власти студентов и их гостей – любимых профессоров, писателей, земцев, адвокатов.

Пели, говорили, кричали, заливали пивом и водкой пол – в зале дым коромыслом! Профессоров поднимали на столы... Ораторы сменялись один за другим. Еще есть и теперь в живых люди, помнящие «Татьянин день» в «Эрмитаже», когда В. А. Гольцева после его речи так усиленно «качали», что сюртук его оказался разорванным пополам; когда после Гольцева так же энергично чествовали А. И. Чупрова и даже разбили ему очки, подбрасывая его к потолку, и как, тотчас после Чупрова, на стол вскочил косматый студент в крас-

ной рубаше и порыжелой тужурке, покрыл шум голосов невероятным басом, сильно ударяя на «о», по-семинарски:

– То-оварищи!.. То-оварищи!..

– Долой! Долой! – закричали студенты, увлеченные речами своих любимых профессоров.

– То-оварищи! – упорно гремел бас.

– До-о-олой! – вопил зал, и ближайšie пытались сорвать оратора со стола.

Но бас новым усилием покрыл шум;

– Да, долой!.. – грянул он, грозно подняв руки, и ближайšie смолкли.

– Долой самодержавие! – загремел он еще раз и прыгнул в толпу.

Произошло нечто небывалое... Через минуту студента качали, и зал гремел от криков.

А потом всю ночь на улицах студенты прерывали свои песни криками:

– Долой самодержавие!..

И этот лозунг стал боевым кличем во всех студенческих выступлениях. Особенно грозно прозвучал он в Московском университете в 1905 году, когда студенчество слилось с рабочими в университетских аудиториях, открыв-

шихся тогда впервые для народных сходок. Здесь этот лозунг сверкал и в речах и на знаменах и исчез только тогда, когда исчезло самодержавие.

В стенах Московского университета грозно прозвучал не только этот боевой лозунг пятого года, но и первые баррикады в центре столицы появились совершенно стихийно пятнадцатого октября этого года тоже в стенах и дворах этого старейшего высшего учебного заведения.

Нарышкинский сквер

Нарышкинский сквер, этот лучший из бульваров Москвы, образовался в половине прошлого столетия. Теперь он заключен между двумя проездами Страстного бульвара, внутренним и внешним. Раньше проезд был только один, внутренний, а там, где сквер, был большой сад во владении князя Гагарина, и внутри этого сада был тот дворец, где с 1838 года помещается бывшая Екатерининская больница.

Еще в 1926 году, когда перемещивали проезд против здания больницы, из земли торча-

ли уцелевшие столетние пни, остатки этого сада. Их снова засыпали землей и замостили.

Продолжением этого сада до Путинковского проезда была в те времена грязная Сенная площадь, на которую выходил ряд домов от Екатерининской больницы до Малой Дмитровки, а на другом ее конце, рядом со Страстным монастырем, был большой дом С. П. Нарышкиной. В шестидесятых годах Нарышкина купила Сенную площадь, рассадила на ней сад и подарила его городу, который и назвал это место Нарышкинским сквером.

Рядом с Екатерининской больницей стоял прекрасный старинный особняк. До самой Октябрьской революции он принадлежал князю Волконскому, к которому перешел еще в пятидесятых годах от князя Мещерского.

Говоря об этом особняке, нельзя не вспомнить, что через дом от него стоял особняк, имевший романтическую историю. Ранее он принадлежал капитану Кречетникову, у которого в 1849 году его купил титулярный советник А. В. Сухово-Кобылин.

Этот титулярный советник был не кто иной, как драматург, автор «Свадьбы Кречин-

ского», Александр Васильевич Сухово-Кобылин, который и жил здесь до 1859 года...

В доме князя Волконского много лет жил его родственник, разбитый параличом граф Шувалов, крупный вельможа. Его часто вывозили в колясочке на Нарышкинский сквер.

После смерти Шувалова, в конце девяностых годов, Волконский сдал свой дом в аренду кондитеру Завьялову. На роскошном барском особняке появилась вывеска:

«Сдается под свадьбы, балы и поминовеньные обеды».

Так до, 1917 года и служил этот дом, переходя из рук в руки, от кондитера к кондитеру: от Завьялова к Бурдину, Феоктистову и другим.

То всю ночь сверкали окна огнями и дом гудел музыкой на свадьбах и купеческих балах, привлекая публику с бульваров к своим окнам, то из него доносились басы протодьяконов, возглашавших «вечную память».

Бывали здесь богатые купеческие свадьбы, когда около дома стояли чудные запряжки; бывали и небогатые, когда стояли вдоль бульвара кареты, вроде театральных, на клячах

которых в обыкновенное время возили актеров императорских театров на спектакли и репетиции. У этих карет иногда проваливалось дно, и ехавшие бежали по мостовой, вопя о спасении... Впрочем, это было безопасно, потому что замороженные лошади еле двигались... Такой случай в восьмидесятых годах был на Петровке и закончился полицейским протоколом.

Впереди всех стояла в дни свадебных балов белая, золоченая, вся в стеклах свадебная карета, в которой привозили жениха и невесту из церкви на свадебный пир: на паре крупных лошадей в белоснежной сбруе, под голубой, если невеста блондинка, и под розовой, если невеста брюнетка, шелковой сеткой. Жених во фраке и белом галстуке и невеста, вся в белом, с венком флердоранжа и с вуалью на голове, были на виду прохожих.

Устраивали такие пиры кондитеры на всякую цену— с холодными и с горячими блюдами, с генералом штатским и генералом военным, с «кавалерией» и «без кавалерии». Военные с обширной «кавалерией» на груди, иногда вплоть до ленты через плечо, ценились

очень дорого и являлись к богатому купечеству, конечно, не «именитому», имевшему для пиров свои дворцы и «своих» же генералов.

Лакеи ценились по важности вида. Были такие, с расчесанными седыми баками, что за министра можно принять... только фрак засаленный и всегда с чужого плеча. Лакеи приглашались по публике глядя. И вина подавались тоже «по публике».

– Чтоб вина были от Депре: коньяк № 184, портвейн № 211 и № 113... С розовым ярлыком... Знаешь? – заказывает бывалый купец, изучивший в трактирах марки модных тогда вин.

– Слушаю... только за эту цену пополам придется.

– Ну ладно, пополам так пополам, на главный стол орла, а на задние ворону...

Дошлые были купцы, а кондитеры еще чище... «Орел» и «ворона» – и оба Депре!

* * *

Были у водочника Петра Смирнова два приказчика – Карзин и Богатырев. Отошли от него и открыли свой винный погреб в Злато-

устинском переулке, стали разливать свои вина, – конечно, мерзость. Вина эти не шли. Фирма собиралась уже прогореть, но, на счастье, пришел к ним однажды оборванец и предложил некоторый проект, а когда еще показал им свой паспорт, то оба в восторг пришли: в паспорте значилось – мещанин Цезарь Дебре...

* * *

Портвейн 211-й и 113-й... Коньяк 184... Коньяк «финьшампань» 195... Ярлык и розовый, и черный, и белый... Точно скопировано у Дебре... Ну, кто будет вглядываться, что Ц. Дебре, а не К. Дебре, кто разберет, что у К. Дебре орел на ярлыке, а у Ц. Дебре ворона без короны, сразу и не разглядишь...

И вот на балах и свадьбах и на поминовенных обедах, где народ был «серый», шли вина с вороной...

Долго это продолжалось, но кончилось судом. Оказалось, что Ц. Дебре, компаньон фирмы под этим именем, лицо действительное и паспорт у него самый настоящий.

На свадьбу из церкви первыми приезжают гости. Они входят парами: толстые купчихи в

шелках рядом с мужьями в долгополых сюртуках. На некоторых красуются медали «За усердие». Молодежь и дамы – под руку. Все выстраиваются шеренгами возле стен. Когда все установятся, показывается в ливрее, с жезлом вроде скипетра церемониймейстер, а вслед за ним, под руку с женихом, невеста с букетом. Они становятся впереди гостей, а вслед за ними идут пары: сначала – родители жениха и становятся по правую руку от жениха, потом родители невесты подходят к ним и становятся рядом с невестой, предварительно расцеловавшись с детьми и между собой.

Лакеи вносят в тонких длинных бокалах шампанское: «Редерер» или «Клико» – для почетных и ленинское – для гостей попроще.

Поздравления и тосты. Иногда зазвенит о пол разбитый бокал, что считается счастливым предзнаменованием. Оркестр играет туш. После поздравления все усаживаются вокруг стола. Начинается чаепитие. Потом часть гостей идет в соседние комнаты играть в карты. Тогда играли в стуколку по крупной и по мелкой. Другие окружают буфет. Затем начинаются танцы и свадебное веселье. Ко-

гда дотанцуются до усталости, идут к свадебному обеду, который сразу делается шумным, потому что буфет уже сделал свое дело. Свадебный генерал говорит поздравительную речь, потом идут тосты и речи, кто во что горазд. Молодежь – барышни и кавалеры – перекидываются через стол шариками хлеба, а потом и все принимают участие в этой игре, и летят через столы головы селедок, корки хлеба, а иногда сверкнет и красный рак, украшавший разварного осетра...

После отъезда «молодых» гости еще допивают остатки, а картежники, пришедшие в азарт, иногда играют до следующего дня.

На окраинах существовал особый промысел. В дождливую погоду, особенно осенью, немощеный переулок представлял собой вязкое болото, покрытое лужами, и надо между них уметь лавировать, знать фарватер улицы. Мальчишки всегда дежурили на улице. Это лоцманы. Когда едет богатый экипаж – тут ему и беда.

Был случай, когда свадебная карета – этот стеклянный фонарь, где сидели разодетые в пух и прах невеста с женихом, – проезжала в

одном из переулков в Хапиловке.

Эта местность особенно славилась своими пиратами. «Молодые» ехали с визитом к жившему в этом переулке богатому и скупому родственнику и поразили местное население невиданным экипажем на дорогой паре лошадей под голубой шелковой сеткой. Глаза у пиратов сразу разгорелись на добычу.

– Коим тут местом проехать, ребята?

– А вот сюды, полевей. Еще полевей!

Навели на скрытую водой глубокую рытвину: лошади сразу по брюхо, а карета набок. Народ сбежался – началась торговля, и «молодые» заплатили полсотни рублей за выгрузку кареты и по десять рублей за то, что перенесли «молодых» на руках в дом дяди.

Теперь там асфальтовые мостовые, а о свадебных каретах, вероятно, и памяти уж не осталось.

На поминовенных обедах в холодную зиму кондитер не топил помещение.

– Народом нагреется, ко второму блюду всем жарко будет! – утешал он гостей.

– Да ведь ноги замерзли!

– А вы калошек не снимайте... Эй, свицар,

принеси их степенству калошки...

Так предложил и мне толстый кондитер Феоктистов, когда я раздевался в промерзлой передней.

Еще за кутьей, этим поминовением кушаньем, состоявшим из холодного риса с изюмом, и за блинами со свежей икрой, которую лакеи накладывали полными ложками на тарелки, слышался непрерывный топот вместе с постукиванием ножей. Если закрыть глаза, представлялось, что сидишь в конюшне с деревянным полом. Это гости согревали ноги.

Единственный наследник, которому поминаяемый оставил большое наследство, сидел на почетном месте, против духовенства, и усердно подливал «святым отцам» и водку и вино, и сам тоже притопывал, согревая ноги.

– Во благовремени и при такой низкой температуре вино на пользу организму послужить должно, – гулко басил огромный протодьякон перед каждым лафитным стаканом водки, который он плескал в свой огромный рот.

– Л вот покойничек рябиновочку обожал... Помянем душу усопшего рябиновочкой...

Отец Никодим, пожалуйста по единой, – подтягивал церковный староста, друг покойного.

– Нет, уж я лучше кагорцу. Я не любитель рябиновки. Кагорец, оно лучше... крепит, а та послабляет... Я – кагорцу.

– А я вот рябиновочки...

Когда уже пар стоял над обедающими и топот прекратился, обносили миндальным киселем с миндальным молоком.

Чоканье стаканов прорезало глухой шум трехсот голосов, иногда покрываемых раскатистым хохотом.

И вдруг какой-то звериный рык. Это прото-дьякон встал, крикнул и откашлялся... Задвигались стулья, воцарилось молчание, а прото-дьякон рявкнул:

– Вечная память... ве-ечная па-амять!..

И огромные стекла гудели в окнах, и звенели стеклянные висюльки на старинной княжеской люстре. Поминальный обед кончился.

История двух домов

При Купеческом клубе был тенистый сад, где члены клуба летом обедали, ужинали и на широкой террасе встречали солнечный восход, играя в карты или чокаясь шампанским. Сад выходил в Козицкий переулок, который прежде назывался Успенским, но с тех пор, как статс-секретарь Екатерины II Козицкий выстроил на Тверской дворец для своей красавицы жены, сибирячки-золотопромышленницы Е. И. Козицкой, переулок стал носить ее имя и до сих пор так называется.

Дом этот в те времена был одним из самых больших и лучших в Москве, фасадом он выходил на Тверскую, выстроен был в классическом стиле, с гербом на фронтоне и двумя стильными балконами.

После смерти Е. И. Козицкой дом перешел к ее дочери, княгине А. Г. Белосельской-Белозерской. В этом-то самом доме находился исторический московский салон Дочери Белосельского-Белозерского – Зинаиды Волконской. Здесь в двадцатых годах прошлого столетия собирались тогдашние представители

искусства и литературы. Пушкин во время своих приездов в Москву бывал у Зинаиды Волконской, которой посвятил известное стихотворение:

*Среди рассеянной Москвы,
При толках виста и бостона,
При бальном лепете молвы
Ты любишь игры Аполлона.
Царица муз и красоты,
Рукою нежной держишь ты
Волшебный скипетр вдохновений,
И над задумчивым челом,
Двойным увенчанным венком,
И вьется, и пылает гений.
Певца, плененного тобой.
Не отвергай смиренной дани,
Внемли с улыбкой голос мой,
Как мимоездом Каталани
Цыганке внемлет кочевой.*

Один из гостей Волконской, поэт А. Н. Муравьев, случайно повредил стоявшую в салоне статую Аполлона. Сконфузившись и желая выйти из неловкого положения, Муравьев на пьедестале статуи написал какое-то четверостишие, вызвавшее следующий экспромт Пушкина:

*Лук звенит, стрела трепещет.
И, клубясь, издох Пифон;
И твой лик победой блещет,
Бельведерский Аполлон!
Кто ж вступился за Пифона,
Кто разбил твой истукан?
Ты, соперник Аполлона,
Бельведерский Митрофан.*

В салоне Зинаиды Волконской веял дух декабристов.

По ступеням беломраморной лестницы Москва провожала до зимнего возка княгиню Марию Волконскую, жену сосланного на каторгу декабриста, когда она ехала туда, где

*Работа кипела под звуки оков,
Под песни – работа над бездной!
Стучались в упругую грудь рудников
И заступ и молот железный.*

Родные, близкие, друзья собрались проводить остановившуюся здесь на сутки проездом в Сибирь Марию Волконскую.

В поэме Некрасова «Русские женщины» Мария Волконская уже далеко, в снежной тундре, так вспоминает этот незабвенный ве-

Чер:

*Певцов-итальянцев тут слышала
я,
Что были тогда знамениты,
Отца моего сослуживцы, друзья
Тут были, печалью убиты.
Тут были родные ушедших туда,
Куда я сама торопилась.
Писателей группа, любимых то-
гда,
Со мной дружелюбно простилась:
Тут были Одоевский, Вяземский
был;
Поэт вдохновенный и милый,
Поклонник кузины, что рано по-
чил,
Безвременно взятый могилой,
И Пушкин тут был...[9]*

Зинаида Волконская навсегда поселилась в Италии, где салон «Северной Коринны», как ее там прозвали, привлекал лучшее общество Рима. Но в конце концов ее обобрало католическое духовенство, и она умерла в бедности. Московский салон прекратился с ее отъездом в 1829 году, а дом во владении Белосельских-Белозерских, служивших при царском

дворе, находился до конца семидесятых годов, когда его у князей купил подрядчик Малкиель. До этого известно только, что в конце шестидесятых годов дом был занят пансионом Репмана, где учились дети богатых людей, а весь период от отъезда Волконской до Репмана остается неизвестным. Из этого периода дошла до нас только одна легенда, сохранившаяся у стариков соседей да у отставных полицейских Тверской части, которые еще были живы в восьмидесятых годах и рассказывали подробности.

В середине прошлого века поселилась во дворце Белосельских-Белозерских старая княгиня, родственница владельца, и заняла со своими многочисленными слугами и приживалками половину здания, заперев парадные покои. Дворец погрузился в тихий мрак. Только раз в неделю, в воскресенье, слуги сводили старуху по беломраморной лестнице и усаживали в запряженную шестеркой старых рысаков карету, которой правил старик кучер, а на запятках стояли два ветхих лакея в шитых ливреях, и на левой лошади передней пары мотался верхом фореитор, из конюшенных

«мальчиков», тоже лет шестидесяти.

После возвращения от обедни опять на целую неделю запирались на замок ворота, что не мешало, впрочем, дворне лазить через забор и пропадать целые ночи, за что им жестоко доставалось от немца-управляющего. Он порол их немилосердно. Тогда, по московскому обычаю, порку приносила по субботам полиция. Управляющий отбирал виновных, отправлял их в часть с поименной запиской и с пометкой, сколько кому ударов дать; причем письмо на имя квартального всегда заканчивалось припиской: «при сем прилагается три рубля на розги». Но порка не помогала, путешествия через забор не прекращались, — уж очень соблазнительно было.

По другую сторону Тверской стоял за решеткой пустовавший огромный дом, выстроенный еще при Екатерине II вельможей Прозоровским и в сороковых годах очутившийся в руках богатого помещика Гурьева, который его окончательно забросил. Дом стоял с выбитыми окнами и провалившейся крышей. Впоследствии, в восьмидесятых годах, в этом доме был «Пушкинский театр» Бренко.

А тогда в нем жили... черти.

Такие слухи упорно носились по Москве. Прохожие по ночам слышали раздававшиеся в доме вой, грохот ржавого железа, а иногда на улицу вылетали из дома кирпичи, а сквозь разбитые окна многие видели белое привидение.

Черти проказили, старая княгиня ездила к обедне, а заведовавший в части поркой квартальный, из аракчеевских солдат, получал свои трешницы, и никто не обращал внимания на дом, где водятся черти.

Но вот и в доме Белосельских появилась нечистая сила! Слух о привидении пошел со двора; из людской перекинулся к барыниным приживалкам. Этому слуху предшествовал переполох в доме Гурьева. Нижний этаж там снял содержатель зверинца, известный укротитель Крейцберг, увековеченный стихами П. Вейнберга, а верхний продолжал стоять с разбитыми рамами и прогнившей крышей.

Стали привозить зверей, расставлять клетки. Вот тут и начался переполох среди приживалок старой барыни: «Нечистую силу спугнули звери, она сюда и переселилась!»

Наконец увидали и белое привидение, ходившее по лестнице. Доложили барыне, и на другой день «по старой Калужской дороге», вслед за каретой шестеркой и тройкой немца-управляющего, потянулись телеги с имуществом и семьями крепостных. Мужчины шли пешком, босые и полураздетые, и больше половины их разбежалось дорогой. Дворец Белосельских опустел окончательно.

Между тем Крейцберг поселился в доме Гурьева, в комнате при зверинце, вместе с ручной пантерой. В первую же ночь пантера забеспокоилась. Проснулся укротитель и услышал страшный вой зверей, обычно мирно спавших по ночам.

Укротитель зажег свечку, взял заряженный пистолет и вышел в зверинец.

Перед ним двигалось приведение в белом и исчезло в вестибюле, где стало подниматься по лестнице во второй этаж. Крейцберг пустил вслед ему пулю, выстрел погасил свечку, – пришлось вернуться. На другой день наверху, в ободранных залах, он обнаружил кучу соломы и рогож – место ночлега десятков людей.

Полиция сделала засаду. Во дворе были задержаны два оборванца, и в одном из них квартальный узнал своего «крестника», которого он не раз порол по заказу княгининного управляющего.

В следующую ночь дом Белосельских был тоже окружен мушкетерами и пожарными, и в надворных строениях была задержана разбойничья шайка, переселившаяся из дома Гурьева. Была найдена и простыня, в которой фореитор изображал «белую даму». В числе арестованных оказалось с десятков поротых клиентов квартального.

Они сознались, что белое привидение было ими выдуманно, чтобы выселить барыню, а главное – зверя-управляющего и чтобы всей шайкой поселиться в пустом дворце Белосельских, так как при зверинце в старом убежище оставаться было уже нельзя. «Призраки» были жестоко выпороты в Тверской части. Особенно фореитор, изображавший «белую даму».

Такова легенда, ходившая об этих домах. Вслед за зверинцем, еще в не отделанных залах дома Гурьева, в бельэтаже, открылся

танцкласс. И сейчас еще живы москвичи, отплясывавшие там в ободранных залах в то время, когда над танцующими носились голуби и воробьи, а в капителях колонн из птичьих гнезд торчали солома и тряпки.

Долго еще боялись этих домов москвичи и, чуть стемнеет, перебегали на всякий случай на противоположный тротуар, сначала на одну сторону, а потом на другую. Подальше от нечистой силы.

Прошло много лет. В 1878 году, после русско-турецкой войны, появился в Москве миллионер Малкиель – поставщик обуви на войска. Он купил и перестроил оба эти дома: гурьевский – на свое имя, и отделал его под «Пушкинский театр» Бренко, а другой – на имя жены.

Во флигеле дома, где был театр Бренко, помещалась редакция журнала «Будильник». Прогорел театр Бренко, прогорел Малкиель, дома его перешли к кредиторам. «Будильник» продолжал там существовать, и помещение редакции с портретами главных сотрудников, в числе которых был еще совсем юный Антон Чехов, изображено Константином Чи-

чаговым и напечатано в красках во всю страницу журнала в 1886 году.

После перестройки Малкиеля дом Белосельских прошел через много купеческих рук. Еще Малкиель совершенно изменил фасад, и дом потерял вид старинного дворца. Со времени Малкиеля весь нижний этаж с зеркальными окнами занимал огромный магазин портного Корпуса, а бельэтаж – богатые квартиры. Внутренность роскошных зал была сохранена. Осталась и беломраморная лестница, и выходящий на парадный двор подъезд, еще помнивший возок Марии Волконской.

Домом по очереди владели купцы Носовы, Ланины, Морозовы, и в конце девяностых годов его приобрел петербургский миллионер Елисеев, колониальщик и виноторговец, и приступил к перестройке. Архитектор, привезенный Елисеевым, зашил весь дом тесом, что было для Москвы новинкой, и получился гигантский деревянный ящик, настолько плотный, что и щелочки не осталось.

Идет год, второй, но плотные леса все еще окружают стройку. Москвичи-старожилы,

помнившие, что здесь когда-то жили черти и водились привидения, осторожно переходили на другую сторону, тем более, что о таинственной стройке шла легенда за легендой.

Нашлись смельчаки, которые, несмотря на охрану и стаю огромных степных овчарок во дворе, все-таки ухитрялись проникнуть внутрь, чтобы потом рассказывать чудеса.

– Индийская пагода воздвигается.

– Мавританский замок.

– Языческий храм Бахуса.

Последнее оказалось ближе всего к истине.

Наконец леса были сняты, тротуары очищены, и засверкали тысячи огней сквозь огромные зеркальные стекла.

Храм Бахуса.

Впрочем, это название не было официальным; в день снятия лесов назначено было торжественное, с молебствием освящение «Магазина Елисеева и погреба русских и иностранных вин».

С утра толпы народа запрудили улицу, любуясь на щегольской фасад «нового стиля» с фронтоном, на котором вместо княжеского герба белелось что-то из мифологии, какие-то

классические фигуры. На тротуаре была толчея людей, жадно рассматривавших сквозь зеркальные стекла причудливые постройки из разных неведомых доселе Москве товаров.

Горами поднимаются заморские фрукты; как гряда ядер, высится пирамида кокосовых орехов, с голову ребенка каждый; необъятными, пудовыми кистями висят тропические бананы; перламутром отливают разноцветные обитатели морского царства – жители неведомых океанских глубин, а над всем этим блещут электрические звезды на батареях винных бутылок, сверкают и переливаются в глубоких зеркалах, вершины которых теряются в туманной высоте.

Так был описан в одной из ненапечатанных «Поэм о Москве» этот храм обжорства:

*А на Тверской в дворце роскошном
Елисеев*

*Привлек толпы несметные наро-
да*

*Блестящей выставкой колбас, пе-
чений, лакомств...*

*Ряды окороков, копченых и варе-
ных,*

Индейки, фаршированные гуси,

*Колбасы с чесноком, с фисташками и перцем,
Сыры всех возрастов – и честер, и швейцарский,
И жидкий бри, и пармезон гранитный...
Приказчик Алексей Ильич старается у фруктов.
Уложенных душистой пирамидой,
Наполнивших корзины в пестрых лентах...
Здесь все – от кальвиля французского с гербами
До ананасов и невиданных японских вишен.*

Двери магазина были еще заперты, хотя внутри стали заранее собираться приглашенные, проходя со двора.

Привезенные для молебна иконы стояли посреди магазина, среди экзотических растений.

Наконец, к полудню зашевелилась полиция, оттесняя народ на противоположную сторону улицы. Прискакал взвод жандармов и своими конями разделил улицу для проезда важных гостей.

Ровно в полдень, в назначенный час открытия, двери магазина отворились, и у входа появился громадный швейцар. Начали съезжаться гости, сверкая орденами и лентами, военное начальство, штатские генералы в белых штанах и плюмажных треуголках, духовенство в дорогих лиловых рясах. Все явились сюда с какого-то официального богослужения в Успенском соборе. Некоторые, впрочем, заезжали домой и успели переодеться. Елисеев ловко воспользовался торжественным днем.

В зале встречал гостей стройный блондин – Григорий Григорьевич Елисеев в безукоризненном фраке, с «Владимиром» на шее и французским орденом «Почетного легиона» в петлице. Он получил этот важный орден за какое-то очень крупное пожертвование на благотворительность, а «Почетный легион» – за выставку в Париже выдержанных им французских вин.

Архиерея Парфения встретил синодальный хор в своих красных, с откидными руками камзолах, выстроившийся около икон и церковнослужителей с ризами для духовен-

ства.

Нечто фантастическое представляло собой внутренность двусветного магазина. Для него Елисеев слил нижний этаж с бельэтажем, совершенно уничтожив зал и гостиные бывшего салона Волконской, и сломал историческую беломраморную лестницу, чтобы очистить место елисеевским винам. Золото и лепные украшения стен и потолка производили впечатление чего-то странного. В глубине зала вверху виднелась темная ниша в стене, вроде какой-то таинственной ложи, а рядом с ней были редкостные английские часы, огромный золоченый маятник которых казался неподвижным, часы шли бесшумно.

Зал гудел, как муравейник. Готовились к молебну. Духовенство надевало златотканые ризы. Тишина. Тихо входят мундирные и фрачные гости. За ними – долгополые сюртуки именитых таганских купцов, опоздавших к началу.

В половине молебна в дверях появилась громадная, могучая фигура, с первого взгляда напоминающая Тургенева, только еще выше и с огромной сидящей львиной гривой –

прямо-таки былинный богатырь.

Странным показался серый пиджак среди мундиров, но большинство знатных гостей обернулось к нему и приветливо кланялось.

А тот по своей близорукости, которой не помогало даже пенсне, ничего и никого не видел. Около него суетились Елисеев и благообразный, в черном сюртуке, управляющий новым магазином.

Это был самый дорогой гость, первый знаток вин, создавший огромное виноделие Удельного ведомства и свои образцовые виноградники «Новый Свет» в Крыму и на Кавказе, – Лев Голицын.

Во второй половине зала был сервирован завтрак.

Серебро и хрусталь сверкали на белоснежных скатертях, повторяя в своих гранях мириады электрических отблесков, как застывшие капли водопада, переливались всеми цветами радуги. А посередине между хрустальными графинами, наполненными винами разных цветов, вкуса и возраста, стояли бутылки всевозможных форм – от простых светлых золотистого шато-икема с выпуклыми стеклянными-

ми клеймами до шампанок с бургонским, кубышек мадеры и неуклюжих, примитивных бутылок венгерского. На бутылках старого тока перламутр времени сливался с туманным фоном стекла цвета болотной тины.

На столах все было выставлено сразу, вместе с холодными закусками. Причудливых форм заливные, желе и галантины вздрагивали, огромные красные омары и лангусты прятались в застывших соусах, как в облаках, и багрянили при ярком освещении, а доминировали надо всем своей громадой окорока.

Окорока вареные, с откинутой плащом кожей, румятели розоватым салом. Окорока вестфальские провесные, тоже с откинутым плащом, спорили нежной белизной со скатертью. Они с математической точностью нарезаны были тонкими, как лист, пластинами во весь поперечник окорока, и опять пластины были сложены на свои места так, что окорок казался целым.

Жирные остендские устрицы, фигурно разложенные на слое снега, покрывавшего блюда, казалось, дышали.

Наискось широкого стола розовели и янта-

рились белорыбьи и осетровые балыки. Чернелась в серебряных ведрах, в кольце прозрачного льда, стерляжья мелкая икра, высилась над краями горкой темная осетровая и крупная, зернышко к зернышку, белужья. Ароматная паюсная, мартовская, с Сальянских промыслов, пухла на серебряных блюдах; далее сухая мешочная – тонким ножом пополам каждая икринка режется – высилась, сохраняя форму мешков, а лучшая в мире паюсная икра с особым землистым ароматом, ачувская – кучугур, стояла огромными глыбами на блюдах...

Ряды столов представляли собой геометрическую фигуру.

Кончился молебен. Начался завтрак. Архиерей в черной рясе и клобуке занял самое почетное место, лицом к часам и завешенной ложе.

Все остальные гости были рассажены строго по чинам и положению в обществе. Под ложей, на эстраде, расположился оркестр музыки.

Из духовенства завтракать остались только архиерей, местный старик священник и

протодьякон – бас необычайный. Ему предстояло закончить завтрак провозглашением многолетия. Остальное духовенство, получив «сухими» и корзины лакомств для семей, разъехалось, довольное подарками.

Архиерея угощали самыми дорогими винами, но он только их «пригубливал», давая, впрочем, отзывы, сделавшие бы честь и самому лучшему гурману.

Усердно угощавшему Елисееву архиерей отвечал:

– И не просите, не буду. Когда-нибудь, там, после... А теперь, сами видите, владыке не подобает.

Зато протодьякон старался вовсю, вливая в необъятную утробу стакан за стаканом из стоявших перед ним бутылок. Только побрякивал и хвалил.

Становилось шумнее. Запивая редкостные яства дорогими винами, гости пораспустились. После тостов, сопровождавшихся тушами оркестра, вдруг какой-то подгулявший гость встал и потребовал слова. Елисеев взглянул, сделал нервное движение, нагнулся к архиерею и шепнул что-то на ухо. Архиерей

мигнул сидевшему на конце стола протодьякону, не спускавшему глаз со своего владыки.

Не замолк еще стук ножа о тарелку, которым оратор требовал внимания, как по зале раздалось рыканье льва: это откашлялся протодьякон, пробуя голос.

Как гора, поднялся он, и загудела по зале его октава, от которой закачались хрустальные висюльки на канделябрах.

– Многолетие дому сему! Здравие и благоденствие! А когда дошел до «многая лета», даже страшно стало.

Официальная часть торжества кончилась.

Архиерей встал, поклонился и жестом попросил всех остаться на своих местах. Хозяин проводил его к выходу.

Громовые октавы еще переливались бархатным гулом под потолком, как вдруг занавес ложи открылся и из нее, до солнечного блеска освещенной внутри, грянула разудалая песня:

*Гайда, тройка, снег пушистый.
Ночь морозная кругом...*

Публика сразу пришла в себя, увидав в ло-

же хор яровских певиц в белых платьях.

Бешено заплодировали Анне Захаровне, а она, коротенькая и толстая, в лиловом платье, сверкая бриллиантами, кланялась из своей ложи и разводила руками, посылая воздушные поцелуи.

На другой день и далее, многие годы, до самой революции, магазин был полон покупателей, а тротуары – безденежных, а то и совсем голодных любопытных, заглядывавших в окна.

– И едят же люди. Ну, ну!

В этот магазин не приходили: в него приезжали.

С обеих сторон дома на обеих сторонах улицы и глубоко по Гнездниковскому переулку стояли собственные запряжки: пары, одиночки, кареты, коляски, одна другой лучше. Каретники старались превзойти один другого. Здоровенный, с лицом в полнолуние, швейцар в ливрее со светлыми пуговицами, но без гербов, в сопровождении своих помощников выносил корзины и пакеты за дамами в шиншиллях и соболях с кавалерами в бобрах или в шикарных военных «николаев-

ских» шинелях с капюшонами.

Он громовым голосом вызывал кучеров, ставил в экипаж покупки, правой рукой на отлет снимал картуз с позументом, а в левой зажимал полученный «на чай».

Все эти важные покупатели знали продавцов магазина и особенно почтенных звали по имени и отчеству.

– Иван Федорыч, чем полакомите?

Иван Федорович знал вкусы своих покупателей по своему колбасному или рыбному отделению.

Знал, что кому предложить: кому нежной, как сливочное масло, лососины, кому свежего лангуста или омара, чудищем красневшего на окне, кому икру, памятуя, что один любит белужью, другой стерляжью, третий кучугур, а тот сальян. И всех помнил Иван Федорович и разговаривал с каждым таким покупателем, как равный с равным, соображаясь со вкусом каждого.

– Вот, Николай Семеныч, получена из Сибири копченая нельмушка и маринованные налимьи печенки. Очень хороши. Сам я пробовал. Вчера граф Рибопьер с Карлом Алек-

сандрычем приезжали. Сегодня за второй порцией прислали... Так прикажете завернуть?

Распорядился и быстро пошел навстречу высокой даме, которой все кланялись.

– Что прикажете, Ольга Осиповна?

– А вот что, ты уж мне, Иван Федорыч, фунтик маслица, там какое-то финляндское есть...

– Есть, есть, Ольга Осиповна.

– Да кругленькую коробочку селедочек маринованных. Вчера муж брал.

– Знаю-с, вчера Михаил Провыч брали...

О. О. Садовская, почти ежедневно заходящая в магазин, пользовалась особым почтением, как любимая артистка.

Вообще же более скромная публика стеснялась заходить в раззолоченный магазин Елисеева.

Дамы обыкновенно толпились у выставки фруктов, где седой, высокий, важный приказчик Алексей Ильич у одного прилавка, а у другого его помощник, молодой и красивый Александр Иванович, знали своих покупательниц и умели так отпустить им товар, что

ни одного яблока не попадет с пятнышком, ни одной обмякшей ягодки винограда.

Всем магазином командовал управляющий Сергей Кириллович, сам же Елисеев приезжал в Москву только на один день: он был занят устройством такого же храма Бахуса в Петербурге, на Невском, где был его главный, еще отцовский магазин.

В один из таких приездов ему доложили, что уже три дня ходит какой-то чиновник с кокардой и портфелем, желающий говорить лично «только с самим» по важному делу, и сейчас он пришел и просит доложить.

Принимает Елисеев скромно одетого человека в своем роскошном кабинете, сидя в кресле у письменного стола, и даже не предлагает ему сесть.

– Что вам угодно?

– Мне угодно запечатать ваш магазин. Я мог бы это сделать и вчера, и третьего дня, но без вас не хотел. Я – вновь назначенный акцизный чиновник этого участка.

Елисеев встает, подает ему руку и, указывая на средний стул, говорит:

– Садитесь, пожалуйста.

– Да позвольте уже здесь, к письменному столу... Мне удобнее писать протокол.

И сел.

– Какой протокол?

– О незаконной торговле вином, чего ни в каком случае я допустить не могу, чтобы не быть в ответе.

Елисеев сразу догадался, в чем дело, но возразил:

– Магазин с торговлей винами мне разрешен властями. Это вы, кажется, должны знать.

– Власти разрешили вам, но упустили из виду, что вход в заведение, торгующее вином, от входа в церковь не разрешается ближе сорока двух сажен. А где у вас эти сорок две сажени?

Какой был в дальнейшем разговор у Елисева с акцизным, неизвестно, но факт тот, что всю ночь кипела работа: вывеска о продаже вина перенесена была в другой конец дома, выходящий в Козицкий переулок, и винный погреб получил отдельный ход и был отгорожен от магазина.

Вина, заказанные в магазине, приходилось

брать через ход с Козицкого переулка, но, конечно, не для всех.

Вина составляли главный доход Елисеева. В его погребах хранились самые дорогие вина, привезенные отцом владельца на трех собственных парусных кораблях, крейсировавших еще в первой половине прошлого века между Финским заливом и гаванями Франции, Испании, Португалии и острова Мадейры, где у Елисеева были собственные винные склады.

* * *

В мифологии был Бахус и была слепая Фемида, богиня правосудия с весами в руках, на которых невидимо для себя и видимо для всех взвешивала деяния людские и преступления. Глаза у нее были завязаны, чтобы никакого подозрения в лицепрятии быть не могло.

Прошли тысячелетия со времени исчезновения олимпийских богов, но поклонники Бахуса не переводились, и на их счет воздвигали храмы жрецы его.

Строились храмы и Фемиде, долженствовавшей взвешивать грехи поклонников Баху-

са. Она изображалась в храмах всего мира с повязкой на глазах. Так было в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Калькутте, Тамбове и Можайске.

А в Московском Кремле, в нише вестибюля она смотрела во все глаза! И когда она сняла повязку – неизвестно. А может, ее и совсем не было?

С самого начала судебной реформы в кремлевском храме правосудия, здании судебных установлений, со дня введения судебной реформы в 1864–1866 годы стояла она. Статуя такая, как и подобает ей быть во всем мире: весы, меч карающий и толстенные томы законов. Одного только не оказалось у богини, самого главного атрибута – повязки на глазах.

Почти полвека стояла зрячая Фемида, а может быть, и до сего времени уцелела как памятник старины в том же виде. Никто не обращал внимания на нее, а когда один газетный репортер написал об этом заметку в либеральную газету «Русские ведомости», то она напечатана не была.

– Да нельзя же, на всю Европу срам пойдет!
Когда Елисейев сдал третий этаж этого дома

под одной крышей с магазином коммерческому суду, то там были водружены, как и во всех судах, символы закона: зеркала с указом Петра I и золоченый столб с короной наверху, о котором давным-давно ходили две строчки:

*В России нет закона,
Есть столб, и на столбе корона.*

Водрузили здесь и Фемиду с повязкой на глазах.

Но здесь ей надели повязку для того, должно быть, чтобы она не видела роскоши соседнего храма Бахуса, поклонники которого оттуда время от времени поднимались волей рока в храм Фемиды.

Не повезло здесь богине правосудия: тысячепудовый штукатурный потолок с богатой лепниной рухнул в главном зале храма Фемиды, сшиб ей повязку вместе с головой, сокрушил и символ закона – зеркало.

Счастье, что Фемида была коммерческая, не признававшая кровавых жертв, и потому обошлось без них: потолок рухнул ночью, в пустом помещении.

Храм Бахуса существовал до Октябрьской

революции. И теперь это тот же украшенный лепными работами двусветлый зал, только у подъезда не вызывает щвейцар кучеров, а магазин всегда полон народа, покупающего необходимые для питания продукты.

И все так же по вечерам яркие люстры сверкают сквозь зеркальные стекла.

Бани

Единственное место, которого ни один москвич не миновал, – это бани. И мастеровой человек, и вельможа, и бедный, и богатый не могли жить без торговых бань.

В восьмидесятых годах прошлого века всемогущий «хозяин столицы» – военный генерал-губернатор В. А. Долгоруков ездил в Сандуновские бани, где в шикарном номере семейного отделения ему подавались серебряные тазы и шайки. А ведь в его дворце имелись мраморные ванны, которые в то время были еще редкостью в Москве. Да и не сразу привыкли к ним москвичи, любившие по наследственности и веничком попариться, и отдохнуть в раздевальной, и в своей компании «язык почесать».

Каждое сословие имело свои излюбленные бани. Богатые и вообще люди со средствами шли в «дворянское» отделение. Рабочие и беднота – в «простонародное» за пятак.

Вода, жар и пар одинаковые, только обстановка иная. Бани как бани! Мочалка – тринадцать, мыло по одной копейке. Многие из них и теперь стоят, как были, и в тех же домах, как и в конце прошлого века, только публика в них другая, да старых хозяев, содержателей бань, нет, и память о них скоро совсем пропадет, потому что рассказывать о них некому.

В литературе о банном быте Москвы ничего нет. Тогда все это было у всех на глазах, и никого не интересовало писать о том, что все знают: ну кто будет читать о банях? Только в словаре Даля осталась поговорка, очень характерная для многих бань: «Торговые бани других чисто моют, а сами в грязи тонут!»

И по себе сужу: проработал я полвека московским хроникером и бытописателем, а мне и на ум не приходило хоть словом обмолвиться о банях, хотя я знал немало о них, знал бытовые особенности отдельных бань; встречался там с интереснейшими москвичами

всех слоев, которых не раз описывал при другой обстановке. А ведь в Москве было шестьдесят самых разнохарактерных, каждая по-своему, бань, и, кроме того, все они имели постоянное население, свое собственное, сознававшее себя настоящими москвичами.

Даже в моей первой книге о «Москве и москвичах» я ни разу и нигде словом не обмолвился и никогда бы не вспомнил ни их, ни ту обстановку, в которой жили банщики, если бы один добрый человек меня носом не ткнул, как говорится, и не напомнил мне одно слово, слышанное мною где-то в глухой деревушке не то бывшего Зарайского, не то бывшего Коломенского уезда; помню одно лишь, что деревня была вблизи Оки, куда я часто в восьмидесятых годах ездил на охоту.

Там, среди стариков, местных жителей, я не раз слышал это слово, а слово это было:

– Мы москвичи!

И с какой гордостью говорили они это, сидя на завалинках у своих избенок.

– Мы москвичи!

И приходит ко мне совершенно незнакомый, могучего сложения, с седыми усами ста-

рик:

– Вас я десятки лет знаю и последние книги ваши перечитал... Уж извините, что позволю себе вас побеспокоить.

Смотрит на меня и улыбается:

– За вами должок есть! Я положительно удивился.

– Новых долгов у меня нет, а за старые, с ростовщиками, за меня революция рассчиталась, спасибо ей!

Так ему и сказал.

– Да вот в том-то и дело, что есть, и долг обязательный...

– Кому же это я должен?

– Вы всей Москве должны!.. В ваших книгах обо всей

Москве написали и ни слова не сказали о банях. А ведь Москва без бань – не Москва! А вы Москву знаете, и грех вам не написать о нас, старых москвичах. Вот мы и просим вас не забыть бань.

Мы делились наперебой воспоминаниями, оба увлеченные одной темой разговора, знавшие ее каждый со своей стороны. Говорили беспорядочно, одно слово вызывало другое,

одна подробность – другую, одного человека знал один с одной стороны, другой – с другой. Слово за слово, подробность за подробностью, рисовали яркие картины и типы.

Оба мы увлеклись одной целью – осветить знакомый нам быт со всех сторон.

– Вот я еще в силах работать, а как отдам все силы Москве – так уеду к себе на родину. Там мы ведь почти все москвичи. Вот почему нам и обидно, что вы нас забыли. Ваша аудитория гораздо шире, чем вы думали, озаглавливая книгу. Они не только те, которые родились в Москве, а и те, которых дают Москве области. Так, Ярославская давала половых, Владимирская – плотников, Калужская – булочников. Банщиков давали три губернии, но в каждой по одному-двум уездам, и не подряд, а гнездами. На Москву немного гнезд давал Коломенский уезд: коломенцы больше работают в Петербурге. Испокон века Москву насыщали банщиками уезды: Зарайский – Рязанский, Тульский – Каширский и Веневский. Так из поколения в поколение шли в Москву мужчины и женщины. Вот и я привезен был десятилетним мальчиком, как привозили и

дедов, и отцов, и детей наших!..

Когда еще не было железных дорог, ребяташек привозили в Москву с попутчиками, на лошадях. Какой-нибудь родственник, живущий в Москве, также с попутчиком приезжал на побывку в деревню, одетый в чуйку, картуз с лаковым козырьком, сапоги с калошами, и на жилете – часы с шейной цепочкой.

Все его деревенские родные и знакомые восхищались, завидовали, слушая его рассказы о хорошей службе, о житье в Москве. Отец, имеющий сына десяти – двенадцати лет, упрашивал довести его до Москвы к родственникам, в бани.

Снаряжают мальчонку чуть грамотного, дают ему две пары лаптей, казинетовую поддевку, две перемены домотканого белья и выхлопатывают паспорт, в котором приходилось прибавлять года, что стоило денег.

В Москве мальчика доставляли к родственникам и землякам, служившим в какой-нибудь бане. Здесь его сперва стригут, моют, придают ему городской вид.

Учение начинается с «географии». Первым

делом показывают, где кабак и как в него проникать через задний ход, потом – где трактир, куда бегать за кипятком, где булочная. И вот будущий москвич вступает в свои права и обязанности.

Работа мальчиков кроме разгона и посылок сливалась с работой взрослых, но у них была и своя, специальная. В два «небанных» дня недели – понедельник и вторник – мальчики мыли бутылки и помогали разливать квас, которым торговали в банях, а в «банные» дни готовили веники, которых выходило, особенно по субботам, и накануне больших праздников, в некоторых банях по три тысячи штук. Веники эти привозили возами из глухих деревень, особенно много из-под Гжели, связанные лыком попарно. Работа мальчиков состояла в том, чтобы развязывать веники.

В банях мальчики работали при раздевальнях, помогали и цирюльникам, а также обучались стричь ногти и срезать мозоли. На их обязанности было также готовить мочалки, для чего покупали кули из-под соли, на которые шло хорошее мочало. Для любителей

бралось самое лучшее мочало – «бараночное», нежное и мягкое, – его привозили специально в московские булочные и на него низали баранки и сушки; оно было втрое дороже кулевого. В два «небанных дня» работы было еще больше по разному домашнему хозяйству, и вдобавок хозяин посылал на уборку двора своего дома, вывозку мусора, чистку снега с крыши. А больше всего мальчуганам доставалось и работы, и колотушек от «кусочников».

Это были полухозяева, в руках которых находились и банщики, и банщицы, и весь банный рабочий люд, а особенно эксплуатировались ими рабочие-парильщики, труд которых и условия жизни не сравнимы были ни с чем.

С пяти часов утра до двенадцати ночи голый и босой человек, только в одном коротеньком фартучке от пупа до колена, работает непрерывно всеми мускулами своего тела, при переменной температуре от 14 до 60 градусов по Реомюру, да еще притом все время мокрый.

За это время он успевал просыхать только на полчаса в полдень, когда накидывал на себя для обеда верхнее платье и надевал опорки

на ноги. Это парильщик.

Он не получал ни хозяйских харчей и никакого жалованья. Парильщики жили подачками от мывшихся за свой каторжный труд в пару, жаре и мокроте. Таксы за мытье и паренье не полагалось.

– Сколько ваша милость будет! – было их обычным ответом на вопрос вымытого посетителя.

Давали по-разному. Парильщики знали свою публику, кто сколько дает, и по-разному старались мыть и тереть.

В Сандуновские бани приходил мыться владелец пассажа миллионер Солодовников, который никогда не спрашивал – сколько, а молча совал двугривенный, из которого банщику доставался только гривенник.

Парильщики не только не получали жалованья, а половину своих «чайных» денег должны были отдавать хозяину или его заместителю – «кусочнику», «хозяйчику».

Кроме того, на обязанности парильщика лежала еще топка и уборка горячей бани и мыльной.

«Кусочник» следит, когда парильщик по-

лучает «чайные», он знает свою публику и знает, кто что дает. Получая обычный солодовниковский двугривенный, он не спрашивает, от кого получен, а говорит:

– От храпайдола... – и выругается.

«Кусочник» платил аренду хозяину бани, сам нанимал и увольнял рабочих, не касаясь парильщиков: эти были в распоряжении самого хозяина.

«Кусочники» жили семьями при банях, имели отдельные комнаты и платили разную аренду, смотря по баням, от двадцати до ста рублей в месяц.

В свою очередь, раздевальщики, тоже не получавшие хозяйского жалованья, должны были платить «кусочникам» из своих чаевых разные оклады, в зависимости от обслуживаемых раздевальщиком диванов, углов, простенков, кабинок.

«Кусочники» должны были стирать диванные простыни, платить жалованье рабочим, кормить их и мальчиков, а также отвечать за чистоту бань и за пропажу вещей у моющихся в «дворянских» банях.

Революция 1905 года добралась до «кусоч-

ников». Рабочие тогда постановили ликвидировать «кусочников», что им и удалось. Но через два года, с усилением реакции, «кусочники» опять появились и существовали во всей силе вплоть до 1917 года.

Бичом бань, особенно «простонародных», были кражи белья, обуви, а иногда и всего ула у моющихся. Были корпорации банных воров, выработавших свою особую систему. Они крали белье и платье, которое сушилось в «горячей» бане. Делалось это следующим образом. Воры «наподдавали» на «каменку», так, чтобы баня наполнилась облаком горячего пара; многие не выдерживали жары и выходили в мыльню. Пользуясь их отсутствием, воры срывали с шестов белье и прятали его тут же, а к вечеру снова приходили в бани и забирали спрятанное. За это приходилось расплачиваться служащим в банях из своего скудного содержания.

Была еще воровская система, практиковавшаяся в «дворянских» отделениях бань, где за пропажу отвечали «кусочники».

Моющийся сдавал платье в раздевальню, получал жестяной номерок на веревочке,

иногда надевал его на шею или привязывал к руке, а то просто нацеплял на ручку шайки и шел мыться и париться. Вор, выследив в раздевальне, ухитрялся подменить его номерок своим, быстро выходил, получал платье и исчезал с ним. Моющийся вместо дорогой одежды получал рвань и опорки.

Банные вору были сильны и неуловимы. Некоторые хозяева, чтобы сохранить престиж своих бань, даже входили в сделку с ворами, платя им отступного ежемесячно, и «купленные» вору сами следили за чужими ворами, и если какой попадался – плохо ему приходилось, пощады от конкурентов не было: если не совсем убивали, то калечили на всю жизнь.

Во всех почти банях в раздевальнях были деревянные столбы, поддерживавшие потолок.

При поимке вора, положим, часов в семь утра, его, полууголого и босого, привязывали к такому столбу поближе к выходу. Между приходившими в баню бывали люди, обкраденные в банях, и они нередко вымещали свое озлобление на пойманном...

В полночь, перед запором бань, избитого вора иногда отправляли в полицию, что бывало редко, а чаще просто выталкивали, несмотря на погоду и время года.

В подобной обстановке с детских лет воспитывались будущие банщики. Побегов у них было значительно меньше, чем у деревенских мальчиков, отданных в учение по другим профессиям.

Бегали от побоев портные, сапожники, парикмахеры, столяры, маляры, особенно служившие у маленьких хозяйчиков – «грызиков», где они, кроме учения ремеслу, этими хозяйчиками, а главное – их пьяными мастерами и хозяйками употреблялись на всякие побегушки. Их, в опорках и полуголых, посылали во всякое время с ведрами на бассейн за водой, они вставали раньше всех в квартире, приносили дрова, еще затемно ставили самовары.

Измученные непосильной работой и побоями, не видя вблизи себя товарищей по возрасту, не слыша ласкового слова, они бежали в свои деревни, где иногда оставались, а если родители возвращали их хозяину, то они за-

частую бежали на Хитров, попадали в воровские шайки сверстников и через труппы и тюрьмы нередко кончали каторгой.

С банщиками это случалось редко. Они работали и жили вместе со своими земляками и родственниками, видели, как они трудились, и сами не отставали от них, а кое-какие чаевые за мелкие услуги давали им возможность кое-как, по-своему, развлекаться.

В праздники вместе с родственниками они ходили на народные гулянья в Сокольники, под Девичье, на Пресню, ходили в балаганы, в цирк.

А главное, они, уже напитавшиеся слухами от родных в деревне, вспоминая почти что сверстника Федьку или Степку, приехавшего жениться из Москвы в поддевке, в сапогах с калошами да еще при цепочке и при часах, настоящим москвичом, – сами мечтали стать такими же.

Родные и земляки, когда приходило время, устраивали им кредит на платье и обувь.

Белье им шили в деревне из неизносимого домотканого холста и крашенины, исключая праздничных рубашек, для которых покупали

лись в Москве кумач и ситец.

На рынке банщики покупали только опорки, самую необходимую обувь, без которой банщику обойтись нельзя: скоро, и все-таки обут.

В работе – только опорки и рванье, а праздничное платье было у всех в те времена модное. Высший шик – опойковые сапоги с высокими кожаными калошами.

Заказать такие сапоги было событием: они стоили тринадцать рублей. Носили их подолгу, а потом делали к ним головки, а опорки чинились и донашивались в бане.

Верхнее платье – суконные чуйки, длинные «сибирки», жилеты с глухим воротом, а зимой овчинный тулуп, крытый сукном и с барашковым воротником. Как и сапоги, носилось все это годами и создавалось годами, сначала одно, потом другое.

Мальчики, конечно, носили обноски, но уже загодя готовили себе, откладывая по грошам какому-нибудь родному дяде или банщице-тетке «капиталы» на задаток портному и сапожнику.

В ученье мальчики были до семнадца-

ти-восемнадцать лет. К этому времени они постигали банный обиход, умели обращаться с посетителями, стричь им ногти и аккуратно срезать мозоли. После приобретения этих знаний такой «образованный» отрок просил хозяина о переводе его в «молодцы» на открывшуюся вакансию, чтобы ехать в деревню жениться, а то «мальчику» жениться было неудобно: засмеют в деревне.

Готовясь жениться, произведенный в «молодцы» отправлялся на Маросейку, где над воротами красовались ножницы, а во дворе жил банный портной Иона Павлов.

Является к Павлову «молодец» со своим дядей, давним приятелем.

– Ион Павлыч! Вот молодцу надо бы построить тулупишко, чуйку и все иное прочее... женить его пора!

И построит ему Иона Павлыч, что надо, на многие годы, как он строил на всех банщиков. Он только на бани и работает, и бани не знали другого портного, как своего земляка.

Вся постройка и починка делалась в кредит, на выплату. Платили по мелочам, а главный расчет производился два раза в год – на

пасху и на рождество.

Так же было и с сапожником. Идет «молодец» с дядей в Каретный ряд к земляку-сапожнику.

– Петр Кирсаныч, сними-ка мерку, жениться едет! Снимет Петр Кирсаныч мерку полоской бумаги, пишет что-то на ней и спрашивает:

– Со скрипом?

– Вали со скрипом! – отвечает за него дядя.

– Подковать бы еще, дядь, на медненькие, – просит «молодец». – Кованые моднее!..

– Ладно. А как тебя зовут?

– Петрунька.

Царапает что-то сапожник на мерке карандашом и, прощаясь, назначает:

– Через два воскресенья в третье привезу!

Уже три поколения банщиков обслуживает Кирсаныч. Особенно много у него починок. То и дело прибегают к нему заказчики: тому подметки, тому подбор, тому обсоюзить, тому головки, а банщицам – то новые полусапожки яловочные на резине для сырости, то бабке-костоправке башмаки без каблуков, и починка, починка всякая. Только успевай де-

Лать.

У каждого заказа надпись, из каких бань и чья обувь.

Летом в телегу, а зимой в сани-розвальни запрягает Петр Кирсаных немудрого старого мерина, выносит с десяток больших мешков, садится на них, а за кучера – десятилетний внучек.

– Перво-наперво в Сандуновские, потом в Китайские, потом в Челышевские!

– Знаю, дедушка, знаю, как всегда!

Воскресенье – бани закрыты для публики. В раздевальне собираются рабочие: Кирсаных обещал приехать.

Вот и он с большим мешком, на мешке надпись мелом: «Сандуны». Самая дружеская шумная встреча.

Кирсаных аккуратно раскладывает свою работу и начинает вызывать:

– Иван Жесткий!.. Федор Горелый!.. Семен Рюмочка!.. Саша Пузырь!.. Маша Длинная!..

Тогда фамилии не употребляли между своих, а больше по прозвищам да по приметам. Клички давались по характеру, по фигуре, по привычкам.

И что ни кличка – то сразу весь человек в ней.

Иван действительно жесткий, Федор – всегда чуть не плачет, у Рюмочки – нос красный, Маша – длинная и тонкая, а Саша – маленький, прямо-таки пузырь.

Получают заказы. Рассчитываются. Появляется штоф, стаканчик, колбаса с огурцами – чувствуют и благодарят земляка Кирсаных.

Он уезжает уже на «первом взводе» в Китайские бани... Там та же история. Те же вызовы по приметам, но никто не откликается на надпись «Петрунька Некованый».

Только когда вытряхнулись из мешка блестящие сапоги с калошами, на них так и бросился малый с сияющим лицом, и расхохотался его дядя:

– Некованый!

Опять штоф, опять веселье, проводы в Чельшевские бани... Оттуда дальше, по назначенному маршруту. А поздним вечером – домой, но уж не один Кирсаных, а с каким-нибудь Рюмочкиным, – оба на «последнем взводе». Крепко спят на пустых мешках.

Такой триумфальной гулянкой заканчи-

вал Кирсаных свою трудовую неделю.

Сандуновские бани, как и переулоч, были названы в начале прошлого века в честь знаменитой актрисы-певицы Сандуновой. Так их зовут теперь, так их звали и в пушкинские времена.

По другую сторону Неглинки, в Крапивинском переулке, на глухом пустыре между двумя прудами, были еще Ламакинские бани. Их содержала Авдотья Ламакина. Место было труппное, бани грязные, но, за неимением лучших, они были всегда полны народа.

Во владении Сандуновой и ее мужа, тоже знаменитого актера Силы Сандунова, дом которого выходил в соседний Звонарный переулоч, также был большой пруд.

Здесь Сандунова выстроила хорошие бани и сдала их в аренду Ламакиной, а та, сохранив обогащавшие ее старые бани, не пожалела денег на обстановку для новых.

Они стали лучшими в Москве. Имя Сандуновой помогло успеху: бани в Крапивинском переулке так и остались Ламакинскими, а новые навеки стали Сандуновскими.

В них так и хлынула Москва, особенно в

мужское и женское «дворянское» отделение, устроенное с неслыханными до этого в Москве удобствами: с раздевальной зеркальной залой, с чистыми простынями на мягких диванах, вышколенной прислугой, опытными банщиками и банщицами. Раздевальная зала сделалась клубом, где встречалось самое разнообразное общество, – каждый находил здесь свой кружок знакомых, и притом буфет со всевозможными напитками, от кваса до шампанского «Моэт» и «Аи».

В этих банях перебивала и грибоедовская, и пушкинская Москва, та, которая собиралась в салоне Зинаиды Волконской и в Английском клубе.

Когда появилось в печати «Путешествие в Эрзерум», где Пушкин так увлекательно описал тифлисские бани, Ламакина выписала из Тифлиса на пробу банщиков-татар, но они у коренных москвичей, любивших горячий поллок и душистый березовый веник, особого успеха не имели, и их больше уже не выписывали. Зато наши банщики приняли совет Пушкина и завели для любителей полотняный пузырь для мыла и шерстяную рукавицу.

Потом в банях появились семейные отделения, куда дамы высшего общества приезжали с болонками и моськами. Горничные мыли собачонок вместе с барынями...

Это началось с Сандуновских бань и потом перешло понемногу и в некоторые другие бани с дорогими «дворянскими» и «купеческими» отделениями...

В «простонародные» бани водили командами солдат из казарм; с них брали по две копейки и выдавали по одному венику на десять человек.

Потом уже, в начале восьмидесятых годов, во всех банях постановили брать копейку за веник, из-за чего в Устьинских банях даже вышел скандал: посетители перебили окна, и во время драки публика разбегалась голая...

Начав брать по копейке за веник, хозяева нажили огромные деньги, а улучшений в «простонародных» банях не завели никаких.

Вообще хозяева пользовались всеми правдами и неправдами, чтобы выдавливать из всего копейки и рубли.

В некоторых банях даже воровали городскую воду. Так, в Челышевских банях, к вели-

кому удивлению всех, пруд во дворе, всегда полный воды, вдруг высох, и бани остались без воды. Но на другой день вода опять появилась – и все пошло по-старому.

Секрет исчезновения и появления воды в большую публику не вышел, и начальство о нем не узнало, а кто знал, тот с выгодой для себя молчал.

Дело оказалось простым: на Лубянской площади был бассейн, откуда брали воду водовозы. Вода шла из Мытищинского водопровода, и по мере наполнения бассейна сторож запирает краны. Когда же нужно было наполнить Челышевский пруд, то сторож крана бассейна не запирает, и вода по трубам шла в банный пруд.

Почти все московские бани строились на берегах Москвы-реки, Яузы и речек вроде Череры, Синички, Хапиловки и около проточных прудов.

Бани строились в большинстве случаев деревянные, одноэтажные, так как в те времена, при примитивном водоснабжении, во второй этаж подавать воду было трудно.

Бани делились на три отделения: разде-

вальная, мыльная и горячая.

При окраинных «простонародных» банях удобств не было никаких. У большинства даже уборные были где-нибудь во дворе: во все времена года моющийся должен был в них проходить открытым местом и в дождь и в зимнюю вьюгу.

Правильных водостоков под полами не было: мыльная вода из-под пола поступала в специальные колодцы на дворах по особым деревянным лежакам и оттуда по таким же лежакам шла в реку, только метров на десять пониже того места реки, откуда ее накачивали для мытья...

Такие бани изображены на гравюрах в издании Ровинского. Это Серебрянические бани, на Яузе.

Отоплялись бани «каменками» в горячих отделениях и «голландками» – в раздевальнях. Самой главной красотой бани считалась «каменка». В некоторых банях она нагревала и «горячую» и «мыльную».

Топили в старые времена только дровами, которые плотами по половодью пригонялись с верховьев Москвы-реки, из-под Можайска и

Рузы, и выгружались под Дорогомиловым, на Красном лугу. Прибытие плотов было весенним праздником для москвичей. Тысячи зрителей усеивали набережную и Дорогомиловский мост:

– Плоты пришли!

Самыми главными банными днями были субботы и вообще предпраздничные дни, когда в банях было тесно, и у кранов стояли вереницы моющихся с легкими липовыми шайками, которые сменили собой тяжелые дубовые.

В «дворянских» отделениях был кейф, отдых, стрижка, бритье, срезание мозолей, ставка банок и даже дерганье зубов, а «простонародные» бани являлись, можно безошибочно сказать, «поликлиникой», где лечились всякие болезни. Медиками были фельдшера, цирюльники, бабки-костоправки, а парильщики и там и тут заменяли массажисток еще в те времена, когда и слова этого не слышали.

В окраинных «простонародных» банях эта «поликлиника» представляла такую картину.

Суббота. С пяти-шести утра двери бань не затворяются. Публика плывет без перерыва.

В уголке раздевальной примащивался цирюльник, который без всякой санитарии стриг и брил посетителей. Иногда, улучив свободное время, он занимался и медициной: пускал кровь и ставил банки, пиявки, выдерживал зубы...

«Мыльная» бани полна пара; на лавке лежит грузное, красное, горячее тело, а возле суетится цирюльник с ящиком сомнительной чистоты, в котором находится двенадцать банок, штуцер и пузырек с керосином. В пузырек опущена проволока, на конце которой пробка.

Приготовив все банки, цирюльник зажигал пробку и при помощи ее начинал ставить банки. Через две-три минуты банка втягивала в себя на сантиметр и более тело.

У цирюльников было правило продержатъ десять минут банку, чтобы лучше натянуло, но выходило на деле по-разному. В это время цирюльник уходил курить, а жертва его искусства спокойно лежала, дожидаясь дальнейших мучений. Наконец терпения не хватало, и жертва просила окружающих позвать цирюльника.

– Вот сейчас добрею, не велик барин! – раздавалось в ответ.

Наконец цирюльник приходил, зажигал свой факел под банкой – шишка кровавого цвета. «Хирург» берет грязный и заржавленный штуцер, плотно прижимает к возвышению, просекает кожу, вновь проделывает манипуляцию с факелом, опять ставит банку, и через три – пять минут она полна крови.

Банка снимается, кровь – прямо на пол. Затем банщик выливает на пациента шайку воды, и он, татуированный, выходит в раздевальню. После этого обычно начиналась консультация о «пользительности» банок.

Кроме банок, цирюльники «открывали кровь». Еще в восьмидесятых годах на окраинах встречались вывески с надписью: «Здесь стригут, бреют, ставят пиявки и пущают кровь».

Такая вывеска бывала обыкновенно над входом, а по его сторонам обычно красовались две большие длинные картины, показывавшие, как это производится.

На одной сидит человек с намыленным подбородком, другой держит его указатель-

ным и большим пальцами за нос, подняв ему голову, а сам, наклонившись к нему, заносит правой рукой бритву, наполовину в мыле.

На другой стороне сидит здоровенный, краснорожий богатырь в одной рубахе с засученным до плеча рукавом, перед ним цирюльник с окровавленным ланцетом – значит, уж операция кончена; из руки богатыря высокой струей бьет, как из фонтана, кровь, а под рукой стоит крошечный мальчишка, с полотенцем через плечо, и держит таз, большой таз, наполовину полный крови.

Эту операцию делали тоже в «мыльнях», но здесь мальчика с тазом не было, и кровь спускали прямо на пол.

«Открывание крови» было любимой операцией крючников, ломовиков, мордастых личачей, начинавших жиреть лавочников и серого купечества.

В женских банях было свое «лечение». Первым делом – для белизны лица – заваривали в чайнике траву-череду, а в «дворянских» женщины мыли лицо миндальными высеvkами.

Потом шли разные притирания, вплоть до мытья головы керосином для рождения волос.

Здесь за моющими ухаживали банщицы. Бабки-костоправки работали только в «простонародных» банях. Они принимали участие и в лечении мужчин.

Приходит, согнувшись, человек в баню, к приказчику, и просит позвать бабку.

– Прострел замучил!

То же повторял он и пришедшей бабке. Та давала ему пузырек с какой-то жидкостью, приказывала идти мыться и после паренья натереться ее снадобьем, а после бани сказаться ей.

Вымывшись и одевшись, больной вызывал бабку. Она приказывала ему лечь брюхом поперек порога отворенной двери, клала сверху на поясницу сухой веник и ударяла потихоньку топором несколько раз по венику, шепча непонятные заклинания. Операция эта называлась «присекание».

Бабки в жизни бань играли большую роль, из-за бабок многие специально приходили в баню. Ими очень дорожили хозяева бань: бабки исправляли вывихи, «заговаривали грыжу», правили животы как мужчинам, так и женщинам, накладывая горшок.

Главной же их специальностью было акушерство. Уже за несколько недель беременная женщина начинала просить:

– Бабушка Анисья, ты уж не оставь меня!

– Ладно, а ты почаще в баньку приходи, это полезно, чтобы ребенок на правильную дорогу стал. Когда надо будет, я приду!

Еще задолго до того, как Гонецкий переделал Сандуновские бани в банный дворец, А. П. Чехов любил бывать в старых Сандуновских банях, уютных, без роскоши и ненужной блестящей мишуры.

– Антон, пойдем в баню, – зовет его, бывало, брат, художник Николай, весь измазанный краской.

– Пошел бы... да боюсь... вдруг, как последний раз, помнишь, встретим Сергиенко... Я уж оделся, выхожу, а он входит. Взял меня за пуговицу и с час что-то рассказывал. Вдруг опять встретим? А я люблю Сандуны... Только кругом воздух скверный: в сухую погоду – пыль, а когда дождь – изо всех домов выкачивают нечистоты в Неглинку.

А. П. Чехову пришлось жить в одной из квартир в новом банном дворце, воздух во-

круг которого был такой же, как и при старых Сандунах.

Тогда бани держал Бирюков, банный король, как его звали в Москве. Он в Москву пришел в лапотках, мальчиком, еще при Ламакиных, в бани, проработал десять лет, понастроил ряд бань, держал и Сандуновские.

А потом случилось: дом и бани оказались в закладе у миллионера-дровяника Фирсанова.

А что к Фирсанову попало – пиши пропало! Фирсанов давал деньги под большие, хорошие дома – и так подведет, что уж дом обязательно очутится за ним. Много барских особняков и доходных домов сделалось его добычей. В то время, когда А. П. Чехова держал за пуговицу Сергиенко, «Сандуны» были еще только в залоге у Фирсанова, а через год перешли к нему...

Это был огромный дом казарменно-аракчевского стиля, с барской роскошной раздевальной – создание известного архитектора двадцатых годов.

После смерти Ивана Фирсанова владелицей бань, двадцати трех домов в Москве и подмосковного имения «Средниково», где ко-

гда-то гащивали великие писатели и поэты, оказалась его дочь Вера.

Широко и весело зажила Вера Ивановна на Пречистенке, в лучшем из своих барских особняков, перешедших к ней по наследству от отца. У нее стали бывать и золотая молодежь, и модные бонвиваны – львы столицы, и дельные люди, вплоть до крупных судейских чинов и адвокатов. Большие коммерческие дела после отца Вера Ивановна вела почти что лично.

Через посещавших ее министерских чиновников она узнавала, что надо, и умело проводила время от времени свои коммерческие дела.

Кругом нее вилась и красивая молодежь, довольствовавшаяся веселыми часами, и солидные богачи, и чиновные, и титулованные особы, охотившиеся за красотой, а главным образом за ее капиталами.

В один прекрасный день Москва ахнула:

– Вера Ивановна вышла замуж!

Ее мужем оказался гвардейский поручик, сын боевого генерала, Гонецкий.

До женитьбы он часто бывал в Москве –

летом на скачках, зимой на балах и обедах, но к Вере Ивановне – «ни шагу», хотя она его, через своих друзей, старалась всячески привлечь в свиту своих ухаживателей.

В числе ее друзей, которым было поручено залучить Гонецкого, оказались и его друзья. Они уверили «Верочку», что он единственный наследник старого польского магната-миллионера, что он теперь его засыплет деньгами.

Друзья добились своего! Вера Ивановна Фирсанова стала Гонецкой. После свадьбы молодые, чтобы избежать визитов, уехали в «Средниково», где муж ее совершенно очаровал тем, что предложил заняться ее делами и работать вместе с ней.

Просмотрев доходы от фирсановских домов, Гонецкий заявил:

– А вот у Хлудовых Центральные бани выстроены!

Тебе стыдно иметь сандуновские развалины: это срамит фамилию Фирсановых. Хлудовых надо перешибить! Задев «купеческое самолюбие» жены, Гонецкий указал ей и на те огромные барыши, которые приносят Цен-

тральные бани.

– Первое – это надо Сандуновские бани сделать такими, каких Москва еще не видела и не увидит. Вместо развалюхи построим дворец для бань, сделаем все по последнему слову науки, и чем больше вложим денег, тем больше будем получать доходов, а Хлудовых сведем на нет. О наших банях заговорит печать, и ты – знаменитость!

Перестройка старых бань была решена...

– Надо объявить через архитектурное общество конкурс на проекты бань, – заикнулась Вера Ивановна.

– Что? Московским архитекторам строить бани? А почему Хлудовы этого не сделали? Почему они выписали из Вены строителя... Эйбушиц, кажется? А он вовсе не из крупных архитекторов... Там есть знаменитости покрупней. С московскими архитекторами я и работать не буду. Надо создать нечто новое, великое, слить Восток и Запад в этом дворце!..

После поездки по европейским баням, от Турции до Ирландии, в дворце молодых на Пречистенке состоялось предбанное заседание сведущих людей. Все дело вел сам Гонец-

кий, а строил приехавший из Вены архитектор Фрейденберг.

Пользуясь постройкой бань, Гонецкий в какие-нибудь несколько месяцев обменял на банковские чеки, подписанные его женой, свои прежние долговые обязательства, которые исчезли в огне малахитового камина в кабинете «отставного ротмистра гвардии», променявшего блеск гвардейских парадов на купеческие миллионы.

* * *

Как-то в жаркий осенний день, какие иногда выпадают в сентябре, по бульвару среди детей в одних рубашонках и гуляющей публики в летних костюмах от Тверской заставы быстро и сосредоточенно шагали, не обращая ни на кого внимания, три коротеньких человека.

Их бритые лица, потные и покрасневшиеся, выглядывали из меховых воротников теплых пальто. В правых руках у них были скаковые хлысты, в левых – маленькие саквояжи, а у одного, в серой смушковой шапке, надвинутой на брови, под мышкой узелок и банный веник. Он был немного повыше и по-

шире в плечах своих спутников.

Все трое – знаменитые жокеи: в смушковой шапке – Воронков, а два других – англичане: Амброз и Клейдон. Через два дня разыгрывается самый крупный приз для двухлеток, – надо сбавить вес, и они возвращаются из «грузинских» бань, где «потнялись» на полках.

Теперь они быстро шагают, дойдут до Всехсвятского и разойдутся по домам: Клейдон живет на Башиловке, а другие – в скаковой слободке, при своих конюшнях.

«Грузинские» бани – любимые у жокеев и у цыган, заселяющих Живодерку. А жокеи – любимые посетители банщиков, которым платили по рублю, а главное, иногда шепнут про верненькую лошадку на ближайших скачках.

Цыгане – страшные любители скачек – тоже пользуются этими сведениями, жарясь для этого в семидесятиградусную жару, в облаке горячего пара, который нагоняют банщики для своих щедрых гостей.

* * *

Как-то один знакомый, знавший, что я изучаю москвичей, пригласил меня в гости к сво-

ему родственнику – банщику.

Банщик жил на даче в Петровском парке, а бани держал где-то на Яузе.

– У него сегодня четыре именинницы: жена Софья и три дочери «погодки» Вера, Надежда и Любовь. Человек расчетливый – так всех дочерей подогнал, чтобы в один день, с матерью заодно, именины справить. Старшие две дочери гимназию кончают.

Просторный зал был отдан в распоряжение молодежи: студенты, гимназисты, два-три родственника в голубых рубахах и поддевках, в лаковых высоких сапогах, две-три молчаливые барышни в шелковых платьях. Музыка, пение, танцы под рояль. В промежутках чтение стихов и пение студенческих песен, вплоть до «Дубинушки по-студенчески». Шум, молодое веселье.

Рядом в гостиной – разодетые купчихи и бедные родственники чинно и недвижно сидят вдоль стен или группируются вокруг толстой, увешанной драгоценностями именинницы. Их обносят подносами с десертом. Несколько долгополых и короткополых – первые в смазных сапогах, вторые в штиблетах –

занимают дам.

Они уходят в соседнюю комнату, где стоит большой стол, уставленный закусками и выпивкой. Приходят, прикладываются, и опять – к дамам или в соседнюю комнату, – там на двух столах степенная игра в преферанс и на одном в «стуколку». Преферансисты – пожилые купцы, два солидных чиновника – один с «Анной в петлице» – и сам хозяин дома, в долгополом сюртуке с золотой медалью на ленте на красной шее, вырастающей из глухого синего бархатного жилета.

В «стуколку» сражаются игроки попроще и помоложе.

– А ты, Кирилл Макарыч, в чужие карты глазнапы не запускай!

Письмоводитель из полицейского участка, из кутейников, ехидно отвечает:

– А что сказано в писании?

– А что?

– А сказано так: «Человек, аще хочещи выиграть, первым делом загляни в чужие карты, ибо свои посмотреть всегда успеешь».

От «стуколки» слышится:

– Туза виной... Хлоп хрестовый... Дама бу-

бенная, червонный король...

Публика ожидательно прислушивается: в столовой стук посуды – накрывают обед.

Разлили по тарелкам горячее... Кончилось чоканье рюмками... Сразу все замолкло – лишь за столом молодежи в соседней комнате шумно кипела жизнь.

И пошло такое схлебывание с ложек, такое громкое чавканье, что даже заглушило веселье молодежи.

Кто-то поперхнулся. Сосед его молча бьет кулаком по загривку, чтобы рыбы косточки проскочили... Фырканье, чавканье, красные лица, посоловелые глаза.

Два банщика в голубых рубахах откупоривают бутылки, пробки летят в потолок, рублевое ланинское шампанское холодным душем низвергается на гостей.

Братья Стрельцовы – люди почти «в миллионах», московские домовладельцы, староверы, кажется, по преображенскому толку, вся жизнь их была как на ладони: каждый шаг их был известен и виден десятки лет. Они оба – холостяки, жили в своем уютном доме вместе с племянницей, которая была все

для них: и управляющей всем хозяйством, и кухаркой, и горничной.

У братьев жизнь была рассчитана по дням, часам и минутам. Они были почти однолетки, один брюнет с темной окладистой бородкой, другой посветлее и с проседью. Старший давал деньги в рост за огромные проценты. В суде было дело Никифорова и Федора Стрельцова, обвиняемого первым в лихоимстве: брал по сорок процентов!

Как-то вышло, что суд присудил Ф. Стрельцова только на несколько месяцев в тюрьму. Отвертеться не мог – пришлось отсиживать, но сказался больным, был отправлен в тюремную больницу, откуда каким-то способом – говорили, в десять тысяч это обошлось, – очутился дома и, сидя безвыходно, резал купоны...

Это приключение прошло незаметно, и снова потекла та же жизнь, только деньги стал отдавать не под векселя, а под дома.

Младший брат, Алексей Федорович, во время нахождения брата в тюремной больнице тоже – единственный раз – вздумал поростовщичать, дал под вексель знакомому «чле-

ну-любителю» Московского бегового общества денег, взял в обеспечение его беговую конюшню.

А. Ф. Стрельцов из любопытства посмотреть, как бегут его лошади, попал на бега впервые и заинтересовался ими. Жизнь его, дотоле молчаливая, наполнилась спортивными разговорами. Он стал ездить каждый беговой день на своей лошадке. Для ухода за лошадью дворник поставил своего родственника-мальчика, служившего при чьей-то беговой конюшне.

Алексей Федорович начал «пылить» на бега в шарабане со своим Ленькой, который был и конюх и кучер.

Время от времени сам стал брать вожжи в руки, научился править, плохую лошадедку сменил на бракованного рысачка, стал настоящим «пыльником», гонялся по Петербургскому шоссе от заставы до бегов, до трактира «Перепутье», где собирались часа за два до бегов второсортные спортсмены, так же как и он, пылившие в таких же шарабанчиках и в трактире обсуждавшие шансы лошадей, а их кучера сидели на шарабанах и ждали своих

хозяев.

Конюхи из трактира к началу бегов отвозили хозяев в полтиничные места беговой беседки, тогда еще деревянной, а сами, стоя на шарабанах, смотрели через забор на бега, знали каждую лошадь, обсуждали шансы выигрыша и даже играли в тотализатор, складываясь по двугривенному – тогда еще тотализатор был рублевый.

Иногда Алексей Федорович заезжал и на конюшню своего должника, аккуратно платившего проценты, а оттуда на круг, посмотреть на проездки.

Спорт наполнил жизнь его, хотя домашний обиход оставался тот же самый.

Старший Федор все так же ростовщичал и резал купоны, выезжая днем в город, по делам. Обедали оба брата дома, ели исключительно русские кушанья, без всяких деликатесов, но ни тот, ни другой не пил. К восьми вечера они шли в трактир Саврасенкова на Тверской бульвар, где собиралась самая разнообразная публика и кормили дешево.

В задних двух залах стояли хорошие бильярды, где собирались лучшие московские

игроки и, конечно, шулера, а наверху были «саврасенковские номера», куда приходили парочки с бульвара, а шулера устраивали там свои «мельницы», куда завлекали из бильярдной игроков и обыгрывали их наверняка.

Придя в трактир, Федор садился за буфетом вместе со своим другом Кузьмой Егорычем и его братом Михаилом – содержателями трактира. Алексей шел в бильярдную, где вел разговоры насчет бегов, а иногда и сам играл на бильярде по рублю партия, но всегда так сводил игру, что ухитрялся даже с шулеров выпрашивать чуть не в полпартии авансы, и редко проигрывал, хотя играл не кием, а мазиком.

Так каждый вечер до одиннадцати часов проводили они время у Саврасенковых.

В десять часов утра братья вместе выходили из дому – Федор по делам в город, а Алексей в свои Чернышевские бани, с их деревянной внутренней отделкой, всегда чисто выструганными и вымытыми лавками.

Он приходил в раздевальню «дворянского» отделения, сидел в ней часа два, принимал от приказчика выручку и клал ее в несгораемый

шкаф. Затем звал цирюльника. Он ежедневно брился – благо даром, не платить же своему деньги, а в одиннадцать часов аккуратно являлся брат Федор, забирал из шкафа пачки денег, оставляя серебро брату, – и уходил.

Алексей по уходе брата отправлялся напротив, через Брюсовский переулок, в грязный извозничий трактир в доме Косоурова пить чай и проводил здесь ровно час, беседуя, споря и обсуждая шансы беговых лошадей с извозчиками.

Сюда ездили лихачи и полулихачи. Они, так же как и конюхи «пыльников», следили через забор за состязаниями и знали лошадей. Каждый из любезности справлялся о шансах его лошади на следующий бег.

– А вот на последнем гандикапе вы уже к столбу подходили первым, да вас Балашов объехал... Его Вольный-то сбил вашего, сам заскакал и вашего сбил... Балашов-то успел своего на рысь поставить и выиграл, а у вас проскачка...

В это время Стрельцов был уже членом-любителем бегового общества. Вышло это неожиданно.

Владелец заложенных у него лошадей разорился, часть лошадей перешла к другим кредиторам, две остались за долг Стрельцову. Наездник, у которого стояли лошади, предложил ему оставить их за собой и самому ездить на них на призы.

Попробовал на проездках – удачно. Записал одну на поощрительный приз – благополучно пришел последним. После ряда проигрышей ему дали на большой гандикап выгодную дистанцию. Он уже совсем выиграл бы, если б не тот случай, о котором ему напоминали из сочувствия каждый раз извозчики.

С той поры он возненавидел Балашова и все мечтал объехать его во что бы то ни стало. Шли сезоны, а он все приходил в хвосте или совсем последним. Каждый раз брал билет на себя в тотализаторе – и это иногда был единственный билет на его лошадь. Публика при выезде его на старт смеялась, а во время бега, намекая на профессию хозяина, кричала:

– Веником! Веником ее!

А он все надеялся на свой единственный билет сорвать весь тотализатор, и все приез-

жал последним. Даже публика смеяться перестала. А Стрельцов по-своему наполнял свою жизнь этим спортом, – ведь единственная жизненная радость была!

Алексей Федорович не смел говорить брату об увлечении, которое считал глупостью, стоящей сравнительно недорого и не нарушавшей заведенного порядка жизни: деньги, деньги и деньги.

Ни знакомств, ни кутежей. Даже газет братья Стрельцовы не читали; только в трактире иногда мельком проглядывали журналы, и Алексей единственно что читал – это беговые отчеты.

Раз только в жизни полиция навязала богатым братьям два билета на благотворительный спектакль в Большом театре на «Демона». Алексей взял с собой Леньку-конюха.

Вернувшись домой, оба ругались, рассказывая Федору Федоровичу:

– И опять все вранье! А как он орал, что Вольный сын Эфира; а ты меня, Леня, в бок тычешь и шепчешь: «Врет!» И верно врал: Вольный сын Легкого и Ворожеи.

* * *

Девятый час утра небанного дня, но полтинное отделение Сандуновских бань с лихвойным швейцаром у входа со Звонарского переулка было обычно оживлено своей публикой, приходившей купаться в огромном бассейне во втором этаже дворца.

Купаться в бассейн Сандуновских бань приходили артисты лучших театров, и между ними почти столетний актер, которого принял в знак почтения к его летам Корш. Это Иван Алексеевич Григоровский, служивший на сцене то в Москве, то в провинции и теперь игравший злодеев в старых пьесах, которые он знал наизусть и играл их еще в сороковых годах.

Он аккуратно приходил ежедневно купаться в бассейне раньше всех; выкупавшись, вынимал из кармана маленького «жулика», вышибал пробку и, вытянув половинку, а то и до дна, закусывал изюминкой.

Из-за этого «жулика» знаменитый московский доктор Захарьин, бравший за визит к объевшимся на масленице блинами купцам по триста и по пятисот рублей, чуть не побил его палкой.

Никогда и ничем не болевший старик вдруг почувствовал, как он говорил, «стеснение в груди». Ему посоветовали сходить к Захарьину, но, узнав, что за прием на дому тот берет двадцать пять рублей, выругался и не пошел. Ему устроили по знакомству прием – и Захарьин его принял.

Первый вопрос:

– Водку пьешь?

– Как же – пью!

– Изредка?

– Нет, каждый день...

– По рюмке? По две?..

– Иногда и стаканчиками. Кроме водки, зато ничего не пью! Вчера на трех именинах был. Рюмок тридцать, а может, и сорок.

Обезумел Захарьин. Вскочил с кресла, глаза выпучил, палкой стучит по полу и орет:

– Что-о?.. Со... со... сорок! А сегодня пил?

– Вот только глотнул половину...

И показал ему из кармана «жулика». «Захарьин ударил меня по руке, – рассказывал приятелям Григоровский, – да я держал крепко.

– Вон отсюда! Гоните его!

На шум прибежал лакей и вывел меня. А он все ругался и орал...

А потом бросился за тинной, поймал меня.

– А давно ли пьешь? Сколько лет?

– Пью лет с двадцати... На будущий год сто лет». Сидя в кабинке Сандуновских бань, где Гонецкий ввел продажу красного вина, старик рассказывал:

– А пить я выучился тут, в этих самых банях, когда еще сама Сандунова жива была. И ее я видел, и Пушкина видел... Любил жарко париться!

– Пушкина? – удивленно спросили его слушатели.

– Да, здесь. Вот этих каюток тогда тут не было, дом был длинный, двухэтажный, а зала дворянская тоже была большая, с такими же мягкими диванами, и буфет был – проси чего хочешь... Пушкин здесь и бывал. Его приятель меня и пить выучил. Перед диванами тогда столы стояли. Вот сидим мы, попарившись, за столом и отдыхаем. Я и Дмитриев. Пьем брусничную воду. Вдруг выходит, похрамывая, Денис Васильевич Давыдов... знаменитый! Его превосходительство квартировал

тогда в доме Тинкова, на Пречистенке, а супруга Тинкова – моя крестная мать. Там я и познакомился с этим знаменитым героем. Он стихи писал и, бывало, читал их у крестной. Вышел Денис Васильевич из бани, накинул простыню и подсел ко мне, а Дмитриев ему: «С легким паром, ваше превосходительство. Не угодно ли брусничной? Ароматная!» – «А ты не боишься?» – спрашивает. «Чего?» – «А вот ее пить? Пушкин о ней так говорит: «Боюсь, брусничная вода мне б не наделала вреда», и оттого он ее пил с араком».

Денис Васильевич мигнул, и банщик уже несет две бутылки брусничной воды и бутылку арака.

И начал Денис Васильевич наливать себе и нам: полстакана воды, полстакана арака. Пробую – вкусно. А сам какие-то стихи про арака читает...

Не помню уж, как я и домой дошел.

В первый раз напился, – не думал я, что арака такой крепкий.

И каждый раз, как, бывало, увижу кудрявцовскую карамельку в цветной бумажке, хвостик с одного конца, так и вспомню моего

учителя.

В эти конфетки узенькие билетики вкладывались, по две строчки стихов. Помню, мне попался билетик:

*Боюсь, брусничная вода
Мне б не наделала вреда!*

Потом ни арака, ни брусничной не стало! До «жуликов» дожил! Дешево и сердито!..

Любил Григоровский рассказывать о прошлом. Много он видел, память у него была удивительная.

С удовольствием он рассказывал, любил говорить, и охотно все его слушали. О себе он не любил поминать, но все-таки приходилось, потому что рассказывал он только о том, где сам участником был, где себя не выдержишь.

Иногда называл себя в третьем лице, будто не о нем речь. Где говорит, о том и вспоминает: в трактире – о старых трактирах, о том, кто и как пил, ел; в театре в кругу актеров – идут воспоминания об актерах, о театре. И чего-чего он не знал! Кого-кого он не помнил!

– А что, Ваня, ты Сухово-Кобылина зна-

вал? – спросил его однажды в театре Корша актер Киселевский, отклеивая баки и разгри-мировываясь после «Кречинского».

– Нет, а вот Расплюева видал!

– Как Расплюева? Ведь это тип.

– Пусть тип, а был он хористом в театре в Ярославле и был шулером. Фамилия другая... При мне его тогда в трактире «Столбы» из окна за шулерство выкинули. Вот только забыл, кто именно: не то Мишка Докучаев, не то Егорка Быстров!

Для своих лет Григоровский был еще очень бодр и не любил, когда его попрекали старостью. Как-то в ресторане «Ливорно» Иван Алексеевич рассказывал своим приятелям:

– Вчера я был в гостях у молоденькой телеграфистки. Славно время провел...

Андреев-Бурлак смеется:

– Ваня! Как ты врешь! Когда ты мог с молоденькими славно время проводить, тогда телеграфов еще не было.

Как-то в утренний час вошел в раздевальню шестифутовый полковник, весь в саже, с усами до груди, и на его общий поклон со

всех банных диванов раздалось приветствие:

– Здравствуйте, Николай Ильич!

– Всю ночь в Рогожской на пожаре был...

Выкупаюсь да спать... Домов двадцать сгорело.

Это был полковник Н. И. Огарев, родственник поэта, друга Герцена. Его любила вся Москва.

Его откомандировали из гвардии в армию с производством в полковники и назначили в распоряжение московского генерал-губернатора. Тут его сделали полицмейстером второго отделения Москвы.

Он страстно любил пожары, не пропускал ни одного, и, как все пожарные, любил бани.

В шестидесятых годах он разрешал всех арестованных, даже в секретных камерах при полицейских домах, то есть политических преступников, водить в баню в сопровождении «мушкетеров» (безоружных служителей при полицейских домах). В 1862 году в Тверской части в секретной содержался крупнейший государственный преступник того времени, потом осужденный на каторгу, П. Г. Зайчневский. Огарев каждый день любовался

пегими пожарными лошадьми и через окно познакомился с Зайчневским, тоже любителем лошадей, а потом не раз бывал у него в камере – и разрешил ему в сопровождении солдата ходить в бани.

По субботам члены «Русского гимнастического общества» из дома Редлиха на Страстном бульваре после вечерних классов имели обычай ходить в ближайшие Сандуновские бани, а я всегда шел в Палашевские, рядом с номерами «Англия», где я жил.

А главное, еще и потому, что рядом с банями была лавчоночка, где народный поэт Разоренов торговал своего изделия квасом и своего засола огурцами, из-под которых рассол был до того ароматичен и вкусен, что его предпочитали даже прекрасному хлебному квасу.

Лавчонка была крохотная, так что старик гигант Алексей Ермилыч едва поворачивался в ней, когда приходилось ему черпать из бочки ковши рассола или наливать из крана большую кружку квасу. То и другое стоило по копейке.

Лавчонка запиралась в одиннадцать ча-

сов, и я всегда из бани торопился не опоздать, чтобы найти время побеседовать со стариком о театре и поэзии, послушать его новые стихи, поделиться своими.

В ту субботу, о которой рассказывается, я забежал в Сандуновские бани в десятом часу вечера.

Первым делом решил постричь волосы, – бороду и усы я не брил, бросив сцену. Парикмахер, совсем еще мальчик, меня подстриг и начал готовить бритвы, но я отказался.

– Помилуйте, – назвал меня по имени и отчеству, – ведь вы всегда брились.

Оказалось – ученик театрального парикмахера в Пензе. Я рассказал ему, что, бросив сцену, в последний раз брился перед спектаклем в Баку.

– На Кавказе, значит, были? У нас тоже в банях есть банщик персиянин с Кавказа, вот ежели хотите, я его позову.

Я обрадовался. А то бывал на Кавказе, на войне, весь Кавказ верхом изъездил, а в банях знаменитых не бывал.

Действительно, на войне не до бань, а той компании, с которой я мотался верхом по ди-

ким аулам, в город и носа показывать нельзя было. В Баку было не до бань, а Тифлис мы проехали мимо.

– Абидинов! – крикнул он.

Передо мной юркий, сухой и гибкий, как жимолость, с совершенно голой головой, кружится и вьется банщик и доставляет мне не испытанное дотоле наслаждение. Описать эту неожиданную в Москве операцию я не решаюсь – после Пушкина писать нельзя! Цитирую его «Путешествие в Арзрум»: «...Гасан начал с того, что разложил меня на теплом каменном полу, после чего он начал ломать мне члены, вытягивать суставы, бить меня сильно кулаком: я не чувствовал ни малейшей боли, но удивительное облегчение (азиатские банщики приходят иногда в восторг, вспрыгивают вам на плечи, скользят ногами по бедрам и пляшут на спине вприсядку).

После сего он долго тер меня рукавицей и, сильно оплескав теплой водой, стал умывать намыленным полотняным пузырем. Ощущение неизъяснимое: горячее мыло обливает вас, как воздух! После пузыря Гасан опустил меня в ванну – тем и кончилась церемония».

Я еще сидел в ванне, когда с мочалками и мылом в руках влетели два стройных и ловких красавчика, братья Дуровы, члены-любители нашего гимнастического общества.

Который-то из них на минуту остановился на веревочном ковре, ведущем в «горячую», сделал сальто-мортале, послал мне приветствие мочалкой и исчез вслед за братом в горячей бане.

А вот и наши. Важно, ни на кого не обращая внимания, сомом проплыл наш непобедимый учитель фехтования Тарас Петрович Тарасов, с грозными усами и веником под мышкой. Его атлетическая грузная фигура начинала уже покрываться слоем жира, еще увеличившим холмы бицепсов и жилистые икры ног... Вот с кого лепить Геркулеса!

А вот с этого Антиноя. Это наш непревзойденный учитель гимнастики, знаменитый танцор и конькобежец, старший брат другого прекрасного гимнаста и ныне здравствующего известного хирурга Петра Ивановича Постникова, тогда еще чуть ли не гимназиста или студента первых курсов. Он остановился под холодным душем, изгибался, повертывался

мраморным телом ожившего греческого полубога, играя изящными мускулами, живая рельефная сеть которых переливалась на широкой спине под тонкой талией.

Я продолжал сидеть в теплой ванне. Кругом, как и всегда в мыльной, шлепанье по голому мокрому телу, шипенье воды, рвущейся из кранов в шайки, плеск окачивающихся, дождевой шумок душей – и не слышно человеческих голосов.

Как всегда, в раздевальнях – болтают, в мыльне – молчат, в горячей – гогочут. И гогот этот слышится в мыльне на минуту, когда отворяется дверь из горячей.

А тут вдруг такой гогот, что и сквозь закрытую дверь в горячую гудит.

– Ишь когда его забрало... Я четверть часа сижу здесь, а был уж он там... Аки лев рыкающий в пустыне Ливийской. Всех запарит! – обращается ко мне из ванны рядом бритый старичок с начесанными к щекам седыми вихорками волос.

Это отставной чиновник светского суда, за пятьдесят лет выслуживший три рубля в месяц пенсии, боль в пояснице и пряжку в пет-

лице.

– При матушке Екатерине, – говорит он, – по этой пряжке давалось право входа в женские бани бесплатно, а теперь и в мужские плати! – обижался он.

А из горячей стали торопясь выходить по нескольку человек сразу. В открытую дверь несло гоготанье:

– О...го-го!.. О-го-го!

– У... у... у... у...

– Плесни еще... Плесни... жарь!

Слышалось хлестанье веником. Выходившие в мыльную качались, фыркали, торопились к душам и умывались из кранов.

– Вали!.. Поясницу!.. Поясницу!.. – гудел громоподобный бас.

– Так!.. Так!.. Пониже забирай! О-о-о... го... го!.. Так ее!.. Комлем лупи!.. Комлем!..

И вдруг:

– Будя!.. А!.. А! А!.. О... О...

Из отворенной двери валит пар. В мыльне стало жарко... Первым показался с веником в руках Тарасов. А за ним двигалось некое косматое чудище с косматыми волосами по плечам и ржало от восторга.

Даже Тарасов перед ним казался маленьким.

Оба красные, с выпученными глазами прут к душе, и чудище снова ржет и, как слон, поворачивается под холодным дождем...

Сразу узнал его – мы десятки раз встречались на разных торжествах и, между прочим, на бегах и скачках, где он нередко бывал, всегда во время антрактов скрываясь где-нибудь в дальнем углу, ибо, как он говорил: «Не подобает бывать духовной особе на конском ристалище, начальство увидит, а я до коней любитель!»

Подходит к буфету. Наливает ему буфетчик чайный стакан водки, а то, если другой буфетчик не знает да нальет, как всем, рюмку, он сейчас загудит:

– Ты что это? А? Кому наливаешь? Этим воробья причащать, а не отцу протодьякону пить.

Впрочем, все буфеты знали протодьякона Шеховцева, от возглашения «многая лета» которого на купеческих свадьбах свечи гасли и под люстрами хрустальные висюльки со звоном трепетали.

Мы с Тарасовым пошли одеваться.

В раздевальне друзья. Огромный и косматый писатель Орфанов-Мишля – тоже фигура чуть поменьше Шеховцева, косматая и бородастая, и видно, что ножницы касались его волос или очень давно, а то, может быть, и никогда.

А рядом с ним крошечный, бритый по-актерски, с лицом в кулачок и курчавыми волосами Вася Васильев. Оба обитатели «Чернышей», оба полулегальные и поднадзорные, оба мои старые друзья.

– Вы как сюда? А я думал, что вы никогда не ходите в баню! Вы, члены «клуба немых кобелей», и вдруг в бане!

Вася, еще когда служил со мной у Бренко, рассказывал, что в шестидесятых годах в Питере действительно существовал такой клуб, что он сам бывал в нем и что он жил в доме в Эртелевом переулке, где бывали заседания этого клуба.

Этот дом и другой, соседний, потом были сломаны, и на их месте Суворин выстроил типологию «Нового времени».

Только два поэта посвятили несколько

строк русским баням – и каждый отразил в них свою эпоху.

И тот и другой вдохновлялись московскими банями.

Один был всеобъемлющий Пушкин. Другой – московский поэт Шумахер.

*...В чертоги входит хан молодой,
За ним отшельниц милых рой,
Одна снимает шлем крылатый,
Другая – кованые латы,
Та меч берет, та – пыльный щит.
Одежда неги заменит
Железные доспехи брани.
Но прежде юношу ведут
К великолепной русской бане.
Уж волны дымные текут
В ее серебряные чаны
И брызжут хладные фонтаны;
Разостлан роскоши ковер,
На нем усталый хан ложится,
Прозрачный пар над ним клубит-
ся.
Потупя неги полный взор,
Прелестные, полунагие,
Вкруг хана девы молодые
В заботе нежной и немой
Теснятся резвою толпой...*

*Над рыцарем иная машет
Ветвями молодых берез...
И жар от них душистый пышет;
Другая соком вешних роз
Усталы члены прохлаждает
И в ароматах потопляет
Темнокудрявые власы...*

Изящным стихом воспевает «восторгом рыцарь упоенный» прелесть русских Сандуновских бань, которые он посещал со своими друзьями в каждый свой приезд в Москву.

Поэт, молодой, сильный, крепкий, «выпарившись на полке ветвями молодых берез», бросался в ванну со льдом, а потом опять на полку, где снова «прозрачный пар над ним клубится», а там «в одежде неги» отдыхает в богатой «раздевалке», отделанной строителем екатерининских дворцов, где «брызжут холодные фонтаны» и «разостлан роскоши ковер»...

Прошло полвека. Родились новые идеалы, новые стремления.

Либеральный поэт шестидесятых годов П. В. Шумахер со своей квартиры на Мещанской идет на Язу в Волковские «простонародные»

бани.

Он был очень толст, страдал подагрой. И. С. Тургенев ему говорил: «Мы коллеги по литературе и подагре». Лечился П. В. Шумахер от подагры и вообще от всех болезней баней. Парили его два банщика, поминутно поддавая на «каменку». Особенно он любил Сандуновские, где, выпарившись, отдыхал и даже спал часа два и всегда с собой уносил веник. Дома, отдыхая на диване, он клал веник под голову.

Последние годы жизни он провел в странноприимном доме Шереметева, на Сухаревской площади, где у него была комната. В ней он жил по зимам, а летом – в Кускове, где Шереметев отдал в его распоряжение «Голландский домик».

Стихи Шумахера печатались в журналах и издавались отдельно. Любя баню, он воспевал, единственный поэт, ее прелести вкусно и смачно.

Вот отрывки из его стихов о бане:

*Мякнут косточки, все жилочки
гудят,
С тела волглого окатышки бе-*

гут,
А с настреку вся спина горит,
Мне хозяйка смутны речи гово-
рит.
Не ворошь ты меня, Танюшка,
Растомила меня банюшка,
Размягчила туги хрящики,
Разморила все суставчики.
В бане веник больше всех бояр,
Положи его, сухмяного, в запар,
Чтоб он был душистый и взбучи-
стый,
Лопашистый и уручистый...
И залез я на высокий на полок,
В мягкий, вольный, во малиновый
парок.
Начал веничком я париться,
Шелковистым, хвостистым жа-
риться.

А вот еще его стихи о том же:

Лишенный сладостных мечта-
ний,
В бессильной злобе и тоске
Пошел я в Волковские бани
Распарить кости на полке.
И что ж? О радость! О прият-
ство!

*Я свой заветный идеал —
Свободу, равенство и братство —
В Торговых банях отыскал.*

Стихотворение это, как иначе в те времена и быть не могло, напечатать не разрешили. Оно ходило по рукам и читалось с успехом на нелегальных вечеринках.

Я его вспомнил в Суконных банях, на Болоте, где было двадцатикопеечное «дворянское» отделение, излюбленное местным купечеством.

* * *

Как-то с пожара на Татарской я доехал до Пятницкой части с пожарными, соскочил с багров и, прокопченный дымом, весь в саже, прошел в ближайшие Суконные бани.

Сунулся в «простонародное» отделение – битком набито, хотя это было в одиннадцать часов утра. Зато в «дворянских» за двугривенный было довольно просторно. В мыльне плескалось человек тридцать.

Банщик уж второй раз намылил мне голову и усиленно выскребал сажу из бороды и волос – тогда они у меня еще были густы. Я сидел с закрытыми глазами и блаженствовал.

Вдруг среди гула, плеска воды, шлепанья по голому телу я слышу громкий окрик:

– Идет!.. Идет!..

И в тот же миг банщик, не сказав ни слова, зашлепал по мокрому полу и исчез.

Что такое? И спросить не у кого – ничего не вижу. Ощупываю шайку – и не нахожу ее; оказалось, что банщик ее унес, а голова и лицо в мыле. Кое-как протираю глаза и вижу: суматоха! Банщики побросали своих клиентов, кого с намыленной головой, кого лежащего в мыле на лавке. Они торопятся налить из кранов шайки водой и становятся в две шеренги у двери в горячую парильню, высоко над головой подняв шайки.

Ничего не понимаю – и глаза мыло ест.

Тут отворяется широко дверь, и в сопровождении двух парильщиков с березовыми вениками в руках важно и степенно шествует могучая бородатая фигура с пробором по середине головы, подстриженной в скобку.

И банщики по порядку, один за другим выливают на него шайки с водой ловким взмахом, так, что ни одной капли мимо, приговаривая радостно и почтительно:

– Будьте здоровы, Петр Ионыч!

– С легким паром!

Через минуту банщик домывает мне голову и, не извинившись даже, будто так и надо было, говорит:

– Петр Ионыч... Губонин... Их дом рядом с Пятницкою частью, и когда в Москве – через день ходят к нам в эти часы... по рублевке каждому парильщику «на калач» дают.

Трактиры

«Нам трактир дороже всего!» – говорит в «Лесе» Аркашка Счастливец. И для многих москвичей трактир тоже был «первой вещью». Он заменял и биржу для коммерсантов, делавших за чашкой тысячные сделки, и столовую для одиноких, и часы отдыха в дружеской беседе для всякого люда, и место деловых свиданий, и разгул для всех – от миллионера до босяка.

Словом, прав Аркашка:

– Трактир есть первая вещь!

Старейшими чисто русскими трактирами в Москве еще с первой половины прошлого столетия были три трактира: «Саратов», Гури-

на и Егорова. У последнего их было два: один в своем собственном доме, в Охотном ряду, а другой в доме миллионера Патрикеева, на углу Воскресенской и Театральной площадей. С последним Егорову пришлось расстаться. В 1868 году приказчик Гурина, И. Я. Тестов, уговорил Патрикеева, мечтавшего только о славе, отобрать у Егорова трактир и сдать ему. И вот, к великой купеческой гордости, на стене вновь отделанного, роскошного по тому времени, дома появилась огромная вывеска с аршинными буквами: «Большой Патрикеевский трактир». А внизу скромно: «И. Я. Тестов».

Заторговал Тестов, щеголяя русским столом.

И купечество и барство валом валило в новый трактир. Особенно бойко торговля шла с августа, когда помещики со всей России везли детей учиться в Москву в учебные заведения и когда установилась традиция – пообедать с детьми у Тестова или в «Саратове» у Дубровина... откуда «жить пошла» со своим хором знаменитая «Анна Захаровна», потом блиставшая у «Яра».

После спектакля стояла очередь театральная публика. Слава Тестова забила Гурина и «Саратов». В 1876 году купец Карзинкин купил трактир Гурина, сломал его, выстроил огромный дом и составил «Товарищество Большой Московской гостиницы», отделал в нем роскошные залы и гостиницу с сотней великолепных номеров. В 1878 году открылась первая половина гостиницы. Но она не помещала Тестову, прибавившему к своей вывеске герб и надпись: «Поставщик высочайшего двора».

Петербургская знать во главе с великими князьями специально приезжала из Петербурга съесть тестовского поросенка, раковый суп с расстегаями и знаменитую гурьевскую кашу, которая, кстати сказать, ничего общего с Гурьинским трактиром не имела, а была придумана каким-то мифическим Гурьевым.

Кроме ряда кабинетов, в трактире были две огромные залы, где на часы обеда или завтрака именитые купцы имели свои столы, которые до известного часа никем не могли быть заняты.

Так, в левой зале крайний столик у окна с

четыре часов стоял за миллионером Ив. Вас. Чижевым, бритым, толстенным стариком огромного роста. Он в свой час аккуратно сел за стол, всегда почти один, ел часа два и между блюдами дремал.

Меню его было таково: порция холодной белуги или осетрины с хреном, икра, две тарелки ракового супа, селянки рыбной или селянки из почек с двумя расстегаями, а потом жареный поросенок, телятина или рыбное, смотря по сезону. Летом обязательно ботвинья с осетриной, белорыбицей и сухим тертым балыком. Затем на третье блюдо неизменно сковорода гурьевской каши. Иногда позволял себе отступление, заменяя расстегаи байдаковским пирогом – огромной кулебякой с начинкой в двенадцать ярусов, где было все, начиная от слоя налимьей печени и кончая слоем костяных мозгов в черном масле. При этом пил красное и белое вино, а подремав с полчаса, уезжал домой спать, чтобы с восьми вечера быть в Купеческом клубе, есть целый вечер по особому заказу уже с большой компанией и выпить шампанского. Заказывал в клубе он всегда сам, и никто из компанейцев

ему не противоречил.

– У меня этих разных фоли-жоли да фрикасе-куресе не полагается... По-русски едим – зато брюхо не болит, по докторам не мечемся, полоскаться по границам не шатаемся.

И до преклонных лет в добром здравье дожил этот гурман.

Много их бывало у Тестова.

* * *

Передо мной счет трактира Тестова в тридцать шесть рублей с погашенной маркой и распиской в получении денег и подписями: «В. Далматов и О. Григорович». Число – 25 мая. Год не поставлен, но, кажется, 1897-й или 1898-й. Проездом из Петербурга зашли ко мне мой старый товарищ по сцене В. П. Далматов и его друг О. П. Григорович, известный инженер, москвич. Мы пошли к Тестову пообедать по-московски. В левой зале нас встречает патриарх половых, справивший сорокалетний юбилей, Кузьма Павлович.

– Пожалуйста, Владимир Алексеевич, за пастуховский стол! Николай Иванович вчера уехал на Волгу рыбу ловить.

Садимся за средний стол, десяток лет зани-

маемый редактором «Московского листка» Пастуховым. В белоснежной рубахе, с бородой и головой чуть не белее рубахи, замер перед нами в выжидательной позе Кузьма, успевший что-то шепнуть двум подручным мальчуганам-половым.

– Ну-с, Кузьма Павлович, мы угощаем знаменитого артиста! Сооруди сперва водочки... К закуске чтобы банки да подносы, а не кот наплакал.

– Слушаю-с.

– А теперь сказывай, чем угостишь.

– Балычок получен с Дона... Янтаристый... С Кучу-гура. Так степным ветерком и пахнет...

– Ладно. Потом белорыбка с огурчиком...

– Манность небесная, а не белорыбка. Иван Яковлевич сами на даче провешивали. Икорка белужья парная... Паюсная ачуевская – калачики чуевские. Поросеночек с хреном...

– Я бы жареного с кашей, – сказал В. П. Далматов.

– Так холодного не надо-с? И мигнул половому.

– Так, а чем покормишь?

– Конечно, тестовскую селянку, – заявил О.

П. Григорович.

– Селяночку – с осетриной, со стерлядкой... живенькая, как золото желтая, нагулянная стерлядка, мочаловская.

– Расстегайчики закрась налимьими печенками...

– А потом я рекомендовал бы натуральные котлетки а ля Жардиньер. Телятина, как снег, белая. От Александра Григорьевича Щербатова получаем-с, что-то особенное...

– А мне поросенка с кашей в полной неприкосновенности, по-расплюевски, – улыбается В. П. Далматов.

– Всем поросенка... Да гляди, Кузьма, чтобы розовенького, корочку водкой вели смочить, чтобы хрумтела.

– А вот между мясным хорошо бы лососинку Грилье, – предлагает В. П. Далматов.

– Лососинка есть живенькая. Петербургская... Зеленцы пощерботить прикажете? Спаржа, как масло...

– Ладно, Кузьма, остальное все на твой вкус... Ведь не забудешь?

– Помилуйте, сколько лет служу! И оглянулся назад.

В тот же миг два половых тащат огромные подносы. Кузьма взглянул на них и исчез на кухню.

Моментально на столе выстроились холодная смирновка во льду, английская горькая, шустовская рябиновка и портвейн Лева № 50 рядом с бутылкой пикона. Еще двое пронесли два окорока провесной, нарезанной прозрачно розовыми, бумажной толщины, ломтиками. Еще поднос, на нем тыква с огурцами, жареные мозги дымились на черном хлебе и два серебряных жбана с серой зернистой и блестяще-черной ачучевской паюсной икрой. Неслышно вырос Кузьма с блюдом семги, украшенной угольниками лимона.

– Кузьма, а ведь ты забыл меня.

– Никак нет-с... Извольте посмотреть.

На третьем подносе стояла в салфетке бутылка эля и три стопочки.

– Нешто можно забыть, помилуйте-с! Начали попервоначально «под селедочку».

– Для рифмы, как говаривал И. Ф. Горбунов: водка – селедка.

Потом под икру ачучевскую, потом под зернистую с крошечным расстегаем из нали-

мьих печенок, по рюмке сперва белой холодной смирновки со льдом, а потом ее же, подкрашенной пикончиком, выпили английской под мозги и зубровки под салат оливье...

После каждой рюмки тарелочки из-под закуски сменялись новыми...

Кузьма резал дымящийся окорок, подручные черпали серебряными ложками зернистую икру и раскладывали по тарелочкам. Розовая семга сменялась янтарным балыком... Выпили по стопке эля «для осадки». Постепенно закуски исчезали, и на месте их засверкали дорогого фарфора тарелки и серебро ложек и вилок, а на соседнем столе курилась селянка и розовели круглые расстегаи.

– Селяночки-с!..

И Кузьма перебросил на левое плечо салфетку, взял вилку и ножик, подвинул к себе расстегай, взмахнул пухлыми белыми руками, как голубь крыльями, моментально и беззвучно обратил рядом быстрых взмахов расстегай в десятки узких ломтиков, разбежавшихся от цельного куска серой налимьей печенки на середине к толстым зарумяненным краям пирога.

– Розан китайский, а не пирог! – восторгался В. П. Далматов.

– Помилуйте-с, сорок лет режу, – как бы оправдывался Кузьма, принимаясь за следующий расстегай. – Сами Влас Михайлович Дорошевич хвалили меня за кройку розанчиком.

– А давно он был?

– Завтракали. Только перед вами ушли.

– Поросеночка с хреном, конечно, ели?

– Шесть окорочков под водочку изволили скушать. Очень любят с хренком и со сметанкой.

Компания продолжала есть, а оркестрион в соседнем большом зале выводил:

*Вот как жили при Аскольде
Наши деды и отцы...*

Трактир Тестова был из тех русских трактиров, которые в прошлом столетии были в большой моде, а потом уже стали называться ресторанами. Тогда в центре города был только один «ресторан» – «Славянский базар», а остальные назывались «трактиры», потому что главным посетителем был старый рус-

ский купец. И каждый из городских трактиров в районе Ильинки и Никольской отличался своими обычаями, своим каким-нибудь особым блюдом и имел своих постоянных посетителей. И во всех этих трактирах прислуживали половые – ярославцы, в белых рубахах из дорогого голландского полотна, выстиранного до блеска. «Белорубашечники», «половые», «шестерки» их прозвания.

– Почему «шестерки»?

– Потому, что служат тузам, королям и дамам... И всякий валет, даже червонный, им приказывает... – объяснил мне старый половой Федотыч и, улыбаясь, добавил: – Ничего! Козырная шестерка и туза бьет!

Но пока «шестерка» станет козырной, много ей мытарств надо пройти.

В старые времена половыми в трактирах были, главным образом, ярославцы – «ярославские водохлебы». Потом, когда трактиров стало больше, появились половые из деревень Московской, Тверской, Рязанской и других соседних губерний.

Их привозили в Москву мальчишками в трактир, кажется, Соколова, где-то около

Тверской заставы, куда трактирщики и обращались за мальчиками. Здесь была биржа будущих «шестерок». Мальчиков привозили обыкновенно родители, которые и заключали с трактирщиками контракт на выучку, лет на пять. Условия были разные, смотря по трактиру.

Мечта у всех – попасть в «Эрмитаж» или к Тестову. Туда брали самых ловких, смышленных и грамотных ребятишек, и здесь они проходили свой трудный стаж на звание полового.

Сначала мальчика ставили на год в судомойки. Потом, если найдут его понятливым, переводят в кухню – ознакомить с подачей кушаний. Здесь его обучают названиям кушаний... В полгода мальчик наострится под опытным руководством поваров, и тогда на него надевают белую рубаху.

– Все соуса знает! – рекомендует главный повар.

После этого не менее четырех лет мальчик состоит в подручных, приносит с кухни блюда, убирает со стола посуду, учится принимать от гостей заказы и, наконец, на пятом

году своего учения удостоивается получить лопаточник для марок и шелковый пояс, за который затыкается лопаточник, – и мальчик служит в зале.

К этому времени он обязан иметь полдюжины белых мадаполамовых, а кто в состоянии, то и голландского полотна рубах и штанов, всегда снежной белизны и не немятых.

Старые половые, посылаемые на крупные ресторанные заказы, имели фраки, а в единственном тогда «Славянском базаре» половые служили во фраках и назывались уже не половыми, а официантами, а гости их звали: «Человек!»

Потом «фрачники» появились в загородных ресторанах. Расчеты с буфетом производились марками. Каждый из половых получал утром из кассы на 25 рублей медных марок, от 3 рублей до 5 копеек штука, и, передавая заказ гостя, вносил их за кушанье, а затем обменивал марки на деньги, полученные от гостя.

Деньги, данные «на чай», вносились в буфет, где записывались и делились поровну. Но всех денег никто не вносил; часть, а ино-

гда и большую, прятали, сунув куда-нибудь подальше. Эти деньги назывались у половых: подвенечные.

– Почему подвенечные?

– Это старина. Бывалоче, мальчишками в деревне копеечки от родителей в избе прятали, совали в пазы да в щели, под венцы, – объясняли старики.

Половые и официанты жалованья в трактирах и ресторанах не получали, а еще сами платили хозяевам из доходов или определенную сумму, начиная от трех рублей в месяц и выше, или 20 процентов с чаевых, вносимых в кассу.

Единственный трактир «Саратов» был исключением: там никогда хозяева, ни прежде Дубровин, ни после Савостьянов, не брали с половых, а до самого закрытия трактира платили и половым и мальчикам по три рубля в месяц.

– Чайные – их счастье. Нам чужого счастья не надо, а за службу мы платить должны, – говорил Савостьянов.

Сколько часов работали половые, носясь по залам, с кухни и на кухню, иногда нахо-

дядущуюся внизу, а зал – в третьем этаже, и учесть нельзя. В некоторых трактирах работали чуть не по шестнадцать часов в сутки. Особенно трудна была служба в «простонародных» трактирах, где подавался чай – пять копеек пара, то есть чай и два куска сахара на одного, да и то заказчики экономили.

Садятся трое, распоясываются и заказывают: «Два и три!» И несет половой за гривенник две пары и три прибора. Третий прибор бесплатно. Да раз десять с чайником за водой сбегает.

– Чай-то жиденек, попроси подбавить! – просит гость.

Подбавят – и еще бегай за кипятком.

Особенно трудно было служить в извозничьих трактирах. Их было очень много в Москве. Двор с колодами для лошадей – снаружи, а внутри – «каток» со снедью.

На катке все: и щековина, и сомовина, и свинина. Извозчик с холоду любил что пожирнее, и каленые яйца, и калачи, и ситнички подовые на отрубях, а потом обязательно гороховый кисель.

И многие миллионеры московские, вы-

шедшие из бедноты, любили здесь полакомиться, старину вспомнить. А если сам не пойдет, то малого спосылает:

– Принеси-ка на двугривенный рубца. Да пару ситничков захвати или калачика!

А постом:

– Киселька горохового, да пусть пожирнее маслицем попохнет!

И сидит в роскошном кабинете вновь отделанного амбара и наслаждается его степенство да недавнее прошлое свое вспоминает. А в это время о миллионных делах разговаривает с каким-нибудь иностранным комиссионером.

Извозчик в трактире и питается и согревается. Другого отдыха, другой еды у него нет. Жизнь всухомятку. Чай да требуха с огурцами. Изредка стакан водки, но никогда – пьянства. Раза два в день, а в мороз и три, питается и погрееется зимой или высушит на себе мокрое платье осенью, и все это удовольствие стоит ему шестнадцать копеек: пять копеек чай, на гривенник снеди до отвала, а копейку дворнику за то, что лошадь напоит да у колоды приглядит.

В центре города были излюбленные трактиры у извозчиков: «Лондон» в Охотном, «Коломна» на Неглинной, в Брюсовском переулке, в Большом Кисельном и самый центральный в Столешниковом, где теперь высится дом № 6 и где прежде ходили стада кур и большой рыжий дворовый пес Цезарь сидел у ворот и не пускал оборванцев во двор.

В каждом трактире был обязательно свой зал для извозчиков, где красовался увлекательный «каток», арендатор которого платил большие деньги трактирщику и старался дать самую лучшую провизию, чтобы привлечь извозчиков, чтобы они говорили:

– Едем в Столешников. Лучше «катка» нет!

И едут извозчики в Столешников потому, что там очень уж сомовина жирна и ситнички всегда горячие.

А в праздничные дни к вечеру трактир сплошь битком набит пьяными – места нет. И лавирует половой между пьяными столами, вывертываясь и изгибаясь, жонглируя над головой высоко поднятым подносом на ладони, и на подносе иногда два и семь – то есть два чайника с кипятком и семь приборов.

И «на чай» посетители, требовавшие только чай, ничего не давали, разве только иногда две или три копейки, да и то за особую услугу.

– Малой, смотайся ко мне на фатеру да скажи самой, что я обедать не буду, в город еду, – приказывает сосед-подрядчик, и «малый» иногда по дождю и грязи, иногда в двадцатиградусный мороз, накинув на шею или на голову грязную салфетку, мчится в одной рубашке через улицу и исполняет приказание постоянного посетителя, которым хозяин дорожит. Одеваться некогда – по шее попадет от буфетчика.

Или извозчик приказывает:

– Сбегай-ка на двор, там в санях под седушкой вобла лежит. Принеси. Знаешь, моя лошадь гнедая, с лысинкой.

И бежит раздетый мальчуган между сотней лошадей извозчичьего двора искать «гнедую с лысинкой» и «воблу под седушкой».

Сколько их заболело воспалением легких!

С пьяных получать деньги было прямо-таки подвигом, полчаса держит и ругается пьяный посетитель, пока ему протолкуешь.

А протолковать опытные ребята умели, и в этом доход их был.

И получить сумеют.

– Ну как, заправил?

– Петра-то Кирилыча? Так, махонького... А все-таки... Сейчас еще жив сапожник Петр Иванович, которым хорошо помнит этого, как я уже рассказывал, действительно существовавшего углицкого крестьянина Петра Кирилыча, так как ему сапоги шил. Петр Иванович каждое утро пьет чай в «Обжорке», где собираются старинные половые.

Московские купцы, любившие всегда над кем-нибудь посмеяться, говорили ему: «Ты, Петр, мне не заправляй Петра Кирилыча!» Но Петр Кирилыч иногда отвечал купцу – он знал кому и как ответить – так:

– И все-то я у вас на уме, все я. Это на пользу. Небось по счетам когда платите, сейчас обо мне вспоминаете, глянь, и наживете. И сами, когда счета покупателю пишете, тоже меня не забудете. На чаек бы с вашей милости!

И приходилось давать и уж больше не повторять своих купеческих шуток.

Этой чисто купеческой привычкой насмеяться и глумиться над беззащитными некоторые половые умело пользовались. Они притворялись оскорбленными и выуживали «на чай». Был такой у Гурина половой Иван Селедкин. Это была его настоящая фамилия, но он ругался, когда его звали по фамилии, а не по имени. Не то, что по фамилии назовут, но даже в том случае, если гость прикажет подать селедку, он свирепствует:

– Я тебе дам селедку! А по морде хочешь?

В трактире всегда сидели свои люди, знали это, и никто не обижался. Но едва не случилась с ним беда. Это было уже у Тестова, куда он перешел от Гурина. В зал пришел переведенный в Москву на должность начальника жандармского управления генерал Слезкин. Он с компанией занял стол и заказывал закуску. Получив приказ, половой пошел за кушаньем, а вслед ему Слезкин крикнул командирским голосом:

– Селедку не забудь, селедку!

И на несчастье, из другой двери в это время входил Селедкин. Он не видел генерала, а только слышал слово «селедку».

– Я тебе, мерзавец, дам селедку! А по морде хочешь?

Угрожающе обернулся и замер.

Замерли и купцы.

У кого ложка остановилась у рта. У кого разбилась рюмка. Кто поперхнулся и задышался, боясь кашлянуть.

Чем кончилось это табло – неизвестно. Знаю только, что Селедкин продолжал свою службу у Тестова.

В трактире Егорова, в Охотном, славившемся блинами и рыбным столом, а также и тем, что в трактире не позволяли курить, так как хозяин был по старой вере, был половой Козел.

Старик с огромной козлиной седой бородой, да еще тверской, был прозван весьма удачно и не выносил этого слова, которого вообще тверцы не любили. Охотно-рядские купцы потешались над ним обыкновенно так: занимали стол, заказывали еду, а посреди стола клали незавязанный пакет. Когда старик ставил кушанье и брал пакет, чтоб освободить место для посуды, он снимал сверху бумагу – а там игрушечный козел! Схватывал старик

этого козла и с руганью бросал об пол. Но если игрушка была ценная, из хорошего магазина, он схватывал, убегал и прятал ее. А в следующий раз купцы опять покупали козла. Под старость Козел служил в «Монетном» у Обухова, в Охотном ряду, где в старину был монетный двор.

Был в трактире у «Арсентьича» половой, который не выносил слова «лимон». Говорят, что когда-то он украл на складе мешок лимонов, загулял у девочек, а они мешок развязали и вместо лимонов насыпали гнилого картофеля.

Много таких предметов для насмешек было, но иногда эти насмешки и горем отзывались. Так, половой в трактире Лопашова, уже старик, действительно не любил, когда ему с усмешкой заказывали поросенка. Это напоминало ему горький случай из его жизни.

Приехал он еще в молодости в деревню на побывку к жене, привез гостинцев. Жена жила в хате одна и кормила небольшого поросенка. На несчастье, когда муж постучался, у жены в гостях был любовник. Испугалась, спрятала она под печку любовника, впустила

мужа и не знает, как быть. Тогда она отворила дверь, выгнала поросенка в сени, из сеней на улицу да и закричала мужу:

– Поросенок убежал, лови его! И сама побежала с ним. Любовник в это время ушел, а сосед всю эту историю видел и рассказал ее в селе, а там односельчане привезли в Москву и дразнили несчастного до старости... Иногда даже плакал старик.

* * *

Трактир Лопашова, на Варварке, был из древнейших. Сначала он принадлежал Мартьянову, но после смерти его перешел к Лопашову.

Лысый, с подстриженными усами, начисто выбритый, всегда в черном дорогом сюртуке, Алексей Дмитриевич Лопашов пользовался уважением и одинаково любезно относился к гостям, кто бы они ни были. В верхнем этаже трактира был большой кабинет, называемый «русская изба», убранный расшитыми полотенцами и деревянной резьбой. Посредине стол на двенадцать приборов, с шитой русской скатертью и вышитыми полотенцами вместо салфеток. Сервировался он старинной

посудой и серебром: чашки, кубки, стопы, стопочки петровских и ранее времен. Меню – тоже допетровских времен.

Здесь давались небольшие обеды особенно знатным иностранцам; кушанья французской кухни здесь не подавались, хотя вина шли и французские, но перелитые в старинную посуду с надписью – фряжское, фалернское, мальвазия, греческое и т. п., а для шампанского подавался огромный серебряный жбан, в ведро величиной, и черпали вино серебряным ковшом, а пили кубками.

Раз только Алексей Дмитриевич изменил меню в «русской избе», сохранив всю обстановку.

Неизменными посетителями этого трактира были все московские сибиряки. Повар, специально выписанный Лопашовым из Сибири, делал пельмени и строганину. И вот как-то в восьмидесятых годах съехались из Сибири золотопромышленники самые крупные и обедали по-сибирски у Лопашова в этой самой «избе», а на меню стояло: «Обед в стане Ермака Тимофеевича», и в нем значилось только две перемены: первое – закуска и второе –

«сибирские пельмени».

Никаких больше блюд не было, а пельменей на двенадцать обедавших было приготовлено 2500 штук: и мясные, и рыбные, и фруктовые в розовом шампанском... И хлебали их сибиряки деревянными ложками... У Лопашова, как и в других городских богатых трактирах, у крупнейших коммерсантов были свои излюбленные столики. Приходили с покупателями, главным образом крупными провинциальными оптовиками, и первым делом заказывали чаю.

Постом сахару не подавалось, а приносили липовый мед. Сахар считался тогда скромным: через говяжью кость перегоняют!

И вот за этим чаем, в пятиалтынный, вершились дела на десятки и сотни тысяч. И только тогда, когда кончали дело, начинали завтрак или обед, продолжать который переходили в кабинеты.

Таков же был трактир и «Арсентьича» в Черкасском переулке, славившийся русским столом, ветчиной, осетриной и белугой, которые подавались на закуску к водке с хреном и красным хлебным уксусом, и нигде вкуснее

не было. Щи с головизной у «Арсентьича» были изумительные, и Гл. И. Успенский, приезжая в Москву, никогда не миновал ради этих щей «Арсентьича».

За ветчиной, осетриной и белугой в двенадцать часов посылали с судками служащих те богатые купцы, которые почему-либо не могли в данный день пойти в трактир и принуждены были завтракать у себя в амбарах.

Это был самый степенный из всех московских трактиров, кутежей в нем не было никогда. Если уж какая-нибудь компания и увлечется лишней чаркой водки благодаря «хренку с уксусом» и горячей ветчине, то вовремя перебирается в кабинеты к Бубнову или в «Славянский базар», а то и прямо к «Яру».

Купцы обыкновенно в трактир идут, в амбар едут, а к «Яру» и вообще «за заставу» – попадают!

У «Арсентьича» было сытно и «омашнисто». Так же, как в знаменитом Егоровском трактире, с той только разницей, что здесь разрешалось курить. В Черкасском переулке в восьмидесятых годах был еще трактир, кажется Пономарева, в доме Карташева. И до-

мика этого давно нет. Туда ходила порядочная публика.

Во втором зале этого трактира, в переднем углу, под большим образом с неугасимой лампадой, за отдельным столиком целыми днями сидел старик, нечесанный, небритый, редко умывающийся, чуть не оборванный... К его столику подходят очень приличные, даже богатые, известные Москве люди. Некоторым он предлагает сесть. Некоторые от него уходят радостные, некоторые – очень огорченные.

А он сидит и пьет давно остывший чай. А то вынет пачки серий или займов и режет купоны.

Это был владелец дома, первогильдейский купец Григорий Николаевич Карташев. Квартира его была рядом с трактиром, в ней он жил одиноко, спал на голой лежанке, положив под голову что-нибудь из платья. В квартире никогда не натирали полов и не мели.

Ночи он проводил в подвалах, около денег, как «скупой рыцарь». Вставал в десять часов утра и аккуратно в одиннадцать часов шел в трактир. Придет. Сядет. Подзовет полового:

– Вчерашних щец кухонных осталось?

– Должно, осталось.

– Вели-ка разогреть... А ежели кашка осталась, так и кашки...

Поест – это на хозяйский счет, – а потом чайку спросит за наличные:

– Чайку одну парочку за шесть копеек да копеечную сигару.

Является заемщик. Придет, сядет.

– Чего хочешь?

– Выпил бы чайку.

– Ну и спрашивай себе. За чай и за сигарку заплати сам.

И заемщик должен себе спросить чаю, тоже пару, за шесть копеек. А если спросит полпорции за тридцать копеек или закажет вина или селянку – разговоры кончены:

– Ишь ты, какой роскошный! Уходи вон, таким транжирам денег не даю. – И выгонит.

Это все знали, и являвшийся к нему богатый купец или барин-делец курил копеечную сигару и пил чай за шесть копеек, затем занимал десятки тысяч под вексель. По мелочам Карташев не любил давать. Он брал огромные проценты, но обращаться в суд избегал, и

были случаи, что деньги за должниками пропадали.

Вечером за ним приходил его дворник Квасов и уводил его домой.

Десятки лет такой образ жизни вел Карташев, не посещая никого, даже свою сестру, которая была замужем за стариком Обидиным, тоже миллионером, унаследовавшим впоследствии и карташевские миллионы.

Только после смерти Карташева выяснилось, как он жил: в его комнатах, покрытых слоями пыли, в мебели, за обоями, в отдушниках, найдены были пачки серий, кредиток, векселей. Главные же капиталы хранились в огромной печи, к которой было прилажено нечто вроде гильотины: заберется вор – пополам его перерубит. В подвалах стояли железные сундуки, где вместе с огромными суммами денег хранились груды огрызков сэкономленного сахара, стащенные со столов куски хлеба, баранки, веревочки и грязное белье.

Найдены были пачки просроченных векселей и купонов, дорогие собольи меха, съеденные молью, и рядом – свертки полуимперялов более чем на 50 тысяч рублей. В другой

пачке – на 150 тысяч кредитных билетов и серий, а всего состояния было более 30 миллионов.

В городе был еще один русский трактир. Это в доме Казанского подворья, по Ветошному переулку, трактир Бубнова. Он занимал два этажа громадного дома и бельэтаж с анфиладой роскошно отделанных зал и уютных отдельных кабинетов.

Это был трактир разгула, особенно отдельные кабинеты, где отводили душу купеческие сынки и солидные бородачи-купцы, загулявшие вовсю, на целую неделю, а потом жаловавшиеся с похмелья:

– Ох, трудна жизнь купецкая: день с приятелем, два с покупателем, три дня так, а в воскресенье разрешение вина и еляя и – к «Яру» велели...

К Бубнову переходили после делового завтрака от Лопашова и «Арсентьича», если лишки за галстук перекладывали, а от Бубнова уже куда угодно, только не домой. На неделю разгул бывал. Много было таких загуливающих типов. Один, например, пьет мрачно по трактирам и притонам, безобразничает и го-

ворит только одно слово:

– Сколько?

Вынимает бумажник, платит и вдруг ни с того ни с сего схватит бутылку шампанского и – хлесть ее в зеркало. Шум. Грохот. Подбегает прислуга, буфетчик. А он хладнокровно вынимает бумажник и самым деловым тоном спрашивает;

– Сколько?

Платит, не торгуясь, и снова бьет...

А то еще один из замоскворецких, загуливавших только у Бубнова и не выходявших дня по два из кабинетов, раз приезжает ночью домой на лихаче с приятелем. Ему отворяют ворота – подъезд его дедовского дома был со двора, а двор был окружен высоким деревянным забором, а он орет:

– Не хочу в ворота, ломай забор! Не поеду! Хозяйское слово крепко и кулак его тоже. Затворили ворота, сломали забор, и его степенство победоносно въехало во двор, и на другой день никакого раскаяния, купеческая удаль еще дальше разгулялась. Утром жена ему начинает выговор делать, а он на нее с кулаками:

– Кто здесь хозяин? Кто? Ежели я хочу как, так тому и быть!

– А вы бы, Макарий Паисиевич, в баньку сходили-помылись бы. Полегчает...

– Желаю! Мыться!

– А я баньку велю истопить.

– Не хочу баню! Топи погреб!

И добился того, что в погребе стали печку ставить и на баню переделывать...

Но бубновский верх еще был приличен. Нижний же этаж нечто неподобающее.

– Что у тебя рожа на боку и глаз не глядит?

– Да так вчера вышло...

– Аль в «дыру» попал?

– Угодил!

Нижняя половина трактира Бубнова другого названия и не имела: «дыра».

Бубновская «дыра».

Благодаря ей и верхнюю, чистую часть дома тоже называли «дыра». Под верхним трактиром огромный подземный подвал, куда ведет лестница больше чем в двадцать ступеней. Старинные своды невероятной толщины – и ни одного окна. Освещается газом. По сторонам деревянные каютки – это «камор-

ки», полутемные и грязные. Посередине стол, над которым мерцает в табачном дыме газовый рожок.

Вокруг стола четыре деревянных стула. В залах на столах такие же грязные скатерти. Такие же стулья.

Гостинодворское купечество, ищущее «за грош да пошире» или «пошире да за грош», начинает здесь гулянье свое с друзьями и такими же покупателями с десяти утра. Пьянство, гвалт и скандалы целый день до поздней ночи. Жарко от газа, душно от табаку и кухни. Песни, гогот, ругань. Приходится только пить и на ухо орать, так как за шумом разговаривать, сидя рядом, нельзя. Ругайся, как хочешь, – женщины сюда не допускались. И все лезет новый и новый народ. И как не лезть, когда здесь все дешево: порции огромные, водка рубль бутылка, вина тоже от рубля бутылка, разные портвейны, мадеры, лиссабонские московской фабрикации, вплоть до ланинского двухрублевого шампанского, про которое тут же и песню пели:

*От ланинского редерера
Трещит и пухнет голова...*

Пили и ели потому, что дешево, и никогда полиция не заглянет, и скандалы кончаются тут же, а купцу главное, чтобы «сокровенно» было. Ни в одном трактире не было такого гвалта, как в бубновской «дыре».

В «городе» более интересных трактиров не было, кроме разве явившегося впоследствии в подвалах Городских рядов «Мартьяныча», рекламировавшего всюю и торговавшего на славу, повторяя собой во всех отношениях бубновскую «дыру».

Только здесь разгул увеличивался еще тем, что сюда допускался и женский элемент, чего в «дыре» не было.

Фешенебельный «Славянский базар» с дорогими номерами, где останавливались петербургские министры, и сибирские золотопромышленники, и степные помещики, владельцы сотен тысяч десятин земли, и... аферисты, и петербургские шулера, устраивавшие картежные игры в двадцатирублевых номерах.

Ход из номеров был прямо в ресторан, через коридор отдельных кабинетов.

Сватайся и женись.

Обеды в ресторане были непопулярными, ужины – тоже. Зато завтраки, от двенадцати до трех часов, были модными, как и в «Эрми-таже». Купеческие компании после «трудо- праведных» на бирже являлись сюда во вто- ром часу и, завершив за столом миллионные сделки, к трем часам уходили. Оставшиеся после трех кончали «журавлями».

«Завтракали до «журавлей» – было посло- вицей.

И люди понимающие знали, что, значит, завтрак был в «Славянском базаре», где ком- пания, закончив шампанским и кофе с лике- рами, требовала «журавлей».

Так назывался запечатанный хрустальный графин, разрисованный золотыми журавля- ми, и в нем был превосходный коньяк, стоив- ший пятьдесят рублей. Кто платил за коньяк, тот и получал пустой графин на память. Был даже некоторое время спорт коллекциониро- вать эти пустые графины, и один коннозавод- чик собрал их семь штук и показывал свое со- брание с гордостью.

Здание «Славянского базара» было выстро- ено в семидесятых годах А. А. Пороховщико-

вым, и его круглый двухсветный зал со стеклянной крышей очень красив.

Сидели однажды в «Славянском базаре» за завтраком два крупных афериста. Один другому и говорит:

– Видишь, у меня в тарелке какие-то решетки... Что это значит?

– Это значит, что не минешь ты острога! Предзнаменование!

А в тарелке ясно отразились переплеты окон стеклянного потолка.

Были еще рестораны загородные, из них лучшие – «Яр» и «Стрельна», летнее отделение которой называлось «Мавритания». «Стрельна», созданная И. Ф. Натрускиным, представляла собой одну из достопримечательностей тогдашней Москвы – она имела огромный зимний сад. Столетние тропические деревья, гроты, скалы, фонтаны, беседки и – как полагается – кругом кабинеты, где всевозможные хоры.

«Яр» тогда содержал Аксенов, толстый бритый человек, весьма удачно прозванный «Апельсином». Он очень гордился своим пушкинским кабинетом с бюстом великого поэта,

который никогда здесь не был, а если и писал

*И с телятиной холодной
Трюфли «Яра» вспоминать...*

то это было сказано о старом «Яре», помещавшемся в пушкинские времена на Петровке.

Был еще за Тверской заставой ресторан «Эльдорадо» Скалкина, «Золотой якорь» на Ивановской улице под Сокольниками, ресторан «Прага», где Тарарыкин сумел соединить все лучшее от «Эрмитажа» и Тестова и даже перецеголял последнего расстегаями «пополам» – из стерляди с осетриной. В «Праге» были лучшие бильярды, где велась приличная игра.

Когда пошло увлечение модой и многие из трактиров стали называться «ресторанами» – даже «Арсентьич», перейдя в другие руки, стал именоваться в указателе официально «Старочеркасский ресторан», а публика шла все так же в «трактир» к «Арсентьичу».

Много потом наплодилось в Москве ресторанов и мелких ресторанчиков, вроде «Ита-

лии», «Ливорно», «Палермо» и «Татарского» в Петровских линиях, впоследствии переименованного в гостиницу «Россия». В них было очень дешево и очень скверно. Впрочем, исключением был «Петергоф» на Моховой, где Разживин ввел дешевые дежурные блюда на каждый день, о которых публиковал в газетах.

«Сегодня, в понедельник – рыбная селянка с расстегаем. Во вторник – фляки... По средам и субботам – сибирские пельмени... Ежедневно шашлык из карачаевского барашка».

Популяризировал шашлык в Москве Разживин. Первые шашлыки появились у Автандилова, державшего в семидесятых годах первый кавказский погребок с кахетинскими винами в подвальчике на Софийке. Потом Автандилов переехал на Мясницкую и открыл винный магазин. Шашлыки надолго прекратились, пока в восьмидесятых – девяностых годах в Черкасском переулке, как раз над трактиром «Арсентьича», кавказец Сулханов не открыл без всякого патента при своей квартире кавказскую столовую с шашлыками и – тоже тайно – с кахетинскими винами, спе-

циально для приезжих кавказцев. Потом стали ходить и русские. По знакомым он распространял свои визитные карточки:

«К. Сулханов. Племянник князя Аргутинского-Долгорукова» и свой адрес.

Всякий посвященный знал, зачем он идет по этой карточке. Дело разрослось, но косились враги-конкуренты. Кончилось протоколом и закрытием. Тогда Разживин пригласил его открыть кухню при «Петергофе».

Заходили опять по рукам карточки «племянника князя Аргутинского-Долгорукова» с указанием «Петергофа», и дело пошло великолепно. Это был первый шашлычник в Москве, а за ним наехало сотни кавказцев, шашлыки стали модными.

Были еще немецкие рестораны, вроде «Альпийской розы» на Софийке, «Билло» на Большой Лубянке, «Берлин» на Рождественке, Дюссо на Неглинной, но они не типичны для Москвы, хотя кормили в них хорошо и подавалось кружками настоящее пильзенское пиво.

Из маленьких ресторанов была интересна на Кузнецком мосту в подвале дома Тверского

подворья «Венеция». Там в отдельном зальце с запиравшеюся дверью собирались деды нашей революции. И удобнее места не было: в одиннадцать часов ресторан запирался, публика расходилась – и тут-то и начинались дружеские беседы в этом небольшом с завешенными окнами зале.

Закрыта кухня, закрыт буфет, и служит самолично только единственный хозяин ресторана, Василий Яковлевич, чуть не молившийся на каждого из посетителей малого зала... Подавались только водка, пиво и холодные кушанья. Пивали иногда до утра.

– Отдохновенно и сокровенно у меня! – говорил Василий Яковлевич.

Приходили поодиночке и по двое и уходили так же через черный ход по пустынным ночью Кузнецкому мосту и Газетному переулку (тогда весь переулок от Кузнецкого моста до Никитской назывался Газетным), до Тверской, в свои «Черныши» и дом Олсуфьева, где обитали и куда приезжали и приходили переночевать нелегальные...

В «малом зале», как важно называл эту комнатенку со сводами Василий Яковлевич,

за большим столом, освещенным газовой люстрой, сидели огромные бородатые и волосатые фигуры: П. Г. Зайчневский, М. И. Мишла-Орфанов, Ф. Д. Нефедов, Н. Н. Златовратский, С. А. Приклонский. Среди них щупленький, с интеллигентско-русой бородкой Н. М. Астырев, тогда читавший там корректуры своей книги «В волостных писарях». Затем крошечный, бритый актер Вася Васильев, попавшийся было по делу 193-х, но случайно выкрутившийся. Его настоящая фамилия была Шведевенгер, но об этом знали только немногие. Изредка бывал здесь В. А. Гольцев, раз был во время какого-то побега Герман Лопатин. Собирались здесь года два, а потом все разбрелись, а Василий Яковлевич продолжал торговать, и к нему всякий из вышесказанных, бывая в Москве, считал своим долгом зайти, а иногда и перехватить деньжонок-на дорогу.

Вася Васильев принес как-то только что полученный № 6 «Народной воли», и поздно ночью его читали вслух, не стесняясь Василия Яковлевича. Когда Мишла прочел напечатанное в этом номере стихотворение П. Я.

(Якубовича) «Матери», Василий Яковлевич со слезами на глазах просил его списать, но Вася Васильев отдал ему весь номер.

– Сколько позволите заплатить, Василий Васильевич?

– Сколько хотите. Эти деньги пойдут на помощь политическим заключенным.

– Сейчас.

Василий Яковлевич исчез и принес радужную сторублевку.

– На такое великое дело извольте получить.

Только этим и памятен был ресторанчик «Венеция», днем обслуживающий прохожих на Кузнецком мосту среднего класса и служащих в учреждениях, а шатающаяся франтоватая публика не удостоивала вниманием дешевого ресторанишка, предпочитая ему кондитерские или соседнюю «Альпийскую розу» и «Билло».

Рестораном еще назывался трактир «Молдавия» в Грузинах, где днем и вечером была обыкновенная публика, пившая водку, а с пяти часов утра к грязному крыльцу деревянного голубовато-серого дома подъезжали лича-

хи-одиночки, пары и линейки с цыганами.

Это был цыганский трактир. После «Яра», «Стрельны» и «Эльдорадо» цыгане, жившие все в Грузинах, приезжали сюда «пить чай», а с ними и их поклонники.

А невдалеке от «Молдавии», на Большой Грузинской, в доме Харламова, в эти же часы оживлялся более скромный трактир Егора Капкова. В шесть часов утра чистый зал трактира сплошь был полон фрачной публикой. Это официанты загородных ресторанов, кончившие свою трудовую ночь, приезжали кутнуть в своем кругу: попить чайку, выпить водочки, съесть селяночку с капустой.

И, насмотревшись за ночь на важных гостей, сами важничали и пробирали половых в белых рубашках за всякую ошибку и даже иногда подражали тем, которым они служили час назад, важно подзывали половых:

– Человек, это тебе на чай.

И давал гривенник «человек» во фраке человеку в рубашке. Фрак прибавлял ему кавычки. А мальчиков половых экзаменовали. Подадут чай, а старый буфетчик колотит ногтем указательного пальца себя по зубам:

– Дай железные! Или прикажет:

– Дай мне в зубы, чтобы дым пошел!

И опытный мальчик подает ему щипчики для сахара, приносит папиросы и зажигает спичку.

* * *

На углу Остоженки и 1-го Зачатьевского переулка в первой половине прошлого века был большой одноэтажный дом, занятый весь трактиром Шустрова, который сам с семьей жил в мезонине, а огромный чердак да еще пристройки на крыше были заняты голубятней, самой большой во всей Москве. Тучи голубей всех пород и цветов носились над окружающей местностью, когда семья Шустрова занималась любимым московским спортом – гоняла голубей. В числе любителей бывал и богатый трактирщик И. Е. Красовский. Он перекупил у Шустрова его трактир и уговорил владельца сломать деревянный дом и построить каменный по его собственному плану, под самый большой трактир в Москве. Дом был выстроен каменный, трехэтажный, на две улицы. Внизу лавки, второй этаж под «дворянские» залы трактира с массой отдель-

ных кабинетов, а третий, простонародный трактир, где главный зал с низеньким потолком был настолько велик, что в нем помещалось больше ста столов, и середина была свободна для пляски. Внизу был поставлен оркестрион, а вверху эстрада для песенников и гармонистов. Один гармонист заиграет, а сорок человек пляшут.

А над домом по-прежнему носились тучи голубей, потому что и Красовский и его сыновья были такими же любителями, как и Шустровы, и у них под крышей также была выстроена голубятня. «Голубятня» – так звали трактир, и никто его под другим именем не знал, хотя официально он так не назывался, и в печати появилось это название только один раз, в московских газетах в 1905 году, в заметке под заглавием: «Арест революционеров в «Голубятне».

Еще задолго до 1905. года уютные и сокровенные от надзора полиции кабинеты «Голубятни» служили местом сходов и встреч тогдашних революционеров, а в 1905 году там бывали огромные митинги.

Очень уж удобные залы выстроил Красов-

ский. Здесь по утрам, с пяти часов, собирались лакеи, служившие по ужинам, обедам и свадьбам, делить доходы и пить водку. Здесь справлялись и балы, игрались «простонародные» свадьбы, и здесь собиралась «вязка», где шайка аукционных скупщиков производила расчеты со своими подручными, сводившими аукционы на нет и отбивавшими охоту постороннему покупателю пробовать купить что-нибудь на аукционе: или из-под рук вырвут хорошую вещь, или дрянь в такую цену вгонят, что навсегда у всякого отобьют охоту торговаться. Это на их жаргоне называлось: «надеть чугунную шляпу».

Кроме этой полупочтенной ассоциации «Чугунных шляп», здесь раза два в месяц происходили петушиные бои. В назначенный вечер часть зала отделялась, посредине устраивалась круглая арена, наподобие цирковой, кругом уставлялись скамьи и стулья для зрителей, в число которых допускались только избранные, любители этого старого московского спорта, где, как впоследствии на бегах и скачках, существовал своего рода тотализатор – держались крупные пари за победителя.

К известному часу подъезжали к «Голубятне» богатые купцы, но всегда на извозчиках, а не на своих рысаках, для конспирации, поднимались на второй этаж, проходили мимо ряда закрытых кабинетов за буфет, а оттуда по внутренней лестнице пробирались в отгороженное помещение и занимали места вокруг арены. За ними один за одним входили через этот зал в отдельный кабинет люди с чемоданами. Это охотники приносили своих петухов, английских бойцовых, без гребней и без бородок, с остро отточенными шпорами. Начинаясь отчаянный бой. Арена обливалась кровью. Одичалые зрители, с горящими глазами и судорогами на лице, то замирали, то ревели по-звериному. Кого-кого здесь не было: и купечество именитое, и важные чиновники, и богатые базарные торгаши, и театральные барышники, и «Чугунные шляпы».

Пари иногда доходили до нескольких тысяч рублей. Фаворитами публики долгое время были выписанные из Англии петухи мучника Ларионова, когда-то судившегося за поставку гнилой муки на армию, но на своих петухах опять выскочившего в кружок бога-

теев, простивших ему прошлое «за удачную петушиную охоту». Эти бои оканчивались в кабинетах и залах второго этажа трактира грандиознейшей попойкой.

Сам Красовский был тоже любитель этого спорта, дававшего ему большой доход по трактиру. Но последнее время, в конце столетия, Красовский сделался ненормальным, больше проводил время на «Голубятне», а если являлся в трактир, то ходил по залам с безумными глазами, распевал псалмы, и... его, конечно, растащили: трактир, когда-то «золотое дно», за долги перешел в другие руки, а Красовский кончил жизнь почти что нищим.

Кроме «Голубятни» где-то за Москвой-рекой тоже происходили петушиные бои, но там публика была сбродная. Дрались простые русские петухи, английские бойцовые не допускались. Этот трактир назывался «Ловушка». В грязных закоулках и помойках со двора был вход в холодный сарай, где была устроена арена и где публика была еще азартнее и злее.

Третье место боев была «Волна» на Садо-

вой – уж совсем разбойничий притон, наполненный сбродом таинственных ночлежников.

Среди московских трактиров был единственный, где раз в году, во время весеннего разлива, когда с верховьев Москвы-реки приходили плоты с лесом и дровами, можно было видеть деревню. Трактир этот, обширный и грязный, был в Дорогомилове, как раз у Бородинского моста, на берегу Москвы-реки.

Эти несколько дней прихода плотов были в Дорогомилове и гулянкой для москвичей, запруживавших и мост и набережную, любясь на работу удальцов-сгонщиков, ловко проводивших плоты под устоями моста, рискуя каждую минуту разбиться и утонуть.

* * *

У Никитских ворот, в доме Боргеста, был трактир, где одна из зал была увешана закрытыми бумагой клетками с соловьями, и по вечерам и рано утром сюда сходились со всей Москвы любители слушать соловьиное пение. Во многих трактирах были клетки с певчими птицами, как, например, у А. Павловского на Трубе и в Охотничьем трактире на

Неглинной. В этом трактире собирались по воскресеньям, приходя с Трубной площади, где продавали собак и птиц, известные московские охотники.

А. Т. Зверев имел два трактира – один в Гавриковом переулке «Хлебная биржа». Там заседали оптовики-миллионеры, державшие в руках все хлебное дело, и там делались все крупные сделки за чайком. Это был самый тихий трактир. Даже голосов не слышно. Солидные купцы делают сделки с уха на ухо, разве иногда прозвучит:

– Натура сто двадцать шесть...

– А овес?

– Восемьдесят...

И то и дело получают они телеграммы своих агентов из портовых городов о ценах на хлеб. Иной поморщится, прочитав телеграмму, – убыток. Но слово всегда было верно, назад не попятится. Хоть разорится, а слово сдержит...

На столах стоят мешочки с пробой хлеба. Масса мешочков на вешалке в прихожей... И на столах, в часы биржи, кроме чая – ничего... А потом уж, после «делов», завтракают и обе-

дают.

Другой трактир у Зверева был на углу Петровки и Рахмановского переулка, в доме доктора А. С. Левенсона, отца известного впоследствии типографщика и арендатора афиш и изданий казенных театров Ал. Ал. Левенсона.

Здесь в дни аукционов в ломбардах и ссудных кассах собиралась «вязка». Это – негласное, существовавшее все-таки с ведома полиции, но без официального разрешения, общество маклаков, являвшихся на аукцион и сбивавших цены, чтобы купить даром ценные вещи, что и ухитрялись делать. «Вязка» после каждого аукциона являлась к Звереву, и один из залов представлял собой странную картину: на столах золото, серебро, бронза, драгоценности, на стульях материи, из карманов вынимают, показывают и перепродают часы, ожерелья. Тут «вязка» сводит счеты и делит между собой барыши и купленные вещи. В свою очередь, в зале толкуются другие маклаки, Сухаревские торговцы, которые скупают у них товар... Впоследствии трактир Зверева был закрыт, а на его месте находилась редакция «Русского слова», тогда еще маленькой га-

зетки.

* * *

Сотрудники газет и журналов тогда не имели своего постоянного трактира. Зато «фабрикаторы народных книг», книжники и издатели с Никольской, собирались в трактире Колгушкина на Лубянской площади, и отсюда шло «просвещение» сермяжной Руси. Здесь сходились издатели: И. Морозов, Шарпов, Земский, Губанов, Манухин, оба Абрамовы, Преснов, Ступин, Наумов, Фадеев, Желтов, Живарев. Каждая из этих фирм ежегодно издавала по десяти и более «званий», то есть наименований книг, – от листовки до книжки в шесть и более листов, в раскрашенной обложке, со страшным заглавием и ценою от полутора рублей за сотню штук. Печаталось каждой не менее шести тысяч экземпляров. Здесь-то, за чайком, издатели и давали заказы «писателям».

«Писатели с Никольской!» – их так и звали.

Стены этих трактиров видали и крупных литераторов, прибегавших к «издателям с Никольской» в минуту карманной невзгоды. Большею частью сочинители были из вы-

гнанных со службы чиновников, офицеров, неокончивших студентов, семинаристов, сынов литературной богемы, отвергнутых корифеями и дельцами тогдашнего литературного мира.

Сидит за столиком с парой чая у окна издатель с одним из таких сочинителей.

– Мне бы надо новую «Битву с кабардинцами».

– Можно, Денис Иванович.

– Поскорей надо. В неделю напишешь?

– Можно-с... На сколько листов?

– Листов на шесть. В двух частях издам.

– Ладно-с. По шести рубликов за лист.

– Жирно, облопаешься. По два!

– Ну хорошо, по пяти возьму.

Сторгуются, и сочинитель через две недели приносит книгу.

За другим столом сидит с книжником человек с хорошим именем, но в худых сапогах...

– Видите, Иван Андреевич, ведь у всех ваших конкурентов есть и «Ледяной дом», и «Басурман», и «Граф Монтекресто», и «Три мушкетера», и «Юрий Милославский». Но ведь это

вовсе не то, что писали Дюма, Загоскин, Лажечников. Ведь там черт знает какая отсебятина нагорожена... У авторов косточки в гробу перевернулись бы, если бы они узнали.

– Ну-к што ж. И у меня они есть... У каждого свой «Юрий Милославский», и свой «Монтекристо» – и подписи: Загоскин, Лажечников, Дюма. Вот я за тем тебя и позвал. Напиши мне «Тараса Бульбу».

– То есть как «Тараса Бульбу»? Да ведь это Гоголя!

– Ну-к што ж. А ты напиши, как у Гоголя, только измени малость, по-другому все поставь да поменьше сделай, в листовку. И всякому интересно, что Тарас Бульба, а не какой не другой. И всякому лестно будет, какая, мол, это новая такая Бульба! Тут, брат, важно заглавие, а содержание – наплевать, все равно прочтут, коли деньги заплачены. И за контрафакцию не привлекут, и все-таки Бульба – он Бульба и есть, а слова-то другие.

После этого разговора, действительно, появился «Тарас Бульба» с подписью нового автора, так как Морозов самовольно поставил фамилию автора, чего тот уж никак не мог

ожидать!

* * *

Там, где до 1918 года было здание гостиницы «Националь», в конце прошлого века стоял дом постройки допетровских времен, принадлежавший Фирсанову, и в нижнем этаже его был излюбленный палаточными торговцами Охотного ряда трактир «Балаклава» Егора Круглова.

– Где сам? – спрашивают приказчика.

– В пещере с покупателем.

Трактир «Балаклава» состоял из двух низких, полутемных залов, а вместо кабинетов в нем были две пещеры: правая и левая.

Это какие-то странные огромные ниши, напоминавшие исторические каменные мешки, каковыми, вероятно, они и были, судя по необыкновенной толщине сводов с торчащими из них железными толстыми полосами, кольцами и крючьями. Эти пещеры занимались только особо почетными гостями.

По другую сторону площади, в узком переулке за Лоскутной гостиницей существовал «низок» – трактир Когтева «Обжорка», где чаевничали разносчики и мелкие служащие да

заседали два-три самых важных «аблаката от Иверской». К ним приходили писать прошения всякого сорта люди. Это было «народное юридическое бюро».

За отдельным столиком заседал главный, выгнанный за пьянство крупный судебный чин, который строчил прошения приходившим к нему сюда богатым купцам. Бывали случаи, что этого великого крючкотворца Николая Ивановича посещал здесь знаменитый адвокат Ф. Н. Плевако.

* * *

Кузнецкий мост через Петровку упирается в широкий раструб узкого Кузнецкого переулка. На половине раструба стоял небольшой старый деревянный флигель с антресолями, окрашенный охрой. Такие дома оставались только на окраинах столицы. Здесь же, в окружении каменных домов с зеркальными стеклами, кондитерской Трамбле и огромного Солодовниковского пассажа, этот дом бросался в глаза своей старомодностью.

Многие десятки лет над крыльцом его – не подъездом, как в соседних домах, а деревянным, самым захолустным крыльцом с че-

тырьяма ступеньками и деревянными перильцами – тускнела вывесочка: «Трактир С. С. Щербакова». Владелец его был любимец всех актеров – Спиридон Степанович Щербаков, старик в долгополом сюртуке, с бородой лопатой. Великим постом «Щербаки» переполнялись актерами, и все знаменитости того времени были его неизменными посетителями, относились к Спиридону Степановичу с уважением, и он всех знал по имени-отчеству. Очень интересовался успехами, справлялся о тех, кто еще не приехал в Москву на великий пост. Здесь бывали многие корифеи сцены: Н. К. Милославский, Н. Х. Рыбаков, Павел Никитин, Полтавцев, Григоровский, Васильевы, Дюков, Смольков, Лаухин, Медведев, Григорьев, Андреев-Бурлак, Писарев, Киреев и наши московские знаменитости Малого театра. Бывали и драматурги и писатели того времени: А. Н. Островский, Н. А. Чаев, К. А. Тарковский.

Завсегдатаями «Щербаков» были и братья Кондратьевы, тогда еще молодые люди, о которых ходили стихи:

И один из этих братьев

*Был по имени Иван,
По фамилии Кондратьев,
По прозванию Атаман.*

Старик Щербаков был истинным другом актеров и в минуту безденежья, обычно к концу великого поста, кроме кредита по ресторану, снабжал актеров на дорогу деньгами, и никто не оставался у него в долгу.

Трактир этот славился расстегаями с мясом. Расстегай во всю тарелку, толщиной пальца в три, стоит пятнадцать копеек, и к нему, за ту же цену, подавалась тарелка бульона.

И когда, к концу поста, у актеров иссякали средства, они питались только такими расстегаями.

Умер Спиридон Степанович. Еще раньше умер владелец ряда каменных домов по Петровке – Хомяков. Он давно бы сломал этот несуразный флигелишко для постройки нового дома, но жаль было старика.

Не таковы оказались наследники. Получив наследство, они выгнали Щербакова, лишили актеров насиженного уюта.

Громадное владение досталось молодому

Хомякову. Он тотчас же разломал флигель и решил на его месте выстроить роскошный каменный дом, но городская дума не утвердила его плана: она потребовала расширения переулка. Уперся Хомяков: «Ведь земля моя». Город предлагал купить этот клочок земли – Хомяков наотрез отказался продать: «Не желаю». И, огородив эту землю железной решеткой, начал строить дом. Одновременно с началом постройки он вскопал за решеткой землю и посадил тополя, ветлу и осину.

Рос дом. Росли деревья. Открылась банкирская контора, а входа в нее с переулка нет. Хомяков сделал тротуар между домом и своей рощей, отгородив ее от тротуара такой же железной решеткой. Образовался, таким образом, посредине Кузнецкого переулка неправильной формы треугольник, который долго слыл под названием Хомяковской рощи. Как ни уговаривали и власти, и добрые знакомые, Хомяков не сдавался.

– Это моя собственность.

Хомяков торжествовал, читая ругательные письма, которые получал ежедневно. Острила печать над его самодурством.

– Воздействуйте через администрацию, – посоветовал кто-то городскому голове.

Вызвали к обер-полицмейстеру. Предложили освободить переулок, грозя высылкой из Москвы в 24 часа в случае несогласия.

– Меня вы можете выселить. Я уеду, а собственность моя останется.

Шумела молодая рощица и, наверное, дождалась бы Советской власти, но вдруг в один прекрасный день – ни рощи, ни решетки, а булыжная мостовая пылит на ее месте желтым песком. Как? Кто? Что? – недоумевала Москва. Слухи разные, – одно только верно, что Хомяков отдал приказание срубить деревья и замостить переулок и в этот же день уехал за границу. Рассказывали, что он действительно испугался высылки из Москвы; говорили, что родственники просили его не срамить их фамилию.

А у меня в руках была гранка из журнала «Развлечение» с подписью: А. Пазухин.

Газетный писатель-романист и автор многих сценок и очерков А. М. Пазухин поспорил с издателем «Развлечения», что он сведет рощу. Он добыл фотографию Хомякова и через

общего знакомого послал гранку, на которой была карикатура: осел, с лицом Хомякова, гуляет в роще...

* * *

Ранее, до «Щербаков», актерским трактиром был трактир Барсова в доме Бронникова, на углу Большой Дмитровки и Охотного ряда. Там существовал знаменитый Колонный зал, в нем-то собирались вышеупомянутые актеры и писатели, впоследствии перешедшие в «Щербаки», так как трактир Барсова закрылся, а его помещение было занято Артистическим кружком, и актеры, день проводившие в «Щербаках», вечером бывали в Кружке.

Когда закрылись «Щербаки», актеры начали собираться в ресторане «Ливорно», в тогдашнем Газетном переулке, как раз наискосок «Щербаков».

С двенадцати до четырех дня великим постом «Ливорно» было полно народа. Облако табачного дыма стояло в низеньких зальцах и гомон невообразимый. Небольшая швейцарская была увешана шубами, пальто, накидками самых фантастических цветов и фасонов. В ресторане за каждым столом, сплошь

установленным графинами и бутылками, сидят тесные кружки бритых актеров, пестро и оригинально одетых: пиджаки и брюки водевильных простаков, ужасные жабо, галстуки, жилеты – то белые, то пестрые, то бархатные, а то из парчи. На всех этих жилетах в первой половине поста блещут цепи с массой брелочков. На столах сверкают новенькие серебряные портсигары. Владельцы часов и портсигаров каждому новому лицу в сотый раз рассказывают о тех овациях, при которых публика поднесла им эти вещи.

Первые три недели актеры поблещут подарками, а там начинают линять: портсигары на столе не лежат, часы не вынимаются, а там уже пиджаки плотно застегиваются, потому что и последнее украшение – цепочка с брелоками – уходит вслед за часами в ссудную кассу. А затем туда же следует и гардероб, за который плачены большие деньги, собранные трудовыми грошами.

С переходом в «Ливорно» из солидных «Щербаков» как-то помельчало сборище актеров: многие из корифеев не ходили в этот трактир, а ограничивались посещением по

вечерам Кружка или заходили в немецкий ресторанчик Вельде, за Большим театром.

Григоровский, перебивавший из «Щербаков» к Вельде, так говорил о «Ливорно»:

– Какая-то греческая кухмистерская. Спрашиваю чего-нибудь на закуску к водке, а хозяин предлагает: «Цамаая люцая цакуцка – это цудак по-глицески!» Попробовал – мерзость.

Актеры собирались в «Ливорно» до тех пор, пока его не закрыли. Тогда они стали собираться в трактире Рогова в Георгиевском переулке, на Тверской, вместе с охотнорядцами, мясниками и рыбниками.

Вверху в этом доме помещалась библиотека Рассохина и театральное бюро...

Между актерами было, конечно, немало картежников и бильярдных игроков, которые постом заседали в бильярдной ресторана Саврасенкова на Тверском бульваре, где велась крупная игра на интерес.

Здесь бывали и провинциальные знаменитости. Из них особенно славились двое: Михаил Павлович Докучаев – трагик и Егор Егорович Быстрое, тоже прекрасный актер, игравший все роли.

Егор Быстров, игрок-профессионал, кого угодно умел обыграть и надуть: с него и пошел глагол «объегорить»...

«Яма»

... С Тверской мы прошли через Иверские ворота и свернули в глубокую арку старинного дома, где прежде помещалось губернское правление.

– Ну вот, здесь я и живу, зайдем.

Перешли двор, окруженный кольцом таких же старинных зданий, вошли еще в арку, в которой оказалась лестница, ведущая во второй этаж. Темный коридор, и из него в углублении дверь направо.

– Вот и пришли!

Скрипнула тяжелая дверь, и за ней открылся мрак.

– Тут немного вниз... Дайте руку...

Я спустился в эту темноту, держась за руку моего знакомого. Ничего не видя кругом, сделал несколько шагов. Щелкнул выключатель, и яркий свет электрической лампы бросил тень на ребра сводов. Желтые полосы заиграли на переплетах книг и на картинах над

письменным столом.

Я очутился в большой длинной комнате с нависшими толстенными сводами, с глубокой амбразурой маленького, темного, с решеткой окна, черное пятно которого зияло на освещенной стене. И представилось мне, что у окна, за столом сидит летописец и пишет...

*Еще одно, последнее сказанье —
И летопись окончена моя... —*

мелькнуло в памяти...

Я стоял и молчал.

– Нет, это положительно келья Пимена! Лучшей декорации нельзя себе представить... – сказал я.

– Не знаю, была ли здесь келья Пимена, а что именно здесь, в этой комнате, была «яма», куда должников сажали, – это факт...

– Так вот она, та самая «яма», которая упоминается и у Достоевского, и у Островского.

Ужасная тюрьма для заключенных не за преступления, а просто за долги.

Здесь сидели жертвы несчастного случая, неумения вести дело торговое, иногда – разгула.

«Яма» – это венец купеческой мстительной жадности. Она существовала до революции, которая начисто смела этот пережиток жестоких времен.

По древним французским и германским законам должник должен был отрабатывать долг кредитору или подвергался аресту в оковах, пока не заплатит долга, а кредитор обзывался должника «кормить и не увечить».

На Руси в те времена полагался «правеж и выдача должника истцу головою до искупа».

Со времен Петра I для должников учредились долговые отделения, а до той поры должники сидели в тюрьмах вместе с уголовными.

Потом долговое отделение перевели в «Титы», за Москву-реку, потом в Пресненский полицейский дом, в третий этаж, но хоть и в третьем этаже было, а название все же осталось за ним «яма».

Однажды сидел там старик, бывший миллионер Плотицын. Одновременно там же содержалась какая-то купчиха, пожилая женщина, с такой скорбью в глазах, что положительно было жаль смотреть.

Помню я, что заходил туда по какому-то газетному делу. Когда я спустился обратно по лестнице, то увидел на крыльце пожилую женщину. Она вошла в контору смотрителя и вскоре вернулась.

Я заинтересовался и спросил смотрителя.

– Садиться приходила, да помещения нет, ремонтируется. У нее семеро детишек, и сидеть она будет за мужнины долги.

Оказывается, в «яме» имелось и женское отделение!

В России по отношению к женщинам преуменьшались телесные наказания много раньше, чем по отношению к мужчинам, а от задержания за долги и женщины не избавились. Старый солдат, много лет прослуживший при «яме», говорил мне: – Жалости подобно! Оно хоть и по закону, да не по совести! Посадят человека в заключение, отнимут его от семьи, от детей малых, и вместо того, чтобы работать ему, да, может, работой на ноги подняться, годами держат его зря за решеткой. Сидел вот молодой человек – только что женился, а на другой день посадили. А дело-то с подвохом было: усадил его богач-кре-

дитор только для того, чтобы жену отбить. Запутал, запутал должника, а жену при себе содержать стал...

Сидит такой у нас один, и приходит к нему жена и дети, мал мала меньше... Слез-то, слез-то сколько!.. Просят зрителя отпустить его на праздник, в ногах валяются...

Конечно, бывали случаи, что арестованные удирали на день-два домой, но их ловили и водворяли.

Со стороны кредиторов были разные глумления над своими должниками. Вдруг кредитор перестает вносить кормовые. И тогда должника выпускают. Уйдет счастливый, радостный, поступит на место и только что начнет устраиваться, а жестокий кредитор снова вносит кормовые и получает от суда страшную бумагу, именуемую: «поимочное свидетельство».

И является поверенный кредитора с полицией к только что начинающему оживать должнику и ввергает его снова в «яму».

А то представитель конкурса, узнав об отлучке должника из долгового отделения, разыскивает его дома, врывается, иногда но-

чью, в семейную обстановку и на глазах жены и детей вместе с полицией сам везет его в долговое отделение. Ловили должников на улицах, в трактирах, в гостях, даже при выходе из церкви!

Но и здесь, как везде: кому счастье, кому горе. Бывали случаи, что коммерческий суд пришлет указ отпустить должника, а через месяц опять отсрочку пришлет – и живет себе человек на воле.

А другой, у которого протекции нет и взятку дать не на что, никаких указов дожидаться не может – разве смотритель из человечности сжалятся да к семье на денек отпустит.

Это все жертвы самодурства и «порядка вещей» канцелярского свойства, жертвы купцов-дисконтеров.

Ведь большинство попадало в «яму» из-за самодурства богатеев-кредиторов, озлобившихся на должника за то, что он не уплатил, а на себя за то, что в дураках остался и потерял деньги. Или для того, чтобы убрать с дороги мешающего конкурента.

Кредитор злобно подписывал указ и еще вносил кормовые деньги, по пять рублей во-

семьдесят пять копеек в месяц.

И много таких мстителей было среди богатого московского купечества, чему доказательством служило существование долгового отделения, в котором сидело почти постоянно около тридцати человек.

«Олсуфьевская крепость»

На Тверской, против Брюсовского переулка, в семидесятые и в начале восьмидесятых годов, почти рядом с генерал-губернаторским дворцом, стоял большой дом Олсуфьева – четырехэтажный, с подвальными этажами, где помещались лавки и винный погреб. И лавки и погребок имели два выхода на улицу и во двор – и торговали на два раствора.

Погребок торговал через заднюю дверь всю ночь. Этот оригинальной архитектуры дом был окрашен в те времена в густой темно-серый цвет. Огромные окна бельэтажа, какие-то выступы, а в углублениях высокие чугунные решетчатые лестницы – вход в дом. Подъездов и вестибюлей не было. Посредине дома – глухие железные ворота с калиткой всегда на цепи, у которой день и ночь дежу-

рили огромного роста, здоровенные дворники. Снаружи дом, украшенный вывесками торговых заведений, был в полном порядке. Первый и второй этажи сверкали огромными окнами богато обставленных магазинов. Здесь были модная парикмахерская Орлова, фотография Овчаренко, портной Воздвиженский. Верхние два этажа с незапамятных времен были заняты меблированными комнатами Чернышевой и Калининой, почему и назывались «Чернышами».

В «Чернышах» жили актеры, мелкие служащие, учителя, студенты и пишущая братия.

В 1876 году здесь жил, еще будучи маленьким актером Малого театра, М. В. Лентовский: бедный номеришко, на четвертом этаже, маленькие два окна, почти наравне с полом, выходящие во двор, а имущества всего – одно пальтишко, гитара и пустые бутылки.

В квартире номер сорок пять во дворе жил хранитель дома с незапамятных времен. Это был квартальный Карасев, из бывших городских, любимец генерал-губернатора князя В. А. Долгорукова, при котором он состоял неот-

лучным не то вестовым, не то исполнителем разных личных поручений. Полиция боялась Карасева больше, чем самого князя, и потому в дом Олсуфьева, что бы там ни делалось, не совала своего носа.

Владелец дома, отставной штабс-капитан Дм. Л. Олсуфьев, ничего общего с графом Олсуфьевым не имеющий, здесь не жил, а управлял домом бывший дворник, закадычный друг Карасева, который получал и с него и с квартирантов, содержателей торговых заведений, огромные деньги.

Но не этот наружный корпус давал главный доход домовладельцам.

За вечно запертыми воротами был крупнейший двор, внутри которого – ряд зданий самого труппобного вида. Ужас берет, когда посмотришь на сводчатые входы с идущими под землю лестницами, которые вели в подвальные этажи с окнами, забитыми железными решетками.

Посредине двора – крупнейший флигель. Флигеля с боков, и ни одного забора, через который можно перелезть. Словом, один выход – только через охраняемую калитку.

А народу было тысячи полторы.

Недаром дом не имел другого названия, как «Олсуфьевская крепость» – по имени его владельца.

В промозглых надворных постройках – сотни квартир и комнат, занятых всевозможными мастерскими.

Пять дней в неделю тихо во дворе, а в воскресенье и понедельник все пьяно и буйно: стон гармоники, песни, драки, сотни полуголых мальчишек-учеников, детишки плачут, ревут и ругаются ученики, ни за что ни про что избиваемые мастерами, которых и самих так же в ученье били.

И ничего не видно и не слышно с улицы за большим двором, а ворота заперты, только в калитку иногда ныряли квартиранты, которые почище одеты. Остальные вечно томились в крепости.

«Мастеровщики» населяли все это огромное владение, а половина здешней мастеровщины – портные. Половина портных были, бездомные пьяницы и были самыми выгодными, самыми дешевыми и беззащитными работниками.

Пьянство здесь поддерживалось самими хозяевами: оно приковывало к месту. Разутому и раздетому куда идти? Да и дворник в таком виде не выпустит па улицу, и жаловаться некому.

«Раки» было общее название этих людей.

И сидели «раки» годами в своих норах, полураздетые, босые, имея только общие опорки, чтобы на двор выбегать, накинув на истлевшую рубаху какие-нибудь лохмотья. Мечтой каждого был трактир, средством достижения – баня. Покупалась на базаре дешевого ситцу рубаха, нанковые портки, и в канун праздника цербер-дворник выпускал «раков» за железные ворота как раз против Брюсовского переуллка, в Стрельцовские бани. Здесь они срывали с себя лохмотья и, выпарившись, уже облеченные во все чистенькое, там же за пятак остригшись, шли в трактир Косурова рядом с банями, а оттуда, в сопровождении трезвых товарищей, уже ночью исчезали в воротах «крепости».

Мастеровые в будние дни начинали работы в шесть-семь часов утра и кончали в десять вечера. В мастерской портного Воздви-

женского работало пятьдесят человек. Женатые жили семьями в квартирах на дворе, а холостые с мальчиками-учениками ночевали в мастерских, спали на верстаках и па полу, без всяких постелей: подушка – полено в головах или свои штаны, если еще не пропиты.

К шести часам утра кипел ведерный самоварище, заблаговременно поставленный учениками, которые должны были встать раньше всех и уснуть после всех.

У всякого своя кружка, а то просто какая-нибудь банка. Чай хозяйский, а хлеб и сахар свой, и то не у всех. В некоторых мастерских мальчикам чай полагался только два раза в год – на рождество и на пасху, по кружке:

– Чтоб не баловались!

После больших праздников, когда пили и похмелялись неделями, садились за работу почти голыми, сменив в трактире единственную рубашку на тряпку, чтобы только «стыд прикрыть».

Кипяток в семь часов разливали по стаканам без блюдец, ставили стаканы на каток, а рядом – огромный медный чайник с заваренным для колера цикорием. Кухарка (в ма-

стерских ее звали «хозяйка») подавала по куску пиленого сахара на человека и нарезанный толстыми ломтями черный хлеб. Посуду убирали мальчики. За обедом тоже служили мальчики. И так было во всей Москве – и в больших мастерских, и у «грызиков».

Мастера бросали работу, частью усаживались, как работали, «ноги калачиком», на катке вокруг чашек, а кому не хватало места, располагались стоя вместе с мальчиками и по очереди черпали большими деревянными ложками щи.

Обедали не торопясь. «Хозяйка» несколько раз подливала щи, потом вываливала в чашку нарезанную кусочками говядину, и старший из мастеров стучал ложкой по краю чашки.

Это в переводе на человеческую речь значило: «Гаскай со всем».

После этого тихо и степенно каждый брал в ложку по одному кусочку мяса, зная, что если захватит два кусочка, то от старшего по лбу ложкой влетит.

Ели молча, ложку после каждого глотка клали на каток и снова, прожевав мясо и

хлеб, черпали вторую.

За кашей, всегда гречневой, с топленным салом, а в постные дни с постным маслом, дело шло веселей: тут уже не зевай, а то ложкой едва возьмешь, она уже по дну чашки стучит.

После обеда мальчики убирают посуду, вытирают каток, а портные садятся тотчас же за работу. Посидев за шитьем час, мастера, которым есть что надеть, идут в трактир пить чай и потом уже вместе с остальными пьют второй, хозяйский чай часов в шесть вечера и через полчаса опять сидят за работой до девяти.

В девять ужин, точнее, повторение обеда.

«Грызиками» назывались владельцы маленьких заведений, в пять-шесть рабочих и нескольких же мальчиков с их даровым трудом. Здесь мальчикам было еще труднее: и воды принеси, и дров наколи, сбегай в лавку – то за хлебом, то за луком на копейку, то за солью, и целый день на посылках, да еще хозяйских ребят нянчи! Вставай раньше всех, ложись после всех.

Выбежать поиграть, завести знакомство с ребятами – минуты нет. В «Олсуфьевке» мальчикам за многолюдностью было все-таки ве-

селее, но убежали ребята и оттуда, а уж от «грызиков» – то и дело. Познакомятся на улице с мальчишками-карманниками, попадут на Хитровку и делаются жертвами трущобы и тюрьмы...

Кроме «мастеровщины», здесь имели квартиры и жили со своими артелями подрядчики строительных работ: плотники, каменщики, маляры, штукатуры, или, как их в Москве звали, «щекатуры». Были десятки белошвейных мастерских, портнишек, вязальщиц, были прачечные. Это самые тихие и чистенькие квартиры, до отказа набитые мастерицами и ученицами, спавшими в мастерских вповалку, ходившими босиком, пока не выйдут из учениц в мастерицы. Их, как и мальчиков, привозили из деревни и отдавали в ученье на четыре-пять лет без жалованья и тем прикрепляли к месту. Отбывшие срок учения делались мастерами и мастерицами и оставались жить у своих хозяев за грошовое жалованье. Некоторые обзаводились семьями.

В «Олсуфьевке» жили поколениями. Все между собой были знакомы, подбирались по специальностям, по состоянию и поведению.

Пьяницы (а их было между «мастеровщиной» едва ли не большинство) в трезвых семейных домах не принимались. Двор всегда гудел ребяташками, пока их не отдадут в мастерские, а о школах и не думали. Маленьких не учили, а подросткам, уже отданным в мастерские, учиться некогда.

Взрослые дочери хозяев и молодые мастерицы, мальчики, вышедшие в мастера, уже получавшие жалованье, играли свадьбы, родня росла, – в «Олсуфьевке» много было родственников.

В большие праздники в семейных квартирах устраивали вечеринки. Но таких скромных развлечений было мало среди общего пьяного разгула. Поголовное пьянство обыкновенно бывало на масленице и на святках. Ходили из квартиры в квартиру ряженые, с традиционной «козой», с барабаном и «медведем» в вывороченном полушубке. Его тащил на цепи дед-вожатый с бородой из льна, и медведь, гремя цепью, показывал, как ребята горох в поле воруют, как хозяин пляшет и как барин водку пьет и пьяный буянит. Конечно, медведю подносили водки, и он уже

после второй-третьей вечеринки сваливался и засыпал в сенях, а если буянил, то дворники отправляли его в подвал.

У скромной, семейной работающей молодежи «Олсуфьевской крепости» ничего для сердца, ума и разумного веселья – ни газет, ни книг и даже ни одного музыкального инструмента. Бельэтаж гагаринского дворца, выходявшего на улицу, с тремя большими барскими квартирами, являл собой разительную противоположность царившей на дворе крайней бедноте и нужде. Звуки музыки блестящих балов заглушали пьяный разгул заднего двора в праздничные дни.

В семейных квартирках надворных флигелей были для молодежи единственным весельем – танцы. Да и только один танец – кадрили. Да и то без музыки.

В праздничные дни, когда мужское большинство уходило от семей развлекаться по трактирам и пивным, мальчишки-ученики играли в огромном дворе, – а дома оставались женщины, молодежь собиралась то в одной квартире, то в другой, пили чай, грызли орехи, дешевые пряники, а то подсолнухи.

Разговоры вертелись только на узких интересах своей специальности или в области сплетен.

Молодежь начинала позевывать. Из отворенного окна бельэтажа гагаринского дворца слышалась музыка.

– Ну чего же вы? Там уже начали!..

С веселыми лицами вскакивают чистенько одетые кавалеры и приглашают принаряженных барышень.

– Позвольте вас пригласить на кадфель!

Мигот отодвигается в угол чайный стол, пожилые маменьки и тетеньки усаживаются вдоль стен, выстраиваются шесть пар, посредине чисто вымытого крашеного пола, танцующие запевают:

*Во саду ли в огороде
Девушка гуляла...*

Все громче, веселее под эту песню проходят первые три фигуры всемирно известного танца. Четвертую и пятую танцуют под:

*Шла девушка за водой
За холодной ключевой...*

У живших в «Олсуфьевке» артелей плотни-

ков, каменщиков и маляров особенно гулящими были два праздника: летний – петров день и осенний – покров.

Наем рабочих велся на срок от петрова до покрова, то есть от 29 июня до 1 октября.

В петров день перед квартирами на дворе, а если дождь, то в квартирах, с утра устанавливаются столы, а на них – четвертные сивухи, селедка, огурцы, колбаса и хлеб.

Первую чару пил хозяин артели, а потом все садились на скамейки, пили, закусывали, торговались и тут же «по пьяному делу» заключали условия с хозяином на словах, и слово было вернее нотариального контракта.

Когда поразопьются – торгуются и кочевряжатся:

– Андрей Максимов, а сколько ты мне положишь в неделю? – пьяным голосом обращается плотник к хозяину.

– Хошь по-старому – живи. А то, ежели что, и не надо, уезжай в деревню, – отвечает красный как рак хозяин.

– А ты надбавь! А то давай расщот!

– Как хошь! Получай сейчас и не отсвечивай! Орут, галдят, торгуются, дерутся всю

НОЧЬ...

А через день вся артель остается у хозяина.
Это петров день – цена переряда.

У портных, у вязальщиц, у сапожников, у ящичников тоже был свой праздник – «засидки».

Это – 8 сентября.

То же пьянство и здесь, та же ночевка в подвале, куда запирали иногда связанного за буйство. А на другой день – работа до десяти вечера.

После «засидок» – с огнем.

У портных «засидки» продолжались два дня. 9 сентября к семи часам вечера все сидят, ноги калачиком, на верстаках, при зажженной лампе. Еще засветло зажгут и сидят, делая вид, что шьют.

А мальчишка у дверей караулит.

– Идет!

И кто-нибудь из портных убавляет огонь в лампе донельзя.

Входит хозяин.

– Что такое за темнота у вас тутотка?

– Керосин не горит!

– Почему такое вдруг бы ему не гореть?

– Небось сами знаете! Лампы-то ваши...

– Тэ-эк-с! Ну, нате, чтобы горел!

И выкидывает трешницу на четвертную и закуску.

Огонь прибавляют.

Через час четверть выпита: опять огонь убавили. Сидят, молчат. Посылают мальчишку к главному закройщику – и тот же разговор, та же четверть, а на другой день – все на работе.

Сидят, ноги калачиком, а руки с похмелья да от холода ходуном ходят.

Летние каникулы окончились. После «засидок» начиналась зимняя, безрадостная и безвыходная крепостная жизнь в «Олсуфьевке», откуда даже в трактир не выйдешь!

Вдоль по Питерской

Когда я вышел из трамвая, направляясь на вокзал, меня остановил молодой человек.

– Извиняюсь, я первый раз в Москве. Я студент. Меня интересует, почему станция на пустой площади у Садовой называется «Триумфальные ворота», а это – «Тверская застава», хотя передо мною Триумфальные ворота во всем их величии... Потом, что значат эти два маленьких домика с колоннами рядом с ними?

Я объяснил, что это конец Тверской, что ворота сто лет назад были поставлены в память войны двенадцатого года, но что по Садовой были когда-то еще деревянные Триумфальные ворота, но что они уже полтора столетия как сломаны, а название местности сохранилось.

Объяснил я ему, что эти два домика в старину, когда еще железных дорог не было, были заставами и назывались кордегардией, потому что в них стоял военный караул, а между зданиями был шлагбаум, и так далее.

Студент поблагодарил меня, сказал, что он

напишет в своей газете, сделает доклад в клубе, что у них все интересуются Москвой, потому что она – первый город в мире.

Его слова заинтересовали меня. За полвека жизни в Москве я тысячу раз проезжал под воротами и на конке, а потом и на трамвае, и мимо них в экипажах, и пешком сновал туда и обратно, думая в это время о чем угодно, только не о них. Даже эта великолепная конская группа и статуя с венком в руках настолько прошла мимо моего внимания, что я не рассмотрел ее – чья это фигура. Я лишь помнил слышанное о ней: говорили, что по всей Москве и есть только два трезвых кучера – один здесь, другой – на фронте Большого театра. Только это был не «кучер», а «баба с калачом», по местному определению.

Я поднял глаза и наконец увидал, что это «богиня славы» с венком.

В такой же колеснице стоял на Большом театре другой «кучер» – с лирой в руках – Аполлон. Обе группы были очень однотипны, потому что как ворота, так и Большой театр архитектор Бове строил одновременно, в двадцатых годах прошлого столетия.

В домиках кордегардии при мне уже помещались то городские метельщики, то полицейская стража, то почтенные инвалиды, растиравшие на крыльце, под дорическими колоннами, в корчагах нюхательный табак для любителей-нюхарей.

Потом поместилась в одном из домиков городская амбулатория, а в другом – дежурка для фельдшера и служителей. Кругом домика, с правой стороны ворот, под легкой железной лестницей, приделанной к крыше с незапамятных времен, пребывали «холодные сапожники», приходившие в Москву из Тверской губернии с «железной ногой», на которой чинили обувь скоро, дешево и хорошо. Их всегда с десяток работало тут, а их клиенты стояли у стенки на одной ноге, подняв другую, разутую, в ожидании починки. Вот эту картину я помнил, потому что каждый раз – и проходя, и проезжая – видел ее. И думаю: как это ни один художник не догадался набросать на полотне этот живой уголок Москвы!

Под воротами с 1881 года начала ходить конка.

В прежние времена неслись мимо этих во-

рот дорогие запряжки прожигателей жизни на скачки и на бега – днем, а по ночам – в загородные рестораны – гуляки на «ечкинских» и «ухарских» тройках, гремящих бубенцами и шуркунцами «голубчиках» на паре с отлетом или на «безживотных» санках лихачей, одетых в безобразные по толщине воланы дорогого сукна, с шелковыми поясами, в угластых бархатных цветных шапках. Кажется, что с падением крепостного права должны были бы забыться и воланы: дворяне и помещики были поставлены «на ноги», лишились и кучеров и запряжек.

Вместе с отменой крепостного права исчезли барские рыдваны с их форейторами-казаками и дылды-гайдуки слезли с запяток.

Московские улицы к этому времени уже покрылись булыжными мостовыми, и по ним запрыгали извозчичьи дрожки на высоких рессорах, названные так потому, что ездоки на них тряслись как в лихорадке.

После крепостного права исчез навсегда с московских улиц экипаж, официально называвшийся «похоронной колесницей», а в просторечии «фортункой».

– Достукаешься, повезут тебя на фортунке, к Иверской затылком.

И двигалась по Тверской из колымажного двора страшная черная, запряженная обязательно вороной без отметин лошадью телега с черным столбом. Под ним на возвышении стояла скамья, а на ней сидел, спиной к лошади, прикованный железной цепью к столбу, в черном халате и такой же бескозырке, осужденный преступник. На груди у него висела черная доска с крупной меловой надписью его преступления: разбойник, убийца, поджигатель и так далее. Везли его из тюрьмы главными улицами через Красную площадь за Москву-реку, на Конную, где еще в шестидесятых годах наказывали преступников на эшафоте плетьюми, а если он дворянин, то палач в красной рубашке ломал шпагу над головой, лишая его этим чинов, орденов и звания дворянского.

Фортунку я уже не застал, а вот воланы не перевелись. Вместо прежних крепостников появились новые богатые купеческие «саврасы без узды», которые старались подражать бывшим крепостникам в том, что было им по

уму и по силам. Вот и пришлось лихачам опять воланы набивать ватой, только вдвое потолще, так как удар сапога бутылками тяжелее барских заграничных ботинок и козловых сапог от Пироне.

Помню 1881 год. Проходя как-то на репетицию мимо Триумфальных ворот, я увидел огромную толпу. Задрав головы, все галдели.

На коне верхом сидел человек с бутылкой водки. Он орал песни. У ворот кипятился пристав в шикарном мундире с гвардейским, расшитым серебром воротником. Он орал и грозил кулаком вверх.

– Слезай, мерзавец!

А тот его зовет:

– Чего орешь? Влазь сюда водку пить!..

И ничего в памяти у меня больше не осталось яркого от Триумфальных ворот. Разве только, что это слово: «Триумфальные» ворота – я ни от кого не слышал. Бывало, нанимал извозчика:

– К Триумфальным.

– К Трухмальным? К коим? Старым или новым? Я и сам привык к московскому просторечию, и невольно срывалось:

– К Трухмальным!

А покойный артист Михаил Провыч Садовский, москвич из поколения в поколение, чем весьма гордился, любя подражать московскому говору, иначе и не говорил:

– Старые Трухмальные. Аглицкий клуб.

* * *

В Палашевском переулке, рядом с банями, в восьмидесятых годах была крошечная овощная лавочка, где много лет торговал народный поэт И. А. Разоренов, автор народных песен. Ему принадлежит, между прочим, песня «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан». Его другом был Суриков. У него бывали многие московские поэты. К нему из Петербурга приезжали А. Н. Плещеев, С. В. Круглов. Я жил некоторое время в номерах «Англия» и бывал у него ежедневно. Получил от него в подарок книжку «Продолжение «Евгения Онегина», написанную недурным стихом. Это был старик огромного роста, богатырского сложения, читал наизусть чуть не всего Пушкина, а «Евгения Онегина» знал всего и любил цитировать. У него был друг, выше него ростом, седой, с серебряным курчавым чубом,

а сила у него была непомерная. Его имя было Ермолай, но звали его с юности за удаль Ермаком. В то время все пространство между Садовой и Тверской заставой считалось еще Ямской слободой. Предки Ермака были исконными ямщиками, и дом их сгорел в тот же день, когда Наполеон бежал из Москвы через Тверскую заставу. Ермак помнил этот дом хорошо, и когда по моей просьбе он рассказывал о прошлом, то Разоренов тотчас же приводил из «Онегина», как Наполеон скрылся в Петровский замок и

*Отселе, в думу погружен,
Глядел на грозный пламень он...*

А Ермак время от времени затягивал свою любимую песню:

Как по Питерской, по Тверской-Ямской...

Вот из этих-то рассказов-воспоминаний друга я нарисовал себе прошлое Тверской заставы.

Движение было большое, особенно было оно в начале зимы, по снегу, когда помещики приезжали проводить зиму в Москве. За дорезами и возками цугом тащились целые

обозы богатых помещиков, а небогатые тоже тянулись за ними.

– Помнишь? Как Ларина... – и начнет старик цитировать поездку Лариной в Москву, как приготавлился

Забвенью брошенный возок,

как в обозе укладывались домашние пожитки —

*...Варенье в банках, тюфяки,
Перины, клетки с петухами...*

и как

*...Ведут во двор осьмнадцать
кляч.*

И вижу я, слушая эти рассказы, вереницы ожидающих очереди через шлагбаум, как наконец тому или другому проезжающему, по чинам и званиям, давался пропуск, и с крыльца кордегардии унтер командовал инвалиду шлагбаума:

– Подвысь!..

Инвалид гремел цепью шлагбаума. Пестрое бревно «подвешивалось» и снова за пропущенным опускалось до нового:

– Подвысь!..

Но вот заливается по Питерской дороге курьерский колокольчик – все приходит в движение. Освобождают правую часть дороги, и бешено несется курьерская или фельдъегерская тройка. Инвалид не ждет команды «подвысь!», а, подняв бревно, вытягивается во фронт. Он знает, что это или фельдъегерь, или курьер, или государственного преступника везут...

Все остальные обязаны были подвязывать колокольчик, не доезжая до Москвы.

Особенно много троек летело из Питера в Сибирь.

Вот Ермак ездил специально на курьерских тройках. Много он съел и кнутов и розог от курьеров, а все при разговоре мурлыкал:

*Балконы, львы на воротах
И стаи галок на крестах...*

Увлекается, описывая Тверскую, Разоренов, а Ермак продолжает свою песню:

*Вот мчится тройка удалая
В Казань дорогой столбовой...
И колокольчик, дар Валдая,*

Гудит уныло под дугой...

И долго-долго, до тех пор, пока не выстроили Николаевскую железную дорогу, он лихо правил курьерскими тройками, а потом по Садовой и по Владимирке до первой станции, ближе к разбойничьим Гуслицам.

По Тверской-Ямской С колокольчиком...

Так было до первой половины прошлого века, до Николаевской железной дороги. Николай I положил на карту линейку и провел карандашом прямую черту от Москвы до Питера.

– Чтобы не сбиться с линии – повешу!

И была выстроена прямая дорога. И первые поехали по ней арестанты. Из дворян и купечества многие боялись.

– Нечистая сила колеса крутит...

– Дьявол везет!

– Из одной ноздри пар, из другой огонь и дым валит. Первое время еще возили по Питерскому тракту ссылаемых в Сибирь, а потом все стали ездить по железной дороге, и товары пошли в вагонах. Закрылось здание

кордегардии. Не кричали больше «подвысь!».

Инвалиды мирно терли в корчагах махорку.

Вспоминал Разоренов, как Ямская слобода стала городом, потом, как заставу отменили и как дорогой, еще до самой воли, сквозь эти ворота возили возы березовых розог для порки крепостных – и не одних крепостных, а всего «подлого сословия люда». Пороли до отмены крепостного права и телесного наказания, а затем и розги перестали возить. Порки производили каждую субботу, кроме страстной и масленой.

Цари въезжали через эти Триумфальные ворота короноваться.

В 1896 году в честь коронации Николая II был большой народный праздник на Ходынском поле, где в 1882 году была знаменитая Всероссийская художественно-промышленная выставка. Но это уже было за пределами тогдашней Москвы. Мимо Триумфальных ворот везли возами трупы погибших на Ходынке.

– На беду это. Не будет проку от этого царствования.

Так сказал старый наборщик «Русских ведомостей», набравший мою статью о ходынской катастрофе.

Никто не ответил на его слова. Все испуганно замолчали и перешли на другой разговор.

На моих глазах

С подъезда вокзала я сел в открытый автомобиль. И первое, что я увидел, это громаду Триумфальных ворот.

На них так же четверня коней и в колеснице та же статуя славы с высоко поднятым венком... Вспоминаю... Но мы уже мчимся по шумной Тверской, среди грохота и гула...

Прекрасная мостовая блестит после мимолетного дождя под ярким сентябрьским солнышком. Тротуары полны стремительного народа.

Все торопятся – кто на работу, на службу, кто с работы, со службы, по делам, но прежних пресыщенных гуляющих, добывающих аппетит, не вижу... Вспоминается: «Теперь брюхо бежит за хлебом, а не хлеб за брюхом».

Мы мчимся в потоке звенящих и гудящих

трамваев, среди грохота телег и унылых, доживающих свои дни извозчиков... У большинства на лошадях и шлеи нет – хомут да вожжи.

Перегоняем все движение, перегоняем громоздкие автобусы и ловкие такси.

Вдруг у самой Садовой останавливаемся. Останавливается вся улица. Шум движения замер. Пешая публика переходит, торопясь, поперек Тверскую, снуя между экипажами...

А на возвышении как раз перед нами стоит щеголеватый, в серой каске безмолвный милиционер с поднятой рукой.

Но вот пускает этот живой семафор в белой перчатке, и все ринулось вперед, все загудело, зазвенело. Загрохотала Москва...

Мы свернули на Садовую. На трехминутной остановке я немного, хотя еще не совсем, пришел в себя. Ведь я четыре месяца прожил в великолепной тишине глухого леса – и вдруг в кипучем котле.

Мы свернули налево, на Садовую.

Садовая. Сколько тысяч раз за эти полвека я переехал ее поперек и вдоль! Изъездил немало.

В памяти мелькают картины прошлого. Здесь мы едем тихо – улица полна грузовиками, которые перебираются между идущими один за другим трамваями слева и жмуцми-ся к тротуару извозчиками. Приходится вы-ждать и ловить момент, чтобы перегнать.

Первое, что перенесло меня в далекое про-шлое, – это знакомый двухэтажный дом, кото-рый напомнил мне 1876 год. Но где же пали-садник перед ним?

Новые картины сменяются ежеминутно. Мысли и воспоминания не успевают за ними. И вот теперь, когда я пишу, у меня есть время подробно разобраться и до мелочей воскре-сить прошлое.

В апреле 1876 года я встретил моего това-рища по сцене – певца Петрушу Молодцова (пел Торопку в Большом театре, а потом слу-жил со мной в Тамбове). Он затащил меня в гости к своему дяде в этот серый дом с пали-садником, в котором бродила коза и играли два гимназистика-приготовишки.

У ворот мы остановились, наблюдали их игру. Они выбросили, прячась в кустах, сереб-ряный гривенник на нитке на тротуар и жда-

ли.

Ждем и мы. Вот идет толстый купец с одной стороны и старуха-нищенка – с другой. Оба увидели серебряную монету, бросились за ней, купец оттолкнул старуху в сторону и наклонился, чтобы схватить добычу, но ребята потянули нитку, и монета скрылась.

Купец поражен.

– Это их любимая игра. Уж и смеху бывает, – объяснил мне, когда мы вошли, его дядя с седой бородой...

Вот этого-то палисадника теперь и не было, а я его видел еще в прошлом году...

Перед заново выкрашенным домом блестел асфальтовый широкий тротуар, и мостовая была гладкая, вместо булыжной.

А еще раньше мне рассказывал дядя Молодцова о том, какова была Садовая в дни его молодости, в сороковых годах.

– ...Камнем тогда еще не мостили, а клали поперечные бревна, которые после сильных ливней всплывали, становились торчком и надолго задерживали движение.

...Богатые вельможи, важные дворяне ездили в огромных высоких каретах с откидны-

ми лесенками у дворец. Сзади на запятках стояли, держась за ремни, два огромных гайдука, два ливрейных лакея, а на подножках, по одному у каждой дверцы, по казачку. На их обязанности было бегать в подъезды с докладом о приезде, а в грязную погоду помогать гайдукам выносить барина и барыню из кареты на подъезд дома. Карета запрягалась четверней цугом, а у особенно важных особ – шестерней. На левой, передней, лошади сидел фореитор, а впереди скакал верховой, обследовавший дорогу: можно ли проехать? Вдоль всей Садовой, рядом с решетками палисадников, вместо тротуаров шли деревянные мостки, а под ними – канавы для стока воды. Особенно непроездна была Самотечная и Сухаревские Садовые с их крутым уклоном к Неглинке.

Целыми часами мучились ломовики с возами, чтобы вползать на эти горы. Но главный ужас испытывали на Садовой партии арестантов, шедших в Сибирь пешком, по Владимирке, начинавшейся за Рогожской заставой. Арестантские партии шли из московской пересыльной тюрьмы, Бутырской, через

Малую Дмитровку по Садовой до Рогожской. По всей Садовой в день прохода партии – иногда в тысячу человек и больше – выставлялись по тротуару цепью солдаты с ружьями. В голове партии, звеня ручными и ножными кандалами, идут каторжане в серых бушлатах с бубновым желтого сукна тузом на спине, в серых суконных бескозырках, из-под которых светится половина обритой головы.

За ними движутся ссыльные в ножных кандалах, прикованные к одному железному пруту: падает один на рытвине улицы и увлекает соседа.

А дальше толпа бродяг, а за ними вереница колымаг, заваленных скудными пожитками, на которых гнездятся женщины и дети; с детьми – и заболевшие арестанты.

Особенно ужасно положение партии во время ливня, когда размывает улицу, и часами стоит партия, пока вправят вымытые бревна.

– Десятки лет мы смотрели эти ужасы, – рассказывал старик Молодцов. – Слушали под звон кандалов песни о несчастной доле, песни о подаянии. А тут дети плачут в колыма-

гах, матери в арестантских халатах заливаются, утешая их, и публика кругом плачет, передавая несчастным булки, калачи... Кто что может...

Такова была Садовая в первой половине прошлого века. Я помню ее в восьмидесятых годах, когда на ней поползла копка после трясучих линеек с крышей от дождя, запряженных парой «одров». В линейке сидело десятка полтора пассажиров, спиной друг к другу. При подъеме на гору кучер останавливал лошадей и кричал:

– Вылазь!

И вылезали, и шли пешком в дождь, по колёно в грязи, а поднявшись на гору, опять садились и ехали до новой горы.

Помню я радость москвичей, когда проложили сначала от Тверской до парка рельсы и пустили по ним конку в 1880 году, а потом, года через два, – и по Садовой. Тут уж в гору Самотечную и Сухаревскую уж не кричали: «Вылазь!», а останавливали конку и впрягали к паре лошадей еще двух лошадей впереди их, одна за другой, с альчуганами-форейторами.

Их звали «фалаторы», они скакали в гору,

кричали на лошадей, хлестали их концом повода и хлопали с боков ногами в сапожищах, едва влезавших в стремя. И бывали случаи, что «фалатор» падал с лошади. А то лошадь поскользнется и упадет, а у «фалатора» ноги в огромном сапоге или, зимнее дело, валенке – из стремени не вытащишь. Никто их не учил ездить, а прямо из деревни сажали на коня – езжай! А у лошадей были нередко разбиты ноги от скачки в гору по булыгам мостовой, и всегда измученные и недокормленные.

«Фалаторы» в Москве, как калмыки в астраханских или задонских степях, вели жизнь, одинаковую с лошадьми, и пути их были одинаковые: с рассветом выезжали верхами с конного двора. В левой руке – повод, а правая откинута назад: надо придерживать неуклюжий огромный валеk на толстых веревочных постромках. Им прицепляется лошадь к дышлу вагона... Пришли на площадь – и сразу за работу: скачки в гору, а потом, к полуночи, спать на конный двор. Ночевали многие из них в конюшне. Поили лошадей на площади, у фонтана, и сами пили из того же ведра. Много пилось воды в летнюю жару, когда

пыль клубилась тучами по никогда не метеным улицам и площадям. Зимой мерзли на стоянках и вместе согревались в скачке на гору.

В осенние дожди, перемешанные с заморозками, их положение становилось хуже лошадиного. Бушлаты из толстого колючего сукна промокали насквозь и, замерзнув, становились лубками; полы, вместо того чтобы покрывать мерзнущие больше всего при верховой езде колени, торчали, как фанера...

На стоянках лошади хрустели сеном, а они питались всухомятку, чем попало, в лучшем случае у обжорных баб, сидящих для тепла кушаний на корчагах; покупали тушенку, бульонку, а иногда серую лапшу на наваре из осердия, которое продавалось отдельно: на копейку – легкого, на две – сердца, а на три – печенки кусок баба отрежет.

Мечта каждого «фалатора» – дослужиться до кучера. Под дождем, в зимний холод и вьюгу с завистью смотрели то на дремлющих под крышей вагона кучеров, то вкусно нюхающих табак, чтобы не уснуть совсем: вагон качает, лошади трух-трух, улицы пусты, зада-

вить некого...

Был такой с основания конки начальник станции у Страстной площади, Михаил Львович, записной нюхарь. У него всегда большой запас табаку, причем приятель-заводчик из Ярославля ящиками в подарок присылал. При остановке к нему кучера бегут: кто с берестяной табакеркой, кто с жестянкой из-под ваксы.

– Сыпани, Михаил Львович! И никому отказа не было.

Михаил Львович еще во время революции продолжал служить на Рогожской станции. Умер он от тифа.

Вот о кучерской жизни и мечтали «фалаторы», но редко кому удавалось достигнуть этого счастья. Многие получали увечье – их правление дороги отсылало в деревню без всякой пенсии. Если доходило до суда, то суд решал: «По собственной неосторожности». Многие простужались и умирали в больницах.

А пока с шести утра до двенадцати ночи фореиторы не сменялись – проскачут в гору, спустятся вниз и сидят верхом в ожидании

вагона.

Художник Сергей Семенович Ворошилов, этот лучший мастер после Сверчкова, выставил на одной из выставок двух дремлющих на клячах фореиторов. Картину эту перепечатали из русских журналов даже иностранные. Подпись под нею была:

*Их моют дожди,
Посыпает их пыль...*

Вагоны были двухэтажные, нижний и верхний на крыше первого. Он назывался «империал», а пассажиры его – «трехкопеечными империалистами». Внизу пассажиры платили пятак за станцию. На империал вела узкая винтовая лестница. Женщин туда не пускали. Возбуждался в думской комиссии вопрос о допущении женщин на империал. Один из либералов даже доказывал, что это лишение прав женщины. Решать постановили голосованием. Один из членов комиссии, отстаивавший запрещения, украинец, в то время когда было предложено голосовать, сказал:

– Та они же без штанців!

И вопрос при общем хохоте не баллотировался.

* * *

Мы мчались, а я все гляжу: «Да где же палисадники?»

На месте Угольной площади, на углу Малой Дмитровки, где торговали с возов овощами, дровами и самоварным углем, делавшим покупателей «арапами», – чудный сквер с ажурной решеткой.

Рядом с ним всегда грязный двор, дом посреди площади заново выкрашен. Здесь когда-то был трактир «Волна» – притон шулеров, аферистов и «деловых ребят».

В 1905 году он был занят революционерами, обстреливавшими отсюда сперва полицию и жандармов, а потом войска. Долго не могли взять его. Наконец, поздно ночью подошел большой отряд с пушкой. Предполагалось громить дом гранатами. В трактире ярко горели огни. Войска окружили дом, приготовились стрелять, но парадная дверь оказалась незаперта. Разбив из винтовки несколько стекол, решили штурмовать. Нашелся один смельчак, который вошел и через мину-

ту вернулся.

– Там никого...

Трактир был пуст. Революционеры первые узнали, что в полночь будут штурмовать, и заблаговременно ушли.

Вспомнился еще случай. В нижнем этаже десятки лет помещался гробовщик. Его имя связано с шайкой «червонных валетов», на шумевших на всю Москву.

Я не помню ни фамилии гробовщика, ни того «червонного валета», для которого он доставил роскошный гроб, саван и покров. Покойник лежал в своей квартире, в одном из переулков на Тверской. Духовенство его отпело и пошло провожать на Ваганьково. Впереди певчие в кафтанах, сзади две кареты и несколько молодых людей сопровождают катафалк.

Дошли по правому шоссе до шикарного ресторана «Яр», против которого через шоссе поворот к кладбищу.

Остановились. Молодые люди сняли гроб и вместо кладбища, к великому удивлению гуляющей публики, внесли в подъезд «Яра» и, никем не остановленные, прошли в самый

большой кабинет, занятый молодыми людьми. Вставшего из гроба, сняв саван, под которым был модный сюртук, встретили бокалами шампанского.

Полиция возбудила дело, а гроб, покров и саван гробовщик за бесценок купил, и на другой день в этом гробу хоронили какого-то купца.

Началось другое дело. Обиженные в завещании родственники решили привлечь к суду главных наследников, которых в прошении просили привлечь за оскорбление памяти покойного, похоронив его в «подержанном» гробу.

И долго дразнили гробовщика, забегая к нему в лавку и спрашивая:

– Нет ли у вас подержанного гроба? Есть подержанный саван?

Потом, с годами, все это забылось и вспоминалось мне, когда я уже миновал Каретный ряд и въехал на Самотечную-Садовую.

Мы мчались вниз. Где же палисадники? А ведь они были год назад. Были они щегольские, с клумбами дорогих цветов, с дорожками. В такие имели доступ только богатые, за-

нимавшие самую дорогую квартиру. Но таких садиков было мало. Большинство этих загороженных четырехугольников, ни к чему съедавших пол-улицы, представляло собой пустыри, поросшие бурьяном и чертополохом. Они всегда были пустые. Калитки на запоре, чтобы воры не забрались в нижний этаж. Почти во всех росли большие деревья, посаженные в давние времена по распоряжению начальства. Вот эти-то деревья и пригодились теперь. Они образуют широкие аллеи для пешеходов, залитые асфальтом. Эти аллеи-тропуары под куполом зеленых деревьев – красота и роскошь, какой я еще не видал в Москве.

Спускаемся на Самотеку. После блеска новизны чувствуется старая Москва. На тротуарах и на площади толпится народ, идут с Сухаревки или стремятся туда. Несут разное старое хоботье: кто носильное тряпье, кто самовар, кто лампу или когда-то дорогую вазу с отбитой ручкой. Вот мешок тащит оборванец, и сквозь дыру просвечивает какое-то синее мясо. Хлюпают по грязи в мокрой одежде, еще не просохшей от дождя. Обоняется прелый запах трупобвы.

Свернули направо. Мчимся по Цветному бульвару, перегнали два трамвая. Бульвар еще свеж, деревья зеленые, с золотыми бликами осени.

Я помню его, когда еще пустыри окружали только что выстроенный цирк. Здесь когда-то по ночам «всякое бывало». А днем ребята пускали бумажные змеи и непременно с трещотками. При воспоминании мне чудится звук трещотки. Невольно вскидываю глаза в поисках змея с трещоткой. А надо мной выплывают один за другим три аэроплана и скрываются за Домом крестьянина на Трубной площади.

* * *

Асфальтовые Петровские линии. Такая же, только что вымытая Петровка. Еще против одного из домов дворник поливает из брандспойта улицы, а два других гонят воду в решетку водосточного колодца.

Огибаем Большой театр и Свердловский сквер по проезду Театральной площади, едем на широкую, прямо-таки языком вылизанную Охотнорядскую площадь. Несутся автомобили, трамваи, катятся толстые автобусы.

Где же Охотный ряд?
Столешники, 1934 г.

Из цикла «Трущобные люди»

Человек и собака

– Лиска, ляг на ноги да погрей их, ляг! – Лстуча от холода зубами, проворчал нищий, стараясь подобрать под себя ноги, обутое в опорки и обернутые тряпками.

Лиска, небольшая желтая культяпая дворняжка, ласково виляя пушистым хвостом и улыбаясь во весь свой ротик с рядом белых зубов, поднялась со снега и легла на заскорузлые ноги нищего.

– Эх, Лисичка! и холодно-то нам с тобой и голод» но! Кою ночь ночуем на морозе, а деваться некуда... В ночлежных обходы пошли, как раз к «дяде»[10] угодишь, а здесь, в саду, на летнем положении-то, хоть и не ахти как, а все на воле... Еще спасибо, что и так, подвал-то не забили... И чего это в саду дом пустует: лучше бы отколотили доски да бедных пущали... А вот хлебушка-то у нас с тобой нет... Ничего, до лета потерпим, а там опять на вольную работу, опять в деревню косить

пойдем и сыты будем... В лагеря сходим... Солдаты говядинки дадут... Наш брат солдат собаку любит... Сам я вот в Туречине собачонку взял щенком в лесу, как тебя же, выкормил, выходил и офицеру подарил. В Расею он ее взял... «Чудаком» звали собаку-то. Бывало, командир подзовет меня и спросит: «Как звать собаку?» – «Чудак, мол, ваше благородие!» А ён, покелича не поймет, и обижается, думает, его чудаком-то зовут... Славная собака была!.. Вот и тебя, как ее, тоже паршивым щенком достал, выкормил, да на горе... Голодаем вот...

Лиска виляла хвостом и ласково смотрела в глаза нищему...

Начало светать... На Спасской башне пробило шесть. Фонарщик прошел по улице и потушил фонари. Красноватой полосой засветлела зорька, погашая одну за другой звездочки, которые вскоре слились с светлым небом... Улицы оживали... Завизжали железные петли отпираемых где-то лавок... Черные бочки прогромыхали... Заскрипели по молодому снегу полозья саней. Окна трактира осветились огоньками...

Окоченелый от холода, выполз нищий из

своего логова в сад, послунил пальцы, протер ими глаза, заплывшие, опухшие, – умылся – и приласкал вертевшуюся у ног Лиску.

– Холодно, голубушка, холодно, ну полежи, милая, полежи ты, а я пойду постреляю и хлебушка принесу... Ничего, Лиска, поправимся!.. Не все же так... Только ты-то не оставляй меня, не бегай... Ты у меня, безродного бродяги, одна ведь. Не оставишь, Лиска?

Лиска еще пуще заюлила перед нищим и по его приказанию ушла в логово, а он, съевшись и засунув руки в рукава рваного кафтана, зашагал по снегу к блестящим окнам трактира...

* * *

– Сюда, ребята, закидывай сеть, да захватывай подвал, там, наверное, есть! – командовал рыжий мужик шестерым рабочим, несшим длинную веревочную сетку вроде невода.

Те оцепили подвал, где была Лиска.

Она с лаем выскочила из своего убежища и как раз запуталась в сети. Рыжий мужик схватил ее за ногу. Она пробовала вырваться, но была схвачена железными щипцами и опущена в деревянный ящик, который поста-

вили в фуру, запряженную рослой лошадью. Лиска билась, рвалась, выла, лаяла и успокоилась только тогда, когда ее выпустили на обширный двор, окруженный хлевушками с сотнями клеток, наполненных собаками.

Некоторые из собак гуляли по двору. Тут были и щенки, и старые, и дворовые, и охотничьи собаки – словом, всех пород. Лиска чувствовала себя не в своей тарелке и робко оглядывалась. Из конторы вышел полный коротенький человек и, увидав Лиску, спросил:

– Это откуда такая красавица?.. совсем лисица, и шерстью, и хвостом, и мордочкой.

– Бродячая, в саду взяли...

– Славная собачка! не сажать ее в клетку, пусть в конторе живет, а то псов прорва, а хорошего ни одного нет... Кличка ей будет «Лиска»... Лиска, Лиска, иди сюда!

Лиска, услышав свое имя, подбежала к коротенькому человечку и завиляла хвостом.

Ее накормили, устроили ей постель в сенях конторы, и участь ее была обеспечена, – она стала общей любимицей...

* * *

Только что увезли ловчие Лиску, возвра-

тился и бродяга в свой подвал. Он удивился, не найдя в нем своего друга, и заскучал. Ходил целый день как помешанный, искал, кликал, хлеба в подвале положил (пущай, мол, дура, поест с голодухи-то, набегается ужо!), а Лиски все не было... Только вечером услышал он разговор двух купцов, сидевших на лавочке, что собак в саду «ловчие переимали» и в собачий приют увезли.

– В какой приют, ваше степенство? – вмешался в разговор нищий, подстрекаемый любопытством узнать о судьбе друга.

– Такой уж есть, выискались, вишь, добрые, вместо того чтобы людей вот вроде тебя напоить-накормить да от непогоды пригреть, – собакам пансион устроили.

– Вроде как богадельня собачья! – вставил другой, – и берегут и холят.

Поблагодарил бродяга купцов и пошел дальше, куда глаза глядят.

Счастлив хоть одним был он, что его Лиске живется хорошо, только никак не мог в толк взять, кто такой добрый человек нашелся, что устроил собачью богадельню, и почему на эти деньги (а стоит, чай, немало содержать псов-

то) не сделали хоть ночлежного угла для голодных и холодных людей, еще более бесприютных и несчастных, чем собаки (потому собака в шубе, – ей и на снегу тепло). Немало он подивился этому.

Прошло три дня. Сильно заскучал бродяга о своем культяпом друге (и ноги-то погреть некому и словечушка не с кем промолвить!) и решил наконец отыскивать приют, где Лиска живет, чтобы хоть одним глазком посмотреть, каково ей там (не убили ли ее на лайку, али бо што).

Много он народу переспросил о том, где собачья богадельня есть, но ответа не получал: кто обругается, кто посмеется, кто копеечку подаст да, жалеючи, головой покачивает, – «спятил, мол, с горя!» Ходил он так недели зря. Потом, как чуть брезжить стало, увидел он в Охотном ряду, что какие-то мужики сеткой собак ловят да в карету сажают, и подошел к ним.

– Братцы, не вы ли недавнысь мою Лиску в саду пымали? Така собачонка желтенькая, культяпая...

– Там вот пымали в подвале под старым

трактиром... Как лисица, такая...

– Это она! Самая она и есть!

– Ну, пымали, у нас живет, смотритель к себе взял, говядины не в проед дает...

– А где ваша бог...

Но бродяга не договорил, – вдали показался городской. («Фараон»[11] триклятущий, и побалакать не даст, – того и гляди «под шары» [12] угодишь, а там и «к дяде»!)

Пошел бродяга собачью богадельню разыскивать. Идет и думает. Вспомнилось ему прежнее житье-бытье... Вспомнил он родину, далекую, болотную; холодную «губерню», вспомнил, как ел персики и инжир в Туречине, когда «во вторительную службу» воевать с чумазой туркой ходил... Вспомнил он и арестантские роты, куда на четыре года военным судом осудили «за пьянство и промотание казенных вещей»... (Уж и вешши! Рваная шинелишка – рупь цена – да сапоги старые, в коих зимой Балканы перевалил да по колено в крови ходил!)... Выпустили его из арестантских рот и волчий билет ему дали (как есть волчий, почет везде, как волку бешеному, – ни тебе работа, ни тебе ночлег!). Потерял он этот

свой билет волчий, и стали его, как дикого зверя, ловить: поймают, посадят в острог, на родину пошлют, потом он опять оттуда уйдет... Несколько лет так таскали. Свыкся он с бродяжной жизнью и с осторожным житьем-бытьем. Однако последнего боялся теперь, потому что общество его отказалось принимать, и если «пымают, то за бугры, значит, жигана водить». А Сибири ему не хотелось!..

* * *

Опустилась над Москвой ночь – вьюжная, холодная... Назойливый, резкий ветер пронизывал насквозь лохмотья и резал истомленное, почерневшее от бродяжной жизни лицо старого бездомника. А все шагал он по занесенным снегом улицам Замоскворечья, пробираясь к своему убежищу... Был он у «собачьей богадельни» и Лиску на дворе видел, да опять «фараоны» помешали. Дальше пошел он. Вот Москва-река встала перед ним черной пропастью... Справа, вдалеке, сквозь вьюгу чуть блестели электрические фонари Каменного моста... Он не пошел на мост и спустился по пояс в снегу на лед Москвы-реки.

Бродяга с утра ничего не ел, утомился и еле передвигал окоченевшие, измокшие ноги... Наконец, подле проруби, огороженной елками, силы оставили его, и он, упав на мягкий, пушистый сугроб, начал засыпать... Чудится ему, что Лиска пришла к нему и греет его ноги... что он лежит на мягком лазаретном тюфяке в теплой комнате и что из окна ему видны Балканы, и он сам же, с ружьем в руках, стоит по шею в снегу на часах и стережет старые сапоги и шинель, которые мотаются на веревке... Из одного сапога вдруг летит «фараон» и грозит ему...

На третий день после этого дворники, сидя у ворот, читали в «Полицейских ведомостях», что «Вчерашнего числа на льду Москвы-реки, в сугробе снега, под елками, окружающими прорубь, усмотрен полицией неизвестно кому принадлежащий труп, по-видимому солдатского звания и не имеющий паспорта. К обнаружению звания приняты меры».

А кому нужен этот бродяга по смерти? Кому нужно знать, как его зовут, если при жизни-то его, безродного, бесприютного, никто и за человека с его волчьим паспортом не счита-

тал... Никто и не вспомнит его! Разве когда будут копать на его могиле новую могилу для какого-нибудь усмотренного полицией «неизвестно кому принадлежащего трупа» – могильщик, закопавший не одну сотню этих безвестных трупов, скажет:

– Человек вот был тоже, а умер хуже собаки!.. Хуже собаки!..

* * *

А Лиска живет себе и до сих пор в собачьем приюте и ласковым лаем встречает каждого посетителя, но не дождетя своего воспитателя, своего искреннего друга... Да и что ей? Живется хорошо, сыта до отвалу, как и сотни других собак, содержащихся в приюте... Их любят, холят, берегут, ласкают...

Разве иногда голодный, бесприютный бедняк посмотрит в щель высокого забора на собачий обед, разносимый прислугой в дымящихся корытах, и скажет!

– Ишь ты, житье-то, лучше человеческого!
Лучше человеческого!

Спирька

Это был двадцатилетний малый, высокого роста, без малейшего признака усов и бороды на скуластом, широком лице. Серые маленькие глаза его бегали из стороны в сторону, как у «вора на ярмарке».

В них и во всем лице было что-то напоминающее блудливого кота. Одевался Спирька во что бог пошлет. В первый раз – это было летом – я встретил его бегущего по Тверской с какими-то покупками в руке и папироской в зубах, которой он затягивался немилосердно. На нем была рваная, вылинявшая зеленая ситцевая рубаха и короткие, порыжелые, плисовые, необыкновенной ширины шаровары, достигавшие до колен; далее следовали голые ноги, а на них шлепавшие огромные резиновые калоши, связанные веревочкой. Шапки на голове у Спирьки не было. У меблированных комнат, где служил Спирька самоварщиком, его остановил швейцар:

– Спирька! Как тебе не стыдно так ходить? Ведь гостиницу срамишь!

– Что это? Чем-с?! Украл, что ли, я что? – от-

вечал тот, затягиваясь дымом.

– Кто говорит, украл! А ходишь-то в чем...
Стыдно!

– Чего стыдно! Всяк знает, что я при месте нахожусь! Вот коли бы без места ходил этак, стыдно бы было, вот что! – И еще раз пыхнув папироской, Спирька в два прыжка очутился на верху лестницы.

Я жил в тех же номерах.

– Что это, у нас служит? – спросил я швейцара.

– У нас, Владимир Алексеич, самоварщиком; самый что ни на есть забулдыжный человек и пьяница распрегорчайший, пропащий!

– Зачем же держать такого?

– Сами изволите знать, хозяин-то какой аспид у нас – все на выгоды норовит, а Спирька-то ему в аккурат под кадрель пришелся – задарма живет. Ну и оба рады. Хозяин – что Спирька денег не берет, а Спирька – что он при месте! А то куда его такого возьмут, оголтелого. И честный хоть он и работающий, да насчет пьянства – слаб, одежонки нет, ну и мается.

Я жил в одном номере с товарищем Григорьевым. Придя домой, я рассказал ему о Спирьке.

– Да, я его видал. Любопытный человек, он меня заинтересовал давно; способный, честный, но пьяница.

Этим разговор о Спирьке и кончился. Потом я его несколько раз встречал в коридоре и на улице.

Как-то пришлось мне уехать на несколько дней из Москвы. Когда я возвратился, мой товарищ сказал мне:

– А у нас, Володя, семейства прибавилось.

– Что такое?

– Спирьку я к себе в лакеи взял.

– Ну?! – удивился я.

– Да, верно; третьего дня его хозяин прогнал, идти человеку некуда, ну я его и взял. Славный малый, исполнительный, честный.

В это время дверь отворилась, и с покупками в руках явился Спирька. Положив покупки и сдачу с десятирублевой ассигнации, он поздоровался со мной.

– Здравствуйте, барин, – рикамендуюсь вам, что мы теперь у вас в услужении будем.

– Рад за тебя, служи.

– Нет, вы, барин, на меня поглядите-сь, каким я теперь – хоть сейчас под венец, – обратился ко мне Спирька, охорашиваясь и поправляя полы спереди узкого, короткого сюртука.

– Барин подарил-с, – сказал он. Действительно, Спирьку нельзя было узнать. На нем была поношенная, но чистенькая триковая пара и порядочные, вычищенные до блеска сапоги. Он был умыт, причесан, и лицо его сияло.

– Эх, то есть вот как теперь меня облагодетельствовали, что всю жизнь свою не забуду, по гроб слугой буду, то есть хоть в воду головой за вас... Ведь я сроду таким господином не был. Вот родители-то полюбовались бы...

– Ну и покажись им, – сказал я.

– Это родителям-то-с? Да у меня их никогда и не бывало; я ведь из шпитонцев взят прямо.

– Как не бывало?

– Мы шпитонцы; из ошпитательного дома... бог его знает, кто у меня родитель – може, граф, може, князь, а може, и наш брат Исакый!

– Ну, последнее вернее, – сказал мой товарищ, глядя на лицо Спирьки.

Стал у нас Спирька служить. Жалованье ему положили пять рублей в месяц.

Два месяца Спирька живет – не пьет ни капли. Белье кой-какое себе завел, сундук купил, в сундук зеркальце положил, щетки сапожные... С виду приличен стал, исполнитель и предупредителен до мелочей. Утром – все убрано в комнате, булки принесены, стол накрыт, самовар готов; сапоги, вычищенные «под спиртовой лак», по его выражению, стоят у кроватей, на платье ни пылинки.

Разбудит нас, подаст умыться и во все время чаю стоит у притолоки, сияющий, веселый.

– Ну что, Спиридон, как дела? – спросишь его.

– Слава тебе господи, с бродяжного положения на барские права перешел! – ответит он, оглядывая свой костюм.

– А выпить хочется тебе?

– Нет, барин, шабаш! Было попито, больше не буду, вот тебе бог, не буду! Все эти прежние художества побоку... Зарок дал – к водке и не

подходить: будет, помучился век-то свой! Будет в помойной яме курам да собакам чай собирать!

– Так не будешь?

– Вот-те крест, не буду.

Спустя около месяца после этого разговора Спирька является к моему сотоварищу и говорит ему:

– Петр Григорьич, дайте мне четыре рубля, жисть решается!

– Как так?

– Невесту на четыре рубля сосватал! С приданым, и все у нее как следно быть, в настоящем виде.

– Что ты?

– Будь сейчас четыре рубля, и жена готова!

– На что же четыре рубля?

– Свахе угощение, и ей тоже надо. Сделайте милость, будьте, барин, отец родной, составьте полное удовольствие, чтобы жениться – остепениться!

Ему дали четыре рубля. Это было в три часа дня, Спиридон разоделся в чистую сорочку, в голубой галстук, наваксил сапоги и отправился.

На другой день Спирька не являлся. Вечером, когда я вместе с Григорьевым возвратился домой после спектакля, Спирька спал на диване в своих широчайших шароварах и зеленой рубашке. Под глазом виднелся громадный фонарь, лицо было исцарапано, опухло. Следы страшной оргии были ясно видны на нем.

– Вот так женился! – сказал Григорьев, рассматривая лежавшего.

– Да, с приданным жёну взял!

Спирька, услышав разговор, поднял голову, быстро опомнился, вскочил и пошел в переднюю, не сказав ни слова.

– Спиридон! – громко окликнул его Григорьев, едва сдерживаясь от смеха.

– Чего изволите? – прохрипел тот в ответ, останавливаясь у двери и жмурясь.

– Что с тобой? А?

– Загуляли, барин! – Спирька махнул энергично правой рукой.

– А свадьба когда?

– Не будет! – пресерьезно ответил он и скрылся за дверями.

Григорьев решил его еще раз одеть и не

прогонять.

– Авось исправится, человеком будет! – рассуждал он.

Однако слова его не оправдались. Запил Спирька горькую. Денег нет – ходит печальный, грустный, тоскует, – смотреть жаль. Дашь ему пятак – выпьет, повеселеет, а потом опять. Видеть водки хладнокровно не мог. Платье дашь – пропьет.

Наконец, Григорьев прогнал его. После, глубокой осенью, в дождь и холод, я опять встретил его, пьяного, в неизменных шароварах, зеленой рубашке и резиновых калошах. Он шел в кабак, пошатывался и что-то распевал веселое...

В глухую

«При очистке Неглинного канала находили кости, похожие на человеческие».
Газетная заметка.

Полночь – ужасный час.
В это время все любящие теплый свет яркого солнца мирно спят.

Поклонники ночи и обитатели глухих дебрей проснулись.

Последние живут на счет первых.

Из мокрой слизистой норы выползла противная, бородавчатая, цвета мрака, жаба... Заныряла в воздухе летучая мышь, заухал на весь лес филин, только что сожравший маленькую птичку, дремавшую около гнезда в ожидании рассвета; филину вторит сова, рыдающая больным ребенком. Тихо и жалобно завыл голодный волк, ему откликнулись его товарищи, и начался дикий, лесной концерт – ария полунощников.

Страшное время – полночь в дебрях леса.

Несравненно ужаснее и отвратительнее полночь в трущобах большого города, в тру-

щобах блестящей, многолюдной столицы. И чем богаче, обширнее столица, тем ужаснее трущобы...

И здесь, как в делях леса, есть свои хищники, свои совы, свои волки, свои филины и летучие мыши...

И здесь они, как их лесные собратья, подстерегают добычу и подло, потихоньку, наверняка пользуются ночным мраком и беззащитностью жертв.

Все обитатели трущобы могли бы быть честными, хорошими людьми, если бы сотни обстоятельств, начиная с неумелого воспитания и кончая случайностями и некоторыми условиями общественной жизни, не вогнали их в трущобу.

Часто одни и те же причины ведут к трущобной жизни и к самоубийству. Человек загоняется в трущобы, потому что он не уживается с условиями жизни. Прелести трущобы, увлекающие широкую необузданную натуру, — это воля, независимость, равноправность. Там — то преступление, то нужда и голод связывают между собой сильного со слабым и взаимно уравнивают их. А все-таки

трущоба – место не излюбленное, но неизбежное.

Притон трущобного люда, потерявшего обличье человеческое, – в заброшенных подвалах, в развалинах, подземельях.

Здесь крайняя степень падения, падения безвозвратного.

Люди эти, как и лесные хищники, боятся света, не показываются днем, а выползают ночью из нор своих. Полночь – их время. В полночь они заботятся о будущей ночи, в полночь они устраивают свои ужасные оргии и топят в них воспоминания о своей прежней, лучшей жизни.

* * *

Одна такая оргия была в самом разгаре.

Из-под сводов глубокого подвала доносились на свежий воздух неясные звуки дикого концерта.

Окна, поднявшиеся на сажень от земляного пола, были завешаны мокрыми, полинявшими тряпками, прилипшими к глубокой амбразуре сырой стены. Свет от окон почти не проникал на глухую улицу, куда заносило по ночам только загулявших мастеровых, про-

пивающих последнее платье...

Это одна из тех трущоб, которые открываются на имя женщин, переставших быть женщинами, и служат лишь притонами для воров, которым не позволили бы иметь свою квартиру. Сюда заманиваются под разными предложениями пьяные и обираются дочиста.

Около входа в подвал стояла в тени темная фигура и зазывала прохожих.

В эту ночь по трущобам глухой Безыменки ходил весь вечер щегольски одетый искатель приключений, всюду пил пиво, беседовал с обитателями и, выходя на улицу, что-то заносил в книжку при свете, падавшем из окон, или около фонарей.

Он уже обошел все трущобы и остановился около входа в подземелье. Его окликнул хриплый голос на чистом французском языке:

– Monsieur, venez chez nous pour un moment.[13]

– Что такое? – удивился прохожий.

– Зайдите, monsieur, к нам, у нас весело.

– Зачем я зайду?

– Теперь, monsieur, трактиры заперты, а у нас пиво и водка есть, у нас интересно для

вас, найдите!

От стены отделилась высокая фигура и за рукав потащила его вниз.

Тот не сопротивлялся и шел, опустив руку в карман короткого пальто и крепко стиснув стальной, с острыми шипами, кастет.

– Entrez![14] – раздалось у него над самым ухом.

Дверь отворилась. Перед вошедшим блеснул красноватый свет густого пара, и его оглушил хаос звуков. Еще шаг, и глазам гостя представилась яркая картина истинной трупщобы. В громадном подвале, с мокрыми, почерневшими, сажеными сводами стояли три стола, окруженные неясными силуэтами. На стене, близ входа, на жестяной полочке дымился ночник, над которым черным столбиком тянулся дым, и столбик этот, воронкой расходясь под сводом, сливался незаметно с черным закоптевшим потолком. На двух столах стояли лампочки, водочная посуда, остатки закусок. На одном из них шла ожесточенная игра в банк. Метал плотный русак, с окладистой, степенной рыжей бородой, в поддевке. Засученные рукава открывали громадные

кулаки, в которых почти скрывалась засаленная колода. Кругом стояли оборванные, бледные, с пылающими взорами понтеры.

– Транспа-арт с кушем! – слышалось между играющими.

– Семитка око...

– Имею... На-пере-пе...

– Угол от гривны!

За столом, где не было лампы, а стояла пустая бутылка и валялась обсосанная голова селедки, сидел небритый субъект в форменной фуражке, обнявшись с пьяной бабой, которая выводила фальцетом:

*И чай пи-ла, я, бб-буллки-и ела,
Паз-за-была и с кем си-идела.*

За столом средним шел оживленный спор. Мальчик лет тринадцати, в лаковых сапогах и «спинчжаке», в новом картузе на затылке, колотил дном водочного стакана по столу и доказывал что-то оборванному еврею:

– Слушай, а ты...

– И што слушай? Что слушай? Работали вместе, и халтура пополам.

– Оно и пополам; ты затыривал – я по шир-

мохе, тебе двадцать плиток, а мне соловей.

– Соловей-то полета ходить небось.

– Провалиться, за четвертную ушел...

– Заливаешь!

– Пра слово... Чтоб сгореть!

– Где ж они?

– Прожил; коньки вот купил, чепчик. Ни
финажки в кармане... Глянь-ка, Оська, какой
стриук заполз!

Оська оглянулся на вошедшего.

– Не лягаш ли?

– Не-е... просто стрюк шатаный.[15] Да вот
узнаем... Па-алковница, что кредитного[16],
что ли, привела?

Стоявшая рядом с вошедшим женщина
обернула к говорившему свое густо наштукату-
туренное лицо, подмигнула большими, чер-
ными, ввалившимися глазами и крикнула:

– Барин пива хочет! Monsieur, садитесь!

Тот, не вынимая правой руки и не снимая
низкой, студенческой шляпы, подошел к сто-
лу и сел рядом с Иоськой.

Игравшие в карты на минуту остано-
вились, осмотрели молча – с ног до головы – во-
шедшего и снова стали продолжать игру.

– Что ж, барин, ставь пива, угости полковницу, – заговорил мальчишка.

– А почему пиво?

– Да уж расшибись на рупь-целковый, всех угощай... Вон и барон опохмелиться хочет, – указал Иоська на субъекта в форменной фуражке.

Тот вскочил, лихо подлетел к гостю, сделал под козырек и скороговоркой выпалил:

– Барон Дорфгаузен, Оттон Карлович... Прошу любить и жаловать, рад познакомиться!..

– Вы барон?

– Ma parole...[17]

Барон и коллежский регистратор... В Лифляндии родился, за границей обучался, в Москве с кругу спился и вдребезги проигрался...

– Проигрались?

– Вчистую! От жилетки рукава проиграл! – сострил Иоська.

Барон окинул его презрительным взглядом.

– Ma parole! Вот этому рыжему последнее пальто спустил... Одолжите, mon cher, двугривенный на реванш... Ma parole, до первой

встречи...

– Извольте...

Барон схватил двугривенный, и через минуту уже слышался около банкомета его звонкий голос:

– Куш под картой... Имею-с... Имею... Полкуша напé, очки вперед...

– Верно, сударь, настоящий барон... А теперь свидетельства на бедность – викторки строчит... Как печати делает! – пояснял Иоська гостю... – И такця недорога. Сичас, ежели плакат – полтора рубля, вечность – три.

– Вечность?

– Да, дворянский паспорт или указ об отставке... С орденами – четыре... У него на все такця...

– Удивительно... Барон... Полковница...

– И настоящая полковница... В паспорте так. Да вот она сама расскажет...

И полковница начала рассказывать, как ее выдали прямо с институтской скамьи за какого-то гарнизонного полковника, как она убежала за границу с молодым помещиком, как тот ее бросил, как она запила с горя и, спускаясь все ниже и ниже, дошла до трущобы...

– И что же, ведь здесь очень гадко? – спросил участливо гость.

– Гадко!.. Здесь я вольная, здесь я сама себе хозяйка... Никто меня не смеет стеснять... да-с!

– Ну, ты, будет растабарывать, неси пива! – крикнул на нее Иоська.

– Несу, оголтелый, что орешь! – И полковница исчезла.

– Malheur![18] Не везет... А? Каково... Нет, вы послушайте. Ставлю на шестерку куш – да-на. На-пé – имею. Полкуша на-пé, очки вперед – пятерку – взял... Отгибаюсь – уменьшаю куш – бита. Иду тем же кушем, бита. Ставлю на смарку – бита... Три – и подряд! Вот не везет!..

– Проиграли, значит?

– Вдребезги... Только бы последнюю дали – и я Крез. Талию изучил, и вдруг бита... Одолжите... до первой встречи еще тот же куш...

– С удовольствием, желаю отыграться.

– All right![19] Это по-барски... Mille merci. До первой встречи.

А полковница налила три стакана пива и один, фарфоровый, поднесла гостю.

– Votre santé, monsieur![20]

Другой стакан взял барон, оторвавшийся на минуту от карт, и, подняв его над головой, молодецки провозгласил:

– За здоровье всех присутствующих... Урра!.. Разбуженная баба за пустым столом широко раскрыла глаза, прислонилась к стене и затынула:

*И чай пила я с сухарями,
Воротилась с фонарями...*

Полковница вновь налила стакан из свежей бутылки. Около банкмета завязался спор.

– Нет, вы па-азвольте... сочтите абцуги... девятка налево, – горячился барон.

– Ну, ну, не шабарши с гривенником... говорят, бита...

– Сочтите абцуги... Вот видите, налево... Гривенник имею... Иду углом... Сколько в банке?

– В банке? Два рубли еще в банке... Рви... Бита... Гони сюда.

А с гостем случилось нечто. Он все смотрел на игру, а потом опустил голову, пробормотал

несколько несвязных слов и грохнулся со стула.

– Семка, будет канителиться-то, готов! – крикнул банкомету мальчишка.

– Вижу!..

Банкомет сгреб деньги в широкий карман поддевки и, заявив, что банк закрыт, порастолкал игроков и подошел к лежавшему.

Полковница светила.

Мальчишка и банкомет в один момент обшарили карманы, и на столе появилась записная книжка с пачкой кредиток, часы, кошелек с мелочью и кастет.

– Эге, барин-то с припасом, – указал Иоська на кастет.

Барон взял книжку и начал ее рассматривать.

– Ну что там написано? – спросил банкомет.

– Фамилии какие-то... Счет в редакцию «Современных известий»... постой и... Вот на счет какой-то трущобы... Так, чушь!..

– Снимайте с него коньки-то!

– Да оставьте, господа, простудится человек, будет, нажили ведь! – вдруг заговорила

полковница.

– Черт с ним, еще из пустяков сгоришь...
Бери на вынос! – скомандовал банкомет.

Иоська взял лежавшего за голову и вдруг в испуге отскочил. Потом он быстро подошел и пощупал его за руку, за шею и за лоб.

– А ведь не ладно... Кажись, вглухую!

– Полно врать-то!

– Верно, Сема, гляди.

Банкомет засучил рукав и потрогал гостя...

– И вправду... Вот беда!

– Неловко...

– Ты что ему, целый порошок всыпала? – спросил русак полковницу.

– Не нашла порошков. Я в стакан от коробки из розовой отсыпала половину...

– Половину... Эх, проклятая! Да ведь с этого слон сдохнет!.. Убью!

Он замахнулся кулаком на отскочившую полковницу.

*Ул-лажила яво спать
На тесовую кровать! —*

еле слышно, уткнувшись носом в стол, тянула баба. К банкомету подошел мальчик и

что-то прошептал ему на ухо.

– Дело... беги! – ответил тот. – Иоська, берись-ка за голову, вынесем на улицу, отлежится к утру! – проговорил Семка и поднял лежавшего за ноги. Они оба понесли его на улицу.

– Не смей никто выходить до меня! – командовал банкомет.

Все притихли.

На улице лил ливнем дождь. Семка и Иоська ухватили гостя под руки и потащили его к Цветному бульвару. Никому не было до этого дела.

А там, около черного отверстия, куда водопадом стремилась уличная вода, стоял мальчишка-карманник и поддерживал железную решетку, закрывающую отверстие.

На край отверстия поставили принесенного и опустили его. Раздался плеск, затем грохнула железная решетка, и все стихло.

– И концы в воду! – заметил Иоська.

– Сгниет – не найдут, илом занесет али в реку унесет, – добавил карманник.

«Каторга»

Не всякий поверит, что в центре столицы, рядом с блестящей роскошью миллионных домов, есть такие трущобы, от одного воздуха и обстановки которых люди, посещавшие их, падали в обморок.

Одну из подобных трущоб Москвы я часто посещал в продолжение последних шести лет.

Это – трактир на Хитровом рынке, известный под названием «Каторга».

Трущобный люд, населяющий Хитров рынок, метко окрестил трактиры на рынке. Один из них назван «Пересыльный», как намек на пересыльную тюрьму, другой «Сибирь», третий «Каторга», «Пересыльный» почище, и публика в нем поприличнее, «Сибирь» грязнее и посещается нищими и мелкими воришками, а «Каторга» нечто еще более ужасное.

Самый Хитров рынок с его ночлежными домами служит притоном всевозможных воров, зачастую бежавших из Сибири.

Полицейские протоколы за много лет мо-

гут подтвердить, что большинство беглых из Сибири в Москве арестовываются именно на Хитровом рынке.

Арестант бежит из Сибири с одной целью – чтобы увидеть родину. Но родины у него нет. Он отверженец общества. Все отступились от него, кроме таких же, как он, обитателей трущоб, которые посмотрят на него, «варнака Сибирского, генерала Забугрянского», как на героя.

Они, отверженцы, – его родные, Хитров рынок для него родина.

При прощаньях арестантов в пересыльной тюрьме, отправляющихся в Сибирь в каторжные работы без срока, оставшиеся здесь говорят:

– Прощай, бог даст увидимся в «Каторге».

– Постараемся! – отвечают сибиряки, и перед глазами их рисуется Хитров рынок и трактир «Каторга».

И в Сибири при встрече с беглыми арестанты-москвичи повторяют то же заветное слово...

Был сырой, осенний вечер, когда я в последний раз отворил низкую грязную дверь

«Каторги»; мне навстречу пахнул столб белого пара, смеси махорки, сивухи и прелой тряпки.

Гомон стоял невообразимый. Неясные фигуры, брань, лихие песни, звуки гармоники и кларнета, бурление пьяных, стук стеклянной посуды, крики о помощи... Все это смешивалось в общий хаос, каждый звук раздавался сам по себе, и ни на одном из них нельзя было остановить своего внимания...

С чем бы сравнить эту картину?!

Нет! Видимое мной не похоже на жилище людей, шумно празднующих какое-нибудь торжество... Нет, это не то... Не похоже оно и на берлогу диких зверей, отчаянно дерущихся между собой за кровавую добычу... Опять не то...

Может быть, читатели, вы слышали от старых нянек сказку о Лысой горе, куда слетаются ведьмы, оборотни, нетопыри, совы, упыри, черти всех возрастов и состояний справлять адский карнавал? Что-то напоминающее этот сказочный карнавал я и увидел здесь.

На полу лежал босой старик с раскровавленным лицом. Он лежал на спине и судо-

рожно подергивался... Изо рта шла кровавая пена...

А как раз над его головой, откинувшись на спинку самодельного стула, под звуки кларнета и гармоники отставной солдат в опорках ревет дикую песню;

Ка-да я был слабодна-ай мальчик...

Половой с бутылкой водки и двумя стаканами перешагнул через лежавшего и побегал дальше...

Я прошел в середину залы и сел у единственного пустого столика.

Все те же типы, те же лица, что и прежде...

Те же бутылки водки с единственной закуской – огурцом и черным хлебом, те же лица, пьяные, зверские, забитые, молодые и старые, те же хриплые голоса, тот же визг избиваемых баб (по-здешнему «теток»), сидящих частью в одиночку, частью гурьбой в заднем углу «залы», с своими «котами».

Эти «бабы» – завсегдатаи, единственные посетители трактира, платящие за право входа буфетчику.

Судьба их всех одинакова, и будущее каждой из них не разнится: или смерть в больнице и под забором, или при счастливом исходе – торговля гнилыми яблоками и селедками здесь же на рынке... Прошлое почти одинаковое: пришла на Хитров рынок наниматься; у нее нарочно, чтобы закабалить ее, «кот» украл паспорт, затем, разыгрывая из себя благодетеля, выручил ее, водворив на ночлег в ночлежный дом – место, где можно переночевать, не имея паспорта. (Это, конечно, не устраивается без предварительного соглашения с хозяином ночлежного дома.) «Кот», наконец, сделался ее любовником и пустил в «оборот», то есть ввел в «Каторгу» и начал продавать ее пьяным посетителям... Прошло три – шесть месяцев, и свеженькая, совсем юная девушка превратилась в потерявшую облик человеческий «каторжную тетку».

Лет пять тому назад я встретился в «Каторге» с настоящей княжной, известной Москве по скандальному процессу и умершей в 1885 году в больнице... Покойная некоторое время была завсегдаем «Каторги»...

«Коты» здесь составляют, если можно так

выразиться, отдельную касту, пользуются благоволением половых и буфетчиков, живут на вырученные их любовницами деньги и кражей кошельков и платья у пьяных посетителей, давая долю из краденого половым...

Вот, посреди комнаты, за столом, в объятиях пожилого плечистого брюнета с коротко стриженными волосами лежит пьяная девочка, лет тринадцати, с детским лицом, с опухшими красными глазами, и что-то старается выговорить, но не может... Из маленького, хорошенького ротика вылетают бессвязные звуки. Рядом с ними сидит щеголь в русской поддевке – «кот», продающий свою «кредитную» плечистому брюнету...

– Говорят тебе, зеленые ноги, у нас много слободней, потому свои...

– Зеленые... зеленые... будет звонить-то, черт-шалава!..

– Нечто не знают тебя... звонить!.. Ты бы лучше...

*Здравствуй, милая, хорошая моя,
Чирнобровая, порря-дач-ная... —*

грянули песенники и покрыли разговор.

Передо мной явился новый субъект, в опорках, одетый в черную от грязи, подпоясанную веревкой женскую рубашу с короткими рукавами, из-под которых высовывались страшно мускулистые, тяжелые руки; одну, без пальцев, отрубленных или отмороженных, он протянул мне.

– Salve, amice! – прогремел надо мной густой бас.

– Здравствуй, Лавров, – ответил я.

– С похмелья я, барин; сделай милость, опохмели, многую лету спою.

И не успел я ответить, как Лавров гаркнул так, что зазвенели окна: «Многая лета, многая!..», и своим хриплым, но необычайно сильным басом покрыл весь гомон «Каторги». До сих пор меня не замечали, но теперь я сделался предметом всеобщего внимания. Мой кожаный пиджак, с надетой навывпуск золотой цепью, незаметный при общем гомоне и суете, теперь обратил внимание всех. Плечистый брюнет как-то вздрогнул, пошептался с «котом» и бросил на стол рубль; оба вышли, ведя под руки пьяную девушку...

– Лета многая, лета, водки ставь! – кончил

Лавров, не обращая ни на что внимания.

Я спросил полбутылки... Не успели еще нам подать водки, как бородатый мужик, песенник, отвел от меня Лаврова и, пошептавшись с ним, отошел к песенникам...

Снова загремела песня, завизжала гармоника и завыл кларнет... Замешательство, вызванное восклицанием Лаврова, обратившим внимание на меня, скоро исчезло.

– Спрашивал меня, не сыщик ли ты, испугались, вишь!.. – объяснил мне Лавров, проглатывая стакан водки...

Лаврова я знаю давно. Он сын священника, семинарист, совершенно спившийся с кругу и ставший безвозвратным завсегдатаем «Каторги» и ночлежных притонов. За все посещения мною в продолжение многих лет «Каторги» я никогда не видал Лаврова трезвым... Это – здоровенный двадцатипятилетний малый, с громадной, всклокоченной головой, вечно бо-сой, с совершенно одичавшим, животным лицом. Кроме водки, он ничего не признает, и только страшно сильная натура выносит такую беспросыпную, голодную жизнь...

К нашему столу подошла одна из «теток»,

баба лет тридцати, и, назвав меня «кавалером», попросила угостить «папиросочкой». Вскоре за ней подсел и мужик, справлявшийся у Лаврова обо мне и успокоившийся окончательно, когда после Лаврова один из половых, знавших меня, объяснил ему, что я не сыщик.

– Уж извините, очень приятно быть знакомыми-с, а мы было в вас ошиблись, думали, «легаш», – протянул он мне руку, без приглашения садясь за стол.

– Водочки дозвольте, а мы вам песенку сыграем. Вы у нас и так гостя спугнули, – указывая на место, где сидел плечистый брюнет, сказал песенник.

Я дал два двугривенных, и песенники грянули «Капказскую».

В дверях главной залы появился новый субъект, красивый, щегольски одетый мужчина средних лет, с ловко расчесанной на обе стороны бородкой. На руках его горели дорогие бриллиантовые перстни, а из-под темной визитки сбегала по жилету толстая, изящная золотая цепь, увешанная брелоками.

То был хозяин заведения, теперь почетный

гражданин и кавалер, казначей одного благотворительного общества, а ранее – буфетчик в трактире на том же Хитровом рынке теперь умершего Марка Афанасьева.

Хозяин самодовольно взглянул на плоды рук своих, на гудевшую пьяную ватагу, мановением руки приказал убрать все еще лежавшего и хрипевшего старика и сел за «хозяйский» стол у буфета за чай...

«Каторга» не обратила никакого внимания на хозяина и гудела по-прежнему...

В углу барышник снимал сапоги с загулявшего мастерового, окруженного «тетками», и торговался, тщательно осматривая голенища и стараясь отодрать подошву.

– Три рубля, хошь умри! – топая босой ногой по грязному полу, упирался мастеровой.

– Шесть гривен хошь, – получай! – в десятый раз повторяли оба, и каждый раз барышник тыкал в лицо сапогами мастеровому, показывая, будто «подметки-то отопрели, оголтелый черт! Три рубли, пра, черт!»

– Отперли! Сам ты, рыжая швабра, отопрел! Нет, ты кажи, где отопрели? Это дом, а не сапоги, дом...

– Карраул, убили! – заглушили слова торгующихся дикие крики во весь пласт рухнувшей на грязный пол «тетки», которую кулаком хватил по лицу за какое-то слово неупад ее возлюбленный.

– Это за любовь-то мою, окаянный... за любовь-то мо...

– Караул, убили! – еще громче завопила она, получив новый удар сапогом по лицу, на этот раз от мальчишки-полового.

– Знай наших, не умирай скорча! – кто-то с хохотом сострил по поводу плюхи...

Я расплатился и пошел к выходу.

Несколько лет тому назад здесь при мне так же поступили с княжной. Я вступился за нее, но, выручая ее, сам едва остался цел только благодаря тому, что княжну били у самого выхода да со мной был кастет и силач товарищ, с которым мы отделались от дравшихся на площади, где завсегдатаи «Каторги» боялись очень шуметь, не желая привлечь постороннюю публику, а пожалуй, и городского.

Я вышел на площадь. Красными точками сквозь туман мерцали фонари двух-трех за-

поздавших торговок съестными припасами. В нескольких шагах от двери валялся в грязи человек, тот самый, которого «убрали» по мановению хозяйской руки с пола трактира... Тихо было на площади, только сквозь кой-где разбитые окна «Каторги» глухо слышался гомон, покрывавшийся то октавой Лаврова, оравшего «многую лету», то визгом пьяных «теток»:

*Пьем и водку, пьем и ром,
Завтра по миру пойдём...*

В царстве гномов (Из записок репортера)

I

В туннеле артезианского колодца

Мой проводник зажег свечу. Перед нами зияло черное отверстие подземной штольни, обложенное досками. Над ним спускался канат с крючком. Кругом весь пол был усыпан влажными осколками и грязью, вытащенной из земли. У самого края ямы стоял на рельсах пустой вагончик, облепленный той же грязью. Слева ямы спускалась

деревянная, коленчатая лестница с перилами и мало-помалу уходила в мрак подземелья. С каждым шагом вниз пламя свечи становилось все ярче и ярче и вырисовывало на бревенчатой стене силуэты. Дневной свет не без борьбы уступал свое место слабому пламени свечи. Через минуту кругом стало темно, как в заколоченном гробу.

С каждым шагом, с каждой ступенькой вниз меня обдавало все более и более холодной, до кости пронизывающей сыростью. А тихо было, как в могиле. Только ручей под ногами шумел, да вторили ему десятки ручейков, выбивавшихся из каменной стены. Передо мною был низкий и, казалось, бесконечный темный коридор. Я взглянул вверх. Над головой виднелось узенькое окошечко синеватого дневного света – это было отверстие шахты, через которое мы спустились. Узкая лестница уходила вверх какими-то странно освещенными зигзагами и серебрилась на самом верхнем колене.

Через секунду открылось четырехугольное отверстие горизонтального прохода, проложенного динамитом. Это – штольня. Вход на-

поминал мрачное отверстие египетской пирамиды с резко очерченными прямолинейными контурами: впереди был мрак, подземный мрак, свойственный пещерам. Самое черное сукно все-таки носит на себе следы дневного света. А здесь было в полном смысле отсутствие луча, полнейший нуль солнечного света.

Мерцавшая и почти ежеминутно тухнувшая в руках у меня свечка слабо озаряла сырые, каменные с деревянными рамами стены, с которых капала мелкими струйками вода. Вдруг что-то загремело впереди, и в темной дали обрисовалась черная масса, двигавшаяся навстречу. Это был вагончик. Он с грохотом прокатился мимо нас и замолк. Опять та же мертвая тишь. Стало жутко.

Бревенчатые стены штольни и потолок стали теряться, контуры стусеивались, и мы оказались снова в темноте. Мне показалось, что свеча моего проводника потухла, — но я ошибался. Он обернулся ко мне, и я увидел крохотное пламя, лениво обвивавшее фитиль. Справа и слева на пространстве немногим более двух протянутых рук частым палиса-

дом стояли бревна, подпиравшие верхние балки потолка. Между ними сквозили острые камни стенки туннеля. Они были покрыты какой-то липкой слизью.

Под ногами журчала вода.

– Вот градусник. Показывает всегда семь градусов, зимой и летом. Еще зимой теплее бывает... Босяки раза два приходили, ночевать просились, зимою-то... А ведь нынче у нас июль...

Вдруг свечка погасла.

Впереди, верстах как будто в двух, горела какая-то тусклая, красно-желтая звезда, но горела без лучей, резко очерченным овалом. Через десять шагов мы уже были около нее; двухверстное расстояние оказалось оптическим обманом. Это была масляная лампочка.

Мы миновали лампу. Вдали передо мной опять такой же точкой заалелся огонек. Это была другая лампа. Начали слышаться впереди нас глухие удары, которые вдруг сменились страшным, раздавшимся над головой грохотом, будто каменный свод готов был рухнуть: это над нами по мостовой проехала пролетка.

Дышать было нечем. Воздуха было мало. Я знал, что его качают особенным аппаратом (Рутта) на мостовой Николо-Воробинского переулка, но не ведал, много ли еще идти вперед для того, чтобы дойти до устья благодетельной трубы.

Вдали, откуда-то из преисподней, слышались неясные глухие голоса. Они звучали так, как будто люди говорили, плотно зажавши рот руками. Среди нас отдавалось эхо этих голосов. На душе стало как-то веселее. Почувствовалось, что мы не одни в этом подземелье, что есть еще живые существа, еще люди. Раздавались мерные, глухие удары.

Блеснули еще две звездочки, но еще тусклее. Значит, впереди еще меньше кислорода, дышать будет еще труднее. Наконец, как в тумане, показалась желтая стена, около которой стояли и копошились темные человеческие фигуры.

Это были рабочие.

Почва под ногами менялась, то выступала из воды, то снова погружалась в нее. Местами бревна расступались и открывали зиявшее отверстие – лагунку, в которую прята-

лись рабочие при взрыве динамитом твердой породы. Это западня.

Не успел я заглянуть в нее, как до меня до-неслось:

– Ставь патроны. Эй, кто там, ступай в западню, сейчас подпалим...

– Вот сюда, – торопливо толкнул меня в западню мой проводник.

Рабочие зажгли фитили и побежали к западне, тяжело хлопая по воде. Мы все плотно прижались к стене, а один стал закрывать отверстие деревянной ставней. До нас доносился сухой треск горящих фитилей.

Я из любопытства немного отодвинул ставню и просунул голову, но рабочий быстро отодвинул меня назад.

– Куда суешься – убьет! Во какие сахара полетят.

Не успел он вымолвить, как раздался страшный треск, за ним другой, потом третий, затем оглушительный грохот каких-то сталкивавшихся масс, – и мимо нас пролетела целая груда осколков и глыб.

Динамит сделал свое дело.

Сильным ударом камня вышибло нашу

ставню и отбросило ее на середину туннеля.

Мы вышли из западни. И без того душный воздух был теперь наполнен густыми клубами динамитных паров и пылью. Лампы погасли. Мы очутились в полном мраке. Выйдя из западни, мы ощутили только одно – глубокую, густую темь. Эта темь была так густа, что осенняя ночь в сравнении с ней казалась сумерками. Дышалось тяжело. Ощупью, по колено в воде, стараясь не сбиться с деревянной настилки, мы пошли к камере, Я попробовал зажечь спичку, но она погасла. Пришлось ожидать, пока вентилятор очистит воздух.

Мина была взорвана.

Человеческий гений и труд завоевали еще один шаг...

* * *

Таково было дело в июле.

Теперь, в декабре, подземная галерея представляет совсем иной вид. Работы окончены, и из-под земли широким столбом из железной трубы льется чистая, прозрачная, как кристалл, вода и по желобам стекает в Яuzu. Количество воды не только оправдало, но даже превзошло ожидания: из недр земли еже-

дневно вытекает на божий свет двести шестьдесят тысяч ведер.

Темная галерея утратила свой прежний мрачный вид. Запах динамита и копоти едва заметен. Стены стали менее скользкими и слизистыми, рельсы сняты и заменены ровным, гладким полом, занимающим большую половину штольни. Другая половина занята желобами. Нижний желоб, высеченный в камне, отводит артезианскую и грунтовую воду в реку, а верхний, меньший, с избытком снабжает чистой водой резервуар, помещенный у начала штольни. В резервуар опущен насос, выходящий на поверхность земли и предоставленный в распоряжение публики.

Самое место выхода воды из труб при известном освещении представляет прелестную картину: вода поднимается прозрачным столбом и концентрическим водопадом падает в ящик, выложенный свинцом. Вторая труба артезианского колодца, идущая вверх, служит вентилятором.

Тридцатимесячная работа гномов кончилась и увенчалась полным успехом.

Неведомо для мира копались они под зем-

лей на тринадцатисаженной глубине, редко видя солнечный свет, редко дыша чистым воздухом. Удары их молотков и грохот взрывов не были слышны на земле, и очень немногие знали об их работе.

Пройдут года, вода будет течь обильной струей, но вряд ли кому придет в голову желание узнать, каких трудов и усилий стоило добыть ее из камня...

Ничтожные гномы сделали, однако, свое дело.

1884 г. Москва

II

Полчаса в катакомбах

Неглинка – это арестованная в подземной темнице река, когда-то катившая свои светлые струи среди густых дремучих лесов, а потом среди возникающей столицы в такую же чистую, но более широкую Москву-реку.

Но века шли, столица развивалась все более и более, и вместе с тем все более и более зеленели струи чистой Неглинки, сделавшейся мало-помалу такую же клоакой, какую теперь мы видим сестру Неглинки – Яузу.

Наконец, Неглинка из ключевой речки

сделалась местом отброса всех нечистот столицы и уже заражала окружающий воздух.

За то ее лишили этого воздуха и заключили в темницу. По руслу ее, на протяжении трех верст, от так называемой Самотеки до впадения в Москву-реку, настлали в два ряда деревянный пол, утверченный на глубоко вбитых в дно сваях, и покрыли речку толстым каменным сводом.

С тех пор побежали почерневшие струи Неглинки, смешавшиеся с нечистотами, не видя света божьего, до самой реки.

И она стала мстить столице за свое заточение. Она, когда полили дожди, перестала принимать в себя воду, и обширные озера образовались на улицах, затопляя жилье бедняков – подвалы.

Пришлось принять против упорства Неглинки серьезные меры, и нашлись инженеры, взявшиеся за это дело.

В 1886 году, осенью, было приступлено к работам.

В это время мне вздумалось осмотреть эту реку-заточницу, эти ужасные подземные ка-такомбы.

Тогда только что приступили к работам по постройке канала.

Двое рабочих подняли на улице железную решетку колодца, в который стекают вода и нечистоты с улиц. Образовалось глубокое, четырехугольное, с каменными, покрытыми грязью стенами отверстие, настолько узкое, что с трудом в него можно было опуститься. Туда спустили длинную лестницу. Один из рабочих зажег бензиновую лампочку и, держа ее в одной руке, а другой придерживаясь за лестницу, начал спускаться.

Из отверстия валил зловонный пар. Рабочий спустился. Послышалось внизу глухое падение тяжелого тела в воду и затем голос, как из склепа:

– Что же, лезь, что ли!

Это относилось ко мне. Я подтянул выше мои охотничьи сапоги, застегнул на все пуговицы кожаный пиджак и стал опускаться.

Локти и плечи задевали за стенки трубы. Руками приходилось крепко держаться за грязные ступени отвесно стоящей качающейся лестницы, поддерживаемой, впрочем, сверху рабочим, остававшимся наверху.

С каждым шагом вниз зловоние становилось все сильнее и сильнее. Становилось жутко.

Наконец, послышался подо мной шум воды и хлюпанье.

Я посмотрел наверх. Мне виден был только четырехугольник голубого, яркого неба и улыбающееся лицо рабочего, державшего лестницу.

Холодная, до кости пронизывающая сырость охватила меня. Наконец, я спустился на последнюю ступень и, осторожно опуская ногу, почувствовал, как о носок сапога зашуршала струя воды...

– Опускайся смелей; становись, неглубоко тутотка! – глухо, гробовым голосом сказал мне рабочий.

Я встал на дно, и холодная сырость воды, бившейся о мои колени, проникла сквозь сапоги.

– Лампочка погасла, нет ли спички, я подмочил свои, – опять из глубины тьмы заговорил невидимый голос.

Спичек у меня не оказалось, рабочий вновь полез наверх за ними. Я остался совер-

шенно один в этом дальнем склепе и прошел, по колено в бурлящей воде, шагов десять.

Остановился. Кругом меня был страшный подземный мрак, свойственный могилам. Мрак непроницаемый, полнейшее отсутствие солнечного света. Я повертывал голову во все стороны, но глаз мой ничего не различал. Я задел обо что-то головой, поднял руку и нащупал мокрый, холодный, бородавчатый, покрытый слизью каменный свод – и нервно отдернул руку... Даже страшно стало.

Тихо было, только внизу журчала вода. Каждая секунда ожидания рабочего с огнем мне казалась вечностью. Я еще подвинулся вперед и услышал шум, похожий на гул водопада. Действительно, как раз рядом со мной гудел водопад, рассыпавшийся миллионами грязных брызг, едва освещенных бледно-желтоватым светом из отверстия уличной трубы.

Это оказался сток нечистот и воды с улицы.

За шумом водопада я не слышал, как ко мне подошел рабочий и ткнул меня в спину.

Я обернулся.

В руках его была лампочка в пять рожков,

но эти яркие во всяком другом месте огоньки здесь казались красными звездочками, без лучей, ничего почти не освещавшими, не могшими побороть и фута этого непроницаемого мрака, мрака могилы.

Мы пошли вперед по глубокой воде, обходя по временам водопады стоков с улиц, гудевшие под ногами.

Вдруг страшный грохот, будто от рушащихся зданий, заставил меня вздрогнуть.

– Что это такое? Обрушилось что? – испуганным голосом спросил я.

– Это мы из-под бульвара под мостовую вышли, по площади телега проехала, ну и загремело.

Потом все чаще и чаще над моей головой гремели экипажи, но так гремели и так страшно отдавался этот гром в подземелье, что хотя я и знал безопасность этого грома, но все-таки становилось жутко.

С помощью лампочки я осмотрел стены подземелья, сырые, покрытые густой слизью.

Мы долго шли, местами погружаясь в глубокую тину или невылазную, зловонную, жидкую грязь, местами наклоняясь, так как

заносы грязи были настолько высоки, что невозможно было идти прямо. В одном из таких заносов я наткнулся на что-то мягкое. При свете лампочки мне удалось рассмотреть до половины занесенный илом труп громадного дога. Он лежал сверх стока.

– И люди, полагать надо, здесь упокоены есть, – пояснил мне спутник.

– Люди?! – удивился я.

– Надо полагать; мало ли в Грачевских притонах народа пропадает; поговаривают, что и в Неглинку спускали... Опять воры, ежели полиция ловила, прятались сюда... А долго ли тут и погибнуть... Чуть обрушился, и готов.

Мы продолжали идти, боязливо ощупывая дно ногой, перед тем как сделать шаг.

Впереди нас показалось несколько красноватых, чуть видных звездочек, мерцавших где-то далеко, далеко.

– А далеко еще? С полверсты будет? – спросил я. Да вот и пришли.

Я был поражен. Огонек, казавшийся мне за полверсты, был в пяти шагах от меня. Так непроницаем подземный мрак.

Далее идти было невозможно. Дно канала

занесено чуть не на сажень разными обломками, тиной, вязкой грязью, и далее двигаться приходилось ползком. Притом я так устал дышать зловонием реки, что захотелось поскорее выйти из этой могилы на свет божий.

Я остановился у люка наверх и снова увидел четырехугольник голубого неба. Я пробыл в катакомбах полчаса, но эти полчаса показались мне вечностью. Я выбрался наверх и долго не мог надышаться чистым воздухом, долго не мог смотреть на свет...

Недавно я вновь сделал подземную прогулку и не мог узнать Неглинного канала: теперь это громадный трехверстный коридор, с оштукатуренным потолком и стенами и с выстланным тесаным камнем дном. Всюду можно идти во весь рост и, подняв руку, нельзя достать верхнего свода. От старого остался только тот же непроглядный мрак, зловоние и пронизывающий до костей могильный холод...

Репортажи. Рассказы

Подземные работы в Москве

Как уже известно нашим читателям, в Москве производятся подземные работы по переустройству Неглинного канала. Сильные дожди, не раз затоплявшие водой мостовую Неглинного проезда от Трубной площади до Кузнецкого моста, в особенности страшные ливни в 1861, 1870 и 1883 годах, когда мостовая была заливаема до 2 1/2 аршин, убедили в несостоятельности Неглинного канала как водоотвода, а также и в необходимости или переустройства этого канала, или изобретения каких-либо других средств против затопления мостовой Неглинного проезда и прилегающих к нему местностей.

С этой целью производились городом не раз нивелировки и обмеры бассейна, а также и исследования самого канала, и результат этих работ выяснил, что площадь всего бассейна Неглинного канала равняется в круглых цифрах 1324 десятинам, из которых 1 125

000 квадратных сажен, составляющих загородную часть бассейна и проезда по Камер-Коллежскому валу, совершенно не замощены и с малыми уклонами; 810 000 квадрат. сажен, от проезда по Камер-Коллежскому валу до верхней самотецкой трубы, мало застроены, мало замощены и также с незначительными уклонами, и остальная часть бассейна, от верхней самотецкой трубы до Москвы-реки, в 1242 000 квадратных сажен сплошь замощена и застроена и имеет местами уклоны, доходящие до 0,03. Самый Неглинный канал получил свое название от речки Неглинной, русло которой и есть самый канал. Речка Неглинная начинается за Камер-Коллежским валом, недалеко от Бутырской заставы, имеет на протяжении своего течения до Самотеки несколько прудов. Около трех верст она протекает в собственных берегах по огородам, затем около версты до Самотецкого пруда по замощенной местности, по деревянным лоткам и в каменных трубах и здесь, в Екатерининском парке, в нее впадает ручей Напрудный, берущий свое начало за Марьиной рощей и также имеющий на протяжении сво-

ем несколько прудов. От Самотеки до Москвы-реки Неглинка уже течет по подземному каналу, начало постройки которого относится к концу прошлого столетия.

В 1878 году при очистке Неглинного канала ряд осмотров, произведенных особыми комиссиями, показал, что стены канала находятся большею частью в удовлетворительном виде, за исключением нескольких поперечных трещин. Свод трубы довольно хорошо сохранился, но в нем местами имеются продольные трещины, особенно большие под Театральным проездом и близ сандуновского фонтана, на протяжении 60 сажен. Местами же свод осел и сузил канал. Канал суживается также сетью газовых и водопроводных труб, пересекающих его. Канал имеет на своем протяжении извилины и крутые повороты, особенно частые на пути от Малого театра до театрального бассейна. Здесь канал проходит под зданием Малого театра и д. Чельшева. Стены канала имеют толщину 4 кирпича, а свод – 2 кирпича. Пол состоит из двойного ряда досок, настланных вдоль канала. Стены канала лежат своим основанием на трех рядах

свай, а пол укреплен на поперечных бревнах, врезанных концом в эти сваи. Пол местами сгнил; доски его отрываются течением и загромождают канал. Высота канала до настоящего времени была не одинакова. Местами человек высокого роста мог идти свободно по дну канала, местами же, благодаря заносам, почти невозможно было проползти лежа. Из всех этих данных причины затоплений Трубной площади сводятся к следующему: 1) неправильность уклона дна канала с существованием даже обратных уклонов; 2) недостаточность поперечного сечения; 3) дощатый половой настил, способный делать запруды; 4) скорость гниения этого настила, зависящая от того, что местами, когда нет дождей, настил этот не покрывается водой; 5) невыгодная форма дна и поперечного сечения и отсутствие отстойных колодцев.

Для устранения этих причин могло быть выбрано два средства: или устройство нового канала, или же приспособление существующего ко всему бассейну Неглинной. По составленным сметам устройство нового канала обошлось бы по 375 рублей за погонную са-

жень, а приспособление старого – по 138 рублей за сажень. Следовательно, разница в стоимости равна 237 рублей на сажень. Считая же на все протяжение 1524 сажени, общая экономия равняется 361 000 рублей. Приспособление старого канала заключается в увеличении сечения канала, углублении его дна, с подводом стен снизу, выставке обратного свода на всем протяжении канала из тарусского камня и отштукатурки стен свода. Лучшим временем для этих работ можно считать зиму, когда воды в канале бывает очень мало даже в банные дни. Работы, начавшиеся осенью прошлого года, поручены инженеру Н. М. Левачеву. Все расстояние канала последний разделил на три участка, из которых на каждом для производства работ поставил своих помощников, инженеров. Первый участок, от Самотеки до Кузнецкого моста, поручен Ф. В. Данилову, второй – Н. Г. Шилову и третий – г. Сергалеву. Для удобства работ в каждом из трех участков сделано по 12 отдушин, для чего разобраны свод канала и мостовая на две сажени в длину. Для безопасности движения по улице экипажей и прохожих, а также для

сохранения инструментов и защиты рабочих в непогоду над каждым разобранным местом свода устроены деревянные бараки. Всех их 36. Так как канал, особенно при начале осенних работ, переполнялся зловонной водой, поступающей в него из всех решеток по его протяжению и боковых труб, посредством которых спускаются банная вода и нечистоты из многих домов, то вода была отведена и дно канала осушено. Для отвода воды устроены были на всем протяжении канала деревянные, обшитые железом, с непроницаемым дном, лотки. Лотки эти подвешены на проволоках аршина на 1 1/2 выше дна канала, и посредством насосов, поставленных в каждом из 36 барачков, со дна канала перекачивалась вода и текла по лоткам до самой Москвы-реки. Едва ли не самым трудным для рабочих было устройство лотков. В продолжение с лишком месяца им приходилось работать то по колено, а то и да пояс в зловонной воде, пока были устроены лотки. Каждая сажень лотка ставилась под наблюдением г. Левачева или его помощников, почти не выходивших в это время из канала.

Рабочих постоянно, считая в том числе земляников, плотников, каменщиков и возчиков, работает около 1000 человек в день. Впрочем, количество их меняется, смотря по степени надобности, равно как меняются и часы работы. Надо, впрочем, заметить, что большинство времени переустройства канала работы производились день и ночь и рабочие делились на две смены – дневных и ночных. Во время очистки насосов в канале попадает масса битой посуды, перержавевшие ножи, перегнившие кости, обрывки платья, трупы собак. Встречались и более интересные находки: так, близ Цветного бульвара найдены были очень старинной работы граната и бомба, находились также старые монеты и кости, похожие на человеческие.

Ловля собак в Москве

По обязательным постановлениям городской думы, напечатанным в № 147 «Ведомостей московской городской полиции» за 1886 год, разрешается водить собак по улицам и другим местам, находящимся в общественном пользовании, при условии, чтобы собаки были в ошейниках и на привязи. Собаки же, появляющиеся на улицах, бульварах и других местах, находящихся в общественном пользовании, считаются бродячими и подлежат уничтожению по распоряжению полиции.

Городская дума на этот предмет отпустила московскому обер-полицмейстеру 1000 рублей, и последний предложил содержателю живодерни в деревне Котлах, за Даниловской слободой, Грибанову, принять на себя обязательство ловли и уничтожения бродячих собак, причем Грибанову были предписаны следующие условия: с 21 июля 1886 г. Грибанов будет производить ловлю бродячих собак по улицам, бульварам и в др. местах общественного пользования через нанятых им для этого людей и собственными его сетями и другими

снарядами, не допуская никакой жестокости с собаками. Ловля будет производиться ежедневно от часа ночи до 6 утра, пойманные собаки в сырейное заведение Грибанова в дер[евню] Котлы будут отправляться в клетках и содержаться на его счет трое суток, с тем, что если кто-либо из владельцев собак пожелает получить свою собаку, то должен за каждый день прокорма собаки уплатить по 25 к. с, по истечении же трех суток собаки возвращаемы не будут, а поступают в собственность Грибанова. Грибанов накануне дня ловли уведомляет запиской пристава 2-го уч[астка] Серпуховской части о той местности, где на другой день намеревается производить ловлю, и участковый пристав в свою очередь сообщает телеграммой приставу того участка, где будет производиться ловля. Делается это для того, чтобы «по получении означенных телеграмм вменять в обязанность полицейским чинам оказывать ловцам всякое содействие, ограждать от могущих возникнуть с чьей-либо стороны помех и столкновений; наблюдать, чтобы ловцы не обращались с собаками жестоко и чтобы отнюдь не касались

собак, находящихся во дворах и вообще в местах, не подлежащих общественному пользованию».

Ловля, содержание и откуп собак производятся следующим образом: около 11 часов ночи из деревни Котлы в Москву выезжают две запряженные клячами грязнейшие фуры, с зловонными клетками в них, сопровождаемые оборванцами самого зловещего вида. Это – помощники Грибанова по ловле собак. Хотя по приказу г. московского обер-полицмейстера и полагается ловить собак, не употребляя жестокостей, в том только участке, о котором заявлено Грибановым накануне, но это не исполняется, и ловчие продолжают ловить собак на пути «ходом»: для этого они, заметив собак, расставляют, перегораживая улицу в двух местах, сети и гонят в них собак, стараясь, чтобы последние не ушли на какой-нибудь двор.

Когда собака попадает в сеть, они особого рода железным ухватом прижимают собаку самым безжалостным манером к земле и усаживают в клетку. При этом ловчие стараются поймать всегда хорошую, породистую собаку,

а не действительно бродячую, которую они обязаны ловить и которую никто не выкупит. Чтобы уловить породистую собаку, ловчие не брезгают никакими средствами; они выманивают собак со дворов различными способами, то прикармливая их, то прямо выгоняя, для чего ловчим приходится забегать во двор. При этом не обходится иногда и без неприятностей: если дворники заметят, то непрощенных гостей бьют, как это было, например, в прошлом году на Арбате, в доме Львовой, но ловчие «за тычком не гонятся». Ловчие измыслили еще более ловкий способ выманивания собак – «подлаиванием». С этой целью в деревне Котлах они ежедневно практикуются в лаянии, и некоторые из них действительно лают не хуже звукоподражателя Егорова, лающего, как говорят, «лучше собак». Ловчие употребляют, впрочем, и более бесцеремонные способы для добывания ценных и породистых собак: таков был случай, как сообщалось уже газетами в прошлом году, на Никитском бульваре, где ловчие, увидав дорогого пойнтера, бежавшего за дамой, шедшей в мясную лавку к Арбатским воротам, несмотря

на протесты дамы, насильно отняли у нее собаку и увезли в фуре, в Котлы, в свое заведение, удачно названное «собачьей морильней». Прославленные Котлы находятся за Даниловской слободой, верстах в двух от нее. Здесь, недалеко от зловоннейших боен, стоит и живодерня Грибанова: обширный грязный двор, где под навесом на шестах просушиваются окровавленные, вонючие шкуры убитых на живодерне или павших животных. Тут же и квартира Грибанова, в которую приходится обращаться владельцу пропавшей собаки, совершившему десятиверстное путешествие, а то и далее, из Москвы в Котлы.

Но здесь собаки нет, и ищущего ведут на гору, к развалине какого-то завода, где на широком, поросшем бурьяном дворе есть длинный узкий дощатый сарай, при одном приближении к которому со свежим человеком может сделаться дурно от зловония. Около двери сарая трава и стена покрыты бурыми, жирными пятнами крови, и тут же стоит толстая окровавленная дубина: это место, где бьют собак, и орудие, чем их бьют. Непородистых, никому не нужных собак выводят из

фур, надевают им петлю на шею и душат, а если собака очень сильна и живуча, то бьют ее палкой по переносью и с полуживой еще тут же сдирают шкуру, которую сушат и продают от 6 до 12 коп. за штуку. Как видно, доход от бродячих собак не велик, а хлопот с ними много: поймать, убить, шкуру содрать и продать. Зато породистые собаки выручают. Они содержатся в этом зловонном сарае, в вонючих, грязных, с постоянно мокрым полом клетках. В сарае только два выхода, узенькие двери и ни одного окна. Тут же, на голой земле, валяются рогожи и полушубок – это постель, одеяло и подушка неотлучно находящегося при собаках сторожа, молодого парня, занимающегося кормлением, убиением и продажей собак и спокойно живущего в зловоннейшем сарае. Впрочем, здесь не всегда содержатся хорошие, породистые собаки. Прежде, при начале деятельности Грибанова, сарайчик этот был переполнен догами, пойнтерами, сеттерами и т. п., а теперь большинство собак, содержащихся в сарайчике, принадлежат к неаристократической породе «дворняг».

При моем посещении заведения Грибанова я заявил, что у меня пропала собака, и меня привели в этот сарай, где я мог выбрать любую из собак, даже чужую, и, заплатив за нее, сколько потребует доверенный Грибанова, получить ее. При подобном способе получения действительные владельцы собак ничем не гарантированы. Книжки о том, где и когда и какая именно собака поймана, не ведется. В три дня – срок выкупа собаки, назначенный полицией, – владелец пропавшей собаки едва ли, если он человек занятой, успеет совершить путешествие в «Котлы»; а между тем по прошествии трех дней, согласно условию с полицией, собака делается собственностью Грибанова. Кроме того, в соседнем «с морильней» трактире всякий, отыскивающий собаку, может, если тихо поведет разговор, узнать, что хорошие собаки, которых невыгодно отдать за 75 коп. владельцу, т. е. за содержание трех дней по 25 коп. в день, и не попадают вовсе в «морильню», а каким-то манером попадают к собачьим барышникам, занимающимся покупкой «случайных» собак. Тут же в трактире можно узнать, что хорошую со-

баку у Грибанова, пожалуй, не всегда достанешь и надо идти к барышнику, и при этом указывают на стоящую под горой отдельную хижину, невдалеке от трактира. Хижинка эта окружена забором, за которым на привязи и так ходит с лаем и визгом масса других, породистых собак всех возможных пород, от болонки до громадного дога включительно. Барышник предлагает купить собаку и продает их разно: и дешево, и дорого, кто как сумеет купить. Откуда эта масса собак у грибановского соседа – с достоверностью неизвестно, хотя есть слухи, что ловчие лучших собак продают подобным барышникам за бесценок и что последние, не решаясь выводить их на рынок, держат в глухих местах, вроде Котлов, и особенно охотно сбывают приезжим из других городов покупателям.

Катастрофа на Ходынском поле

Причину катастрофы выяснит следствие, которое уже начато и ведется. Пока же я ограничусь описанием всего виденного мной и теми достоверными сведениями, которые мне удалось получить от очевидцев. Начинаю с описания местности, где произошла катастрофа. Неудачное расположение буфетов для раздачи кружек и угощений безусловно увеличило количество жертв. Они построены так: шагах в ста от шоссе, по направлению к Ваганьковскому кладбищу, тянется их цепь, по временам разрываясь более или менее длительными интервалами. Десятки буфетов соединены одной крышей, имея между собой полторааршинный суживающийся в середине проход, так как предполагалось пропускать народ на гулянье со стороны Москвы именно через эти проходы, вручив каждому из гуляющих узелок с угощением. Параллельно буфетам, со стороны Москвы, т. е. откуда ожидался народ, тянется сначала от шоссе глубокая, с обрывистыми краями и аршинным валом, канава, переходящая против пер-

вых буфетов в широкий, сажень до 30, ров, — бывший карьер, где брали песок и глину. Ров, глубиной местами около двух сажен, имеет крутые, обрывистые берега и изрыт массой иногда очень глубоких ям. Он тянется на протяжении более полуверсты, как раз вдоль буфетов, и перед буфетами имеет во все свое протяжение площадку, шириной от 20 до 30 шагов. На ней-то и предполагалось, по-видимому, установить народ для вручения ему узелков и для пропуска вовнутрь поля. Однако вышло не так: народу набралась масса, и тысячная доля его не поместилась на площадке. Раздачу предполагали производить с 10 часов утра 18 мая, а народ начал собираться еще накануне, 17-го, чуть не с полудня, ночью же потянул отовсюду, из Москвы, с фабрик и из деревень, положительно запруживая улицы, прилегающие к заставам Тверской, Пресненской и Бутырской. К полуночи громадная площадь, во многих местах изрытая ямами, начиная от буфетов, на всем их протяжении, до здания водокачки и уцелевшего выставочного павильона, представляла из себя не то бивуак, не то ярмарку. На более гладких ме-

стах, подальше от гулянья, стояли телеги приехавших из деревень и телеги торговцев с закусками и квасом. Кое-где были разложены костры. С рассветом бивуак начал оживать, двигаться. Народные толпы все прибывали массами. Все старались занять места поближе к буфетам. Немногие успели занять узкую гладкую полосу около самих буфетных палаток, а остальные переполнили громадный 30-саженный ров, представлявшийся живым, колыхавшимся морем, а также ближайший к Москве берег рва и высокий вал. К трем часам все стояли на занятых ими местах, все более и более стесняемые наплывавшими народными массами. К пяти часам сборище народа достигло крайней степени, — полагаю, что не менее нескольких сотен тысяч людей. Масса сковалась. Нельзя было пошевелить рукой, нельзя было двинуться. Прижатые во рв к обоим высоким берегам не имели возможности пошевелиться. Ров был набит битком, и головы народа, слившиеся в сплошную массу, не представляли ровной поверхности, а углублялись и возвышались, сообразно дну рва, усеянного ямами. Давка была страшная.

Со многими делалось дурно, некоторые теряли сознание, не имея возможности выбраться или даже упасть: лишённые чувств, с закрытыми глазами, сжатые, как в тисках, они колыхались вместе с массой. Так продолжалось около часа. Слышались крики о помощи, стоны сдавленных. Детей – подростков толпа кое-как высаживала кверху и по головам позволяла им ползти в ту или другую сторону, и некоторым удалось выбраться на простор, хотя не всегда невредимо. Двоих таких подростков караульные солдаты пронесли в большой № 1 театр, где находился г. Форкатти и доктора Анриков и Рамм.

Так, в 12 часов ночи принесли в бесчувственном состоянии девушку лет 16, а около трех часов доставили мальчика, который, благодаря попечению докторов, только к полудню второго дня пришел в себя и рассказал, что его сдавили в толпе и потом выбросили наружу. Далее он не помнил ничего. Редким удавалось вырваться из толпы на поле. После пяти часов уже очень многие в толпе лишились чувств, сдавленные со всех сторон. А над миллионной толпой начал подниматься пар,

похожий на болотный туман. Это шло испарение от этой массы, и скоро белой дымкой окутало толпу, особенно внизу во рву, настолько сильно, что сверху, с вала, местами была видна только эта дымка, скрывающая людей. Около 6 часов в толпе чаще и чаще стали раздаваться стоны и крики о спасении. Наконец, около нескольких средних палаток стало заметно волнение. Это толпа требовала у заведовавших буфетами артельщиков выдачи угощений. В двух-трех средних балаганах артельщики действительно стали раздавать узлы, между тем как в остальных раздача не производилась. У первых палаток крикнули «раздают», и огромная толпа хлынула влево, к тем буфетам, где раздавали. Страшные, душу раздирающие стоны и вопли огласили воздух... Напершая сзади толпа обрушила тысячи людей в ров, стоявшие в ямах были затоптаны... Несколько десятков казаков и часовые, охранявшие буфеты, были смяты и отиснуты в поле, а пробравшиеся ранее в поле с противоположной стороны лезли за узлами, не пропуская входивших снаружи, и напиравшая толпа прижимала людей к буфетам и

давила. Это продолжалось не более десяти мучительнейших минут... Стоны были слышны и возбуждали ужас даже на скаковом кругу, где в это время происходили еще работы.

Толпа быстро отхлынула назад, а с шести часов большинство уже шло к домам, и от Ходынского поля, запруживая улицы Москвы, целый день двигался народ. На самом гулянье не осталось и одной пятой доли того, что было утром. Многие, впрочем, возвращались, чтобы разыскать погибших родных. Явились власти. Груды тел начали разбирать, отделяя мертвых от живых. Более 500 раненых отвезли в больницы и приемные покои; трупы были вынуты из ям и разложены кругом палаток на громадном пространстве. Изуродованные, посиневшие, в платье разорванном и промокшем насквозь, они были ужасны. Стоны и причитания родственников, разыскавших своих, не поддавались описанию... По русскому обычаю народ бросал на грудь умерших деньги на погребение... А тем временем все подъезжали военные и пожарные фуры и отвозили десятками трупы в город. Приемные покои и больницы переполнились ране-

ными. Часовни при полицейских домах и больницах и сараи – трупами. Весь день шла уборка. Между прочим, 28 тел нашли в колодезе, который оказался во рву, против средних буфетов. Колодезь этот глубокий, сделанный опрокинутой воронкой, обложенный внутри деревом, был закрыт досками, которые не выдержали напора толпы. В числе попавших в колодезь один спасен был живым. Кроме этого, трупы находили и на поле, довольно далеко от места катастрофы. Это раненные, успевшие сгоряча уйти, падали и умирали. Всю ночь на воскресенье возили тела отовсюду на Ваганьковское кладбище. Более тысячи лежало там, на лугу в шестом разряде кладбища. Я был там около 6 часов утра. Навстречу, по шоссе, везли белые гробы с покойниками. Это тела, отпущенные родственникам для погребения. На самом кладбище масса народа.

Пора бы...

И возит извозчик седока, и оба ругают московские переулки.

Седок проезжий, и извозчик, старик, тоже недавно в Москве.

– Да тебе сказано в Кривой переулок!

– Да они все тут кривые! – оправдывается извозчик... И действительно, сколько кривых переулков в Москве!

Кривые переулки есть в частях: серпуховской, городской и хамовнической. Потом следуют Кривые с прибавлением: Криво-Ярославский, Кривоколенный, Криво-Никольский, Криво-Арбатский, Криво-Введенский, Криво-Рыбников!

Пересматривая указатель Москвы, я поражаюсь!.. Вот Астра-Дамский переулок! Вот Арнаутовский!

Какой грамотей придумал такие названия!

Вот семь Банных переулков, и все в разных частях города.

Поди ищи!

Живу, мол, в Москве, в Банном переулке в своем доме!

Кажется, адрес точный: московский домо-
владелец – найти не трудно.

А Банных переулков семь! Безымянных –
де-вят-над-цать! Благовещенских – 4, Болва-
новских – три!

Только три.

Мало по нашим грехам! Ей-богу, мало!

И Брехов переулок только один.

Бутырских, Вознесенских, Дербеневских,
Золоторожских и Монетчиковых – по пяти.

А вот Грязных – два.

Врут, больше! Все грязные и кривые!

Денежных – 2, Дурных – не хочется ве-
рить – тоже 2. Дровяных – 3. Задних – 2. Поле-
вых, Грузинских, Ивановских, Краснопруд-
ных, Красносельских – по 6. Лесных и Огород-
ных – по 7. Кузнечных и Спасских – 8. Ильин-
ских и Космодемианских – по 9. Знаменских –
12. Покровских – 10. И Никольских -13. Далее,
Коровьих – 4, Кладбищенских – 5. А сколько
тупиков? Что может быть глупее тупика?

Идешь, видишь улица, идешь дальше и, в
конце концов, упираешься в забор!

И это не старая Москва, нет! Масса переул-
ков создавалась за последние два десятка лет, а

названия одно глупее другого.

И в общем выходит такая путаница, что разобраться нельзя.

Это повторение одних и тех же названий путает и почту, и публику.

До сих пор в Москве нет ни Пушкинской, ни Гоголевской улицы!

Хоть бы в память пушкинских и гоголевских празднеств назвали!

Да, наконец, мало ли знаменитых людей дала Москва, имена которых можно бы повторить хоть в названиях улиц.

Это – почитит память деятелей.

Во-вторых, название улиц именами знаменитых людей имеет и громадное воспитательное значение.

Господа городские деятели, пекущиеся о благоустройстве Москвы, обратите на это внимание, пора бы!

Да постарайтесь, чтоб названия не повторились, чтоб прекратить путаницу.

Принимайтесь же за это дело, не стыдясь, – дело доброе!

На память оставьте по одному, только по одному старому названию.

Оставьте один Кривой, один Болвановский, один Коровий и один Брехов...

Для будущих историков оставьте.

Пусть думают: отчего и почему!..

Ураган в Москве

Вчера, в исходе 5-го часа дня, пронесся над Москвой страшный ураган с грозой и градом, местами сыпавшим величиной с куриное яйцо. Разразившееся бедствие так ужасно, что сразу подробно описать его невозможно. Особенно подверглись несчастью местности Лефортово, Сокольники, местами Басманная часть и Яузская. В Лефортове на улицах Хапиловской, Госпитальной, Ирининской, Коровьем Броде, Гавриковом пер. и Ольховской улице разрушена масса зданий, домов, ранены и убиты люди и скот. Вырваны телеграфные столбы, полуразрушено несколько домов, повреждены церкви, часовни, у которых местами разрушены купола, поломаны кресты и сбиты церковные тяжелые ограды. Из официальных учреждений сильно пострадали в Лефортове кадетские корпуса, где сорваны совершенно все крыши с частью чер-

дака. Со здания военного госпиталя над всем корпусом сорвана крыша, местами разрушен чердак, унесены бурей деревья; со здания военно-фельдшерской школы сорвана вся крыша, разрушена часть чердака, совершенно разрушен и уничтожен разнесенный ураганом на части летний барак, в котором убит воспитанник школы Панкратов и 5 воспитанников ранено; кроме того, ранен служитель. Обширная Анненгофская роща вся уничтожена бурей и раскидана щепами по окрестностям. Лефортовский сад подвергся той же участи. Здание бывшего Лефортовского дворца также не миновало общей участи: над ним сорвана вся крыша и выбиты окна. Такая же участь постигла Лефортовскую часть – каланча уцелела, а крыши со всех корпусов сорваны и выбиты во всем здании окна.

В один лефортовский приемный покой доставлено 63 раненых и искалеченных, убито также несколько человек, но трупы еще не все подобраны и найдены, а потому количество определить невозможно. Пока в Лефортовской часовне 3 трупа. В Басманную больницу доставлено 30 раненых. Привезены ра-

ненные и в Яузскую больницу. Пострадало несколько вагонов конки, извозчиков и убито в роце много окота. В Сокольниках особенно пострадала Ивановская улица, где разрушено несколько зданий, ранено тяжело 7 человек, несколько легко. В течение всего вечера в ближайшую больницу непрерывно доставлялись раненые и искалеченные. Медицинские персоналы работали неутомимо, и многим были деланы сейчас же операции. Пострадавшие местности все время были переполнены массой народа, разыскивавшей в раненых и убитых своих друзей и родных. Убытки, понесенные от бури, как говорят, доходят более чем до 1 000 000 руб.

Ураган (Впечатления)

Живя во дворце в Лефортове, императрица Анна Иоанновна однажды сказала:

– Прекрасное место. Вот если бы перед окнами была роща!

Когда на следующее утро императрица подошла к окну, – напротив, где вчера еще было голое поле, возвышалась роща.

Герцог Бирон приказал в одну ночь накопать деревьев, свезти их и посадить рощу.

Так в одну ночь выросла Анненгофская роща. Третьего дня в одну минуту ее уничтожило.

В полночь при ярком свете луны стоял я один-одинешенек посреди этой рощи, или, вернее того, что было рощей. Долго стоял в ужасе посреди разбитых, расщепленных вековых сосен, пересыпанных разорванными ветвями.

Всем приходилось видеть сосны, разбитые молнией. Обыкновенно они расщеплены и переломлены. Всем приходилось видеть дере-

вья, вырванные бурей с корнем. Здесь, в погибшей роще, – смешение того и другого, очень мало вырванных с корнем – почти все деревья расщеплены и пересыпаны изорванными намелко ветвями.

Я стоял посреди бывшей рощи. Среди поваленных деревьев, блестевших ярко-белыми изломами на темной зелени ветвей. Их пересекали черные тени от высоких пней, окруженных сбитыми вершинами и оторванными сучьями. Мертвый блеск луны при мертвом безмолвии леденил это мертвое царство. Ни травка, ни веточка не шевелилась. Даже шум города не был слышен. Все будто не жило.

Вот передо мной громадные разрушенные здания кадетского корпуса и военно-фельдшерской школы с зияющими окнами, без рам и стекол и черными отверстиями между оголенных стропил. Правее, на фоне бледного неба, рисовался печальный силуэт пятиглавой церкви и конусообразной колокольни без крестов... Еще правее – мрачная, темная военная тюрьма, сквозь решетчатые окна которой краснели безотрадные огоньки.

Я шел к городу, пробираясь между беспорядочной массой торчащих во все стороны ветвей, шагая через обломки. Было холодно, жутко. И рядом с этим кладбищем великанов, бок о бок, вокруг мрачной громады тюрьмы уцелел молодой сад. Тонкие, гибкие деревца, окруженные кустарниками, касались вершинами земли, – но жили. Грозная стихия в своей неудержимой злобе поборолла и поломала могучих богатырей и не могла справиться с бессилием.

И кругом зданий корпуса и школы среди вырванных деревьев уцелели кустарники. Разбиты каменные столбы, согнуты и сброшены железные решетки, кругом целые горы свернутого и смятого, как бумага, кровельного железа и всевозможных обломков, среди которых валяется труп лошади.

Проезжаю мимо церкви Петра и Павла, с которой сорваны кресты, часть куполов и крыша. Около военного госпиталя груды обломков. Здания без стекол и крыш, сорвана и разбита будка – квартира городских, сад фельдшерской школы в полном разрушении. Останавливаюсь у городского. Его фамилия

Алексеев. В момент смерча он был на том же месте. Его и рабочего с городского бассейна вихрем подняло с земли и перебросило через забор в сад. Придя в себя, он вытащил из-под упавших обломков забора и бревен молившего о помощи человека. Дальше – госпитальный вековой парк без деревьев: одни обломки. Мост через Яузу сорван. Направо и налево, вплоть до Немецкого рынка. Картина разрушения здесь поразительна. Особенно ярка она с Коровьего Брода, если смотреть от здания Лефортовской части. Направо разрушенный верх Лефортовского дворца, впереди – целая площадь домов без крыш с белеющей сеткой подрешетников, налево – изуродованная громадная фабрика Кондрашова с рухнувшей трубой поперек улицы: проезда нет. Против части стоит без крыши дом Нефедова. Когда сорвало с этого дома крышу, то листами железа поранило прохожих и побило лошадей.

По Гаврикову переулку полный разгром. На переезде Московско-Казанской ж. д. сорвало крышу с элеватора, перевернуло несколько вагонов, выбросило и поломало будки и

столбы телефона, а высокий железный столб семафора свернуло и перегнуло пополам, уткнув верхний конец в землю.

Здесь много пострадало народа, особенно извозчиков и рабочих.

И дальше, к Сокольникам и в Сокольниках, та же картина разрушения. С десятками очевидцев в разных местах говорил я, и все говорят, в общем, одно и то же.

В 3 часа ночи я снова поехал взглянуть на картину разрушения при свете просыпающегося дня, начав с Сокольников.

Кладбище Анненгофского бора было ужасно.

Было уже совершенно светло, ветерок шевелил наваленные между трупами старых сосен зеленые ветви.

Окружив роцу и выбравшись на Владимирское шоссе, я остановился у точки столицы, первой принявшей на себя губительный порыв смерча. И пострадавшей больше всех.

Это ряд зданий Покровского товарищества ассенизации.

Бывших зданий.

Теперь от дома конторы, казарм и служ-

бы – груды обломков. Впереди сотня бочек, некоторые пробиты воткнутыми в них бурей бревнами, принесенными издалека.

Налево, за канавой, среди обломков Анненгофской рощи, вокруг костра греются рабочие, оставшиеся без крова. Пасется табун лошадей, уцелевших, и валяются убитые лошади.

Близ кучки служащих из-под чистых рогож видны сапоги.

Я попросил поднять рогожу. Передо мной измятый труп человека средних лет, в пиджаке и рабочей блузе.

Челюсти поломаны, под левым ухом в черепе огромная рана. Смерть была мгновенная. Это – слесарь Николай Вавилов, оставивший после себя голодную семью из четырех детей и беременную жену. Старшей девочке 9 лет.

Кроме него, сильно ранило четырех рабочих, которые отправлены в больницу.

Стоящие передо мной люди первые встретили смерч и спаслись случайно. Все они рисуют одну и ту же картину. Впереди, откуда пришел смерч, широкое поле, за которым

верстах в трех село Карачарово и деревня Хохловка.

Несмотря на пасмурное утро, даль видна хорошо, и можно различить разрушенные дома Карачарова и колокольню без креста: его сорвало с частью купола.

Картина катастрофы такова.

Сначала легкий дождь. Потом град по куриному яйцу и жестокая гроза. Как-то сразу потемнело, что-то черное повисло над Москвой... Потом это черное сменилось злое-ще-желтым... Пахнуло теплом... Затем грянула буря, и стало холодно.

Так было во всей Москве.

Здесь очевидцы рассказывали так.

После грозы над Карачаровым опустилась низко черная туча. Это приняли за пожар: думали, разбиты молнией цистерны с нефтью. Один из служащих бросился в казармы и разбудил рабочих. Все выскочили и стали смотреть на невиданное зрелище. Туча снизу росла, сверху спускалась другая, и вдруг все закрутилось. Некоторым казалось, что внутри крутящейся черной массы, захватившей небо, сверкают молнии, другим казался пронизы-

вающий сверху вниз черную массу огненный стержень, третьим – вспыхивающие огни...

Эта страшная масса неслась на них, бросились – кто куда, не помня себя от ужаса. Покойный Вавилов, управляющий Хорошутин с пятилетней дочкой и старухой матерью спрятались в крытой лестнице, ведущей в контору. Все ближе и ближе несся страшный шум.

В это время бросились в коридор, спасая свою жизнь, три собаки. Вавилов, помня народную примету, что собаки во время грозы опасны, бросился гнать собак и выскочил за ними из коридора.

В этот момент смерч налетел. От зданий остались обломки. Коридор случайно уцелел. Хорошутин с семьей спасся. А тремя ступеньками ниже, на земле, под обломками в полусидячем положении виднелся труп Вавилова.

И теперь, через 12 часов, на этом месте лужа не засохшей еще крови...

Только спустя долгое время люди начали вылезать из-под обломков и освобождать раненых. Здесь ужасная картина разрушения...

В роце, как говорят, тоже найдутся трупы. Там были люди. Эта роща – неизменный при-

тон темного люда, промышлявшего разбоями в этой непокойной местности.

В 7 часов мы с моим спутником поехали в город и до самого дома не обменялись ни одним словом.

Впечатление ужасное.

Праздник рабочих

О первом мая в Сокольниках говорили давно. Носились слухи о «бунте», об избиениях, разгромах. Множество прокламаций в этом духе было разбросано всюду. Многие дачники, из боязни этого дня, не выезжали в Сокольники, и дачи пустуют.

Но это был намалеванный черт, которого, оказалось, бояться нечего.

Гулянье 1-го мая в Сокольниках прошло благополучно. Народу было более 50 000.

К этому дню фабричные и заводские рабочие устремились в Москву; 30-го апреля и 1-го мая утренние поезда были переполнены.

С полудня на Старом гулянье и в роще стал собираться народ: гуляющие семьями, с детьми – в чайные лавочки за мирный самоварчик, и рабочие группами в роще для бесед

и обсуждения своих дел.

Подстриженные, причесанные, одетые по средствам и обычаю, рабочие все были чисты, праздничны, и сновавшие между «ими хулиганы и «ночные сокольничьи рыцари» ярко отличались от них.

И когда эта «рвань коричневая» подходила к группам рабочих, ее встречали не совсем дружелюбно.

Зато этой «публики» множество сновало в толпе гуляющих, около балаганов, каруселей и остановок трам-вая.

Они, как волки, бросались при посадке пассажиров и положительно грабили, пользуясь давкой. Почти в каждом вагоне раздавались жалобы об украденном кошельке, сорванных часах...

И эти воры сотнями осаждали переполненные вагоны трамвая и сыграли впоследствии важную роль в Сокольниках.

Беспорядок и народная паника обязаны только им одним своим началом.

Это было уже около четырех часов дня.

Гулянье было в разгаре.

Толпы собственно рабочих то мирно гуля-

ли, то время от времени собирались партиями в роце, за Старым гуляньем и за театром общества трезвости. Здесь к ним примешивался народ. Говорились речи, иногда, может быть, и резкие, слышались иногда и «модные поговорки» последнего времени.

Но когда к этим толпам начинали присоединяться хулиганы и карманники, которым во что бы то ни стало нужен был беспорядок ради чисто грабительских целей, – являлись казаки, и толпа расходилась.

Речи иногда начинались, но не доканчивались.

Были случаи, когда начинали говорить речь, и оратора заставляли смолкать. Иногда слушали со вниманием.

Если в толпе были только одни рабочие, все обходилось благополучно: послушают, поговорят и мирно расходятся. Иногда после речей кричали «ура», но было все смирно.

Не то – когда появлялись хулиганы и карманники!

Последние-то и произвели беспорядок.

Было так: сзади Старого гулянья собралась громадная смешанная толпа. Явились ораторы

ры, полились речи, которые одним нравились, другим нет; гомон, шум. И вот во время речей среди толпы кто-то сделал выстрел из револьвера. Безопасный выстрел в воздух.

Он, при гомоне толпы, и прошел бы незаметным, но шайка карманников и хулиганов воспользовалась удобным для них моментом экзальтированности толпы и еще не успокоившейся от тревожных слухов последнего времени публики.

– Бьют! Стреляют! Ура!.. – в десятке мест крикнули хулиганы.

Толпа подхватила – и загомонили Сокольники!

Ринулись, в давке, мчатся кто куда.

Более десяти тысяч, гораздо более, стремглав ринулось, ища спасения.

Это была полная паника.

Нечто ужасное, стихийное.

Нужно было быть самому в этот момент в толпе, нужно было быть увлекаемым этим потоком, наткаться на падающих, получать толчки отовсюду, чтобы понять ужас паники.

А тут еще женщины и дети!

Крики, визг.

А карманники – одни они были хладнокровны – грабили в суматохе, срывали часы, вырывали сумочки у дам, тащили из карманов.

Публика ринулась на Ивановскую улицу и на Сокольничье шоссе, к трамваю.

Полиция не в силах была сдержать эту волну. Полицейские чины или вертелись, как волчки, на месте, не оставляя своего поста, или были увлекаемы народной волной.

Но карманники насытились, угрожающие возгласы стихли.

Через десять минут – ужасных десять минут – люди начали приходить в себя.

Все успокоилось.

К городу бежала «чистая публика».

Рабочие, больше державшиеся дальней стороны гулянья, удалились в лес и продолжали гулять, собираться своими компаниями.

Лавочки торговок – чайниц на время опустели. Конечно, многие бежали и не заплатили им денег за самовары.

Особенно сильная давка была на Ивановской улице, которая положительно была за-

пужена воющей с испуга толпой. Лавочники при первом приближении заперли двери своих магазинов и натерпелись страха. Но ни одно стекло не было разбито, ни одного покушения ворваться.

Будь такой случай поздно вечером, – могло быть хуже.

Когда прошла волна толпы, на мостовой валялись шапки, шляпы, зонтики.

На месте сборищ в роще – масса прокламаций.

Кроме проделок карманников, все окончилось благополучно, не считая двух-трех единичных случаев столкновения с полицией.

Так, один помощник пристава, ротмистр М-ий был слегка ранен в шею финским ножом; виновный задержан. Это самый крупный случай. Зато участок переполнен был.. детьми!

Неразумные матери, набравшие с собой едва выучившихся ходить детей на гулянье в Сокольники, во время паники порастеряли их!

И трогательные сцены встреч малых детей со своими родителями происходили и в

участке, и на площади около участка, куда привели и принесли на руках потерянных малолеток добросердечные чужие люди!

Паника отозвалась далеко от места ее начала – Старого гулянья.

Бежавшие в испуге мчались по всей роще, до самой железной дороги, где падали от усталости.

Часть их ринулась в сквер, окружающий Царский павильон, откуда в испуге убежали музыканты и потом были водворены на место полицией, которая и заставила их играть для успокоения публики.

Из соседней Царскому павильону кофейни Яни тоже разбежалась публика, не заплатив за кушанья. Отсюда, издали, действительно картина казалась грозной: со стороны Старого гулянья слышались ужасные крики, затем взвилась туча пыли, поднятая бегущей толпой, наконец, показались и мчавшиеся в ужасе кучки народа...

Городской праздник был окончен. Москвичи, натерпевшись страху в десятиминутной панике, убрались восвояси, кто на трамвае, кто на извозчике, кто пешком.

Рабочие остались в роще, заняли чайные столики, снова стали собираться в свои партии.

И, надо отметить, между рабочими не было пьяных. Если и были последние, то это были обычные посетители Сокольников.

Часу в седьмом образовалась еще одна партия, человек в триста, которая прошла по четвертому просеку до линии московско-ярославской ж.-д. и на 5-й версте, на полотне, расположилась, и начались речи.

С двух сторон были выставлены самодельные флаги из куска красной материи, нацепленной на тут же сломанную палку, для безопасности от идущего поезда.

Начались речи.

И в самый разгар речей вихрем по IV-му просеку налетел взвод казаков, и толпа скрылась в чаще леса.

Это был последний эпизод в Сокольничьей роще 1-го мая.

Только в темноте ратовали хулиганы. В участок было доставлено с десятков пойманных карманников, несколько хулиганов и бунюнов, и произведено несколько арестов лиц

за возбуждение толпы.

Все страхи и ужасы этого дня, навеянные некоторыми газетами и массой прокламаций, оказались вздорными.

Пусть же празднуют и рабочие!

Пусть 1-е мая в Сокольниках будет их день.

Как Татьянин день для студентов.

И если к этому их празднику не будут при-
мешиваться посторонние элементы, если ху-
лиганы в этот день блеснут своим отсутстви-
ем в Сокольничьей роще, – тогда не нужно бу-
дет никаких усиленных охранительных мер.

Рабочие – люди труда, уважающие чужой
покой и чужую собственность, – погуляют, по-
говорят меж собой на своих «митингах» – и
мирно разойдутся.

И пусть же 1-е мая в Сокольниках будет
праздником рабочих.

И только рабочих!

Час «На дне»

Посмотрев пьесу Горького, я вздумал вчера подновить впечатление.

Был сырой, туманный вечер.

Особенно ужасны такие туманные, сырые вечера в ночлежных домах, битком набитых бродячим народом, вернувшимся кто с поденщины, кто «с форта» в мокрой обуви и сыром платье. Все это преет, дает удушливый пар — дышать нечем!

И вот я в центре Хитровки, в доме Кулакова с его рядом флигелей на обширном дворе, напоминающем двор 3-го акта пьесы Горького.

Спускаюсь вниз, в подвальный коридор-катакомбу среднего флигеля.

Направо и налево крепкие двери с обозначением номеров и количества ночлежников.

Общие камеры.

Отворяю дверь.

Сквозь туман видны разметавшиеся фигуры, нары по обеим сторонам с расположившимися ночлежниками и уходящие вглубь высокие, крутые своды, напоминающие

тюрьмы инквизиции.

Точь-в-точь такие же, какие видел я накануне на сцене Художественного театра.

Только здесь они чище: выбелены начисто.

Совсем не то, что я видел здесь лет 20 тому назад, когда этот дом принадлежал Ромейко.

Тогда вот была трущоба!

Освещенные теперь, коридоры тогда были полны непроглядного мрака, изломанные лестницы носили на себе следы крови...

Из того времени мне вспомнился случай в этом доме, пришедший мне на память во время третьего акта «На дне», когда Васька Пепел убил мужа Василисы.

Я был тогда репортером и, собирая материал, часто бывал на Хитровке. Я сидел в трактире «Каторга» в доме Ярошенко.

В «Каторгу» вошел оборванец и громко заявил:

– В Ромейкином доме кого-то... пришили... за приставом побежали.

Тогда несколько человек поторопились рассчитаться с половыми и вышли.

Первый выбежал сидевший ко мне спиной

рыжий здоровяк с нахлобученной шапкой, из-под которой все-таки просвечивала кожа, на одной стороне головы не успевшая еще обрасти волосами.

– Беги уж, зеленые ноги, я отдам! – улыбнулась его дама сердца и выбросила на стол трешницу.

Я стремглав бросился в дом Ромейко.

В квартире второго этажа, куда я насилу пробился сквозь толпу в коридоре, окруженный ночлежниками, лежал в луже крови человек в одной рубашке, лицом книзу. Под левой лопаткой торчал нож, всаженный до рукоятки. Никогда и не видел таких ножей: из тела торчала большая, красной меди, ручка причудливой формы.

Убитый был «кот». Скрывшийся убийца – мститель за женщину. Его так и не нашли.

Пока я собирал нужные для газеты сведения, явился пристав с околоточным, осмотрел труп и приступил к составлению протокола.

Когда я во время дознания подошел вместе с приставом к трупу – ножа уже не было.

– Где нож? Нож где? – засуетилась полиция.

– Я сам его видел! Сам! – горячился покойный г. Севенард, вообще хладнокровный, опытный полицейский.

После немалых поисков нож нашелся: его во время суматохи успел вытащить пьянчужка портной и заложил за полбутылки в соседнем кабаке.

Ужасен был дом Ромейко в то время и ужасен был весь Хитров рынок с его трущобами невообразимыми, по сравнению с которыми его современные ночлежки – салоны!

Теперь вокруг громадной Хитровской площади разбросаны чайные лавки с чайной печительства трезвости во главе – а тогда в домах, окружающих площадь, были три трактира с меткими названиями, придуманными обитателями трущоб.

Сброд и рабочий люд собирались в «Пересыльном»; нищие и мелкие воры – в «Сибири», а беглые, разбойники и «коты» со своими сюжетами – в «Каторге».

Последняя помещалась в доме Ярошенко, в нижнем этаже, где сейчас находятся чайная и закусовая.

– Бог приведи увидеться в «Каторге»! – про-

щались арестанты в московской пересыльной тюрьме. И это не была шутка – это назначалось свидание в трактире «Каторга», этой бирже беглых арестантов.

В «Каторге» сыщики узнавали о появлении в Москве беглых из Сибири и уже после выслеживали их логово. В «Каторге», за этими столиками, покрытыми тряпками, обсуждались планы краж и разбоев, в «Каторге» «тырбанили слом» и пропивали после дележа добычу вместе с «тетками».

Счастливым вора́м, успевшим «сторговать» и швыряющим награбленные и наворованные деньги, «коты» приводили своих «сюжетов» и вместе с последними обирали воров.

«Котов» особенно много бывало в «Каторге», да масса их на Хитровке и теперь.

Это или разудалые «Иваны», поработившие своих слабохарактерных возлюбленных, или злополучные типы, вроде облезлого барона, которых держат «так, для чучелы», более энергичные «дамы», удовлетворяющие этим и свое самолюбие, сознавая, что и хуже их люди есть.

– Как червяк в яблоке живешь! – говорила Настя своему Барону.

А Барон пускал ее в оборот и позорно существовал на счет несчастнейшего существа? Чего ему еще?

А вот и обратно.

В 1885 году в Павловской больнице умерла княжна Т-ева.

В первый раз я ее встретил в «Каторге».

«Котом» у нее был пьяница-певчий, бывший несчастную, если она ему приносила мало денег на игру в карты...

В то время княжна, вечно пьяная и избитая, уже потеряла облик человеческий.

Я обратил на нее внимание в «Каторге», когда она, совершенно пьяная, плакала и произносила целые монологи на французском языке с чисто парижским выговором...

Рубикон человеческий она уже перешла и принадлежала бесповоротно труппе...

Так и умерла, несчастная, привезенная в Москву соблазненным ее франтом и по обычным ступеням опустившаяся на дно болота, в засасывающий, зловонный ил, откуда нет возврата...

Ужасен был тогда Хитров рынок!

Теперь не то. И кабаков нет, и трактиры закрыты, и «кубические футы» воздуха соблюдают, все выбелено, вычищено, освещено, и обходы полицейские часты.

Ужасная вещь эти обходы!

Измученные, усталые за день на поденщине или голодные, не добывшие ничего, люди кое-как разлягутся на нарах, и под нарами, и наслаждаются единственным своим счастьем – сном...

И вдруг – облава.

Сотни полицейских окружают ночлежные дома, становятся у выходов квартир, смотрят паспорта, делают перекличку.

Целая бессонная, тревожная ночь...

А какой ужас для тех, у кого нет паспортов!

Если вовремя явится «стрема», крикнет кто-нибудь предупреждающее о полиции условное «двадцать шесть»!

Беспаспортные выскакивают на улицу, на двор, лезут по обледенелым водосточным трубам на крышу, где все время обхода, в надежде спастись, лежат, прижавшись к трубе, на покрытой снегом крыше, ежеминутно рискуя

упасть и разбиться вдребезги...

Но полиция знает, что если люди лезут на крышу, то имеют на это основательные причины...

– Эй, голуби, слетайте вниз! – раздаётся энергичное приказание, и гимнастика с риском пропадает даром...

И в ночь на вчерашнее число, как раз в тот момент, когда мы смотрели «На дне» в Художественном театре, с крыш домов Хитрова рынка снимали «голубей»...

В эту ночь был обход, результатом которого был арест почти тысячи беспаспортных бездомников.

Всю ночь работала полиция, разводя этих полуголодных, полураздетых по участкам и направляя толпы иногородних беспаспортников в пересыльную тюрьму, для рассылки по месту приписки.

Удостоверенные московские мещане и ремесленники явятся на другой же день на Хитров рынок, а остальные из своих губерний вернутся сюда же, через день, два, смотря по расстоянию...

Многие отправлены в рабочий дом, отку-

да тоже многие немедленно вернуться в ночлежки...

И так без конца!

В числе забираемых облавой масса административно высланных, которым запрещено жить в столичных губерниях. Большинство из этих выбирается ближайшая к Москве губерния, особенно Зарайский уезд.

Заберут десяток таких субъектов, отправят в пересыльную тюрьму, препроводят оттуда этапом в Зарайск, явятся они в Зарайске в полицию.

– Пришли? – спросят.

– Пришли! – ответят. Запишут их в полиции и скажут!

– Ступайте!

Глухой, злополучный городишко этот Зарайск. Копейки в нем заработать нельзя.

И в перспективе у высланных или умереть с голоду, так как работы нет, или замерзнуть в снегу, так как ночевать негде, то и направляются они снова в Москву, на свой Хитров рынок.

А в Москве можно и украсть, и «пострелять» милостыньку, и ночевать в ночлежке...

Куда им больше деваться? Что делать? Паспорта у них волчьи: ни тебе квартиры, ни тебе ночлега!..

Зимой – ночлежный дом, кража и милостыня...

А летом – «заячьи номера» в лесу: каждый кустик ночевать пустит...

Или новое преступление, чтобы снова судиться, судиться до тех пор, пока, наконец, не сошлют в каторгу...

А там надежда на побег...

И при счастливом случае опять трущобы Хитрова рынка!..

Но есть там и постоянные жители, чувствующие себя как дома.

Это люди, имеющие при себе кусок спасительной бумажки, называемой – паспорт...

Я помню, тоже лет двадцать назад, в доме Буниных, на Хитровом рынке, в подвальной квартире, трущобе ужаснейшей, жил старик, его звали, и сам он себя звал, поручик Соломка. Он благодетельствовал, делая паспорта, и за каждый паспорт у него была такса, а именно: плакат – 3 рубля, вечность (вечный паспорт) – 4 рубля, а с заслугами и орденами – 5

рублей. Так все и знали цену, и покупателей было не мало! Есть «Соломки», конечно, и теперь. Без Соломок Хитровке нельзя. Но раньше все было открыто. Теперь время «хитрее» и труднее.

Безопаснее всех, конечно, на Хитровом рынке нищим: и документы в порядке, и полиции известны, и ни на какое преступление не пойдут, да и незачем. Заработок хороший! Утром на паперти, днем – по купечеству, а к вечеру дома гуляют.

Просящие же по вечерам – это уже неудачники, которые ничего не зашибли днем.

Да еще безопасно живут симпатичные труженики – переписчики пьес и ролей для театральных библиотек и антрепренеров.

Тяжелый труд – и всегда экстренный. Приносят вечером пьесу, чтоб к утру были роли расписаны.

Вокруг немудрого стола с закоптевшей лампой садятся переписчики и строчат, не отрываясь, день и ночь.

Вчера мы посетили и переписчиков. Давно они живут все в одном и том же номере дома Ярошенко, в третьем этаже, в отдельной ка-

морке при ночлежном доме. Мы застали их за экстренною работой: какую-то пьесу расписывают. Копеек по сорок за всю ночь заработают на человека. А утром снарядят одного из своих, кто обует, кто оденет, кто шайку даст – с миру по нитке – и отправят к заказчику с работой и за деньгами.

Прокормятся ими, пока кто еще работы не даст.

Плата – 50 копеек с акта, за переписку всех ролей. Театр, который так заступается за младшего брата, так его и эксплуатирует! Какая ирония...

Здесь я встретил старого знакомого К., писавшего кой-какие статейки в журналах.

Яко наг, яко благ!

– Откуда?

– Только что вернулся. Уходил из Москвы, побывал в Малороссии, прошел в Тифлис, в Баку, затем перебрался в Одессу, а оттуда – билет градоначальник дал – вернулся в свою родную Белокаменную, и вот, как видите!..

Увидал я тут и старика грибника с женой, старого знакомого. Давно живет на Хитровом, зимой поденщиной занимается, а летом – за

грибами ходит.

– Бьюсь, – говорит, – бьюсь! Прямо голодаем! Работы не хватает, снегу мало – в неделю только два дня работать приходится... Вот вчера пятиалтынный во весь день заработал, – кормись с женой чем хочешь... Как до лета дотянуть, не знаю!

– Ну, а летом?

– Господи! Летом?.. А за ягодками, за грибами... Тепло, зелень, птички поют!.. И не говорите... Долго еще... Доживем ли!

А сам чуть не плачет.

И все эти люди на дне, бесповоротно на дне. И выхода им нет.

Затягивает это дно, эта густая тина, эта атмосфера трущобы, эта голодная и холодная «воля».

Эти люди, не ужившиеся с условиями жизни, эти несчастные, загнанные сюда обстоятельствами, приживаются здесь.

Здесь воля, независимость друг от друга, полная равноправность всех платящих свой пятак за ночлег делает трущобу терпимой.

А потом и привычка.

Если такой человек уже отрущобился – его

ничем не вытянешь со дна.

И с хорошего места уйдет, а не то, что сбежит из непривлекательного рабочего дома.

А после вчерашней облавы рабочий дом сильно переполнится.

Все забранные на Хитровке женщины делятся строго только на две части: одна идет в больницу, другая – рабочий дом.

А там заработок... три копейки в день за мытье полов, а пятак – за стирку.

И хлебом хоть и отвратительно, но кормят – только воли нет.

Посмотрел бы я Настю, из пьесы Горького, в рабочем доме!

Или Сатина.

Или Барона...

Первые двое, наверно бы, бежали.

А последний скорее бы других ужился там, метя мостовые и вспоминая кареты с гербами предков.

Тайна одного привидения

Московские спириты не на шутку взволнованы известиями о таинственных явлениях в имении Федора Ивановича Шаляпина, находящемся недалеко от Ростова-Ярославского.

Собираются, заседают, разговаривают и выбрали комиссию медиумов, собирающихся на днях отправиться на место таинственного происшествия, которое, как они надеются, прольет свет на неведомые горизонты загробного мира и обогатит спиритическую литературу новым, ярким фактом, о чем уже сообщено в заграничные кружки спиритов с предложением прибыть на место и лично проверить неведомое. В бульварных московских газетах уже появилось об этом известие, производящее сенсацию. Его перепечатали в Петербурге.

Во вторник встречаю художника Константина Алексеевича Коровина.

– Еду, брат, сегодня прокатиться на север, устал! – сказал он мне.

– Чудеса творил с Шаляпиным? Это, дей-

ствительно, дело нелегкое!

– А ты догадался?

– Конечно. Теперь такими чудесами разве только черносотенца полуграмотного удивишь или сумасшедшего спирита...

– А ведь напечатали же! Да еще сколько разговору везде – спириты ликуют!

– Кто же, Шаляпин отличился?

– Шаляпин. А ловко сделано! В числе гостей у него был один спирит. Мы и задумали подшутить. Начали говорить о привидениях, распустили слух, что на соседнем кургане ровно в полночь появляется привидение – женщина в белом, создали целую легенду; один из местных жителей, Иван, наговорил ему ужасов, – и пошло дело! Этой тайной окружили только одного спирита. В темную ночь мы все отправились к кургану и невдалеке сели. Ждем, шутим:

– Какие там привидения! Ерунда!

Только Шаляпин серьезничает и говорит, что он верит. Решили подождать полночи и потом уходить. А сами знаем, что ровно в полночь привидение появится, и заранее стоворились, что будем делать. Первым делом

при появлении его все должны отказываться, что мы ничего не видим, и опровергать спирита, который должен его видеть один.

Вот и полночь. На вершине кургана заси-
нелся огонек. Это Иван, которому поручена
была роль привидения, зажег кусочки сухого
спирта.

– Смотрите, синий огонь! – испуганно ска-
зал спирит.

– Где? Мы ничего не видим...

– Как?! Да на кургане... Адский пламень.

– Да это тебе кажется! – смеемся мы.

– Огонь... Огонь... Я вижу... Привидение!
Женщина в белом!.. – вскричал он.

Действительно, в это время Иван, закутан-
ный в простыню, встал над курганом и тихо
двигался.

– Врешь, это тебе кажется.

– Вот она! Вот!.. – Голос его дрожит от стра-
ха.

– О, ужас! Это она! Я узнаю ее... Это она ме-
ня зовет... Не пойду... Боюсь... Это ты... Зачем,
зачем ты пришла!.. – трагическим голосом за-
вопил Шаляпин и в ужасе бросился бежать.
Мы все за ним. Спирит с воплями мчался впе-

реди нас. За ним Шаляпин, а за ними Иван с простыней под мышкой.

И эту комедию мы повторили два раза. Спирит уехал в полной уверенности совершившегося факта и разнес это по спиритическим кружкам Москвы. Его подхватили некоторые бульварные газеты. Уверовали многие любители чудесного и таинственного. Простите, гг. спириты, что я разрушил ваши надежды. Времена чудес давно прошли. Привидения упразднены.

Двадцатипятилетие столичных частных театров

9 сентября минет ровно 25 лет, как в Москве, в «театре близ памятника Пушкину», в этом первом частном театре, открытом артисткой Малого театра А. А. Бренко, впервые взвился занавес.

На сцене шел полностью «Ревизор».

Я говорю «полностью», потому что до того времени можно было ставить в столицах только сцены из пьес, а не целиком пьесы, плати притом и за право представления Императорским театрам, и за монополию афиш

типографу Смирнову, и в пользу Воспитательного дома.

Выходило от спектакля около полутора ста рублей этого нелепого налога, сохраненного канцеляриями с Екатерининских времен в силу закона, запрещавшего «чинить подрыв Императорских театров лицедеям, скоморохам и т. п.», обязывая их представлять отнюдь не полные пьесы, а только сцены из них и платить пеню Императорским театрам.

В древние времена этот закон, запрещавший частную конкуренцию театрам, при наличии безграмотного населения, целиком почти считавшего «скоморошества» бесовским наваждением, – имел смысл.

Но в восьмидесятых годах прошлого столетия бояться конкуренции частных театров Императорским являлось уже полным абсурдом, и если это существовало, так только по вине сухого формализма.

И трудно было пробить в нем, заскоружлом, брешь, чтобы создать в столице свободный, частный театр.

Это был первый шаг освободительного движения, начавшегося с искусства и драматического

шего с той поры четверть века.

И сама канцелярщина с ее атрибутами звала это движение и создала свободный театр в конкуренцию казенному.

Создала женщина, не ужившаяся с этим формализмом в то время, когда другие, и великие таланты в том числе, подъяремно переносили все и не стремились к свободе искусства.

Много лет спустя я от А. А. Бренко слышал лично такие откровенные слова:

– Меня душили ужасные порядки и неволя на службе в Малом театре! Свобода искусства был мой идеал. Я столько видела несправедливости, что моя душа была возмущена ужасными порядками, и я решилась побороться с этим злом. Я решила создать театр на других началах, свободный от рутины и казенщины, театр, где бы царствовало братство и товарищество на честных условиях...

Так думала А. А. Бренко, затевая свое огромное предприятие. Начала с небольшого.

Она достала от комитета «Христианская помощь» разрешение давать литературные и музыкальные вечера и читать на них сцены

из драм и комедий.

Комитет посадил своего кассира. Убыток за первый сезон 6.000 р.

Но это разрешение А. А. утилизировала так: 1) она устроила дебюты для провинциальных артистов и выбрала лучших из них; 2) она познакомилась с формой разрешения и поняла, через кого и как вести хлопоты.

Поехав в Петербург, она сумела выхлопотать разрешение ставить «сцены из пьес» на имя некоего С-ва, которому платила за это 26 р. в месяц.

На свое имя она боялась брать разрешение, опасаясь служебных интриг.

Зимой 1880 года начались «чтения из пьес» в театре пассажа Солодовникова.

Конечно, эти «чтения из пьес» были полные спектакли, в костюмах – все как следует, но... под дамокловым мечом.

Стоило какому-нибудь чиновнику донести, что пьесы играют полностью, – и конец делу!

И эта грозящая власть давала себя знать молодой артистке и ее сотрудникам. Тем не менее, с весны 1880 года в доме Малкиеля, на Тверской, архитектор М. Н. Чичагов, при сов-

местной работе В. Н. Андреева-Бурлака, отделивал роскошный театр.

Бронза, мрамор, лепные работы, зимний сад.

9 сентября 1880 года роскошный, шелковый, с вышитой золотом бархатной драпировкой занавес взвился и открыл сливкам Москвы, наполнившим роскошный зал первого частного театра, «сцены из комедии «Ревизор» в исполнении лучших артистов...

В Пушкинском театре служили: г-жи Стрепетова (300 за выход), Немирова-Ральф, Глама-Мещерская, Рыбчинская, Понизовская, Броздина, Чернова, Волгина, Красовская, Добрынина, Лола, Черкасова, Козловская и др., и гг.: Писарев, Андреев-Бурлак, Киреев, Чарский, Далматов, Холодов, Васильев, Горев, Шмитов, Красовский, Калинович, Стружкин, Иванов-Козельский и мн. др.

В Пушкинском театре впервые были практикованы по праздникам утренние спектакли, знакомившие учащуюся молодежь с образцовым репертуаром и лучшими артистами.

Впоследствии утренние спектакли пере-

шли и на Императорские сцены.

Летом труппа играла в театре Петровского парка.

Помню, – на одном из спектаклей присутствовал И. С. Тургенев. Его провели в директорскую ложу, и когда он появился в театре, – вся публика встала со своих мест.

Помню еще, когда А. Н. Островский читал в фойе Пушкинского театра «Свои люди – сочтемся», перед постановкой этой пьесы.

Многие пьесы Островского были в репертуаре и, обставленные великолепно, имели громадный успех.

Но все же шли «сцены из пьес».

А. А. Бренко тогда вновь отправилась в Петербург хлопотать, чтобы разрешены были к постановке пьесы целиком. Покойный князь В. А. Долгоруков представил ее графу И. В. Воронцову-Дашкову, который лично доложил Александру III просьбу А. А. Бренко. Была назначена театральная комиссия под председательством министра внутренних дел графа Н. П. Игнатьева при участии А. Н. Островского, и, наконец, появилось разрешение ставить на частных театрах пьесы целиком.

А. А. Бренко все свое солидное состояние и состояние своего мужа, известного музыкального критика и присяжного поверенного О. Я. Левинсона, положила на любимое ее дело, начавшееся Пушкинским театром, перешедшее потом в театр Корша и Художественный.

Создав свободный театр, А. А. Бренко пришлось впоследствии личным трудом зарабатывать хлеб. Она открыла в Петербурге театральную школу, но болезнь и опять российский «формализм» заставили ее прекратить дело.

В настоящее время она в Москве дает уроки театрального искусства, имея двух-трех учениц. Живет в бедности, но, глядя на свободные московские частные театры, она горда своим сознанием:

– Это сделала я!

9 сентября большой праздник всех частных театров столицы.

И ее праздник!

Из репортерства

Были в те времена в Москве беспризорные и безнадзорные ребята, которые ночевали на чердаках, в помойках, в водосточных трубах, воровали с лотков и поездушничали, то есть по вечерам выхватывали с экипажей у едущих на вокзал пассажиров вещи или вырывали сумочки у дам и бесследно исчезали в столичной темноте.

Была и совсем мелкота, которая являлась по ночам в полицейские участки, и их оставлял дежурный переночевать, а какой-нибудь сторож и кусок хлеба сунет.

Были тогда богачи. Укажу на одного, о котором придется говорить в этом рассказе, – это бакинский нефтепромышленник Шамси-Асадулаев, который владел роскошно отделанным домом на Воздвиженке, где теперь помещается «Крестьянская газета».

Шамси – бывший простой носильщик в Бакинском порту – оказался владельцем участка, в котором забили нефтяные фонтаны, и в один год сделался миллионером. Потом переселился в Москву, женился на русской, неко-

ей Марье Петровне, особе еще молодой, высокого роста, весьма дородной и знавшей, как пожить. Она одевала своего старого азиата в черный сюртук, в котором он молча и встречал гостей на непрерывных пирах в своем новом дворце.

А в Баку у него осталась семья, взрослые красавцы сыновья и жена.

Конечно, семья была против этой женитьбы и жаждала мщения. Постановили убить и жену и самого Шамси.

Вот тут-то мне и пришлось совершенно случайно вмешаться в это дело.

Началось с того, что, присутствуя по какому-то крупному делу в окружном суде для газетного отчета, я попал «под суд».

Попасть «под суд» – тогда обозначало спуститься в нижний этаж здания суда, где был буфет.

Во время перерыва заседания я захожу в буфет и вижу: за угловым столиком одиноко сидит знаменитый адвокат, мой добрый приятель – Ф. Н. Плевако. По воскресеньям я нередко бывал у него на пироге в его доме на Новинском бульваре...

Сидит задумавшись, опустил свое огромное четырехугольное, калмыцкого типа, лицо на ладонь левой руки в самой задумчивой позе – и, увидав меня, пригласил за свой стол.

Мне подали завтрак, а он все молчит и хмурит брови.

– Вы что это, Федор Никифорович, задумались так?..

– Н-да, задумаешься! Ну, хорошо, я вам расскажу, только беру с вас слово не печатать этого в газетах... Я говорю с вами не как с корреспондентом, а как с добрым знакомым. Второй день мучаюсь – а ничего не могу придумать. Вы, конечно, знаете Асадулаева?

– Никогда в жизни не видел, а знаю, что есть такой богач-нефтяник Шамси-Асадулаев.

– Он самый. Ну слушайте же.

И рассказал мне Плевако, что к нему обратился Шамси с просьбой спасти ему жизнь, рассказал свое семейное положение и охоту за ним родственников, что уже одно покушение было на его русскую жену и на днях убьют и ее и его наверное. Цель у них, конечно, получить наследство. Причем они предупреждают, что если он переведет состояние

на жену, то ее убьют тоже. Обращаться к прокурору, в полицию – ничего не выйдет! Шамси с ума сходит, не знает, что делать... и я тоже не знаю.

– А Шамси перевел состояние на жену?

– Нет... Он боится переводить... А главное, боится, что его убьют и тогда наследство перейдет к его семье... Как тут быть?

– Да очень просто, – говорю. – Пусть он составит духовное завещание.

– Да уж составлено – половину той семье, половину жене...

– Это знает старая семья?

– Ну за это и убить хотят.

– Так вот, Федор Никифорович, пусть завещание это останется без изменения, только прибавьте одну стрючку: в случае насильственной моей смерти и жены все мое состояние перейдет целиком на дела благотворительности. И уведомить об этом семью!

– Пожалуйста, сейчас суд войдет, публика уже в зале, торопитесь, – подбежал ко мне курьер.

Плевако хлопнул себя по лбу. Глаза его сверкали.

– И как не додумался я.

– Извините, бегу, боюсь опоздать.

Плевако мне что-то кричал вслед, а я мчался по узенькой лестнице вверх.

* * *

Как-то появилась заметка в газетах о беспризорных, ночующих по участкам. Образовалось общество «защиты беспризорных детей». Во главе стояла жена градоначальника, что привлекло массу московских богатеев, и дело пошло: стали открываться приюты, школы беспризорных. Печать заговорила сочувственно. «Русское слово» меня просило дать отчет об одном важном заседании общества в зале дома градоначальника, куда я успел попасть только к десяти часам, прямо из балета, во фраке. Я прибыл к концу заседания, на котором только что выбрали в почетные члены Асадулаеву, пожертвовавшую какую-то очень крупную сумму на новый приют. Ее поздравляли – и она приглашала по своему выбору человек двадцать особо почетных членов сейчас же ехать к ней на ужин. Меня кто-то представил ей, и через полчаса я входил в яркий зал, с огромным столом, сверкавшим сереб-

ром и хрусталем.

Я, проголодавшийся, набросился на зернистую икру, балыки, горячие закуски и пропустил рюмку за рюмкой. Сам Шамси всем молча кланялся и угощал, как умел, полный радушия. Блестящая Марья Петровна тоже. Около нее помогали ей молодые люди в черкесках с золотыми украшениями. Это были сыновья и родственники Шамси, сразу помирившиеся после нового духовного завещания, жившие уже в Москве у Асадулаевых – лучшие их защитники!

И вот, благодаря беспризорным, я лакоплюсь деликатесами и чудными винами в ожидании роскошного ужина...

Но не пришлось поужинать! Почти рядом со мной стоял и закусывал градоначальник. К нему быстро подбежал чиновник особых поручений и шепчет ему:

– Пожалуйста к телефону... Что-то ужасное... Сейчас на Лосиноостровской идет бой с анархистами... Есть убитые...

И оба исчезли к телефону в приемную. Я за ними. Телефон рядом с дверью в пустой коридор. Притворил дверь, слушаю.

– Что? Кто убит?.. и начальник ранен? На Ярославском вокзале. А... жив еще... А когда отходит экстренный? Роте уехать!

Я больше не ждал, а нырнул в переднюю, наскоро надел пальто, взял лучшего извозчика и через двадцать минут был на Ярославском вокзале.

Там суматоха страшная. У знакомого служащего узнаю, что на Лосиноостровской перестрелка – анархисты засели в дачу, их осаждают, есть раненые и убитые. Сейчас привезли с поездом раненых, отправили в больницу, а начальника охраны и еще какого-то офицера перевязывают у начальника станции в кабинете, что сейчас отходит поезд с войском.

Я бросился на платформу, по пути заглянув на перевязку: в кабинете начальника станции хлопотали доктора... я видел только двух раненых: одного перевязывали на диване, около него таз с кровью, другой, тоже раздетый догола, сидел на кресле, из плеча его текла кровь – доктор обмывал. Это был начальник охраны.

Я бросился к поезду – вовремя. Он уже бес-

шумно без всяких свистков, медленно двигался. Я в конце платформы догнал его и успел вскочить на площадку последнего вагона 3-его класса – а дверь вагона была затерта... Так и мерз я в снежную вьюгу на северном ветру, вспоминая о деликатесных закусках. Последний вагон мотало во все стороны, поезд мчался, как безумный!

С корабля на бал, – вспомнилось мне, но с бала на корабль, да еще в бурю. Много хуже.

Вот замелькали огни Лосиноостровской. Вдали грянул залп... Несколько ответных выстрелов... Снова залп... Форменная перестрелка влево от поезда...

Наконец он остановился. Последний вагон далеко от платформы. Я прыгнул в сугроб, увяз почти по пояс в снегу, и, когда выбрался, солдаты вылезали из вагонов. Сторож мне указал, куда – и я бросился бегом по дороге, завьюженной метущим снегом. Я бежал на выстрелы. На улице толпы народа жмутся к стенам... Посвистывают пули... Передо мной дача с открытым слуховым окном, из которого нет-нет да и мелькнет огонек. За соседней дачей в саду прячутся солдаты и жандармы.

Палят в окно и крышу. Я затесался среди них. Узнаю, что анархисты скрылись в пустой даче, и когда их хотели арестовать – стали отстреливаться. По телефону вызвали из Москвы жандармов и солдат. Убили нескольких из них, убили жандармского офицера и ранили начальника охраны – полковника. Между садиком и дачей, в которой были мы, не то небольшой пустырь, не то двор. Низ дачи освещен изнутри – даже видна лампа на столе сквозь разбитые окна.

Пришли еще солдаты и тоже стали сзади нас. Снова дали залп по крыше, целясь в слуховое окно. Ответа не последовало. Стрельба прекратилась, и без выстрелов еще жутче стало.

– Что-то они затеяли, может, бомбы, – слышу шепот сзади меня.

Все стихло. Внизу дачи, как видно в окна, никого нет. Спрашиваю, стреляли ли из нижних окон и из дверей, получаю уверенный ответ:

– Нет, только из одного слухового окна с чердака.

Соображаю, что двор между мной и дачей

не находится в полосе обстрела, – с чердака только можно стрелять вдаль, не вылезая из окошка.

Взглядываю на часы – половина второго. Опоздал в редакцию, весь заряд пропал. Решаюсь на исследование и вдвоем с каким-то оборванцем перебегаю дворик, заглядываю в окна, лампочка жестяная на столе, темнота в следующей комнате, где входная дверь и полная тишина. Ни звука. Подбегает к нам жандарм и двое солдат.

– Ну что?

– Да ничего не слышать! Наверное, всех перебили.

– Еще бы, крыша как решето!

К нам присоединяется местный житель в железнодорожной фуражке и вынимает из кармана электрический фонарик.

Мы обходим с другой стороны. Рванули дверь – отворилась. Это сени, приставная лестница на чердак.

Прислушиваемся – ни звука.

К нам начинают присоединяться полицейские и солдаты.

Железнодорожник с фонариком поднима-

ется по лестнице и тотчас же спускается.

– Там никого нет. Да я близорук – плохо вижу, только там тихо.

Беру фонарик, поднимаюсь. Никого. Гляжу дальше – у борова трубы лежит ничком человек, и луч фонаря осветил руку с зажатым в ней браунингом.

– Убитый лежит, – говорю я и передаю фонарик жандарму. А в это время оборванец как кошка взбирается по лестнице и исчезает на чердаке. Жандарм ждет с фонариком. Через минуту оборванец кричит сверху:

– Там убитые!

Быстро слезает и прямо к двери, но поскользывается, и из-под его отрепьев падает на пол браунинг. Жандарм и двое каких-то уже наверху кричат:

– Только один убитый, больше никого нет! А у двери шум. Там задержали оборванца. – Вот он! Пистолет у него!

– Держи анархиста! Вот он, этот стрелял! Жандарм спускается и заявляет, что там только один труп, а около него несколько браунингов.

– Уйти некуда, один только и был!

Я бегу на станцию, может, на счастье, поезд застану. И застал. Через десять минут наш экстренный поезд, погрузив четверых раненых, отправляется в Москву.

К самому отходу успел прибыть фельдшер, который мне уже дорогой рассказал, «что смехота вышла». Поймали анархиста с браунингом, а он оказался местным пьяницей, у убитого револьвер стащил да и попался. Его узнали местные жители и отпустили. Он сознался, что украл браунинг у убитого.

* * *

Без четверти четыре я был в редакции, замерзший и в одной калоше, другая осталась в сугробах. Полосы газеты были сверстаны, у вкладного листа одна полоса сверстана, а другая еще в машине. Через полчаса моя корреспонденция в целую колонку уже стояла в полосе, номер вышел в свое время.

Подземная Москва

За сорок пять лет моей жизни в Москве я такого ливня не видал.

Какие сцены!

Столешников переулок представляет из себя бурный поток, несущий щепки, хлам, поленья дров и большущую бочку. За ней по тротуару мчатся мальчишки по грудь в воде, догоняют ее, ловят, но не в силах удержать. Одному, уже взрослому, удастся сесть на нее, но – он кувыркается и тонет, смельчаки с тротуара бросаются и вытаскивают его, не могущего бороться с течением.

Уже на углу Петровки бочка упирается в стоящий по кузов в воде автомобиль, но мальчуганы не в силах ее оторвать. С другой стороны улицы переходит по пояс в воде огромный бородатый дядя, отрывает бочку от автомобиля и, при криках обиженных неудачей добычи мальчуганов, переправляет ее через Петровку и угоняет куда-то по воде...

А поток с шумом мчится через Петровские линии в главный резервуар – Неглинный проезд, представляющий собой реку в разли-

ве...

* * *

Пивная на Неглинной с началом дождя наполняется публикой, не желающей намочнуть. Буфетчик радуется: дождик загнал. Служащие мечутся с кружками и бутылками.

Лица довольные, пьют и беседуют...

– Хорошо, дождик-то... Что ни капля – золото.

– Для огородов, для хлеба... благодать. Пьют.

Ливень усиливается... Через порог набегает вода. Гости ставят ноги на перекладину столиков.

– Ишь ты, как разошелся!

И вдруг водопадом через порог хлынули волны мутной воды... Испуганные гости кладут ноги друг другу на стол:

– Извиняюсь. Разрешите.

– Пожалуйста, а я на ваш...

Кто-то лезет на стол. Стулья всплывают... На столах стоит публика с кружками и стаканами в руках... Хозяин по пояс в воде спасает кассу... Кто-то валится с опрокинувшимся столом...

– От дождя – да в воду... – острит горбун, забравшийся на буфет.

Вода прибывает и прибывает... Ужас на лицах...

В окна доносились неистовые крики: спасите!

Тонул кто-то.

Это Неглинка не вместила в себя огромной массы воды...

Широкая, великолепная Неглинка.

Огромный коридор, от Самотеки до Москвы-реки у Каменного моста, перестроенный из узкой клоаки в конце восьмидесятых годов, при существовании которой такие водополья, как эти два последние на Неглинном проезде, были обычными. При всяком небольшом ливне, воду которого не вмещала узкая и засоренная подземная Неглинка, клоака, выстроенная, кажется, в доисторические времена.

Только благодаря вмешательству газет состоялась в срочном порядке эта перестройка. На обычные заметки после каждого наводнения купеческая дума не обращала внимания: «Пуцдай их пишут».

В 1884 году в дождливое лето наводнения были ужасны.

И вот в июле я решился опуститься в эту клоаку, написал несколько заметок, и наконец, поручили усмирение Неглинки инженеру Левачеву, моему старому товарищу по охоте на зверя.

Сухаревка

- Извозчик, к Бахаревой сушне!*
 - Квадцать донеек.*
 - А по хорде мочешь?*
- (Старая шутка)*

I. Новая

Ликвидирована столетняя Сухаревка. 5000 квадратных сажен занимала она. И десятки лет старая дума, мечтавшая о ликвидации этого заражающего окрестности торжища, не знала, куда его перевести.

7000 квадратных сажен пустыря было рядом, и Московский совет занял его под сухаревское торжище. Тут же, рядом, в углу между Садовой и Трубной улицами, существовало владение Гефсиманского скита, где когда-то

были монастырские огороды, а последнее время дикий пустырь, притон темного люда. Теперь это – «Новая Сухаревка», строго распланированная, с рядами деревянных барачков. В них помещаются 1647 отдельных магазинов, из которых 1000 уже заняты торговцами. Чистота, порядок, электрическое освещение огромными фонарями для ночной охраны, 6 водонапорных кранов и пожарная сигнализация. Бараки расположены по отделам: галантерея, обувь, кожа, одежда, москательный, щепной, скобяной, шапочный, стеклянный, мебель, меха, мануфактура, мясной, рыбный, мучной, письменные принадлежности, табак и пока только две книжных лавки букинистов и ни одной антикварной.

– Где же антиквария? – спрашиваю одного старого сухаревщика.

– Старьевщики-то? Да кому теперь ихнее барахло нужно? Вот там, в «развале», есть один-другой со своими рогожками.

Для «развала», т. е. именно для толкучки, отведен угол ближе к Трубной улице. Его со временем отгородят от рядов.

А пока иду туда. Это пахнет старой Суха-

ревкой. Развалены на рогожках и полотнах товары: замки, ключи, отвертки, старое железо, куски кожи для починки обуви, ржавые гвозди и обломки. Точильщик на своем станке шлифует ржавый топор. Дальше, вдоль забора, выстроены ряды порыжелых сапог, калош, груды тряпья, подушек, рвани. Трое татар горячатся на своем языке, осматривая и выворачивая поношенное пальто молодого человека в старом пиджаке. Вот и «антиквар» с несколькими хрустальными и фарфоровыми посудинами и поломанной скульптурой. Там невозмутимые китайцы, как тени, двигаются с трещотками, женщины с ярко-красными самодельными букетами, «ручники», обвешанные платьем, кружевами, кто с чем в руках, то становятся в линию, то расходятся. Покупают пока мало.

А вот и самое веселое место толкучки – обжорка. Длинный обжорный ряд начинается с бабы с покрытым подушкой и замотанным ситцевым одеялом ведром, из которого она за гривенник накладывает полную тарелку мятой картошки и поливает ее из кувшина грибным соусом. Пахнет постным маслом. Ря-

дом другой, «скоромный» аромат: на жаровне кипит и брызжет жареная колбаса, и тут же блюдо с вареной свиной. Вот блинница печет белые блины и поливает их маслом. Один за другим несколько самоваров с горячим медовым сбитнем, лотки с булками и бутербродами. А кругом раскрасневшиеся лица питающихся.

II. В 21-м году

Издали смотрю на торжище, окутанное серой пылью. Видна сплошная масса. Контуров и цветов не различишь. Шумит, что-то делит кучка папиросников – «королей Явы». Именитое купечество, как их назвал Бим-Бом в цирке, где они, развалясь в первых рядах, обжирались лакомствами. Это было время королей Явы, самых богатых людей Москвы.

Встречаю одну молодую особу.

– Можете представить себе, вот этакий мальчишка, лет двенадцати, мне сейчас предлагал к нему на содержание идти, обещал и номер, и денег массу показывал... Насилу отвязалась. Пока...

– Пока.

Проехал броневик. Проползли мешочники.

Стою и брезгливо смотрю. Прямо-таки противно окунуться в это серое, живое, кишашщее.

Все-таки иду. Присматриваюсь и уже различаю отдельные фигуры, серые, грязно-белые, черные, вылинявшие и ни одного яркого пятна. Вдали в середине толпы весело мелькнул красный платочек на голове женщины – и опять все серо. Поднимающаяся пыль дополняет впечатление. Френчи, шинели, защитные рубахи.

Я в толпе. Вот восточный человек, торгующий колбасами и обломками сыра на лотке, запустил под рубаху обломок доски и ожесточенно дерет себе спину и не видит, как мальчуган стащил у него кусочек сыру, запихнул в рот и нырнул в толпу.

Где-то вдали гогочет гусь.

Весело стоит босой рыжий мужичонко, на котором надет толстый дерюжный мешок с огромным клеймом и какими-то цифрами. Он держит коробку с махоркой и стаканчиком-меркой. Орет на весь базар:

– Махорка рязанская, самкраще! Кому махорки? Иду по наружному ряду.

– Картошка – 800 руб. фунт. Сало грязными

кусками, захватанное и желтое, по 14 000 руб. фунт. Масло в пыльной бумаге – 15 000 руб. фунт. Ржавая ветчина – 16 000 руб. фунт. Изюм с землей, какие-то ярко-зеленые конфеты. Торгуются, покупают.

– Извиняюсь. Ничего подобного. Пока...

Вот на тележке целый лабаз: мешки муки, пшеница, рису. Все это мусорно и все по 5000 руб. за фунт. На другой стороне рынка – развал: на земле лежат обломки железа, ключи, замки, дверцы, ручки, разрозненная дорогая посуда, статуэтки, вазочки и черт знает еще что, никелированная клетка для попугая, а на ней висят старые штаны. Их при мне же купили, а клетку, но уже без штанов, я видел там же через неделю. Кому она?

III. Дореволюционная Сухаревка

Сухаревка в старину была местом сбыта краденого. И вор-одиночка тащил сюда под полой «стыренное», и скупщики возили возами.

Бабы сидят на корчагах с похлебкой, серой лапшой или картошкой с прогорклым салом, противнями с «собачьей радостью», которую, вонючую, с голода едят на том основании, что

– Человек не собака, коли голоден, все

съест, нюхать не станет.

Не было тогда никакого санитарного надзора, торгуй, чем попадетсЯ, лишь бы дешево.

Жареный пирог по две копейки, рукой не обхватишь, с говядиной и луком. А если в пироге попадетсЯ тряпка или мочала, так пирожник еще обидится.

– Что тебе, за две копейки с бархатом прикажешь?..

А квасы летом были, которые в разноску из кувшинов мальчишки продавали, – лучше не пей. Крашеная сырая вода, да хорошо еще, если из бассейна, а то прямо с конского водопоя черпали.

Тут же и парикмахерские. Сидит где-нибудь в сторонке, у стены башни, на ящике или на тумбе «клиент», а его бреет «цырульник», сам небритый и немый. А рядом стоит мальчонка – ученик. Он бегаеТ за водой с помадной банкой, которою черпает, чтобы недалеко ходить, в первой луже на мостовой, а то прямо плюнет на мыло и бреет.

– За семитку с рыла.

– Стрижка – пятак.

Нищих из отставных солдат брил бесплат-

но – на них мальчишки учились брить. Изрежет другого старика, тот кричит благим матом, а ученик старается и скоблит тупой бритвой до крови.

Примечания

1

Теперь, когда я уже написал эти строки, я рассказал это моему приятелю врачу-гомеопату, и он нисколько не удивился.

У нас во время холеры как предохранительное средство носили на шее медные пластинки. Это еще у Ганемана есть.

[^^^]

Катков М. Н.

[^^^]

3

Это стихи Шумахера. Они долго ходили по рукам, потом уже появились в «Искре».

[^^^]

4

Телега с плоским настилом.

[^^^]

Прошу вас! (*фр.*)

[^^^]

Судилице.

[^^^]

Строка из стихотворения Н.А. Некрасова «Сеятелям».

[^^^]

8

«Итак, радуйтесь друзья...» (название старинной студенческой песни на латинском языке).

[^^^]

ВЕНЕВИТИНОВ.

[^^^]

В тюрьму.

[^^^]

Городовой.

[^^^]

В часть.

[^^^]

13

Господин, зайдите к нам на минутку (*фр.*).

[^^^]

Войдите! (*фр.*).

[^^^]

Стрюк шатаный – загулявший барин.

[^^^]

Кредитный – возлюбленный.

[^^^]

Честное слово (*фр.*).

[^^^]

Несчастье! (*φρ.*).

[^^^]

Превосходно! (*фр.*).

[^^^]

Ваше здравье, господин! (*фр.*).

[^^^]